ISSN 0130-6545

6.1996

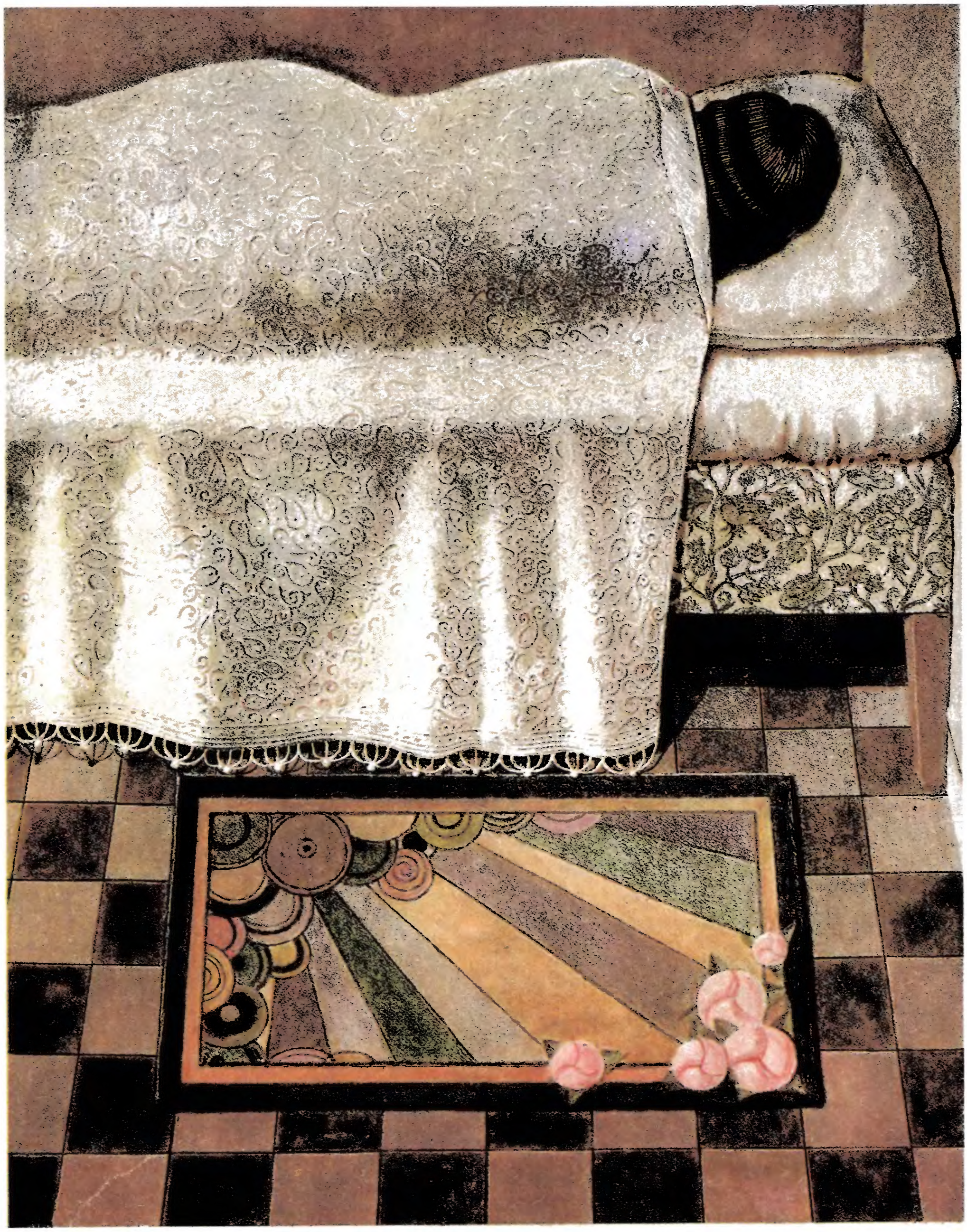
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

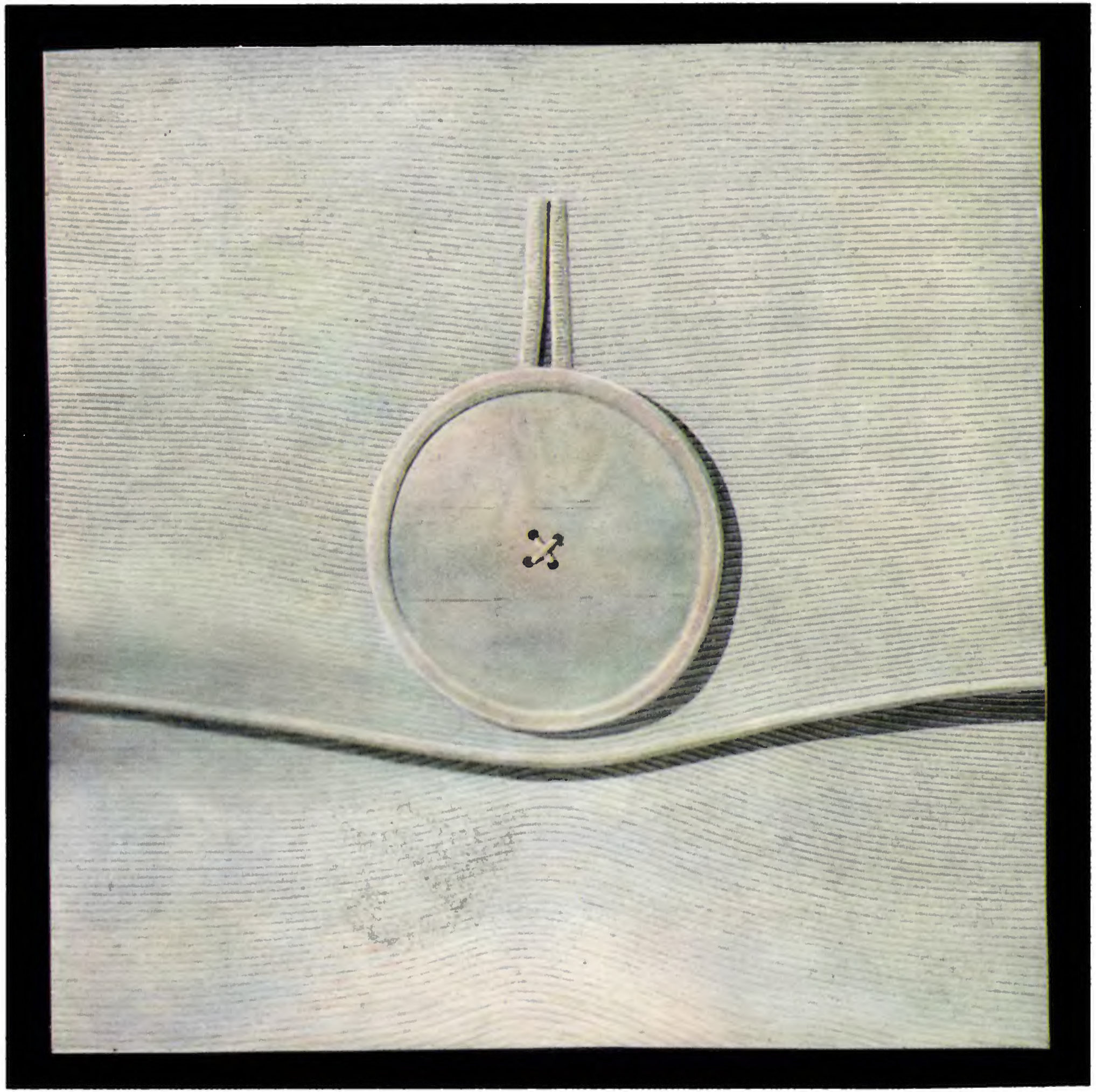
В номере:

СЭМЮЭЛ БЕККЕТ
Пьесы разных лет

СЛАВОМИР МРОЖЕК
Рассказы

ШЕЙМАС ХИНИ
Дань поэзии





21 мая названы имена лауреатов наших ежегодных литературных премий

Премия ***ИЛлюминатор*** (учредители «ИЛ» и Конверсбанк)
присуждена **Михаилу Гаспарову**
за книгу «Занимательная Греция»

Премия ***Инолит*** (учредители «ИЛ» и Конверсбанк)
присуждена **Владимиру Бабкову**
за перевод романа Питера Акройда
«Дом доктора Ди»

Премия ***Инолиттл*** (учредители «ИЛ» и Конверсбанк)
присуждена **Анатолию Гелескулу**
за переводы стихов
современных поэтов Арагона

Премия имени А.Карельского (учредители «ИЛ» и Альманах немецкой литературы) присуждена **Дмитрию Затонскому**
за статью «Эта гротескная Австрия...»

Премия имени отца А.Меня (учредители «ИЛ», Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино и Католическая академия Штутгарта)
присуждена **Льву Копелеву**
за выдающийся вклад
в духовное сближение народов

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЛАУРЕАТОВ!

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 27 100 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,
П.Л. ВАЙЛЬ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, Б.В. ДУБИН,
А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ,
В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

6 **июнь** **1996**

СОДЕРЖАНИЕ

СЛАВОМИР МРОЖЕК — Рассказы (*Перевод с польского Л.Бухова и А.Базилевского*) 5

ФИЛИП РИДЛИ — Башни веры (*Рассказ. Перевод с английского Дмитрия Волчека*) 29

МИЛАН РУФУС — Стихи и эссе (*Перевод со словацкого В.Каменской и Олега Малевича. Вступление Олега Малевича*) 40

ГЮНТЕР ГРАСС — Собачьи годы (*Роман. Продолжение. Перевод с немецкого М.Рудницкого*) 50

СЭМЮЭЛ БЕККЕТ — Пьесы разных лет (*К 90-летию со дня рождения. Перевод и вступление Е.Суриц. Послесловие И. Дюшена*) 149

ПЕТЕР ХАНДКЕ — Опыт познания усталости (*Эссе. Перевод с немецкого Г.Косарик. Вступление Г.Ратгауза*) 174

Литературное наследие

ТОМАС МАНН — Фрейд и будущее (*Доклад, прочитанный в Вене 8 мая 1936 г. на праздновании 80-летия Зигмунда Фрейда. Перевод с немецкого и вступление С.Апта*) 195

Документальная проза

АНЬЦИ МИНЬ — Красная Азалия. Жизнь и любовь в Китае (*Повесть. Перевод с английского Ильи Смирнова*) 208

Критика и публицистика

ШЕЙМАС ХИНИ — Дань поэзии (*Нобелевская лекция 1995 года. Перевод с английского и вступление А.Ливерганта*) 265

Галерея «*ИЛ*»

О.ХЛЕБНИКОВА — Тайная жизнь вещей 275

ИТАЛО КАЛЬВИНО — Пуговица. Женская туфелька. Мужская рубашка (*Перевод с итальянского Нины Кулиш*) 277

У книжной витрины 282

Авторы этого номера 286

© «Иностранная литература», 1996

В следующем номере «ИЛ»

Роман известного французского писателя **Мишеля Рио** «АРХИПЕЛАГ», герою которого, ученику элитарного колледжа, суждено испытать любовь и разочарование, столкнуться с трагическими и смешными, высокими и низменными сторонами человеческого бытия.

Роман **Питера Устинова** «СТАРИК И МИСТЕР СМИТ», рассказывающий о приключениях Бога и Дьявола, решивших навестить современный мир.

Главы из книги **Джеймса Бойла** «СЕКТЫ-УБИЙЦЫ», повествующей об одной из напастей конца XX века — экстремистских религиозных культах.

Цветные иллюстрации номера — работы итальянского художника ДОМЕНИКО НЬОЛИ:

На 1-й стр. обложки — «Спящая № 3» (1966).
На 2-й стр. обложки — «Пуговица № 4» (1969).
На 3-й стр. обложки — «Женские ноги» (1969).

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 17.04.96. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 28,45 Заказ №1661

Тираж 27 100экз. Цена по подписке 13 000 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

СЛАВОМИР МРОЖЕК

Рассказы

Перевод с польского

Имя выдающегося прозаика и драматурга Славомира Мрожека хорошо знакомо русскому зрителю и читателю, особенно читателю «Иностранной литературы» — по подборке рассказов и пьесе «Любовь в Крыму». В этом номере журнал вновь обращается к творчеству Мрожека в связи с выходом двух первых томов его собрания сочинений, которое впервые издается в Польше (издательство «Нуар сюр Блан»). Это швейцарское издательство, специализирующееся на литературах стран Восточной Европы, прежде всего польской и русской, уже выпустило собрание сочинений писателя, но не на языке оригинала, а на французском языке. Теперь, открыв свой филиал в Варшаве, оно приступило к выпуску собрания сочинений Мрожека на родном языке.

В предисловии к первому тому, в частности, говорится: «Труды маэстро иронии выйдут в двенадцати томах. В них включены сценические произведения, повести, рассказы, а также его рисунки... Настоящее издание дает возможность в полном объеме познакомиться с творчеством Мрожека, которое является классикой современной польской литературы, а с учетом количества переводов и театральных постановок — также и мировой».

Все произведения публикуются — по желанию автора — в порядке обратной хронологии. «Иностранная литература» предлагает в этом номере рассказы из первых томов, написанные в 1980 — 1993 гг. Часть из них будет опубликована в сборнике «Как я сражался» московского издательства «Вахазар».

Месть

Она не сразу заметила, что он становится меньше. Дело зашло уже достаточно далеко, когда однажды за завтраком она его спросила: «Что с тобой?»

Он пожал плечами, однако, тут же осознав, что этот его жест ничего хорошего ему не сулит, сделал вид, что у него чешется спина, еще несколько раз подвигал плечами, а потом почесал спину под правой лопаткой. Он знал, что совесть у него нечиста, но ее вопрос носил достаточно общий характер и мог относиться к чему угодно, то есть конкретно ни к чему.

Итак, на сей раз пронесло. Она не настаивала, или, возможно, его спас лишь внезапный и загадочный поворот в ходе ее размышлений, один из тех, что случались у нее довольно часто. Она стала говорить о какой-то своей знакомой, о том, как та не сдержала свое обещание, будто бы данное ею в связи с каким-то делом, что плохо — по ее мнению — характеризовало ту знакомую, ему, впрочем, неизвестную. Посредством нескольких вопросов и замечаний, вставленных в тех местах ее монолога, которые казались ему наиболее важными, он умело поддержал и развил это направление ее критики. Опыт у него был. Так что завтрак завершился под аккомпанемент одной темы и без дальнейших инцидентов.

Но все же наступит момент, когда она заметит что-то более явственное и ему не удастся уклониться от ответов на непростые вопросы. Ведь процесс развивал-

© 1992 by Diogenes Verlag AG, Zürich

ся, и чем дальше он развивался, тем очевиднее должны были становиться результаты. В том, что она заметит, он не сомневался с самого начала. Впрочем, он был исполнен решимости, знал, что роковой час наступит, и оттягивал его лишь потому, что хотел как можно позднее получить то, что и так предстояло ему получить полной мерой.

К тому же если возникнут вопросы, на которые не найдется ответа, и пожелания, которые невозможно будет удовлетворить, то пусть объект этих вопросов и пожеланий созреет, пусть станет явным.

И еще: то, что она еще не знала, когда он уже... — доставляло ему тайную радость.

Его чуть было не выдали брюки. Точнее: штанины. Он этого не учел, когда после солнечных дней — он ходил тогда в шортах, как обычно на отдыхе, — наступила холодная и пасмурная погода и он, не задумываясь, надел длинные брюки. Как оказалось — слишком длинные, хотя еще недавно они ему были впору.

По обыкновению, они вышли на прогулку. Она вдруг остановилась, он, естественно, тоже. Она сказала: «Иди дальше, пройди еще несколько шагов».

— Но почему? — запротестовал он, стараясь, чтобы его протест прозвучал как проявление его нежелания совершать самостоятельные шаги, пусть даже речь шла всего о нескольких шагах в буквальном смысле слова. Иными словами — как манифест его привязанности к ней, заботы о том, чтобы она не почувствовала себя оставленной и одинокой, даже на мгновение и даже по ее собственному желанию.

— Иди впереди меня, я хочу кое-что посмотреть.

Он уже знал, на что она хочет посмотреть, и его сердце забилось сильнее. Он сделал шаг, другой.

— Стой.

Он остановился.

— Повернись ко мне.

Он повернулся.

— Что происходит с твоими брюками?

Он изобразил удивление, опустил глаза. Увидел, что на штанинах образуется складка и они доходят почти до мысов ботинок.

— Что?

— Как что? Они длинны.

— Длинны?

— Конечно же, длинны. По меньшей мере на шесть сантиметров. На шесть с половиной. Что ты с ними сделал?

— Я?

— Ведь они были абсолютно нормальные, в самый раз.

— Я... ничего не делал.

— Их нужно укоротить.

— Да-да, обязательно.

Брюки укоротили в тот же вечер. После ужина. «Как же я этого не предусмотрел», — упрекал он себя, делая вид, что читает газету. Через широко открытую дверь спальни он видел ее, склонившуюся над брюками с иглой и нитками. Ему подумалось, что сам он никак не сумел бы укоротить брюки и что разоблачение, раньше или позже, было все равно неизбежно. И даже необходимо, как часть мести.

Несколько дней разговор ни о чем не заходил. Ни о чем, связанном с... Вновь наступили солнечные дни, и он мог, не вызывая подозрений, не носить длинные брюки, по-прежнему слишком длинные, все более длинные — он это знал, чувствовал это, даже не надевая их, хоть они и были укорочены. После ужина, сидя в глубоком кресле, она сказала:

— Будь добр, дай мне «Преступление в замке Хеджмур».

— А где это?

— На полке.

Он подошел к книжным полкам и наклонился.

— Не там. Выше.

Теперь он искал на полке, расположенной на уровне его глаз. Тянул время.

— Еще выше. На самой верхней полке.

Он знал, что прежде он мог доставать до верхней полки без труда. Прежде. И знал, что ей это тоже известно.

Придется встать на цыпочки. Да и то... еще неизвестно, дотянется ли. Должно быть, нет... Скорее всего нет... Наверняка нет. Он все еще не протягивал руку. Она внимательно наблюдала за ним из глубины кресла.

Вдруг он вспомнил, что в углу, между шкафом и окном, должен стоять невысокий табурет. Он повернулся, прошел в угол... Есть!

Он поставил табурет перед полками, встал на него и без труда снял с верхней полки «Преступление в замке Хеджмур», сошел с табурета, подал ей книгу.

В тот вечер — больше ничего. И на следующее утро — тоже. Но вот после завтрака, когда он с закрытыми глазами загорал на балконе...

— Встань.

Голос звучал за его спиной. Он обернулся. Она стояла в открытой балконной двери в купальном костюме. Обычно он смотрел на ее бюст сверху. Теперь, возможно, потому, что он полулежал на низком топчане, а она стояла над ним, ему пришло в голову, что он мог бы стать атлантом, подпирать приподнятыми плечами эти два тяжелых полушария, напрягать мышцы... А ведь прежде они вовсе не казались ему ни большими, ни тяжелыми. И ни слишком высокими.

Он встал. В ее левой руке была деревянная линейка, в правой карандаш. Она поставила его в дверях, прислонив к косяку.

Он не противился. Даже не изображал удивления, что было равносильно признанию своей вины. Почти. Не произнес ни слова. Смотрел вдаль, но знал, что теперь для него наступит покой. Это продлится так долго, пока будет проводиться экспертиза, сбор улик, которые, конечно же, неизбежно подтвердят его вину, но только через несколько дней. Между теоретическим подозрением и фактическим обвинением — полоса тишины.

Она горизонтально приложила деревянную линейку сверху к его голове и карандашом отметила место, где конец линейки соприкоснулся с дверным косяком. Затем с помощью сантиметра измерила расстояние от метки на косяке до пола. То есть его рост. Результат записала.

С того утра обмеры проводились ежедневно, всегда после завтрака. Он складывал салфетку и, не произнося ни слова, подходил к открытой балконной двери, становился в соответствующую позицию. Количество черных черточек на белом косяке росло. Каждый день новая метка ниже, каждая следующая ниже предыдущей, вниз, еще ниже, все более низко. Она тоже хранила молчание. Молчали оба.

На седьмой день, вернее на седьмой вечер, когда они уже молча легли рядом и погасили свет, до него донесся тихий плач.

Он ждал. Пока не реагировал. Но знал, что прекрасным дням, дням покоя пришел конец.

— За что ты так со мной поступаешь?

Он протянул руку, чтобы прикоснуться к ее волосам.

— Я в этом не виноват. Все происходит независимо от меня, само собой.

— Нет! Ты это делаешь нарочно.

Первая радость: возможность отрицать безнаказанно, абсолютно безнаказанно. Да, он становился меньше. Но уменьшался ли он умышленно — тому не было, не могло быть, никогда не будет никаких доказательств.

— Нет. Это само.

— Что значит — само?

— Само по себе, помимо моей воли. Неужели ты действительно думаешь, что я смог бы это делать?

Он чуть было не добавил: «...если бы не ты», но в последний момент удержался.

Она не ответила, но он знал, что ей хотелось сказать: «Смог бы». По ее убеждению, он мог все. Против нее.

Она перестала его измерять — было установлено, что рост его уменьшается, а чтобы убедиться в том, что уменьшение продолжается, инструменты больше не требовались. Он уменьшался со дня на день, самым явным образом, и уменьшалась также надежда, что процесс обратится вспять или хотя бы остановится. Ее надежда, что он прекратит или что это прекратится, если он и в самом деле уменьшался не по собственной воле... Если это действительно само по себе, а не он по своему желанию, умышленно, лишь бы сделать ей назло... Но эту последнюю гипотезу она не могла принять, поскольку согласие с подобной гипотезой противоречило бы ее незыблемым, установившимся принципам, глубочайшим убеждениям всей ее жизни. Ее мировоззрению.

Тогда она стала ему угрожать. А он только бледно и беспомощно улыбался и разводил руками. Улыбка была еле заметной, поскольку уменьшалось и его лицо, став уже скорее личиком, но за этой еле заметной улыбкой крылся его великий триумф. Так ей, во всяком случае, казалось. Нет, не казалось, она была убеждена, знала с абсолютной уверенностью, что он торжествовал, что улыбался торжествующе. Ибо если даже он уменьшался и неумышленно, если что-то само уменьшало его, если в этом уменьшении не участвовала его злая воля... но нет, такого она не могла допустить... то он бы торжествовал... да, уж в этом-то она была твердо уверена, без тени сомнений... он бы торжествовал точно так же, как торжествовал бы, уменьшаясь умышленно. Даже если он уменьшался неумышленно, то умышленно торжествовал. Даже если не был виновен в том, что уменьшался, его вина была в том, что он торжествовал. Вернее, его торжествующая улыбка доказывала, что он, так или иначе, был виноват. Ибо он желал уменьшаться, он желал бы умышленно уменьшаться ей назло, даже если и уменьшался неумышленно. Его лицо сокращалось в размерах, постепенно уменьшалось пропорционально уменьшению всего тела и организма, было на пути к тому, чтобы стать личиком, а потом мордочкой, но чем меньше оно становилось, тем явственнее усугублялось, усиливалось, разрасталось на его уменьшающемся личике выражение торжества. И, следовательно, усугублялась, усиливалась, разрасталась его вина. Потому что усугублялось, усиливалось, разрасталось доказательство его вины. Его триумф.

И она ничего не могла поделать. Какая мука! Какая непрестанно усиливающаяся мука! Но как же наказать его, как остановить? Чем дольше он уменьшался и уменьшался, тем глубже и глубже была его вина и тем безнаказаннее и безнаказаннее был он сам. Ведь по мере того как она делалась рядом с ним все больше и больше, тем бессильнее и бессильнее становилась. И тогда она пала на колени и начала его просить.

Он стоял на полу и ей, коленопреклоненной, уже едва доставал до бюста, ей пришлось наклониться, но все равно ее голова не оказалась ниже его головы, даже не вровень с ней, и потому эта ее смиренная, молящая поза имела в себе нечто смешное, ее мольба, так сказать, пошла прахом. Ей подумалось, что она могла бы лечь и подползти к нему, но великанша, ползающая перед карликом, — так получилось бы еще хуже и глупее. А он только развел руками, ручками, ручонками, ручоночками — тем самым жестом, который как бы означал: «Чего ты хочешь, я же не виноват», но мог означать также: «Ты мне ничего уже не сделаешь». И улыбнулся.

А потом стало еще хуже, так как он уменьшился до столь малого размера, что с легкостью (все большей) укрывался во всевозможных уголках, хотя она, естественно, не могла ему доказать, что он скрывается, исчезает с ее глаз умышленно. В поисках его, все более лихорадочных, даже панических, она все чаще проводила

все более долгие часы. Чтобы в результате найти его то в ящике письменного стола, в который он — по его словам — случайно упал, то под шкафом или батареей центрального отопления, а как-то раз он отыскался на дне пустой бутылки.

Вскоре он перестал быть виден невооруженным глазом. Она по-прежнему его искала, но теперь уже постоянно и вооружившись лупой. Иногда она его еще находила, но чаще всего — нет. Но если даже ей и удавалось его обнаружить, была то фигурка столь малая, что она могла лишь с трудом его распознать, то есть отличить от крошек, личинок и букашек. Теперь его лицо стало невозможно разглядеть даже через увеличительное стекло, она едва догадывалась, что это он, и уж тем более не видела выражения его лица. И все же ее мучила уверенность в том, что это микролицо улыбается.

Но наступил день, когда он совершенно исчез из ее поля зрения. И это было хуже всего.

Она перестала убираться и пользоваться пылесосом, опасаясь, что выбросит его вместе с пылью. Он мог находиться где угодно. В галактике висящих в воздухе пылинок, пронизанной лучами восходящего или заходящего солнца, в дымке, покрывающей зеркало от ее дыхания, между кристалликами соли в одной из ее слез. Он мог находиться везде, но по мере того, как он отдалялся в микрокосмос, область предположений разрасталась до макрокосмоса. И лишь одно знала она с полной уверенностью: что он существует (но где?), хоть его как бы и нет.

Даже в цивилизованном обществе немало времени должно пройти, прежде чем общество заметит исчезновение человека. Однако раньше или позже наступает все же тот момент, когда исчезновение мужа перестает быть тайной жены, поскольку муж, какой угодно муж, остается также человеком, а следовательно — членом общества, которое неизбежно предъявит за него счет. Соседи, работодатель и, наконец, естественно, полиция.

Ее показания, что он исчез, постепенно уменьшаясь, не были признаны удовлетворительным объяснением. В ходе длительного следствия ее причастность к случившемуся доказать не удалось. И тогда ее поместили в психиатрическую лечебницу.

Такое решение, как оказалось, было верным. Она перестала рассказывать свою безумную историю о муже, который уменьшался и уменьшался, пока не исчез окончательно. После длительного наблюдения решили ее выпустить из лечебницы как вылечившуюся и назначили конкретный день.

Накануне ее выхода из лечебницы там появился новый пациент. Был он учителем математики. Тридцать лет подряд, в ритме, определяемом расписанием уроков, с неизменным постоянством он объяснял очередным поколениям учеников сущность так называемой математической точки. «Итак, смотрите, — начинал он обычно свою лекцию на эту тему, — математическая точка — это такой пункт в пространстве, который существует, будучи бесконечно мал, иными словами — в любое мгновение он меньше себя самого. Вы видите его, да?»

Большинство учителей математики достигают пенсионного возраста без нарушений психики. Его же погубило это произвольное, только им используемое (вероятно, для оживления материала), а с позиций математического языка и абстрактных понятий совершенно излишнее вступление: «Итак, смотрите». И еще столь же неуместное завершение: «Вы видите его, да?»

В палате никто не захотел слушать скромного учителя. Наполеон был занят битвой при Ватерлоо, Нерон — сожжением Рима, Христос... словом — каждый своими делами. И только она выслушала его до конца, весьма серьезно и в высшей степени сосредоточенно. А когда он закончил этим своим: «Вы видите его, да?», она кивнула и убежденно ответила:

— Вижу. И вижу, что он улыбается.

И тогда ее оставили в лечебнице на неопределенный срок.

Страж китайской вазы

В столице большого цивилизованного государства есть музей, а в нем — отдел, посвященный восточному искусству. Среди многочисленных экспонатов немало таких, которые являются большой редкостью и представляют собой значительную ценность, как культурную, так и материальную. А среди этих раритетов особо выделяется уникальный экспонат, неповторимый, единственный во всем мире экземпляр. В силу своей уникальности он имеет огромную культурную ценность, денежную же его стоимость просто невозможно определить.

Этим экспонатом была китайская ваза. Уникальность вазы состояла еще и в том, что нашли ее не целиком, а в виде тысячи девятисот восьмидесяти двух черепков, а вернее, кусочков. Каждый из кусочков находили не сразу, а постепенно, извлекая их в течение пятнадцати лет из речного ила, который добывали со дна великой китайской реки, высушивали в особых условиях и затем просеивали через специальные археологические сита. По добытым таким способом частичкам удалось разгадать, каково было единое целое, не сразу, естественно, а шаг за шагом, в течение еще семи лет. Но еще семь лет должно было пройти, прежде чем вазу, разбитую пять тысяч лет тому назад на тысячу девятьсот восемьдесят два кусочка, разбросанных по дну великой китайской реки, сумели снова склеить, иначе говоря, воссоздать в первоначальном ее виде.

По причине неизмеримой ценности экспоната для него было выделено особое место в музее и приставлен специальный смотритель. Обычно в музеях смотрители наблюдают одновременно за несколькими экспонатами, здесь же его задачей было следить за этой, одной-единственной, китайской вазой. Так что его обязанности были более легкими, чем у коллег, зато во много раз более ответственными.

Учитывая столь высокую степень ответственности, достойную кандидатуру подобрали не сразу, а только после долгих поисков. То был мужчина в расцвете лет, без дурных привычек, счастливый супруг и отец, человек честный, наделенный высоким чувством долга. Возле китайской вазы поставили стул, на котором отныне предстояло ему сидеть по восемь часов в день, шесть дней в неделю и одиннадцать месяцев в году — одиннадцать потому, что ему полагался месяц ежегодного отпуска. На этот один месяц музей закрывали, чтобы провести необходимый ремонт и реорганизацию.

Экспонат, охраняемый столь бдительно — смотритель ни на минуту не сводил с него глаз, в этом и состояла его обязанность, — был, таким образом, надежно защищен от опасностей, угрожающих музейным экспонатам. Потенциальный грабитель или вандал, приближаясь к вазе в толпе посетителей, сразу же понимал, что здесь у него не было никаких шансов. Неустанное внимание бдительного стража сводило на нет любую попытку кражи или непредвиденной выходки. Злоумышленнику приходилось удалиться и перейти в те отделы музея, где возможность попытать счастья казалась более реальной. И если в течение многих лет в музее случались все же кражи и акты вандализма, то ни разу это не происходило с китайской вазой или даже вблизи нее. Предельная бдительность была залогом того, что возле вазы царило абсолютное и никогда ничем не нарушаемое спокойствие.

И все же это спокойствие не усыпляло бдительности смотрителя. Наоборот. Чем дольше он там находился — ведь прошло уже немало лет с тех пор, как ему поручили оберегать неприкосновенность вазы, а годы все шли и шли, — тем бдительнее оберегал он доверенное ему сокровище, тем подозрительнее становился взгляд, который он бросал на посетителей. Ибо, как показывает опыт, чем дольше ничего не случается, тем больше вероятность беды. И в то же время с течением лет неизмеримая ценность вазы, на которую никто даже не пытался покуситься, вовсе не переставала быть неизмеримой, а напротив — она возрастала, но не в

конкретных числах, ибо неизмеримость, или, иначе, бесконечность, возрастать не может, — возрастала сила воздействия ее легенды, ее мифа. Ведь чем дольше сохраняется неприкосновенность мифа, тем сильнее его воздействие, и остановить это воздействие может только осквернение мифа. И китайская ваза приобретала все больший вес как культурная и материальная ценность, легендарность которой с годами только усиливалась.

Постепенно, но неуклонно приближался страж бесценной вазы к пенсионному возрасту. Он по-прежнему был счастлив в семье, уважение к нему, благодаря столь безупречному несению службы в течение долгих лет, постоянно росло, и сделанные накопления — он, как известно, дурных привычек не имел — позволили ему стать хозяином небольшого дома с садиком.

И вот наступил наконец для него последний день службы, уже завтра он сможет передать свой пост следующему поколению и уйти на заслуженный отдых. В зале приемов шли приготовления к торжеству. Вечером предстояло попрощаться с уважаемым человеком, вручить ему медаль и почетный диплом, затем должен был состояться банкет с участием дирекции, представителей министерства и коллег. Он, как обычно, занял свой пост, но вдруг его впервые охватило предчувствие, что произойдет что-то необычное. Шестое чувство стража, обострившееся за тридцать лет службы, подсказывало ему, что сегодня случится нечто такое, чего до тех пор никогда не случалось. И его беспокойство можно было понять. Его мучили опасения, что именно сегодня — когда он в последний раз исполняет свой долг, свою обязанность, с которой ему удавалось столь безупречно справляться долгих тридцать лет, — кто-то покусится на святыню, им оберегаемую, и разрушит всю его карьеру, если он не сумеет предотвратить подобное святотатство.

И он усилил свою обычную, и без того повышенную и натренированную за долгие годы бдительность до крайнего предела. Он буквально пронизывал взглядом каждого, кто приближался к святыне, стремясь предугадать каждый шаг и каждое движение, упредить любой шелест и даже вздох. Он замирал в неутомимой готовности, чтобы при малейшем признаке опасности вскочить, предвосхитить, не допустить и предотвратить. Как же медленно проходили секунды в течение многих, долгих часов. Но чем дольше ничего не происходило, тем сильнее была его убежденность, что наконец должно что-то случиться.

Время шло к вечеру, близились сумерки и конец его переживаний. Но между тем предчувствие необычного события сменилось у него уверенностью, и, когда прозвенели звонки, извещающие посетителей, что наступило время покинуть музей, он не мог поверить, что день прошел и ничего, однако, не произошло. Ни сегодня, ни за последние тридцать лет.

Он не мог поверить даже тогда, когда последний посетитель исчез в дальних дверях, и позднее, когда в зале музея остался уже только он, один-одинешенек возле китайской вазы, по-прежнему нетронутой, невредимой и бесценной.

Разбить ее было нетрудно. Он с легкостью сделал это за считанные секунды, с помощью трости. С некоторых пор он страдал ревматизмом и ходил с толстой тростью. Разбив экспонат на тысячу девятьсот восемьдесят два куска, он это число еще утроил — растаптывая каблуками каждый кусок в отдельности. Затем покинул музей через боковой выход, никем не замеченный.

Он уходил с чувством, что жизнь его не прошла бессмысленно. Ибо, как оказалось, его тридцатилетняя бдительность была полностью обоснованной. Опасность, которой он был призван противостоять, существовала реально. К тому же он чувствовал себя бодро, как бы помолодевшим. И даже не на тридцать лет, а на целых пять тысяч.

В одно мгновение

Однажды незнакомый господин обратился к даме: «О, мадам!»

Дама бросила на него взгляд, но не прямой. Будь взгляд прямым, он мог бы подумать, что она посмотрела прямо на него, и сделал бы из этого соответствующие выводы. Какие? Прежде всего, что он вызвал ее интерес. Это, в свою очередь, могло бы склонить его к дальнейшим выводам, что само по себе не было нежелательно, однако чрезмерная уверенность, которая дальнейшим его выводам могла сопутствовать, желательна не была, поскольку дама, не имея в принципе ничего против подобных выводов, испытывала определенные сомнения по поводу этой самой уверенности. Дело в том, что дама скорее предпочла бы оставаться хозяйкой его неуверенности — которую она, возможно, могла бы обратить в уверенность, — нежели хозяйкой уверенности, над которой никакой властью уже не обладала бы. Помимо прочего, она и сама еще не до конца была уверена.

И дама посмотрела так, чтобы у него создалось впечатление, будто она на него посмотрела, но чтобы он был не вполне в этом уверен.

Что ни в коей мере не означало, будто она не посмотрела на него внимательно. Это может показаться противоречием, однако она умела посмотреть, почти не глядя и тем не менее все прекрасно видя. Объяснить подобный феномен вряд ли под силу нейрофизиологам, офтальмологам и оптикам. Вероятно, потому, что воспроизвести искусственно это явление в лабораторных условиях невозможно.

Итак, дама взглянула и увидела его во всех деталях, но одновременно — и в совокупности. В данный момент она пребывала в близких отношениях с неким другим господином, уже довольно давно, но их связь была осложнена благосклонным отношением этого господина к ее приятельнице, от которой, как подозревала дама, исходила определенная инициатива в поддержании упомянутой благосклонности в достаточно активном состоянии. Она, естественно, понимала, что приятельница, не будучи уверена в чувствах собственного мужа, желала таким способом проверить его чувства, а в случае необходимости — подвергнуть их испытанию. И все же ее не устраивало, что приятельница избрала именно это, а не другое средство, вернее, что этим средством мог оказаться друг дамы, если он уже не стал им *de facto*.

Дама, правда, взвешивала возможность — в виде справедливого реванша или просто на всякий случай — соблазнить мужа приятельницы, хотя и отдавала себе отчет в том, что подобный шаг может оказаться слишком рискованным. Ибо, если ее друг не стал еще фактическим любовником приятельницы, но все же оставался ее любовником потенциальным, то, соблазнив мужа приятельницы, она наверняка дала бы повод к тому, чтобы ее друг из любовника только потенциального превратился в любовника фактического, поскольку не подлежало сомнению, что ее приятельница сама не замедлит взять реванш. Так что риск был, пожалуй, неоправданным, прежде всего потому, что муж приятельницы не слишком ей нравился.

В создавшейся ситуации она могла бы воспользоваться господином, который как раз обратился к ней со словами «О, мадам», либо в виде реванша по отношению к своему другу, уступи тот домогательствам ее приятельницы в случае, если чувства ее (приятельницы) мужа — в стадии первоначальной проверки — показались бы той недостаточно сильными и потребовали решительного испытания, а уж тем более если чувства мужа уже начали подвергаться таким испытаниям, либо чтобы в самом зародыше расстроить планы приятельницы относительно ее друга, доказав им обоим (и если бы она помимо первого своего друга имела бы еще и другого, второго — это явилось бы доказательством неопровержимым), что тот, первый, основной друг не так уж для нее и важен. К тому же, независимо от ее предположений, будто приятельница стремится испытать чувства своего мужа, соблазняя (только пытаясь или уже фактически) ее основного друга, — она по-

дозревала приятельницу также, или, если честно, прежде всего, в обыкновенной зловредности. И потому, соглашаясь, чтобы «О, мадам», то есть то, с чем сейчас обратился к ней незнакомый господин, имело дальнейшие последствия, — она не только ничем не рисковала, но еще и приобретала широкие перспективы. Не говоря уже о том, что незнакомый (пока что) господин ей — в этом она была почти уверена — нравился.

«Который час?» — спросил господин и, получив ответ, удалился в неизвестном направлении.

Специальный корреспондент

В одной далекой стране ожидались важные события. Следовало как можно скорее послать туда специального корреспондента, однако средства нашей газеты были для этого слишком скудны, поскольку у нас было мало читателей и, следовательно, мало денег. Читателей могло быть больше, а следовательно, и больше денег, если бы мы имели возможность иметь по всему миру специальных корреспондентов, но, чтобы это себе позволить, нам нужно было иметь больше денег, что, в свою очередь, было бы возможно, имей мы больше читателей.

— Посмотрим на ситуацию трезво, — сказал главный редактор на собрании редакционного коллектива. — Что может там произойти? Только две вещи. Либо усиление репрессий, либо демократизация. Если мы рискнем и сообщим или то, или другое, есть пятьдесят процентов вероятности, что попадем в точку и наш специальный корреспондент окажется прав. Итак, что мы выбираем?

Мы решили поставить на демократизацию. Наутро в нашей газете появилось сообщение нашего специального корреспондента, что в той далекой стране наступила демократизация режима. Наша газета была единственной, которая напечатала подобный материал. Все остальные газеты писали о репрессиях, очевидцами которых стали их специальные корреспонденты.

Настроение на собрании редакции царило мрачное.

— И что теперь? Придется давать опровержение.

— Ничего подобного! — воспротивился главный. — Повторим то же самое, только добавим подробности. Ослабление цензуры, частичная амнистия, бóльшая открытость общества и тому подобное.

— Но ведь это будет такое же ложное сообщение!

— Всю ответственность я беру на себя.

Наутро нам звонили читатели и благодарили за оперативность информации. Сообщение о репрессиях, которое накануне поместили все другие газеты, оказалось неактуальным в свете новых фактов. В той далекой стране после репрессий наступила демократизация.

— Откуда ты мог знать? — допытывались мы у главного редактора.

— Ничего я не знал, просто я мыслю диалектически. Вначале могло случиться либо одно, либо другое, а дальше пойдет уже само собой.

— Значит, повторяем?

— Совсем наоборот. Завтра мы даем сообщение об обострении ситуации. На улицах танки, столкновения с полицией, в общем — все те дела.

Мы убедились, что он все правильно предусмотрел. В той далекой стране после демократизации начались репрессии. Мы начали понимать диалектику.

— Ага, значит, завтра демократизация? Послезавтра репрессии, затем демократизация, и так попеременно.

— Конечно. Я же говорил, что теперь проблем больше не будет. Нужно только быть внимательным, чтобы не ошибиться в очередности.

В качестве нашего специального корреспондента мы писали все более мастерски — раз о демократизации, раз о репрессиях. Мы всегда оказывались правы, и тираж возрастал. Теперь мы уже могли бы направить туда специального корреспондента, средств хватало, но зачем. Итак, все шло хорошо, только немного однообразно.

И тут нас собрал главный редактор.

— Что идет завтра? — спросил он.

Секретарь проверил по календарю.

— Репрессии.

— Выбросить.

— Но демократизация была вчера!

— Выбросить. Не будет ни репрессий, ни демократизации. Даем сообщение о тройном убийстве на сексуальной почве.

— Кто кого убил, как, где, когда?! — воскликнули мы хором. — Садомазохизм? Гомосексуализм? А может, кровосмесительство? И почему убийство тройное?

— Друзья, вы подтвердили мои предположения. Если уж вам надоела мировая политика, то что говорить о читателях. Мы стали им скучны, и тираж начинает падать. В связи с чем мы закрываем международный отдел и переходим на местный секс.

И он оказался прав. Но нам было жаль отзывать специального корреспондента. И писал он хорошо, и жил, что ни говори, в экзотической стране.

Внутренняя политика

Ясь отнял у Здисека игрушку. Здисек пожаловался на Яся своему старшему брату. Старший брат Здисека немедленно отправился на двор и дал Ясю пинка. Ясь побежал на фабрику безалкогольных напитков, расположенную по соседству, где работал его взрослый брат, и сообщил ему о пинке. В тот же день вечером брат Здисека был жестоко избит.

Отец избитого был приятелем хозяина фабрики безалкогольных напитков, где работал виновник избиения. Брата Яся уволили с работы. Но его тетка служила кухаркой у свояченицы жены начальника управления местной промышленности, и хозяина фабрики безалкогольных напитков лишили лицензии.

Племянник хозяина фабрики безалкогольных напитков работал в тайной полиции. И начальник управления местной промышленности был арестован. Губернатор, дальний родственник арестованного, счел это произволом и обратился за помощью к столичным властям.

Правительство страны, опасаясь возрастающего влияния полиции, обеспечило себе поддержку армии и лишило министра внутренних дел его полномочий. Влияние армии усилилось.

Однако, несмотря на энергичные шаги правительства, Здисек игрушку обратно так и не получил, она осталась у Яся.

Но Ясь тоже недолго радовался игрушке. У него ее отнял Юзик, брат которого служил в Первой Гвардейской танковой дивизии.

Так не поступают

Я прочитал в газете, что над нами летают спутники. Невооруженным глазом их не увидишь, не видны они и через бинокль, потому что летают в космосе. Зато они видят все. Мало того — все находящееся на земле они еще и фотографируют, да с такой точностью, что если что-то имеет не менее полуметра в длину или в

ширину, на фотографии получается настолько четко, будто снимал племянник на именинах или на свадьбе.

«Мне волноваться нечего, — подумал я, — у меня физиономия меньше чем полметра».

Но стал все же больше следить за собой. Ведь лицо может распухнуть от флюса, или — не дай Бог — даст мне кто-то по морде, и меня так сфотографируют.

Правда, зубы не подводили и никто меня пока что не бил. И вот однажды, раскрыв утром газету, я узнал: спутники усовершенствовали, и теперь они фотографируют все, что меньше полуметра, но больше тридцати сантиметров.

«Делать нечего, — решил я. — Придется теперь бриться хотя бы раз в неделю. А то вдруг плохо выйду на фотографии».

Бриться я не люблю, но своим достоинством дорожу, так что стал бриться раз и даже два раза в неделю, особенно перед выходом в город.

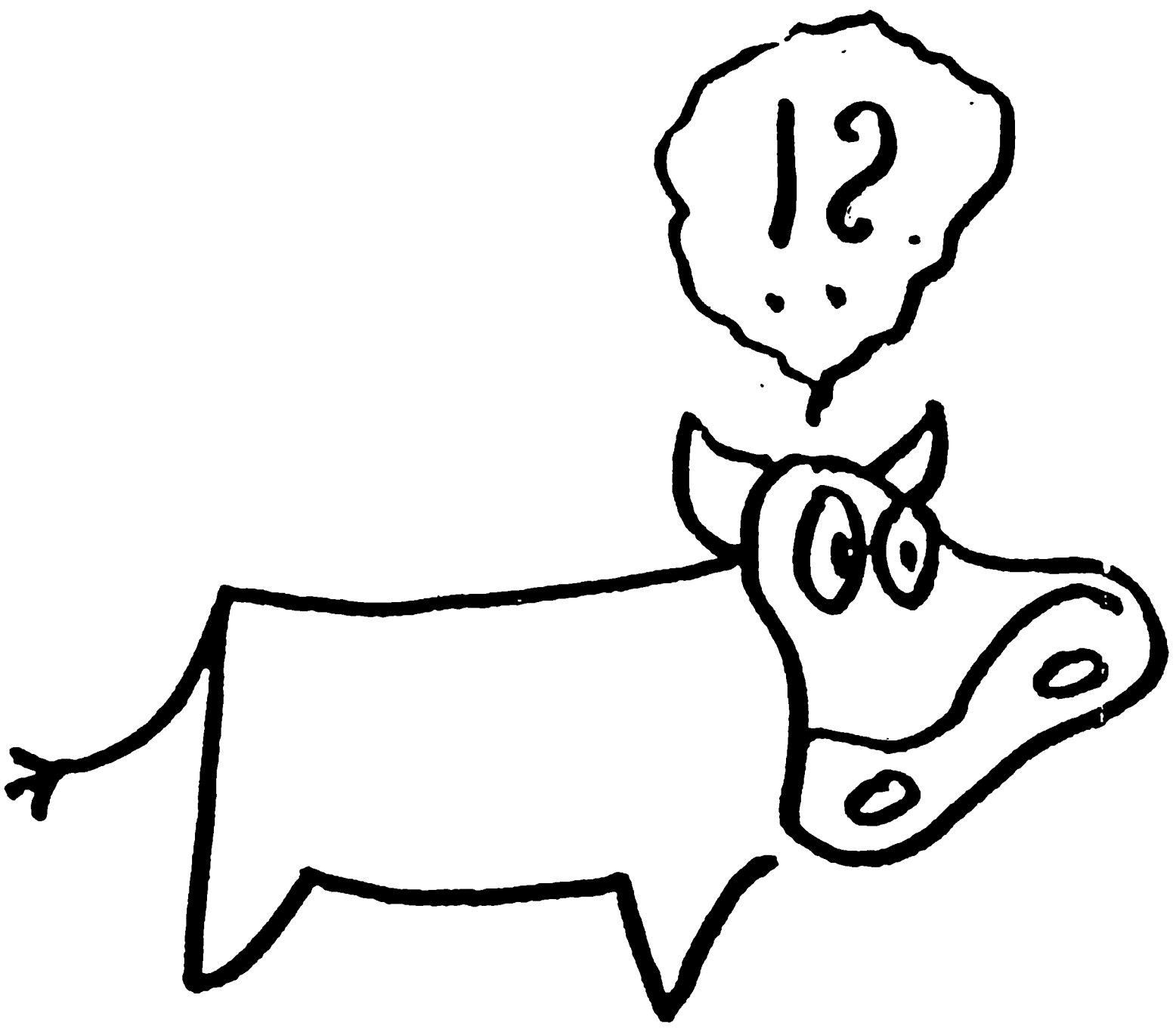
Но тут пресса сообщила, что техника идет вперед и теперь фотографируют уже все подряд независимо от размеров. Чтобы не отстать от техники, пришлось мне бриться ежедневно и купить новый галстук, что явилось непредвиденным расходом. Также ботинки чистить и вообще следить, чтобы каждый день выглядеть так, как раньше только по воскресеньям. На одни лезвия и гуталин я тратил в семь раз больше, чем до усовершенствования техники.

Когда я подавал заявление о пенсии, мне велели приложить к нему фотографию. Тогда я подумал: зачем идти к фотографу и снова платить, если у них и так полно моих снимков. И я написал в ООН, чтобы прислали мою фотографию. Решил — ведь положена же мне хоть одна. Или нет?

Но ответа не получил. Ждал, ждал — и ничего. А заявление надо было подать в срок, иначе остался бы я без пенсии.

Пошел я к фотографу, снялся, заплатил из собственного кармана и подал заявление. Потом сел в трамвай и поехал до последней остановки. Оттуда долго шел пешком, пока не очутился в поле. Осмотрелся — ни души, одни коровы и те далеко. Спустил брюки и выставил зад в сторону неба.

Пусть знают, что я о них думаю.



Памятник

Всемирный конгресс психоаналитиков принял решение возвести памятник Зигмунду Фрейду, открывателю психоанализа. Первоначальный проект предусматривал, что памятник, гранитный или бронзовый, будет изображать Фрейда в натуральную величину, а также две аллегорические женские фигуры. Одну из них, представляющую Подсознание, предлагалось усадить на его левом колене, другую, Сознание, — на правом.

Возникли сомнения относительно того, что будет делать Фрейд со своими руками. Не с правой, ибо было ясно, что правую руку он должен держать на голове Сознания. А вот относительно того, куда ему девать левую руку — ту, что со стороны Подсознания, — мнения разделились.

Вскоре, однако, эти разногласия отошли на второй план перед более важной проблемой. Было отмечено, что в композиции памятника недостает Сверхсознания. Так как Фрейд не мог иметь третьей ноги, фигуру Сверхсознания поставили за его спиной.

Однако такая доминирующая позиция Сверхсознания, пусть даже научно верная — Сверхсознание должно доминировать над Сознанием и Подсознанием, — открыла глаза критикам проекта на недопустимое уравнивание Сознания и Подсознания. Ведь они сидели на одном и том же уровне, каждая фигура на колене.

Тогда Подсознание сняли с колена Фрейда и положили к его ногам.

Теперь все стало на свои места. Подсознание, как ему и пристало, — в самом низу, над ним Сознание, а Сверхсознание над ними обоими. Попутно сама собой решилась проблема относительно того, что должен делать Фрейд с левой рукой, той, что со стороны Подсознания.

Когда настал день торжественного открытия памятника, оказалось, что Фрейд почесывает себе голову. Разразился скандал, поскольку подобный жест выражает сомнение и даже озабоченность.

Памятник тут же снова закрыли, а позднее заменили абстрактной скульптурой, изображающей шар на кубе. Каждый усматривал в скульптуре то, что ему хотелось, а психиатрия могла и дальше беспрепятственно развиваться.

Мизантроп

В купе никого не было. Я сел у окна и раскрыл книгу.

С шумом открылась дверь. Вошел субъект с большим чемоданом. Я снова погрузился в чтение, поскольку не имел никакого желания завязывать знакомство. Лишиться одиночества было бы слишком большой потерей.

— Вы занимаете мое место.

— Ваше место?

— Пожалуйста, проверьте.

Я забыл, в какой карман спрятал свой билет, но наконец нашел.

— Ваше место номер тридцать четыре, а это место — номер тридцать девять.

Я пересел напротив. Мне не хотелось уходить от окна, я намеревался любоваться пейзажем.

— Ваш багаж.

— Мой багаж?

Он показал на полку.

— А... Вы имеете в виду мое пальто...

— Согласно правилам — это багаж, поскольку занимает место, предназначенное для багажа.

Я забрал пальто с полки. Он с усилием поместил туда свой чемодан, разъяс-

няя мне попутно, что этот участок полки должен находиться в исключительном распоряжении пассажира, обладающего правом занимать место номер тридцать девять. Поезд тронулся, несколько резковато. Я приступил к созерцанию пейзажа.

— Вы заняли место номер тридцать восемь.

Я обернулся — на спинке кресла действительно находилась эмалевая табличка с этим номером.

— Место номер тридцать четыре — там...

Он указал на угол у дверей.

— Но какая разница? Ведь в купе больше никого нет.

— Дело в принципе.

Передо мной был выбор: либо вступить в открытый конфликт с этим маньяком, либо подчиниться. В обоих случаях я сумел бы дать ему удовлетворение, хоть и различными способами. И тогда я решил уйти из купе.

Встав, я чуть не потерял равновесие — локомотив, ускоряя ход, рванул вагоны. Чемодан над его головой сдвинулся на край полки. У меня мелькнула мысль, что следует ожидать новых рывков при следующем ускорении.

Не говоря ни слова, я пересел на тридцать четвертое место, менее удобное относительно пейзажа, но зато дающее более выгодную диагональную точку наблюдения за чемоданом моего попутчика.

Поезд притормозил, и чемодан сдвинулся обратно в глубь полки. Я начал сомневаться в правильности моих расчетов, мне следовало, как оказалось, учитывать и эффект торможения. Может, все же лучше перейти в другое купе?

— Да, да, уважаемый. Правила всегда следует соблюдать, — торжествующе сказал он тоном поучения.

Это определило мое окончательное решение — я остался с твердым намерением продержаться до конца. Ведь поезд еще не набрал полной скорости, так что надежда оставалась.

Я прикрыл глаза. Помимо книги и пейзажа, остается еще третье удовольствие от поездки — дремота. Но я не дремал — из-под прикрытых век я мог наблюдать за полкой, не привлекая к себе внимания, чего не смог бы делать читая или любуясь пейзажем.

Расчет оказался верным. Медленно, но неуклонно чемодан передвигался к краю. Между мной и его центром тяжести установилось интенсивное взаимопонимание. Решающий момент приближался.

И все же я решил дать моему попутчику шанс. Не из гуманных соображений и уж никак не из любви к ближнему. Из любопытства.

— Вы, похоже, принадлежите к ярым сторонникам правил. Можно узнать — почему?

Он оживился, явно то была его любимая тема.

— Видите ли, правила необходимы для того, чтобы сохранялся порядок. Без правил начинается бардак.

— Тогда я хочу вам кое-что предложить: давайте поменяемся билетами. Вы займете мое место, а я — ваше. Так мы не нарушим правил, поскольку билеты у нас не именные, а на предъявителя. Что скажете?

Некоторое время он ошеломленно молчал.

— А для чего, собственно?

— Потому что я люблю сидеть у окна. А вы?

Я ожидал ответа. Если бы он согласился, то был бы спасен.

— Но ведь место тридцать девять — мое!

— Я вас понимаю, да, это была бы манипуляция. Правила не могут быть абсолютно точными, однако это вовсе не значит, что нам позволено ими манипулировать. Разве не так?

— Ну конечно...

— И вы, следовательно, отождествляете правила с Провидением.

— С чем?

— С Провидением, с Судьбой. Правила исключают произвольность, то есть случайность, то есть хаос, стало быть, они олицетворяют собой глас Провидения, знак Судьбы.

— Вы это как-то так называете...

— Я говорю то же, что и вы, только другими словами. Вы говорите: порядок, я говорю: Провидение, вы говорите: бардак, я говорю: хаос, но ведь это одно и то же. Следовательно, правила имеют в себе нечто божественное. Теперь я понимаю, почему они для вас святы.

— Правила, уважаемый, — это правила, и все.

— Вот и чудесно, — сказал я и прикрыл глаза в знак того, что больше нам говорить не о чем. Так и было в действительности.

Когда чемодан свалился, он, пораженный в висок металлическим кантом, сполз на пол. Я думал, что он потерял сознание, и клянусь — я не желал этого, хотя бы потому, что теперь был в полной растерянности. Как приводят человека в чувство? И вообще — такие осложнения... Беспомощно оглядываясь, я увидел стоп-кран, снабженный надписью: «В случае опасности — сорвать». Опасность была налицо: если кто-нибудь не окажет ему первую помощь, его состояние может ухудшиться. Я сорвал.

В результате поезд опоздал на два часа, что привело к хаосу в движении поездов на дорогах всего региона. Однако это нарушение порядка нисколько не помогло — он, как выяснилось, умер мгновенно. Но я, несмотря ни на что, все время действовал в соответствии с правилами. Мне не в чем себя упрекнуть.

Прогресс и традиция

Каждый год в день государственного праздника в нашем городке проходило шествие. Губернатор стоял на балконе, а внизу шествовал народ. И никаких проблем не было.

Но в этом году настала демократия, и возникли сложности.

В принципе теперь на балконе должен был стоять народ, а губернатор — проходить внизу. Но он проходить уже не мог, поскольку перестал быть губернатором и был причислен к народу.

Так возникла проблема: кому следует шествовать перед народом.

Согласно принципам демократии, народ должен шествовать перед самим собой. Но как это сделать? Правильнее всего — на основе представительства. Было решено, что шествовать будут депутаты парламента, то есть демократически избранные представители народа.

Но балкон оказался слишком мал, чтобы поместить народ. Тогда решили разместить представителей на балконе, а народ внизу. В конце концов, если представители представляют народ, то безразлично, народ ли шествует перед представителями, или представители перед народом.

Наступил день праздника. Представители народа стали на балконе. Те, кому не удалось протолкаться в первый ряд, толпились в дверях, а некоторые из тех, у кого были особенно сильные руки, висели по бокам балкона. Началось шествие.

И все было бы хорошо, не рухни балкон. Он насквозь прогнил. Раньше балкон выдерживал только потому, что на нем стоял один губернатор, а с приходом демократии — обрушился.

Против того, что перемены произошли, трудно возразить. Но есть также и

преемственность традиций. А именно: денег как раньше не было, так их нет и теперь. Зато раньше достаточно было балкон чем-нибудь подпереть, а теперь нужно строить новый.

Дикий человек

Поймали мужики в лесу дикого человека. Был он почти голый и питался корешками. Выяснилось, что он не имел представления о падении коммунистической власти, от которой он в лесу скрывался.

— А теперь какая власть? — спросил он одного из мужиков.

Мужик почесал в затылке.

— А-а, какая-то такая...

— Говорят, демократическая,— сказал другой, более грамотный. — Ну как, выходишь?

— Да, выхожу, только дайте мне хоть какую одежонку.

— Э-э, не нужно. Весь народ полуголый бегает, так что не будешь от других отличаться.

— И корешков захвати, пригодятся.

— Тогда выхожу. Отправлюсь в столицу, осмотрюсь, что там и как. Может, даже президентом стану, если будет нужда.

И он отправился, а мужики принялись за работу. Прошло немного времени, и вот один из них, прикрыв от солнца глаза ладонью, посмотрел на дорогу и говорит:

— Он, похоже, возвращается.

И действительно, к ним приближался дикий человек.

— Забыл что-нибудь?

— Нет.

— Чего же ты тогда вернулся? Новая власть не понравилась?

— Да нет, она даже красивая, только, видать, я к лесу привык, лучше уж там останусь. А куда он делся, тот лес?

— Нет его больше, мы вырубили.

— Куда же мне теперь идти?

Сжалился тут один мужик над диким человеком.

— Есть у меня пустая каморка, сена подстелем, там и переждешь.

Поблагодарил дикий человек и зажил в каморке у мужика. Без удобств, зато под крышей, даже лучше, чем в лесу.

И снова ждет, но теперь и сам не знает чего.

Сделка

Путешествуя по стране, я заехал пообедать в город, где стоял военный гарнизон. В ресторан вошел лейтенант имперской армии и обратился ко мне.

— Танк не купите? — спросил он.

— А где он?

— Здесь.

— Можно посмотреть?

— Конечно.

Мы вышли из ресторана. На улице стоял танк.

— И сколько вы хотите?

Он назвал до смешного низкую цену.

— Я вам дам вдвое больше, но при условии, что вы мне доставите его в Моск-

ву. Я собираюсь там побывать как турист, тогда и заберу.

— А сейчас не возьмете?

— Нет. Я путешествую на машине. Вот в Москве — другое дело.

Он огорчился:

— До Москвы далеко... И еще через границу...

— Но я плачу двойную цену, половину сейчас, остальное в Москве.

Он вздохнул:

— Хорошо бы попить на дорожку...

Я поставил ему пиво, затем он сел в танк и поехал на восток, в сторону своей родины.

Конечно же, я в Москву вовсе не собираюсь. Да и танк мне в принципе не нужен.

Опрос

Выхожу я из супермаркета, а тут телевизионщики, и спрашивают меня:

— Есть Бог или нет?

— Сейчас скажу, — говорю я тому, что с микрофоном. — Только причешусь.

Достал из кармана расческу и причесался. Но тут вспомнил, что у меня на носу прыщ.

— Может, лучше в профиль? — спрашиваю того, что с камерой.

И повернулся к нему профилем.

— А что, если мне сбегать домой, переодеться во что-нибудь поприличнее? Я тут рядом живу.

Не отвечают. Я оборачиваюсь и вижу, что их возле меня нет. Уже какую-то тетку допрашивают.

Я хотел было влезть между ними и теткой — чего это она у меня выступление по телевидению отбирает, — но забыл, какой был вопрос, и вернулся домой.

Перевод Л. БУХОВА

Польско-польский диалог

А. Так вы утверждаете, что вышибли мне зубы и отбили почки ради моего же блага?

Б. Конечно. Должен же был вас кто-то избить — если б не я, это сделал бы кто-нибудь другой. Сами знаете кто. Но только он травмировал бы вас значительно сильнее: уж он бы вам не только вышиб зубы и отбил почки, но и сломал ключицы, вырвал ногти и выдавил глаза. Так что, вместо того чтобы меня ненавидеть, вы должны быть мне благодарны.

А. Значит, вы не потому меня искалечили, что я вам не нравлюсь?

Б. Я хотел уберечь вас от еще большего зла.

А. И вам самому не было в этом никакой корысти?

Б. Разумеется, нет, как вы только можете...

А. Никакой личной выгоды?

Б. Терпеть не могу личной выгоды. Прямо-таки отвращение к ней испытываю. Мне по сердцу только общее благо, а стало быть, и ваше тоже.

А. Выходит, вы ради меня собой жертвуете?

Б. Естественно, жертвую. Думаете, мне приятно зубы вам вышибать да почки отбивать?

А. А то нет?

Б. Что вы, в самом-то деле. Что за гнусные подозрения. Напротив, мне было чрезвычайно неприятно. *Я плакал, но бил.*

А. Действительно, настоящее самопожертвование. Столько неприятностей, столько труда. Вы ведь при этом чертовски устали, не так ли?

Б. Уфф, да уж, тяжкая была работенка.

А. Вот именно. Столько усилий, столько хлопот, и все ради меня — чтоб мне было не хуже, а лучше.

Б. Да-да.

А. Исходя из моих интересов, в заботе обо мне, ради моего же блага.

Б. Исключительно.

А. Ничего для себя, все — для меня. Не правда ли?

Б. Именно так.

А. Так вот, если то, что вы сделали, не принесло вам ни удовольствия, ни выгоды, а ровным счетом наоборот, если вы готовы на любые лишения, только бы мне стало легче, а не тяжелее, и поскольку вы, как я понимаю, сами меня на это уполномочили, в связи со всем этим...

Б. Ну, в чем дело?

А. Осмелюсь обратиться к вам с одной просьбишкой. Раз уж вы до такой степени собою жертвуете...

Б. Ах, право, я охотно, чем могу...

А. ...Так разрешите мне и дальше вас все так же ненавидеть.

Неосторожность

Он подошел ко мне, сел и начал:

— Я свинья.

— Согласен, — ответил я.

Он глянул на меня растерянно, не зная, шучу я или серьезно. Решил, что, должно быть, шучу, и продолжал:

— Я мерзавец. Сам не знаю, то ли это от подлого нрава, то ли от глупости.

— А почему не от одного и другого сразу? Ты столь же подл, сколь и глуп.

На сей раз он посмотрел на меня уже не растерянно, а удивленно, однако, заметив зеркало за моей спиной, вперил в него взгляд, и удивление в его глазах сменилось глубоким интересом. Он достал из кармана расческу и причесался.

— Я рад, что ты со мной откровенен... — продолжил я. — А я уж было думал, что это невозможно. Ты таков, каков ты есть, но, по крайней мере, отдаешь себе в этом отчет.

Он спрятал расческу, но у меня сложилось впечатление, что, причесываясь, он слушал невнимательно и даже забыл, о чем я говорил перед этим, потому что он произнес:

— Не отрицай. Ты не представляешь, сколько я в жизни пакостей натворил.

— Вовсе я не отрицаю. Я давно тебя знаю и абсолютно того же мнения о тебе, что и ты сам.

— Я скотина! Мерзавец! Подонок!

Закрыв лицо руками, он всхлипнул.

— Не забывай, что, кроме того, ты — кретин, болван и идиот.

— А может, я неврастеник? — предположил он, глядя на меня сквозь прижатые к лицу пальцы.

— Да нет же, просто дурак.

— Или шизофреник... Овеянный божественным дыханием безумия. Обществу этого не понять.

— Да какое там! Обыкновенный идиот, и все тут.

— Но что касается пакостей... Тебе не кажется, что это скорее исключение? Нечто ницшеанское, достоевское, что-то из «Путешествия на край ночи», из «Цветов зла», из лорда Байрона по меньшей мере...

— Нет, просто ты свинья.

Он оторвал ладони от лица и положил в рот мятный леденец.

— А может, дело в первородном грехе? Слаб человек, нельзя его осуждать. В меня норовишь камень кинуть, а сам... Уж лучше бы возлюбил меня.

— Исключено.

— Ну а если не божественное дыхание безумия, так, может, я — нищий духом? Блаженны нищие духом, ибо... Ну, сам знаешь. Может, хоть на это согласишься?

— Нет.

— Как это — нет?! За свинство мое ты меня должен возлюбить. Я же исповедался. Могу даже покаяться, если хочешь.

— Не стоит беспокойства.

— А если взять свинью по профессору Скиннеру? Человек не отвечает за свои поступки, поскольку таким его сформировала среда. Всему виной условные рефлексы. Я понимаю, первородный грех тебе не нравится, это старомодно. Но Скиннер?

— Тоже не то! Ты самый обыкновенный, заурядный подлец и дурак, вот и все.

— Ничего особенного?

— Ничегошеньки.

— Ничего интересного, занимательного, ничего такого, о чем можно было бы поболтать?

— Нет, ничего такого.

— Ну, тогда прощай, — холодно сказал он, встал и ушел. И, как оказалось, настучал. Одновременно и в Святую инквизицию, и атеистам-гуманистам. Дело пошло быстро — донос-то он писал под копирку.

Теперь я скрываюсь в горах. Сижу в шалаше, сплетенном из веток, трясусь от холода и думаю: на кой ляд мне все это было надо?

Власть

Диктатор долго был у власти, но переполнилась чаша народного терпения. Восстание возглавил отважный молодой Генерал, командир провинциального гарнизона. Форсированным маршем он прибыл в столицу во главе верных ему отрядов и окружил президентский дворец. Придворная гвардия Диктатора защищалась до последнего, однако победа революции была предрешена. После недолгой осады мятежные войска пошли на штурм и ворвались во дворец. Пока добивали последних преторианцев, Генерал, в сопровождении нескольких офицеров и иностранного корреспондента, направился в кабинет Диктатора. Это был подземный бункер в центре дворца, тайное тайных, овеянное легендами. Никто, кроме Диктатора, не имел туда доступа. Поговаривали, что там хранится вся государственная казна и самые важные документы, касающиеся внутренней и внешней политики.

Бронированная дверь была приоткрыта. За огромным золоченым столом красного дерева в королевском кресле сидел Диктатор, уронив голову на руки. Перед ним на столе, который был абсолютно пуст, лежали револьвер и ключ. Кроме письменного стола и кресла, никакой мебели в бункере не было, зато он плотно, до потолка, был набит картонными коробками. Они вспороли штыками первую попавшуюся, потом во все большем нетерпении вспарывали еще и еще, и так до последней. Везде было одно и то же: мышонок Микки Маус из дешевой пластмассы — огромное количество идентичных экземпляров. Груды, лавины, обвалы Микки Маусов обрушились и окружили их со всех сторон; они бродили в Микки Маусах по колено.

— Невероятно! — завопил иностранный корреспондент. — Немедленно даю телеграмму: «Сенсационное открытие в президентском дворце». Или нет, лучше так: «Тайна власти раскрыта!»

— Полагаю, вы этого не сделаете, — произнес Генерал и лично застрелил журналиста. Потом он взял со стола ключ и, покинув бункер вместе с личной охраной, запер дверь снаружи, а ключ спрятал в карман. После чего приказал, чтобы охранников незамедлительно расстреляли — прежде чем они успеют хоть с кем-то словом перемолвиться.

По случаю падения Диктатора ликовали все. Генерал, единодушно провозглашенный Президентом Республики, взял власть в свои руки. Свободная печать, возрожденная под его просвещенной опекой, возвещала расцвет обновленного государства, наступление эры благоденствия и возрастающей роли страны на международной арене. Залогом успеха были несметные сокровища и документы чрезвычайной важности, обнаруженные в президентском дворце. Теперь они должны были служить не эгоистической диктатуре, а интересам всей нации, всего народа.

Рассказ беглеца

Дракон, говорите? Страшный, говорите? Ах, девок ваших пожирает? И потому вы его убить порешили? Извините, но должен вас предупредить, что и мертвый дракон не подарок.

Уж я-то знаю, что говорю, я ведь как раз из тех краев, где тоже обитал дракон, точнее — где он некоторым образом остается.

Жил он много лет, и хоть многие его убить пытались, издох болезный сам, от старости. Мы ему, правда, малость вилами пособили, да только уж тогда, когда он зубы потерял и стал не так опасен. В конце жизни он этих девиц едва мог прожевать своей беззубой пастью, последняя партия даже выжила, хоть и выбралась

из драконьей пещеры порядком изжеванная. Вот так он и сдох.

Ну, конечно, радость была великая. Все собрались на площади, чтобы песнями и плясками отметить избавление от дракона. Три дня гуляли, а на третий день под вечер что-то как будто как-то...

Если честно, что-то стало невыносимо смердеть.

Не наша вина, что мы дракона не похоронили. Он же был до того громадный, что ямищу для этакой падали и выкопать-то невозможно. А если б даже мы ее и выкопали — как такую тушу с места сдвинешь? Вот он и загнил на свежем воздухе. Смрад с каждым днем усиливался, и ведь никуда от него не денешься — дышать-то надо. А что еще хуже, все пропиталось этой вонью — и земля, и пища, и одежда. Только огонь и остался чистым, чего не скажешь о дыме.

Завезли цистерну заграничных духов, но вонь с отдушкой оказалась еще хуже, чем вонь, так сказать, беспримесная. Некоторые затосковали по временам, когда дракон был жив-здоров. Конечно, от него и тогда душок был не ахти, но только в его логове да поблизости. Теперь же труп благоухал на всю округу.

А хуже всего — что девиц расплодилось видимо-невидимо. Никто их поголовья не прореживал, вот они и сидели теперь под каждым кустом: куда ни плюнь — везде девка. Ладно еще если б они спокойно сидели, так нет же — всюду носятся со своими лилиями, каждая тебе эту лилию под нос норовит сунуть да еще требует, чтоб ты ее за целомудрие славил.

Вот только что-то лилии не очень чтобы... Запашок, значится, того-с.

Как? Вы уходите? Не хотите послушать, что дальше было? Ну да я вам не удивляюсь, от меня и впрямь несколько пованивает, хоть я давно сменил одежду и моюсь каждый день. В кожу, видно, въелось.

Да, может, оно и к лучшему, что вы слушать не желаете, что дальше было. Потому как я сам не знаю.

Разочарование

Давайте посмотрим на разочарование по-новому — как на доказательство ума.

Кто не испытывает разочарований? Только тот, кто упорствует в заблуждениях. Но именно это и означает, что его разум спит, либо он попросту отсутствует.

Когда наступает разочарование? Тогда, когда ситуация, которую мы прежде оценивали положительно, представляется нам отрицательной. Но почему? Можно сказать: ситуация была хорошая, но постепенно изменилась к худшему. И обидеться на нее за то, что она изменилась. Однако можно сказать иначе: ситуация была нехорошей с самого начала, только мой разум спал, но — слава Богу — он вовремя проснулся. Так что все скверно, но не так уж скверно, ведь в конце концов я оказался не таким дураком, каким едва не стал. Так мы себя утешаем.

Естественно, обидно сознавать, что был дураком, хотя бы некоторое время. Оно, конечно, гораздо приятней считать себя умным — всегда, изначально — и, не виня себя в недомыслии, пусть даже временном, всю вину сваливать на внешний мир. Дескать, не оправдал он наших надежд, обманул, соблазнил, а потом бросил. Но что, если внешний мир не изменился, а с самого начала был таков, каким оказался после? Случается ведь, что потом, уже отрезвев, припоминаешь плохие признаки, которые поначалу не мог или не хотел замечать. И, хлопнув себя по лбу, восклицаешь: «Ну и дурак же я был!» Это хлопанье и раскаянье, естественно, ранят самолюбие, но стоят дороже, чем упорствование в ошибке, лишь бы этому самолюбию потрафить.

Вокруг мы то и дело видим людей, которые упорствуют в иллюзиях. Почему?

Одно из двух: либо гордыня не позволяет им признать ошибку, либо у них попросту с разумом неладно. Такие люди раздражают нас, уже выздоровевших. Если это гордыня, то мы узнаем ее по ожесточению, с которым они отстаивают ошибку. Они знают, что ошиблись, но только в глубине души. Чем больше они знают и чем глубже в душе запрятано это знание — тем упорней, тем громче, с тем большей запальчивостью они утверждают, что по-прежнему правы. Предпочитают считать себя непогрешимыми и требуют, чтобы их считали таковыми, только бы не признать очевидного. Кроме того, им наверняка жаль инвестиций, вложенных в иллюзию. Жаль энергии, веры, лет, посвященных тому, чему всего этого посвящать не стоило. Как же так — выходит, все было впустую? Все зачеркнуть, остаться у разбитого корыта, начать с нуля?

Впустую? Несомненно. Но не совсем. Ведь остается опыт. Однако, увы, опыт — вещь иррациональная, его не взвесить, не разложить по полочкам. Это только некая способность к точной реакции, состояние готовности к ее возможному применению, а не какие-то там достижения, накопления и приобретения. Те, кто предпочитает нечто иметь, нежели нечто уметь, опыту предпочитают приобретение: то есть неоспоримый факт, пусть даже он — неправда.

Те же, кто упорствует в заблуждениях по причине отсутствия ума, менее агрессивны в их защите. Они продолжают верить — тупо и относительно спокойно. Мы говорим о них, что они по природе наивны, и это форма нашей снисходительности. Они для нас меньшее зло.

Словом, не так уж все скверно. Не так уж... Было бы скверно, если бы не один пустяк: ошибка была очарованием, а правда, к сожалению, чем-то совсем противоположным. Да ведь потому-то переход от ошибки к правде и называется разочарованием.

Но может ли быть по-настоящему хорошо, когда все так печально?

Терзанья неприкаянной души

Мне всегда хотелось повстречать святого старца, который научил бы меня жить. Но так я его и не встретил. А ведь живу-то уже довольно долго, да и по миру поскитался.

А может, я его встречал, и не раз, но он, завидев меня, притворялся кем-то другим? Так почему же он не хотел иметь со мной дела? Почему прятался? Может, глаза мои не замечают святости там, где ее видят другие?

Уж в чем, в чем, а в святых-то старцах недостатка нет. Кое-кто из них даже в газетах о себе объявляет. Люди, не зная, как жить, ищут учителей, и те являются им во множестве. Так же, как в любом другом ремесле, в области духа есть скрытые шарлатаны и подлинные мастера. Говорят, мастеров распознают по особым флюидам, которые от них исходят и влияют на других.

Особенность этих флюидов в том, что с их помощью они порабощают окружающих. Не стану отрицать, что такое возможно, однако уверяю, что на себе ничего подобного не испытал. И даже чувствую себя слегка обделенным оттого, что не имею такого опыта, — а ведь он есть, конечно, правда, не у всех, но у многих, если верить многочисленным свидетельствам.

Уж настолько-то я дело знаю — всякий, кто причастен к культуре, не может этого совсем не знать, ведь это вещи общеизвестные, так вот догадываюсь, что мне ответят:

— Не испытал, потому что не хочешь от себя отказаться. Ты слишком собой переполнен, чересчур в себе закоснел, чтобы флюиды проникли в тебя. Больно уж ты к своему «я» привязан, чтобы на тебя благодать снизошла. Смири гордыню — тотчас снизойдет.

То-то и оно. А какой самый простой способ избавиться от самого себя? Подчиниться кому-нибудь, кто не ты сам. Принцип абсолютного повиновения — один из главных в любом монастыре, да только ли в монастыре? И в армии тоже, а уж более всего — в концлагере. Значит, можно предположить, что идеальные условия для избавления от своего «я», мешающего благодати, я нашел бы, будь я заключенным такого лагеря. Тем не менее не хотелось бы заниматься демагогией, все же есть разница между добровольным абсолютным подчинением и подчинением принудительным.

Ученик должен быть слепо послушен мастеру. Но кому должен быть слепо послушен мастер? Ответ: мастер послушен не кому-то, но чему-то, некоей внеличностной сущности, он непосредственно общается с надличностными, божественными силами, как бы мы их ни понимали. Стало быть, надо верить, во-первых, что такие силы существуют и, во-вторых, что данный мастер действительно их наместник на земле.

Есть ли способ проверить мастера на подлинность? Разоблачить шарлатана, убедиться в подлинности «настоящего»? Если даже и есть, то кто может это проверить? Ученик наверняка нет, поскольку ученик должен доверять мастеру безоговорочно. Некто извне системы, беспристрастный дилетант? Опять-таки — нет, поскольку он не принадлежит системе, значит, по своей дилетантской природе является скептиком. Другой мастер? Но кто проверит этого проверяющего?

Следовательно, все основано на вере. Именно верой обусловлено подчинение. Но вера — факт внутренний, психический, in pecto, тогда как подчинение проявляется в действиях и событиях внешней жизни. Ученик выполняет приказ мастера, выполнение приказа влечет за собой последствия в мире событий и фактов. Вопрос о подчинении неминуемо подводит нас к вопросу о власти, поскольку власть и подчинение — неразлучная пара: нет одного без другого.

Мастер обладает властью. На что он ее употребляет? Приказывает ли ученику то да се только во имя его духовного блага или же — как знать — из собственной корысти, пусть даже не материальной, а ради самого наслаждения властью? Не изгоняет ли он из ученика его личность для того только, чтобы заполнить своей личностью? Для того ли я должен отказаться от себя, чтобы кто-то другой в меня вселился? Неужели моему «я» суждено исчезнуть лишь ради того, чтобы чье-то удвоилось?

До чего охотно люди отказываются от самих себя. Оно и понятно — себя и впрямь нелегко выносить. Толпы ищут пророка, но чаще находят фюрера. Найдя его, они обретают счастье. Тревожный симптом: несколько сотен самоубийц (недавний случай с американской сектой) умирали в экстазе — как смертью, так и экстазом они были обязаны своему духовному вождю, который для непосвященных был просто жалким паяцем. Прежде чем покончить с собой, самоубийцы убили еще нескольких человек, так уж случилось, что больше не успели. Другие верующие вообще больше склонны убивать, нежели кончать жизнь самоубийством. Когда этих других миллионы — они убивают миллионы. Созданные ими государства и системы опираются на веру; предводительствуемые *фюрерами*, верующие объявляют их пророками. Себе они не принадлежат, поскольку всецело преданы *фюреру* и счастливы тем особым счастьем, которое оборачивается катастрофой для других, пока для них самих не кончится катастрофой.

Я — на свой страх и риск — предпочитаю не иметь понятия о том, как следует жить, чем получать инструкции из чужих рук. Пускай неудобно, зато не так опасно — и для меня, и для окружающих. С этим трудно жить, но, по крайней мере, от этого не умирают.

С приветом от...

Привет! Это я, ваш бессмертный, вечный, универсальный кретин.

Я был всегда, я побывал везде. Но только теперь мне по-настоящему хорошо, я под охраной, и виды на будущее у меня лучше, чем когда-либо в прошлом.

Ибо настало время двух непреложных истин: от них мне и хорошо — так хорошо, как никогда прежде.

Во-первых, признано бесспорным фактом, что меня нет. Так же, как и дьявол, я себя отлично чувствую в этом широко объявленном небытии. Известно ведь, что дьявол (кстати, мой кузен) — мастер перевоплощений, он лишь изредка и неохотно выступает в собственном обличье и хорошо знает почему. Всеобщая уверенность в том, что его нет, дает ему максимальную свободу действий. Точно так же и в моем случае. Вы только пребывайте в уверенности, что меня нет, дети мои, а я уж в долгу не останусь.

О том, что меня нет, объявлено не в лоб, но мне-то все едино. Мое небытие есть следствие весьма благородных побуждений и высоких целей. Никто меня не принимает в расчет, но для меня это и лучше. Мое небытие есть побочный продукт, случайный результа́т — подобно тому как в медицине новые и весьма интересные случаи заразы суть незапланированный и нежелательный итог искоренения заразы традиционной, следствие иммунитета микробов к новым лекарствам. Экология также изобилует подобными примерами. Короче говоря, когда объявили, что все люди равны, — из этого следовало, что никто никого не глупее. А стало быть, надлежало признать, во имя равенства, либо что все одинаково глупы, либо что все одинаково умны. Но выбор этот, по существу, никакой не выбор, так как оба утверждения в равной степени идиотские. Однако, щадя самолюбие масс, избрали вторую.

Другая бесспорная истина, укрепляющая мое здоровье, — это убеждение в том, что идеология (хотелось бы сказать — та или иная, да нельзя, поскольку речь идет всегда об одной идеологии — той, которую выбираешь как свою) автоматически наделяет разумом субъекта, который ее выбрал. При этом все идеологии свалены в две отдельные кучи, именуемые «левая» и «правая». Сегодня невозможно развернуть газету, включить радио, посмотреть и послушать, что говорит и показывает телевидение, поболтать с кем-нибудь, даже с самим собой, чтобы все — ну буквально все — не называлось «левым» или «правым». Никто уже не спрашивает, умно это или глупо, честно или нечестно, возвышенно или низко, мелко или крупно, открытое это или закрытое, редкое или частое, мягкое или твердое, круглое или угловатое, сухое или липкое, прямое или кривое, пахучее или вонючее, стоит оно или бежит, живет или сдохло, говорит, рычит или молчит, ядовито ли или хорошо на вкус, рептильное оно, пернатое, а может, пушное? Бог мой, сколько вопросов, можно задавать их до бесконечности — ведь мир бесконечно богат. Ан нет, остался только один вопрос: «прогрессивное или реакционное», «левое» или «правое»?

Такое обеднение, такое оскудение, такая пустыня, такая смерть разума и восприятия человеческого совершились прежде всего там, где уже настало царство идеологии, а потом двинулись в остальной мир и распространяются повсеместно.

Господин Мрожек не читает «Красную звезду», потому что давно знает ее назубок. Пока еще он просматривает «Интернэшнл геральд трибюн», но и то все более бегло, так как многое из того, что пишется в этой газете, он мог бы продекламировать наизусть, еще не начав читать. Слишком многое, все больше и больше — оттого-то ему так скучно, и все скучнее и скучнее.

А мне, Великому Кретину, только того и надо. Кому еще до меня есть дело, кто меня будет выслеживать да преследовать, если только одно и важно — «правое» или «левое». Нет-нет да вспомнят о Великом Инквизиторе, он пока немнож-

ко в моде, а вот о Великом Кретине уже и слыхом не слыхать. Гуляю себе где хочу, мне что «левые», что «правые» — все одинаково хороши, если только подходящий случай подвернется, с той ли, с этой ли стороны. То этих случаев больше тут, то там. Все зависит от исторического периода, то есть от того, в чьих руках власть. Причем необязательно власть в ее чистейшем виде, то есть власть политическая. Везде, где присутствует мода, связи ее с политикой причудливы, но несомненны. Туда, где модно, сбегается самое многочисленное мое потомство, детки мои, маленькие мои кретинятки. Они образуют ударную группу, готовят шабаши, пиршества и ритуалы, на которые являюсь я, Великий Кретин, во всем своем великолепии. Замечательные у нас бывают оргии.

Мелкие кретинчики, возлюбленные мои детки, оказывают мне немало услуг. Известно (смотри неоспоримую истину номер один), что никто никого не глупее. И вот какой-нибудь кретиноид в какой-нибудь из этих бесчисленных и бесконечных дискуссий вдруг объявляет, что ночью светло, а днем темно. В таком случае приличествует — ибо по-другому не подобает — вступить с ним в спор и доказать, что ночью темно, а днем светло. Таким образом, те, кому есть что сказать помимо этого и на более интересные темы, выдыхаются в этих спорах, да притом и выглядят по-дурацки, ибо всякий, кто берется доказать, что ночью темно, а днем светло, неизбежно выглядит идиотом. Зато маленький кретинчик, тот, что заварил всю эту кашу, идиотом отнюдь не выглядит, напротив, он «интересен», у него водятся «оригинальные идеи». Конечно, проще всего сказать: «Заткнись, кретинишка», но — нельзя, ни за какие сокровища — это было бы «неуважением к человеческой личности».

Да, обе эти неоспоримые истины — и номер один, и номер два — хорошее подспорье. Но открою вам главный секрет своего могущества: я ведь — не существую, я — сама сущность. Я — словно эфир, эктоплазма, энергия. Потому-то я могу проникать сквозь стены и черепа, и нет от меня спасенья. Просачиваюсь, пропитываю собою, сгущаюсь, привольно растекаюсь. Исторические условия то способствуют мне, то нет, но я по натуре своей вне истории и социологии, я от них в конечном счете независим.

Справедливо заметил когда-то господин Мрожек: «*Нет такого мудреца, который бы хоть раз, хоть разок не подумал и не ляпнул какой-нибудь глупости или не повел себя как дурак. Но нет и такого дурака, который бы хоть раз в жизни не подумал и не сказал что-нибудь умное или не повел себя разумно*». Браво, господин Мрожек, браво. А вы-то, как вы думаете, сами-то вы кто такой? Ну?.. Так вот, господин Мрожек, ввиду этого для вас же лучше будет, если вы на всякий случай сей же час, сию же минуту прекратите эту писанину.

Перевод А. БАЗИЛЕВСКОГО

■

ФИЛИП РИДЛИ

Башни веры

РАССКАЗ

Перевод с английского ДМИТРИЯ ВОЛЧЕКА

Когда мне было одиннадцать лет, к нам в школу пришла бывшая узница Освенцима. Мы собрались в актовом зале, где в инвалидном кресле сидела морщинистая седая старуха. Так как мой класс вошел первым, нас и усадили в первом ряду. Директор, стоявший около старухи, улыбнулся нам и торжественно кивнул.

Я понял, это важное мероприятие, потому что директор был в черном костюме. Он надевал его только при вручении наград (а еще, когда Мартина Баркера сбил пьяный водитель и нас созвали на особую молитву).

Я сидел прямо перед старухой. Она что-то шептала директору, подтягивая его к себе за лацкан пиджака. Зубы у нее были большие и желтые, как мореное дерево, а язык покрыт серым налетом. Один ее глаз был молочно-желтый — яйцо с разлитым желтком, другой — кроваво-красный. Она была в простом черном платье и толстых чулках телесного цвета.

Когда все расселись, директор сказал:

— Мальчики и девочки, сегодня нас удостоила своим присутствием миссис Хеллер. Она расскажет нам о том, что с ней случилось во время войны. Может быть, некоторые из вас кое-что и знают. Возможно, вы видели документальные фильмы по телевизору или вам встречались такого рода книги. Но это другое. Миссис Хеллер расскажет нам свою собственную, очень личную историю. Ужасную историю, дети. Ужасную. Но я думаю, это то, что все мы должны знать. — Он взглянул на старуху. — Миссис Хеллер, — произнес он и отступил назад.

— Я слепа, — начала миссис Хеллер, — но когда-то мои глаза видели. А видели они страшные вещи. Порой зрение может быть проклятием. Потому что вам приходится все время рассказывать людям о том, что довелось увидеть. Рассказывать им снова и снова до тех пор, пока они вам не поверят.

Она говорила, водя слепыми глазами по залу. Голос у нее был приятный и звонкий.

— Я родилась в Берлине, — сказала она. — Много лет назад. Еще до того, как вы появились на свет. До того, как большинство из ваших родителей появились на свет. Мой отец был врач. У меня были два брата. В двадцать три года я вышла замуж. Мой муж тоже был врач. Мы очень любили друг друга. Мы жили вместе с моей матерью и отцом и двумя братьями. Мои братья женились еще раньше. У меня было двое детей. Мальчик и девочка, близнецы. Я все это говорю, чтобы вы поняли, что́ я потеряла. Потому что все они: моя мать, отец, мои братья, их жены, мои чудесные близнецы — все они были убиты в Освенциме.

Не знаю отчего, но на меня напал смех. Я прикусил верхнюю губу так сильно, что почувствовал вкус крови.

Старуха продолжала свой рассказ: как они обрили ее наголо, вырвали зубы, заставляли ходить голой, секли ее. Я все слышал, слышал это бесконечное перечисление ужасов. Но в горле у меня по-прежнему клокотал смех. Чем больше ужасных вещей она рассказывала, тем больше мне хотелось смеяться.

— Я видела одного мальчика, — сказала миссис Хеллер, и по морщинам ее поползли слезы. — Ему было одиннадцать лет. Они повесили его. Они поставили

© Philip Ridley, 1990

его на стул, набросили на шею петлю и выбили стул из-под ног. Он умирал целый час. А нас заставили смотреть. Он дергал ножками, губы у него посинели, глаза выкатились. Он повизгивал как щенок. Это было ужасно, дети. Ужасно.

Я засмеялся. Директор грозно посмотрел на меня. Я смеялся все громче. И чем больше я смеялся, тем больше меня разбирало. Директор шагнул ко мне.

— Что случилось? — спросила миссис Хеллер.

Директор схватил меня за волосы и поднял на ноги. Он как следует тряханул меня, надавал затрещин и велел угомониться. Но я продолжал смеяться.

Я сижу на кухне напротив Лиз. Она прижимает к глазу мокрый платок.

— Дай я взгляну, — говорю я.

— Нет, — отвечает она. — Оставь меня.

Пауза.

— Я не хотел... — начинаю я.

— Ты именно этого и хотел, — перебивает она. — Ты об этом думал. Я знаю. «Я должен ударить ее, — думал ты. — Наказать ее. Нужно преподать ей урок. Крошку надо вразумить».

— Хочешь сказать, ты этого не заслужила? — спрашиваю я, и меня вновь охватывает гнев. — Скотина! Я бы тебя убил!

— Ну так давай! — кричит она. Отнимает платок от глаза. Веко распухло, и глаз покраснел. Под ним уже расплывается синяк. — Ты этого хочешь?! Давай, убивай меня!

Она уходит из кухни в спальню. Я слышу, как хлопнула дверь и взвизгнули пружины кровати.

Мы с Лиз живем вместе пять лет. Мы познакомились в университете. Все говорили: идеальная пара. И я тоже так думал. До сегодняшнего дня, когда, вернувшись раньше времени после уик-энда в Брайтоне, я открыл входную дверь, вошел в гостиную, бросил портфель на диван и услышал шум в спальне.

Не могу поверить, что она это сделала. Не могу этого принять. Она не могла, не могла так со мной поступить. Зачем она это сделала? Это так на нее не похоже. Она не способна на такое. Просто невозможно, чтобы такое случилось.

Директор сказал моему отцу:

— Конечно, я должен был бы исключить его.

Мы сидели в директорском кабинете. На отце был серый костюм. Я сидел рядом с ним, склонив голову; мои опухшие руки еще не отошли от розог.

— Я никогда не испытывал такого стыда, — продолжал директор. — Ни разу за все годы моей работы. Это было отвратительно.

— Да, — сказал отец, — могу себе представить.

— О, боюсь, что не можете, мистер Стэмп. Это было куда ужаснее, чем все, что вы можете вообразить. Поверьте мне.

— Он хороший мальчик, — сказал отец.

— И я всегда был того же мнения.

— Он все еще горюет, — сказал отец.

— Я понимаю это, мистер Стэмп. — Директор глубоко вздохнул. — Я не буду исключать его, но я отстраню его от занятий. На одну неделю. Мы знаем, какую потерю понесла ваша семья, и очень сочувствуем. Однако это не оправдание. — Он постучал костяшками пальцев по столу. — Это не оправдание, Лэмберт. Ты меня слышишь? Отнюдь не оправдание.

Годом раньше. Мы с отцом ждали, когда мама придет с работы домой. Был холодный, ветреный вечер. Мама опаздывала, и отец беспокоился.

Мама работала в книжном магазине. Она заканчивала в половине шестого и неизменно возвращалась самое позднее в семь. Сейчас было уже около девяти.

— Пробки, — сказал отец, — не иначе. Чертовы автобусы и метро.

— Да, — сказал я, — наверное.

— Она могла бы позвонить, — продолжал отец. — Предупредить нас. Я для этого и установил телефон. Для таких вот случаев. Чтобы можно было позвонить и сказать: «Не волнуйтесь». Для того и существуют телефоны. Чтобы люди не волновались.

Через несколько минут появилась мама. Притащила сумку с покупками.

— Где ты была? — сердито спросил отец.

— Не кричи на меня. Я видела нечто ужасное. — Она поставила сумку на стол. — Я ехала в автобусе. И автобус остановился. Вот я и сидела. Как ты сейчас. А потом я услышала сирены. Полицейские машины. Пожарные. «Скорые». Никогда их столько не видела. — Она посмотрела на нас. Ее губы дрожали, а лицо было бледное-пребледное. — Я вышла из автобуса и увидела...

— Что? — спросил отец.

— Я не могу об этом говорить, — ответила мама. — Я хочу лечь. — Она сбросила туфли. — Я не голодна. Просто очень устала. — Она поцеловала меня в щеку. — Спокойной ночи, Лэмб.

Мы с отцом посмотрели друг на друга. Отец пожал плечами и сказал:

— Я поставлю ее ужин в духовку. Она захочет есть, когда встанет.

Позже по телевизору показывали новости, и мы узнали, что́ видела мама. Вспыхнул пожар на станции метро. Больше тридцати человек пропали без вести. Мамин автобус, догадался я, проходил как раз мимо станции. Показали кадры: валит дым, беспомощно суетятся пожарные, одеяло, наброшенное на труп, дым валит еще пуще.

— Ты и не думал, что такое случается, а? — спросил отец. — Несчастные люди. Сгорели заживо.

Утром мама разбудила меня. Она раздвинула шторы и сказала, что я опоздаю в школу. Она была уже одета и собиралась на работу.

— Тебе лучше? — спросил я.

— Конечно, дорогой. Не сравнить. Это был просто шок. Сейчас гораздо лучше.

— Ну а что же ты видела, мама? — спросил я весело.

— Пожар, дорогой.

— А ты видела...

— Я не хочу говорить об этом, Лэмб. Давай вставай и одевайся. Папа тебя ждет. Вечером увидимся.

Отец подвез меня к школе. Когда машина остановилась у ворот, он сказал:

— Знаешь, она всю ночь проплакала.

— Но что она такое *видела*?

— Не знаю, — сказал отец. — Она только сказала, что это было ужасно.

Мне пришлось пообещать директору, что я пойду к миссис Хеллер и извинюсь за свое поведение. Мне этого совсем не хотелось. Но выхода не было.

Миссис Хеллер жила в доме-башне. Там было двадцать четыре этажа, и миссис Хеллер жила на последнем. Меня отвез туда отец. Он заставил меня потратить на букет цветов все мои карманные деньги за неделю.

— Будь с ней любезен, — предупредил он.

— Конечно, — ответил я.

— Она много страдала. И она старая. Ты поступил очень плохо. Ты должен все объяснить. Скажи ей о маме, если хочешь. Скажи, поэтому ты и смеялся.

— Да нет же, — ответил я. — Я *не знаю,* почему я смеялся.

— Тогда придумай что-нибудь еще, — сказал отец.

Лифт не работал, и мне пришлось подниматься пешком. На лестнице было темно, очень холодно и воняло мочой. Пока я взобрался на самый верх, совершенно

выдохся. Я постучал в дверь миссис Хеллер. Мне открыла немолодая женщина. В уголке рта у нее торчала сигарета, а руки были в розовых резиновых перчатках.

— Ну? — сказала она.

— Я пришел повидать миссис Хеллер.

— А кто ты?

— Лэмберт Стэмп, — сказал я. — Я тот...

— Мальчик, который смеялся, — кивнула она. — Входи.

Я вошел, и она закрыла за мной дверь. В квартире пахло хлоркой.

— Проходи, — сказала женщина. — Она наверху, лежит. — И провела меня в тускло освещенную комнату. Миссис Хеллер сидела в постели.

— Это Лэмберт Стэмп, — сказала женщина в резиновых перчатках. — Мальчик, который смеялся.

Миссис Хеллер уставила на меня свои незрячие желтый и красный глаза. На руках она держала полосатую кошку. Кошка посмотрела на меня и облизнулась.

— Ты видишь, где я живу? — сказала миссис Хеллер. — *Как* я живу? Они решили, что я недостаточно пострадала. И что же они сделали? Они сказали: вот старуха, которая еле ходит и ничего не видит, давайте поселим ее на верхнем этаже самого высокого здания в городе. А потом удостоверимся, что лифт работает пять дней в году. — Она засмеялась. — Они думали, что заставят меня замолчать. Но не смогли. Беда в том, что, когда я рассказываю, люди смеются.

Я смутился, переступил с ноги на ногу. В комнате пахло арахисом.

— Здесь очень темно, — сказал я.

— Я слепая, — ответила миссис Хеллер. — Или ты не заметил?

— Заметил, — сказал я, сжимая в руке цветы.

— Подойди-ка поближе. Я тебя едва слышу. Почему это все говорят шепотом?

Я подошел поближе.

— У меня остались только мои слова, — сказала она. — Я говорю и говорю. Снова и снова рассказываю людям о том, что видела. А знаешь, почему я им рассказываю? Потому что люди легко забывают. Вот почему. Покажется им что-то слишком ужасным, и они предпочитают этому не верить. С нами такого не случится, говорят они. Или: это не может случиться здесь. Но это может случиться с кем угодно и где угодно. Вот в чем весь ужас. Я хожу по школам и рассказываю молодым. Потому что дети видят это только в фильмах, и им кажется, что это вымысел. Потому что когда мы это смотрим, мы жуем шоколад и пьем газировку, а если это по телевизору, просто переключаем канал. И смотрим мультфильмы, и спортивные программы, и мыльные оперы. Мы больше не хотим думать о немыслимом. Вот почему моя задача — все время рассказывать. Для моего блага, и для их блага тоже. Понимаешь, видеть — не значит верить. Верить — это значит рассказывать и чтобы тебе верили. Вот я и говорю им, что это может случиться снова. И ты знаешь, где это может случиться, Лэмберт Стэмп?

— Где угодно, — ответил я твердо.

— И с кем?

— С кем угодно, — ответил я.

— Вот именно. — Она улыбнулась и погладила кошку. Кошка потерлась о ее распухшие в суставах пальцы и замурлыкала. — Эта кошка теперь мой единственный друг, — сказала миссис Хеллер. — Моя детка.

— А та женщина — ваша дочь? — спросил я.

— Какая женщина?

— Которая меня впустила.

— Нет, — ответила миссис Хеллер. — Она моя домработница. У меня нет детей. У меня их забрали. Обоих. Они были твоего возраста. Их убили. А ты смеялся. Ты злой. Злой мальчик. — Она заплакала.

Я стоял и смотрел.

Дверь открылась, и вошла женщина в резиновых перчатках.

— Ну вот, опять, — сказала она. Шагнула к миссис Хеллер и вытерла ей слезы. — Почему бы вам, черт возьми, не сделать передышку?

— Мне надо рассказать... — начала миссис Хеллер.

— Мы все это уже слышали. Теперь отдыхайте.

Женщина в резиновых перчатках вывела меня из комнаты. Кошка спустилась с нами.

— Я принес цветы, — сказал я.

— Я их возьму, — сказала женщина.

— Я извинился перед ней.

— Ее это не интересует. Эти ее истории — они у меня уже в печенках. Ну какой в этом смысл? Без конца прокручивать одно и то же. Никто и не хочет слушать. — Она открыла входную дверь. Кошка выбежала на лестницу. — Чертова тварь. Наверняка у нее блохи.

— Ее детей убили, — сказал я.

— Знаю, — ответила женщина, — но это уж не моя вина.

Я сижу в гостиной. Лиз по-прежнему в спальне. Я слышу, как она плачет. На полке рядом со мной — фотография. Мы снялись в тот самый день, когда въехали в эту квартиру. Мы сидим на деревянных ящиках и держимся за руки. Волосы у Лиз были тогда длиннее, и она носила очки, а не контактные линзы. И выглядит она чуть полнее.

Я внимательно изучаю снимок. Не кроется ли здесь какая-то тайна? Какой-нибудь знак на лице Лиз — выражение недовольства, подернутые скукой глаза, усмешка — что-то, что бы выдало ее слабости, потаенные страсти, которые она прикрывала привычными ласками. В тот момент, сидя на ящиках, сжимая ее руку, глядя в объектив, я чувствовал, что знаю ее, знаю каждую ее грань, каждое чувство, желание, импульс. Я чувствовал, что она часть меня, мое продолжение. Я знал, о чем она думает, что она сейчас станет делать. У нас были общие симпатии и общие антипатии. В постели я инстинктивно понимал, как доставить ей удовольствие: нежно дышал в ее полуоткрытый рот, гладил ей пальцами губы, покусывал мочки ушей. Я никогда не думал «Я», только «Мы». Что *мы* собираемся делать, во что *мы* верим, что *мы* хотим.

И вот все изменилось. Она в спальне, плачет. Я знаю, как она лежит на постели, лицом вниз, зажав ногами подушку, в руках скомканные платки. Ее глаза покраснели, опухли, ее бьет дрожь. Она хочет, чтобы я вошел, сел на край постели, произнес ее имя. Но я этого не сделаю. Не могу. Вдруг я сяду и почувствую запах соития? Слабый, отдающий металлом дух подсыхающей спермы.

Что он делал с ней? Нежно дышал ей в рот, гладил протянутые губы, ласково покусывал мочки ушей? Говорил ли он, что любит ее? Говорила ли она, что любит его? Обнимала ли она его так, как обнимала меня, одной рукой обхватив за голову, другой гладя щеку? Видел ли он те тайные местечки, которые принадлежали только мне? Издавала ли она звуки, предназначенные только для моих ушей?

Я снова всматриваюсь в снимок. Должен же быть какой-то знак, какой-то ключ, зашифрованное послание, прочтение которого объяснит грядущее предательство. Должно же быть что-то, чего я не вижу. Иначе бы я понял.

На следующий день после пожара в метро я вернулся домой из школы и увидел, что мама спит на диване в гостиной. Она не сняла ни пальто, ни туфель.

— Мама, — позвал я.

Глаза ее открылись, увидели меня и опять закрылись.

— Мама, — позвал я снова. — Ты заболела?

— Я устала, только и всего, — сказала она.

— Утром с тобой было все в порядке.

— Это нашло внезапно, — сказала она. — Я вытирала пыль с книг и вдруг почувствовала, что мне необходимо домой. Я с таким трудом добралась.

— Ты бы сняла туфли, — сказал я.

— Сними их с меня, Лэмб.

Это были черные кожаные туфли на шнуровке, в которых мама обычно ходила на работу. На чулках у нее спустились петли. Я сказал ей.

— Это неважно, — ответила она. — Действительно неважно. — Она села и схватила меня за руку. Усадила рядом с собой на диван. — Я должна рассказать тебе. О том, что случилось вчера вечером. Рассказать, что я видела.

— Ну? — спросил я.

— Всюду были машины «скорой помощи». И пожарные. Люди кричали. Там была одна женщина — моего возраста, она не могла найти своего сына. Она металась и выкрикивала его имя. «Адам! — звала она. — Адам! Адам! Адам!» А прохожие просто стояли и смотрели. Никто ничего не мог поделать. Мы просто стояли и смотрели. Ты слышишь меня, Лэмберт? Мы просто стояли там и смотрели! — Она плакала.

— А что вы могли сделать? — сказал я.

— Не знаю. — ответила она, еще крепче сжав мою руку. — Что-нибудь. Да что угодно. Мне надо было броситься туда, схватить первого попавшегося человека, вытащить его из огня.

— Но ведь для этого были пожарные.

— А потом, — продолжала она, задыхаясь, — потом я увидела его. Человека, выбегавшего из метро. Он был объят пламенем, Лэмб. Я видела, как горит его лицо. Он был совсем рядом. Его кожа плавилась. Как воск. А я смотрела. Мы все смотрели. Смотрела вся толпа. В толпе были дети, и они тоже смотрели. Никто не проронил ни слова. Никто не вздохнул, не заплакал, не вскрикнул, не пошевелился. Мы просто молча смотрели. Человек... горящий человек... он прошел шесть шагов. Я считала их, Лэмберт. Сосчитала их все. Помню, я подумала: «Пока он идет, он жив. Иди, не останавливайся. Не останавливайся». К нему подбежал пожарный с одеялом в руках. Горящий человек... он... он упал на землю, и пожарный набросил на него одеяло. Человек еще кричал... Я до сих пор слышу его крики, Лэмб... Я их слышу...

— Мама, перестань!

— Я должна рассказать тебе! — Она так громко плакала, что едва могла говорить. — Должна... рассказать тебе... Подбежал другой пожарный. Они... они сбили огонь. Они подняли одеяло. Этот человек... он весь обгорел, Лэмберт. Как полено. У него больше не было лица. Ни глаз. Ни ушей. Ни носа. Остался только рот. И он кричал. Кричал не переставая. Я видела во рту белые зубы. И ярко-розовый язык. Ярко-розовый овал в горелой черноте. И он кричал, и кричал, и кричал... — Она закрыла лицо руками.

Я посмотрел, как она плачет, и уложил ее в постель. Она все плакала. Когда отец вернулся домой, я рассказал ему, что произошло.

— Это шок, — сказал он, — только и всего. Не о чем беспокоиться. Она всегда была чересчур чувствительной. Я как-то раз повел ее на фильм ужасов. Там девушке отрубали голову. Твоя мать чуть в обморок не упала. Я твердил ей: «Это всего лишь фильм, они — актеры». Но ей все равно снились кошмары. На какое-то время даже перестала выключать на ночь свет. Она очень нервная. Вот и все.

— Может, вызвать врача? — спросил я.

— Незачем. Она поправится. Знаешь, в войну люди видели вещи и похуже. Моя старенькая мама рассказывала мне, как они сидели в убежище во время налета. Человек сто. Ну и стали падать бомбы, одна упала так близко, что в этом подвале прорвало трубы. С горячей водой. Маме повезло. Она была возле двери и выбралась. Но другие... Они обварились насмерть. Погибло больше шестидесяти человек. Мама говорила, она никогда не забудет, как обернулась и увидела, что все эти

люди варятся заживо. С них кожа слезала. Но мама пережила это — так мы устроены. Мы должны уметь забывать. Если бы мы все помнили, мы бы с ума сошли, а?

— Наверное, — сказал я.

Отец приготовил поесть, и я отнес маме поднос. Я поставил его на тумбочку и сказал ей, чтобы она поела, пока не остыло. Она что-то пробормотала.

— Что, мама? — спросил я.

— Он горел, — сказала она.

Когда я вернулся от миссис Хеллер, отец спросил меня, как все прошло. Я сказал, что все прошло прекрасно и она приняла мои извинения. Он спросил, что у нее за квартира, и я ответил, что там было темно и плохо пахло.

— Ты сказал ей про маму? — спросил он.

— Я же тебе говорил, — ответил я. — Мама здесь ни при чем.

Ночью мне приснилось, что я кошка на руках у миссис Хеллер. Я лежал, свернувшись клубочком, и она кормила меня арахисом. «Этот мальчик злой, — сказала она мне. — Я знаю. Страдания обостряют чутье на зло. Я могу почуять зло где угодно. Этот мальчик злой».

Помню, я думал, что случится, если она обнаружит, что это не ее кошка, а я, Лэмберт Стэмп, злой мальчик, мальчик, который не принимает всерьез ее страданий.

Утром за завтраком отец спросил:

— Что ты будешь сегодня делать?

— Не знаю, — ответил я.

— Только не отставай в учебе, — сказал он.

— Ладно, — ответил я.

— Ты умный парень, Лэмб. Все так говорят. Я хочу, чтобы ты учился как следует. Сдал экзамены, поступил в университет.

— Папа, до этого еще сколько лет.

— Время пройдет быстрее, чем тебе кажется, — сказал он. — Вот увидишь. Твоя мама хотела, чтобы ты стал учителем.

— Зачем ты ее всегда сюда припутываешь?

— Я не собираюсь ее забывать, если ты это имеешь в виду.

— Я имею в виду не это. Но ты без конца о ней говоришь. Это не поможет.

— Не поможет чему?

— Ничему, — сказал я.

Отец встал, надел пиджак.

— Ты странный мальчик, Лэмб, — сказал он. — Иногда я тебя совсем не понимаю. Ты как будто совсем не скучаешь по маме. Ты даже не заплакал ни разу. Ты ведь так ее любил. А теперь... ведешь себя так, словно ее и не было. — Он взял портфель и посмотрел на меня. — Ты иногда меня пугаешь, — сказал он.

Несколько недель спустя после пожара мама исчезла. Это было в субботу утром. Она пошла за покупками в угловой магазин и не вернулась. Мы с отцом сели в машину и поехали ее искать.

— Это уже переходит все границы, — раздраженно сказал отец. — Ей надо взять себя в руки. С меня достаточно.

Отец позвонил в полицию. Они сказали, что ничего не могут поделать: она отсутствует совсем недолго. Отец объяснил, что после пожара она странно ведет себя. Полицейский спросил, не пострадала ли она во время пожара.

— Нет, — сказал отец. — Но она видела его.

Вечером мама вернулась. Она целый день бродила по улицам.

— Мы безумно волновались, — сказал отец.

— Прости, — ответила мама.

— Куда ты ходила?

— Да никуда. Просто гуляла.

— Я звонил в полицию.

— Зачем?

— Потому что думал, с тобой что-то стряслось! — Он обхватил мамины плечи и крепко сжал их. — Тебе надо от этого освободиться! — закричал он. — Ты меня слышишь?

— Он горел, — сказала мама. — Я только это и вижу. Он сгорел дотла и кричал. Ярко-розовый рот с блестящими зубами. Кричал и кричал. Я вижу его, когда закрываю глаза. Он снится мне по ночам. От этого никуда не деться.

— Но ты же не пострадала! — крикнул отец и встряхнул ее. — Ну почему я не могу тебе это вдолбить? Ты выжила! С тобой ничего не случилось!

— Я знаю, — сказала мама.

— Как же тебе не стыдно так себя вести? Ведь ты видишь по телевизору людей, которые были обезображены. Изуродованы на всю жизнь. А матери, потерявшие сыновей? Тебе не стыдно так себя вести, когда они держатся с таким мужеством?

— Да, — тихо сказала мама, — но это ничего не меняет.

— Чего не меняет?

— Того, как он кричал.

Я стучу в дверь спальни.

— Лиз, — говорю я. — Выходи. Пожалуйста. Нам нужно поговорить.

Я иду на кухню и ставлю чайник. Я все думаю, было ли бы лучше, если бы я ничего не знал? Предположим, я провел бы весь уик-энд в Брайтоне. Предположим, не вернулся бы раньше времени домой. Предположим, не застал бы ее в постели, обхватившую ногами другого — этого мальчишку.

Должно быть, я выглядел идиотом. Я так и застыл на месте с открытым ртом, уставясь на них. Помнится, мне хотелось закричать. Незнакомец кое-как оделся и бросился мимо меня вон из квартиры. Ему было лет девятнадцать. У него были густые светлые волосы.

Я помню, как Лиз встала с постели, тело ее блестело от пота. Она надела ночную рубашку, прошла мимо меня на кухню. Я пошел за ней, и какое-то время мы молча сидели за столом. На столе лежал недоеденный сандвич. Я стал катать хлебные крошки.

— Это продолжается уже около года, — сказала Лиз. — Он стрижет траву у соседей напротив. Я часто наблюдала за ним из окна моей спальни. Когда было жарко, он обычно снимал рубашку. Он был так красив. Я никого не желала так страстно. Наверное, ты скажешь, что я его подобрала. Как бы то ни было, я спустилась к нему и спросила, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Он согласился. Он пришел сюда. Это было июльским днем, ярко светило солнце. От него пахло потом и травой. Я не могла дождаться, когда он ляжет со мной в постель. У него такая гладкая кожа. Всякий раз, когда ты уезжаешь на уик-энд, я звоню ему, и он приходит сюда. Я к нему ничего не испытываю, кроме желания. Совсем ничего. Это упрощает дело?

Именно тогда я ее и ударил. В глаз. И тут же пожалел об этом.

Вот она выходит из спальни.

Я смотрю на ее заплывший глаз. Она сидит прямо напротив меня. Она сидит молча. Кто-то из нас должен заговорить. Должен что-то сказать.

Я спрятался на верхнем этаже дома-башни. В этот день был сильный ветер, и, скрючившись за бетонным столбом, я чувствовал, как дом качается. Я представил, как расшатываются бетонные перекрытия, прогибается железная арматура и все здание рушится до основания, навеки похоронив меня с миссис Хеллер в одной гробнице.

Из моего укрытия я видел дверь миссис Хеллер. Я разглядывал облезлую крас-

ку и ярко-красный порожек. Там ли женщина в резиновых перчатках? Возможно, миссис Хеллер одна в темной, пахнущей арахисом комнате, одна со своими воспоминаниями и полированными деревянными зубами. Если она одна, кто же выпустит кошку? В состоянии миссис Хеллер спуститься по ступенькам, чтобы открыть входную дверь? Видимо, да. Не может же женщина в резиновых перчатках все время там находиться. Очевидно, миссис Хеллер в состоянии выпустить кошку, если та захочет сделать то, что обычно делают кошки в бетонных коридорах домов-башен.

Входная дверь отворилась. Это была миссис Хеллер. В желтой ночной рубашке. Кошка просочилась у нее между ног полосатой струйкой. Миссис Хеллер сказала кошке, чтобы та не забредала слишком далеко, после чего захлопнула дверь. Сперва кошка постояла на месте, облизываясь и оглядываясь. Я не сразу сообразил, какая она толстая. Ее брюхо раздулось, словно она проглотила дыню.

Я пощелкал языком. Кошка посмотрела в мою сторону. Ее темные глаза мерцали, словно черные зеркальца, а настороженные уши будто выросли. Я покинул свое укрытие, сложил вместе и потер большой и указательный пальцы.

Кошка тут же направилась ко мне. Она шла вдоль лестничной площадки, потираясь о бетонные столбы, подвигаясь все ближе. Я услышал ее мурлыканье, похожее на ровное ритмическое жужжание электроприбора. Она ткнулась мне в руку, потерлась сухим горячим носом о костяшки пальцев. Я поднял ее и посадил себе на колени.

— Что за чудесная кошечка, — сказал я, вставая.

Кошка воняла рыбой, и в уголках глаз у нее скопилась какая-то желтая гадость. Шерсть на брюхе была короткой и редкой, и сквозь нее проглядывала розовая кожа с набухшими серыми сосками.

Медленно подошел я к краю балкона. Посмотрел вниз. Стемнело, и с высоты двадцать четвертого этажа я с трудом мог разглядеть тротуар. На балконе гулял ветер — кошка встревожилась, напряглась, перестала мурлыкать.

Я ухватил ее покрепче и попробовал перекинуть через перила. Ее когти вонзились в мой свитер, словно рыболовные крючочки. Она стала вырываться и шипеть. Я взял ее за шкирку, стукнул по морде свободной рукой. Когти ослабили хватку, и я оторвал их от своей одежды. Я еще раз попытался сбросить ее. Но кошка оказалась настороже и вцепилась когтями в мои руки. Она походила на взбесившийся мотор: ее когти располосовали мне всю кожу.

Кошка лезла мне на плечо. Я схватил ее за задние лапы и дернул и услышал, как затрещали кости. Одной лапой она дотянулась до моего лица и разодрала мне щеку. Я со всей силой рванул ее за хвост.

Все было кончено.

Я стоял, тяжело дыша, уставясь в темноту. Я ждал, надеясь услышать глухой стук и хруст. Но стука не последовало. Кошка просто растворилась в пронизанной ветром тьме.

Я вернулся домой. Отец спал на диване. В зеркале я увидел свое отражение: окровавленное лицо, ободранные руки. Я разделся и залез в ванну. Вода обжигала. После я присыпал раны антисептиком.

— Что с тобой случилось? — спросил отец, когда увидел меня.

— Я упал, — ответил я, — на гравий.

— Будь поосторожней.

Этой ночью я не мог уснуть. Я представлял, что кошка не умерла. Ветер подхватил ее, и она не погибла. Вот почему я не слышал стука. Кошка жива и подбирается ко мне.

Я говорю Лиз:

— Я никак не поверю, что ты могла это сделать. Вот и все. Просто невероятно, что ты этого захотела. Мы же всегда говорили, как мало значит для нас секс.

Что мы нуждаемся только друг в друге. Мы смеялись над друзьями, которые заводили интрижки. Я не могу примириться с тем, что ты сделала. Одна мысль об этом сводит меня с ума. Что ты могла раздеваться. Что кто-то другой тебя трогал, целовал. Что *ты* хотела прикасаться к нему. Не ко мне. Я не знаю, что тобой двигало. Разве тебе не понятно? Это не ты, какой я тебя знаю. Это меня пугает.

Через девять месяцев после пожара меня разбудил голос отца, говорившего по телефону. Было около шести утра.

Я спустился вниз. Отец был в пижаме. Его волосы были всклокочены.

— Что случилось? — спросил я.

Отец обнял меня за плечи:

— Лэмб, иди к себе. Хорошо?

— Но что случилось?

— Это с мамой.

— Что?.. — Я было побежал наверх. Отец схватил меня: — Нет, Лэмб. Оставайся в своей комнате.

— Я хочу ее видеть.

— Нет. Это не...

Я стал пинать и колотить его. Он прижал меня к себе. Я завизжал.

— Лэмб! — вскрикнул он.

Я вцепился ему в лицо.

— Отпусти меня! — закричал я. — Я хочу видеть маму. — Я вонзил ногти ему в руки и расцарапал кожу. Показалась кровь. Его хватка ослабла, и я помчался наверх.

Мама лежала в постели. С закрытыми глазами. Изо рта у нее текла слюна, лицо было очень бледным.

— Я не могу ее разбудить, — тихо произнес отец за моей спиной. — Наверное, это таблетки. Я вызвал «скорую помощь».

— Она умирает? — спросил я.

— Не знаю, — сказал отец.

Приехала «скорая» и увезла маму. Отец сказал, чтобы я ждал дома.

Я оделся и пошел в мамину комнату. Уже несколько месяцев она принимала снотворное. Она бросила работу и все время проводила у телевизора. Ни отец, ни я ничего не могли поделать. Иногда она начинала говорить о пожаре и горящем человеке — какой у него был розовый рот и белые зубы и как он непрерывно кричал, — но говорила она спокойно, бесстрастно, словно о нереальном событии. На этот раз она приняла слишком много таблеток. Врачи «скорой помощи» покачали при виде ее головами и не стали торопиться.

Вернулся отец. Сел на кухне. Под глазами у него были темные мешки.

Я налил ему чаю.

Мы молча сидели друг против друга. Отец пил чай, а я смотрел на него. Потом я спросил:

— Она умерла?

— Да, — сказал отец, и вновь наступила тишина.

— Она их специально приняла? — спросил я.

— Конечно нет, — ответил отец. — Она бы не стала этого делать. Ни за что. Это несчастный случай. Она бы так с нами не поступила. Бросить нас вот так... Разве она могла, Лэмб? Могла такое сделать?

Лиз говорит мне:

— Я никак не поверю, что ты мог это сделать. Вот и все. Ударить меня. Как ты мог? Мне казалось, я все про тебя знаю. Никогда бы не подумала, что ты можешь быть таким жестоким. Ты ударил меня, ударил до крови. Это не тот человек, которого я люблю. Не тот человек, с которым я живу. Я не знаю, что тобой

двигало. Разве тебе не понятно? Это не ты, каким я тебя знаю. Это меня ужасает.

Через несколько дней после убийства кошки я вернулся в школу. В тот день миссис Хеллер снова была там и рассказывала об Освенциме. Потом меня вызвали в кабинет директора. Там сидела миссис Хеллер.

— Я хочу тебя кое о чем спросить, — сказал директор, — и я хочу, чтобы ты дал мне — нам обоим — честный ответ.

— Да, сэр, — сказал я.

Миссис Хеллер слепо взирала на меня. Из ее кроваво-красного глаза текла прозрачная жидкость.

— Кошку миссис Хеллер нашли мертвой, — продолжал директор. — Она упала с верхнего этажа дома, где живет миссис Хеллер.

— Она была беременна, — сказала миссис Хеллер. — И вот-вот должна была родить.

— Миссис Хеллер думает, что кошку сбросили. Она взяла эту кошку еще котенком, так что исключено, чтобы кошка сама прыгнула вниз.

— Да, сэр, — сказал я.

— Так вот, Лэмб. Я не хотел бы в это верить, но я вынужден задать тебе один вопрос. На руках и на лице у тебя царапины. Похожие на царапины, которые могла оставить разъяренная кошка. Ты можешь объяснить, откуда они у тебя?

Пауза.

— Если ты не сможешь дать мне удовлетворительное объяснение, — предупредил директор, — мне придется принять меры.

Я смотрел на миссис Хеллер. Я вглядывался в ее желтый глаз, слезящийся красный глаз, седые волосы, полированные деревянные зубы, чулки телесного цвета, волосатые уши. И я видел то, что крылось подо всем этим, под кожей, — ее воспоминания: ужасы, страхи, кошмары, которые она испытала.

— Это моя мама, — сказал я. — Она покончила с собой несколько месяцев назад. Моя мама любила розы. В саду их полно. Куда ни глянь — вьющиеся розы. Мама всегда так ухаживала за садом. Сейчас как раз время подрезать кусты. Я взял и попробовал. Потому что маме было бы приятно. — Я заплакал. — Вот я... и... попробовал их подрезать. Только мне это было не под силу. Я ободрал все руки и расцарапал лицо. Но я все равно резал. Я должен был это сделать. Для моей мамы.

Директор смотрел в окно. Миссис Хеллер кивала.

Я вытер слезы обшлагом рубашки.

Директор взглянул на меня и сказал:

— Прости, Лэмб. Прости. — Он перевел взгляд на старуху: — Миссис Хеллер...

Миссис Хеллер продолжала кивать. Затем встала и неторопливо произнесла:

— Я ему верю.

Мы с Лиз сидим друг против друга.

Я начинаю катать хлебные крошки по столу. Они черствые и твердые, как гравий. Лиз тоже начинает играть хлебными крошками. Я рассматриваю ее руки: обгрызенные ногти, заусеницы, указательный палец согнут в суставе. Я знаю ее пальцы, каждый их атом, каждую частицу. Я знаю, как они пахнут, как они прикасаются. Мне знакома их дрожь, их тепло.

Я замечаю, что Лиз смотрит на мои руки. На мои длинные розоватые ногти, на грязь у большого пальца, чернильное пятно на мизинце. Она видит две бородавки на костяшках и темные волоски. И она думает: «Я знаю эти пальцы, каждый их атом, каждую частицу. Я знаю, как они пахнут, как они прикасаются. Мне знакома их дрожь, их тепло».

Так мы и сидим, перекатывая хлебные крошки, пока, почти нечаянно, наши пальцы не встречаются.

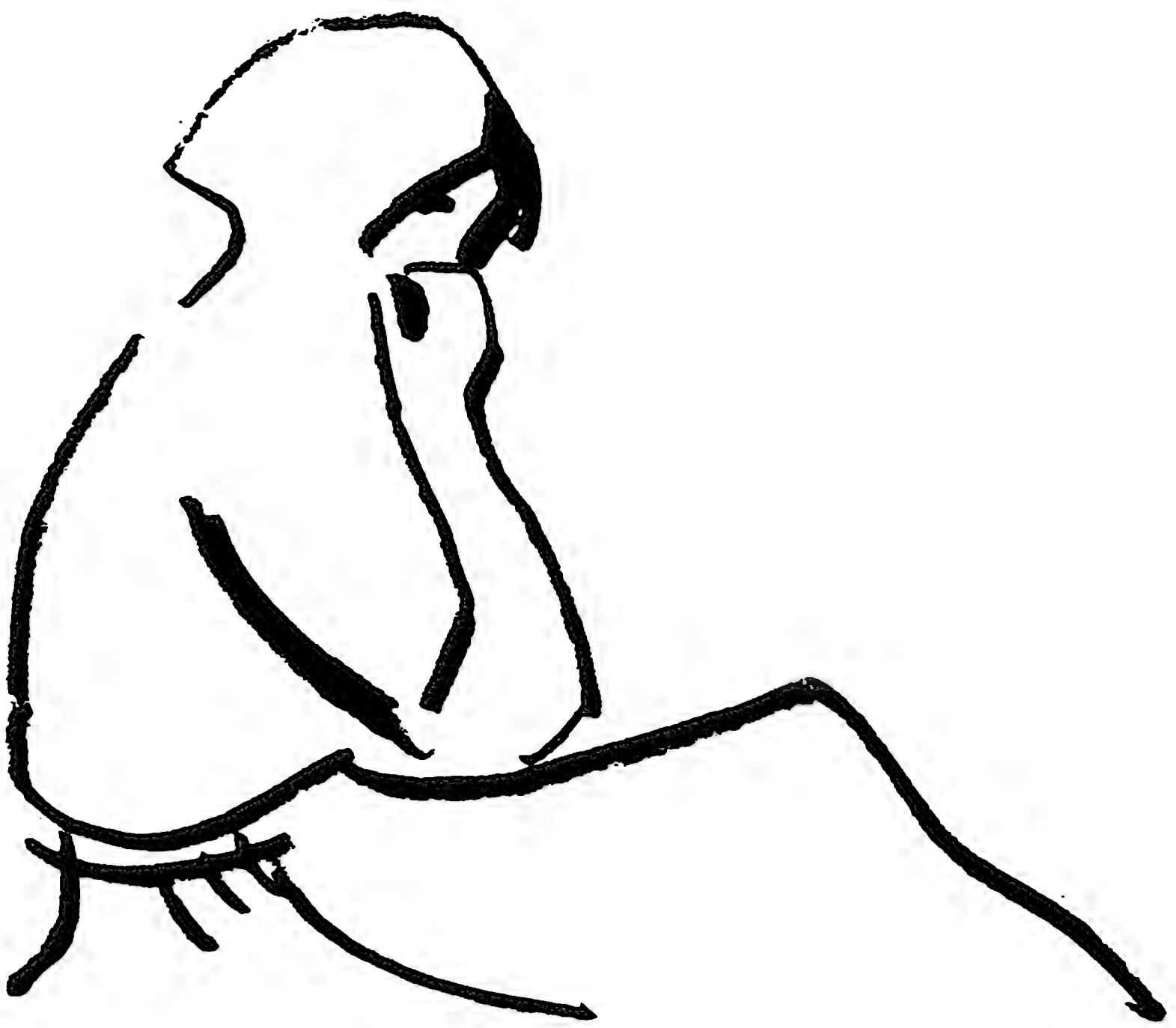
МИЛАН РУФУС

Перевод со словацкого

Читатель «Иностранной литературы» начал знакомство со словацким поэтом Миланом Руфусом с его книги «Стол бедных» (1972)[1]. С тех пор прошло более двух десятилетий. Но его литературная и человеческая репутация, собственно, не претерпела изменений. Только уважать его, насколько это возможно, стали больше. Он не уходил ни во внешнюю, ни во внутреннюю эмиграцию, но и не отмалчивался. Просто не спешил на «ярмарку слов».

За эти двадцать с лишним лет Милан Руфус выпустил четыре книги вариаций на фольклорные мотивы («Книга сказок», «Субботние вечера», «Тихий папоротник», «Сказочка веселая, останься с нами»), переложил на стихи Псалтирь («Книга псалмов», 1991), писал для детей (сборники «Родничок», «Молитвочки»). К двум книгам эссе «Человек, время и творчество», «Послания к людям» добавил в 1974 году третью — «О литературе».

Милан Руфус любит соединять слово и живопись. И если обычно художники иллюстрируют стихотворные сборники, то он снабдил поэтическими текстами книги рисунков своих любимых художников Милоша Базовского и Людовита Фуллы («Поиски образа», 1973 и «Музыка форм», 1977).



Обложка книги М.Базовского со стихами М.Руфуса «Поиски образа»

[1] Стихи из книги «Стол бедных» опубликованы в «ИЛ», 1975, № 10 (*прим ред.*).

© Anna Bazovská, 1973

Позднее он сопроводил стихами фотоальбом «Лес», сотрудничал с другими художниками. Одной из последних таких работ стал сборник «Две судьбы», подготовленный совместно с художником Коломаном Соколом.

В последние годы вышли два поэтических сборника Руфуса. Это «Черствый хлеб» с эпиграфом из чешского поэта Владимира Голана «Как жить? Как быть простым и дословным?», словно бы выражающим кредо самого Руфуса, и в 1992 году «Поздний портрет», как бы подводящий итог всему его творческому пути.

Излюбленный жанр поэта — лирическая миниатюра. По-своему масштабная и монументальная. Один из источников этой монументальности — народный миф. Или, скорее, интимная сопричастность поэта мифотворческой силе его народа.

Можно говорить — и это делает словацкая критика — о константах руфусовской поэзии. О нравственном и художническом подвижничестве. О внутренней взвешенности каждого слова. О единстве национального и общечеловеческого. Про «чудесного Янко» — словацкого поэта-романтика Янко Краля Руфус сказал: он писал эпос «кисточками и красками, которыми до него раскрашивали лишь пасхальные яички». Милан Руфус доказывает, что этими кисточками и красками с успехом можно пользоваться и в XX веке.

Этой публикацией журнал хотел бы дать представление о том единстве живописного и словесного образов, которого добивался Милан Руфус, соединяя стихи с рисунками М.Базовского и Л.Фуллы.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ

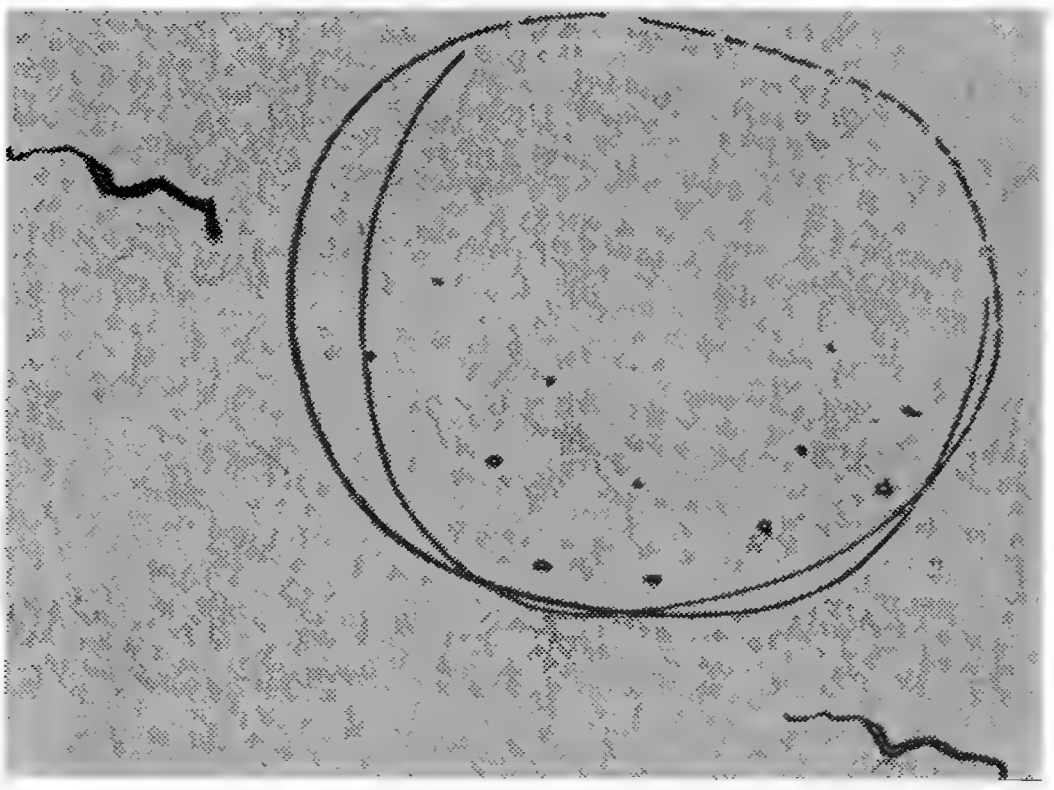


Рисунок из книги М.Базовского со стихами М.Руфуса «Поиски образа»

Поиски образа

Тяжела,
как удар кисти Ван Гога,
походка весны в горах.

Рыжий художник
(волосы — жухлой травы копна)
ступает зябко и шатко

по лугу, с гусиной кожей морозца.
(Иного луга он и не знает.)

Жесткой кистью ищет гамму цветов.
Но тщетно.
Перечеркивает все линией дороги.

И карандашом внизу, под нею
набрасывает контуры пейзажа.

Перевод В. КАМЕНСКОЙ

© Milan Rúfus, 1988, 1992

Карандаш

Ничего не иметь,
кроме карандаша.
Его черного языка
и желания.

И выразить все:
время, пространство, страсть, радугу.

Словно краска была
излишеством.
И засветилась
голая правда.

Фулла

Фулла. Я уже много лет подбираюсь к этой теме. Она и притягивает, и пугает меня. Пугает настолько, что я отступаю. Ведь мне известно, что все кончится. Чем это неизбежно должно стать.

Неравной битвой картины и слова. Его картины и моих словесных потуг. Битвой, в которой картина, несмотря на свою немоту, будет весомей слова, пытающегося, прихрамывая, ковылять за ней. Слово будет просить о снисхождении. Потому что картина в слове не нуждается. Она уже все сказала. Такой суверенной красотой, которая заставляет уста сомкнуться и вызывает молчаливое восхищение.

Но у поэта нет иного средства, кроме слова. И он вынужден воспользоваться им. Это слабое средство ничего не отнимет у картины и ничего к ней не прибавит. Картина уже давно победила. Высказалась без слов.

Вспоминаю, как я сидел в картинной галерее на юбилейной выставке Фуллы. Как чудесно мне дышалось под пестрой радугой его красок, радугой, питаемой влагой обоих берегов жизни, радугой, так давно мне знакомой. У меня было такое настроение, что я написал: «Мне так хорошо в созданном Вами мире, я так прекрасно чувствую себя в Вашей вселенной, что хотел бы уйти в этот мир, в эту вселенную, как некогда уходили в монастырь».

Не знаю, по каким звездным часам определяется минута, когда к народу является великий художник. Не знаю, в каких народных глубинах и на каких дрожжах всходит талант. Не знаю, сколько столетий молчания требуется, чтобы его голос сразу зазвучал в унисон времени, как звонкая исповедь колоколов. Знаю только, что такой художник рождается в народе нечасто. Он явственно превышает все окружающее, не умещается в рамках повседневной культуры и стоит возле ее путей как придорожный столб.

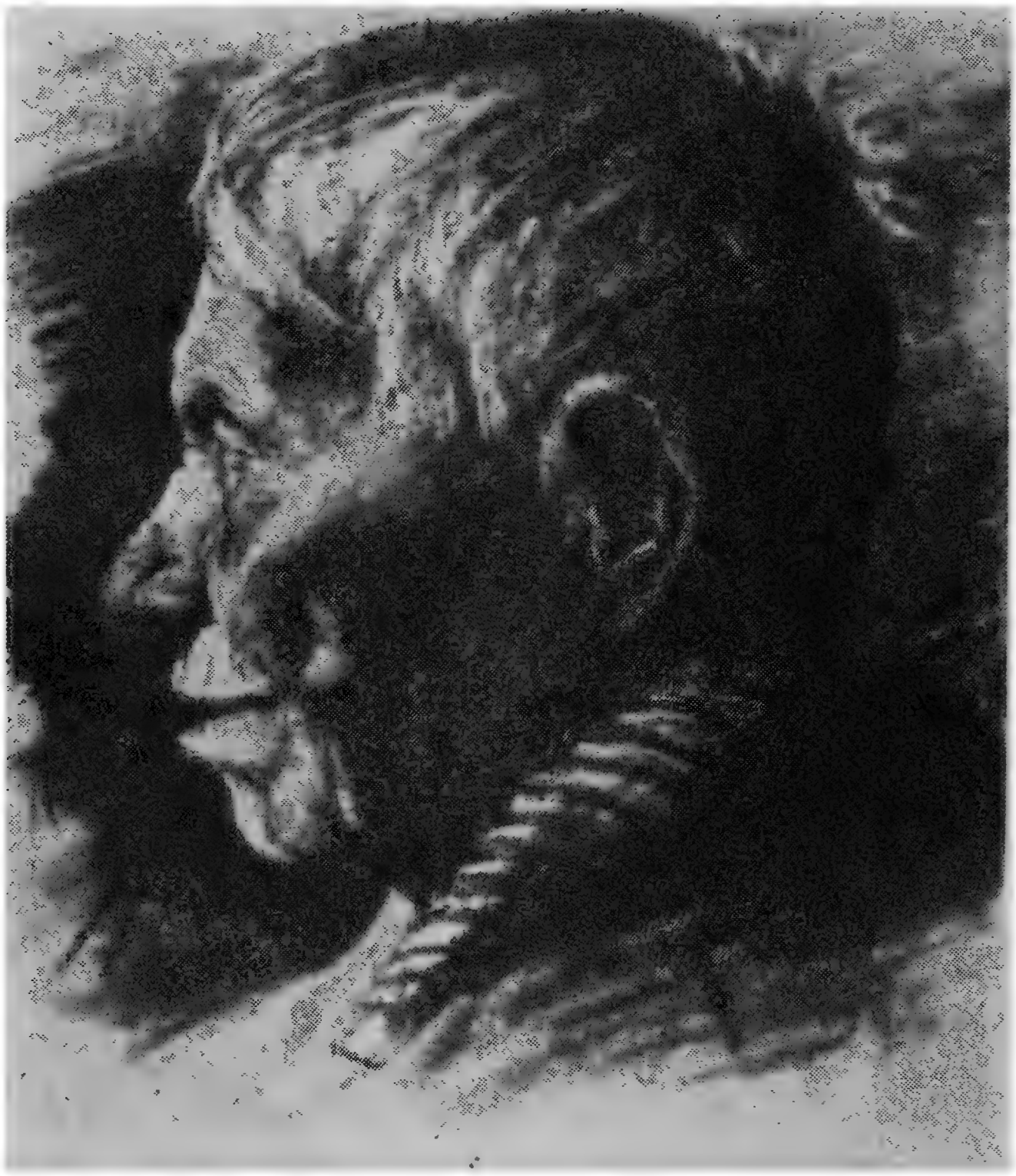


Рисунок из книги Л.Фуллы
со стихами М.Руфуса «Музыка форм»

На упомянутой выше выставке я осознал это с необыкновенной отчетливостью. Как много вобрал в себя Фулла. Его универсальность. Его универсум. Вселенная человеческого труда. Деяния. Творчества. Мне доставляло удовольствие думать: и такое способен сотворить человек! Способен достигнуть таких высот! Человеческая рука, держащая в пальцах маленькую кисточку, изукрасила этим скромным инструментом все небо, не оставив ни единого белого, забытого пятнышка. Я почувствовал себя на свете как-то надежнее, а в своей человеческой шкуре — немного лучше. Вот тогда-то неожиданно и возникло желание написать ему письмо с приведенной выше фразой.

Фулла извлек все это из бездонных глубин. Из глубинной немоты человеческого сообщества, нации, народа. Подобно Штуру[1] убежденный, что основа всего — народ, Фулла верен национальной традиции. Мир народных чувствований он сделал своим миром.

Внимательно изучал его краски, его композицию, его линию. Роспись по стеклу, иконы, вышивки. Из этих элементов он слагал собственную вселенную. Космос своих картин. Этот мир не возник разом, под размашистыми ударами кисти, стремительным штурмом овладевающей правдой жизни и правдой искусства. Фулла писал свои картины словно бы острием иглы. Сколько раз нужно было коснуться белого холста, чтобы родилась картина? Десять тысяч раз? Отсюда восхищение зрителя, отсюда ощущение вселенной и сотворения мира. Будто бы тысячу лет били капли в одну точку, чтобы выдолбить колодец. Рука его была безошибочной, как сама природа.

---

[1] Людовит Штур (1815 — 1856) — словацкий поэт, публицист, политический деятель.

© L'udovit Fulla, 1977

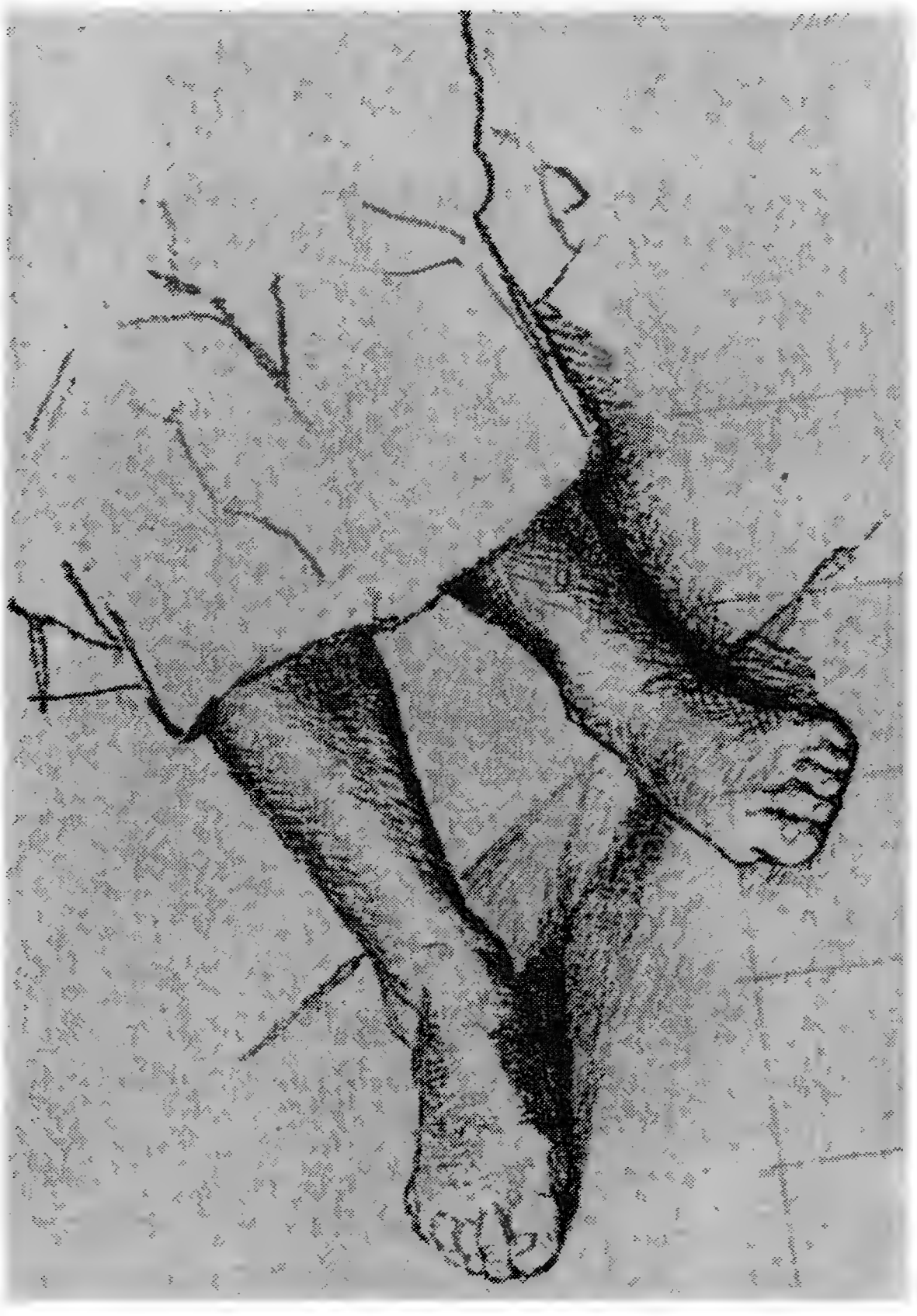


Рисунок из книги Л.Фуллы
со стихами М.Руфуса «Музыка форм»

Он шел ко все более интенсивному сиянию красок. Картины последнего десятилетия броски и точны. Триумф человека, который, превозмогая усталость, одержал победу над всем, что ему угрожало? Да, он преодолел силы разрушения и в такт истории человечества поет голосом высоким, ясным и чистым.

Он создал своеобразную красоту. Ее азбуку он перенял у народа, черпал из кладезя его чистой художественной фантазии. Но стилистике он учился у новейшей живописи. Два эти столь различных элемента он слил в единой форме, новой и одновременно традиционной. И главное, настолько самостоятельной и универсально прекрасной, что для нее безразлично, какого из этих двух эпитетов ее удостоят: назовут ли ее новой или традиционной. Дело в том, что эпитеты будут меняться, а форма останется.

Этот художник, не произнося ни слова, рассказал о нас миру очень многое. Он воплотил то неповторимое, что скрыто в нашей национальной общности. Высказал не только универсально человеческое в нас, но и то уникальное и неповторимое, без чего мир, не будь нас, стал бы беднее. Вот почему мы благодарны ему — как словаки и как сыновья человечества.

Босиком

Лишь ноги апостолов
еще не утратили связи с миром,
и земная твердь для них — повседневный хлеб.

С утренних травинок склевывают зерна росы,
дорожная пыль обнимает их,
умывает дождь, сушит солнце,
с ранней весны они черны от грязи,
как сафьяновые королевские сапожки.

Камешек западает в их память
глубоко — на порог крови.
И потому они помнят
и знают.
Знают, что им делать.

Потому они, подпирая небо,
так похожи на деревья.

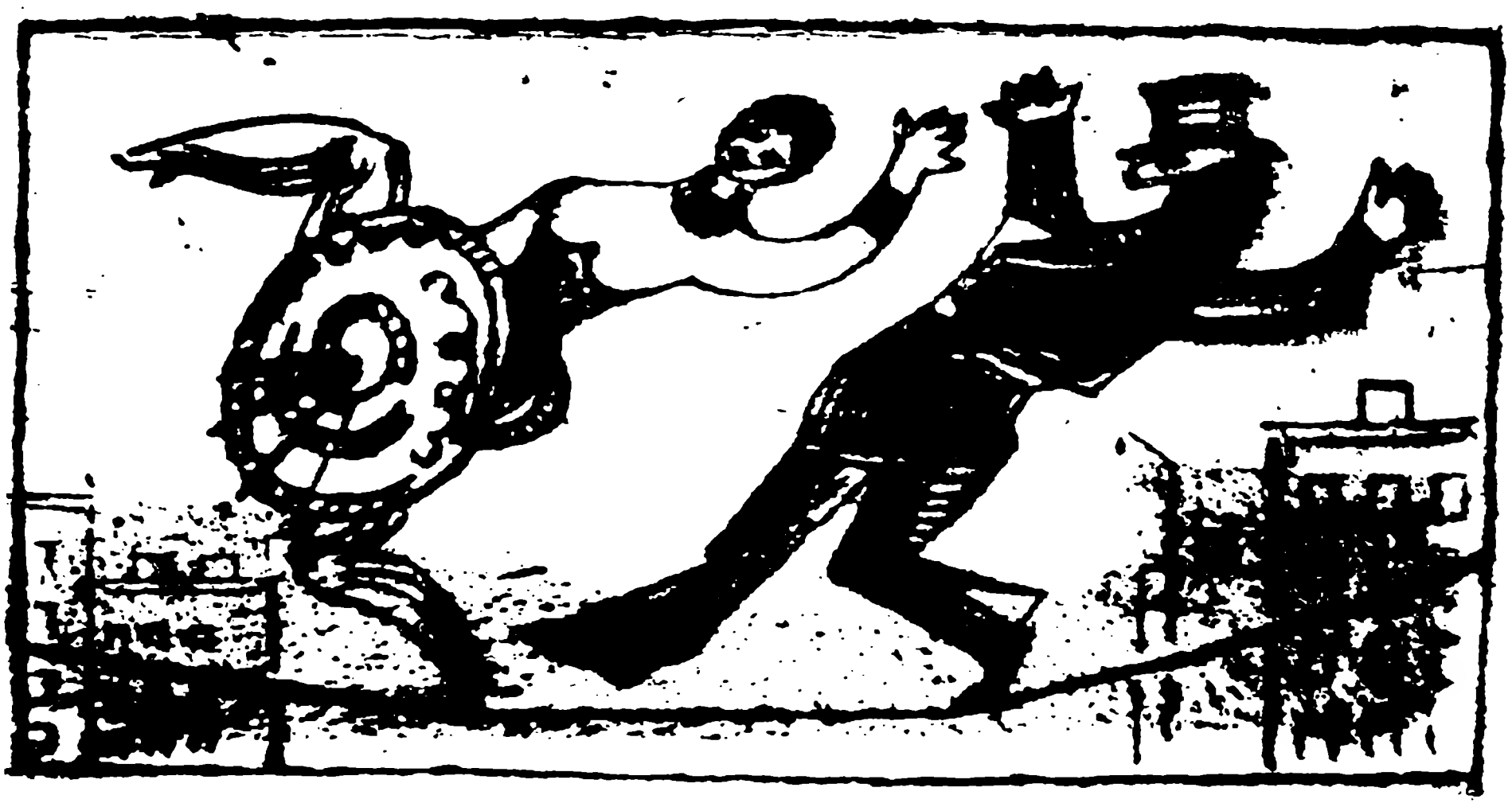


Рисунок из книги Л.Фуллы
со стихами М.Руфуса «Музыка форм»

Стихи из других сборников

Черствый хлеб

Я ждал тебя, стих, и зимы и вёсны.
И мир зачерствел.
Отвердевшее слово
врезается в десны,
суля маету.
Я терпеливо — снова и снова —
его перекатываю во рту.

Вот так же, взирая с надеждой на небо,
когда-то старухи шли долгие версты,
жевали молитву, как корочку хлеба,
и хлеб им казался немножечко черствым.

Перевод О. МАЛЕВИЧА

Мышь

Завтра снова день смерти отца. По тризне
новая тризна. И снова смерть
приходит в дом наш после жизни
колядки скорбные пропеть.

А в доме тишина такая...
такая поселилась тишь,
что стало слышно, как вздыхает
под половицей мышь.

Ты сам, как мышь,
готов под пол забиться,
и страх на дне души твоей сокрыт.
А небо над тобой, как половица,
под чьей-то поступью скрипит.

Перевод В. КАМЕНСКОЙ

Век разума

Опять крошат монолит.
Опять дробят на мелкую монету.
Опять превращают живые идеи
в мертвые принципы и слова.
Опять девственница трепещет от страха,
что грубые холодные пальцы
коснутся ее глубочайших глубин.
Опять и опять.

Просьба ко взрослым

Пожалуй, мы не осознаем в достаточной мере, что в отмечаемый сейчас святой праздник[1] над нами царит дитя. В течение всех этих дней уже почти две тысячи лет одна из мировых цивилизаций вглядывается в одну и ту же картину Святого семейства. Посередине этой картины, как центр тяготения и земной оси, трогательно светится в маленьких яслях тело ребенка. В яслях или на коленях родительницы, лицо которой излучает столько нежности и ласкового сияния, словно она качает на коленях само солнце, оно начало и источник жизни. Вот почему именно в эти дни почти невозможно не думать о детях, об их мире, об их чарующем живом сне, от которого они когда-нибудь очнутся, чтобы оказаться в горькой дневной яви человеческого удела. Посвятим же минуту нашего праздничного времени тем, кому эти праздники принадлежат и кто царствует над ними.

Мне вспоминается один случай моего детства. Было это в конце апреля или в начале мая. Для травы тепла еще немного не хватало, но грязь уже была такая, будто ее специально создали для лепки ласточкиных гнезд. Она благоухала дождевой водой и корнями трав, податливая, прохладная, расступалась под пальцами, даруя неповторимое ощущение, прилипала к детским ногам, не слишком вязкая и не слишком холодная, затем снова расступалась. В такую пору наши игры всегда каким-то образом были связаны с грязью. Однажды — не знаю уже, по необходимости или из-за прилива великодушия, вызванного весенним солнцем, — мы приняли в игру девчонок. Мы понарошку возвращались откуда-то издалека, а девчонки встречали нас пирогами, только что испеченными из грязи. И сейчас еще я способен ощутить воображаемый вкус невсамделишного пирога: вкус, складывавшийся из весеннего запаха грязи и предрождественского запаха свежих пирогов, магический вкус иллюзии. Увлеченные игрой, мы даже не заметили какого-то второклассника, который вдруг закричал нам: «Какие же это пироги? Дурачье, ведь это же обыкновенная грязь!» Я уже не помню, чем это кончилось — потасовкой или только перебранкой. Знаю лишь, что мы почему-то не могли вернуться к игре. Нас охватило мучительное чувство стыда и одновременно ощущение незаслуженной обиды, какое испытывают взрослые, когда кто-нибудь без малейшего повода с их стороны навредит им или злоупотребит их доверием.

Теперь этот случай нередко приходит мне на ум. Ведь мне часто кажется, будто я со всех сторон слышу, как взрослые кричат детям: «Глупые, это же обыкновенная грязь! Это всего лишь суеверие! Не верьте этому, как вам не стыдно!» Нечто подобное произносится очень часто. Иногда резким тоном, иногда ласково, но постоянно. С полным неуважением к миру малышей. Мы ведем себя в этом мире как завоеватели: уничтожаем, отбираем, переделываем. Мы поразительно глухи к звукам и краскам. Порой кажется, будто современная ребятня — вообще первое поколение детей на свете и современные взрослые уже родились взрослыми — так плохо они помнят себя в детстве, так плохо понимают собственных детей. Мы непрерывно наставляем малышей, учим их, вдалбливаем им знания о так называемом реальном мире, то есть о мире, каким мы его видим своими практичными, ограниченными, лишившимися былой остроты глазами.

А при всем том заброшен один из космосов внутри человека, пространство, которое никогда не заполнялось напрямую информацией, а всегда осваивалось опосредованно, как раз та неведомая сфера, где равновесие значит больше, чем однобокое накопление сведений, то особое вместилище в нас, где иллюзия имеет такую же ценность, как и описание реального, где иллюзия даже предшествует реальности и открывает путь будущему ее познанию, а также радости от этого познания. Точно какого-то порока, мы, узколобые, боимся мудрой иллюзии, мудрой

---

[1] Речь идет о Рождестве. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

фантазии своих детей, всего, чего нельзя встретить за углом, по дороге в школу или в ближайшем универсаме.

Наше рвение подозрительно. Словно мы сами чего-то опасаемся, словно мы еще не свели счеты с иллюзией и упрямо произносим свое «нет», прячась за маленькие спины детей. Или — и это правдоподобнее и хуже — мы, подчиненные своей слишком практичной эпохе, делаем это вполне искренне и, подобно тому как по утрам будим невыспавшихся детей и до работы относим их в ясли и отводим в детские сады, точно так же раньше времени втягиваем их, еще неочнувшихся, в свой мир и, чересчур погруженные в него, навязываем им свои представления о нем, мало считаясь с их представлениями. Мы дарим им игрушки, напоминающие о наших заботах и являющие собой копию наших инструментов, аппаратов, приспособлений. В детских журналах мы считаем более важным давать им добрые советы или помещать чертежи электровоза в разрезе, чем тактично соглашаться с ребенком, что в нем и в мире есть нечто невыразимо чудесное. Мы не понимаем, что не следует преждевременно лишать его этого чувства, неотъемлемого от его ви́дения мира, этого ощущения тайны, этого ожидания чего-то неведомого, этой арены прекрасных заблуждений, без которых мы были бы усталыми роботами. Мы поступаем так все время, нисколько над этим не задумываясь. А потом нас нередко застают врасплох пятнадцатилетние, нам не по себе от того, как они защищаются от нас и бросают вызов своим показным цинизмом, как по вечерам в буквальном и переносном смысле слова их тошнит плодами познания, и они проваливаются в пустоту, не заполненную тем, что мы забыли или не сумели им дать.

Что такое ребенок? Это непрерывное присутствие чуда, доверчивое ощущение неисчерпаемости, свежести и полноты чувств, способность отождествления себя со всем окружающим, вызывающая у нас, взрослых, зависть, — например, способность увидеть в куске орешника безграничный зеленый свод и разглядеть в каждом листике такие подробности, какие не может описать ни один учебник ботаники; способность слиться с его сущностью, ощутить сразу и его шероховатую поверхность, и его горьковатый вкус, и его аромат, причем все как бы мимоходом, без сосредоточенного наблюдения. Это мир, для которого чудо есть нечто вполне естественное, содержащееся во всем, в любом предмете, поскольку здесь — если так можно выразиться — мыслят непосредственно чувствами. А теперь посмотрим на оборотную сторону нашего превосходства над детьми. Что такое старение? Мир становится все меньше и будничнее. Он какой-то обветшалый, не столь волнующий. Однажды вы обнаружите, что тот самый куст орешника не более чем захиревшая поросль на бесплодной почве, покрытой редкой травой. Вы не понимаете, как могли видеть в нем необозримый свод. Его лист вам ничего не скажет. Вы испытываете нечто вроде жалости к этому кусту. И к себе.

Вы всё менее способны выйти за пределы своего «я». Огромная центростремительная сила вдавливает вас в себя, каждого в отдельности. Вы всё больше знаете о разных частностях. Но это не делает вас счастливее. Вы всё больше знаете о законах композиции и всё меньше способны петь. Поймите же, что по сравнению с миром ребенка ваши преимущества представляют собой невосполнимые недостатки, а его слабости — это и его привилегии, увы, непрочные и весьма уязвимые. Как раз за гранью детства обычно сталкиваешься с каким-то автоматическим невезением, где-то здесь утрачиваешь последовательную связь поступков и начинаешь действовать вслепую, идешь путем одностороннего накопления знаний; как раз здесь что-то неорганично прерывается и остается в тебе недооформленным, как пустота, возникшая на месте чего-то утраченного и заполненная затем случайным хламом, так что все сводится к бесчувственному проявлению инстинкта и нескольким предрассудкам, которые тщетно выдаются за воззрения просвещенного человека. Не случайно наиболее чуткие из взрослых в странном беспокойстве постоянно возвращаются к этому периоду своей жизни, стремясь уловить хоть несколько

звуков утраченной музыки, схватить хоть перышко из утраченных крыльев, — не ради сентиментальной ностальгии, но для того, чтобы лучше понять себя и смысл своей жизни.

Поймите, пожалуйста, своих детей: перед вами не дурачки, единственное спасение для которых — как можно скорее стать похожими на вас, перед вами иной мир. Столь же своеобразный и прекрасный, как мир инопланетян. У нас нет оснований смотреть свысока на это царство чувств. Маленькие существа, которые так легко переходят от смеха к слезам и по любому поводу кричат от возбуждения, владеют тайной, вам уже недоступной.

Не разбивайте мир, принадлежащий детям, не смейтесь над ними. Не будите их слишком рано. Их ждет потом долгий-предолгий день строгого и горького человеческого удела. Предоставим же им еще минутку и посвятим им, носителям прекрасного, это маленькое стихотворение.

Дети

Меньшие братья животных, они заодно с ними.
Еще ведают то, чего мы не знаем.

Пьют прозрачную чистую воду.
Мусор сдувают, стряхивают грязь.
Лежа на траве,
прикладывают ухо к земле,
слушают мир, как врач больного.

Никогда не выдадут его тайну.
Носят ее под рубашкой,
как яблоко из соседнего сада.

Понемногу начинают грустнеть,
предчувствуя день,
когда каждого из них
покидает маленький принц на коне,
унося жезл и яблоко державы.

Перевод О. МАЛЕВИЧА

■

ГЮНТЕР ГРАСС

Собачьи годы

РОМАН

Перевод с немецкого М. РУДНИЦКОГО

Первый день Туллы в собачьей конуре завершился так:
она в конуре осталась. Август Покрифке спустил Харраса с цепи. Разными ключами он запер дровяной сарай и сарай для хлама, машинный цех и контору, где хранились фанера и дверная обивка, пильные диски и плитки костного клея, затем вышел со двора мастерской и калитку во двор тоже запер; и едва он ее запер, как тут же стало темнеть, и темнеть быстро. И сделалось так темно, что в щель между занавесками кухонного окна уже нельзя было различить крышу конуры, хотя вообще-то на фоне светлой стены дровяного сарая ее было хорошо видно...

Во второй день в собачьей конуре,
это было во вторник, Харрасу уже не пришлось тянуть Туллу за подол, когда Август Покрифке пришел менять опилки. Тулла даже начала принимать пищу, то есть стала кормиться с Харрасом из одной миски после того, как Харрас отволок ей в конуру большой, совсем без костей, кусок несортового мяса и пробудил аппетит своей прохладной, подталкивающей мясо мордой.

Впрочем, это несортовое мясо было вовсе не таким уж плохим. Чаще всего это были ошметки говядины, которые большими порциями варились на плите у нас на кухне всегда в одной и той же эмалированной кастрюле ржаво-коричневого цвета. Мы все, Тулла, и ее братья, и я тоже, голой рукой и без всякого хлеба «для сытости», это мясо не однажды ели. Холодное и тяжелое, оно было очень вкусное. Перочинными ножами мы нарезали его на кубики. Варилось мясо два раза в неделю, было плотное, серо-коричневое, продернутое бледно-голубыми хрящами, прожилками и сочными, пускающими воду полосками жира. Вкус у мяса был сладковатый, немножко мыльный, запретный. После этих мраморных кубиков — играя, мы порой набивали ими оба кармана — во рту еще долго оставался сытный, жирный привкус. И говорили мы после них иначе: из глубины глотки, четырехлапо, по-звериному, мы даже рычали и лаяли друг на друга. Это блюдо мы предпочитали многим из тех, что подавались на стол у нас дома. Мы называли это мясо «собачьим мясом». Даже если это была не говядина, то уж в любом случае или конина, или баранина от срочного убоя. Целую горсть соли, не обычной, а грубого помола, бросала моя мать в эмалированную кастрюлю, один за другим опускала в кипящую соленую воду продолговатые, в две ладони длиной, ошметья мяса, давала ему как следует вскипеть, добавляла майоран, потому что он вроде бы полезен для собачьего чутья, затем убавляла газ, накрывала кастрюлю крышкой и в течение часа больше к ней не притрагивалась; ибо именно столько надо было готовиться говяжьему-лошадиному-бараньему мясу, чтобы превратиться в собачье мясо, которое ел Харрас и ели мы, которое всем нам, и нам, и Харрасу, позволяло с помощью майорана развивать в себе тонкое чутье. Это был старый кошнадерский рецепт. Повсюду между Остервиком и Шлангентином говорили так: «Майоран дает красоту». «Майоран деньги приращивает». «Чтоб черта не видать в лицо, сыпь майорану на крыльцо». Своим замечательным, на майоране вскормленным чутьем славились длинношерстные и низкорослые кошнадерские пастушьи собаки.

Продолжение. Начало см. в № 5 за 1996 г.

В редкие дни, когда в лавке не было несортового мяса, кастрюлю заполняла требуха: обросшие узлами жира бычьи сердца, вонючие, потому что не вымоченные, свиные почки и маленькие бараньи, которые моей матери приходилось извлекать из плотной, в палец толщиной, оболочки сала с подкладкой из хрустящей пергаментной кожицы; это сало топили на чугунной сковородке, и потом оно шло в стряпню, на жарку, потому что сало с бараньих почек будто бы хорошо предохраняет от туберкулезной напасти. Иногда в кастрюле переваливался и кусок темной, с багровыми и фиолетовыми переливами селезенки или жилистый обрезок говяжьей печени. А вот легкое, на варку которого требовалось больше времени, больших размеров кастрюля, и уваривалось оно очень сильно, в эмалированную кастрюлю не попадало почти никогда, разве что несколько раз летом, когда с мясом бывало неважно из-за того, что в Кошубии и в Кошнадерии свирепствовал ящур. Вареную требуху мы никогда не ели. Только Тулла тайком от взрослых, но у нас на глазах — вытянув шеи, мы за ней подглядывали — жадными большими глотками пила коричнево-серый отвар, в котором плавали свернувшиеся хлопьями пенки от почек, образуя вместе с черноватым майораном причудливые пушистые островки.

На четвертый день в собачьей конуре

Туллу, поскольку школа еще не началась, по совету соседей и врача, которого вызывали в нашу мастерскую при несчастных случаях, решено было оставить в покое; я, когда все еще спали — даже машинного мастера, который всегда приходил раньше всех, еще не было, — принес ей полную миску отвара из кастрюли с требухой: почками, сердцами, селезенкой и печенью. Отвар в миске был холодный, потому что Тулла любила пить отвар холодным. Затверделый слой жира — смесь говяжьего и бараньего сала — укрывал содержимое миски, как лед озеро. Только по краям проглядывало мутное варево, выплескиваясь на жирный панцирь аккуратными шариками. Еще в пижаме, я ступал осторожно, за шагом шаг. Ключ от калитки я снял со щитка тихо-тихо, чтобы другие ключи не звякнули. Почему-то рано утром и поздно вечером все лестницы скрипят. На плоской крыше дровяного сарая воробьи уже начали. В конуре никаких признаков. Но уже пестрые мухи на рубероиде в косой полосе утреннего солнца. Я отважился дойти до изрытого лапами полукруга, граница которого заметной канавкой и подобием насыпи обозначала пределы досягаемости собачьей цепи. В конуре покой, тьма и никаких мух. Потом, наконец, во тьме какое-то движение: волосы Туллы, все в опилках. Голова Харраса лежала на лапах. Губы сомкнуты. Уши почти не подрагивают, но только почти. Несколько раз я позвал, но голос мой, видно со сна, был почти не слышен, я сглотнул и позвал громче:

— Тулла! — И назвал на всякий случай себя. — Это Харри, посмотри, что я тебе принес.

Я всячески старался привлечь внимание к миске с отваром, пробовал причмокивать, потом тихо свистел и цокал, будто я не Туллу, а Харраса хочу выманить из конуры.

Когда никто, кроме пестрых мух, щебечущих воробьев и низкого солнца, ни малейшего движения не обнаружил и даже ухом не повел — Харрас, впрочем, повел и даже один раз сладко зевнул, но глаз упорно не открывал, — я поставил миску на край полукруга, точнее сказать, утвердил миску прямо в канавку, вырытую передними лапами собаки, и, не оглядываясь, пошел обратно в дом, оставляя за спиной воробьев, пестрых мух, выползающее солнце и конуру.

Тут как раз и машинный мастер просунул свой велосипед в калитку. Он спросил, но я не ответил. Наши окна были еще все занавешены. Сон у отца был спокойный и доверчивый — он доверял будильнику. Я пододвинул к кухонному окну табуретку, прихватил горбушку черствого хлеба, горшочек со сливовым муссом, раздвинул туда-сюда занавески, обмакнул горбушку в мусс, уже впился и начал отку-

сывать — тут из конуры выползла Тулла. Даже за порогом конуры она осталась на четвереньках, неуклюже встряхнулась, сбрасывая с себя опилки, поползла, спотыкаясь и тыркаясь, к границе собачьего полукруга, наткнулась, не доходя до двери сарая, на канавку и насыпь, как-то боком, от бедра, повернулась, еще раз стряхнула с себя опилки — теперь на ее бело-голубом байковом платьице даже можно было угадать узор в клеточку, — зевнула в сторону двора, там стоял в тени, только по краешку шляпы задетый косым утренним солнцем, машинный мастер подле своего велосипеда, скручивал сигарету и смотрел в сторону конуры, в то время как я, с горбушкой и при муссе, сверху смотрел на Туллу, конуру опуская, только с Туллы не сводя глаз, с нее и ее спины. Тулла меж тем вяло и сонно, свесив голову и космы, поползла вдоль канавки и остановилась, все еще не поднимая головы, на уровне коричневой глазурованной фаянсовой миски, содержимое которой покрывал аккуратный, целенький кружок жира.

Все то время, что я наверху замер, не жуя, все то время, что мастер, чья шляпа все больше и больше выползала из тени на свет, обеими руками пытался закурить свою кульком свернутую цигарку — три раза у него отказала зажигалка, — Тулла стояла, уткнувшись лицом в песок, потом медленно и опять как-то от бедра повернулась, не поднимая головы со спутавшимися, в опилках, волосами. Когда ее лицо оказалось над кружком жира, кружок этот, будь он зеркальцем и отразись в нем это лицо, обмер бы от ужаса. Да и я, сидя наверху, все еще не решался жевать. Едва заметно Тулла переместила вес своего тела с обеих рук на одну левую, покуда левая ее кисть, опирающаяся на землю, совсем не исчезла из моего поля зрения, скрывшись за ее туловищем. И в тот же миг, откуда ни возьмись, ее правая рука уже потянулась к миске — только тогда я снова окунул свою горбушку в сливовый мусс.

Машинный мастер размеренно курил, прислюнив цигарку к нижней губе и пуская дым вверх, где его выхватывало из тени лучами низкого солнца. Туллина напрягшаяся левая лопатка выпирала под бело-голубой клетчатой байкой. Харрас, не поднимая головы с передних лап, медленно приоткрыл сперва правый, потом левый глаз и посмотрел на Туллу; она выставила правый мизинец — он медленно, одно за другим, прикрыл оба века. Теперь, когда солнце тронуло оба его уха, в темном нутре конуры были видны промельки вспыхивающих и исчезающих мух.

Покуда солнце взбиралось по небу, а где-то по соседству горланил петух — кур в округе держали, — Тулла приставила правый мизинец точнехонько к середке жирного круга и с неспешной осторожностью принялась буравить в нем дырку. Я отложил горбушку. Машинный мастер сменил опорную ногу, снова упрятав лицо в тень. Это я хотел видеть — как Туллин мизинец пробуравит застывшую корку и провалится в отвар, отчего корка сразу пойдет трещинами; но я не увидел, как Туллин мизинец проваливается в отвар, и кружок жира не пошел прихотливыми трещинами, а в целости и сохранности, желтоватым кругляшом, прилепился к Туллиному мизинцу и так извлекся из миски. Она высоко подняла этот целехонький, с крышку пивного бочонка величиной, диск, замахнулась от плеча, тряхнув в семичасовом утреннем небе волосами и опилками, присовокупив к замаху жутковатый прищур сморщенного недетского лица, и запустила его во двор, в направлении машинного мастера: там, в песке, он разлетелся на куски сразу и безвозвратно, распался в пыли ломтями, а некоторые осколки, превратившись в жирные песочные шарики, вырастая по пути, точно маленькие снежные комья, докатились до самых ног молча дымящего машинного мастера и до колес его велосипеда с новым велосипедным звонком.

Когда мой взгляд от разбитого кружка жира возвращается обратно к Тулле, она, костлявая и прямая, но по-прежнему как ледышка, стоит на коленях в лучах солнца. Все пять пальцев левой затекшей руки она сжимает и разжимает во всех их трех суставах. На раскрытой правой ладони она держит донышко миски и медленно подносит край миски ко рту. Она не пригубливает, не пробует, не рассусоливает. Не отрываясь, в один присест Тулла пьет отвар из сердца, селезенки, почек, пе-

чени со всеми его косматыми пенками и прочими маленькими радостями, с крошечными хрящиками с самого дна, с кошнадерским майораном и свернувшимися сгустками почечной крови. Тулла пьет до дна: подбородок толкает вверх миску. Миска тянет за собой руку, прилепившуюся ко дну, втаскивая ее в косые лучи солнца. Открывается и все больше вытягивается запрокинутая шея. Голова с копной волос и опилками в волосах плавно ложится на загривок и замирает. Близко посаженные глаза остаются закрытыми. Туллин бледный, тощий, хрящеватый детский кадык работает до тех пор, пока миска не ложится на ее лицо, а рука, отпустив донышко, не перестает затенять миску от солнца. Перевернутая миска закрывает собой прищуренные глаза, отороченные коростой ноздри, наконец-то утоленный рот.

По-моему, я был счастлив тогда, сидя в пижаме у нашего кухонного окна. От сливового мусса зубы у меня заиндевели. В спальне родителей настырный будильник приканчивал отцовский сон. Внизу машинному мастеру пришлось прикурить еще раз. Харрас приподнял веки. Тулла позволила миске скатиться с лица. Миска упала на песок. Она не разбилась. Тулла медленно опустилась на обе руки. Несколько крупных опилок, выплюнутых сварливой фрезой, лежали перед ней желтыми крошками. Как и прежде, от бедра, она повернулась примерно на девяносто градусов и вползла — грузно, тягуче, сыто — в косую солнечную полосу, дотащила солнце на спине до конуры, на пятачке перед лазом в конуру развернулась и задним ходом, свесив голову и волосы, вместе с плоским, золотящим волосы и опилки солнцем, протиснулась внутрь.

Только тут Харрас снова закрыл глаза. Вернулись пестрые мухи. Мои заиндевелые зубы. Его черный, встопорщенный вокруг ошейника воротник, который никаким светом не высветлить. Утренняя возня моего встающего отца. Воробьи вразброс вокруг пустой миски. Клочок ткани, бело-голубой, в клеточку. Пряди волос золотистое мерцание опилки лапы мухи уши сон утреннее солнце: рубероид нагревался и начинал пахнуть.

Машинный мастер Дрезен тронул наконец велосипед и повез его к полузастекленной двери машинного цеха. На ходу он медленно качал головой — слева направо и справа налево. В машинном цехе его ждали дисковая пила, ленточная пила, фреза, выпрямитель и строгальный станок — остывшие и изголодавшиеся. Отец в туалете сосредоточенно кашлял. Я тихонько сполз с кухонной табуретки.

К вечеру пятого дня Туллы в собачьей конуре,
в пятницу, столярных дел мастер попытался стронуть Туллу с места. Его пятнадцатипфенниговая сигара «Фельфарбе» торчала по отношению к его добропорядочному лицу под прямым углом и каким-то образом скрадывала — отец стоял в профиль — выпуклость его пуза. Этот статный человек сперва уговаривал Туллу по-хорошему. Доброта — лучшая приманка. Потом он заговорил требовательней, раньше времени уронил столбик пепла с дрогнувшей сигары, отчего выпуклость пуза сразу обозначилась резче. Он пригрозил наказанием. Когда он переступил полукруг, радиус которого был отмерен собачьей цепью, и вынул из карманов свои сильные мастеровые руки, Харрас в брызгах опилок вылетел из конуры, натянул цепь и передними лапами бросил всю свою смоляную черноту прямо столярных дел мастеру на грудь. Мой отец покачнулся назад и побагровел с лица, на котором все еще, но уже не слишком отчетливо различался остаток сигары. Он схватил обрешеточную рейку из тех, что стояли возле пильных козел, но Харраса, который без всякого лая упруго испытывал цепь на разрыв, бить не стал, предпочел опустить свою мастеровую руку с рейкой, а отлупил лишь полчаса спустя, и не рейкой, а голой рукой, ученика Хоттена Шервинского, потому что Хоттен Шервинский, согласно рапорту машинного мастера, своевременно не чистит и не смазывает фрезу; кроме того, утверждалось, что вышепоименованный ученик присвоил дверные петли и килограмм дюймовых гвоздей.

Следующий день Туллы в собачьей конуре,

уже шестой, был субботним. Август Покрифке в своих деревянных башмаках составил вместе пильные козлы, убрал Харрасовы какашки и принялся подметать и разрыхлять граблями двор, оставляя на песке не то чтобы безобразные, а просто глубокие и незамысловатые узоры. С ожесточением он снова и снова водил граблями возле опасного полукруга, отчего взрыхленный песок в этом месте становился все темней. Тулла не показывалась. Писала она, когда ей приспичивало — а она привыкла мочиться примерно раз в час, — прямо в опилки, которые Август Покрифке каждый вечер так и так менял. Однако вечером шестого Туллиного дня в собачьей конуре он не рискнул обновить опилочное ложе. Как только он в своих стоеросовых деревянных башмаках, с совком и березовым веником, с корзиной, полной мельчайших опилок из-под фрезы и шлифовального станка, сделал первый мужественный шаг через разрытый лапами полукруг, обозначив свое присутствие и намерение привычной, ежевечерне повторяемой присказкой «умница, умница, будь умницей» — из конуры донеслось не то чтобы злобное, а скорее предупредительное рычание.

В ту субботу опилки в собачьей конуре поменять не удалось; не удалось Августу Покрифке и спустить сторожевого пса Харраса с цепи. Со злой собакой на привязи да при тощей луне столярная мастерская осталась на всю ночь считай что без охраны; но воры к нам не залезли.

В воскресенье,

в Туллин седьмой день в собачьей конуре, у Эрны Покрифке созрела одна задумка. Эрна появилась после завтрака, левой рукой волоча за собой стул, четвертая ножка которого, пересекая вчерашние грабельные узоры Эрниного мужа, прорезала в них глубокую, решительную борозду. В правой руке она несла собачью миску, доверху наполненную бугристыми говяжьими почками и надвое разрезанными бараньими сердцами: сердечные желудочки выворачивали напоказ все свои аорты, связки, жилы и гладкие внутренние стенки. В почтительном шаге от полукруга, прямо против входа в конуру, она долго и тщательно устанавливала стул, потом, наконец, уселась и съежилась, вся скособоченная, кривая, с зыркающими крысиными глазками и маленькой, скорее обкорнанной, чем постриженной головкой, в черном воскресном платье. Из пристегнутой спереди матерчатой сумочки она извлекла вязанье и принялась вязать, наставляя острые спицы на собачью конуру, на Харраса и на свою дочь Туллу.

Мы, то есть столярных дел мастер, моя мать, Август Покрифке вместе с сыновьями Александром и Зигесмундом, полдня простояли у кухонного окна, глазея во двор то все скопом, то поодиночке. Да и в других квартирах в окнах, что выходят во двор, торчали сидя и стоя жильцы и дети жильцов — а в окне первого этажа одна, потому что одинокая, сидела старушка мамзель Добслаф и тоже глазела во двор.

Я сменить себя не давал и стоял безотлучно. Ни игрой в «братец, не сердись», ни воскресным пирогом с корицей меня от окна было не оттащить. Стоял ласковый августовский день, а назавтра начиналась школа. Нижние створки наших двойных окон мы по настоянию Эрны Покрифке закрыли. Квадратные же верхние были слегка приотворены и впускали в нашу кухню-столовую свежий воздух вперемешку с мухами и гарканьем соседского петуха. Все шумы на улице, включая звуки трубы с Лабского проезда, где каждое Божье воскресенье какой-то чудак разучивал на чердаке одного из домов свои пассажи, то и дело менялись. Неизменным оставалось только тихое неживое шуршание, перестук, бормот, причмокивание и сюсюканье — какое-то въедливо-гнусавое, с присвистом, словно ветер гуляет в ветвях кошнадерского ольшаника, и перепляс бесчисленных спиц, жемчужные четки, скомканный лист разглаживается сам собой, мышка-норушка точит зубки, соломинка к

соломинке жмется: мамаша Покрифке не просто вязала, наставив на конуру спицы, она ворожила, пришепетывала, шушукала, прищелкивала языком, стрекотала и присвистывала в ту же сторону. Я видел в профиль ее тонкие губы, ее скачущий, пилящий и вдалбливающий, то грозно выставленный, то кротко спрятанный подбородок, ее семнадцать пальцев и четыре неугомонные попрыгуньи-спицы, из-под которых в ее тафтяном черном подоле вырастало что-то голубенькое, предназначенное, безусловно, для Туллы — Тулла потом это и носила.

Собачья конура со своими обитателями не подавала признаков жизни. В самом начале, когда вязание и причитания только набирали силу и явно не думали прекращаться, Харрас вяло и не поднимая глаз вышел из будки. Зевнув до хруста и сладко потянувшись, он направился к миске с мясом, по пути, судорожно присев, выдавил из себя свою тугую колбаску, потом и лапу не забыл поднять. Миску он зубами подтащил к конуре, заглотал там, нетерпеливо пританцовывая задними лапами, говяжьи почки и бараньи сердца со всеми их вывернутыми изнанками, но при этом так искусно заслонял вход в конуру, что понять, отведала ли Тулла вместе с ним от сердец и почек, было невозможно.

К вечеру Эрна Покрифке вернулась в дом с почти готовой голубой вязаной кофточкой. Мы боялись спрашивать. «Братец, не сердись» был срочно убран со стола. Пирог с корицей остался недоеденным. После ужина отец строго встал, сурово посмотрел на пейзаж маслом с кужской ольхой посередине и сказал, что пора наконец что-то с этим делать.

На следующий день,

утром в понедельник, столярных дел мастер собрался идти в полицию; Эрна Покрифке, расставив для упора ноги и надрывая горло, костерила его на чем свет стоит, назвав, среди прочего, сраной жабой-вонючкой; один я, уже с ранцем за плечами, стоял на своем наблюдательном посту у кухонного окна. И тут я увидел, как Тулла, вся тощая, качаясь от слабости, в сопровождении понурившего голову Харраса, покидает собачью конуру. Сперва она ползла на четвереньках, потом распрямилась совсем как человек и неверным шагом — Харрас не решился стать ей поперек дороги — перешагнула разрытый его лапами полукруг. На двух ногах, чумазая, серая, но местами добела вылизанная длинным собачьим языком, она почти на ощупь добрела до калитки.

Харрас лишь один раз взвыл ей вслед, но его вой легко заглушил истерический крик дисковой пилы.

Покуда для меня и Туллы,

для Йенни и всех других школьников возобновились занятия, Харрас потихоньку снова вжился в свою судьбу сторожевого пса, в унылые будни, монотонный ход которых не нарушило даже известие, пришедшее недели три спустя и означавшее, что племенной кобель Харрас в очередной раз заработал для моего отца, столярных дел мастера Либенау, еще двадцать пять гульденов. Тот визит в питомник служебных собак полицейского отделения Верхний Штрис, несмотря на всю его краткосрочность, принес свои результаты. А еще спустя некоторое время из специального, «строго для служебного пользования в полицейских питомниках служебного собаководства» изготовленного формуляра, присланного нам по почте, нам стало известно, что сука Текла, порода немецкая овчарка, из Шюддельказу, владелец — собаковод Альбрехт Лееб, регистр. номер 4356, принесла пять щенков. А потом, еще несколько месяцев спустя, после Рождества, Нового года, снега, оттепели, снова снега, еще одного, долгого снега, после первых весенних ручейков, после раздачи в школе пасхальных выпускных свидетельств — всех перевели, — после еще какого-то времени, когда вообще ничего интересного не происходило — ну разве что стоит упомянуть о несчастном случае в нашем машинном цехе, когда ученик Хот-

тен Шервинский, работая на дисковой пиле, лишился среднего и указательного пальцев левой руки, — вдруг пришло то самое заказное письмо, в котором за подписью гауляйтера Форстера — то бишь самого главного партийного начальника всего округа Данциг — сообщалось, что Управлением округа из питомника служебных собак полицейского отделения Верхний Штрис приобретен молодой кобель-овчарка по кличке Принц из выводка Фалько, Кастор, Бодо, Мира, Принц от суки Теклы из Шюдделькау, владелец — собаковод А. Лееб, Данциг-Ора, и кобеля Харраса из Никельсвальде, мельница Луизы, владелец — собаковод Фридрих Либенау, столярных дел мастер из Данциг-Лангфура, во исполнение решения, принятого от имени партии и всего немецкого населения немецкого города Данциг: Вождю и Канцлеру Рейха по случаю сорок шестой годовщины со дня его рождения подарить кобеля-овчарку по кличке Принц, сформировав для вручения подарка официальную делегацию. Вождь и Канцлер Рейха к предложению отнесся доброжелательно, согласен принять подарок округа Данциг и будет держать овчарку по кличке Принц вместе с другими своими собаками.

К заказному письму было приложено небольшое, формата открытки, фото Вождя с его собственноручной подписью. На фото он был запечатлен в национальной одежде верхнебаварских крестьян, только деревенский сюртук был немного улучшенного, городского покроя. В ногах у него улеглась дымчато-серая на фото овчарка со светлыми, вероятно желтыми, разводами на груди и холке. На заднем плане громоздились горные массивы. Вождь весело улыбался кому-то, кого на фотографии видно не было.

Письмо и фотография Вождя — и то и другое было немедленно окантовано и застеклено в нашей мастерской — долго ходили по рукам в соседних домах и возымели то действие, что сперва мой отец, потом Август Покрифке, а после и некоторое число соседей вступили в партию, а помощник столяра Густав Милявске — проработал у нас больше пятнадцати лет, спокойный умеренный социал-демократ — уволился и лишь два месяца спустя, после долгих уговоров моего отца, снова согласился встать к нашему строгальному станку.

Тулла получила от моего отца новый ранец. Мне подарили в полном комплекте форму «юнгфолька». А Харрас получил новый ошейник, но содержать его лучше не стали, потому что его и так содержали лучше некуда.

Дорогая Тулла,
возымела ли внезапная карьера нашего сторожевого пса для нас какие-нибудь последствия? Мне Харрас принес школьную славу. Меня вызвали к доске и попросили рассказать. Конечно, нельзя было говорить о случке, покрытии, свидетельстве о вязке и вознаграждении за вязку, про отмеченную в племенной книге «радостную готовность» нашего Харраса к покрытию и про «ответный пыл» суки Теклы. Как послушный и наивный пай-мальчик я должен был что-то сюсюкать — и с удовольствием сюсюкал — о папе Харрасе и маме Текле, о собачьих детках Фалько, Касторе, Бодо, Мире и Принце. Барышня Шполленхауэр хотела знать буквально все:

— А почему господин Руководитель края подарил нашему Вождю маленького щенка Принца?

— Потому что у Вождя был день рожденья и он давно хотел, чтобы ему подарили собаку из нашего города.

— А почему маленькому щенку, сыну Харраса, в Оберзальцберге так хорошо живется, что он уже совсем не скучает по своей собачьей маме?

— Потому что наш Вождь любит собак и всегда хорошо с ними обращается.

— А почему все мы радуемся тому, что маленький щенок Принц теперь у Вождя?

— Потому что Харри Либенау учится в нашем классе!

— Потому что овчарка Харрас — это собака его папы!

— Потому что Харрас — папа маленького щенка Принца!

— И еще потому, что для нашего класса, для всей нашей школы и для нашего прекрасного города это большая честь.

Ты видела, Тулла,

как весь наш класс вместе со мной и во главе с барышней Шполленхауэр явился на наш столярный двор с экскурсией? Нет, ты была в школе и не видела.

Полукругом стоял наш класс вдоль того полукруга, которым Харрас очертил свои владения. Мне еще раз нужно было повторить весь мой отчет, после чего барышня Шполленхауэр попросила отца в свою очередь тоже что-нибудь рассказать детям. Столярных дел мастер, высказав предположение, что о политической карьере пса класс осведомлен, поведал кое-что о родословной нашего Харраса. Он говорил о суке Сенте и кобеле Плутоне. Оба такой же черной масти, как Харрас, а теперь вот и маленький Принц, и оба были родителями Харраса. Сука Сента принадлежит мельнику из Никельсвальде, это в устье Вислы.

— Никому, детки, в Никельсвальде бывать не доводилось? Я туда по узкоколейке добирался, а мельница там не простая, а историческая, потому что на ней переночевала королева Пруссии Луиза, когда ей пришлось от французов бежать. Под мельничными козлами, — так сказал столярных дел мастер, — он и нашел шесть кутят. Так, дети, называют маленьких собачьих детенышей, и одного маленького щенка он там у мельника Матерна купил. Это и был наш Харрас, который всегда, а в последнее время особенно, дарил нам столько радости.

Где ты была, Тулла,

когда мне, под присмотром машинного мастера, было позволено провести наш класс по машинному цеху? Ты была в школе и не могла видеть и слышать, как я перечислял одноклассникам и барышне Шполленхауэр названия всех машин. Это фреза. А это шлифовальный станок. Ленточная пила. Строгальный станок. Дисковая пила.

Вслед за тем мастер Дрезен рассказал детям про сорта древесины. Он говорил о разнице между древесиной торцовой и продольной, стучал по несортице, сосне, груше, дубу, клену, буку и мягкой липе, долго распинался о ценных породах и о годичных кольцах на древесных стволах.

Потом нам пришлось еще спеть на столярном дворе песню, которую Харрас слушать не пожелал.

Где была Тулла,

когда главный руководитель сектора Гепферт вместе с руководителем подсектора Вендтом и несколькими руководителями рангом пониже посетили наш столярный двор? Мы оба были в школе и не присутствовали при этом визите, во время которого было решено присвоить одному из вновь создаваемых отрядов «юнгфолька» имя Харраса.

Тулла и Харри не присутствовали и тогда,

когда после рёмовского путча и кончины престарелого господина в Нойдеке, в Оберзальцберге, в приземистой, искусно подделанной под крестьянскую избе за задернутыми пестрыми баварскими занавесками из набивного ситца состоялась знаменательная встреча; зато присутствовали госпожа Раубаль, Рудольф Гесс, господин Ханфштенгель, данцигский руководитель штурмовых отрядов Линсмайер, Раушнинг, Форстер, Август Вильгельм Прусский, для краткости именуемый просто «Авви», длинный Брюкнер и предводитель всех крестьян Рейха Даре — и слу-

шали Вождя, и Принц там был тоже. Принц от нашего Харраса, которого родила Сента, а Сенту зачал Перкун.

Ели яблочный пирог, который испекла госпожа Раубаль, и говорили о путче, об «огнем и мечом», о Штрассере, Шляйхере, Рёме, да-да, мечом и огнем. Потом поговорили о Шпенглере, Гобино и о протоколах сионских мудрецов. Потом Герман Раушнинг совершенно ошибочно назвал Принца «великолепным черным волкопсом». Потом эту ерунду повторял за ним чуть ли не каждый историк. Между тем — и это подтвердит любой кинолог — есть только одна разновидность волкопса, ирландский волкопес, и от немецкой овчарки он отличается весьма существенно. Удлиненная и узкая форма черепа ясно указывает на его родство с дегенерирующими борзыми. Рост его в холке составляет восемьдесят два сантиметра, что на восемнадцать сантиметров больше, чем у нашего Харраса. У ирландского волкопса псовина длинношерстная. Маленькие складчатые уши не стоят торчком, а обвисают. Словом, это типично репрезентативная собака, скорее предмет роскоши, Вождь никогда не стал бы держать такую в своей псарне; чем раз и навсегда доказывается, что Раушнинг заблуждался — не ирландский волкопес нервно терся о ноги уплетающих пирог гостей, а Принц, наш Принц слушал их беседы и, верный как собака, тревожился за своего хозяина; ибо Вождь имел основания опасаться за свою жизнь. Подлое покушение может таиться в любом куске пирога. Он боязливо пригублял свой лимонад и его часто, без видимой причины, подташнивало.

Но Тулла была тут как тут,

когда к нам приходили журналисты и фотографы. Не только «Форпост» и «Последние новости» прислали своих корреспондентов. Из Эльбинга и Кёнигсберга, Шнайдемюля и Штеттина, даже из столицы Рейха объявлялись бойкие господа и по-спортивному одетые дамы. Один лишь Брост, редактор запрещенного вскоре «Голоса народа», отказался брать интервью у нашего Харраса. Зато во множестве приезжали сотрудники религиозных печатных органов и специальных журналов. Газетенка Объединения друзей немецкой овчарки прислала кинолога, которого мой отец, столярных дел мастер, вынужден был попросту выставить со двора. Потому что этот собачий дока сразу начал придираться к родословной нашего Харраса: дескать, и клички-то давались безобразно, против всех правил собаководства, и нет, мол, никаких сведений о суке, от которой родилась Сента; и хотя само по себе животное совсем неплохое, придется в полемическом духе написать о таком варварском способе его содержания как раз потому, что речь идет об исторической собаке и тут, мол, требуется большое чувство ответственности.

Одним словом: в полемическом ли, в безудержно-восторженном стиле — о Харрасе писали, печатали, его фотографировали. Не обошли молчанием и столярную мастерскую с машинным мастером, подмастерьями, подсобными рабочими и учениками. Высказывания моего отца, такие, к примеру: «Мы простые ремесленники, делаем свое дело, и конечно нас радует, что наш Харрас...» — эти скромные речи рядового мастера-столяра приводились дословно, нередко прямо под фотографиями.

По моим прикидкам, сольное фото нашего Харраса печаталось в газетах раз восемь. Еще раза три он запечатлен с моим отцом, один раз, на групповом снимке, вместе со всей столярной мастерской; но ровно двенадцать раз вместе с Харрасом в немецкие и зарубежные газеты попала Тулла — худенькая, на тонюсеньких ножках-спичках, она стояла рядом с Харрасом и не шевелилась.

Дорогая кузина,

и при этом ты ведь сама ему помогала, когда он к нам переезжал. Ты сама перенесла стопки нот и фарфоровую танцовщицу. Ибо если четырнадцать квартир в нашем доме остались при своих жильцах, то старая мамзель Добслаф освободила

левую квартиру в первом этаже, окна которой выходили, а иногда и открывались во двор. Она съехала со всеми своими отрезами и пронумерованными фотоальбомами, с мебелями, из которых сыпалась древесная труха, — перебралась в Шёнварлинг к сестре; а учитель музыки Фельзнер-Имбс с черным пианино и горами пожелтевших нот, с золотой рыбкой и песочными часами, с бесчисленными фото знаменитых артистов и музыкантов, с фарфоровой статуэткой в фарфоровой балетной пачке, что застыла на мысочке фарфоровой балетной туфельки в одной из классических балетных поз, въехал в освободившуюся квартиру, даже не поменяв поблекшие обои в гостиной и аляповатые с цветами в спальне. К тому же эти бывшие добслафские комнаты были сами по себе темные, так как шагах в семи от их окон громоздилась и отбрасывала тень торцевая стена столярной мастерской с лепившейся к ней наружной лестницей на верхний этаж. Кроме того, между домом и мастерской росли два куста сирени, которые из весны в весну процветали. С разрешения отца мамзель Добслаф огородила оба куста садовым заборчиком, что ничуть не мешало Харрасу оставлять свои пахучие метки и в ее палисаднике. Однако съехала старушка мамзель не из-за собачьего самоуправства и не из-за темноты в квартире, а потому что родом была из Шёнварлинга и там же хотела умереть.

Даже если ученики приходили к нему утром или сразу после обеда, когда на улице еще вовсю справлял оргии солнечный свет, Фельзнер-Имбсу приходилось зажигать электричество в зеленоватом бисерном абажуре. Слева у парадной двери он распорядился на деревянных пробках прибить эмалированную табличку: «Феликс Фельзнер-Имбс, концертирующий пианист и дипломированный учитель музыки». Не прошло и двух недель с тех пор, как этот неопрятный человек поселился в нашем доме, а к нему уже стали ходить первые ученики, несли с собой деньги за урок и даммовскую «Школу игры на фортепьяно», понуро бренчали при свете лампы — правой-левой-теперь двумя руками-и еще раз — свои гаммы и этюды, пока в верхней колбе больших песочных часов на пианино не оставалось больше ни песчинки и они на средневековый манер оповещали, что урок окончен.

Богемного бархатного берета у Фельзнер-Имбса не было. Зато белая как лунь, к тому же припудренная, пышная и развевающаяся шевелюра волнами ниспадала ему на шею и воротник. В промежутках между уроками он эту свою артистическую гриву причесывал. И когда на лысой, совсем без деревьев площади Нового рынка озорной порыв ветра трогал его шевелюру, он тут же выхватывал из просторного пиджачного кармана щеточку и во время процедуры ухода за своими удивительными волосами даже собирал вокруг себя зрителей: домохозяек, школьников, нас. Когда он причесывал волосы, взгляд его голубовато-белесых, совсем без ресниц глаз подергивался дымкой чистейшего высокомерия и витал под сводами воображаемых концертных залов, где воображаемая публика все не могла уняться, аплодируя его, концертирующего пианиста Фельзнер-Имбса, виртуозному мастерству. Зеленоватый свет из-под бисерного абажура падал на его шевелюру — ни дать ни взять Оберон, умевший, кстати, интерпретировать отрывки из одноименной оперы, он ворожил на своей прочной вертящейся табуреточке, превращая учениц и учеников в водяных и русалок.

Притом что слух у этих юных дарований, восседавших перед раскрытой «Школой игры на фортепьяно», был, надо полагать, поистине тончайший, ибо только очень изощренное ухо способно было из неумолчных и неустанных арий фрезы и дисковой пилы, из переменчивых рулад шлифовального и строгального станков, из наивного одноголосья ленточной пилы выхватывать в их девственной чистоте ноты гамм и вбивать их под строгим безресничным взглядом Фельзнер-Имбса в клавиатуру. Поскольку этот машинный концерт, если стоять во дворе, играючи подминал под себя даже безудержное фортиссимо ученических рук, метавшихся по клавишам, зеленый салон за сиреневыми кустами весьма напоминал аквариум — там царила бурная, но совершенно бесшумная жизнь. Золотая рыбка учителя в круглом стеклянном шаре на лакированной подставке усилить впечатление аква-

риума уже не могла и была в этом смысле деталью, пожалуй, даже излишней.

Особое значение Фельзнер-Имбс придавал правильной постановке рук. Фальшивые ноты при известной доле удачливости могли утонуть в сытом, но по-прежнему всепоглощающем сопрано дисковой пилы, однако если ученик при исполнении этюда, при тоскливом повторении гамм ненароком прикасался подушечками ладоней к черным клавишам и без того черного инструмента, не соблюдя требуемую, сугубо горизонтальную постановку кисти, — никакой столярный шум эту очевидную формальную оплошность от зоркого учителя укрыть не мог. К тому же Фельзнер-Имбс разработал особый педагогический метод: ученику, которому предстояло отработать повинность в гаммах, поперек каждой кисти клался сверху карандаш. Всякий огрех, малейшее прикосновение утомленной руки к дереву — и карандаш падал, неопровержимо доказывая, что испытание не выдержано.

Такой же контрольный карандаш приходилось держать на обеих пухлых, блуждающих по тропкам гамм ручках и Йенни Брунис, приемной дочке старшего преподавателя из дома, что наискосок напротив нашего; ибо через месяц после того, как учитель музыки к нам въехал, она стала его ученицей.

Ты и я,

мы смотрели на Йенни из сиреневого палисадника. Мы приплющивали лица к оконным стеклам тинисто-зеленого аквариума и смотрели, как она там сидит: толстая, пухленькая, в коричневой фланели, на вертящейся табуреточке. Пышный бант, как огромная лимонница — на самом деле бант был белый, — уселся на ее светло-каштановые, гладко ниспадающие до плеч волосы. И если другие ученики достаточно часто получали весьма чувствительный удар по руке только что свалившимся карандашом, Йенни, чей карандаш тоже иногда падает на белую медвежью шкуру под пианино, может не опасаться даже укоризненного взгляда — в крайнем случае Фельзнер-Имбс посмотрит на нее озабоченно.

Возможно, Йенни и вправду была очень музыкальна — ведь мы, Тулла и я, по ту сторону оконного стекла, с фрезой и дисковой пилой за затылком, редко слышали разве что одну-две нотки; к тому же мы и по складу натуры не слишком, наверно, были способны отличить вдохновенно преодоленные музыкальные гаммы от понуро-вымученных; как бы там ни было, но пухленькому созданию из дома напротив гораздо раньше, чем другим ученикам Фельзнер-Имбса, было дозволено прикасаться к клавишам обеими руками сразу; да и карандаш летел вниз все реже и реже, покуда не был во всей своей дамокловой красе и строгости окончательно отложен в сторону. При желании уже можно было сквозь вопли и рев ежедневной, фрезой и пилой наяривающей, фистулой и фальцетом завывающей столярной оперы скорее угадать, нежели расслышать нежные мелодии даммовского учебника: «Зима пришла», «Охотник из Пфальца», «Иду я на Неккар, иду я на Рейн»...

Тулла и я,

мы хорошо помним, что Йенни была любимицей. Если занятия всех других учеников зачастую обрывались прямо на полуаккорде какой-нибудь «Стрелы в моем луке», потому что последняя песчинка средневековых песочных часов говорила свое «аминь», то когда кукольно-пухленькая Йенни овладевала на вертящейся табуреточке музыкальными знаниями, ни учитель, ни ученица песочных часов не наблюдали. А когда еще и толстый Амзель завел привычку сопровождать толстую Йенни на уроки музыки — Амзель ведь был любимым учеником старшего преподавателя и в дом напротив ходил запросто, — случалось, что следующему ученику приходилось целую четверть песочного часа дожидаться в сумрачной глубине музыкальной гостиной на одутловатой софе, прежде чем наступала его очередь; ибо Эдди Амзель, который в интернате Конрадинума брал когда-то уроки музыки, любил бок о бок с зеленогривым Фельзнер-Имбсом в четыре руки лихо отбацать какую-

нибудь «Прусскую славу», «Финский кавалерийский» или «Боевые товарищи».

А кроме того, Амзель еще и пел. Не только в гимназическом хоре победоносно звенел его верхний голос, но и в досточтимой церкви Святой Марии, чей средний неф раз в месяц полнозвучно и радостно принимал под свои своды кантаты Баха, он пел в церковном хоре. Замечательный верхний голос Амзеля открыли, когда решено было исполнить ранний шедевр Моцарта «Мисса Бревис». Мальчишеское сопрано искали по всем школьным хорам. Мальчишеский альт у них уже был. Всеми уважаемый руководитель хора, когда он отыскал Амзеля, пришел в восторг:

— Воистину, сын мой, ты затмишь знаменитого кастрата Антонио Чезарелли, который в свое время, при первом исполнении мессы, давал ей свой голос. Я слышу, как ты воспаряешь на «Бенедиктусе», как ликуешь на «Dona nobis», да так, что любой поймет: такому голосу даже под сводами Святой Марии тесно!

Хотя в ту пору мистер Лестер еще представлял в Вольном городе Лигу Наций, из-за чего все расовые законы на границах карликового государства в беспомощности и недоумении останавливались, Эдди Амзель, по рассказам, уже тогда на это ответил:

— Но, господин профессор, говорят, я наполовину еврей.

Профессор на это:

— Да что ты, мой мальчик, какой ты еврей, ты сопрано и будешь у меня запевать «Господи, помилуй».

Лапидарный этот ответ вошел в историю и еще долгие годы с почтением цитировался в кругах, близких к консервативному Сопротивлению.

Как бы там ни было, а мальчишеское сопрано репетировало трудные места из «Мисса Бревис» в зеленой музыкальной гостиной учителя музыки Фельзнер-Имбса. Мы оба, Тулла и я, как-то раз, когда пила и фреза вдруг на пару взяли передышку, слышали этот голос — он добывал из своих недр чистое серебро. Тонкие, как дыхание, острые ножички кололи и резали воздух. Гвозди плавились. Воробьи — и те устыдились. Даже в наших доходных домах повеяло набожностью, потому что толстый ангел все тянул и тянул «Dona nobis».

Дорогая кузина Тулла,

только потому, что Эдди Амзель стал ходить в наш дом, понадобилось это нудное, как гаммы, введение. Поначалу он приходил только с Йенни, потом стал водить с собой своего насупленного дружка. Вообще-то Вальтера Матерна можно было считать нашим дальним родственником, потому что овчарка его отца Сента приходилась матерью нашему Харрасу. Мой отец, завидя юношу, тут же начинал расспрашивать о самочувствии и успехах мельника и об экономическом положении Большой поймы вообще. Отвечал ему, как правило, Эдди Амзель, который и в экономике был подкован, рассуждал обстоятельно, приводя примеры и факты, в свете которых план партии и сената по расширению занятости выглядел несбыточным. Он рекомендовал смычку со стерлинговым блоком, иначе не избежать чувствительной девальвации гульдена. Эдди Амзель даже цифры называл: дескать, придется считаться с падением гульдена на сорок два с чем-то процента, а польский импорт подорожает процентов на семьдесят; даже дату девальвации можно, мол, уже сейчас предположить где-то в первых числах мая; а все эти даты и цифры он якобы позаимствовал у отца Матерна, мельника, тот всегда все наперед знает. Излишне говорить, что все предсказания мельника второго мая тридцать пятого года полностью сбылись.

Амзель и его товарищ были тогда уже в выпускном классе и потихоньку приближались к экзаменам. Оба уже ходили во взрослых костюмах с настоящими длинными брюками, пили возле спортзала или в пивнушке на Цинглерской горке дешевое пиво, а про Вальтера Матерна, который к тому же курил дешевые сигареты «Регата» и «Артур», вообще ходили слухи, что он в прошлом году соблазнил в

Оливском лесу ученицу предпоследнего класса из школы имени Елены Ланге. Никому бы и в голову не пришло приписывать такие подвиги увесистому Эдди Амзелю. Одноклассники и приглашаемые иногда в компанию барышни считали его, уже из-за одного только нездешнего, в горних высях витающего голоса, тем, что они не обинуясь называли словом «евнух». Другие высказывались поделикатней, Эдди, мол, еще слишком инфантилен, в известном смысле он еще существо бесполое. Сколько мне об этом понаслышке известно, Вальтер Матерн, слыша такие разговорчики, долго отмалчивался, пока однажды в присутствии многих однокашников и случившихся с ними барышень не произнес длинную речь, представившую его друга в истинном свете. Амзель, дал он понять, по части девушек и женщин всех ребят за пояс заткнет. Он довольно регулярно ходит к девкам в Столярный переулок, в дом против пивоварни Адлера. И занимается он там этим не как другие, по пять минут, а считается в заведении дорогим гостем, а все потому, что девушки видят и ценят в нем художественную натуру. Амзель, кстати, выполнил там тушью, кисточкой и пером, а сначала и в карандаше, изрядную стопку портретов и актов, причем не каких-нибудь свинских, а таких, что и выставить не стыдно. Потому что с папкой этих рисунков Эдди Амзель без всякого приглашения нанес визит знаменитому профессору живописи, мастеру писать лошадей, Августу Пфуле, который в Высшей технической школе преподает архитекторам рисунок, и показал ему эти работы; и Пфуле, известный своей суровостью, сразу же признал в Амзеле большое дарование и обещал всяческое содействие.

После такой речи, содержание которой я могу воспроизвести лишь по смыслу, подтрунивания над Амзелем почти вовсе прекратились. На него теперь поглядывали даже с особым уважением. Многие однокашники приставали к нему с требованиями взять их с собой в Столярный переулок, но он эти поползновения дружелюбно, а иногда и с помощью Матерна пресекал. Однако когда Эдди Амзель както раз — так во всяком случае мне донесли — предложил своему другу вместе пойти в Столярный переулок, тот, к его изумлению, отмахнулся. Он, мол, не хочет разочаровывать бедных девушек, — так, с не по годам уверенной рассудительностью, он заявил. Дескать, профессионализм в этом деле его отталкивает. У него, мол, ничего не воспрянет. А он от этого только хуже ожесточится, что в конечном счете для обеих сторон будет неприятно. Словом, без любви или на худой конец без страсти тут никак нельзя.

Все эти сильные доводы друга Амзель вроде бы выслушал молча, слегка покачивая головой, после чего, прихватив папку для рисования и изящно упакованную коробку шоколадного ассорти, направился к девушкам в заведение напротив пивоварни Адлера в одиночку. Тем не менее — и если я верно осведомлен — вскоре, в один из унылых декабрьских дней, он все же уговорил друга отпраздновать вместе с ним и девушками второй или третий сочельник. Но только на четвертый сочельник Матерн действительно явился. При этом выяснилось вскоре, что профессионализм в девушках отталкивает его так притягательно, что у него, вопреки всем его прогнозам, все воспрянуло, а потом, по школьным ценам и с умелой помощью немногословной девушки по имени Элизабет, успокоилось и улеглось. Воспоминания об этом ее благом деле ничуть, впрочем, не помешали ему по пути домой — сперва по Староградскому рву вверх, потом по Перечному граду вниз — злобно скрежетать зубами и предаваться мрачным размышлениям о продажности баб вообще и в частности.

Дорогая кузина!

Точно с такой же тигровой, шоколадно-коричневой в яично-желтую полоску рисовальной папкой, которая облагораживала его визиты в непотребный Столярный переулок, превращая их в легальные художественные экскурсии, Эдди Амзель в сопровождении Вальтера Матерна приходил и в наш доходный дом. Мы оба видели его в музыкальной гостиной учителя музыки Фельзнер-Имбса, где он, поста-

вив перед собой статуэтку фарфоровой балерины, бросал на бумагу ажурные, как дыхание, эскизы. А в один из умытых, солнечных майских дней я увидел, как он подходит к моему отцу, столярных дел мастеру, указывает на свою тигровую папку и тут же ее раскрывает, предоставляя рисункам говорить самим за себя. И отец с ходу дал ему разрешение рисовать нашего сторожевого пса Харраса. Только втолковал ему, чтобы он со всеми своими причиндалами располагался за чертой того полукруга, который канавкой и насыпью достаточно ясно обозначал пределы досягаемости собачьей цепи.

— Собака злая и художников наверняка не жалует, — так мой отец, столярных дел мастер, сказал.

Однако с первого дня наш Харрас слушался Эдди Амзеля с самого тихого полуслова. Амзель сделал Харраса своей собачьей моделью. Амзель не говорил, к примеру, «Харрас, сидеть!», как это делала Тулла, которая говорила «Сидеть, Харрас!», если нужно было, чтобы Харрас неподвижно сел. С первого дня Амзель игнорировал его собачью кличку Харрас и обращался к нашему сторожевому псу, когда хотел, чтобы тот поменял позу, примерно так:

— Ах, Плутон, не соблаговолите ли вы сперва встать на все четыре лапы, а потом правую переднюю поднять и слегка согнуть, но непринужденно, еще свободнее, пожалуйста. А теперь не будете ли вы так добры повернуть вашу благородную голову овчарки вполоборота налево, вот так, именно так, прошу вас, Плутон, так и оставайтесь.

И Харрас отзывался на кличку Плутон, словно он и вправду весь свой век был адским псом преисподней. Казалось, серый в клеточку, спортивного покроя костюм Амзеля вот-вот лопнет по всем швам под напором его необъятных телес. Макушку его укрывала белая льняная шапочка, придававшая ему невнятное сходство с английским репортером. Но одежка была не новая: все, что носил Амзель, вид имело подержанный, да и было подержанное, потому что он, — так рассказывали, — хотя деньги на карманные расходы имел сказочные, покупал только ношеные вещи либо в ломбарде, либо в лавках старьевщиков в Поденном переулке. А ботинки так и вовсе вроде были от почтальона. Он водружался своим широченным задом на маленький, но, судя по всему, невероятно прочный складной стульчик. Но покуда он, оперев на упругую левую ляжку свою папку с прижатым к ней чистым листом, расслабленной правой рукой как бы от запястья водил по нему своей неизменной густо-черной кисточкой, которая постепенно покрывала лист из левого верхнего угла в правый нижний стремительными, летящими, иногда, впрочем, неудачными, но чаще очень точными и какими-то удивительно свежими зарисовками нашего сторожевого пса Харраса, или, как он считал, адского пса Плутона, вокруг день ото дня все больше — а Эдди Амзель рисовал у нас во дворе примерно неделю, каждый день после обеда — нагнетались самые разные страсти и осложнения.

Во-первых, поодаль всегда стоял Вальтер Матерн. Одетый в живописные лохмотья — этакий костюмированный пролетарий в злободневной критической пьесе, который заучил наизусть свои обличительные тирады и в третьем акте становится предводителем мятежа, — он у нас во дворе становился, напротив, жертвой дисковой пилы. Подобно нашему Харрасу, который то и дело, особенно в плохую погоду, подхватывал ее напев — только пилы, фрезы никогда — руладами истошного воя, задирая морду к небу, так и этот молодой человек голос нашей пилы спокойно переносить не мог. Он, правда, голову не задирал и выть не порывался, не произносил и пылких бунтарских монологов, а перемалывал рабочий шум инструмента своим старым излюбленным способом — сухим скрежетом зубовным.

Этот скрежет, однако, действовал на Харраса. Губы его раскрывались, обнажая нехороший оскал. Углы губ подрагивали. Ноздри расширялись. Спинка носа сморщивалась от кончика до самого корня. Знаменитые стоячие, с легким наклоном вперед овчарочьи уши теряли свою уверенную стать и опадали. Харрас под-

жимал хвост, выгибал спину от холки до крупа трусливым горбом, словом, выглядел просто как побитая собака. И вот в этой позорной позе Эдди Амзель запечатлевал его снова и снова, причем с самой прискорбной достоверностью — то юркой густо-черной кисточкой, то царапающим врастопырку пером, то вдохновенно-брызгучим рапидографом. Наша дисковая пила, скрежещущие зубы Вальтера Матерна и наш Харрас, которого эта пила и этот скрежет превращали в выродка, — все они работали художнику Эдди Амзелю на руку. А все вместе — дисковая пила, Матерн, пес и Амзель — они образовывали примерно столь же слаженную рабочую команду, как авторский коллектив господина Брауксля, где он, я и еще некий соавтор пишут одновременно и должны управиться к четвертому февраля, когда начнется вся эта свистопляска и прочая дребедень со звездами.

Но моя кузина Тулла,

которая, день ото дня разъяряясь все больше, стояла тут же поодаль, больше в стороне оставаться не хотела. Всевластие Амзеля над адским псом Плутоном лишало ее прежней власти над сторожевым псом Харрасом. Не то чтобы пес совсем перестал ее слушаться — он, как и прежде, садился неподвижно, когда она приказывала «Сидеть, Харрас!», только исполнял эти все более сурово выкрикиваемые команды до того рассеянно и бездумно, что и Тулла сама себе, и я сам себе и Тулле вынуждены были признаться: этот Амзель портит нам собаку.

Тулла,

вне себя от ярости, сперва просто бросалась камушками, не однажды весьма метко попадая Амзелю то в круглую спину, то в мясистый загривок. Он, однако, легким пожатием плеч и вялым поворотом головы всякий раз давал понять, что, хотя камушек его и задел, чувствовать себя задетым он не намерен.

Тулла,

с перекошенным белым лицом, опрокинула его пузырек с тушью. Черная, отсверкивающая металлом лужица долго поблескивала на песке нашего двора и не хотела рассасываться. Амзель достал новый пузырек из кармана и как бы между прочим показал, что у него и третий в запасе.

Когда Тулла,

подкравшись сзади, швырнула горсть мельчайших опилок, из тех, что аппетитной горкой скапливаются в ящичке под кожухом дисковой пилы, на почти законченный, еще влажный и поблескивающий рисунок, Эдди Амзель сперва удивился, потом рассмеялся, раздосадованно и добродушно одновременно, по-отечески погрозил Тулле, которая с отдаления наблюдала за произведенным эффектом, своим толстым пальцем-сарделькой, после чего, все более и более вдохновляясь открывшейся новой техникой, начал обрабатывать прилипшие к бумаге опилки, придавая рисунку то, что в наши дни называют структурой; он мгновенно оценил возможности этой хотя и забавной, но недолговечной художественной манеры, извлекающей выгоду из случайности, тут же прихватил мелких опилок из ящичка под дисковой пилой, завернул их в носовой платок, добавил туда же мохнатые стружки от фрезы, игривые локоны от строгального станка, остренькие опилки от пилы ленточной и собственноручно, не дожидаясь Туллиных набегов из-за спины, сообщил своему рисунку кисточкой точечно-бугристый рельеф, прелесть которого состояла еще и в том, что некоторая часть прилипших к рисунку древесных крупиц через какое-то время отпадала, обнажая таинственно мерцающие крохотные островки чистой бумаги. Однажды — видимо, он был недоволен своими слишком нарочитыми стружечно-опилковыми загрунтовками — он попросил Туллу подкрасться сзади и как

бы непроизвольно швырнуть на только что законченный лист пригоршню опилок, стружек, можно даже песка. Он многого ожидал от Туллиного соавторства; но та отказалась и изобразила «задернутые занавески».

Моей кузине Тулле никак не удавалось

ущучить живописца и укротителя собак Эдди Амзеля. И только Август Покрифке сумел нащупать его слабину. С пильными козлами на плече, он не раз останавливался за спиной у художника и, хрустя своими клейкими пальцами, высказывал критические соображения и похвалы, обстоятельно вспоминал другого художника, который в свое время каждое лето приезжал в Кошнадерию и писал маслом Остервикское озеро, «церкву» в Шлангентине и разных кошнадерских обитателей — таких, как Йозеф Бутт из Аннафельда, портной Мусольф из Дамерау и вдова Ванда Йентак. И его тоже за резкой торфа нарисовали, а потом под названием «Резчик торфа» даже в Конице на выставке показывали. Эдди Амзель интерес к собрату по живописи выказал, однако наносить быстрые штрихи на бумагу не бросил. Тогда Август Покрифке оставил Кошнадерию и завел разговор о политической карьере нашего сторожевого пса. Со всеми подробностями он поведал о том, каким образом Вождь у себя в Оберзальцберге оказался владельцем овчарки по кличке Принц. Рассказал и про фотографию с подписью, что висит у нас в красной горнице над горкой грушевого дерева, выпускной работой одного из отцовских подмастерьев, рассказывал, загибая пальцы, сколько раз его дочку Туллу, сфотографированную вместе с Харрасом, а то и посреди большой статьи о Харрасе, в газетах пропечатали. Амзель вместе с ним порадовался ранним успехам Туллы и принялся за новый рисунок сидящего Харраса, или Плутона. Август Покрифке выразил уверенность, что уж Вождь-то все сделает как надо, уж в нем-то можно не сомневаться, ума у него больше, чем у всех прочих, вместе взятых, и рисовать он, кстати, тоже умеет. А кроме того, Вождь не из этих, которые только и знают, что важных господ из себя разыгрывать.

— Вождь, он когда в машине-то едет, всегда спереди с нашим братом шофером сидит, а не сзади, как какой-нибудь жидюга.

Амзель счел народную простоту Вождя весьма похвальной и перенес на бумагу уши адского пса с карикатурным преувеличением — они встали совсем уж торчком. Тогда Август Покрифке поинтересовался, состоит ли Амзель пока только в молодежном союзе «Гитлерюгенд» или уже в партию вступил; потому как где-нибудь, либо тут, либо там, Амзель — так ведь, кажись, его звать — конечно же состоит наверняка.

Тут Амзель медленно опустил кисточку, проглядел, склонив голову чуть набок, еще раз рисунок сидящего Харраса, или Плутона, а затем, повернувшись всем своим круглым, взмокшим, забрызганным веснушками лицом к вопрошающему, с готóвностью ответил, что нет, к сожалению, он нигде никакой не член и о человеке этом — ну-ка, еще раз, как там его зовут? — слышит впервые, но теперь обязательно наведет справки, кто этот господин, откуда родом и какие у него планы на будущее.

Тулла

на следующий день сполна отплатила Амзелю за его неосведомленность. Едва он уселся на своем прочном походном стульчике, едва опер на упругую левую ляжку свою папку с листом бумаги, едва Харрас, он же Плутон, принял свою новую модельную позу — лежа с вытянутыми передними лапами и бдительно-гордо вскинутой головой, — едва кисточка Амзеля обмакнулась в пузырек с тушью и напилась досыта, едва Вальтер Матерн, правым ухом к дисковой пиле, занял свой наблюдательный пост, — как дверь столярной мастерской распахнулась и выплюнула сперва Августа Покрифке, клеевара, а вслед за ним клееварову дочь.

Вместе с Туллой он стоит под дверью, шушукает что-то, косо поглядывая на прогибающийся складной стульчик, учит дитятко, дает ей наставления — и вот она уже подходит, сперва как бы нехотя, вихлявыми вензелями, скрестив тонкие ручки за спиной своего национального баварского платьица, бесцельно загребая босыми ногами песок, а потом вдруг начинает описывать вокруг рисующего Эдди Амзеля быстрые, стремительно сужающиеся петли, подскакивая то слева, то справа.

— Эй, вы! — И уже снова слева: — Эй, как вас там? — И тут же опять слева: — Чего вам здесь вообще надо? — И слева опять: — Чего вам надо-то здесь? — А теперь справа: — Вам тут вообще не место! — И снова справа: — Ведь вы же... — И справа, совсем близко: — Знаете, вы кто? — И слева, почти в ухо: — Сказать, кто вы такой? — И в правое ухо, как иглу: — Вы же абрашка! А-бра-шка. Да-да, абрашка! Или, может, вы не абрашка, вот тогда и можете рисовать нашу собаку, раз вы не абрашка.

Кисточка Амзеля замерла в неподвижности. А Тулла, уже отбежав в сторонку, снова:

— Абрашка!

Слово. Слово брошено, летает, скачет по двору, сперва тихо, вблизи от Амзеля, потом достаточно громко, чтобы и Матерн отвлекся от своих взаимоотношений с запевающей дисковой пилой. Он пытается схватить эту мелкую тварь, что выкрикивает слово «абрашка». Амзель встает. Матерн Туллу не поймал.

— Абрашка!

Папка с первыми, еще влажными штрихами туши падает на песок, рисунком вниз.

— Абрашка!

Вверху, на третьем, четвертом этажах, а потом и на первом, втором распахиваются окна: домохозяйки решили проветрить. А с Туллиного язычка снова:

— Абрашка!

Пронзительней, чем дисковая пила. Матерн хвать — и снова мимо. Туллин язык. Вострые ножонки. Амзель стоит возле своего складного стульчика. Слово. Матерн поднимает с земли папку и рисунок. Тулла пружинит на доске, что лежит на козлах.

— Абрашка! Абрашка!

Матерн завинчивает крышечку на пузырьке с тушью. Тулла взлетела на доске и спрыгнула.

— Абрашка! — катится по песку. — Абрашка!

Во всех окнах дома уже зрители, из окон мастерской тоже выглядывают подмастерья. Слово, три раза подряд, слово. Лицо Амзеля, которое во время рисования пылало, теперь остывает. Он не может согнать с лица улыбку. Пот, только уже липкий и холодный, течет по веснушкам и складкам жира. Матерн кладет ему руку на плечи. Веснушки теперь серые. Слово. Одно и то же слово. У Матерна рука тяжелая. Теперь с наружной лестницы. Вездесущая Тулла:

— Абрашка-абрашка-абрашка!!!

Матерн уже ведет Амзеля под руку. Эдди Амзель дрожит. Левой рукой, в которой у него уже папка, Матерн подхватывает складной стульчик. Только тут Харрас, освобожденный от приказа, меняет предписанную ему позу. Он принюхивается, понимает. И вот уже натянулась, напряглась цепь — голос собаки. Голос Туллы. Дисковая пила вгрызается в пятиметровую доску. Пока молчит шлифовальный. А вот и он. Так, а теперь фреза. Долгие двадцать семь шагов до калитки. Харрас рвется и готов сдвинуть сарай, к которому прикована цепь. Тулла, приплясывая и беснуясь, и еще раз слово. А неподалеку от калитки, что ведет со двора, там, где стоит, похрустывая клейкими пальцами и в деревянных сапогах, Август Покрифке, запах клея не на шутку схватился с ароматом из палисадника перед окнами учителя музыки. Сирень атакует и побеждает. Май как-никак. Слова не слышно, но оно висит в воздухе. Август Покрифке хочет сплюнуть то, что он уже несколько

минут копил во рту, но не осмеливается — Вальтер Матерн смотрит в упор, показывая ему свои громкие зубы.

Дорогая кузина Тулла!

Теперь я перескакиваю. Эдди Амзель и Вальтер Матерн были с нашего двора изгнаны. Тебе ничего за это не сделали. Поскольку Амзель нашего Харраса испортил, Харраса пришлось по два раза в неделю водить на передрессировку. А тебе, как и мне, приходилось учиться читать, писать и считать. Амзель и Матерн сдали свои экзамены, письменные и устные. Харраса подтянули в облаивании незнакомых лиц и в отказе от корма из чужих рук — но все равно Амзель его уже слишком сильно успел испортить. Тебе трудно давалось чистописание, мне арифметика. Но оба мы с удовольствием ходили в школу. Амзель и его друг получили аттестаты зрелости, Амзель — с отличием, Матерн — как говорится, с грехом пополам. Вроде снова началась жизнь или должна была начаться: после девальвации гульдена экономические трудности быстро и легко рассосались. Пошли заказы. Отец смог снова нанять подмастерья, которого он за месяц до девальвации вынужден был уволить. А Эдди Амзель и Вальтер Матерн после аттестата зрелости начали играть в кулачный мяч.

Дорогая Тулла,

кулачный мяч — это коллективная игра, осуществляемая двумя командами по пять игроков в каждой на двух прилегающих друг к другу площадках перебрасываемым с одной площадки на другую мячом величиной примерно с футбольный, но легче футбольного. Как и лапта, это исконно немецкая игра, пусть даже Плавт еще в третьем столетии до нашей эры и упоминает некий follis pugilatorius — «мяч избиваемый». Дабы усугубить истинно немецкий характер кулачного мяча — ибо у Плавта, вне сомнений, речь идет о германских рабах, играющих в эту игру, — следует сообщить: во время первой мировой войны в лагере военнопленных под Владивостоком пятьдесят команд играли в кулачный мяч; а в лагере военнопленных Оувестри, в Англии, свыше семидесяти команд проводили турниры по кулачному мячу, терпя в них бескровные поражения или одерживая столь же бескровные победы.

Игра не сопряжена с чрезмерными физическими нагрузками, как-то — с необходимостью много бегать, поэтому в нее можно играть и в шестидесятилетнем возрасте, как мужчинам, так и женщинам, причем даже чрезмерно тучной комплекции. Словом, Амзель начал играть в кулачный мяч. Кто бы мог подумать! Этим маленьким пухлым кулачком, этим кулачишкой, в который только посмеиваться хорошо, кулачком, который ни разу в жизни по столу не стукнул! Таким кулачком разве что письма придерживать, чтоб на сквозняке не улетели. Да какие это кулаки — так, тефтельки, клецки, две розовых примочки на коротеньких ручонках болтаются. Не то чтобы там рабочий кулак, пролетарский кулак, который «Рот фронт!» — эти кулачки были мягче воздуха. Кулачки для угадайки: угадай, в какой руке лежит. В кулачном праве он всегда и заведомо был неправ; в любом кулачном бою мгновенно превратился бы в «мяч избиваемый» — и только в кулачном мяче кулачок Амзеля был триумфатором; вот почему здесь и будет по порядку рассказано, как Эдди Амзель стал мастером кулачного мяча, то есть спортсменом, который сжатым кулаком — выставлять большой палец запрещено правилами — наносил по кулачному мячу удары снизу, сверху и сбоку.

Туллу и меня перевели в следующий класс.

Каникулы — вполне ими заслуженные — привели Амзеля и его друга в устье Вислы. Рыбаки молча наблюдали, как Амзель штрихует рыбацкие лодки и сети.

Паромщик заглядывал Эдди Амзелю через плечо, когда тот набрасывал контуры парового парома. У Матернов, на том берегу, он тоже побывал, многозначительно посудачил с мельником Матерном насчет будущего и зарисовал матерновскую мельницу на козлах со всех сторон. И с сельским учителем Эдди Амзель хотел было словечком перекинуться, но тот вроде бы своего бывшего ученика дальше порога не пустил. С чего бы это вдруг? Еще более решительно, к тому же с насмешками, отшила Эдди Амзеля ветреная шивенхорстская красавица, которую он хотел запечатлеть на ветреном берегу с ветром в волосах и в развевающемся на ветру платье. Но все равно папку свою он набил дополна и с полной рисовальной папкой уехал обратно в город. Он, правда, пообещал своей матушке поступить в какой-нибудь приличный институт — хотя бы в Высшую техническую школу на инженера, — но для начала стал завсегдатаем в доме у лошадиного живописца и профессора Пфуле и так же, как Вальтер Матерн, которому предстояло стать экономистом, но который с гораздо большим удовольствием декламировал против ветра монологи что Франца, что Карла Моора, никак не решался приступить к занятиям.

И тут пришла телеграмма: матушка призывала его в Шивенхорст к своему смертному одру. Причиной смерти вроде бы оказалась сахарная болезнь. Эдди Амзель сперва запечатлел мертвое лицо своей матери на рисунке пером, а потом сангиной. Говорят, на похоронах в Бонзаке он плакал. Очень мало людей собралось у гроба. С чего бы это вдруг? После похорон Амзель начал сводить на нет вдовье хозяйство. Он распродавал все: дом, мастерскую с рыбацкими куттерами, подвесными моторами, траловыми сетями, коптильными принадлежностями, полиспаст, ящики с инструментом и все вразнобой пахнущие товары из лавки. К концу распродажи Эдди Амзель уже считался, да и был, завидным женихом. И если некоторую часть своего состояния он поместил в Сельскохозяйственный банк Вольного города Данцига, то другую, большую часть ему удалось весьма выгодно вложить где-то в Швейцарии — там эти деньги много лет тихо работали на проценты и, ясное дело, не убывали.

Из осязаемых предметов Амзель лишь очень немногое взял с собой из Шивенхорста. Два фотоальбома, почти никаких писем, военные награды отца — лейтенант запаса, он погиб в первую мировую, — семейная Библия, его дневник первых школьных лет со множеством рисунков, некоторое число замызганных фолиантов о Фридрихе Великом и его генералах, а также бессмертный труд Отто Вайнингера «Пол и характер» — вот и все, что укатило вместе с Амзелем по рельсам узкоколейки.

Хрестоматийный этот опус высоко ценил его отец. Вайнингер пытался на протяжении двенадцати весьма протяженных глав доказать отсутствие души у женщин, чтобы затем в тринадцатой, под заголовком «Еврейство», пуститься в рассуждения о том, что евреи — раса женская, следовательно, бездушная, и лишь когда еврей преодолеет в себе свое еврейство, от еврейства можно ожидать искупления. Особенно значительные мысли отец Эдди Амзеля подчеркивал красным карандашом, нередко снабжая их к тому же на полях пометкой «Очень верно!». Так, на странице 408 лейтенант запаса нашел очень верным, что «евреи, как и женщины, любят бывать вместе, но друг с другом не сношаются...». На странице 413 он поставил три восклицательных знака против фразы: «Сводничающие мужчины всегда имеют в себе еврейство...» Хвостик предложения на странице 434 он подчеркнул многократно и сопроводил возгласом «Храни нас Боже!» на полях: «...что истинному еврею во веки вечные недоступно, так это бытие непосредственное, благодать Божья, тевтонский дуб, трубный глас, порыв Зигфрида, сотворение самого себя, слова «Я есьмь»...».

Еще два места, подкрепленные отцовским красным карандашом, обрели значимость и для сына. Поскольку в хрестоматийном труде было сказано, что еврей не поет и не занимается спортом, Альбрехт Амзель, стараясь хотя бы эти тезисы как-то ослабить, основал в Бонзаке атлетический кружок и украсил церковный хор

своим баритоном. В том, что касается музыки, Эдди Амзель, как известно, упражнялся в лихой и задорной игре на пианино, а также изливал мальчишеское сопрано, которое и после окончания гимназии не желало покидать свои горние выси, в моцартовских мессах и небольших ариях; что же до занятий спортом, то Эдди с головой окунулся в кулачный мяч.

Он, который годами был жертвой всенепременной школьной лапты, сам, добровольно, влез в хромово-зеленые спортивные брюки атлетического кружка «Младопруссия» и даже сподвиг своего друга, который дотоле с удовольствием играл в хоккей на траве за Данцигский хоккейный клуб, примкнуть вместе с ним к младопруссакам. С разрешения тренеров, дав обещание по меньшей мере дважды в неделю отстаивать на травяной арене Нидерштадт хоккейную честь своего клуба, Вальтер Матерн записался еще и в секции легкой атлетики и ручного мяча; ибо одного кулачного мяча с его неспешными, уютными передвижениями крепкому телу молодого человека было явно недостаточно.

Тулла и я,

мы прекрасно знали стадион имени Генриха Элерса — спортивно-тренировочный комплекс между Главной городской больницей и интернатом для слепых «Святой колодец». Приличный газон, но старые деревянные трибуны и раздевалки, в щелях которых гулял ветер. Главное поле и два небольших тренировочных с утра до вечера были заняты любителями лапты, ручного и кулачного мяча. Иногда, правда, заявлялись футболисты и легкоатлеты, покуда неподалеку от крематория не отгрохали шикарный стадион имени Альберта Форстера, после чего скромная арена имени Генриха Элерса осталась, в основном, для соревнований школьников.

Поскольку за год до того Вальтер Матерн на городском чемпионате школьников победил в толкании ядра и в беге на три тысячи метров и с тех пор имел репутацию перспективного юниора, ему удалось выбить для Эдди Амзеля допуск и сделать своего друга младопруссаком. Они его сперва только судьей на линии соглашались брать. А смотритель арены сунул Амзелю веник: и чтобы в раздевалках чистота была! Ему приходилось также смазывать мячи и на гандбольном поле обновлять мелом разметку штрафных площадок. И лишь когда Вальтер Матерн возвысил голос протеста, Эдди Амзель был взят разводящим в команду по кулачному мячу. На задней линии играли Хорст Плёц и Зигги Леванд. Левым нападающим был Вилли Доббек. Ну а уж справа, под самым тросом, роль главного забойщика в команде, которая вскоре стала грозой всех соперников и безусловным лидером в турнирной таблице, играл Вальтер Матерн. А все потому, что Эдди Амзель был дирижером, он был сердцем и мозгом команды, прирожденным диспетчером-разводящим. Все, что Хорсту Плёцу и Зигги Леванду удавалось сзади принять и переправить в центр площадки, Эдди Амзель легкими движениями запястья артистически и точно накидывал к тросу — а уж там стоял Матерн, центровой и бомбардир. Он словно выхватывал мячи из воздуха и редко «гасил» прямыми ударами, все больше подрезая. И если Амзель прекрасно умел, принимая даже коварно поданные мячи, сервировать их партнерам как на блюдечке, Вальтер Матерн даже внешне совершенно безобидные удары превращал в верные очки, поскольку если неподрезанный, прямой мяч отскакивает точно под углом удара, то есть предсказуемо, то мячи Вальтера Матерна, после удара по нижней трети мяча, на лету приобретали вращение и отскакивали куда им вздумается. Что до Амзеля, то его фирменным номером был внешне простоватый, но редко чисто исполняемый удар снизу. Низко летящие мячи он подбирал превосходно. Мощные удары сверху вытаскивал, ныряя под них «рыбкой» и подставляя кулаки «бобышками». Подкрученные мячи он распознавал мгновенно и либо отражал их легким ударом снизу, либо бил сильно сплеча. Он то и дело подчищал промахи и неточности собственных защитников и был, несмотря на все усмешки, впрочем усмешки уважительные, отличным неарийским игроком, спортсменом и младопруссаком.

Тулла и я были свидетелями,

как Амзелю даже удалось похудеть на пару кило. Эту его «усушку» заметила, кроме нас, только еще Йенни Брунис, в ту пору уже десятилетняя пышечка. Ей, как и нам, бросилось в глаза, что двойной трясущийся подбородок Амзеля вдруг окреп, превратившись как бы в плотный округлый цоколь. Да и его рыхлая грудь с вечно подрагивающими сосками расправилась и обнаружила более плоский рельеф. Не исключено, впрочем, что Эдди Амзель ни фунта и не сбросил, просто распределил свой жир более равномерно по всему телу и дал, благодаря спортивно развитой мускулатуре, этой прежде бесформенной жировой оболочке атлетический мышечный каркас. Его торс, ранее напоминавший пуховую подушку, теперь округлился в подобие бочонка. Он стал похож на фигурку китайского божка, этакого божка-покровителя всех игроков в кулачный мяч. Нет, вряд ли Эдди Амзель сбросил хотя бы полкило веса, скорее он в амплуа разводящего даже килограмма два прибавил, однако этот привесок он сумел сублимировать в спортивность — вот насколько относительным может казаться в человеке даже его вес.

В любом случае это, видимо, Амзель, который при своих набранных ста двух килограммах казался много легче, чем при прежних девяноста девяти, навел старшего преподавателя Бруниса на мысль прописать и пухленькому созданию Йенни побольше движения и физических нагрузок. Старший преподаватель вместе с учителем музыки Фельзнер-Имбсом решили, что Йенни три раза в неделю будет ходить в балетную школу. В предместье Олива имелся Шиповниковый переулок, что начинался у рынка и наискось выходил к Оливскому лесу. В Шиповниковом переулке стояла скромная вилла в стиле бидермайер, к песочно-желтой штукатурке которой, наполовину укрытой боярышником, лепилась эмалированная вывеска балетной школы. Поступление Йенни в балетную школу, так же как и вступление Амзеля в атлетический клуб младопруссаков, потребовало посреднических усилий — в данном случае Феликса Фельзнер-Имбса, который много лет был в этой школе аккомпаниатором. Никто не умел, как он, сопровождать упражнения у станка: все дми-плие, от первой до пятой позиции, с трепетом ждали его адажио. Он окроплял своими аккордами пор-де-бра. А его образцовый ритм при батманах дегаже и невероятный темп при пти батман сюр ле ку-де-пье! Кроме того, это был просто кладезь историй. Можно было подумать, что он лично и в одну эпоху видел на сцене Мариуса Петипа и Преображенскую, трагического Нижинского и непревзойденного Мясина, Фанни Эльслер и Барбарину. Никто не сомневался, что он был очевидцем того легендарного, исторического спектакля, когда, как он рассказывал, еще в бидермайеровские времена знаменитые Тальони, Гризи, Фанни Черито и Люсиль Гран танцевали большой «Падекатр» и восторженная публика забросала их розами. С превеликим трудом он достал билет на галерку — тогда говорили «на Олимп» — на премьеру балета «Коппелия». Само собой разумеется, балетный пианист Фельзнер-Имбс мог воспроизвести на пианино по клавирам весь балетный репертуар от скорбной Жизели до воздушной Сильфиды; и именно по его рекомендации мадам Лара взялась делать из Йенни Брунис вторую Уланову.

Понятно, что уже вскоре Эдди Амзель стал терпеливым зрителем этих занятий. Стоя за пианино, вооруженный эскизным блокнотом, оснащенный мягким свинцом, он шустрым взглядом следил за упражнениями у станка и вскоре уже умел лучше запечатлевать нужные позиции на бумаге, чем мальчики и девочки, частично из детской балетной труппы Данцигского театра, способны были воспроизвести их наяву. Мадам Лара нередко прибегала к услугам его рисовального искусства и объясняла своим ученикам с рисунком в руках нужные плие.

Йенни являла собою в танцклассе зрелище одновременно и грустное, и умилительное. Ибо, хотя ребенок прилежно воспроизводил все фигуры — ах, как старательно она семенила ножками в па-де-бурре, как трогательно отличался ее сдобный пти шанжман де-пье от скучного шанжмана тренированных балетных цапель, как светился, когда мадам Лара разучивала с классом танец маленьких лебедей, ее

вдохновенный, столетия и клубы пыли проницающий взор, который даже суровая мадам Лара называла «лебединым», — и все же, при несомненном балетном очаровании, Йенни, увы, производила впечатление хорошенькой розовой свинки, которая хочет превратиться в воздушную Сильфиду.

Почему же тогда Амзель снова и снова запечатлевал ее плачевные арабески, ее надрывающие душу тур а ля згонд в своих слегка размытых рисунках? Потому что его свинцовый карандаш, нисколько не затушевывая полноту Йенни, умел обнаруживать дремлющую в ее теле танцевальную линию и доказывал мадам Ларе, что в этом мешочке жира скрыта и готова засиять маленькая, с орешек величиной, балетная звездочка; надо только суметь распустить на огне все это сало, наружное и нутряк, покуда в шипящем пламени знаменитых тридцати двух фуэте на сковородке сцены не останется, подпрыгивая и вертясь, одна только тощенькая и упругая балетная шкварка.

Дорогая Тулла!

Как Эдди Амзель становился в балетной школе зрителем Йенни, точно так же и Йенни Брунис ближе к вечеру, устроившись на пригорке газона, смотрела, как Амзель дирижирует своей командой, ведя ее к очередной победе. И когда Амзель тренировался, то есть когда он с упорством монахини, по три раза перебирающей четки, жонглировал легким кулачным мячом, Йенни не отводила от него глаз и не закрывала свой круглый ротик-пуговичку. Оба они, тянувшие вместе килограммов эдак на сто шестьдесят, составляли парочку, знаменитую если не в масштабах города, то уж точно в масштабах нашего предместья; ибо все жители предместья Лангфур знали Йенни и Эдди ничуть не хуже, чем им был известен некий шкет-недомерок со своим неразлучным детским жестяным барабаном. Правда, тот гном — все кликали его просто Оскаром — слыл законченным нелюдимом и ни с кем не водился.

Мы все,

Тулла, я и Туллины братья, встречали Амзеля, пышечку Йенни и грозного «забойщика» Вальтера Матерна на спортплощадке. Да и другие девятилетки — Хансик Матулл, Хорст Канут, Георг Цим, Хельмут Левандовский, Хайни Пиленц и братья Реннван — там виделись. Мы все были из одного отряда «юнгфолька», и наш вожатый Хайни Васмут, несмотря на протесты почти всех спортивных секций, сумел добиться, чтобы нам разрешили тренироваться в эстафетном беге на гаревой дорожке и, главное, маршировать на игорном поле в форме и в уличной обуви. Но Вальтер Матерн это увидел и призвал нашего вожатого к порядку. Они оба друг на друга орали. Хайни Васмут тряс своими инструкциями и письменным разрешением администрации стадиона, но Вальтер Матерн, неприкрыто угрожая мордобоем, все же настоял на своем, и больше мы ни на гаревые дорожки, ни на игорное поле в форме и уличной обуви ступать не смели. Маршировали мы с тех пор на Иоганновом лугу, а на стадион имени Генриха Элерса ходили уже только сами по себе и всегда со спортивными тапочками. Солнце всегда светило косо, потому что день клонился к вечеру. На всех площадках бурная жизнь. Судейские трели на разные голоса оповещали соперничающие команды о начале или конце игры. Забивались и забрасывались голы, стороны менялись площадками, гасились «свечи», с треском подавались подачи. Игроки пасовали, сбрасывали, прикрывали, финтили, блокировали, принимали, обыгрывали, заигрывались, проигрывали и выигрывали. Гаревые крошки в кедах и полукедах. Сонное ожидание игры «на победителя». Шлейф из трубы крематория указывал направление ветра. Натирались биты, отмерялись «метки», заполнялись таблицы, чествовались победители. Смеялись много, кричали беспрерывно, плакали иногда и кошку смотрителя арены гоняли часто. И все слушались мою кузину Туллу. Все боялись Вальтера Матерна. Некоторые

исподтишка бросались камешками в Эдди Амзеля. Многие обходили стороной нашего Харраса. Кто-то, самый последний, должен был запереть раздевалку и ключ отдать смотрителю арены; Тулла этого не делала никогда, а мне иной раз приходилось.

А однажды

Тулла и я, мы видели, как плакала Йенни Брунис, потому что кто-то увеличительным стеклом прожег ей дырочку в новом, весенне-зеленом платье.

А годы спустя — меня и Туллы при этом не было — несколько гимназистов, проводивших здесь турнир в лапту, бросили на шею задремавшему однокласснику кошку смотрителя арены.

А в другой раз — Йенни, Амзеля и Матерна тогда не было, потому что у Йенни были занятия в балетной школе, — Тулла утащила для нас два мячика, а в краже заподозрили мальчишку из спортклуба «Атлет».

А как-то раз — Вальтер Матерн, Эдди Амзель и Йенни Брунис после очередной партии в кулачный мяч лежали на травянистом склоне возле малой площадки — произошло действительно нечто необычное, и выглядело все и правда очень красиво.

Мы тоже расположились неподалеку, в нескольких шагах. Тулла, Харрас и я не могли оторвать глаз от этой группы. Заходящее солнце из-за Йешкентальского леса все еще шарит косыми лучами по спортплощадкам. Нескошенная трава у самой беговой дорожки отбрасывает длинные тени. И о дыме, что отвесным столбом поднимается из трубы крематория, мы совсем не думаем. Изредка до нас доносится светлый, мальчишеский смех Эдди Амзеля. Харрас в ответ негромко тявкает, и мне приходится хватать его за ошейник. Тулла обеими руками выдирает траву. Меня она не слушает. А Вальтер Матерн там изображает какие-то роли. Говорят, он учится на актера. Йенни в своем белом платьице, на котором, должно быть, останутся пятна от травы, машет нам ручкой. Я осторожно машу в ответ, пока Тулла не поворачивает ко мне свое лицо с ноздрями и передними резцами. Бабочки заняты своим делом, шмели гудят... Нет, это не шмели. То, что мы, сидя на арене имени Генриха Элерса на закате одного из летних дней тридцать шестого года, сидя порознь и группами ранним вечером, когда в последних играх уже прозвучал финальный свисток и граблями разравнивается прыжковая яма, сперва слышим, а потом и видим, — это не шмели, а воздушный корабль «Граф Цеппелин».

Мы знаем, что он должен пролететь. В газетах писали. Сперва проявляет беспокойство Харрас, потом и мы — Тулла первая — слышим этот гул. Он нарастает — хотя «Цеппелин» вроде бы должен лететь с запада — сразу со всех сторон одновременно. И вдруг, внезапно и сразу, он уже висит над Оливским лесом. Разумеется, солнце как раз заходит. Поэтому дирижабль не серебристый, а розовый. Но затем, поскольку солнце прячется за гору Карлсберг, а дирижабль берет курс в сторону открытого моря, розовый цвет сменяется серебром. Все встали и смотрят, прикрыв глаза козырьками ладоней. Из ремесленно-хозяйственного училища доносится дружный хор. Школьницы славят «Цеппелин» на все свои мелодичные девичьи голоса. Духовой оркестр с Цинглеровской горки пытается сделать то же самое аккордами Хоэнфридбергского марша. Матерн напряженно смотрит куда-то совсем в другую сторону. Чем-то ему «Цеппелин» не по нутру. Зато Эдди Амзель, вскинув коротенькие ручки, радостно хлопает в ладоши. И Йенни Брунис восторженно выкрикивает «Цеппелин! Цеппелин!» и подскакивает на месте, как мячик. Даже Тулла раздула ноздри и, кажется, прямо так бы к дирижаблю и присосалась. У Харраса все тревоги в хвосте. А дирижабль такой серебряный, что вот-вот сорока унесет. В то время как на Цинглеровской горке Хоэнфридбергский марш сменился Баденвайльским, покуда девочки-школьницы все тянут и тянут свою нескончаемую «Святую отчизну», пока «Граф Цеппелин», становясь все меньше и отли-

вая серебром все ярче, удаляется в направлении Хелы, из печей городского крематория — я помню отчетливо — неуклонный и прямой, вздымается столб черного дыма. Матерн, который в сказки про «Цеппелин» не верит, пристально вглядывается в этот жирный евангелический чад.

Моя кузина Тулла,

обычно виновная или совиновная во всем, к скандалу, который разразился потом на стадионе имени Генриха Элерса, была не причастна. Причастен был Вальтер Матерн. О его деянии рассказывали в трех разных версиях: то ли он раздавал листовки в раздевалке; то ли с клейстером в руках расклеивал их на деревянных трибунах незадолго до гандбольного матча «Шелльмюль-98» — «Атлет»; то ли, покуда на всех площадках шли игры и тренировки, он рассовывал листовки по карманам висящих в раздевалке пиджаков и брюк взрослых спортсменов и юниоров, за коим занятием его смотритель арены и застукал. Впрочем, какую из версий следует признать самой достоверной, сейчас уже более или менее все равно, поскольку листовки, раздавал ли их Вальтер открыто, расклеивал ли при помощи клейстера, или рассовывал тайком по карманам, оставались одинаково красными независимо от способа распространения.

А так как сенат Вольного города Данцига сперва под началом Раушнинга, потом при Грайзере распустил своим указом коммунистическую партию в тридцать четвертом, социал-демократическую в тридцать шестом году — возглавляемая доктором Стахником партия центра распустилась в тридцать седьмом году самостоятельно, — листовочную акцию студента Вальтера Матерна — он, правда, все еще толком не учился, а больше актерствовал — следовало квалифицировать как противозаконную.

Но поднимать шум никому особо не хотелось. После непродолжительных переговоров на квартире у смотрителя, среди кубков, фотографий спортивных звезд и дипломов в рамках, — смотритель арены Кошник был в начале двадцатых годов известным легкоатлетом — Вальтер Матерн был вычеркнут из членских списков клуба «Младопруссия». Эдди Амзелю, который на протяжении всех переговоров пристально и критично изучал бронзовую статуэтку копьеметателя, было, без объяснения причин, предложено незамедлительно выйти из клуба. После того как обоим недавним младопруссакам на прощанье были выданы от руки написанные грамоты, увековечившие победу их команды на последнем турнире по кулачному мячу, их напутствовали чисто спортивным рукопожатием. Все младопруссаки, а вместе с ними и смотритель арены отпустили Эдди Амзеля и Вальтера Матерна со словами осторожного сожаления, пообещав напоследок ни о чем руководству клуба не сообщать.

Так что Вальтер Матерн по-прежнему оставался весьма ценным игроком своей хоккейной команды и даже смог записаться в клуб планеристов. Под Кальбергом на Свежей косе он вроде бы даже совершил двенадцатиминутный полет и сфотографировал сверху всю данцигскую бухту. И только Эдди Амзель решил, что спорта с него достаточно; он снова обратился к изящным искусствам, и моя кузина ему в этом помогла.

Слушай внимательно, Тулла,

иногда, даже когда на улице не особенно тихо, я слышу, как растут мои волосы. Нет, не ногти на руках и ногах — только волосы. И все только потому, что ты однажды меня за волосы схватила, потому что на одну секунду и на целую вечность ты запустила руку мне в волосы — мы сидели в дровяном сарае посреди твоей коллекции самых длинных стружек, таких же волнистых, как мои волосы, — и потому что потом, но все еще в нашем сарайном укрытии, ты сказала:

— Вот это, одно только это в тебе и есть.

И с тех пор, поскольку ты единственно их только и признала, мои волосы обособились, они и не мои почти, они стали твоими. Наш Харрас был твоим. Дровяной сарай был твоим. Твоими были все кастрюли с клеем и все красиво завивающиеся стружки. И строчки эти, даже если я пишу их для Брауксля, тоже твои.

Но едва Тулла убрала свою руку из моих волос и что-то про них сказала, ее уже рядом не было — через сырые доски, между листами окантованной фанеры, она уже прошмыгнула наружу, на столярный двор, а я, все еще с электричеством в волосах, был слишком нерасторопен и не успел предотвратить ее покушение на учителя музыки и балетного пианиста.

Фельзнер-Имбс вышел во двор. Кренясь вперед, он заковылял к машинному цеху, желая узнать у машинного мастера, когда у фрезы и дисковой пилы намечается сколько-нибудь длительный перерыв, ибо он, бывший концертирующий пианист и все еще пианист балетный, намерен разучивать — очень тихо — нечто весьма сложное, а именно адажио. Раз или два раза в неделю Фельзнер-Имбс просил нашего машинного мастера о такой любезности, которая ему всякий раз, хотя и не всегда тотчас же, оказывалась. Едва машинный мастер кивнул и, тыча большим пальцем в сторону дисковой пилы, сообщил, что ему только надо еще две доски пропустить, едва Фельзнер-Имбс, после обстоятельных поклонов, которые в непосредственной близости от дисковой пилы выглядели довольно рискованно, покинул машинный цех и уже почти наполовину преодолел расстояние до калитки, — я только-только вылезал из сарая, — в этот миг моя кузина Тулла спустила с цепи нашего сторожевого пса Харраса.

В первую секунду Харрас не знал, что ему делать со своей внезапной свободой, потому что обычно его спускали с цепи лишь для того, чтобы тут же взять на поводок; но затем, после краткого и недоверчивого замешательства, с чуть склоненной набок головой, его всеми четырьмя лапами подбросило в воздух, снова кинуло вниз, он по диагонали пулей промчался через двор, крутанулся перед сиренью, перемахнул, напрягая шею, пильные козлы и принялся добродушно прыгать вокруг столбом застывшего пианиста: игривый лай, беззлобно приоткрытая пасть, пританцовывающие задние лапы; и лишь когда Фельзнер-Имбс решил искать спасения в бегстве, а Тулла от конуры — она все еще сидела там с карабином от цепи в руках — своим шипящим, науськивающим «хысь! хысь! хысь!» нашего Харраса раззадорила, он бросился за пианистом вдогонку и схватил его за развевающиеся фалды; ибо Фельзнер-Имбс, встречавший своих учеников в бархатной артистической тужурке, надевал, как только ему предстояло исполнить трудный концертный номер перед воображаемыми или взаправдашними слушателями, свой парадный концертный фрак.

Фрак, конечно, был безнадежно разодран, и моему отцу пришлось эту потерю возмещать. В остальном же ничего страшного с пианистом не произошло, благо машинный мастер вместе с отцом смогли нашего черного, азартно дерущего парадный фрак и по сути все еще играющего зверя с грехом пополам оттащить.

Туллу ждала взбучка. Но Тулла растворилась в воздухе, и наказать ее было невозможно. Поэтому наказали меня — я Туллу не остановил, только смотрел и ничего не сделал. Отец охаживал меня куском обрешеточной рейки, пока Фельзнер-Имбс, уже снова поставленный машинным мастером Дрезеном на ноги, за меня не вступился. Покуда он щеточкой для волос, чудом уцелевшей после натиска нашего Харраса в одном из карманов фрака, сперва взъерошил свою художественную шевелюру против шерсти — зрелище, которое Харрас без рычания переносить не мог, — и только потом зачесал, как обычно, львиной гривой, он успел высказаться в том смысле, что наказания заслуживаю все-таки не я, а Тулла или собака. Но там, где стояла Тулла, теперь зияла дыра, а нашего Харраса отец не бил никогда.

Слушай внимательно, Тулла!

Полчаса спустя смолкла, как и было уговорено, дисковая пила, замолчали фреза со шлифовальным станком, беззвучно замерла пила ленточная, Харрас, снова на цепи, уныло возлежал около будки, прекратился и мерный гул строгального станка, а из музыкальной гостиной Фельзнер-Имбса доносились отчетливые, нежные, раздельно-тягучие, то торжественные, то скорбные аккорды. Хрупкие, ломкие, они пересекали столярный двор, карабкались по фасаду дома, но на уровне третьего этажа срывались, падали, снова собирались вместе и рассыпались окончательно: Имбс разучивал сложную пьесу, так называемое адажио, на время троекратного исполнения которого машинный мастер поворотом рубильника на черном приборном щитке отключил все станки и машины разом.

Тулла, как я подозревал, затаилась в дровяном сарае, среди своих длинных волнистых стружек, в самом дальнем углу почти под толевой крышей. Она, должно быть, слышала мелодию, но не слушала ее. Меня же концертный номер пианиста увлек. Я перелез через заборчик сиреневого палисадника и приплющил лицо к окну. Зеленоватый сноп света в полумраке музыкальной гостиной. Две колдующих руки и белая, как лунь, хотя и облитая зеленым сиянием, голова внутри этого светового снопа: это Фельзнер-Имбс склонился над заколдованной клавиатурой и над нотами. Большие песочные часы, беззвучные и деловитые. Фарфоровая балерина, грациозно вытянув свою фарфоровую ножку в безупречном арабеске, тоже попала в световой сноп. В глубине комнаты, в смутном полумраке, угадываются на софе призрачные силуэты Эдди Амзеля и Йенни Брунис. Йенни в своем лимонном платье. Амзель не рисует. Лица обоих, обычно налитые и румяные, как яблочко, покрывает болезненная бледность. Йенни сплела свои толстенькие пальчики, напоминающие в этом подводном освещении мясистые щупальца водорослей. Амзель, поставив руки «домиком», водрузил на них подбородок. Несколько раз и с явным наслаждением Фельзнер-Имбс повторяет один и тот же пассаж: зов, прощанье, утрата — плеск волн, гряда облаков, полет птиц — любовный пыл, лесная услада, ранняя смерть, — после чего снова, заставив золотую рыбку в глубине комнаты на лакированной подставке вздрогнуть в ее стеклянном шаре, он исполняет мягкую и тихую пьесу еще раз от начала до конца — смертельная усталость, переход, светлая радость — и долго-долго, замерев в зеленом воздухе всеми десятью пальцами, вслушивается в последний аккорд, пока фреза, шлифовальный и строгальный станки, дисковая и ленточная пилы все вместе и разом не возвещают об окончании условленного получасового антракта.

Застывшее общество в музыкальном салоне приходит в движение. Пальчики Йенни расплелись, «домик» Амзеля распадается сам собой, Фельзнер-Имбс, убрав из зеленого абажурного нимба свои замершие руки, теперь только показывает гостям свой сзади и по бокам разодранный фрак. Предмет одежды переходит из рук в руки, пока не остается у Амзеля.

Амзель его поднимает, пересчитывает обтянутые материей пуговицы, тщательно проверяет на растопыренной ладошке следы ущерба, показывает, что способна натворить пасть натравленной на человека овчарки, а затем, посчитав дидактическую часть законченной, переходит к священнодействию: он подносит дырки к глазам, таращится сквозь прорехи, подмигивает в щели, просовывает шустрые пальцы в лопнувшие швы, раздергивает их, теперь он ветер под фалдами, наконец, он ныряет в сукно с головой, полностью исчезает под парадными лохмотьями, тут же выныривает, преобразившись сам и преобразив черную рванину, и дает перед завороженной публикой целое представление на пару с фраком-инвалидом. Это был Амзель-страшилище и Амзель-убожество; Амзель-хромоножка и Амзель-трясун; Амзель в бурю, под дождем, на скользком льду; портняжка из Ульма на ковре-самолете; крылатый сюртук и Халиф-аист; ворона, сова и дятел; воробей за утренним купаньем, воробей, сопровождающий лошадь, воробей на пушке; встреча воробьев, совещание воробьев, воробьи разлетаются и благодарят за аплодисменты.

Далее последовали отдельные жанровые сценки все в том же фраке: расколдованная бабушка, у паромщика болят зубы, священник на ветру, дурачок Лео у ворот кладбища, старшие преподаватели на школьных дворах. Причем отнюдь не все персонажи были толстыми, как бочка, совсем нет. Погрузившись в материал, Амзель с легкостью изображал тощие жердины и ветряные мельницы, был Бальдуром и Асмодеем, придорожным распятием и нехорошим числом одиннадцать. Некий пляшущий, до жути костлявый призрак хватал фарфоровую балерину, похищал ее с пианино, обнимал ее своими огромными, как у летучей мыши, крылами, завладевал ею безраздельно и безбожно, упрятывал ее в черных, как Харрас, и все более длинных складках сукна, где она исчезала, казалось, на веки вечные, но затем, слава тебе Господи, появлялась вновь и, целой и невредимой, возвращалась на родное пианино. Он показывал, что называется, до упаду, снова и снова вызываемый на бис, показывал и то, и это, не дожидаясь аплодисментов, опережая их, благодарный нашему Харрасу, поскольку это его пасть, славил нашу Туллу, поскольку это она Харраса, а Харрас Фельзнер-Имбса, чей порванный фрак сорвал в Амзеле все запоры, распечатал родник, раскрыл подвалы и оживил всходы идей, которые, посеянные еще в детстве, сулили теперь небывалый, сказочный урожай.

Как только Эдди Амзель выбрался из черной суконной требухи, как только он снова оказался знакомым, милым и уютным толстяком Амзелем в привычном зеленоватом свете музыкальной гостиной, он аккуратно сложил свой реквизит, взял слегка перепуганную, но и развеселившуюся Йенни за ручку и, не забыв прихватить хозяйский фрак, распрощался с пианистом и его золотой рыбкой.

Тулла и я,

мы-то, конечно, решили, что Амзель взял безнадежно порванный фрак, дабы отнести его к портному. Но ни один портняжка не сподобился заказа залатывать то, что растерзал наш Харрас. Мне наполовину сократили карманные деньги, поскольку отцу пришлось возмещать ущерб новым, с иголочки пошитым фраком. Разумеется, взамен столярных дел мастер мог потребовать лоскуты и лохмотья, хотя бы для машинного цеха — там «концы» всегда были нужны, — но отец выложил деньги, ничего взамен не потребовал, а даже извинился, как может извиниться столярных дел мастер — застенчиво откашливаясь и косясь сверху вниз, — в результате чего Амзель стал счастливым обладателем хотя и фрагментарного, но способного к невероятным превращениям фрака. Отныне он отдавал свой талант не только рисованию карандашом и тушью, отныне Эдди Амзель, вовсе не имея намерений пугать птиц, начал создавать птичьи пугала в их натуральную величину.

Автор этих строк берет на себя смелость утверждать, что никакими особыми познаниями относительно птиц Амзель не располагал. Как кузен Туллы никогда не был кинологом, точно так же и Амзеля из-за одних только птичьих пугал нельзя назвать орнитологом. Воробьев от ласточек, сову от дятла любой отличит без особого труда. Так и Эдди Амзель понимал, что сороки и скворцы воруют по-разному; однако зарянка и снегирь, синица и зяблик, щегол и соловей — все они без разбора были для него просто певчими птицами. Детское лото-угадайка «А это что за птица?» было ему не по зубам. Никто не видел, чтобы он хоть раз листал Брема. Когда я его однажды спросил: «Кто больше, орел или крапивник?» — он, подмигнув, ловко ушел от ответа: «Господь Бог, конечно». Зато, правда, на воробьев у него был удивительно наметанный глаз. То, что ни одному знатоку птиц недоступно, Амзелю давалось с легкостью: он мог в бесчисленном воробьином племени, в этой шумной ассамблее, в беспорядочном скопище воробьев, которые для прочего человечества все на одно лицо и в одну масть, различать индивидуумов. Все, что купалось в канавах и лужах, устраивало скандалы возле лошадиных повозок, запоблоняло школьные дворы после последнего звонка — он статистически оценивал как сборище одиночек, которые только прикидываются безликой массой. Да и черные дрозды, которым он обязан своей фамилией, никогда, даже в заснеженных садах,

не были для него одинаково черными и желтоклювыми.

Так что Амзель не строил пугала ни против столь близких ему воробьев, ни против кумушек-сорок — он вообще ни против кого их не строил по формальным соображениям. Он имел совсем другое намерение: на опасную продуктивность мира ответить своей продуктивностью...

Тулла и я,

мы знали, где Эдди Амзель проектировал и создавал свои пугала, которые он, правда, называл не пугалами, а фигурами. В проезде Стеффенса он снял внушительных размеров виллу. Амзель ведь был богатым наследником, так что нижний этаж виллы, по рассказам, вообще был отделан дубом. Проезд Стеффенса протянулся по юго-западной окраине предместья Лангфур. Чуть ниже Йешкентальского леса он ответвлялся от Йешкентальского проезда, шел к сиротскому дому вдоль территории лангфурской пожарной охраны. Кругом сплошные виллы. Несколько консульств — литовское, аргентинское... По линеечке разбитые сады за чугунными, отнюдь не бесхитростными оградами. Буки, тис, боярышник. Дорогие английские газоны, которые летом надо поливать, зато зимой они лежат под снегом задаром. Плакучие ивы и голубые ели окаймляли, окружали виллы и укрывали их своей сенью. С декоративным виноградом одни хлопоты. Фонтаны то и дело выходят из строя. Садовники увольняются. От краж со взломом страховало агентство «Твой засов и сторож». Два консула и супруга шоколадного фабриканта запросили и вскоре получили разрешение установить противопожарные устройства, хотя пожарная команда находилась тут же поблизости, сразу за сиротским домом, а пожарная каланча торчала выше всех голубых елей: две огнегасящих струи за двадцать семь секунд сулило устройство плющу белоснежных фасадов, всем их карнизам и порталам, понаслышке знавшим о Шинкеле. Редко какие окна светились здесь ночью — разве что хозяин шоколадной фабрики «Англас» устраивал прием. Шаги от фонаря к фонарю слышались издалека и затихали долго. Одним словом, спокойный, фешенебельный квартал, в котором за десять лет случилось лишь два убийства и одно покушение на убийство — по официальным сводкам.

Вскоре на виллу к Амзелю перебрался и Вальтер Матерн, снимавший до того меблированную комнату в старом городе, у Сазаньего омута, и занял два дубовых зала. Иногда у него по неделям жили актрисы, поскольку до изучения экономики у него все еще не доходили руки; зато его приняли статистом в городской театр на Угольном рынке. Там — человеком из толпы, оруженосцем в свите рыцарей, одним из шести лакеев с канделябрами, напившимся наемником среди пьяных наемников, ворчуном среди ворчащих крестьян, венецианцем в маске, солдатом-мародером, а также одним из шести кавалеров, которые вместе с шестью дамами, участвуя в первом акте в вечеринке, во втором — в пикнике на природе, в третьем — в похоронах, а в четвертом — в сцене оглашения завещания, создавали соответственно праздничный, фривольный, скорбный и радостно-возбужденный фон событиям пьесы, — там, не имея возможности произнести со сцены и двух связных слов, он приобретал свои первые сценические навыки. Кроме того, поскольку он хотел существенно расширить базу своего актерского дарования — а именно жуткий скрежет зубовный, — он дважды в неделю брал теперь уроки комедийного актерского мастерства у известного в городе комедианта Густава Норда; ибо Матерн считал, что трагическое ему дано от природы, а вот по части комического он пока хромает.

Покуда отделанные дубовыми панелями стены двух залов амзелевской виллы должны были выслушивать монологи Матерна в роли Флориана Гейера, третий, самый большой и отделанный дубом точно так же, как и залы начинающего властителя сцены, стал свидетелем становления амзелевского творческого метода. Почти никакой мебели. Грубые мясницкие крючья под добротными дубовыми па-

нелями. Высоко под потолком, они свисали оттуда во всей своей натуральной непритязательности. По такому же примерно принципу идет работа в шахтерских забоях и в сушильнях: на полу простор и воздух, наверху толкотня. Из мебели — прежде всего ораторский пульт, подлинный шедевр времен Ренессанса. На пульте, в раскрытом виде, непревзойденный, шестисотстраничный, бесподобный, дьявольский труд Вайнингера — непризнанный, переоцененный, отлично продававшийся, непонятый, слишком хорошо понятый, с пометками отцовской руки, со сносками, запечатлевшими озорные искорки вайнингеровского гения, — «Пол и характер», глава тринадцатая, страница 415: «...и возможно, скажем пока так, всемирно-историческое значение и непреходящая заслуга еврейства состоит не в чем ином, как только в том, чтобы непрестанно побуждать арийца к осознанию самого себя, напоминать ему о его сути («сути» выделено жирным шрифтом). Это и есть то, чем ариец обязан еврею; благодаря еврею он знает, чего ему следует опасаться: еврейства как возможности в самом себе».

Эту и подобные, иногда и противоположные сентенции Амзель с пафосом проповедника декламировал уже законченным, под дубовым потолком болтающимся фигурам, а также всем тем проволочным и деревянным каркасам, что, расположившись на сверкающем паркете, заполняли дубовый зал хотя и бестелесным, но весьма оживленно беседующим светским обществом: да, здесь непринужденно болтают, а между делом выслушивают Амзеля — искушенного, сыплющего софизмами, остроумного, всегда оригинального, объективного, впрочем, если нужно, то и субъективного, обязательного, вездесущего, ни в коем случае не обидчивого, парящего над всеми и вся хозяина, который растолковывает своим гостям, как обстоит дело с женщинами и евреями и действительно ли, по Вайнингеру, следует отказать женщинам и евреям в наличии у них души, или достаточно только женщинам или только евреям, и действительно ли еврейство, с антропологической точки зрения, ибо с эмпирической этому противится всякая твердая вера, является «избранным народом, чтобы не сказать сильней. Однако же, сугубо в порядке дискуссии, да будет замечено, что в крайнем антисемитизме недостаточно часто замечают присущие ему еврейские черты — возьмите Вагнера, хотя Парцифаль истинному еврею вовек недоступен, точно так же можно отличать социализм арийский от социализма типично еврейского, ибо Маркс, как известно... Поэтому и кантовский разум ни женщине, ни еврею никогда, и даже сионизм никогда... Сами видите, евреи предпочитают движимое имущество. Но и англичане тоже. Именно, именно, об этом мы и говорим: еврею недостает, он по сути своей, нет-нет, не только чужд государству, но и... Но откуда же им, если от средних веков и вплоть до прошлого столетия, а сейчас опять — и все это из-за христиан, чтобы не сказать... Как раз наоборот, любезнейшая, как раз наоборот: судите сами, вы же Библию знаете, верно ведь, ну вот, так как поступил Иаков со своим умирающим отцом? Он ведь надул Исаака, ха-ха-ха, и Исава тоже обвел вокруг пальца, как вам это, да и с Лаваном обошелся не лучше. Но это же всюду, сплошь и рядом. Да, но если посмотреть статистику особо тяжких преступлений, то лидируют арийцы, а не... Что, кстати, только лишний раз доказывает, что еврею ни добро, ни зло в равной мере, по этой же причине ему неведома концепция ангела, не говоря уж о черте. Но как же тогда Ваал и сады Эдема? Тем не менее, тем не менее вы не станете отрицать, что ему ни высшие нравственные взлеты, ни глубочайшие моральные пропасти — отсюда малое число тяжких, насильственных преступлений, как и у женщин, что опять-таки доказывает нехватку величия во всех смыслах, или вы можете с ходу назвать мне хотя бы одного святого, который бы... Даже и не пытайтесь! Поэтому я и говорю: только вид имеет значение, а не индивид, и даже их хваленое чувство семьи имеет в себе лишь одну цель — размножаться, отсюда сводничество, еврейский сводник как полная противоположность аристократическому. Но разве сам Вайнингер со всей отчетливостью не заявляет, что он ни то, ни другое и что он ни в коем случае не хочет дать в руки черни, что он ни бойкот, ни изгнание не, ведь, в конце концов, он и сам

был, разве нет. Однако и за сионизм он тоже не... И даже если он ссылается на Чемберлена... В конце концов, он же сам говорит, что параллели с женщиной не во всех случаях... Но в наличии души отказывает и тем, и другим. Ну да, но скорее, быть может, в Платоновом смысле. Вы забываете... Я ничего не забываю, милейший. Он факты приводит, к примеру... Ах, оставьте, примерами можно что угодно... уж не цитата ли из Ленина, часом? Так я и думал! Понимаете ли, дарвинизм в свое время обрел большинство своих сторонников, потому что теория происхождения от обезьяны... не случайно поэтому химия, например, до сих пор в руках, как прежде у арабов, которые, кстати, одного с ними корня, отсюда же и сугубо химическое направление в медицине, тогда как природная медицина, в конце концов мы тут имеем дело с органическим и неорганическим принципом вообще: ведь все опыты с гомункулусом Гёте не без причин вверил не Фаусту, а его помощнику, ассистенту Вагнеру, поскольку Вагнер, уж это-то смело можно заключить, безусловно и ярко выраженный еврейский элемент, тогда как Фауст... ибо гениальность им не дана и недоступна. А как же Спиноза?.. Как раз его-то мы и имеем в виду. В противном случае разве бы Гёте им так зачитывался, если бы... А уж о Гейне и говорить нечего. Аналогично и англичане, которые ведь тоже, поскольку Свифт и Стерн были, если не ошибаюсь... Да и о Шекспире нам мало, очень мало что известно. Они, конечно, прилежные эмпирики, реальные политики, но уж никак не психологи. Хотя, безусловно, есть, — нет, нет, любезнейшая, уж дайте мне договорить, — я имею в виду английский юмор, которого у еврея никогда, одни только шуточки-прибаточки, остроумие-острословие, совершенно как у женщин, но юмор? Никогда! И я скажу вам почему: потому что они ни во что не верят, потому что они сами ничто и поэтому могут стать всем, потому что при их склонности к понятийному, отсюда юриспруденция, и потому что для них нет ничего, ну абсолютно ничего неприкосновенного и святого, потому что они все в грязь, потому что они ни богу свечка, ни черту кочерга, поскольку им всякая набожность, любое истинное воодушевление, потому что им шиллеровский поцелуй всему миру, потому что они не умеют ни искать, ни сомневаться по-настоящему, потому что они внерелигиозны, им ни солнечное, ни демоническое, потому что они не имеют ни мужества, ни страха, не знают героики, одну только иронию, потому что они как Гейне, потому что у них нет опоры, только разлагать, это они мастера, и никогда не будет, потому что они даже отчаяться, потому что они нетворческие натуры, потому что им пение, потому что они ни одним делом, ни одной идеей, потому что им простота, потому что им стыд, достоинство, трепет, потому что никогда не удивляются, никаких духовных потрясений, только материальное, потому что им неведома честь, неведома истинно глубокая эротика, потому что милосердие и любовь, юмор, как уже сказано, да-да, юмор и милосердие, пение и честь, и опять-таки вера, тевтонский дуб и порыв Зигфрида, трубный глас и непосредственное бытие, говорю же вам, у них отсутствуют, да-да, отсутствуют, нет-нет, дайте уж мне договорить, отсутствуют, отсутствуют, отсутствуют начисто!».

Тут легконогий Эдди Амзель покидает свое ораторское место, но непреходящий труд Вайнингера, покуда общество за коктейлем среди дубовых стен обсуждает иные темы, как-то — Олимпиаду и сопутствовавшие ей проявления, остается на пульте раскрытым. Амзель же отходит в сторонку и изучающе разглядывает представленные здесь только в каркасах, но тем не менее оживленно болтающие, обменивающиеся суждениями фигуры. Он лезет в ящик, что у него за спиной, что-то достает, но не без разбора, что-то отбрасывает, вынимает снова и начинает драпировать оживленное светское общество, собравшееся на паркете, в том же духе, в каком наряжены фигуры, что висят на цепях и мясницких крючьях под дубовым потолком. Эдди Амзель обклеивает их газетной макулатурой и остатками обоев, которые он добывает в квартирах, где затевается ремонт. Списанные на берег обтрепанные флажки и вымпелы курортно-прогулочного флота, рулоны туалетной бумаги, пустые консервные банки, велосипедные спицы, абажуры, позументы и

новогодние елочные украшения — вот что нынче задает тон в моде. Вооружившись внушительной кастрюлей холодного клейстера, он колдует над всем этим раздобытым, разысканным, по дешевке скупленным барахлом. Правдивости ради следует, однако, заметить, что эти пугала, или, как Амзель их называл, фигуры, при всей их эстетической выдержанности, при всей изощренности деталей и болезненной элегантности внешних линий, производили менее сильное впечатление, чем птичьи пугала, которые ученик сельской школы Эдди Амзель годами строил в родном Шивенхорсте, выставлял на дамбах Вислы и, говорят, даже с выгодой продавал.

Амзель сам первым заметил этот спад художественной силы. Позднее и Вальтер Матерн, когда он покидал свои дубовые покои и отрывался от дешевых книжонок издательства «Реклам», тоже не раз указывал на эту странность: обескураживающая виртуозность мастерства не могла скрыть нехватки былой творческой ярости, свойственной ранним произведениям Амзеля.

Амзель не соглашался с другом и даже выставил одну из своих драпированных фигур на веранду, что примыкала к дубовому залу и вкушала тень первых буков Йешкентальского леса. Хотя модель и имела некоторый успех — воробьи, верные ребята, не стали вникать в художественные тонкости и по привычке немножко испугались, — однако никто бы не осмелился утверждать, будто целое облако пернатых, впав от вида фигуры в дикую панику, с криком снялось с деревьев и металось над лесом, напоминая о славных временах амзелевского деревенского отрочества. Налицо был явный художественный застой. Текст Вайнингера оставался просто бумагой. Изощренность утомляла. Воробьи больше не подыгрывали. Вороны зевали. Лесные голуби не желали верить. Зяблики и воробьи, вороны и голуби по очереди садились передохнуть на эту художественную фигуру — парадоксальное зрелище, которое Амзель, правда, созерцал с улыбкой; но мы-то, за забором в кустах, слышали, как он вздыхает.

Ни Тулла, ни я не могли ему помочь,

но на помощь пришла сама природа. В октябре Вальтер Матерн подрался с вожатым одного из отрядов «юнгфолька», которые проводили в близлежащем лесу так называемую «военную игру». В связи с чем взвод шкетов в форме и с вымпелом, из-за которого и затевалась вся буча, оккупировал сад за виллой Амзеля. Завидев такое, разъяренный Матерн прямо с открытой веранды сиганул в мокрую листву; думаю, что и мне, как и нашему вожатому, крепко бы досталось, попытайся я тогда вступиться за командира нашего взвода Хайни Васмута.

Нам был дан приказ следующей же ночью, укрывшись в лесу, забросать виллу камнями — мы много раз слышали звон разбитого стекла. На этом, видимо, все дело и закончилось бы, если бы Амзель, который во время драки в саду невозмутимо оставался на веранде, удовлетворился чистым созерцанием, но он зарисовал увиденное на дешевой бумаге, а потом создал и небольшие, с коробку для сигар, модели: группа дерущихся фигур, куча мала, заваруха, форменно-бесформенная, вернее все-таки форменная, потому что в формах, свалка — месиво из штанов, колен, гетр, наплечных ремней, нашивок и рун, коричневые клочки по закоулочкам, вымпел вперед, портупея назад, вожатый орет, бьется отряд, — словом, очень натурально изобразил, как наш взвод в амзелевском саду дрался за честь своего вымпела. Амзелю удалось вернуться к реальности: с тех пор он мастерил не по шаблонам моды, не по комнатно-тепличным светским образцам, а вышел на улицу, любопытный и изголодавшийся.

Казалось, он просто помешался на мундирах, особенно на черных и коричневых, которые все больше и больше определяли облик наших улиц. Старую, еще из времен борьбы, форму штурмовика ему удалось по случаю раздобыть у какого-то старьевщика в Поденном переулке, но этим его запросы, конечно же, далеко не ограничились. С большим трудом ему удалось поместить за своей подписью объ-

явление в «Форпосте»: «Куплю подержанное обмундирование штурмовых отрядов». В специализированных магазинах, где продавалась вся партийная одежка, ее можно было получить только по партийному билету. Поскольку же Эдди Амзелю вступить в партию или одну из ее организаций было никак невозможно, он начал самым подлым образом обхаживать своего друга — который хоть и не распространял больше коммунистические листовки, но приколол-таки к дубовым стенам своих апартаментов фотографию Розы Люксембург, — убеждая его льстивыми, гнусными, потешными, но неизменно ловкими речами сделать то, что он, Амзель, ради обладания вожделенными униформами очень бы хотел сделать, но никакими силами сделать не может.

По дружбе — как-никак они были все-таки кровными братьями, — отчасти потехи ради и из любопытства, но первым делом для того, чтобы обеспечить Амзелю доступ к тем совершенно особого оттенка коричневым мундирам, которых так ждал он сам и так жаждали каркасы будущих пугал, Вальтер Матерн потихоньку, мало-помалу другу уступал: он отложил в сторонку дешевые прогрессивные книжонки и заполнил формуляр-заявление, в графах которого он, впрочем, не умолчал о том, что состоял в «Красном соколе», а потом и в КП.

Посмеиваясь и тряся головой, не столько вслух, сколько про себя скрипя зубами, он вступил в лангфурский штурмовой отряд, чьей постоянной пивнушкой, равно как и местом собраний был трактир «Малокузнечный парк» — весьма поместительное заведение в одноименном парке с танцзалом, кегельбаном и добротной немецкой кухней, разместившееся между пивоварней и лангфурским вокзалом.

Студенты Высшей технической школы задавали тон в этом отряде, основную массу которого составляли рядовые обыватели. Во время демонстраций на Майском лугу, что за спортзалом, отряд стоял в оцеплении. Кроме того, в течение вот уже нескольких лет одной из главных задач отряда было затевать на Казарменной площади, неподалеку от польского студенческого общежития, драки с членами студенческого объединения «Братня помоц» и громить польское кафе, где это объединение собиралось. Вначале у Вальтера Матерна были кое-какие трудности, потому что тут знали о его красном прошлом и даже о его листовочной акции. Но поскольку в отряде «Штурм-84, Лангфур-Север» он был не единственным недавним коммунистом и бывшие члены компартии под хмельком нередко встречали здесь друг друга приветствием «Рот фронт!», он вскоре почувствовал себя как дома, тем более что и шеф всей этой ватаги ему явно покровительствовал: начальник отряда Йохен Завацкий до тридцать третьего был бойцом Рот фронта, произносил зажигательные речи, зачитывал перед рабочими верфи в Шихау призывы к забастовке. Завацкий своего прошлого не скрывал и во время своих коротких речей в «Малокузнечном парке», которые все любили послушать, говорил примерно так:

— А я вам скажу, ребятки, что Вождь, как я его понимаю, гораздо больше рад одному-единственному коммунисту, который в штурмовые отряды пришел, чем десяти индюкам из центра, которые в партию вступили, лишь бы шкуры свои спасти, а не потому, что настало новое время — а оно, точно вам говорю, настало, и одни индюки, которые только и знают, что носом клевать, этого еще не заметили.

Когда в начале ноября делегацию от славного, испытанного отряда собирали на годовщину Движения в Мюнхен и по такому случаю обмундировали с иголочки, Вальтеру Матерну удалось старое тряпье, побывавшее не в одной пивной заварухе, своевременно умыкнуть и переправить в проезд Стеффенса. Вообще-то Матерн, которого начальник отряда Завацкий по-быстрому произвел в командиры отделения, должен был отвезти и сдать весь этот хлам, включая сапоги и все ремни с прибамбасами, в Тигенхоф, где как раз формировался новый штурмовой отряд, у которого было худо с деньгами. Но Эдди Амзель выписал другу чек, в котором было достаточно нулей, чтобы обрядить двадцать арийцев в новехонькую, пахнущую текстилем и кожей форменную одежку. На вилле же у Амзеля, на дубовом паркете в дубовых стенах, коричневой грудой громоздилось замызганное тряпье — пятна

пива и жира, крови и дегтя, равно как и разводы пота придавали этим обноскам особую ценность. Амзель тут же начал снимать мерки. Он сортировал, пересчитывал, складывал, отходил в сторонку, грезил о марширующих колоннах, они шли парадным шагом, приветствовали, снова шли, снова приветствовали, прищуренным мысленным взором он видел пивные битвы, переполох, сумятицу, люди и нелюди, кости и ребристые столики, глаза и пальцы, бутылки и зубы, крики, обрушивающийся рояль, цветы и горшки, люстры и над всем этим — двести пятьдесят заточенных ножичков, и это притом, что кроме кучи хлама в дубовых стенах виллы был еще только Вальтер Матерн. Он потягивал из бутылки сельтерскую и не видел того, что видел Эдди Амзель.

Моя кузина Тулла,

о которой я пишу, которой я пишу, хотя я, если послушать Браукселя, должен писать исключительно и только об Эдди Амзеле, — моя кузина Тулла устроила так, чтобы наш сторожевой пес Харрас второй раз напал на учителя музыки и балетного пианиста Фельзнер-Имбса. Прямо на улице, в Каштановом проезде, она спустила собаку с поводка. Имбс и Йенни — она в желтоватом пушистом пальто типа «медвежонок» — шли, очевидно, из балетной школы, поскольку из спортивной сумочки Йенни болтались, поблескивая розовым шелком, тесемки ее балетных туфелек. Тулла отпустила Харраса, а косой дождь сыпал, казалось, со всех сторон, потому что ветер то и дело менялся. Через пузыристую рябь луж Харрас, спущенный Туллой, помчался огромными прыжками. Фельзнер-Имбс нес над собой и над Йенни зонт. Харрас мчался напрямик, он знал, кого Тулла имела в виду, когда она его отпускала. На сей раз моему отцу пришлось возмещать пианисту зонт, поскольку Имбс, когда наш черный и гладкий зверь мокрой длинной молнией метнулся на него и его ученицу, успел пренебречь зонтом как защитой от дождя и выставить его как черный, к тому же шипом вооруженный щит прямо перед собакой. Разумеется, зонт не устоял. Но остались звездообразно сходящиеся к древку металлические спицы. Они, правда, сразу во многих местах погнулись и переломились, прорвав к тому же материю, но нашему Харрасу они оказали весьма упорное и болезненное сопротивление. Он запутался передними лапами в этой металлической паутине, благодаря чему нескольким прохожим и мяснику, который выскочил из своей лавки с кровавым фартуком в руках, удалось его усмирить. Зонтика считай что не стало. Харрас чесался. Убегать Тулла мне запретила. Харраса взяли на поводок. Артистическая шевелюра пианиста свисала мокрыми, облезлыми космами, пудра белесыми потеками капала с них на черное сукно. А пышечка Йенни лежала в придорожной канаве, где по-ноябрьски оживленно перекатывалась, шумела, булькала и пускала пузыри серая сточная вода.

Мясник не стал возвращаться к своим кровяным колбасам, а в чем был, как выскочил из лавки, лысый, свинский и колбасно-багровый, доставил меня и Харраса к моему отцу, столярных дел мастеру. Он изложил происшедшее весьма неблагоприятным для меня образом, назвал Туллу боязливой крошкой, которая в ужасе убежала, как только я не смог удержать псину на поводке, — на самом деле Тулла стояла и смотрела до самого конца, но как только я забрал у нее поводок, тут же смылась.

Мясник подал отцу на прощанье свою огромную волосатую лапу. Я на сей раз получил взбучку не четырехгранной обрешеточной рейкой, а хотя и безоружной, но тяжелой отцовской дланью. Фельзнер-Имбсу был куплен новый зонт. Старшему преподавателю Брунису отец предложил возместить расходы за чистку желтоватого пушистого пальто а-ля медвежонок. К счастью, спортивная сумочка Йенни с розовыми шелковыми балетными туфельками в канаву не свалилась, иначе ее бы унесло водой, а канава впадает в Штрисбах, а Штрисбах течет в Акционерный пруд и потом из Акционерного пруда вытекает и течет через весь Лангфур, проскакива-

ет под Эльзенской улицей, под улицами Луизы и Герты, мимо Новой Шотландии, вдоль Легштриса, впадает около Брошкешского проезда, напротив устья Вислы, в Мертвую Вислу, а уж оттуда, перемешавшись с водами Вислы и Мотлавы, по Портовому каналу, между Новой Гаванью и Вестерплатте, изливается в Балтийское море.

Тулла и я, мы там были,

когда в первую неделю сочельника, на Мариинской улице, 13, в самом большом и красивом лангфурском кафе «Малокузнечный парк» — директор Август Кошинский, телефон 41-049, каждый четверг свежие вафли — случилось побоище, которое полиции, неизменно дежурившей во время партийных собраний в Охотничьем зале, удалось остановить лишь через полтора часа: вахмистр Бурау вынужден был вызывать по телефону — 118, если кому интересно — подкрепление, после чего примчались шестнадцать полицейских и своими резиновыми «скалками» навели порядок.

На собрании, проходившем под лозунгом «Позорные договоры долой — хотим в Рейх домой!», явка была хорошая. Двести пятьдесят человек заполнили Зеленый зал. В соответствии с повесткой дня между ветвями декоративной зелени позади пульта исправно сменяли друг друга ораторы. Сперва — коротко, хрипло, молодцевато — выступил командир штурмового отряда Завацкий. После него своими впечатлениями о Всегерманском партийном съезде в Нюрнберге поделился районный партруководитель Зельке. Его особенно вдохновили лопаты «рабочего призыва», тысячи и несметные тысячи, и как они блестели, когда солнце целовало их сверкающие штыки:

— Это, я вам скажу, дорогие земляки-лангфурцы, и я рад, что вас сегодня так много пришло, это было незабываемо и неповторимо, да, неповторимо и незабываемо. Такое, дорогие земляки, запоминается на всю жизнь, как они сверкали, тысячи и несметные тысячи, и этот крик, как будто из тысяч и несметных тысяч глоток, — прямо сердце дрогнуло, и даже у иных закаленных ветеранов слезы навернулись на глаза. Но по такому случаю можно и не стыдиться слез, вот. И вот тогда я подумал, дорогие земляки-лангфурцы, что как вернусь домой, всем вам, кому не посчастливилось там побывать, обязательно расскажу, как все это было, как тысячи и несметные тысячи лопат рабочего призыва нашего Рейха...

Потом еще говорил окружной партрук Кампе, он рассказал о празднике урожая в Бюкебурге и о планируемых новостройках в проектируемом новом жилом районе имени Альберта Форстера. После чего командир штурмового отряда Йохен Завацкий, поддержанный двумястами пятьюдесятью лангфурскими глотками, провозгласил троекратное «Зиг-хайль!» в честь Вождя и Канцлера Рейха. Оба гимна — один слишком медленно, второй слишком быстро — были исполнены мужчинами слишком громко, женщинами слишком высоко, а детишками фальшиво и не в такт. На чем торжественная часть мероприятия завершилась, и районный партрук Зельке объявил землякам-лангфурцам о начале неофициальной части, непринужденного дружеского застолья с розыгрышем праздничной лотереи сувениров и кондитерских изделий в пользу «зимней помощи». Дарителями призов выступили: молочный комбинат «Вальтинат», маргаринная фабрика «Амада», шоколадная фабрика «Англас», кондитерская фабрика «Канольд», оптовая винная торговля «Кизау», оптовая торговля «Хаубольд и Ланзер», фирма «Кюне-Зенф», данцигский стекольный завод и лангфурская пивоварня, которая помимо двух ящиков пива на розыгрыш выставила вдобавок еще и бочку пива — «для нашего доблестного отряда «Штурм-84, Лангфур-Север», для наших парней, наших отважных лангфурских защитников, для их командиров, которыми мы гордимся! Нашим ребятам из «Штурма-84» наше троекратное гип-гип урра! урра! урра-а-а!!!».

А после этого вскоре и началась свистопляска, которую с грехом пополам уда-

лось угомонить лишь после вызова полиции — телефон 118, — да и то только с помощью резиновых «скалок». И не то чтобы там коммунисты или «соци» встряли. Этих в ту пору считай что и не было уже. Скорее это был просто хмель, ударивший всем в головы, застивший глаза голубоватым сивушным угаром — он-то и придал всему побоищу в «Малокузнечном парке» свою неповторимую окраску. Ибо как это обычно бывает после длинных речей, которые надо произносить и слушать, все кинулись смачивать глотки, пропускать, осушать, опрокидывать, принимать и «вздрагивать»; кто сидя, кто стоя — все испытывали зуд тяпнуть по одной и немедленно добавить еще. Иные уже перебегали от стола к столу и от стола к столу становились все хорошéе; счастливчики, отвоевавшие место у стойки, торопливо накачивались с обеих рук; те немногие, кто еще держался прямо, тоже издавали характерное бульканье, но расхаживали как бы без голов — в зале, и без того низком, сгущались сизые тучи дыма, закрывая особо стойких до самых плеч. Те, кто уже был прилично на взводе, не прекращая пить, начинали петь, сколачивая вокруг себя импровизированные хоровые коллективы: «Ты-помнишь-лес-снарядами-разбитый», «На-дне-лежит-глубоком», «Голова-моя-кровью-и-ранами».

Ну просто семейный праздник: все-все тут были, и все сто лет знакомы — вон Альфонс Бублиц с Лоттой и Франциком Волльшлегером:

— Помнишь, как мы все вместе гулять ходили в этот, ну, парк этот, имени Хёне. По Радауне, к Оре, словом, в сторону Гутенберга, и кого мы там встретили? Дуллека с братом, сидят под кустом и все уже вусмерть...

А рядом со штурмовиком Бруно Дуллеком — пивные зады штурмовиков Вилли Эггерса, Пауля Хоппе, Вальтера Матерна и Отто Варнке как один стали у стойки:

— А еще в кафе «Дерра»...

— Да где в «Дерре», брось болтать, на Цинглеровской горке, там они этого Брилля и отметелили. А недавно снова...

— Где снова-то?

— Да у запруды, в Страшин-Прангшине. Прямо туда в пруд и сбросили. Но он выкарабкался. Не то что Вихман с Малой Кошки, того вообще в шахту... Эхма, была не была!.

— Погоди, а разве он не в Испании?

— Да откуда, какая Испания, ты что! Укокошили они его — и в мешок, только сперва порубили на мелкие части. Я его еще по клубу граждан знал, до того, как они его вместе с Бростом и Круппке в фолькстаг выбрали. Эти-то смылись, через границу ушли под Гольдкругом. Глянь-ка на Дау, у него вон гроши из кармана катятся. Тут как-то в Мюггенвинкеле он мне и говорит...

Густав Дау подошел рука об руку с Лотаром Будзинским. Все угощали всех по кругу и по очереди. Тулла и я сидели за столом у Покрифке. Мой отец сразу после речей ушел. Детей оставалось уже немного. Тулла смотрела на дверь туалета «М». Она ничего не пила, ни слова не говорила, только смотрела. Август Покрифке был уже изрядно под мухой. Он объяснял некоему господину Микотайту все тонкости железнодорожного сообщения в Кошнадерии. Казалось, Тулла хочет силой взгляда заколотить дверь клозета раз и навсегда — но она под напором полных и опорожненных мочевых пузырей, понятное дело, ходила ходуном. Скорый поезд Берлин — Шнайдемюль — Диршау идет через Кошнадерию. Идет, но не останавливается. На дверь женского туалета Тулла не смотрела — она следила, как Вальтер Матерн исчезает в мужском. При этом Микотайт, как выяснилось, служил в управлении Польской железной дороги, что нисколько не мешало Августу Покрифке обстоятельно перечислять ему остановки пассажирского поезда Кониц — Ласковиц. Эрна Покрифке через каждые пять минут повторяла:

— Ну все; детки, марш по домам, давно пора.

Но Тулла не спускала глаз с порхающей двери уборной — каждый заход туда и каждый выход оттуда ее маленькие глазки-дырочки, казалось, фиксируют на

пленку. Август Покрифке приступил к станциям третьей железнодорожной ветки, проходящей через Кошнадерию, линия Накель — Кониц: Герсдорф, Обкас, Шлангентин. Началась продажа билетов кондитерско-сувенирной лотереи в пользу «зимней помощи воинам». Главный выигрыш: десертный сервиз на двенадцать персон, включая винные бокалы, все хрусталь, чистый хрусталь! Тулле разрешили вытянуть три билетика, потому что однажды, в прошлом году, она уже выиграла целого гуся на пять с половиной кило. Из почти полной билетиками форменной фуражки, не отрывая взгляда от клозетной двери, она вытягивает в первый раз: плитка шоколада «Англас». Вот она второй раз запускает в бумажный ворох свою маленькую, исцарапанную ручонку: пусто! Но главный выигрыш — мы же помним — хрусталь, поэтому дверь уборной в тот же миг с грохотом захлопывается, потом отскакивает. Там, внутри, где подтягивают и спускают штаны, уже началось. Там скоры на руку, а в руках уже ножи. Уже схватились и начищают друг другу физиономии, потому что Тулла вытянула билетик. Уже пошли в ход приемы — Китай против Японии, была не была, где наша не пропадала! Стойка, подсечка, переворот, через бедро, от плеча и за спину. «А ну-ка врежь ему! Ах ты гнида, сучий потрох! Справа зайди! Ах ты выблядок! Врежь, врежь ему!» И все молодцы возле стойки — Вилли Эггерс, Пауль Хоппе, Альфонс Бублиц, младший Дуллек и Отто Варнке — пулей туда же со своими ножичками-перышками. «Эх, ё-мое, была не была!» Пьяный, но дружный хор, раззявя хмельные морды, уже разбирает десертные тарелки, отбивает головки у бокалов, сметает подчистую все со столов и мечет все это в дверь туалета. Раз уж Тулле досталось «пусто», они теперь пометелят друг дружку от души, хрясть — прием, хрясть — контрприем! Ножка и стул, здесь и сейчас, свобода для, ах ты, бля, тля, треск и крах, удаль и страх, Вилли пока стоит на ногах, ногой в живот, потом апперкот, пусть отдохнет, пиво с прицепом, на руку скор, ну а вот это уже перебор. Потому что все ребята ушлые, таким передышка не нужна. Уже каждый каждого ищет. Кто там внизу копошится? У кого кровянка пошла? Что там тявкают эти сосунки? Туалетную дверь с петель долой! Кто вытащил билетик? Пусто! Бей под ложечку, наотмашь и в кровушку! В челюсть брызг! Мозг враздрызг! Телефон — 118! Полиция — эхма, была не была! Ни за что и никогда. Вот эт-то жизнь, братва! Бытие и время. Зеленый зал. Люстра блямс. Пробки долой. Свет погас. Темнота, чернота — в черном зале черные резиновые «скалки» ищут черные садовые головушки, покуда черная кровянка с черными мозгами, черный «воронок» тут как тут, черные женщины визжат и орут: «Свет! Дайте свет! Полиция!» Эхма, была не была!

И лишь когда Тулла в темноте вытащила из фуражки, что так и осталась у нас, вернее, у неё на коленках, лишь когда моя кузина вытащила третий билетик и развернула — на сей раз ей выпало ведерко маринованных огурцов фирмы «Кюне-Зенф», — лишь тогда снова зажегся свет. Четверо дежурных полицейских под командой вахмистра Бурау и шестнадцать человек подкрепления, ведомые лейтенантом полиции Заузином, наши зеленые заступнички, родные и устрашающие, заходили с двух сторон — от стойки и от двустворчатой двери гардероба. У всех двадцати двух были в зубах полицейские свистки, и свистели они пронзительно. Они работали новыми, лишь недавно, при начальнике полиции Фробосе введенными, из Италии завезенными полицейскими резиновыми дубинками — там их называли «манганелло», а у нас попросту «скалками». Новые дубинки имели перед старыми то преимущество, что кожу не рассекали, поэтому удар получался бескровный и к тому же почти бесшумный. Всякого, кому доставалось его отведать, сначала два с половиной раза разворачивало вокруг собственной оси, после чего он с выражением крайнего изумления на челе, но по-прежнему сохраняя динамику штопора, валился на землю. Так и Августу Покрифке неподалеку от двери злосчастного туалета довелось испытать на себе действие замечательной импортной новинки из муссолиниевской Италии. Без единого синяка, он восемь дней не мог работать. Кроме него, насчитывалось трое с тяжкими и семнадцать человек с легкими телесными

повреждениями, из них четверо полицейских. Штурмовики Вилли Эггерс и Францик Волльшлегер, бригадир каменщиков Густав Дау и торговец углем Лотар Будзинский были доставлены в отделение, но наутро следующего дня отпущены. Директор кафе «Малокузнечный парк» господин Кошинский подал в страховую компанию декларацию на возмещение ущерба в размере тысячи двухсот гульденов: посуда, стулья и столы, люстра, сломанная дверь и разбитое зеркало в мужской туалетной комнате, декоративная зелень за ораторским пультом, а также главный приз лотереи — хрусталь! чистый хрусталь! — и так далее. Произведенным следствием было установлено, что свет погас не в результате короткого замыкания, а из-за того, что кто-то — я знаю кто! — выкрутил пробки.

Но ни одна душа не догадывается, что это моя кузина, когда она вытащила билетик,— пусто! — подала сигнал к началу ресторанного побоища.

Дорогая Тулла,
ты это все могла запросто. Своим глазом-сглазом, своей маленькой, но нелегкой ручкой. Но важно для этой истории не твое ресторанное побоище — хоть ты и приложила к нему ручонку, оно было вполне заурядным и от других таких же ничем не отличалось, — а то, что Эдди Амзель, владелец виллы в проезде Стеффенса, получил в итоге прокисшую от пива груду рваных, с пятнами запекшейся крови форменных штанов и гимнастерок: дарителем выступил отделавшийся легкими телесными повреждениями Вальтер Матерн.

На сей раз это были не только мундиры штурмовиков. Нашлось и несколько френчей с заштатного партийного плеча. Но все было коричневого цвета — не цвета коричневых летних полуботинок, не орех и не боровик, не коричневая Африка, не тертая кора, не мебель и не старческая кожа; не средне-коричневый и не песочный, не свежий бурый уголь и не перезрелый торф, порезанный торфяной лопатой; не чашка утреннего шоколада и не утренний кофе, закрашенный сливками; табак, сколько бы ни было сортов, но такого коричневого нет; не сливающийся с палой листвой окрас осенней косули и не курортный загар двухнедельного отпуска; ни одна осень не выхаркнет на палитру такого коричневого — не хаки и не глина любых оттенков, жидкая и клейкая, — как этот неповторимый, партийно-коричневый, штурмовиковый цвет всех коричневых книжек, коричневый цвет Браунау и цвет Коричневой Евы, Евы Браун, этот униформенный, однако далеко не хаки, коричневый из тысяч и тысяч прыщавых задниц, высранный на белые тарелочки, коричневый из гороха с сосисками; нет-нет, вас, утонченные шатены всех боровиково-ореховых оттенков, там и близко не стояло, когда этот коричневый заваривался, густел и набирал окраску, когда этот фекально-кишечно-коричневый — и это я еще мягко изъясняюсь — взгромоздился перед Эдди Амзелем вонючей кучей.

Амзель эту кучу рассортировал, взял большие ножницы золингеновской стали, для пробы почикал ими в воздухе. Словом, он начал этот неописуемый коричневый цвет кроить и кромсать вдоль и поперек. Ибо возле подлинного ренессансного ораторского пульта с раскрытым на нем в любое время дня и ночи несравненным трудом Вайнингера теперь появился новый рабочий инструмент: портновский конь, закройщицкая шарманка, портняжкина библия — зингеровская швейная машинка. О, как урчало ее колесико, когда Эдди Амзель из шершавой дерюги, из луково-картофельной мешковины и прочей грубой материи шил свои балахонистые хламиды. А раздувшийся Амзель за крохотной на его фоне швейной машинкой — разве не составляли они единое целое? Разве не казалось, что он и машинка нерасторжимы, что они вместе родились, крестились, получали свои детские прививки, сидели за партой и вообще развивались как одна целостная личность? А на эти дерюжные рубахи он нашивал — когда длинным наружным, а когда и мелким потайным стежком — декоративные заплаты из мерзких коричневых лоскутов. Он искрамсывал, впрочем, и багрянец нарукавных повязок, и ослепительную, как рези в

желудке, солнечную символику свастики. Он набивал все это паклей и опилками. Он рыскал по журналам и ежегодникам и находил лица — крупнозернистое фото большого художника слова Герхарта Гауптмана и гладко-глянцевый портрет кого-нибудь из популярных актеров той поры — Биргеля или Яннингса. Он помещал физиономии Шмелинга и Пачелли, буйвола и аскета, под козырьки коричневых форменных фуражек. Генерального секретаря Ассамблеи Лиги Наций Бранда он превращал в штурмовика Бранда. Он не боялся кромсать репродукции старых гравюр и самовластно, словно сам Господь Бог, орудовать золингеновскими ножницами над дерзновенным профилем Шиллера или гордым челом молодого Гёте, дабы подарить их благородные лики кому-нибудь из павших героев Движения — Герберту Норкусу или Хорсту Весселю. Амзель разбирал по косточкам, мудрил и сводничал, давая векам и эпохам возможность слиться в отнюдь не братском поцелуе под одной фуражкой.

Из красивого, в полный рост фотоснимка Отто Вайнингера, стройного, по-мальчишески субтильного, безвременно покончившего с собой автора непреходящего труда, на четвертой странице коего снимок и был воспроизведен, Амзель вырезал голову, отдал эту вырезку в фотомастерскую Зёнкера с просьбой сделать увеличение до натуральных размеров и потом долго, все никак не довольствуясь достигнутыми результатами, работал над фигурой «Штурмовик Вайнингер».

Гораздо удачней выглядел автопортрет самого Эдди Амзеля. Помимо ренессансного пульта и зингеровской швейной машинки интерьер его зала дополняло высокое и узкое зеркало до самого дубового потолка, какие часто можно встретить в пошивочных ателье и в балетных школах. Перед этим отнюдь не безмолвным зеркалом он и позировал в самодельной партийной униформе — среди мундиров штурмовиков не нашлось одежки, в которую он смог бы влезть, — постепенно перенося свое изображение на голый каркас, что стоял в центре зала в виде пустотелого шара и таил в себе заводное устройство. Под конец настоящий Амзель сидел, словно Будда, за швейной машинкой и придирчиво изучал сконструированного и, пожалуй, внешне еще более достоверного Амзеля-партийца. Тот стоял, весь раздувшийся, в дерюге и в партийном коричневом сукне. Наплечный ремень портупеи обегал его телеса как тропик. Лычки на воротнике делали его простым партийным руководителем местного уровня. Свиной пузырь, удивительно смелый в своей натуральности, лишь намеком воспроизводящий черной тушью черты лица, был увенчан партийной фуражкой. Тут внутри шара начинала работать партийная механика: бриджи рывком сдвигались в позицию «смирно», правая надутая резиновая перчатка отделялась от пряжки ремня и судорожно вскидывалась сперва на высоту груди, потом над плечом, демонстрируя два вида партийного приветствия, затем с трудом, поскольку завод кончался, едва-едва успевала вернуться к пряжке, еще несколько секунд старчески подрагивала и, наконец, замирала. Эдди Амзель просто влюбился в свое новое творение. Он имитировал приветствия своей собственной, в человеческий рост, имитации перед узким высоким зеркалом: получался некий Амзель-квартет. Вальтер Матерн, которому Амзель показал себя и фигуру на паркете плюс себя и фигуру в зеркале, рассмеялся сперва слишком громким, а потом смущенным смехом. В некоторой растерянности он переводил глаза с пугала на Амзеля, с Амзеля на зеркало. Выходило, что он, Матерн, стоит в штатском между четырьмя функционерами в форме. Зрелище это вызвало у него врожденный скрежет зубовный. И, продолжая скрежетать, он дал Амзелю понять, что у всякой шутки есть свои границы; не стоит Амзелю зацикливаться на одной и той же теме; в конце концов, и в штурмовых отрядах, и в партии достаточно людей, которые служат серьезным целям, — там есть настоящие парни, а не одни только подонки.

На это Амзель совершенно серьезно ответил, что как раз в этом он и видит свою художественную задачу: меньше всего он хочет критиковать, а хочет именно творить, художественными средствами сотворять настоящих парней и подонков, вместе и поврозь, в тех пропорциях, в каких их тасует жизнь.

Вслед за чем он соорудил на заранее заготовленном каркасе настоящего парня и немножко буйвола — бойца штурмовых отрядов Вальтера Матерна. Тулла и я, сидя в черных кустах ночного сада и заглядывая в освещенные электричеством большие окна дубового ателье, круглыми от ужаса глазами смотрели, как обмундированный идол Вальтера Матерна — пятна спекшейся крови напоминали о недавнем побоище в «Малокузнечном парке» — с помощью хитроумно встроенной механики обнажал зубы своего сфотографированного лица и этими механически движущимися зубами скрежетал; мы, правда, это только видели — но тот, кто однажды видел зубы Вальтера Матерна, очень хорошо знал, каковы они на слух.

Тулла и я, мы видели,
как Вальтер Матерн, который во время большой демонстрации вместе со своим штурмовым отрядом стоял в оцеплении на заснеженном Майском лугу, углядел в толпе Эдди Амзеля в форме. Лёбзак выступил. Потом Грайзер и Форстер выступили. Снег падал большими хлопьями, и толпа так единодушно орала «хайль!», что хлопья залетали орущим прямо в рот. И партиец Эдди Амзель выискивал и хватал ртом особо крупные хлопья, пока боец штурмового отряда Вальтер Матерн не выудил его из толпы и не потащил со слякотного луга в аллею Гинденбурга. Там он сильно на него ругался, мы даже подумали: вот-вот ударит.

Тулла и я, мы видели,
как Эдди Амзель в форме собирал на лангфурском рынке пожертвования в пользу «зимней помощи». Он громыхал кружкой, веселил народ прибауточками и загребал монет побольше, чем иной настоящий партиец. И мы подумали — случись сейчас здесь Матерн и увидь он это, тогда...

Тулла и я,
мы однажды застигли Эдди Амзеля и сына торговца колониальными товарами на Фрёбельском лугу в метель. Мы прятались за балаганным фургоном, который на Фрёбельском лугу зимовал. Амзель и гном отчетливо, как в театре теней, выделялись на фоне снежной круговерти. Более разных теней, чем эти, свет не видывал. Тень гнома держала в падающей белизне тень барабана. Тень Амзеля к ней склонялась. Обе тени приблизили ухо к барабану, словно слушали какой-то тихий звук — шелест снежинок, падающих на лакированную барабанную жесть. Поскольку мы никогда ничего столь бесшумного не видели, мы тоже сидели тихо, с красными от мороза ушами — но мы слышали только снег, а жесть не слышали.

Тулла и я,
мы искали Эдди Амзеля глазами, когда между Рождеством и Новым годом обе наши семьи отправились на прогулку по Оливскому лесу; но он был где-то еще и в Долине радости в тот день не показался. А мы под оленьими рогами пили кофе с молоком и ели картофельные оладьи. В зверинце было не особенно интересно, потому что обезьян из-за морозной погоды перевели в подвал лесничества. Не надо нам было брать с собой Харраса. Но мой отец, столярных дел мастер, сказал:
— Собаке надо побегать.
Долина радости была излюбленным местом прогулок. Вторым трамваем мы доехали до Мирослома и, держась красных меток на деревьях, пошли через лес, покуда перед нами не открылась долина и расположившееся на ней здание лесничества с вольерами зверинца. Мой отец, столярных дел мастер, не может спокойно пройти мимо любого мало-мальски высокого дерева, неважно, бук это или сосна, чтобы не оценить на глаз полезный объем содержащейся в нем древесины в кубометрах. Вот почему моя мать, которая в природе, а значит, и в деревьях видела ско-

рее украшение мира, была в плохом настроении, которое развеялось только после кофе с молоком и картофельных оладий. Господин Камин, арендатор лесничества дома и хозяин кафе, уселся между Августом Покрифке и моей матерью. Всем своим посетителям он рассказывал историю возникновения зверинца. Так что Тулла и я уже в десятый раз выслушали, как господин Пикуриц из Сопота подарил зубра. Но началось все не с зубра, а с парочки благородных оленей, которых любезно предоставил директор вагоностроительной фабрики. Потом добавились кабаны и лани. Кто-то выдарил одну обезьяну, еще кто-то двух. Старший лесничий Николай обеспечил лисиц и бобров. Канадский консул привез двух енотов. А волков? Волков кто? Тех самых, что позже убегут из зверинца, растерзают в малиннике ребенка и потом, подстреленные, появятся на фотографии в газете? Волков кто?

Прежде чем господин Камин успевает сообщить, что обоих волков, волка и волчицу, зверинцу Долина радости подарил Бреславский зоопарк, мы с Харрасом выбегаем на улицу. Вот зубр Джек — но нам дальше. Вокруг замерзшего пруда. Каштаны и желуди для кабанов. Короткое облаивание лис. А вот и волки за решеткой. Харрас окаменел. Волки за стальными прутьями в беспокойстве. Шаг шире, чем у Харраса. Зато грудь не так развита, глаза посажены косо, меньше и глубже, более защищены. Голова в целом более приплюснутая, туловище округлое, в холке ниже, чем Харрас, шерсть густая и жесткая, светло-серая с черными подпалинами, желтый подшерсток. Харрас хрипло поскуливает. Волки без устали рыскают по клетке. Однажды сторож позабудет закрыть... Снег лепешками падает с еловых веток. На миг волки за прутьями замирают — три пары глаз, скулы подрагивают. Три носа подергиваются волнистыми складками. Из трех пастей валит пар. Серые волки — черный Харрас. Черный вследствие упорной селекции. Перенасыщение пигментных клеток от Перкуна через Сенту и Плутона вплоть до нашего Харраса с мельницы Луизы подарило нашему псу столь густую, без малейших разводов и подпалин, вкраплений и отметин, черную масть. Но вон уже мой отец свистнул, и Август Покрифке хлопает в ладоши. Семья Туллы и мои родители, все в зимних пальто, стоят перед лесническим домом. Беспокойные волки остаются где-то позади. Но для нас и для Харраса воскресная прогулка на этом еще не закончена. Вкус картофельных оладий долго тает во рту.

Отец повел всех нас в Оливу. Там мы садимся на трамвай и едем до Глеткау. Море, покрытое льдом до самой дымки на горизонте. Пирс в Глеткау сверкал на солнце причудливой искристой наледью. Поэтому отцу, конечно же, приспичило доставать из кожаного футляра фотоаппарат, а нам пришлось группироваться вокруг Харраса на фоне этой фантастической карамели. Отец долго наводил фокус. Шесть раз нам велено было замереть, что только Харрасу давалось без труда — он привык позировать еще с тех пор, когда его осаждали газетные фоторепортеры. Потом выяснилось, что из шести фотоснимков, которые сделал отец, четыре передержаны — лед слишком ярко сверкал на солнце.

Из Глеткау по хрустящему насту двинулись в Брёзен. Черные точки до самых кораблей, вмерзших в лед на рейде. Много народу вышло проветриться. Лафа чайкам. Два дня спустя четверо школьников, решивших пройтись по льду до Хелы, заблудились в тумане — их искали с самолетами, но так и не нашли.

Неподалеку от брёзенского пирса, столь же немыслимо замерзшего — мы уже хотели поворачивать к рыбацкой деревушке, потому что все Покрифке, особенно Тулла, избегали брёзенского причала, так как несколько лет назад там младший Конрад, глухонемой... — словом, после того как отец своей сильной рукой мастерового указал нам новое направление, примерно в четыре часа пополудни, двадцать восьмого декабря, незадолго до встречи Нового, тридцать седьмого года, Харрас, которого отец из-за обилия собак вокруг вел на поводке, вырвался вместе с поводком, перерезал белое пространство десятью огромными, стелющимися прыжками, ринулся в визжащую толпу и, когда мы туда подоспели, уже катался, взметывая клубы снега, в одном клубке с черным, трепещущим, как пойманная птица, пальто.

Так, хотя Тулла не произнесла ни слова, пианист и учитель музыки Фельзнер-Имбс, вышедший в тот день, как и мы, на воскресную прогулку вместе со старшим преподавателем Брунисом и десятилетней Йенни Брунис, подвергся нападению Харраса в третий раз. И на сей раз дело не обошлось возмещением фрака или зонтика. Теперь уже у отца были все основания сказать, что эта дурацкая история дорого ему обходится. Правая ляжка Фельзнер-Имбса была порвана в клочья. Ему пришлось на три недели лечь в больницу, а сверх того он потребовал возместить ущерб за телесные повреждения.

Тулла!

Идет снег. Тогда и сейчас — шел и идет. Мело и метет. Падало и падает. Роилось и роится. Клубилось и клубится. Хлопьями тогда и хлопьями сейчас. Сыпало и сыплет снег центнерами на Йешкентальский лес и на Груневальд; на аллею Гинденбурга и на аллею Клая; на Лангфурский рынок и на Беркский рынок в Шмаргендорфе; на Балтийское море и Хафельские озера; на Оливу и на Шпандау; на Данциг-Шидлиц и на Берлин-Лихтерфельде, на Эмаус и на Моабит, на Новую Гавань и Пренцлауэрберг; на Саспе и Брёзен, на Бабельсберг и Штайнштюкен; на кирпичную стену вокруг Вестерплатте и на новенькую, наскоро поставленную стену между Берлином и Берлином валит снег и наметает сугробы, снег валил, и наметало сугробы.

Для Туллы и для меня,

поскольку мы дождаться не могли снега, снег валил двое суток подряд и ложился сугробами. То крупяной, косой и колючий — у дворников он считался «тяжелым», то бесцельный, большими хлопьями — на свету они, пушистые, с рваными краями, белей зубной пасты, а против света серые, а то и черные, — влажный, плюшевый снег, на который затем снова сыпал косой и колючий снег с востока. И при этом умеренный мороз, по ночам опять и опять застилавший все вокруг влажной мглистой пеленой, так что к утру все заборы стояли белые, а ветки деревьев трещали от снега. Требовались неимоверные усилия всех дворников, колонн безработных, аварийных служб и всего грузового автопарка города, чтобы снова худобедно обозначить улицы, тротуары и трамвайные рельсы. Горы снега, комковатые, затверделые, тянулись суровыми кряжами вдоль всей Эльзенской улицы, закрывая Харраса с головой, а моего отца — по его мощную рабочую грудь. Туллина шерстяная шапочка мелькала синей макушкой только во впадинах этой горной цепи. Дороги посыпали песком, золой и рыжей кормовой солью. Хозяева длинными жердями стряхивали снег с ветвей фруктовых деревьев на садовых участках за Аббатской мельницей. Но пока они махали лопатами, разбрасывали песок, золу и соль, отряхивали ветки, снег все падал и падал. Дети изумлялись. Старожилы пытались упомнить: это когда же такое было? Дворники ругались и жаловались друг другу:

— А платить кто будет? Где взять столько песка, золы и соли? А если он вообще не перестанет, что тогда? А потом таять начнет — а уж таять начнет как пить дать, нам ли, дворникам, не знать, — и все в подвал потечет, и у детей грипп начнется, да и у взрослых тоже, точь-в-точь как в семнадцатом.

Когда снег, можно глазеть в окно и пытаться считать снежинки. Этим сейчас и занят твой кузен Харри, хотя вообще-то ему не снежинки считать надо, а писать тебе. Можно, когда снег идет большими хлопьями, выбежать на улицу и подставлять хлопьям рот. Мне бы очень хотелось так и сделать, но нельзя, Брауксель не велит — говорит, надо писать тебе. Можно, если ты черный пес-овчарка, выскочить из своей конуры под пышной белой шапкой и грызть снег. Можно, если тебя зовут Эдди Амзель и ты с младых ногтей строил птичьи пугала, в дни, когда снег идет без продыху, понастроить для птиц скворечников и благодетельно сыпать по кормушкам птичий корм. Можно, когда белый снег падает на твою коричневую

форменную фуражку штурмовика, скрежетать зубами. Можно, если тебя зовут Тулла и ты почти ничего не весишь, бегать прямо по сугробам, не оставляя следов. Можно, пока длятся каникулы и не перестает разверзаться небо, сидеть в своем теплом кабинете, разбирать свои слюдяные гнейсы, двуслюдяные гнейсы, слюдяной гранит и слюдяной сланец, быть при этом старшим преподавателем и сосать леденец. Можно, если ты подсобный рабочий в столярной мастерской и платят тебе гроши, во времена, когда вдруг нападало столько снега, малость подработать, сколачивая из хозяйского материала деревянные лопаты. Можно, когда хочется помочиться, писать прямо в снег, гравируя желтоватой дымящейся струйкой свое имя на сугробах; правда, имя желательно иметь короткое — я таким манером вывел на снегу «Харри»; Тулла, которой стало завидно, затоптала мои вензеля своими зашнурованными ботиночками. Можно, если у тебя длинные ресницы, ловить этими ресницами падающий снег; правда, ресницы должны быть не только длинными, но и густыми — именно такие были у Йенни на ее кукольном личике; когда она застывала в тихом изумлении, ее серо-голубые глаза вскоре начинали смотреть на мир из-под пушистых белых шторок. Можно, если в снегопад стоять тихо и не двигаться, услышать, как падает снег — я часто так стоял и много слышал. Можно при желании сравнить снег и с саваном — но это нам совсем ни к чему. Можно, будучи пухлым ребенком-найденышем, которому подарили на Рождество санки, очень захотеть покататься с горки — но найденыша никто в компанию брать не хочет. Можно горько плакать, когда падает снег, а никому до этого и дела не будет, кроме Туллы, которая своими большими ноздрями все замечает и спросит у Йенни:

— Кататься с нами пойдешь?

Мы все пошли кататься с горки и взяли с собой Йенни, в конце концов, снег для всех детей выпал. А прошлые дела, когда дождь хлестал и Йенни в канаве мокла, вроде как снегом замело, и уже не один раз. Йенни так радовалась, что Тулла ее позвала — аж страшно становилось. Ее круглая мордашка сияла, тогда как лицо Туллы оставалось непроницаемым. Возможно, Тулла потому только Йенни и позвала, что у той санки новые были. В доме у Покрифке были только старые полозья, да и те ее братья утащили, а со мной она на одни санки садиться не хотела, потому что я ее тискал, не мог не тискать, и из-за этого мы падали. Харраса нам взять не разрешили, он от снега совсем шальной делался, и притом ведь немолодой уже: десять лет кобелю — все равно что человеку семьдесят.

Через Лангфур до самого Иоаннового луга мы тащили наши санки порожняком. Только Тулла иногда разрешала себя прокатить — то мне, то Йенни. Йенни Туллу везла с удовольствием и то и дело предлагала прокатить ее еще. Но Тулла позволяла себя прокатить не тогда, когда ей предлагали, а только когда ей самой нравилось. Катались мы с Цинглеровской горки, с Альбрехтской горки и еще с большого спуска на Иоанновой горе — там была настоящая ледяная дорожка, ее заливали городские власти. Спуск этот считался довольно опасным, и я, мальчик скорее боязливый, предпочитал скатываться с пологого склона Иоаннового луга, которым у подножия горы дорожка заканчивалась. Часто, если на дорожке было много народу, мы катались в той части леса, что начиналась по правую руку сразу за Йешкентальским проездом и за Верхним Штрисом переходила в Оливский лес. Гора, с которой мы там катались, называлась Гороховой. Санная дорожка вела с ее вершины прямо к задам амзелевской виллы в проезде Стеффенса. Прижавшись животом к саням, мы мчались вниз мимо заснеженных орешников, через низкий дрок, который и зимой издавал какой-то особый, строгий запах.

Амзель часто работал в саду. На нем был красный, как светофор, свитер. Вязаные и тоже красные рейтузы ныряли в резиновые сапоги. Белый шерстяной шарф, пересекавший грудь свитера крест-накрест, держала на спине невероятно крупная английская булавка. Третьим красным пятном в его туалете была вязаная красная шапочка с белым помпоном: нам очень хотелось прыснуть, но было нельзя, иначе бы снег с кустов посыпался. Он колдовал над пятью фигурами, которые были по-

хожи на детей из сиротского приюта. Иногда, когда мы прятались в кустах дрока — заснеженные ветки, черные, высохшие стручки, — мы видели, как в сад к Амзелю приходят сироты из приюта в сопровождении воспитательницы. В серо-голубых спецовках и серо-голубых шапочках с мышиными серыми наушниками, закутанные в черные шерстяные шарфы, они, сирые и замерзшие, позировали Амзелю, покуда он, дав каждому по пакетику конфет, их не отпускал.

Тулла и я знали,

что Амзель тогда выполнял заказ. Главный режиссер городского театра, которому Вальтер Матерн представил своего друга, согласился просмотреть папку работ Эдди Амзеля с эскизами декораций и костюмов. Театральные работы Амзеля режиссеру понравились, и он поручил ему разработку декораций и костюмов для ставившейся в театре пьесы из истории родного края. А поскольку в последнем акте — действие пьесы разыгрывалось во время наполеоновских войн, город был осажден прусскими и русскими войсками — по ходу пьесы дети-сироты должны были выйти к линии фронта и петь перед герцогом Вюртембергским, Амзелю пришла в голову чисто амзелевская идея не выпускать на сцену настоящих, посконных сиротских детей, а поставить на подмостки, так сказать, сирот механических, потому что, так он утверждал, нет на свете зрелища более трогательного, чем заводная механическая дрожь — достаточно вспомнить трогательные музыкальные табакерки стародавних времен. И вот — за весьма скромные дары — Амзель приглашал к себе в сад детишек из сиротского приюта. Он заставлял их позировать и одновременно петь. «Господь велик, тебя мы славим», — пели евангелические сироты, а мы, в кустах, хихикали в кулачок и скопом радовались, что у нас-то папы и мамы есть.

Когда Эдди Амзель работал в своем ателье, мы не могли разобрать, что он там сооружает: окна в глубине веранды с птичьими кормушками, вокруг которых не затихала жизнь, отражали только Йешкентальский лес. Другие дети думали, что он там тоже всяких чудных сирот мастерит или невест из ваты и туалетной бумаги, и только мы с Туллой знали: он там строит штурмовиков, которые умеют маршировать и вскидывать руку, потому что у них в животах встроенная механика. Иногда нам даже казалось, что мы ее слышим. Мы и друг у дружки щупали животы, искали в себе механику — у Туллы даже нашлась.

Тулла и я,

мы никогда особенно долго в кустах не сидели. Во-первых, холодно; во-вторых, все время надо сдерживаться, чтобы не прыснуть; а в-третьих, нам хотелось с горки кататься.

Если одна дорожка улетала вниз по Философскому переулку, а другая мчала наши сани прямо к ограде амзелевского сада, то третья выносила напрямик к статуе Гутенберга. На опушке этой дети показывались редко, потому что все они, кроме Туллы, Гутенберга боялись. И я тоже не слишком любил к нему приближаться. Одному Богу известно, каким образом этот памятник очутился в лесу: возможно, его создатели просто не нашли для него в городе подходящего места, или, может, они выбрали Йешкентальский лес, потому что он буковый, а Гутенберг, прежде чем додумался отливать свои буквицы для книгопечатания, сперва вырезал их как раз из бука. Тулла заставляла нас съезжать с Гороховой горы прямо к этому памятнику, потому что ей хотелось нас пугать.

И было чем: посреди белой опушки стоял черный, как сажа, чугунного литья храм. Семь чугунных колонн поддерживали его круглую и выпуклую, как шляпка гриба, рифленую чугунную крышу. От колонны к колонне перекинулись тяжелые, холодные чугунные цепи, удерживаемые в чугунных зубах литыми львиными мордами. Ступени синего гранита, числом пять, обегали памятник по кругу, образуя

под ним постамент. А в центре чугунного храма, среди семи колонн, стоял чугунный истукан: окладистая, в завитушках чугунная борода волнами ниспадала на его чугунный фартук первопечатника. В левой руке он держал черную литую книгу, уперев ее в бороду и фартук. Чугунным указательным пальцем чугунной правой руки он тыкал в буквы чугунной книги. Надпись в книге можно было прочесть, взойдя по пяти ступеням до самой чугунной цепи. Но сделать эти несколько шагов никто из нас не отваживался. Одна только Тулла, легкое, как пушинка, исключение, покуда мы поодаль обмирали от страха, вприпрыжку взлетала вверх по ступеням, останавливалась перед храмом крохотной худышкой, поначалу к цепи не притрагиваясь, потом садилась на чугунную гирлянду между двух колонн и раскачивалась сперва что есть мочи, затем потише, соскальзывала с покачивающейся цепи и, уже там, в храме, поплясав вокруг сумрачного Гутенберга, вскарабкивалась ему на левое колено. На колене можно было сидеть, потому что левая чугунная нога гиганта чугунной сандалиевой подошвой попирала верхний край чугунной же мемориальной доски, надпись на которой возвещала: «Здесь стоит Иоганн Гутенберг». Чтобы понять, насколько черен был этот идол в черном, Харрасовой масти храме, надо вообразить себе еще и снег, падающий вокруг то крупными, то мелкими хлопьями; чугунную грибовидную крышу храма укрывала пушистая снежная папаха. И пока вокруг мельтешился снег, пока тихо качалась растревоженная Туллой чугунная цепь, пока сама Тулла гарцевала на левом колене чугунного исполина, Туллин белый указательный пальчик — перчаток и варежек она отродясь не носила — ползал по тем же самым литым буквам, в которые тыкал Гутенберг своим чугунным перстом.

Когда Тулла вернулась, — мы стояли не шевелясь, уже заметенные снегом, — она спросила, хотим ли мы узнать, что написано в железной книге. Мы не хотели, мы трясли головами истово и молча. По Туллиным утверждениям, надписи в книге ежедневно менялись, так что каждый день можно было прочесть новые, но непременно жуткие слова. На сей раз слова были особенно страшные.

— Так хотите узнать или нет?

Мы не хотели. Потом один из братьев Эшев все-таки захотел. Хансик Матулл и Руди Циглер тоже захотели. Хайни Пиленц и Георг Цим долго не хотели, но потом захотели и они. В конце концов даже Йенни Брунис захотела узнать, что написано сегодня в железной книге Иоганна Гутенберга.

Легкой, пританцовывающей походкой Тулла двигалась вокруг нас, приросших к месту. Лес вокруг памятника Гутенбергу в ужасе расступался, открывая прорехи неба, из которых сыпал и сыпал снег. Туллин голый палец уткнулся в Хансика Матулла:

— Ты! — Губы у Хансика дрогнули. — Нет, ты! — Теперь ее палец указывал на меня. Я бы точно разревелся, если бы она тут же не ткнула в маленького Эша, а потом не вцепилась в пушистое пальтишко Йенни:

— Ты! Ты, ты! Там написано: ты! Ты должна подойти, иначе он сам спустится и тебя заберет!

От ужаса даже снег начал таять на наших шапках.

— Гутенгрех, — так Тулла окрестила Гутенберга, — Гутенгрех сказал: ты! Ты, он сказал. Только Йенни мне нужна, а больше никто.

Слова, точно заклинания, сыпались из нее все чаще, сплетаясь все тесней. И покуда она выписывала вокруг Йенни свои ведьмовские вензеля в снегу, черный Гутенгрех сумрачно взирал из чугунного храма куда-то поверх наших голов.

Мы затеяли переговоры, мы хотели сперва узнать, а что, собственно, Гутенгрех хочет с Йенни сделать. Он ее хочет съесть или превратить в железную цепь? Засунуть под железный фартук или вплющить в железную книгу? Тулла знала, что Гутенгрех намеревается с Йенни сделать:

— Станцевать она ему должна, вот и все, раз уж она ходит на балет со своим Имбсом.

Ни жива ни мертва, круглый шарик в пушистом пальто, Йенни судорожно держалась за веревку от своих санок. Вдруг две белоснежных шторки разом спали с ее длинных и густых ресниц.

— Нет-нет-нет-не-хочу-не-хочу-не-хочу! — шептала она и, наверно, хотела закричать. Но, видно, ротик у нее на ширину крика не раскрывался, и она просто убежала вместе со своими санками: косолапо спотыкаясь, падая, поднимаясь снова, добралась до леса и скрылась за буковыми стволами в сторону Иоаннового луга.

Тулла и я не стали Йенни догонять,

пусть бежит, мы-то знали, что от Гутенгреха все равно не уйдешь. Раз у него в железной книге написано: «Теперь черед Йенни», — значит, так тому и быть и надо ей перед ним станцевать, как ее учат в балетной школе.

На следующий день, когда мы после обеда собрались вместе с санками на утоптанном снегу Эльзенской улицы, Йенни не вышла, как мы под окнами учительской квартиры ей ни свистели, с пальцами и без. Долго мы ждать ее не стали — когда-нибудь все равно придет.

Йенни Брунис пришла через день. Без слов присоединилась к нам, все такая же пухленькая в своем желтоватом, пушистом, медвежоночьем пальтишке.

Тулла и я не могли знать,

что примерно в это же время Эдди Амзель вышел в сад. Как обычно, на нем были сигнально-красные, грубой вязки рейтузы. Того же цвета был его заношенный свитер. Белый потрепанный шерстяной шарф скрепляла за спиной английская булавка. Все шерстяные вещи ему вязали на заказ из распущенной шерсти: новой одежды он никогда не носил. Свинцово-серый день пополудни; снег перестал, но пахнет снегом, который пойдет. Взвалив на плечо, Амзель выносит в сад фигуру. Ставит большое, в человеческий рост пугало в сугроб. Сложив губы трубочкой и насвистывая, уходит через веранду в дом и возвращается, нагруженный второй фигурой. Водружает ее в сугроб рядом с первой. Насвистывая марш «Мы все гвардейцы...», снова устремляется в ателье и, роняя крупные жемчужины пота, тащит на горбу третью фигуру в компанию к двум предыдущим. Но ему придется исполнить марш еще и еще раз и проложить в глубоком, по колено, снегу вполне утоптанную тропинку, прежде чем девять фигур не вытянутся в саду сомкнутым строем по стойке смирно, ожидая его приказаний. Дерюга с униформенными коричневыми аппликациями. Подбородные ремни под свиными пузырями. Наващены и наdраены, поскрипывая кожей, всегда готовые к бою и жратве из одной миски: девять спартанцев, девятеро против Фив, под Лейденом, в Тевтобургском лесу, девять несгибаемых и верных, девять швабов, девять коричневых лебедей, последний резерв, отряд обреченных, передовой дозор, рота прикрытия, шеренга гордых Бургундов, нос в нос, как по линеечке: «И вот он, Нибелунгов рок» в заснеженном саду у Этцеля.

Тулла, я и остальные,

мы тем временем миновали Йешкентальский проезд. Единым строем, след в след, колея в колею. Добротный, хрупающий снег. Отпечатки на снегу: много резиновых сапог самых разных рисунков и подошвы подкованных ботинок, как правило, с частично оторванными скобочками — когда две, когда пять, редко чтобы все были целы. Йенни идет по следам Туллы; я по следам Йенни; Хансик Матулл по моим следам; далее маленький Эш и все остальные, послушно, след в след. Безмолвно, не переговариваясь, мы идем гуськом за Туллой. Только колокольчики на санках беззаботно позвякивают. Нет, к выезду большой ледяной дорожки на Иоанновом лугу мы сегодня не пойдем — неподалеку от лесничества дома Тулла круто сворачивает. Мы такие маленькие под огромными буками. Сперва нам еще попа-

даются навстречу другие дети с санями или на самодельных полозьях. Потом мы остаемся одни и знаем — чугунный памятник близко. Робким шагом вступаем мы в царство Гутенгреха.

Тем временем, пока мы крадучись приближаемся,

Эдди Амзель все еще весело и не таясь насвистывает. От одного доблестного воина он переходит к другому. Каждому бойцу штурмового отряда он лезет в левый карман галифе и по очереди приводит в действие запрятанный внутри каждого заводной механизм. И хотя каждый прочно насажен на свою ось — металлический стержень с круглой подставкой вроде тех, на каких крепят пляжные зонтики-грибки, — однако теперь, не отвоевывая, впрочем, ни пяди пространства, восемнадцать сумрачнобогих сапог, ать-два, начинают приподниматься над снегом. Девять обмундированных скелетов — «дряхлые кости дрожат» — учатся маршировать в ногу. Этому, впрочем, Эдди Амзель обучит их мигом, уверенным движением подправив что-то в левом брючном кармане у двух марширующих фигурантов: все, теперь пошло-поехало, в ногу и вперед, ради и вопреки, дальше и мимо, через и невзирая, сперва походным, потом строевым, как на параде — все девять. И почти одновременно девять свиных пузырей над подбородными ремнями как по команде поворачиваются направо — равнение напра-во! — и все смотрят на него. Ибо Эдди Амзель на все свиные пузыри наклеил лица. Репродукции с картин живописца Шнорра фон Карольсфельда — который, если не все еще знают, запечатлел на своих полотнах горький удел Нибелунгов — подарили марширующей братве свои физиономии: вот шагает угрюмый штурмовик-рядовой Хаген фон Тронье; рядовые отец и сын Хильдебранд и Хадубранд; светленький командир отряда Зигфрид фон Ксантен; утонченный полковник Гунтер; неунывающий весельчак Фолькер Бауман; и — замыкающими — три витязя, что сумели выколотить из рока Нибелунгов неплохие барыши: благородный Геббель фон Вессельбурен, Рихард дер Вагнер и тот вышеупомянутый живописец, что своей мягкой назарейской кистью увековечил страдания Нибелунгов. И вот, пока они, все девять, держат равнение направо, их руки-палки, только что колыхавшиеся в марше, судорожно, но на удивление равномерно начинают вздергиваться вверх: вяло, но молодецки ползут вверх правые руки на предписанную уставом высоту Немецкого приветствия, а левые тем временем заламывают локоть углом, покуда зачерненные и надутые резиновые перчатки не доберутся до ременной пряжки. Но кого же они приветствуют? На кого держат равнение? Как зовут того вождя, чей взгляд они так жадно ловят? И кто дарит их взглядом и ответным приветствием, кто принимает у них парад?

В позе Канцлера Рейха — правая рука открытым семафором — Эдди Амзель принимает почести марширующего почетного караула штурмовиков. Самому себе и девятерым своим механическим ребятам он насвистывал марш, на сей раз «Баденвайльский».

Чего Тулла не знала:

пока Эдди Амзель продолжал насвистывать, Гутенберг бросал свой жуткий чугунный взгляд поверх горстки детворы, что с санками разных форм и размеров сгрудилась в поле его зрения, правда на почтительном расстоянии, и, наконец, вытолкнула из себя крошечное существо — пухленькое, пушистое, обреченное. Медленными шагами Йенни двинулась в направлении чугунного идола. Свежевыпавший снег налипал на ее резиновые подошвы — Йенни почти сразу подросла на добрых три сантиметра. И тут, нет, в самом деле, с белых буков Йешкентальского леса снялись вороны. Комья снега ухнули с ветвей. В тихом ужасе Йенни вскинула свои ручки-оладушки. Она подросла еще на сантиметр, потому что снова медленным шагом двинулась к чугунному храму, а тем временем вороны вверху, вспоров воздух своим скрипучим гарканьем, пробуравили в небе над Гороховой горой де-

вять черных прорех и упали на другую сторону, в кроны буков, что ограждали лес возле амзелевского сада.

Чего Тулла не могла знать:

когда вороны перебрались на новое место, в саду Амзеля находился не только сам Амзель со своими девятью марширующими молодчиками; там же топтали снег пять, шесть, а то и больше фигур, механику в которые встроил отнюдь не Амзель, а сам Господь Бог. Их изрыгнула не амзелевская мастерская. Они пришли с улицы, в масках, закутанные, жутковатые, и перелезли через забор. В кепках, надвинутых на лбы, в широких утепленных плащах и черных, с прорезями для глаз повязках они кажутся самодельными пугалами, но это не пугала, это люди из плоти и крови, и они лезут через забор как раз тогда, когда механика в фигурах Амзеля начинает действовать вспять: девять вскинутых палочных рук натужно опускаются вниз, резиновые перчатки соскальзывают с ременных пряжек, строевой шаг сменяется походным, траурный марш, последние судороги сапог, смирно; с тихим лязгом кончается завод; тут и Эдди прячет сложенные трубочкой губы — его пятачок больше не свистит; склонив набок массивную голову в шапочке с болтающимся помпоном, он с интересом посматривает на своих непрошеных гостей. И пока девять его самодельных болванчиков, как по команде, стоят смирно, а механика в них, только что еще живая и теплая, тихо остывает, девять закутанных в черное фигур движутся планомерно и неуклонно — они образуют полукруг, в январском воздухе из-под черных масок валит пар, полукруг охватывает Эдди Амзеля все глубже, пока не превращается в круг, они медленно, шаг за шагом, приближаются. Вскоре Эдди уже слышит их запах.

И тут Тулла позвала ворон обратно:

из-за Гороховой горы она кликнула неблагозвучных птиц, велев им вернуться в кроны буков вокруг Гутенберга. Вороны увидели, как Йенни сперва застыла перед гранитными ступенями, что ведут в чугунный храм Гутенгреха, потом всем своим круглым личиком оглянулась: Йенни увидела Туллу, увидела меня, маленького Эша, Хансика Матулла, Руди Циглера — всех нас она увидела там, вдали. Может, она нас пересчитала? Или нас пересчитали вороны — семь, восемь, девять детишек там, на взгорке, и еще одна девчушка отдельно? Было не холодно. Пахло мокрым снегом и чугуном.

— Ну давай же, танцуй вокруг него! Вокруг! — крикнула Тулла.

Лес отозвался эхом. И мы стали кричать, тоже стали вторить, чтобы она начинала наконец свои танцы, потому что тем скорее они тогда кончатся. Все вороны на деревьях, Гутенгрех под своим железным грибом и мы — все мы видели, как Йенни выдернула из сугроба правый ботиночек, в который уходила штрипка ее рейтуз, и попыталась изобразить правой ножкой нечто вроде батман девлоппе — пасе ля жамб. При этом ломоть липкого снега отвалился от подошвы, прежде чем она снова погрузила правый ботинок в сугроб и извлекла левый. Она повторила это беспомощное па, теперь стояла на правой, подняла левую и осторожно попробовала пируэт с поворотом ноги в воздухе, перешла в пятую позицию, раскинула ручки в пор-де-бра, начала аттитюд круазе деван, покачалась в аттитюд эфассе и упала в первый раз, когда ей не удалась аттитюд круазе дерьер. Уже не в желтоватом, уже в заснеженно-белом медвежоночьем пальтишке она поднялась. В сбившейся шерстяной шапочке танец в честь Гутенгреха был продолжен: из пятой позиции — в дми-плие, затем пти шанжман де-пье. Следующее движение, очевидно, должно было изобразить сложное паз-ассамбле, но тут Йенни упала вторично; а когда при попытке блеснуть рискованным па-де-ша Йенни упала в третий раз, не взлетела в воздух, а свалилась, не порадовала чугунного Гутенгреха невесомым воспарением, а мешком плюхнулась в снег, возмущенные вороны сдернулись с буковых ветвей и устроили скандал.

Тулла ворон отпустила,

и они, перелетев на северный склон Гороховой горы, увидели, что там закутанные фигуры не только сомкнули вокруг Эдди Амзеля кольцо, но и неумолимо его сжимают. Девять черных утепленных плащей соскучились по чувству локтя. Амзель судорожно поворачивает взмокшее лицо то к одному, то к другому. Он топчется на месте. Шерсть на рейтузах и свитере вся замахрилась и в петельках. Гладкий лоб весь в поту. Он как-то натужно смеется и в лихорадочном раздумье проводит кончиком языка по губам.

— Что господам угодно? — Жалкие идеи приходят ему в голову. — Может, сварить господам кофейку? Кажется, в доме есть пирожные. Или лучше сказочку? Знаете сказочку про угрей, сосущих молоко? Или про мельника и говорящих мучных червей? Или про двенадцать безголовых рыцарей и двенадцать безголовых монахинь?

Но девять черных повязок с восемнадцатью прорезями для глаз, видно, дали кому-то обет молчания. Однако когда он — быть может, чтобы поставить кофе — пытается упругим мячиком прорвать кольцо плащей и низко надвинутых кепок, ему отвечает кулак, ничем не укутанный, сухой и голый: свалявшийся красный свитер опрокидывается навзничь, порывается вскочить, отряхнуть с себя снег, но в этот миг Амзеля достает второй кулак, и вороны взлетают с ветвей.

Тулла ей кричала,

но Йенни было уже все равно. После второго и третьего падений она, поскуливая, снежным комом поползла в нашу сторону. Но Тулле этого было мало. И если мы словно приросли к месту, то она, стремительно и не оставляя следов, шмыгнула по снегу навстречу Йенни — снежному кому. И когда Йенни попыталась подняться, Тулла пихнула ее обратно в снег. Йенни не успевала встать — и тут же падала снова. Кто бы сейчас мог подумать, что под этой снежной шубой есть еще пушистое медвежоночье пальтишко? Мы отступили к опушке леса и оттуда смотрели, как трудится Тулла. Вороны над нашими головами заходились от восторга. Чернота Гутенберга могла теперь сравниться с белоснежностью Йенни. Блеющий смех Туллы эхом разносился над всей опушкой — она нам махала. Но мы остались под буками, пока Тулла закатывала Йенни в снег. Ее теперь было совсем не слышно, она только делалась все толще. Когда ботинки Йенни скрылись в снежном коме и ей уже не на что было встать, вороны, посчитав, что нагляделись вдоволь, перемет-нулись на другую сторону горы.

Тулле-то справиться с Йенни было проще простого,

а вот Эдди Амзель, вороны подтвердят, задавал слишком много вопросов, и на каждый ему приходилось отвечать кулаком. Все кулаки, что ему отвечали, хранили безмолвие, все, кроме одного. Этот кулак бил и скрежетал зубами из-под черной маски. И у Амзеля изо рта вместе с кровавой пеной пузырится вопрос:

— Это ты? Отэ ыт?

Но скрежещущий кулак не разговаривает, он бьет. Другие кулаки уже отдыхают. И только скрежещущий продолжает работать, склонившись над лежачим Амзелем, потому что Амзель уже не может подняться. А кулак все молотит и молотит, сверху вниз, по кроваво-пузыристым губам. Может, эти губы по-прежнему стараются выговорить вопрос «Отэ ыт?», но вместо слов выплевывают только мелкие, аккуратные, жемчужно-белые зубы: теплая кровь на прохладном снегу, детский барабан, Польша, черешни со сливками — кровь на снегу. Теперь они закатывают его в снег, как Тулла закатывала девочку Йенни.

Но Тулла со своим снеговиком первой управилась.

Плоскими ладошками она его со всех сторон утрамбовала, поставила на попа,

спорыми движениями шустрых рук прилепила нос, нашла, пошарив вокруг глазами, шерстяную шапочку Йенни, натянула ее снеговику на его круглую, как тыква, снежную голову, разрыла башмаками снег, покуда не добралась до прошлогодней листвы, буковых орешков и сухих сучьев, воткнула снеговику два сучка в боки, вставила ему два глаза-орешка и отошла на несколько шагов назад — оценить свое произведение.

Тулла могла бы его и сопоставить,

поскольку за Гороховой горой, в саду Амзеля, тоже стоит снеговик. Тулла не сравнивала, а вот вороны сравнили. Он воцарился прямо посреди сада, тогда как девять пугал в дерюге с коричневыми заплатами мирно подремывают в глубине. У снеговика в Амзелевом саду носа нет. И глаза из буковых орешков ему тоже не догадались вставить. И шерстяную шапочку на голову натянуть позабыли. И нет у него хворостяных рук, чтобы махать ими от радости или от отчаяния. Зато у него есть алый рот, и рот этот сам собой увеличивается.

В отличие от Туллы, девять незнакомцев в утепленных плащах торопятся. Они перелезают через забор и уходят лесом, в то время как мы, вместе с Туллой, все еще стоим с санками на опушке и любуемся на снеговика в Йенниной шапочке. Снова пикируют вороны с вершины горы на опушку, но на сей раз не оседают в буковых кронах, а с истошно-скрипучим граем кружат сперва над чугунным Гутенберговым храмом, потом над снеговиком. Гутенгрех обдает нас своим стылым дыханием. Вороны на снегу как черные дыры. По обе стороны Гороховой горы уже смеркается. Мы убегаем, прихватив наши санки. Нам жарко под нашей зимней одежкой.

Дорогая кузина Тулла,

одного ты не учла: вместе с сумерками пришла оттепель. Впрочем, про оттепель почему-то говорят неприязненное слово «наступила». Так вот, наступила оттепель. Воздух сделался густым и мягким. Взопрели буки в буковом лесу, то бишь, по-немецки говоря, в бухенвальде. Ветви стали сбрасывать с себя снежные лапы. Они ухали по всему лесу. Конечно, и теплый ветер подсоблял маленько. Капель пробивала первые дырки в сугробах. А мне готова была пробить дырку в голове, потому что я остался под буками. Впрочем, уйди я вместе со всеми и с санками домой, капель и там бы мое темечко достала. Потому что никому, ушел он домой или остался, от оттепели все равно не спрятаться.

Пока что снеговики — один в царстве Гутенгреха, второй в саду Амзеля — стояли незыблемо. Сумерки сочились матовой мертвенной белизной. Вороны улетели куда-то еще и там рассказывали, что они где-то еще видели. Снежная шапка с чугунного гриба над Гутенбергом вдруг поползла и разом обвалилась. Не только буки, я тоже взопрел. Иоганн Гутенберг, обычно такой непререкаемо чугунный, тоже взмок и поблескивал испариной между лоснистыми колоннами. И над опушкой, и там, где кончался лес и начинались виллы, над всем Лангфуром небо разом поднялось на несколько этажей выше. Торопливые облака неряшливым атакующим строем неслись к морю. В рваные прорехи звездило ночное небо. И наконец, не сразу, с промежутками, выкатилась набухшая оттепельная луна. И стала показывать мне, когда через большую дырку, когда полумесяцем, когда только обгрызенным ломтем, а когда и сквозь облачное марево, что творит на опушке в царстве Гутенгреха разгулявшаяся оттепель.

Гутенберг потел, как живой, но оставался в своем храме. Сперва казалось, будто лес хочет подступить ближе, но потом, при ясной луне, он вдруг подался назад; снова подошел сомкнутым строем, едва месяц скрылся, снова отступил, не знал, как ему быть и что делать, и растерял в этой бесцельной топотне весь снег, какой успел захапать сучьями в эти метельные дни. И теперь, без ноши под теплым ветром, он начал шуметь. Колышущийся на ветру Йешкентальский лес, чугунный Гутенберг

вкупе с жутковатой луной вогнали меня, одинокого Харри в ночном лесу, в липкий и влажный страх. Я кинулся бежать — прочь отсюда! Я взбирался на Гороховую гору. Восемьдесят четыре метра над уровнем моря. Вместе с пластами снега покатился с горы вниз, лишь бы прочь, прочь, прочь отсюда, но оказался перед Амзелевым садом. Сквозь сочащиеся ветки орешника и строго пахнущий дрок я туда заглянул — а луна нет. Потом, когда луна смилостивилась, я издали, на глазок, большим и указательным пальцами, снял со снеговика в саду у Амзеля мерку: он малость подтаял, но держался молодцом.

И тут мне, конечно, приспичило и с другого снеговика, что на той стороне горы, тоже снять мерку. То и дело оступаясь и поскальзываясь, я кое-как влез наверх, а уж спускался как придется, боясь только, как бы меня не подхватила какая-нибудь шальная снежная лавина и не вынесла прямо Гутенгреху под ноги. Выручил меня скачок в сторону: я обхватил в обнимку вспотевший буковый ствол. Влага потекла между горячими пальцами. Лупая глазами из-за бука то справа, то слева, я смотрел на опушку, и, едва луна начинала мерить ее своими лучами, я тут же приноравливался к ее свету, издали замеряя пальцами снеговика перед Гутенберговым храмом. И хотя Туллин снеговик подтаивал не быстрее, чем снеговик на Амзелевой стороне Гороховой горки, однако изменения тут были отчетливей: его хворостяные руки опустились; нос отпал. Харри в лесу даже показалось, что глазки из буковых орешков сдвинулись чуть ближе и злобно на него посматривают.

И снова, чтобы ничего не упустить, мне пришлось буксовать по ватной Гороховой горе вверх, потом по ней же, но оползающей, тормозить вниз, прямо в дрок — черные стручки зашуршали. Дух от дрока шел усыпляющий, но стручки не давали мне заснуть, напоминая о моем измерительном долге перед оседающими снеговиками. Теперь, после многократной беготни туда-сюда, оба они стали заметно сдавать, а точнее говоря — поверху тощали на глазах, а ниже пояса расхлябывались кашеобразным месивом, из-под которого появлялись и начинали расти человеческие ноги.

А однажды, на амзелевском склоне, снеговик накренился вправо, словно правая нога у него короче левой. А другой снеговик, из царства Гутенберга, вдруг выпятил живот и стал обнаруживать в профиль рахитичное прогибание.

А в другой раз — я проверял, что делается в амзелевском саду, — у снеговика правая нога отросла и он уже не кособочился инвалидом, как раньше.

А еще как-то я возвращался из амзелевского сада, приник, упрев-ужарев, цеплячей шерстью к моему мокрому буку — и вдруг в лунном свете увидал, что чугунный храм Гутенберга пуст: вот ужас-то! Луна выглянула ненадолго — храм пуст! Луна скрылась — и я вижу: храм — только пустой силуэт, а Гутенгрех, потный, влажный и чугунный, с чугунной бородой, куда-то направляется. С раскрытой железной книгой, в которой ребристые выпуклые буквы, он ищет меня под буками, хочет меня схватить, книгой прихлопнуть, в железную книгу вплющить, меня, одинокого Харри в темном лесу. И что это там трещит — то ли ветер гнет ветви, то ли это Гутенберг слоняется меж стволов, оглаживая кусты своей чугунной бородой? А если он как раз там, где Харри притаился, раскроет свою книгу, аки голодную пасть? Вот сейчас он его схватит. А что Харри среди ночи в лесу понадобилось? Разве не ждут его дома к ужину? Наказание. Poena. «Кара» по-латыни. Чугунная кара. И снова, доказательством того, сколь велики глаза у страха при обманчивом лунном свете — когда обманщик-месяц улучает в облаках прореху, чугунный истукан, как ни в чем не бывало, стоит опять под своим балдахином и лоснится оттепельной влагой.

Как же был я рад, что не попал в гутенберговский альбом! Ноги у меня подкосились, и я осел, где стоял, под своим буком. Я заставлял свои усталые, выпученные от всех этих ужасов глаза не спать и не упускать снеговика из виду. Но они уже закрывались и открывались сами собой, как незапертые ставни от порывов ветра. Может, даже и хлопали. Но я, все еще одержимый измерительным бесом, то и дело

напоминал себе: не смей спать, Харри! Надо не спать, а в горку и с горки. По Гороховой горе. Восемьдесят четыре метра над уровнем моря. Тебе надо в дрок, между черных стручков. Посмотреть да замерить, какие еще коленца удумал выкинуть снеговик у Амзеля в саду. Поднимайся, Харри! Вставай — и вперед!

Но я словно приклеился к мокрому стволу и наверняка упустил бы тот миг, когда снеговик в царстве Гутенберга развалился, если бы не горластые вороны. Как давеча в сумерки, так и сейчас, с наступлением тьмы, они вели себя чудно, то и дело снимаясь с места и оглашая округу своим скрипучим карканьем. Туловище снеговика разом обваливается внутрь. Вороны метнулись, словно другого направления и на свете нет, на другую, амзелевскую сторону Гороховой горы: значит, и там снеговик обвалился внутрь самого себя.

Кто при виде таких снежных чудес не начнет протирать глаза, ни глазам своим, ни чудесам этим не веря? И кто велел звонить в колокола, когда снеговики обваливаются? Сперва в церкви Сердца Христова, потом в церкви Лютера на Германсхофском пути. Семь ударов. Дома ужин стоит на столе. И родители, стоя среди тяжеловесных полированных мебелей — сервант, буфет, трюмо, всё выпускные работы отцовских подмастерьев, — взирают на мой пустующий, тоже чей-то выпускной стул. Харри, где ты? Чем ты занят? Куда ты уставился? Смотри, не расчеши глаза! Там, в рыхлом, сером, ноздреватом снегу, стояла не Йенни Брунис, не замерзшая пышечка, не ледяной колобок, не трясучий пудинг на ножках — там стояла ломкая хрупкая спичечка, на которой болталось желтоватое Йеннино пальтишко, облезлое и севшее, как после неправильной стирки. И у спичечки была крохотная кукольная мордашка, такая же кукольная, как личико Йенни. Но куколка там стояла совсем другая, тоненькая, такая тоненькая, что и не углядишь, стояла и не двигалась с места.

А вороны, галдя, уже вернулись обратно и упали в черный лес. Наверняка и там, за горой, им тоже пришлось протирать глаза. И там, наверняка, тоже шерсть села. И меня потянуло вверх по склону. Какая-то вдруг уверенность на меня нашла — я хоть и качался, но не оскользнулся ни разу. И откуда вдруг сухой канат, по которому так легко взбираться? И чей канат страхует меня на спуске, чтобы я не грохнулся?

Скрестив руки на груди, непринужденно расположив ноги на ширину плеч — опорная чуть ближе, свободная чуть дальше, — в блеклых сугробах стоял молодой человек. Стройную фигуру плотно облегало шерстяное розовое трико — когда-то, много-много стирок назад, оно, очевидно, было ярко-красным. Длинный шарф, белый, грубой домашней вязки, точно такой, как был у Эдди Амзеля, он небрежно перебросил через левое плечо, а не носил крест-накрест, сцепив концы за спиной нелепой английской булавкой. Красавцы из модных журналов любят носить шарф с таким вот асимметричным шиком. Словом, это был Гамлет и Дориан Грей — в одном лице. Аромат мимозы и гвоздики наперебой. Но особую возвышенность, ломкое изящество и аристократизм придавала всей его позе болезненная складка возле рта. И первое же движение молодого человека адресовалось этому болезненному рту. Подрагивая, словно плохо смазанный механизм, его правая рука подобралась к лицу и ощупала губы; за ней последовала и левая — с той же целью. Может, у молодого человека мясо в зубах застряло?

А что он делает теперь, закончив ковыряться в зубах и ловко, не сгибая колен, наклонившись? Что ищет он в снегу своими длинными, тонкими пальцами? Уж не буковые ли орешки? Или ключ от дома? Круглую монету в пять гульденов? Или другие, не столь осязаемые ценности? Прошлое в снегу? Счастье в снегу? Смысл бытия, ад победы, жало смерти в снегу? Может, в эту оттепель он Бога искал в саду у Эдди Амзеля?

Но тут молодой человек с болезненным ртом нашел что-то, потом еще, подобрал четыре раза, нет, семь, перед собой, сбоку, сзади. А подобрав находку двумя длинными пальцами, всякий раз поднимал ее на свет, навстречу лунным лучам — и

она мерцала жемчужной, пенноморской белизной.

Но меня уже влекло на другую сторону. Так что пока он там искал, находил и на лунном свету рассматривал, я, уже наловчившись, уверенно скатился под гору, нашел свой бук и уставился на лужайку в надежде увидеть там наконец знакомую сдобную фигурку пышечки Йенни. Но там все еще была эта спичка в скукоженном Йеннином пальтишке и отбрасывала тонюсенькую тень, когда лунный свет на ней преломлялся. Но спичечка тем временем успела раскинуть ручки в стороны, а ножки прижать пятка к пятке, носками врозь. Иными словами: спичечка встала в первую балетную позицию и тут же начала, хотя станка поблизости было не видать, со строгих станковых упражнений: гран-плие — дми-пуант — эквилибр, браз ан куронн, по два раза из первой, второй и пятой позиции. Потом восемь дегаже врастяжку и восемь дегаже в воздухе с завершающим плие. Шестнадцать батманов дегаже, похоже, спичечку раззадорили. В рон де жамб а ля згонд, соединенном через эквилибр с аттитюд ферме, в большом пор-де-бра, сперва вперед, потом назад, спичечка обнаружила в себе гибкость. Она становилась все мягче и мягче. Марионеточные движения рук сменились плавными, слитными мановениями — и вот уже медвежоночье пальтишко Йенни соскользнуло с ее узеньких плеч. Теперь несколько фигур в боковом лунном освещении: восемь гран-батманов по кругу подряд — полет высокий, может, подъем ступни не так оттянут, но линия, что за линия! — словно эту спичку и ее линию сам Виктор Гзовский во сне увидел — и завершение в арабеск круазе!

Когда меня снова потянуло на другую сторону горы, спичечка уже усердно нанизывала один за другим маленькие батманы сюр ле ку-де-пье: красивый, широкий размах рук, которые как бы раз за разом расставляли строгие классические акценты в размякшем оттепельном воздухе.

А что же за другим склоном Гороховой? В проглядах луны я теперь узрел, что у молодого человека в амзелевском саду не только белый шарф Эдди Амзеля, но и его лисья шевелюра, правда не всклокоченная, а аккуратно приглаженная. Он теперь стоял около рыхлых останков снеговика. К пугалам, что дерюжно-лоскутным строем замерли в тени леса, он повернулся спиной: широк в плечах, узок в поясе. Кто одарил его столь идеальным сложением? На раскрытой ладони правой согнутой в локте руки он держал нечто, по-видимому, достойное рассмотрения. Опорная нога как струна, зато другая непринужденно отставлена. Легкий наклон шеи, безупречная линия затылка, пунктирная линия между глазом и раскрытой ладонью — зачарованное, отрешенное созерцание, хоть фотографируй: Нарцисс! Я уж было совсем собрался на свою горку, поглядеть на низкие плие старательной спичечки, поскольку нечто достойное рассмотрения на раскрытой ладони мне все равно не показывали, как вдруг молодой человек что-то бросил за спину и это что-то, перевернувшись и сверкнув в лунном сиянии, может, двадцать, а может, тридцать два раза, чиркнув по веткам орешника, россыпью юркнуло ко мне в дрок. Я пощупал вокруг себя — тем паче, что и меня эти камушки вроде задели. И нашел два зуба: небольших, чистых, с гладкими красивыми корнями — надо припрятать. Подумать только — так, одним махом, человеческие зубы разбрасывать. А он даже не оглянулся — пружинистой походкой пошел через сад к дому. В один прыжок перемахнул лестницу на веранду — и, одновременно с луной, скрылся. Но тотчас же его выхватил из темноты дома уже другой, слабый, очевидно чем-то наспех завешенный, электрический свет. В его бликах молодой человек мелькнул в одном, потом в другом окне амзелевской виллы. Метнулся туда, обратно. Что-то принес, потом еще. Молодой человек паковал чемодан Эдди Амзеля и явно торопился.

Заторопился и я — в последний раз вверх на Гороховую горку. О, эти незабываемые восемьдесят четыре метра над уровнем моря! И поныне, стоит мне только переесть на ночь, в каждом третьем сне меня преследует это многократное покорение Гороховой горы — вплоть до самого пробуждения изнурительный подъем, потом безудержный спуск, и снова в гору, и так без конца...

От своего бука я увидел: спичечка танцует. Уже не упражнения у станка, а беззвучное адажио: торжественно и плавно парят в воздухе руки. Четкие, твердые шажки по нетвердой почве. На одной ножке, так, будто вторая и не нужна вовсе. Словно весы — стрелка отклонилась, потом снова замерла, невесомо, легко. Повороты — но не боязливо-быстрые, а с затяжкой, хоть рисуй. Это не опушка вертится — это спичечка исполнила два чистейших пируэта. Нет, не прежние мячиковые подскоки и плюханья — кажется, Гутенберг вот-вот выйдет из-под своего чугунного гриба, чтобы изобразить партнера. Но он, как и я, всего лишь публика, в то время как спичечка легкими прыжками прочерчивает опушку. Онемели вороны. Плачут буки. Па-де-бурре, па-де-бурре. На пуантах, но величественно, как сама Висла. А теперь аллегро, потому что вслед за адажио должно быть аллегро. Быстрый перебор ножками. Эшаппе, эшаппе. И из дми-плие: несколько паз-ассамбле подряд. А теперь то, что Йенни никак не давалось: озорные па-де-ша — спичечка им не нарадуется, прыгает снова и снова, взмывает в воздух и там, словно бы зависнув, паря в бестелесности, игриво сводит вместе мысочки согнутых ножек. Не сам ли это Гутенберг решил теперь, после веселого аллегро, для концовки насвистеть ей снова адажио? Ах, какая нежная спичечка! По собственной прихоти она то короче, то длинней. Спичечка-тире, спичечка-прочерк, спичечка-пожар. Спичечка грациозно переламывается в поклоне. Бурные овации — вороны, буки, теплый ветер.

А после последнего занавеса — его дала луна — спичечка мелкими шажками пошла по растанцованной лужайке, явно что-то разыскивая. Но искала она не потерянные зубы, как молодой человек по амзелевскую сторону горы, и не с болью вокруг рта, а скорее с чуть заметной и как бы замерзшей улыбкой на устах, улыбкой, которая не посветлела и не стала теплей даже тогда, когда спичечка нашла, что искала: с новыми Йенниными санками спичечка, уже не танцующей, а скорее оробелой походкой пугливого ребенка пересекла лужайку, подобрала сброшенное Йеннино пальтишко, накинула его себе на плечи и, не удерживаемая даже Гутенбергом, скрылась в лесу в направлении Йешкентальского проезда.

И тут же, при виде опустевшей лужайки, прежней чугунной жутью и лесными шумами навалился страх. Я кинулся от этой зловеще пустой лужайки наутек, только стволы мелькали, и даже когда лес кончился и меня принял под свои фонари Йешкентальский проезд, я все еще бежал без оглядки. Только на главной улице, перед торговым домом Штернфельда, я перевел дух.

На той стороне площади часы над витриной оптика показывали начало девятого. На улице было людно. Любители кино торопились насладиться бегущими картинками. Шел, если не ошибаюсь, фильм с Луисом Тренкером. А потом, когда фильм уже начался, шагом беззаботным и вместе с тем упругим показался молодой человек с чемоданом. Много в такой чемодан не положишь. Да и многое ли могло пригодиться этому стройному молодому человеку из необъятных амзелевских одеяний? Подъехал трамвай из Оливы, торопясь к Главному вокзалу. Молодой человек вскочил в задний вагон и остался на площадке. Когда трамвай тронулся, он закурил. Болезненные, провалившиеся губы сжали сигарету. Эдди Амзеля я с сигаретой в жизни не видел.

Только трамвай укатил, тут как тут, аккуратными шажками, появилась та спичечка с Йенниными санками. Я пошел следом за ней по Баумбахской аллее. Получалось, что мне с ней по пути. Когда мы миновали церковь Сердца Христова, я прибавил шагу, покуда не нагнал спичечку, и сказал что-то вроде:

— Привет, Йенни!

Спичечка ничуть не удивилась:

— Добрый вечер, Харри.

Я, чтобы поддержать разговор:

— Кататься ходила?

Спичечка кивнула:

— Если хочешь, можешь повезти мои санки.

— Что-то поздно ты возвращаешься.

— Да, и устала сильно.

— А Туллу видела?

— Тулла и все остальные ушли, когда семи еще не было.

У новой Йенни были точно такие же длинные ресницы, как и у прежней.

— Я тоже до семи ушел. Но тебя там не видел.

Новая Йенни вежливо мне объяснила:

— Это очень даже понятно, ты и не мог меня видеть. Дело в том, что я сидела в снеговике.

Эльзенская улица становилась все короче.

— Ну и как там внутри было?

На мосту над Штрисбахом новая Йенни мне ответила:

— Там внутри было ужасно жарко.

Моя тревога, по-моему, была непритворной:

— Надеюсь, ты там внутри не простыла?

Перед Акционерным домом, где старший преподаватель Брунис жил с прежней Йенни, новая Йенни сказала:

— Я перед сном горячего цитрона выпью, на всякий случай.

У меня еще много вопросов в голове крутилось.

— А как же ты выбралась из снеговика?

У подъезда Йенни со мной попрощалась:

— Так таять начало. Но сейчас я правда устала. Я там потанцевала немножко. И у меня в первый раз два пируэта получились, честное слово. Спокойной ночи, Харри.

Дверь клацнула замком. Очень хотелось есть. Хоть бы на кухне что-нибудь осталось. Кстати, кто-то видел, как молодой человек садился в десятичасовой поезд. И сам он, и чемодан Амзеля испарились без следа. Оба, надо понимать, благополучно миновали обе границы.

Дорогая Тулла!

Йенни простудилась, конечно же, не внутри снеговика, а по пути домой: должно быть, танцы на опушке очень ее разгорячили. Пришлось ей неделю в постели проваляться.

Дорогая Тулла!

Теперь ты знаешь, что из толстяка Амзеля выскользнул стройный молодой человек. Легким шагом, с чемоданчиком Амзеля в руке, он прошествовал через здание вокзала и сел в поезд на Берлин. Чего ты не знаешь: в чемоданчике у легконогого молодого человека лежит паспорт, причем фальшивый. Некий господин, рояльный мастер по профессии и Штемпель по кличке, еще за несколько недель до двойного снежного чуда ему этот паспорт выправил. Рука умельца все предусмотрела, ибо в паспорте невероятным образом красовалось фото, запечатлевшее строгие, чуть скованные черты молодого человека с болезненным ртом. К тому же господин Штемб выписал паспорт не на имя Эдуарда Амзеля, он окрестил владельца документа господином Германом Зайцингером, родившимся в городе Риге 24 февраля 1917 года.

Дорогая Тулла!

Когда Йенни снова выздоровела, я показал ей два зуба, которые молодой человек зашвырнул в мой дрок.

— Ой! — обрадовалась Йенни. — Это же зубы господина Амзеля. Подаришь мне один?

Второй зуб я оставил себе и берегу до сих пор, ибо господин Брауксель, который мог бы на этот зуб притязать, передоверил его сохранность моему портмоне.

Дорогая Тулла!

Чем занялся господин Зайцингер по прибытии в Берлин на Штеттинский вокзал? Он снял номер в гостинице, на следующий же день отправился в зубоврачебную клинику и за большие деньги, когда-то амзелевские, а теперь его личные, распорядился заполнить свой старчески проваленный рот чистым золотом. Пришлось господину Штембу, по кличке Штемпель, вносить в новый паспорт в графу «Особые приметы» дополнение задним числом: «Зубы искусственные, коронки желтого металла». Отныне, когда господин Зайцингер смеется, можно увидеть у него во рту тридцать два золотых зуба; но смеется господин Зайцингер редко.

Дорогая Тулла!

Эти золотые зубы стали — да и по сей день остаются — притчей во языцех. Когда вчера с несколькими приятелями мы сидели в «Закутке у Пауля», я, чтобы доказать, что золотые зубы господина Зайцингера отнюдь не плод моей фантазии, устроил проверку. Этот маленький бар на Аугсбургской улице посещают главным образом сомнительные дельцы, мелкие предприниматели и одинокие дамы. Овальный диванчик вокруг столика для завсегдатаев позволяет вести жесткие дискуссии на мягкой основе. Говорили, как всегда в Берлине, о том о сем. Стену за нашими спинами в беспорядке украшали фотографии знаменитых боксеров, автогонщиков и звезд близлежащего дворца спорта. Многие были с автографами и любопытными надписями, но мы их не читали, а, как обычно между одиннадцатью и двенадцатью ночи, когда заведение закрывается, судили-рядили, куда бы отправиться еще. Потом потешались над слухами о приближающемся четвертом февраля. Болтовня о конце света под пивко и водочку. Я рассказал о моем привередливом работодателе господине Брауксле, и разговор тотчас же перескочил на Зайцингера и его золотые зубы: я уверял, что они и вправду все золотые, а приятели мои были убеждены, что это так, болтовня и враки. Тогда я крикнул, обернувшись к стойке:

— Ханночка! Господин Зайцингер к вам часом не заходил?

На что та, ополаскивая кружки, ответила:

— Не-а. Золоторотик теперь, когда в наших краях бывает, в другое место ходит — к Динеру.

Дорогая Тулла!

Так что с искусственными зубами все правда. Зайцингера называли и называют Золоторотиком; а что до Йенни, то она, когда выздоровела, получила в подарок пару новых балетных туфелек, шелковая ткань которых отливала мерцающим серебром. Старший преподаватель Брунис хотел, чтобы она в этих серебряных туфельках взошла на ослепительные высоты. И вот она уже танцует в балетном зале мадам Лары: танец маленьких лебедей. Потом Фельзнер-Имбс, чьи покусы уже зажили, играет Шопена. И я, по воле господина Брауксля, засим отпускаю до поры Золоторотика и прислушиваюсь к легким шорохам серебряных балетных туфелек: Йенни стоит у станка и начинает свою карьеру.

Дорогая Тулла!

Нас тогда всех из нашей первой школы перевели: меня — в Конрадинум, а вы, ты и Йенни, стали ученицами школы имени Хелены Ланге, которую вскоре переименовали и она называлась уже школой Гудрун. Это мой отец, столярных дел мастер, предложил отправить тебя в лицей:

— Девчонка очень способная, но необузданная. Надо попробовать, глядишь, чего и выйдет.

Итак, с шестого класса наши дневники подписывал теперь старший преподаватель Освальд Брунис. Он вел у нас немецкий и историю. Я с самого начала был прилежен, но не выскочка, оставался первым учеником и всем давал списывать.

Старший преподаватель Брунис был добрым учителем. Нам ничего не стоило отвлечь его от неукоснительного следования предмету: достаточно было кому-то принести на урок слюдяной гнейс и попросить его что-нибудь про этот камень или вообще про гнейсы, а еще лучше про его коллекцию гнейсов рассказать — Брунис в тот же миг забывал про кимвров и тевтонов и с радостью отдавался любимой науке. При этом он гарцевал отнюдь не только на своем сокровенном коньке — слюдяных гнейсах и слюдяном граните, он шпарил все минералы подряд — плутониты и вулканиты, аморфные и кристаллические каменистые образования; словечки «многоплоский», «толстослойный» и «стеблистый» у меня от него; обозначения цветов — луково-зеленый, воздушно-голубой, горохово-желтый, серебристо-белый, гвоздично-коричневый, дымчато-серый, чугунно-черный и закатно-алый — это из его палитры; от него я впервые услышал таинственно-нежные слова вроде «розовый кварц», «лунный камень», «лазурит»; от него позаимствовал ласковые ругательства типа «голова туфовая», «роговой обманщик», «ах ты, конгломерат ты этакий», хотя и сегодня не мог бы различить агат и опал, малахит и лабрадор, биотит и мусковит.

А если не удавалось сбить его с учебного плана минералами, тогда в дело шла его приемная дочь Йенни. Дежурный по классу вежливо так, чин чином поднимал руку и просил старшего преподавателя Бруниса рассказать об успехах Йенни на балетном поприще. Весь класс просит, говорил он скромно. Каждый хочет знать, что за истекшие два дня было нового в балетной школе. И точно так же, как словечки «слюдяной гнейс», имя «Йенни» заставляло старшего преподавателя Бруниса позабыть все на свете: он прерывал великое переселение народов, бросал восточных и западных готов зимовать у Черного моря, а сам, преображаясь, окунался в новую тему — он уже не горбился за кафедрой, а, по-медвежьи пританцовывая, метался от доски к классному шкафу и обратно, хватал губку, стирал только что начертанные схемы готских переселений. По еще влажному черному полю скрипел стремительный мелок — лишь добрую минуту спустя, когда он еще черкал в левом нижнем углу доски, правый верхний потихоньку начинал просыхать.

«Первая позиция, вторая позиция, третья позиция, четвертая и пятая позиция», — было начертано на черной школьной доске, и Освальд Брунис начинал теоретический балетный урок следующими словами:

— Как делается всегда и во всем мире, мы начнем с основных позиций, а затем приступим к упражнениям у станка.

Старший преподаватель опирался на Арбо, первого теоретика танца. По Арбо и Брунису выходило, что есть пять основных позиций и все они базируются на принципе разведенных в стороны ступней. В первые мои гимназические годы жуткое словечко «выворотность» значило для меня несравненно́ больше, чем, допустим, «правописание». Еще и сегодня я по ногам балерины мгновенно распознаю, хорошая у нее выворотность или нет, зато правописание — два «н» или одно, «е» или «и» — во многом остается для меня великой загадкой.

Не шибкие грамотеи, мы зато, группами по пять-шесть балетоманов, сиживали на галерке городского театра и со знанием дела глядели на сцену, когда балетмейстер театра совместно с мадам Ларой решался провести балетный вечер. Както раз в программе значились «Половецкие пляски», «Спящая красавица» по несравненным хореографическим образцам Петипа и «Грустный вальс», который должна была исполнить сама мадам Лара.

Я рассуждал:

— У Петрих, конечно, в адажио было настроение, но выворо́тность у нее слабовата.

Маленький Пиох злобствовал:

— Нет, ты погляди, погляди на эту Райнерль: что ни пируэт — все враскачку, а выворотность у нее такая, что смотреть тошно!

Герберт Пенцольд качал головой:

— Если эта Ирма Лойвайт не наработает себе приличный подъем, помяни мое слово, долго она в примах не проходит, хотя выворотность у нее шикарная.

Наряду со словечками «подъем» и «выворотность» очень много значило слово «душа». Кто-то «при всей технике» не имел «никакой души», зато про ведущего, уже в возрасте, солиста, который отваживался на гран-жете — правда, все равно изумительными, плавными махами — уже только из кулисы, на галерке великодушно говорилось:

— При такой душе Браке все себе может позволить: у него вращения только в три оборота, но зато каких!

Четвертым модным словечком моих первых гимназических лет было словечко «баллон». Танцоры и танцовщики, исполняя сис де воле, гран-жете, словом, любой прыжок, делали его либо «с баллоном», либо без. То есть либо они умели при прыжке, как с парашютом, зависать и парить в воздухе, либо им не удавалось заставить зрителя усомниться в законе всемирного тяготения. Тогда, уже пятиклассником, мне запомнилась чья-то фраза: «У этого нового первого солиста такой затянутый прыжок, хоть записывай». С тех пор я все подобные, искусно затянутые прыжки так и называю: прыжок хоть записывай. Если бы я это умел: записывать прыжки!

Дорогая кузина!

Наш классный руководитель, старший преподаватель Брунис не ограничивался тем, что вместо семнадцатистрочной монотонно побрякивающей баллады разучивал с нами азы балета; он растолковывал нам и более сложные вещи — например, сколько всего буквально поставлено на кон, когда балерине удается на протяжении всего лишь одного-единственного пируэта действительно безупречно устоять на самых кончиках пальцев.

А как-то раз — не помню, то ли мы все еще топтались вокруг восточных готов, то ли варвары уже двинулись в поход на Рим, — он принес в нашу классную комнату Йеннины серебряные балетные туфельки. Сперва он напустил на себя таинственность: стоя за кафедрой, низко пригнул свою кудлатую голову, спрятав все свои многочисленные морщины за этой серебристой парочкой. Потом, не показывая рук, он поставил обе туфельки на мыски. Старческим голосом напевая фрагмент сюиты из «Щелкунчика», он на крохотном пятачке между чернильницей и жестянкой со своими бутербродами заставил эти туфельки продемонстрировать нам все па и фигуры на мысках: маленькие батманы сюр ле ку-де-пье.

Когда представление было окончено, он с таинственной миной в обрамлении все тех же серебряных туфелек сообщил нам, что, с одной стороны, туфельки эти и по сей день остаются изощреннейшим орудием пытки, с другой же — это единственный вид обуви, в которой девушка еще при жизни способна подняться на небо.

После чего он в сопровождении старосты класса пустил туфельки Йенни по партам — ибо эти туфельки много для нас значили. Не то чтобы мы их целовали, нет. Мы их даже и не гладили почти, только смотрели на их выстраданный серебристый блеск, трогали их стертые, бессеребряные мысочки, рассеянно играли серебряными тесемками и приписывали туфелькам чудодейственную силу: это они захотели и смогли превратить нескладную толстушку в эфемерное, невесомое создание, которое теперь, благодаря их волшебству, в любой день того и гляди взойдет на небо. Эти туфельки виделись нам в томительных снах. Тому, кто слишком сильно любил маму, грезилось ночами, как она в балетной тунике на мысочках вплывает в его спальню. Кто был влюблен в красавицу с киноафиши, мечтал увидеть наконец фильм с Лиль Даговер, танцующей на пуантах. Католики из нашего класса простаивали перед алтарями Марии в тайной надежде, не соблаговолит ли Пресвятая Дева сменить свои традиционные сандалии на Йеннины балетные туфельки.

И только я один знал, что преобразили Йенни вовсе не туфельки. Я же был очевидцем: Йеннино, как и Эдди Амзеля, чудесное похудание свершилось при по-

мощи обыкновенного снеговика. Они просто скукожились, сели, как одежда при стирке, вот и все!

Дорогая кузина!

Наши семьи, да и все соседи, хоть и дивились столь внезапному и очевидному преображению такой маленькой — еще и одиннадцати нет — девчушки, однако дивились как-то удовлетворенно, кивая в знак согласия головами, будто бы весь свет только того и ждал, только о том и молился, чтобы свершилось Йеннино снежное превращение, а они теперь его могли одобрить. Ровно в четверть пятого пополудни Йенни каждый день выходила из Акционерного дома, что стоял наискосок против нашего, и ладной походкой, высоко держа маленькую головку на стебельке шеи, направлялась вверх по Эльзенской улице. Казалось, ноги ее идут сами, отдельно от точеного туловища. Многие соседки об эту пору прилипали к окнам с видом на улицу. Завидев Йенни из-за своих гераней и кактусов, они умиротворенно изрекали:

— Ну вот, Йенни на балет пошла.

Когда моя мать, по каким-нибудь домохозяйственным причинам или просто заболтавшись на площадке с соседками, на минуту-другую к Йеннину выходу опаздывала, я слышал, как она бурчит:

— Опять я эту Йенни, Брунисову дочку, упустила. Ну ничего, завтра будильник на четверть пятого поставлю, нет, даже чуток пораньше.

Вид Йенни трогал мою мать почти до слез:

— Какая она стала былиночка, какая лапушка, просто чудо.

При этом Тулла была такая же тоненькая, впрочем, нет, совсем не такая. В сорняковой Туллиной худобе было нечто устрашающее. Йеннина же фигурка скорее настраивала на задумчивый лад.

Дорогая кузина!

Наши походы в школу постепенно сформировались в весьма необычную процессию. Дело в том, что до самой Новой Шотландии мне и ученицам школы имени Хелены Ланге было по пути. На площади Макса Хальбе я сворачивал направо, а девочки отправлялись дальше по Медвежьему переулку. Поскольку Тулла специально ждала в парадном и меня заставляла ждать, покуда Йенни не выйдет из своего подъезда, Йенни получала фору: она шла в пятнадцати, иногда даже в десяти шагах перед нами. Причем мы, все трое, старались держать эту дистанцию. Если у Йенни развязывался шнурок на ботинке, Тулле тоже приходилось завязывать шнурок заново. Прежде чем свернуть вправо, я останавливался на площади Макса Хальбе за афишной тумбой и провожал обеих глазами: Тулла по-прежнему шла следом за Йенни. Но это никогда не выглядело упорным преследованием, охотой, травлей. Скорее было отчетливо видно другое: Тулла хоть и не отстает от этой ладной, аккуратно вышагивающей девчушки, однако и нагонять ее не хочет. Иногда по утрам, в лучах низкого еще солнца, когда силуэт Йенни отбрасывал на дорогу длинную стреловидную тень, Тулла, стараясь своей тенью врасти в тень Йенни, каждый новый свой шаг впечатывала в тенистый контур Йенниной головы.

Тулла поставила себе задачу следовать за Йенни по пятам не только по пути в школу. И в четверть пятого, когда соседи удовлетворенно говорили: «Ну вот, Йенни на балет пошла», — она крадучись выскальзывала из подъезда и не отставала.

Поначалу Тулла провожала Йенни только до трамвайной остановки, а когда трамвай со звоном трогался в сторону Оливы, поворачивалась и уходила домой. Потом она начала тратить деньги на трамвай, забирая у меня мои карманные гроши. Тулла никогда не брала в долг, просто забирала, и все. И в кухонный шкаф мамаши Покрифке дочка лазила без всякого спросу. Так же, как и Йенни, она ездит-

ла во втором вагоне, только Тулла стояла на задней, а Йенни на передней площадке. Вдоль ограды Оливского замкового парка они шли связкой на привычной дистанции, которая только в узком Шиповниковом переулке чуть сокращалась. А потом Тулла целый час стояла под эмалированной вывеской «Балетмейстер Лара Бок-Федорова», и ни одна прошмыгнувшая мимо кошка не могла сдвинуть ее с места. По окончании балетного урока она, с замкнутым лицом, пропускала мимо себя стайку щебечущих балетных цапель с болтающимися через плечо спортивными сумками. Все девочки при ходьбе ставили ступни слегка навыворот и несли свои миниатюрные, такие маленькие головки на стебельках шеи — казалось, им нужны подпорки. На один вдох, хотя был май, Шиповниковый переулок переставал благоухать шиповником, а пахнул мелом и кислым потом. И лишь когда из садовой калитки в сопровождении пианиста Фельзнер-Имбса появлялась Йенни, Тулла, отпустив обоих на положенное расстояние, трогалась с места.

Что за трио: согнутый крючком Имбс в гамашевых ботинках и девочка с русой косой, закрученной узлом на затылке, — всегда впереди; Тулла, в некотором отдалении, позади. Фельзнер-Имбс нет-нет да и оглянется. Йенни не оглядывается никогда. А взгляд пианиста Тулла выдерживает.

Имбс замедляет шаг и на ходу срывает цветущую веточку боярышника. Он вставляет ветку Йенни в волосы. Тогда Тулла тоже обламывает веточку боярышника, но в волосы не вставляет, а, ускорив шаги и сократив дистанцию, выбрасывает ветку в чей-то сад, где боярышник не растет.

Но вот Фельзнер-Имбс останавливается — останавливается Йенни, останавливается и Тулла. Йенни и Тулла не трогаются с места, а пианист, с устрашающей решимостью повернувшись, проходит десять шагов назад, вскидывает, подойдя, правую руку, встряхивает своей артистической гривой и, указуя своим тонким музыкальным перстом в направлении замкового парка, возвещает:

— Ты когда-нибудь оставишь нас в покое? Тебе что, уроков не задают? Марш отсюда! Мы не желаем тебя больше видеть!

После чего, в сердцах развернувшись, ибо Тулла ничего ему не отвечает и персту, указующему на ограды замкового парка, тоже не подчиняется, снова подходит к Йенни. Но пока что в путь не трогается, поскольку волосы пианиста во время этой краткой проповеди слегка растрепались и требуют щетки. Вот теперь они уложены правильно. Фельзнер-Имбс делает шаг. Балетной поступью голубки трогается с места Йенни. За ними, на отдалении, Тулла. Все трое приближаются к трамвайной остановке напротив главного входа в замковый парк.

Дорогая кузина!

Вид вашей пары сеял вокруг легкое смятение. Прохожие старались не встревать в промежуток между Йенни и Туллой. На оживленных улицах две идущих гуськом девочки смотрелись странно. Благодаря этой неукоснительной, хотя и незримой сцепке, вам даже в толчее главной торговой улицы удавалось пробивать бродячую брешь.

Отправляясь следом за Йенни, Тулла никогда не брала с собой нашего Харраса. Но я, конечно же, старался примкнуть к обеим, выходил, как и по дороге в школу, вместе с Туллой из дому и рядом с ней шел вверх по Эльзенской улице вслед за моцартовской косичкой узлом. В июне солнце особенно красиво освещает улицу между старыми доходными домами. На мосту через Штрисбах я отделяюсь от Туллы и, быстрым шагом нагнав Йенни, пристраиваюсь с левой стороны. То был год майских жуков. Они возбужденно барражировали в воздухе и, как безумные, барахтались брюшком вверх на тротуарах. Каких-то давили мы, каких-то раздавили до нас. К подошвам наших школьных ботинок то и дело липли бренные останки зазевавшихся майских жуков. Шагая рядом с Йенни — она старается на жуков не наступать, — я прошу дать мне понести ее сумку. Она отдает: под легкой, воздушно-го-

лубой материей явственно выделяются мысочки балетных туфель. За Малокузнечным парком — голуби в каштанах обжираются майскими жуками — я замедляю шаги, покуда не оказываюсь, с Йенниной сумкой на плече, рядом с Туллой. За подземным переходом под железной дорогой, среди пустых прилавков воскресного рынка, на мокрой мостовой, под дружное шкрябанье дворницких метел Тулла просит меня дать ей понести Йеннину сумку. Поскольку Йенни никогда не оборачивается, я разрешаю Тулле нести Йеннину сумку до Главной улицы. Перед кинотеатром Йенни останавливается перед витриной с кадрами из фильма, на которых в белом халате врача запечатлена киноактриса с необычным широкоскулым лицом. Мы рассматриваем фотографии в соседней витрине «Скоро на экране» — маленький человечек, шесть разных ухмылок. Незадолго до трамвайной остановки я снова беру Йеннину сумку, вскидываю на плечо и вместе с Йенни влезаю в задний вагон трамвая на Оливу. Пока мы едем, майские жуки с треском шмякаются в лобовое стекло на нашей передней площадке. После остановки «Белый агнец» я вместе с сумкой временно покидаю Йенни и иду на заднюю площадку проведать Туллу, но сумку ей уже не отдаю. Я покупаю ей билет — в ту пору я наловчился зарабатывать на карманные расходы, продавая лучину на растопку из отцовской мастерской. После остановки «Мирослом», когда я снова наведываюсь к Йенни, я готов заплатить и за нее, но она показывает мне месячный проездной билет.

Дорогая кузина!

Еще во время летних каникул стало известно, что господин Штернэк, балетмейстер городского театра, принял Йенни в детскую балетную труппу. Она будет танцевать в рождественском представлении-сказке, репетиции уже начались. Пьеса называется «Снежная королева», и Йенни, как можно было прочесть в «Форпосте» да и в «Последних новостях», будет исполнять партию Снежной королевы, поскольку роль эта не драматическая, а танцевальная.

Так что Йенни теперь ездила не двойкой до Оливы, а садилась на пятерку и ехала до Угольного рынка, где и находился городской театр, вид коего с каланчи замечательно описал в своей книге господин Мацерат.

Мне теперь приходилось тайком нарезать и продавать гораздо больше растопочной лучины, чтобы наскрести для нас с Туллой денег на трамвай. Отец мне эту коммерцию строго-настрого запретил, но машинный мастер меня не выдавал. Както раз я опоздал и, торопливо стуча каблуками по брусчатке Лабского проезда, нагнал обеих девочек уже только неподалеку от площади Макса Хальбе. И тут выяснилось, что меня уже опередили: сын торговца колониальными товарами, маленький и коренастый шкет, вышагивал то рядом с Туллой, то рядом с Йенни. А иногда делал то, на что обычно почти никто не отваживался: смело втискивался в безлюдный промежуток между ними обеими. Но рядом ли с Туллой, рядом ли с Йенни или между ними — он неизменно выставлял вперед висевший у него на пузе детский жестяной барабан. И гремел на нем гораздо громче, чем это нужно для маршевого сопровождения двух худеньких девочек. Поговаривали, что у него вроде бы недавно мать умерла. Рыбой отравилась. Красивая была женщина.

Дорогая кузина!

Лишь к концу лета я услышал, как ты с Йенни разговариваешь. Всю весну и почти все лето разговоры тебе заменял Йеннин мешочек с балетными принадлежностями, переходивший из рук в руки. Или майские жуки, на которых Йенни старалась не наступать и которых ты давила с остервенением. Ну еще я или Фельзнер-Имбс, передававшие или бросавшие иногда через плечо одно-два словечка.

Но однажды, когда Йенни вышла из дома, Тулла преградила ей дорогу и сказала, обращаясь скорее к кому-то у Йенни за плечом, чем к самой Йенни:

— Можно мне понести твой мешочек, где у тебя туфли серебряные?

Йенни без слов и тоже глядя куда-то мимо Туллы вручила ей мешочек. Тулла мешочек понесла. Но отнюдь не в том смысле, что она пошла с Йенни рядом, неся ее мешочек, нет, она по-прежнему держалась на расстоянии и, когда мы на двойке поехали в Оливу, стояла с Йенниным мешочком на задней площадке. Мне было дозволено заплатить за билет, но во мне не нуждались. Лишь перед самым подъездом балетной школы в Шиповниковом переулке Тулла вернула Йенни мешочек, вымолвив «спасибо».

Так продолжалось до самой осени. Ни разу я не видел, чтобы Тулла несла Йеннин школьный ранец, только балетный мешочек. От меня она узнавала, когда у Йенни занятия, когда репетиции. Становилась перед Акционерным домом, разрешения уже не спрашивала, молча протягивала руку, просовывала ее в петлю тесемки, несла мешочек и сохраняла неизменную дистанцию.

У Йенни было много балетных сумок: луково-зеленая, закатно-алая, воздушно-голубая, гвоздично-коричневая и даже горохово-желтая. Она все эти цвета меняла как вздумается. Когда в один из октябрьских дней Йенни вышла из балетной школы, Тулла сказала, уже не глядя мимо Йенни:

— Хочу на туфли посмотреть, правда ли они серебряные.

Фельзнер-Имбс был против, но Йенни кивнула и, мягко взглянув на пианиста, так же мягко отвела его руку. Тулла вытащила из горохово-желтого мешочка балетные туфли, сложенные вместе и аккуратно перевязанные собственными тесемками. Тулла не стала их развязывать, подняла, держа на раскрытых ладонях, на уровень глаз, ощупала их своим раскосым взглядом от задников пятки до жестких мысков, проверила, так сказать, содержимость в туфлях серебра и сочла, хотя туфельки были станцованные и невзрачные, что они серебряные достаточно. Йенни подставила раскрытый мешочек, и Тулла опустила туфельки в его желтое нутро.

За три дня до премьеры, в конце ноября, Йенни впервые заговорила с Туллой. В изящном драповом пальтишке она вышла из служебного подъезда городского театра, и на сей раз Имбс ее не сопровождал. Она подошла к Тулле почти вплотную и, протягивая ей свой луково-зеленый мешочек, сказала, даже не слишком отводя глаза в сторону:

— А я теперь знаю, как зовут того железного человека в Йешкентальском лесу.

— У него в книге и еще кое-что написано, я тебе не все сказала.

Йенни не терпится обнаружить свои познания.

— И зовут его вовсе не Гутенгрех, его имя Иоганн Гутенберг.

— В книге написано, что ты здоровски будешь танцевать и все на тебя смотреть будут.

Йенни кивает.

— Может, так и будет, но вообще-то Иоганн Гутенберг в городе Майнце изобрел книгопечатание.

— Ну вот, я же говорю. Он все знает.

Однако Йенни знает еще больше:

— И уже в тысяча четыреста шестьдесят восьмом году он умер.

Но Туллу уже интересует другое:

— А сколько ты весишь?

Йенни отвечает очень точно:

— Два дня назад я весила шестьдесят семь фунтов двести тридцать граммов. А сколько весишь ты?

Тулла в фунтах разбирается плохо, но врет без запинки:

— Шестьдесят шесть фунтов девятьсот девяносто грамм.

Йенни:

— В туфлях?

Тулла:

— В спортивных тапочках.

Йенни:

— А я без туфель, только в трико.

Тулла:

— Значит, мы весим одинаково.

Йенни радуется:

— Да, примерно одинаково. А Гутенберга я уже не боюсь и никогда бояться не буду. Вот два билета на премьеру, для тебя и для Харри, если, конечно, вам захочется.

Тулла берет билеты. Подъезжает трамвай. Теперь и Тулла входит в переднюю дверь. Я-то само собой. На площади Макса Хальбе первой выходит Йенни, за ней Тулла, следом я. По Лабскому проезду обе девочки впервые идут не гуськом, а рядом и выглядят как подружки. Мне дозволено тащить за ними зеленый балетный мешочек.

Дорогая кузина!

Согласись, для Йенни премьера была просто триумфом. Она чисто исполнила два пируэта и отважилась на па-де-баск, перед которым даже опытные балерины трясутся. Выворотность у нее была замечательная. Она танцевала с такой душой, что казалось, сцена ей мала. А когда прыгала, прыжки были «хоть записывай», то есть «с баллоном». И даже небезупречный подъем почти не бросался в глаза.

Она появилась Снежной королевой, в серебристом трико, ледово-серебристой короне и в прозрачной серебристой мантии, которая символизировала мороз: все, к чему бы Йенни ни прикоснулась, мгновенно обращалось в лед. С ее появлением на сцене воцарялась зима. Каждый ее выход предварялся музыкальным перезвоном сосулек. Кордебалет, состоявший из снежинок и трех потешных снеговиков, беспрекословно подчинялся ее звонко-леденящим приказам.

Сюжет мне запомнился смутно. Но во всех трех действиях появлялся говорящий Благородный олень. Ему надлежало волочить зеркальный возок, в котором на снежных подушках восседала Снежная королева. Благородный олень говорил стихами, мог мчаться быстрее ветра и возвещал приближение Снежной королевы звоном своих серебряных бубенчиков из-за кулис.

Благородного оленя, как явствовало из программки, играл Вальтер Матерн. Это была его первая серьезная роль. Поговаривали, что вскоре после этой премьеры ему был предложен ангажемент в Шверине, в тамошнем городском театре. Благородного оленя он играл очень неплохо и на следующий день одобрительно упоминался в рецензиях. Но как главную героиню и истинное открытие обе газеты расхваливали Йенни. Один из критиков даже написал, что Снежная королева в исполнении Йенни, будь ее воля, могла бы погрузить в вечную мерзлоту партер, амфитеатр и ложи.

Я хлопал так, что все ладоши отбил. Тулла по окончании спектакля не хлопала. Программку она сложила малюсеньким конвертиком и во время последнего действия съела. Старший преподаватель Брунис, сидевший рядом со мной среди прочих балетоманов нашего класса, на протяжении трех действий и одного антракта высосал целый кулек мятных леденцов.

После того как семнадцать раз дали занавес, Фельзнер-Имбс, старший преподаватель Брунис и я остались ждать Йенни у дверей ее артистической уборной. Тулла к этому времени уже ушла.

Дорогая Тулла!

Тот актер, что сыграл Благородного оленя и умел бить «свечи» в лапту и коварные резаные удары кулачным мячом, тот актер и спортсмен, что играл в хоккей на траве и двенадцать минут продержался в воздухе на планере, тот актер и планерист, что чуть не каждый вечер появлялся об руку с разными дамами, причем у всех

дам вид был одинаково потрепанный и несчастный, тот актер и любовник, что раздавал красные листовки, методично и без разбора читал дешевые книжонки, детективы и введение в метафизику вперемешку, тот, чей отец был мельником и умел пророчить, чьи средневековые предки носили фамилию Матерна и были все отчаянные смутьяны, тот рослый и без толку умствующий, крепко сбитый и трагический, коротко стриженный и немузыкальный, любящий лирику, одинокий и практически здоровый актер и боец штурмового отряда, тот командир отделения, которого после успешной январской операции произвели в командиры взвода, тот актер, спортсмен, любовник, метафизик и командир взвода, который при всяком удобном и неудобном случае скрипел и скрежетал зубами, то есть недвусмысленно и с максимально возможной внятностью задавал последние вопросы бытию, тот Скрыпун, что мечтал сыграть Отелло, а вынужден был играть Благородного оленя в спектакле, где Йенни танцевала заглавную партию,— этот штурмовик, Скрыпун и актер, прежде чем он был взят на амплуа героя-любовника в шверинский городской театр, по многим и разным причинам стал припадать к бутылке.

А вот Эдди Амзель, вошедший в снеговика, чтобы выйти оттуда Германом Зайцингером, пьяницей не стал; зато он начал курить.

А знаешь, почему Амзель-дрозд назвался Зайцингером, а не Сойкелем, Зябелем или, допустим, Скворцнером? Меня эти толкования имен давно занимали — весь тот год, что вы порознь в связке ходили, я с этим вопросом, можно сказать, засыпал. Пока не почувствовал: Эдди Амзель сменил имя; и тогда я нанес отсутствующему хозяину пустующей — быть может, ввиду долгосрочности договора и по сей день Амзеля ждущей — виллы в проезде Стеффенса, возможно, взаправдашний, а если нет, то уж вне всяких сомнений воображаемый визит. Вероятно, Вальтер Матерн, все еще, надо надеяться, привязанный к своей квартире жилец, только-только вышел из дома — будем считать, что у него в тот вечер был спектакль, — как я проник, допустим, из сада через веранду, в бывшую мастерскую Амзеля. Больше двух стекол мне выдавить не пришлось. По всей вероятности, у меня был с собой карманный фонарик. То, что я искал, можно было найти только в ренессансном пульте, где я это и нашел, или мог бы найти: важные бумаги. Надо мной по-прежнему висели амзелевские пугала — прошлогодние его изделия. Насколько я себя знаю, я не испугался их причудливых теней, а если испугался, то не слишком. Бумаги оказались черновыми записями, сделанными наспех крупным и небрежным почерком, и словно специально меня ждали: тут были заметки и много-много имен. На одной странице Амзель, отталкиваясь, вероятно, от степной куропатки, попытался соорудить себе имя от слова «степь»: Степун, Степпун, Степутат, Степиус, Степпат, Степотайт, Степановский, Стоппка, Стеффен. Когда он отбросил «степь», ибо блуждания по ней подозрительно близко подвели его к созвучиям с проездом Стеффенса, откуда ему столь скоропалительно пришлось удирать, мысли его, по ассоциации с «дроздом», обратились, похоже, к другим пернатым: от степной дрофы — Дроф, Дрофер, Дроферман, Дрофский — к горным куропаткам — Кеклик, Кеклицер, Кеглицер, Кекель и Кегельман, — а от них к водоплавающим — Кряк-нер, Кряклер, потом вдруг Селезнер, Селезневский и даже Селезман. За этой, в целом не слишком удачной серией последовала необычная разработка дня недели: Суботица, Суботитц, Суботтау, Соботинский, Сабат, Сабаттер, Шобот, Слобод, потом вдруг Хлобод и Хлопотт. Это ему тоже не показалось. Вариацию Розин, Роззен, Розенат он развивать не стал. Вероятно, затем он решил искать по контрасту к первой букве алфавита в фамилии Амзель и открыл ряд Янгером, Яхелем, Якобсом, нанизал на него Яхмана и Яхнера, прицепил к ним Ямзнера, Яцнера, Якельшписа и Якельштока, но на красивой фамилии Якленский эту затею тоже оставил. Попутные восклицания типа: «Новое имя и новые зубы дороже золота!», «Будет новое имя — будут и новые зубы!» — ясно показали мне, маловероятному, но все же чаемому соглядатаю, как тяжело ему было найти себе другое и тем не менее правильное, подходящее имя. Наконец, между двумя незавершенными попытками

оттолкнуться от Кризун-Кризин и Крупат-Крупкат, я нашел, отдельной строчкой и подчеркнутую, одиноко стоящую фамилию. Никакие разработки ей не предшествовали. Она словно из воздуха на бумагу выпрыгнула. Она подкупала своей игривой и бессмысленной естественностью. Необычная, но есть в любом телефонном справочнике. Напоминает, конечно, петляющего зайца и уж никак не падающего камнем коршуна. В то же время славянский корень наводит на мысль о возможном русском или прибалтийском происхождении. Артистическая фамилия. Фамилия для агента. Фамилия-кличка. Не бывает случайных фамилий, как и имен. Они прилипчивы. Их носят. Они значимы.

Вот так, с фамилией Зайцингер в сердце, я покинул дубовую мастерскую Эдди Амзеля. Готов поклясться: никто про это не разнюхал, пока я не пришел и не выдавил пару стекол. А пугала под потолком пусть и дальше хранят в своих карманах нафталиновые шарики. Неужто это Вальтер Матерн решил уподобиться образцовой домохозяйке и уберечь наследие Амзеля от распада и тлена?

Надо было мне эти бумаги с собой забрать, пригодились бы потом как доказательство.

Дорогая Тулла!

Тот актер, которого иногда еще в школе, а уж в штурмовом отряде сплошь и рядом называли Скрыпуном — «Скрыпун уже тут? Скрыпун еще с тремя людьми пусть прикроет остановку, пока мы Мирхауэрский проезд от синагоги прочешем. Скрыпун пусть три раза громко проскрипит, как только из жидовской общины выйдет», — вот этот многогранный, нарасхват всем нужный Скрыпун весьма продвинулся в своем зубоскрежещущем искусстве благодаря тому, что стал не время от времени, как прежде, а то и дело и систематически прикладываться к бутылке: он, что называется, не просыхал, пил даже без рюмки и завтрак начинал с хорошего глотка можжевеловки.

Тут-то его из штурмовиков и турнули. Но выперли его, понятное дело, не за то, что пил, — там все закладывали дай бог, — а за то, что по пьянке стал поворовывать. Сперва командир отряда Йохен Завацкий как-то его прикрывал, все-таки они были друзьями, не раз плечом к плечу насмерть стояли у стойки и одной бодягой накачивались. И только когда в лангфурском отряде «Штурм-84» стало нарастать возмущение, Завацкий устроил суд чести. Семь человек, все надежные люди, младший офицерский состав, уличили Матерна в растрате из кассы взвода. Свидетели показали, что он сам в подпитии этим подвигом похвалялся. Называли и сумму — триста пятьдесят гульденов. Именно столько Матерн растратил, ублажая себя и товарищей можжевеловкой. Тут Завацкий встрял и заявил, мол, под мухой всякое на себя наговорить можно, это еще ничего не доказывает. Но Матерн взвился: дескать, им ли его попрекать — «Да если б не я, вам бы этого Брилля на Лысой горе ни в жисть не словить!» — и вообще стыдиться ему нечего:

— Да к тому же ведь все вы, все поголовно, со мной вместе и надирались. Так что ничего я не крал, просто настроение поддерживал.

Пришлось Йохену Завацкому произнести одну из своих кратких и выразительных речей. Он, говорят, даже слезу пустил, пока Вальтера Матерна доканывал. То и дело про дружбу поминал:

— Но такого паскудства я в своем отряде не потерплю! Когда твой лучший товарищ протратился — это, конечно, всем нам тяжело видеть. Но у своих же ребят тырить — это распоследнее дело. Такое не смыть ни стиральным порошком, ни ядровым мылом.

После чего, обняв Вальтера Матерна за плечи и со слезой в голосе, посоветовал ему без лишнего шума испариться. Пусть, мол, едет в Рейх и вступает там в СС.

— Из моего отряда ты отчислен, но отсюдова, — говорил он, указывая на сердце, — отсюдова никогда.

После чего они — все те же девять человек в штатском — нанесли визит в «Малокузнечный парк». Без масок и без утепленных плащей оккупировали стойку. Опрокидывали в себя пиво и водку, закусывали нерезаной кровяной колбасой. Затянули «Был у меня товарищ...». Матерн бормотал загадочные вирши и что-то каркал о сущностях бездны. Почти всегда кто-то один из девятерых был в туалете. Но не сидела на высоком табурете у стойки тощая, словно отрывной календарь в конце года, Тулла. Не смотрела угрюмым, прилипшим взглядом на дверь туалета — так что и ресторанного побоища в тот раз не случилось.

Дорогая Тулла!

Вальтер Матерн не уехал в Рейх: сезон продолжался, «Снежная королева» до конца февраля оставалась в репертуаре, а вместе со Снежной королевой должен был появляться на сцене и Благородный олень. Так что и членом СС Вальтер Матерн не стал, а стал зато тем, о чем напрочь забыл, но кем был по крещению, то есть католиком. И помогло ему в этом пьянство. В мае тридцать восьмого — шла уже пьеса Биллингера «Гигант», на Матерна, который играл сына Донаты Опферкух, то и дело налагали денежные штрафы за явку на репетицию в нетрезвом виде, — дожидаясь конца сезона, он околачивался на острове, в портовом предместье и на Соломенной дамбе. Кто его видел, не мог его и не слышать. На набережных и между портовыми складами он не только выдавал свой коронный зубовный скрежет, он еще и цитировал во весь голос. Лишь сейчас, основательно покопавшись в книгах, я худо-бедно разобрался, из каких кладезей он черпал: литургические тексты, феноменологию в лыжной шапочке, а также ершистые светские стихи он перемешивал в немыслимый салат, сдабривая все это самой дешевой можжевеловкой. В особенности стихи — я иной раз бродил за ним по пятам — легкими шариками звука западали в мой слух и запоминались: то лемуры сидели на плоту, то говорилось что-то о хламе и вакханалиях. А как мучила меня, любознательного отрока, загадочная левкоевая волна! Матерн читал с нажимом. Портовые рабочие, люди вполне добродушные, когда не надо при боковом ветре грузить фанеру, с интересом слушали: «...уже так поздно». Грузчики кивали. «О ты, душа, прогнившая дотла...» Они сочувственно хлопали его по плечу, за что он благодарил их новыми строками: «О, братское счастье, где Каин и Авель, которых вел Бог, во облацех паря, каузально-генетическое, выше всех правил — позднее Я».

В ту пору я разве что про Каина и Авеля смутно понимал. Я трусил за ним по пятам, а он болтался — во рту сплошь «морги», «брошенность», «Dies irae, dies illa»[1] — под кранами Соломенной дамбы. И вот там-то, на фоне Клавиттерской верфи, в туманном дыхании Мотлавы, ему явилась Дева Мария.

Он сидит на причальной тумбе и уже несколько раз посылал меня домой. Но я не хочу идти ужинать. К его тумбе, как и к другим, на которых никто не сидит, пришвартован шведский сухогруз среднего водоизмещения. Ночь неуютная, под торопливыми облаками, поэтому сон у сухогруза беспокойный, Мотлава его все время тянет и дергает. Все тросы, которыми швед привязан к тумбам, скрипят и скрежещут. Но Матерн хочет, чтобы громче. Позднее Я, все брошенности и поминальные песнопения выплюнуты и позабыты, он теперь тягается с тросами. В штормовке и бриджах, он сидит, как пришитый, на причальной тумбе, скрежещет, поднося бутылку ко рту, продолжает скрежетать, как только горлышко бутылки освободится, и зубы его немеют от скрежета все больше.

Он сидит в самом дальнем конце Соломенной дамбы, на Польском мыске, где Мотлава сливается с Мертвой Вислой. Паром из Молочного Петера, от Шуитских мостков, переправил сюда его, меня и рабочих-корабелов с верфи. На пароме, да нет, уже по пути, на Лисьем и Якобовом валу, мимо газозаправки, он начал зубами, но только тут, на причале, он напивается и скрежещет до состояния «Tuba mirum

[1] «День гнева, этот день...» (*лат.*).

spargens sonum» — «Труб божественных звучанья». Низко осевший швед помогает как может. Мотлава тянет, дергает и смешивается с вялым истоком Мертвой Вислы. Верфи тоже подтягивают, у них ночная смена — прямо за спиной у него Клавиттерская верфь, за ней Молочный Петер, чуть дальше верфь Шихау, а за ней вагоностроительный завод. Помогают и облака — тем, что вгрызаются друг в дружку. Помогаю и я, потому что ему нужны слушатели.

А уж по этой части — ходить хвостом, любопытствовать, слушать — я всегда был дока.

Сейчас, когда заклепочные молотки смолкли, разом на всех верфях взяв короткую передышку, слышно только матерновские зубы и сварливого шведа, пока изменившийся ветер не доносит от Заложного рва другие звуки: там по Английской дамбе гонят убойную и племенную скотину. Хлебопекарная фабрика «Германия» ведет себя тихо, но сияет окнами всех трех своих этажей. Матерн управился с бутылкой. Швед покачивается. У меня, притаившегося на площадке товарного вагона, сна ни в одном глазу. Соломенная дамба со всеми своими складами и амбарами, пристанями и грузовыми кранами взбегает прямо к бастиону Буланый. Он, похоже, скрежещет уже напоследок и к тросам больше не прислушивается. Что же тогда он слышит, если даже заклепочных молотков не слышно? Осипших коров, интеллигентных свиней? А может, ангелов? «Liber scriptus proferetur» — чтение по писаному. Что он прочтет — сигнальные огни, бортовые огни, строчку за строчкой? Пустится в «Нетие» или начнет напирать на концевые рифмы: «Послерозие», «Плот лемуров», «Восточные осыпи», «Баркаролы», «Аид прибывает», «Морг», «Плато инков», «Замок луны»? Без нее, конечно, тоже не обошлось, вон сияет, все еще остренькая, как после второго бритья. Скользит по свинцовоплавильне и насосной станции, лижет городские соляные склады, брызгает сбоку на вырезные картинки Старого города, Перечного города, Нового города — на церкви Святой Катарины, Святого Варфоломея, Девы Марии, — покуда вдруг, в подсвеченном луной покрове, не появляется Она. Ясное дело, она переправилась паромом из Брабанка. От фонаря к фонарю плывет она вверх по Соломенной дамбе, то и дело исчезая за журавлиными кранами на набережной, парит над рельсами сортировочной горки, снова обозначается под фонарем — и он все ближе приманивает ее скрежетом зубовным к своей тумбе:

— Приветствую Тебя!

Но когда она повисает прямо перед ним, источая свет из-под покрова, он и не думает вставать, а по-прежнему сидит на тумбе и бормочет:

— Послушай, скажи-ка мне. Ну что тут поделаешь? Устала небось меня искать, понимаю... Поэтому, Мария, слушай меня: Ты знаешь, куда он делся? Я Тебя приветствую, но Ты мне скажи, как тут быть, потому что это все его цинизм, который я терпеть не мог: ничего святого для него не было, в этом все дело. Мы же только проучить его хотели: «Confutatis maledictis»...[1] А теперь вот его нет, оставил мне все свои тряпки. Я их нафталином переложил, я, представляешь? Я своими руками всю эту проклятую рвань перебрал и занафталинил! Да ты присядь, Мария. Насчет денег из кассы, тут все правильно, но он-то куда делся? Может, в Швецию? Или в Швейцарию, где у него монеты лежат? Или в Париж, самое для него место? А может, в Голландию? За океан? Да сядь же Ты, наконец: царства слез настанет время... Еще пацаном — Господи, какой же он был толстый! — вечно эти крайности: однажды хотел череп забрать из-под церкви Святой Троицы. И над всем хотел потешаться, и все время этот Вайнингер, вот мы его и это... Где он? Я должен! Скажи мне, где? Приветствую Тебя. Но только если Ты... Гляди, на хлебопекарне «Германия» ночная смена. Ты видишь? А кто, спрашивается, будет есть все эти хлебы? Скажи мне. Да нет, это не заклепочные молотки, это так. Садись. Где?

---

[1] Отвергнув злодеев (*лат.*).

Но светящийся покров садиться не желает. Стоя, вернее, паря на вершок над мостовой, молвит Дева таковы слова:

— Dona eis requiem[1]: скоро тебе станет легче. В истинной вере преобразишься и будешь играть в Шверине в театре. Но прежде, чем ты в Шверин наладишься, встанет у тебя на пути пес. Не убойся.

Он, сидя на тумбе, все хочет знать в точности:

— Черный пес?

Она, в покрове, зависая, как «с баллоном»:

— Адский пес.

Он, все еще пригвожденный к тумбе:

— Пес столярных дел мастера?

Она, поучающим тоном:

— Как может принадлежать столярных дел мастеру пес, вверенный аду и самим Сатаной натасканный?

Он, припоминая:

— Эдди вообще-то называл его Плутоном, но в шутку.

Она, воздевая перст:

— Он встанет у тебя на пути.

Он, пытаясь увильнуть:

— Нашли на него чумку.

Она, наставительно:

— Яд можно достать в любой аптеке.

Он, вступая на путь шантажа:

— Но сперва Ты мне скажешь, куда Эдди...

Но ее последнее слово гласит:

— Аминь.

Я, притаившись на площадке товарного вагона, знаю больше, чем оба они, вместе взятые: Эдди Амзель теперь курит сигареты и отзывается на совсем другое имя.

Дорогая Тулла!

По всей вероятности, Дева Мария, отправляясь домой, села на паром в сторону к Молочному Петеру, на причале возле газозаправки; а Вальтер Матерн вместе со мной переправлялся у Брабанка. Одно ясно: он стал еще большим католиком, чем раньше, — даже дешевый вермут начал пить, потому как ни обычная водка, ни можжевеловка его уже не забирали. Скрежеща липкими от сладкого пойла зубами, он еще несколько раз приманил Пресвятую Деву на разговорную дистанцию — на острове, потом среди деревянных сараев, что тянутся по обе стороны Брайтенбахского моста, или, как обычно, на Соломенной дамбе. Только вряд ли они что-то новое обсуждали. Он, конечно, хотел разузнать, куда кое-кто подевался, а она натравливала его на псину.

— Раньше-то вороний глаз для этого брали, а сейчас взять вот хоть аптекаря Грёнке на Новом рынке — у него в аптеке яды на любой вкус: подкормочные, наркотические, септические. К примеру, Ас-два О-три, белый, кристаллический порошок, добывается из сульфидных руд, одноосновная арсениевая кислота, короче — мышьяк, крысиный яд, но если подсыпать не скупясь, то прикончит и собаку.

Вот так и получилось, что Вальтер Матерн снова, после длительного перерыва, появился в нашем доме. Не то чтобы он сразу и прямиком, хотя и пошатываясь, направился во двор столярной мастерской и начал там неистовствовать, закатывая глаза к водосточным трубам, нет, он постучался к Фельзнер-Имбсу и сразу плюхнулся на его хиленькую софу. Пианист налил ему чаю и сохранял выдержку, когда Матерн принялся его допрашивать:

---

[1] Дай им упокоение (*лат.*).

— Где он, я спрашиваю? Дружище, сделайте же хоть что-нибудь! Уж вы-то должны знать, где он скрывается. Не мог же он просто так испариться. Если кто-то и знает, то только вы. Выкладывайте!

Я, стоя под прикрытыми окнами, был не совсем уверен, что пианисту известно больше, чем мне. Матерн грозил. Барахтаясь и помогая себе скрежетом зубовным, поднялся с тахты, ввиду чего Имбс ухватился за стопку нот. Матерн поторкался туда-сюда в зеленом электрическом сумраке музыкальной гостиной. Попытался цапнуть золотую рыбку из аквариума, выплеснул пригоршню воды на цветочные обои и не заметил, что рыбка по-прежнему плавает в аквариуме, жива и невредима. Зато он задел фарфоровую балерину, когда замахнулся своей английской трубкой на песочные часы. Стройная горизонтальная ножка балерины аккуратно обломилась и мягко упала на ноты. Матерн извинился и пообещал возместить ущерб и все исправить, но Имбс его опередил, собственноручно склеив фигурку универсальным клеем. Вальтер Матерн порывался ему помочь, но пианист решительно и умело загораживал статуэтку спиной. Налил ему еще чаю и дал посмотреть фотографии: Йенни в накрахмаленной балетной пачке и в той же примерно позе, что фарфоровая балерина, но нога цела. Матерн, похоже, увидел не только фото, потому что продолжал выпытывать вещи, никак с серебряными башмачками и пуантами не связанные. Все те же вопросы:

— Ну где? Не мог же просто... Эдак вот слинять и ни словечка не оставить. Отчалить, и даже не... Уж я повсюду спрашивал, и в Столярном переулке, и в Шивенхорсте. Она тем временем замуж вышла, ну, Хедвиг Лау, и всякое общение с ним оборвала, так и сказала: оборвала.

Прикрытое окно музыкальной гостиной внезапно распахнулось, и Вальтер Матерн перекинул ноги через подоконник, заставив меня нырнуть в сирень. Когда я поднялся на ноги, он уже приближался к тому разрытому полукругу, границы которого ясно обозначали пределы досягаемости цепи, приковавшей нашего Харраса к дровяному сараю.

Харрас по-прежнему был злой и черной овчаркой. Только над глазами появились два островка седины. И углы губ смыкались уже не так плотно. Но едва Вальтер Матерн покинул сиреневый палисадник, Харрас выскочил из конуры и натянул цепь до самой границы полукруга. Матерн отважился приблизиться к нему на расстояние метра. Харрас дышал и почесывался, Матерн искал слова. Но его упредила то ли дисковая пила, то ли фреза. И тогда, вклинившись в крохотную паузу между дисковой пилой и фрезой, Вальтер Матерн сказал, выплюнул из себя слово, которое отрыгнулось и не разжевалось, которое блевотным сгустком вязло в зубах.

— Наци! — сказал он нашему Харрасу. — Наци!

Дорогая Тулла!

Эти визиты продолжались неделю или чуть больше. Матерн приносил с собой слово, а Харрас уже стоял, натянув цепь, ибо на нем висел дровяной сарай, где обитали мы: ты, я и иногда Йенни, для которой много места не требовалось. На коленях, прищурив глаза, мы подсматривали в щелку. Там, во дворе, Матерн тоже становился на колени, а затем принимал собачью позу. Голова к голове, к носу нос, человечий череп и собачье чело, и с детскую голову промежуток. Тут нарастающий и спадающий, но сдержанный рык, там скрежет, скорее морского песка, чем гравия, а потом, яростной скороговоркой, слово:

— Наци! Наци! Наци! Наци!

Хорошо еще, что кроме нас, в сарае, никто этого сдавленного слова не слышит. Но все окна во двор забиты публикой.

— Опять этот актер заявился, — из окна в окно сообщали друг другу соседи, когда Вальтер Матерн приходил навестить нашего Харраса. Август Покрифке дол-

жен бы погнать его со двора, но даже машинный мастер заявил, что его это не касается.

Приходилось моему отцу, столярных дел мастеру, пересекать двор. Одна рука у него как бы невзначай лежала в кармане, и я уверен, что там была заточенная стамеска. Он вставал у Матерна за спиной и другую, свободную руку тяжело клал ему на плечо. Громко, так, чтобы все усыпанные соседями окна дома и все подмастерья в окнах мастерской слышали, он отчеканивал:

— Немедленно оставьте пса в покое. И убирайтесь отсюда. Вы к тому же и пьяны. Постыдились бы!

Матерн, которого отец жесткой столярной хваткой ставил на ноги, разумеется, не мог обойтись без грозных взглядов самого дешевого актерского пошиба. Но у моего отца глаза были очень светлые, чуть выпуклые и твердо очерченные, взгляды Матерна от них отскакивали, как от стенки горох.

— Смотрите, смотрите, меня не убудет. А калитка вон там!

Но Матерн предпочитал уходить через сиреневый палисадник в окно музыкальной гостиной пианиста Фельзнер-Имбса. А однажды, когда он покидал наш столярный двор не через квартиру пианиста, а обычным путем, он сказал отцу уже от калитки:

— У вашего пса чумка, разве вы не видите?

На что мой отец, со стамеской в кармане, ему ответил:

— А это уж предоставьте мне судить. И не у пса чумка, а у вас запой, и лучше бы вам больше здесь не показываться.

За спиной у него горланили подмастерья, грозя кто дрелью, кто ватерпасом. Отец тем не менее вызвал ветеринара: никакой чумки у Харраса не было. Ни слизи в носу и в глазах, ни мутного взгляда, ни рвоты после кормежки, но на всякий случай в него впихнули ложку дрожжевого лекарства: «Мало ли что!»

Дорогая Тулла!

Тут, наверно, сезон тридцать седьмого — тридцать восьмого годов уже закончился, и Йенни нам сказала: «Он в Шверине, в театре». Однако в Шверине он прожил недолго, а перебрался — и об этом мы от Йенни знали, — в Дюссельдорф на Рейне. Но поскольку в Шверине его уволили досрочно, он и на Дюсселе и вообще нигде в театр устроиться не мог. «У дурной славы длинные ноги», — так нам Йенни объяснила. Впрочем, в следующем письме сообщалось, что он подрабатывает на радио диктором в редакции детского вещания; что он помолвлен, но вряд ли это надолго; он все еще не знает, где искать Эдди Амзеля, но убежден, что где-то здесь; и пьет он теперь не так сильно, а, наоборот, снова занялся спортом — хоккей на траве и даже кулачный мяч, как когда-то в мае; у него много приятелей, из бывших, которым, как и ему, все обрыдло; но католицизм тоже дерьмо редкостное — так в письме говорилось, — он тут познакомился с некоторыми попами, в Нойсе и в аббатстве Мария Лаах, его от них просто тошнит; по-видимому, все идет к войне; под конец Вальтер Матерн хотел знать, жива ли еще та черная псина, но Фельзнер-Имбс ему не ответил.

Дорогая Тулла!

И тогда Вальтер Матерн поездом прибыл в Лангфур, дабы лично удостовериться, жив ли еще наш Харрас. Внезапно и как ни в чем не бывало, словно с его последнего визита минуло несколько дней, а не месяцев, он появился в столярном дворе, одетый с иголочки — английский бостон, красная гвоздика в петлице, короткая стрижка — и пьяный вдым. Всякую осторожность он оставил либо в поезде, либо еще где, на колени перед Харрасом не становился, словечко не шипел и не скрежетал, а начал орать его на весь двор. При этом он имел в виду не только нашего Харраса — всем соседям в окнах, нашим подмастерьям, машинному мастеру

и моему отцу оно теперь надолго запомнилось, словечко это. Вот почему все мигом в своих трехкомнатных квартирах попрятались. Подмастерья все шпингалеты на окнах позадвигали. Машинный мастер дисковую пилу запустил. Отец к фрезе встал. Никому это словечко слышать не хотелось. Август Покрифке мешал столярный клей.

А нашему Харрасу, который во дворе остался, Вальтер Матерн сказал:

— Ах ты черная католическая свинья! — Уж он в тот день выблевал все, что у него наболело. — Ах ты нацистская католическая свинья! Да я из тебя собачьи котлеты сделаю! Доминиканец! Христианин собачий! Я уже двадцать два года собакой живу, а для бессмертья ничего... ну погоди!

Фельзнер-Имбс подошел к буйному молодому человеку, который, надрываясь, силился переорать фрезу и пилу, взял его за рукав и отвел к себе в музыкальную гостиную, где налил ему чаю.

Во многих квартирах, в мастерской и в машинном цехе взвешивались формулировки заявлений в полицию; но никто так на него и не донес.

Дорогая Тулла!

С мая тридцать девятого по седьмое июня тридцать девятого Вальтер Матерн просидел в подвалах полицейского управления в Дюссельдорфе в камере предварительного заключения.

Это не театральные сплетни, которые Йенни нам нашептала; я сам, по документам, до этого докопался.

Две недели он провалялся в дюссельдорфском госпитале Марии, поскольку в подвалах полицейского управления ему сломали несколько ребер. Ему долго еще пришлось носить повязку и нельзя было смеяться, что давалось ему без труда. Правда, зубы, все до единого, у него остались целы.

До этих подробностей мне даже докапываться не пришлось, все это черным по белому — правда, без упоминания полицейских застенков — было написано в открытке, на лицевой стороне которой запечатлена дюссельдорфская церковь Святого Ламберта. Получателем открытки был, однако, не пианист Фельзнер-Имбс, а старший преподаватель Освальд Брунис.

Так кто же спровадил Вальтера Матерна в полицейские подвалы? Заведующий репертуаром шверинского городского театра донесений на него не писал. И вовсе не политическая неблагонадежность была причиной его увольнения: оставаться актером в Шверине ему помешало беспробудное пьянство. Эти сведения не свалились ко мне с неба, до них пришлось долго и упорно докапываться.

Но почему, в таком случае, Вальтер Матерн провел в предварительном заключении всего пять недель, почему только несколько ребер и ни одного зуба? Он бы никогда не вышел из полицейских подвалов, если бы не записался добровольцем в армию: его спас данцигский паспорт гражданина Вольного города. В штатском, но уже с мобилизационным предписанием на груди, как раз над ноющими ребрами, его отправили на родину. Там он явился в полицейские казармы Лангфур, Верхний Штрис. Прежде чем получить обмундирование, ему вместе с еще несколькими сотнями штатских добровольцев из Рейха пришлось добрых два месяца хлебать из общего солдатского котла: война еще не поспела.

Дорогая Тулла!

В августе тридцать девятого — оба линкора уже встали на якорь против Вестерплатте, в нашей мастерской уже вовсю сколачивались сборные детали военных бараков и солдатских нар, — двадцать седьмого августа нашему Харрасу пришел конец.

Кто-то его отравил; ибо чумки у Харраса не было. Вальтер Матерн, который сказал: «У пса чумка!» — подсыпал ему Ас-два О-три: мышьяк.

Дорогая Тулла!

Ты и я, мы оба могли бы против него свидетельствовать. Была ночь с субботы на воскресенье: мы сидим в сарае, в твоем логове. И как это ты исхитрялась устроить, что при беспрерывной погрузке-разгрузке досок, панелей и фанерных листов твое гнездо оставалось нетронутым?

Вероятно, Август Покрифке знает убежище своей дочери. Когда привозят дерево, только он один забирается в сарай, командует оттуда разгрузкой мерного леса и следит, чтобы Туллино логово ненароком не заложили штабелем досок. Никто, и сам он тоже, не осмеливается даже прикоснуться к предметам ее сарайного обихода. Никому и в голову не придет напялить шутки ради ее стружечный парик, лечь на ее стружечную постель и укрыться ее сплетенным из стружек одеялом.

После ужина мы занимаем сарай. Вообще-то мы и Йенни хотели позвать, но Йенни в тот вечер устала; и мы хорошо ее понимаем: после занятий в школе и репетиций в театре ей надо пораньше ложиться, потому что даже по воскресеньям у нее репетиции; они сейчас готовят «Проданную невесту», там много чешских танцев.

Итак, мы вдвоем сидим в темноте и играем в молчанку. Тулла четыре раза выигрывает. Во дворе Август Покрифке спускает Харраса с цепи. Пес долго царапается о стены сарая, тихо скулит и просится к нам — но мы хотим остаться вдвоем. Тулла зажигает огонь и надевает один из своих стружечных париков. Ее руки вокруг язычка пламени как из пергамента. Она сидит, скрестив ноги, над свечой и все ниже склоняет голову со свисающими стружками-локонами над пламенем. Я уже который раз прошу: «Хватит, Тулла, перестань!» — и от этого зажигательная забава только прибавляет ей удовольствия. Один раз хрустящий локон уже начинает потрескивать, но все обходится: никакого пожара до небес, никаких сенсаций в местной прессе: «Столярная мастерская в Лангфуре сгорела дотла».

Наконец Тулла двумя руками снимает парик, и мне велено ложиться в кровать из стружек. Она укрывает меня плетеным одеялом — из особо длинных стружек, которые подмастерье Вишневский специально для нее настругивает из длинного бруса. Я теперь пациент и должен заболеть. Вообще-то я уже не маленький, чтобы в такие игры играть. Но Тулла любит быть врачом, да и мне быть больным иногда приятно. Я говорю хриплым голосом:

— Госпожа доктор, я заболел.

— Я так не думаю.

— Нет-нет, доктор, у меня всюду болит.

— Где всюду?

— Всюду, госпожа доктор, просто всюду.

— Может, на сей раз это селезенка?

— Селезенка, сердце и почки.

Тулла, залезая рукой под стружечное одеяло:

— Тогда, значит, у вас сахарная болезнь.

Тут мне полагается сказать:

— И высоченная температура.

А она уже вцепляется мне в самое чувствительное место:

— Вот здесь? Здесь болит?

По условиям игры и потому, что в самом деле больно, я вскрикиваю. Затем мы ту же игру повторяем другим манером. Теперь уже Тулла больна и забирается под одеяло, а мне предстоит мизинцем мерить температуру у нее в дырочке. Но вот и эта игра закончилась. Мы два раза играем в гляделки — смотреть друг на друга и не моргать. Опять Тулла выигрывает. После чего, поскольку других игр в голову не приходит, мы снова играем в молчанку: один раз выигрывает Тулла, а на следующий выигрываю я, потому что в самый разгар молчанки Тулла вдруг будто лопается и, каменея подсвеченным снизу лицом, растопырив все десять прозрачно-розовых пергаментных пальцев, шипит:

— Там кто-то по крыше ползет, слышишь?

И задувает свечу. Я слышу, как похрустывает рубероид на крыше сарая. Прямо у нас над головой кто-то, похоже в резиновых сапогах, делает шаг, потом другой. Харрас уже рычит. Резиновые подошвы топают по кровле до самого края крыши. Мы, Тулла впереди, ползем в том же направлении по доскам. Он стоит точно над собачьей конурой. А мы, прямо под ним, едва умещаемся между штабелем досок и потолком сарая. Он сидит и болтает ногами, перебросив их через водосточный желоб. Харрас рычит по-прежнему, не громче и не тише. Мы приникли к вентиляционной отдушине между крышей и стеной сарая. Тулла могла бы просунуть в щель свою тонюсенькую ручку-щепку и ущипнуть ночного гостя хоть за правую, хоть за левую ногу. А он уже приговаривает:

— Умница, Харрас, умница.

А мы того, кто приговаривает «умница, Харрас, умница!» и «лежать, Харрас, лежать!», самого не видим, только штаны; но тень, которую он — при половинной-то луне за спиной — отбрасывает во двор, это, на что хошь спорю, тень Вальтера Матерна.

А во двор он бросает не что-нибудь, а кусок мяса. Я дышу Тулле в ухо:

— Точно отравленное!

Но Тулла не шелохнется. А Харрас тем временем уже поддел мясо мордой, и мы слышим, как Матерн с крыши его подбадривает:

— Ну жри же, давай жри!

Харрас трясет мясной шмат, слегка подбрасывает. Есть он не хочет, хочет играть, а ведь старый уже пес: ему уже тринадцать собачьих годков стукнуло и несколько месяцев.

И тогда Тулла, даже не шепотом, скорее обычным своим голосом, вдруг говорит в щель между крышей и стеной сарая:

— Харрас! Есть, Харрас, есть!

И наш Харрас, сперва чуть склонив голову набок, начинает заглатывать мясо кусок за куском. Резиновые подошвы над нами торопливо удаляются в направлении прилегающих дворов. Спорю на что хошь: это он. Сегодня я точно знаю: это он и был.

Дорогая Тулла!

Твоим ключом мы открыли дверь и зашли в дом. Харрас все еще управлялся с мясом и не скакал вокруг нас, как обычно. На лестнице я стряхнул с одежды опилки и стружку и припер тебя к стене:

— Зачем ты велела Харрасу это жрать, зачем?

Ты первой стала подниматься по лестнице:

— Так ведь его бы он небось не послушался?

Я, десятью ступеньками ниже:

— А если там все-таки отрава?

Ты, уже площадкой выше:

— Значит, пусть подыхает.

Я, сквозь частокол перил:

— Но зачем?

— А затем! — хихикнула Тулла через ноздри и была такова.

Дорогая Тулла!

На следующее утро — спал я как убитый, вроде даже без снов — меня разбудил отец. Он плакал, слезами, и сказал мне:

— Нашего доброго Харраса больше нет.

Мне тоже удалось расплакаться и быстро одеться. Пришел ветеринар, выписал свидетельство.

— Года три еще мог бы прожить, это уж точно. Жалко псину.

Моя мать первой об этом заговорила:

— Не иначе как это тот актер, фигляр, коммунист поганый, даром, что ли, он у нас во дворе околачивался.

Разумеется, она тоже плакала. Кто-то заподозрил даже Фельзнер-Имбса.

На полицейском кладбище служебных собак между Пелонкен и Брентау наш Харрас обрел свою ухоженную, исправно посещаемую могилу. Мой отец подал заявление в полицию. Назвал Вальтера Матерна и пианиста. Имбса допросили, но он в интересующее полицию время был у старшего преподавателя Бруниса, играл в шахматы, осматривал коллекцию минералов и распил с хозяином две бутылки мозельского. Расследование же в отношении Вальтера Матерна, у которого, впрочем, тоже имелось алиби, сошло на нет само собой: два дня спустя в Данциге, Лангфуре и других местах начались бои. Вальтер Матерн вступил в Польшу.

Тебе, Тулла, нет,

зато мне чуть было не довелось лицезреть Вождя. Надо сказать, что прибыл он в наш город с большой помпой. Первого сентября у нас шла пальба на славу — из всех стволов и во все стороны. Два подмастерья из отцовской мастерской взяли меня с собой на крышу нашего дома. У оптика Земрау они одолжили полевой бинокль: в окуляры война выглядела потешно и, пожалуй, разочаровывала. Все время я видел одни только выстрелы — Оливский лес попыхивал ватными облачками — и ни одного попадания. Только когда закружились в небе пикирующие бомбардировщики и разбухающая туча дыма показала мне в бинокль, где находится Вестерплатте, я поверил, что все это не понарошку. Но стоило скользнуть линзами поближе, на нашу Эльзенскую улицу, где не перечесть было домохозяек с кошелками, резвящихся на солнце детей и кошек, — и я начинал сомневаться: может, это все-таки только игра, и завтра опять в школу?

Но шума было много. Пикирующие бомбардировщики, двенадцать ревущих бомбовозов в яично-желтых разводах, наверняка довели бы нашего Харраса до хрипоты; но Харраса уже не было. И не от чумки пал наш верный пес-овчарка; кто-то подкормил его отравленным мясом. Мой отец плакал мужскими слезами, и сигара «Фельфарбе» остывшим пеньком-огрызком болталась на губе. Со своим никчемным столярным карандашом он как потерянный стоял у разметочного стола, и даже вступающие в город доблестные войска Рейха были ему не в радость. И сообщения по радио — Диршау, Кониц, Тухель, а значит, и вся Кошнадерия, уже в немецких руках — не могли его утешить, хотя его жена и чета Покрифке, то бишь все урожденные кошнадерцы, ликовали на весь наш столярный двор:

— Они уже и Петцин взяли, и в Шлангентин вошли, и в Лихтнау, и в Гранау! Слышь, Фридрих, а два часа назад вступили в Остервик!

Настоящее утешение пришло к столярных дел мастеру лишь третьего сентября в образе курьера-мотоциклиста в военном мундире. В письме, которое он доставил, сообщалось, что Вождь и Канцлер Рейха, находясь в настоящее время в освобожденном городе Данциге, желает познакомиться с заслуженными гражданами города, в том числе и со столярных дел мастером Либенау, чей кобель Харрас, порода — немецкая овчарка, зачал принадлежащего Вождю кобеля Принца той же немецкой породы. Кобель Принц в настоящее время тоже находится в Данциге. Столярных дел мастера Либенау просят в такое-то время прибыть в Курортный дворец в Сопоте и обратиться к дежурному адъютанту, штурмбаннфюреру СС такому-то. Нет необходимости приводить с собой кобеля Харраса, но один из членов семьи, желательно ребенок, может столярных дел мастера сопровождать. С собой иметь: удостоверение личности. Форма одежды: мундир или опрятный штатский костюм.

Отец по такому случаю надел выходной костюм. Я, желательный на приеме член семьи, и без того уже три дня не вылезал из формы «юнгфолька», потому что

все время случалось что-то торжественное. Мать причесывала мне волосы до зуда в затылке. Отец и сын были отутюжены и вычищены до последней пуговицы. Когда мы выходили из квартиры, все соседи высыпали на лестницу нас провожать. И только Туллы не было — она собирала гранатные осколки в Новой Гавани. Но и на улице все окна были распахнуты дружным порывом восторга и любопытства. Наискосок напротив, в Акционерном доме, одно из окон брунисовской квартиры тоже стояло настежь, и худенькая Йенни взволнованно махала мне ручкой, правда, сам старший преподаватель не показывался. Я еще долго оборачивался в надежде увидеть его неказистое лицо — и когда мы позади строгого шофера в мундире усаживались в длинный казенный лимузин с открытым верхом, и когда Эльзенская улица кончилась, и когда мы уже миновали улицу Марии, Малокузнечный парк и Каштановый проезд, и когда выехали на Главную улицу, а потом по Сопотскому шоссе помчались в сторону Сопота, — мне все еще недоставало этого лица с тысячей морщинок и складочек.

Если не считать автобуса, это была моя первая в жизни поездка на настоящем автомобиле. Еще в машине отец наклонился ко мне и прокричал прямо в ухо:

— Это большой день в твоей жизни, сынок! Раскрой глаза пошире, чтобы все как следует запомнить, будешь потом рассказывать.

Я распялил глаза так, что от встречного ветра они тут же заслезились; да и сегодня, когда я — в полном соответствии с отцовским наказом и пожеланием господина Браукселя — пытаюсь рассказать о том, что тогда вбирал в себя широко раскрытыми глазами и укладывал по полочкам памяти, взгляд мой напрягается и подергивается влагой. Тогда я боялся, что взгляд мой увидит Вождя размытым от слез; сегодня я до слез прищуриваю мысленный взор, чтобы не увидеть размытым то, что тогда предстало передо мной во всей чеканной угловатости мундиров и флагов, солнечного света и всемирно-исторического значения, пропитанное служилым потом и непреложностью факта.

Выбираясь из машины перед сопотским Курортным дворцом и Гранд-отелем, мы сами показались себе очень маленькими. Курортный парк оцеплен; за оцеплением стояли они — население! — и уже охрипли от крика. Величественный подъезд к главному порталу тоже охранялся сдвоенными постами. Водителю трижды пришлось останавливаться, помахивая через дверцу своей бумагой. Забыл сказать о флагах: еще у нас, на Эльзенской улице, повсюду висели флаги со свастикой, большие и поменьше. Бедные или просто бережливые люди, которые не могли или не хотели позволить себе настоящий флаг, понатыкали бумажных флажков в цветочные ящики. И только один рожок для флага был пуст, ставя все остальные флаги под сомнение, — на окне у старшего преподавателя Бруниса. Зато в Сопоте, по-моему, все вывесили флаги, по крайней мере на первый взгляд. Из большого круглого окна на фронтоне Гранд-отеля под прямым углом к фасаду торчал флагшток. С него вдоль всех четырех этажей струилось вниз почти до самого козырька парадного входа гигантское полотнище со свастикой. Оно выглядело совсем как новое и было почти неподвижно, потому что стена фасада заботливо укрывала его от ветра. Если бы на плече у меня была обезьянка, она бы запросто смогла вскарабкаться по знамени до самого четвертого этажа и даже еще выше, пока полотнище не кончится.

Огромный детина в мундире и крохотной, лихо заломленной фуражке с козырьком встретил нас в вестибюле отеля. По ковру, от одного вида которого у меня затряслись коленки, он повел нас напрямик через огромный зал, сквозь немыслимую суету и толкучку, где все спешили, приходили, уходили, сменялись, докладывали, передавали и принимали — все сплошь победные реляции и сводки о пленных с большим количеством нулей. По лестнице, что вела в подвальный этаж, мы спустились вниз. По правую руку открылась стальная дверь — в бомбоубежище Гранд-отеля уже собрались во множестве заслуженные граждане города. Нас обыскали на предмет оружия. Мне, после специального запроса по телефону, было

разрешено оставить походный нож члена «юнгфолька». Отцу же пришлось сдать миниатюрный перочинный ножичек, которым он обрезал кончик своей сигары. Все заслуженные граждане, в том числе и господин Лееб из Оры, хозяин Теклы из Шюдделькау, тем временем также почившей, — Текла и Харрас родили Принца, — итак, мой отец, господин Лееб, несколько господ с золотыми партийными значками, четверо или пятеро мальчишек в форме, но постарше меня, все мы стояли молча и готовились. То и дело звонил телефон:

— В полном порядке. Так точно, командир, будет исполнено!

Минут через десять после того, как отец сдал свой перочинный ножичек, ему вручили его обратно. С возгласом: «Прошу всех внимания!» — здоровенный детина, он же дежурный адъютант, приступил к объяснениям. Вождь в данный момент никого принять не может. Решаются грандиозные исторические задачи. А это значит: всем надо почтительно отойти в сторону и стоять молча, потому что на всех фронтах за всех нас сейчас говорят пушки, за всех, то есть и за вас, за вас, и за вас тоже.

После этой торжественной речи он с неожиданной будничностью принялся раздавать фотографии Вождя. Собственноручная подпись делала фото особенно ценным. У нас, впрочем, одна такая карточка уже имелась, но на этой, второй, которая так же, как и первая, была немедленно окантована и застеклена, Вождь был куда серьезней: на нем был серый военно-полевой френч, а не баварский сюртук.

Все уже толклись у выхода из бомбоубежища, отчасти с облегчением, отчасти разочарованные, когда мой отец обратился к дежурному адъютанту. Я подивился его мужеству — но он этим славился, не робел ни на собраниях своего столярного ремесленного цеха, ни даже в ремесленной палате. Он извлек на свет давнее, еще с тех времен, когда Харрас изъявлял «радостную готовность к покрытию», письмо окружного руководства, а затем коротко и ясно изложил адъютанту предысторию письма и его последствия, завершив все это экскурсом в родословную Харраса: Перкун, Сента, Плутон, Харрас, Принц. Адъютант слушал с интересом. А отец в завершение сказал:

— Поскольку кобель Принц в настоящее время гостит в Сопоте, прошу разрешения на него взглянуть.

И нам разрешили! И господину Леебу, который все это время застенчиво стоял в сторонке, разрешили тоже. В вестибюле отеля дежурный адъютант взмахом руки подозвал другого ординарца, такого же верзилу в мундире, и дал ему указания. Этот второй, с лицом горновосходителя, сказал нам:

— Следуйте за мной.

Мы последовали. Господин Лееб в новеньких полуботинках ступал по ковру на цыпочках. Мы пересекли еще один зал, где тарахтели сразу двенадцать пишущих машинок и еще больше телефонов. Коридор, который все никак не кончался, двери без числа и ходуном. Мундиры навстречу. Папки под мышкой. Уступаем дорогу. Господин Лееб приветствует каждого. В одном из вестибюлей тяжелый дубовый стол в окружении старинных кресел с витыми спинками. Отец знающим взглядом столяра ощупал мебель. Фанеровка с инкрустациями. Три стены почти сплошь увешаны фруктами, охотничьими натюрмортами и пасторалями в тяжелых золоченых рамах, зато четвертая — стеклянная и пропускает небо. Перед нами зимний сад Гранд-отеля: невероятные, безумные, запретные растения, и ах, как, должно быть, благоухают, но нам за стеклом не слышно.

А посреди зимнего сада, вероятно, даже утомленный всем этим благоуханием, сидит человек, тоже в мундире, но по сравнению с нашим дылдой — коротышка. А в ногах у него взрослая крупная овчарка играет средних размеров цветочным горшком. Растение из горшка, что-то бледно-зеленое в прожилках, валяется тут же рядом, корнями и всей земельной начинкой наружу. Собака катает горшок. Нам даже кажется, что мы слышим, как она его катает. Верзила подле нас костяшками пальцев стучит по стеклу. Овчарка тотчас же вскакивает. Охранник, не двинув тулови-

щем, поворачивает голову, ухмыляется, как старый знакомый, встает, вроде бы совсем собравшись к нам подойти, и тут же садится. Другая, внешняя стеклянная стена зимнего сада открывает вид, который дорогого стоит: террасы курортного парка, выключенный сейчас большой фонтан, широкий разбег, узкую стрелу и массивный наконечник морского пирса: множество флагов, все из той же оперы, но народу ни души, если не считать сдвоенных постов. Балтийское море никак не определится — то оно зеленое, то серое, тщетно старается блеснуть голубизной. Но овчарка черная. Стоит на всех четырех лапах, чуть склонив голову набок. Точь-в точь наш Харрас, только в молодости.

— Совсем как наш Харрас! — говорит отец.

— Точь-в-точь наш Харрас, — вторю я.

Господин Лееб замечает:

— Но длинный круп у него, по-моему, от моей Теклы.

Отец и я:

— Так и у нашего Харраса тоже: длинный, плавно ниспадающий круп.

Господин Лееб умиляется:

— А как плотно и сухо губы смыкаются, совсем как у моей Теклы.

Отец и сын:

— И у нашего Харраса смыкание было отличное. И пальцы плотно держит. А посадка ушей — вылитый Харрас!

Господину Леебу всюду мерещится только его Текла:

— Осмелюсь утверждать, хотя, конечно, могу и ошибиться, что у собаки нашего Вождя хвост точно такой же длины, как был у моей Теклы.

Я, представляя нашу сторону:

— А я готов спорить, что собака Вождя в холке точно того же роста, что и наш Харрас: шестьдесят четыре сантиметра.

Мой отец стучит в стекло. Собака Вождя коротко тявкает — точно так же и Харрас подавал голос. Мой отец пытается сквозь стекло выяснить:

— Прошу прощения! Можно полюбопытствовать, какой у Принца в холке рост? Сколько сантиметров? Да, в сантиметрах. Так точно, в холке.

Человек в зимнем саду имеет право нам сообщить рост собаки Вождя в холке: шесть раз показывает он нам по две полных пятерни, а потом только правую с четырьмя оттопыренными пальцами. Мой отец великодушно похлопывает господина Лееба по плечу:

— Он ведь тоже кобель, кобели все сантиметров на пять повыше.

Относительно псовины собаки Вождя мы все трое единодушны: короткошерстная, каждый волосок прямой, каждый прилегает плотно, и все как один жесткие и черные.

Отец и я:

— Совсем как наш Харрас!

Господин Лееб, неколебимо:

— Совсем как моя Текла.

Тут наш верзила в мундире замечает:

— Да ладно вам важничать. Все они, овчарки, более или менее на одно лицо. А у Вождя в Бергхофе их там целый питомник. Сейчас он эту взял. В другой раз другую, как когда.

Отец совсем уж было собрался прочесть ему небольшой доклад о нашем Харрасе и его предках, но верзила отмахивается и показывает на часы.

Собака Вождя уже снова играет с горшком, когда я, уходя, отваживаюсь стукнуть в стекло; но Принц и ухом не ведет. И охранник в зимнем саду тоже предпочитает любоваться видом на море.

Мы возвращаемся по мягким коврам, мимо фруктов, пасторалей, охотничьих натюрмортов: легавые лижут убитых зайцев и кабанов, овчарок никто не рисует. Отец поглаживает мебель. Снова зал с пишущими машинками и телефонами. В

главном вестибюле не протолкнуться. Отец берет меня за руку. По делу ему бы и господина Лееба надо за руку взять — того все время оттирают. Мотоциклисты в серых от пыли шинелях топчутся среди безупречных штабных мундиров. Это вестовые, у них в планшетах победные реляции. Взяли наконец Модлин? Вестовые сдают свои планшеты и падают в широкие кресла. Штабисты дают им прикурить и мило с ними болтают. Наш дылда проталкивает нас к выходу под четырехэтажное полотнище. У меня все еще нет на плече обезьянки, которая смогла бы влезть. Нас проводят через все кордоны, потом отпускают с миром. Население за загородкой хочет знать, видели ли мы Вождя. Отец, столярных дел мастер, трясет головой:

— Нет, братцы, Вождя нет, но мы видели его пса, он черный, скажу я вам, такой же черный, как наш Харрас был.

Дорогая кузина Тулла!

Нас не отвезли обратно в Лангфур в открытом служебном автомобиле. Отец, господин Лееб и я добирались домой пригородным поездом. Мы сошли первыми. Господин Лееб поехал дальше, пообещав при случае нас навестить. Мне казалось страшным позором возвращаться домой по Эльзенской улице на своих двоих. Но все равно это был замечательный день; и сочинение, которое я по настоянию отца на следующий же день после поездки в Сопот должен был написать и показать старшему преподавателю Брунису, я так и озаглавил: «Мой самый замечательный день».

А старший преподаватель Брунис, возвращая мне поправленное сочинение, только и сказал с кафедры:

— Очень живые, а иногда и очень точные наблюдения. В Гранд-отеле действительно есть ряд превосходных натюрмортов с фруктами и охотничьими трофеями, а также терпкие пасторали, по большей части голландских мастеров семнадцатого столетия.

Прочитать сочинение вслух мне не предложили. Старший преподаватель Брунис увлекся охотничьими натюрмортами, пасторалями и с жаром принялся рассуждать о жанровой живописи и о своем любимом художнике Адриане Брауэре. А затем, возвращаясь к Курортному дворцу, Гранд-отелю и казино, вдруг сообщил:

— А особенно красиво и торжественно выглядит Красный зал. И в этом Красном зале вскоре будет танцевать Йенни. — И таинственно, почти шепотом, добавил: — Как только она удалится и сгинет, властвующая ныне воинская каста, как только переберется на другие курорты, прихватив с собой победный гром и бряцание оружием, так сразу же директор дворца вместе с главным режиссером городского театра намерены организовать небольшой, но изысканный вечер балета.

— А нам можно будет сходить и посмотреть? — дружно вскричали все сорок учеников.

— Это будет благотворительное мероприятие. Вся выручка пойдет в пользу «зимней помощи». — Брунис вместе с нами был искренне удручен, что Йенни будет танцевать только перед избранной публикой. — У нее будет два выхода, причем один даже в знаменитом падекатре, правда в облегченном, детском варианте, но все-таки...

Я со своей тетрадкой для сочинений вернулся на место. «Мой самый замечательный день» был далеко позади.

Ни Тулла, ни я

не видели, как танцевала Йенни. Но, наверно, с большим успехом, раз кто-то из Берлина сразу же захотел ее ангажировать. Вечер балета состоялся незадолго до Рождества. Среди зрителей, помимо традиционной партийной элиты, были и ученые, художники, старшие офицеры авиации и флота и даже дипломаты. Брунис рассказывал, что, как только стихли аплодисменты, появился некий элегантный господин, расцеловал Йенни в обе щеки и хотел тотчас же забрать ее с собой. Ему,

Брунису, он предъявил свою визитную карточку и представился главным балетмейстером Немецкого балетного театра в Берлине, прежде именовавшегося балетным театром «Сила через радость», сокращенно «Балетом СЧР».

Но старший преподаватель это предложение отклонил, утешив балетмейстера согласием принять его в будущем: Йенни еще слишком мала, ее характер еще не сформировался. Еще несколько лет ей следует провести в привычном окружении, в родительском доме и своей школе, в добром старом городском театре и у мадам Лары.

И вот как-то раз подхожу я к старшему преподавателю Брунису на школьном дворе. Он, как всегда, сосет свой леденец, перекладывая его то за одну, то за другую щеку. А я его спрашиваю:

— Господин учитель, а как звали того балетмейстера?

— Этого, сын мой, он мне не сказал.

— Но разве вы не говорили, что он показывал вам что-то вроде визитной карточки?

Старший преподаватель Брунис хлопает в ладоши:

— Верно, карточка! Только вот что на ней было написано? Забыл, сын мой, хоть убей не помню.

Тут я начинаю гадать:

— Может, его фамилия Степун, Степутат или Степановский?

Брунис с удовольствием посасывает свой леденец:

— Ничего похожего, сын мой.

Тогда я захожу с птицы:

— Может, его фамилия Дрофер, Дроферман или Дрофский?

Брунис хихикает:

— Мимо, сын мой, мимо!

Я набираю в грудь побольше воздуха:

— Тогда его фамилия Кекель. Или Субботиц. Или Янгер, Яхельшпис, Яклен-ский. А если он ни то, ни другое и ни третье и если он вдобавок не Кризун и не Крупкат, то тогда только одна фамилия еще остается.

Старший преподаватель от удовольствия даже слегка подпрыгивает с ноги на ногу и одновременно перекладывает леденец со щеки за щеку:

— И что же это за последняя фамилия?

Я шепчу ему на ушко, и он сразу перестает подпрыгивать.

Я повторяю фамилию тихо-тихо, и он, сдвинув свои кустистые брови, делает удивленно-испуганные глаза. А я, чтобы его успокоить, говорю:

— Просто я у портье в Гранд-отеле спросил, а он мне и ответил.

Тут раздается звонок, и перемена кончается. Старший преподаватель Брунис хочет сосать свой леденец дальше, но почему-то его у себя за щекой не нащупывает. Тогда он выуживает из кармана сюртука новый леденец и говорит, угощая и меня конфеткой:

— Уж очень ты любознателен, сын мой, пожалуй, даже чересчур любознателен.

Дорогая кузина Тулла!

А потом мы праздновали тринадцатилетие Йенни. Поскольку она найденыш, день рождения ей установил сам старший преподаватель Брунис, и праздновали мы его восемнадцатого января, в день провозглашения прусского короля германским кайзером. Стояла зима, но Йенни все равно пожелала себе «бомбу» — торт из мороженого. Старший преподаватель Брунис, собственноручно варивший себе леденцы, заказал кондитеру Кошнику торт из мороженого по своему особому рецепту. Мороженое — это была всегдашняя страсть Йенни. Стоило ее спросить: «Хочешь перекусить что-нибудь? Что тебе принести? Что подарить тебе на Рождество, на

день рожденья, по случаю премьеры?» — она всегда жаждала мороженого, этого ледяного лакомства, холодной услады.

Мы тоже с удовольствием лакомились мороженым, но заветные желания у нас были другие. Тулла, к примеру, хоть она и на добрых полгода моложе Йенни, начала хотеть ребенка. И это притом, что ко времени польской кампании у них обеих, у Йенни и у Туллы, груди еще почти не обозначились. Лишь следующим летом, уже во время французского похода, через пару недель после Дюнкерка они вдруг как-то изменились. В сарае, на ощупь, казалось, что обеих покусали сперва осы, а потом и шершни. Эти припухлости у обеих остались — Тулла носила их вполне осознанно, а Йенни с недоумением.

Мало-помалу, однако, наступало время мне на что-то решаться. Вообще-то меня больше тянуло к Тулле, но теперь, едва мы оказывались наедине в сарае, она тут же начинала требовать от меня ребенка. Я предпочел остановить свой выбор на Йенни, требования которой ограничивались мороженым по десять пфеннигов и не простирались дальше вазочки за тридцать пять у Тоскани, в кафе-мороженом с весьма солидной репутацией. А самую большую радость ей можно было доставить, проводив ее до ледника; он находился за Малокузнечным рынком возле Акционерного пруда, принадлежал Акционерной пивоварне, но стоял за пределами кирпичной ограды, которая зубцами вмурованных поверху осколков стекла отрезала цеха пивоварни от остального мира.

Ледник был прямоугольный, Акционерный пруд — круглый. Ивы забирались в него с ногами. Штрисбах, добежав с Верхнего Штриса, впадал в него, протекал его насквозь и тек дальше, разрезая предместье Лангфур надвое, покидая его у Легштриса и впадая, наконец, возле Брошкешского проезда в Мертвую Вислу. В 1291 году Штрисбах, «Fluuium Strycze», впервые упоминается и определяется в официальных документах как пограничная речушка между владениями монастыря Олива и городскими землями. Ручей Штрисбах был собою не широк и не глубок, но зато богат пиявками. И в Акционерном пруду обитали пиявки, всякие жабы-лягушки и головастики. Водилась тут и рыба, но об этом речь впереди. Над его, как правило, безмятежной гладью пискляво зудели комары и замирали хрупкие, прозрачные стрекозы. Когда мы приходили с Туллой, она заставляла нас выуживать из Штрисбаха пиявок и собирать в консервную банку. Был там бесхозный, покосившийся и гниющий в прибрежном иле лебединый домик. Лебеди прожили здесь лишь один сезон много лет назад, а потом сдохли, и только лебединый домик остался. Во все времена и при всех правительствах не было конца возмущенным читательским письмам и аршинным газетным статьям об этом Акционерном пруде: то из-за комаров, то из-за того, что лебеди сдохли, его требовали немедленно засыпать. Но всякий раз Акционерная пивоварня делала благотворительный взнос в городской приют для престарелых, и пруд не засыпали. А во время войны пруд вообще был вне опасности. У него появилось дополнительное название, он теперь именовался не только Акционерным, но еще и противопожарным прудом при Малокузнечном парке. Его обнаружили службисты ПВО и радостно нанесли на свои штабные карты. Но лебединый домик не принадлежал ни пивоварне, ни службе ПВО; лебединый домик, по размерам чуть больше конуры нашего Харраса, принадлежал Тулле. Она забиралась в него после школы, и сюда, в домик, мы подавали ей консервную банку с пиявками. Она разоблачалась и сажала их на себя: на живот и на ноги. Пиявки разбухали, становились иссиня-черными, как кровавые сгустки, слегка подрагивали и тихо замирали, а Тулла, с белым как мел лицом, бросала их, когда они, насытившись, легко отделялись от тела, в другую консервную банку.

Мы тоже должны были ставить себе пиявок: я — три штуки, Йенни одну, на руку сверху, но не на ноги, ей ведь танцевать. На маленьком костерке вместе с крапивой и водой из Акционерного пруда Тулла варила своих и наших пиявок, пока они не лопались в кипятке, окрашивая, несмотря на крапиву, весь бульон в корич-

нево-черный цвет. И мы должны были это илистое варево пить, ибо для Туллы суп из пиявок был делом священным. Если мы отказывались пить, она говорила:

— Абрашка и его друг тоже были кровными братьями, Абрашка сам мне говорил.

И мы пили, все до самого донышка, и ощущали в себе кровное сродство.

Но однажды Тулла чуть было не испортила нам всю игру. Вскипятив варево, она вдруг напугала Йенни:

— Если мы сейчас это выпьем, то обе-две родим по ребенку, и обе от него.

Но я вовсе не жаждал становиться отцом. Да и Йенни сказала, что ей пока рано, она сперва хочет танцевать, в Берлине и вообще.

А однажды — в ту пору между Туллой и мной уже были серьезные трения из-за ее материнских намерений — она заставила Йенни залезть в лебединый домик и нацепить себе целых девять пиявок.

— Если ты сейчас же, прямо сейчас, этого не сделаешь, мой старший брат во Франции на войне сейчас же истечет кровью!

Йенни налепила себе пиявок где только можно, все девять, тут же побелела как полотно и упала в обморок. Тулла мгновенно смылась, а я обеими руками срывал с Йенни пиявок. Они не отрывались, потому что еще не напились. Несколько штук лопнуло, и мне пришлось потом Йенни отмывать. От холодной воды она очнулась, но лица на ней по-прежнему не было. Но она тут же стала спрашивать, спасена ли теперь жизнь Зигесмунда Покрифке, Туллиного брата во Франции.

Я ответил:

— Сегодня-то уж наверняка.

Готовая к самопожертвованиям Йенни сказала:

— Но значит, нам через каждые несколько месяцев придется это повторять?

Пришлось мне ей объяснить:

— Я читал, у них там всюду полно консервированной крови.

— Ах вот что, — удивилась Йенни и, похоже, была слегка разочарована. Мы уселись возле лебединого домика на солнышке. В глади пруда отражался длинный прямоугольный фасад здания, где помещался ледник.

Тебе, Тулла,

я скажу то, что ты и так знаешь: ледник помещался в здании в форме ящика с плоской крышей. По всей поверхности, от угла до угла, они обили его черным рубероидом. И дверь в него тоже была обита рубероидом. Окон вообще не было. Верхушка черного куба без единого белого пятнышка. Мы то и дело на него поглядывали. Гутенгрех вроде совсем в другом месте, однако вполне мог этот черный ящик сюда поставить, хоть он и не из чугуна, а из рубероида, хоть Йенни больше Гутенгреха не боится и ее, наоборот, то и дело к этому леднику тянет. И если Тулла требовала: «Хочу ребенка, сейчас же!», то Йенни говорила: «Мне ужасно хочется взглянуть на ледник изнутри, ты пойдешь?» Я не хотел ни того, ни другого; да и сейчас не особенно рвусь.

От ледника пахло так же, как от пустой собачьей будки на нашем столярном дворе. Только у будки крыша не плоская, да и пахла она, несмотря на рубероид, совсем иначе, все еще напоминая о Харрасе. И хотя отец мой, столярных дел мастер, новую собаку заводить не хотел, собачью конуру, однако, на дрова разломать не разрешил, а наоборот, нередко, пока все подмастерья вкалывали у верстаков, а станки вгрызались в дерево, останавливался перед будкой и подолгу, минут по пять, молча на нее глядел.

Здание ледника отражалось в Акционерном пруду и чернило воду. Несмотря на это, рыба в Акционерном пруду была. Старички с табачной жвачкой в провалленных ртах ловили здесь рыбу с берега Малокузнечного парка и ближе к вечеру выуживали плотвичек с ладонь величиной. Плотвичек они либо выбрасывали об-

ратно в воду, либо отдавали нам. Потому как есть эту рыбу в общем-то все равно было нельзя. Она насквозь протухла еще при жизни, и никаким мытьем в самой свежей воде устранить эту ее прижизненную тухлость было невозможно. Дважды из Акционерного пруда вылавливали утопленников. Исток Штрисбаха был забран стальной решеткой, задерживавшей плавник. Сюда-то и приносило утопленников — в первый раз старика, во второй домохозяйку из Пелонкена. И всякий раз я приходил слишком поздно и утопленников не видел. А мне столь же страстно, как Йенни жаждала в ледник, а Тулла ребенка, хотелось увидеть настоящего покойника; но когда умирал кто-нибудь из кошнадерской родни — у матери были там кузины и тетки, — гроб к нашему приезду уже всегда бывал заколочен. Тулла уверяла, что на дне Акционерного пруда лежат младенцы с камнями на шее. Насчет младенцев не знаю, а вот котят и щенков тут топили часто. Да и старые кошки, раздувшимся брюхом вверх, нередко бесцельно дрейфовали в пруду, пока их в конце концов не прибивало к решетке, и тогда приставленный к этому делу городской смотритель — фамилия у него была такая же, как у рейхсминистра связи: Онезорге, то бишь беззаботный, — выуживал их железным крюком. Но не из-за этого Акционерный пруд распространял такое зловоние, а из-за того, что пивоварня спускала сюда все стоки. «Купаться запрещено» — уведомляла на берегу фанерная табличка. Мы-то нет, а вот ребята из Индейской деревни все равно купались, и потом даже зимой от них несло пивом.

Индейская деревня — так все называли садово-дачный поселок, что начинался сразу за прудом и тянулся почти до аэродрома. Жили в поселке рабочие-портовики, у кого многодетные семьи, а также одинокие бабушки и мастера-каменщики, ушедшие на покой. Для себя я толковал это название в политическом смысле: поскольку раньше, задолго до войны, там жило много социалистов и коммунистов, деревня считалась «красной» — вот ее и стали называть «индейской». Как бы там ни было, а одного рабочего, корабела с верфи Шихау, еще в то время, когда Вальтер Матерн был в штурмовиках, в Индейской деревне убили. В «Форпосте» был заголовок: «Убийство в Индейской деревне». Но убийц — быть может, это были те же самые девять мумий в утепленных плащах? — так и не нашли.

Однако ни Туллины,

ни мои истории вокруг Акционерного пруда — а у меня их полно, приходится сдерживаться — ни в какое сравнение не идут с ледниковыми историями. Про ледник всякое болтали: ходили, например, слухи, что убийцы рабочего из Шихау спрятались тогда в леднике, да так там и остались, восемь или девять замороженных мумий, в самом мерзлом месте. Да и исчезнувшего Эдди Амзеля многие, только не я, в леднике похоронили. Матери пугали своих чад, когда те не желали доедать несколько ложек супа, черным ледниковым кубом без окон: поговаривали, что и коротышку Мацерата, который тоже есть не хотел, мамаша его на несколько часов в леднике заперла, а он с тех пор, в наказание, ни на вершок не вырос.

Словом, там, в леднике, хранились страшные тайны. Днем сюда подъезжали холодильные фургоны, и пока в них с глухим звоном загружались ледяные блоки, рубероидная дверь стояла настежь. И когда мы, чтобы храбрость показать, мимо этой разъявленной двери с гиканьем проскакивали, нас обдавало ледяным дыханием, после которого тут же хотелось постоять на солнце. Тулла, которая вообще-то ни одной приоткрытой двери пропустить не могла, боялась ледника больше всех и пряталась при виде здоровенных грузчиков в черных клеенчатых фартуках и с багрово-синюшными рожами. Когда эти ледяные люди железными крючьями выволакивали из подвала ледяные глыбы, Йенни нередко подходила к ним и просила дать ей потрогать лед. Ей иногда разрешали. И она тогда до тех пор держала ладошку на ледяной глыбе, покуда кто-нибудь из грузчиков не отрывал ее силой со словами: «Ну хватит, хватит. Примерзнуть, что ли, захотела!»

Позже среди ледовых грузчиков появились и французы. Они взваливали ледяные блоки на плечи точно так же, как и наши грузчики, были такие же коренастые и синюшно-краснорожие. Их называли инорабочими, и неизвестно было, разрешается ли с ними разговаривать. Но Йенни, которая у себя в лицее учила французский, с одним из французов заговорила:

— Bonjour monsieur![1]

Француз оказался очень вежливый:

— Bonjour mademoiselle[2].

Йенни сделала книксен:

— Pardon, monsieur, vous permettez, monsieur, que j'entre pour quelques minutes?[3]

Француз радушным жестом ее пригласил:

— Avec plaisir, mademoiselle[4].

Йенни еще раз сделала книксен:

— Merci, monsieur![5] — и ладошка ее исчезла в лапе ледового француза. Их обоих, рука об руку, поглотил ледник. Остальные грузчики смеялись и отпускали шуточки.

А нам было не до смеха, мы начали считать: ...двадцать четыре, двадцать пять... Если до двухсот не вылезет, будем звать на помощь. Они вышли на счете сто девяносто два, все так же рука об руку. В левой руке она держала кусок льда, сделала своему ледовому спутнику еще один книксен на прощанье и пошла с нами на солнышко. Нас знобило. Йенни бледным язычком лизала лед и предложила Тулле полизать тоже. Тулла отказалась. А я лизнул: как железо на морозе.

Дорогая кузина Тулла!

Когда произошла вся эта катавасия с твоими пиявками и Йенниным обмороком, когда мы из-за этого, а также из-за того, что ты непрестанно требовала от меня ребенка, поругались, когда ты стала реже ходить вместе с нами к Акционерному пруду, когда нам, Йенни и мне, расхотелось забираться к тебе в сарай, когда кончилось лето и снова началась школа, мы, Йенни и я, часто сидели вместе либо в укропных зарослях под заборами Индейской деревни, либо у лебединого домика, и я помогал Йенни тем, что не сводил глаз со здания ледника, потому что Йенни ни на что, кроме этого черного, без окон, ящика смотреть не хотела. Вот почему, наверно, ледник запомнился мне гораздо отчетливей, чем остальные здания Акционерной пивоварни, прятавшиеся в тени каштанов. Должно быть, это был обычный, смахивающий на замок, комплекс строений за угрюмой кирпичной стеной. Высокие окна машинного цеха наверняка были оправлены бордовым облицовочным кирпичом. Труба, хотя и приземистая, все равно торчала над Лангфуром, видная со всех сторон. Готов присягнуть: трубу Акционерной пивоварни увенчивал громоздкий рыцарский шлем с забралом. Поворачиваясь вместе с ветром, он выпускал густые, тяжелые клубы черного дыма и дважды в год подвергался чистке. Чистой кладкой новенького, умытого кирпича припоминается мне, если прищурить глаза, здание дирекции за оскольчатым овершьем ограды. Со двора пивоварни выезжали, надо думать, регулярно, пароконные повозки на резиновом ходу. Мощные битюги с короткими, на бельгийский манер остриженными хвостами. В кожаных фартуках и таких же фуражках, с сонными багрово-синюшными рожами, возчики пива: кучер и напарник. Кнут в кожаной торбе. Накладная книга и денежный кошель под фартуком. Жевательный табак всю дорогу. Металлические заклепки на конской сбруе. Подпрыгивание и позвякивание пивных ящиков, когда сперва передние, потом задние резиновые колеса переваливаются через железный поро-

---

[1] Добрый день, мсье! (*франц.*)
[2] Добрый день, мадемуазель (*франц.*).
[3] Простите, мсье, вы не позволите, мсье, мне зайти на минуточку? (*франц.*)
[4] С удовольствием, мадемуазель (*франц.*).
[5] Спасибо, мсье! (*франц.*)

жек въезда. Жестяные буквы на надвратной арке: Н.А.П. — «Немецкая Акционерная Пивоварня». Влажное шипение: бутылкомоечный цех. В половине первого гудит сирена. В час снова гудит сирена. Ксилофонный бутылкомоечный перезвон — партитура забыта, а вот запах остался.

Когда шлем на трубе пивоварни поворачивал восточный ветер и катил черные клубы по кронам каштанов, по глади пруда, по крыше ледника через Индейскую деревню в сторону аэродрома, воздух был пропитан кислым привкусом перебродивших дрожжей, отстоявшихся в разных медных чанах: из-под мартовского, пльзенского, солодового, ячменного и из-под своего родного лангфурского. Добавляли вони пивоварные стоки. Ибо хотя всегда и говорилось, что стоки эти сбрасываются куда-то еще, по меньшей мере частично они попадали в Акционерный пруд, отчего вода в нем была кислая и воняла. Так что мы, когда отведывали Туллиного варева из пиявок, на самом деле пили горьковатый пивной суп. Раздавить жабу было все равно что открыть бутылку мартовского пива. Когда как-то раз один из квелых, вечно мусолящих табачную жвачку рыбаков бросил мне плотвичку с ладонь величиной и я ее возле лебединого домика выпотрошил, внутри оказалась только печень, молока, а все остальное напоминало слипшиеся солодовые леденцы. И когда я эту рыбешку на маленьком трескучем костерке для Йенни зажарил, она вся разбухла, как на дрожжах, пустила пивную пену и на вкус — хоть я и набил ее свежим укропом — была как прогорклый огуречный рассол. Йенни только кусочек попробовала.

Зато когда ветер дул с аэродрома, прогоняя и вонь от пруда, и чадный дым из трубы пивоварни в сторону Малокузнечного парка и лангфурского вокзала, Йенни вставала, отлепляла, наконец, взгляд от набитой льдом огромной рубероидной чушки и, сама отсчитывая такт, танцевала для меня в юной укропной поросли. И так-то легенькая, она в танце была вдвое легче. Отточенным прыжком и нежным реверансом она заканчивала свое выступление, а я должен был хлопать как в театре. Иногда я преподносил ей букетик укропа, стебли которого я стягивал кольцом резиновой прокладки от пивной пробки. Эти вечнокрасные, в любое время года неувядающие резиновые кувшинки сотнями плавали на глади Акционерного пруда, образуя островки и привлекая мальчишек-коллекционеров: помню, между польским походом и взятием острова Крит я накопил их больше двух тысяч и, пересчитывая, чувствовал себя богачом. Как-то раз я сплел из этих прокладок для Йенни бусы, и она носила их как настоящее украшение, а я за нее стыдился:

— Не надо тебе с этой дребеденью по улицам ходить, тут, на пруду, или дома еще куда ни шло...

Но для Йенни резиновые бусы были не какой-нибудь пустяк:

— Они же мне дороги, потому что ты их сделал. Понимаешь, это придает им такой личный оттенок...

Да и не сказать, чтобы бусы были уродливые. Вообще-то я их для Туллы мастерил. Но она бы их выбросила. А когда Йенни танцевала в укропе, бусы смотрелись очень даже неплохо. После танца она всегда говорила:

— А теперь я устала, — и смотрела куда-то поверх ледника. — И уроки еще не сделала. А завтра репетиция, и послезавтра тоже.

И тогда я, спиной к пруду, начинал осторожные расспросы:

— Скажи, а об этом балетмейстере из Берлина ничего больше не слышно?

Йенни отвечала с готовностью:

— Господин Зайцингер прислал недавно открытку из Парижа. Он пишет, мне надо больше работать над моим подъемом.

Я не отставал:

— А как он, собственно, выглядит, этот Зайцингер?

Йенни, с мягкой укоризной:

— Да ты же меня уже сто раз спрашивал. Он очень стройный и элегантно одевается. И все время курит длинные сигареты. И никогда не смеется, разве что глазами.

Я, в который раз повторяя одно и то же:

— А когда он смеется не только глазами, но и ртом или когда разговаривает?

Йенни, как и положено, отвечает:

— Это выглядит странно, но и немножко жутковато, потому что, когда он говорит, у него весь рот полон золотых зубов.

Я:

— Настоящих?

Йенни:

— Не знаю.

Я:

— А ты спроси.

Йенни:

— Неудобно. Вдруг они у него фальшивые.

Я:

— Но у тебя вон тоже бусы из пивных резинок.

Йенни:

— Хорошо, тогда я ему напишу и спрошу.

Я:

— Сегодня же напишешь?

Йенни:

— Сегодня я слишком устала.

Я:

— Тогда завтра.

Йенни:

— Только как мне его об этом спросить?

Я диктую ей текст:

— Напиши просто: «Вот что я еще хотела спросить, господин Зайцингер: ваши золотые зубы — они настоящие? А другие зубы у вас раньше были? И если были, куда они все подевались?»

И Йенни такое письмо написала; а господин Зайцингер с обратной почтой ей ответил: золото самое настоящее; раньше у него были нормальные, небольшие белые зубы, числом тридцать два; он их выбросил, через плечо и в кусты, а себе завел новые, золотые, они дороже, чем тридцать две пары балетных туфелек.

И тогда я сказал Йенни:

— Пересчитай-ка, сколько резиновых колечек в твоих бусах.

Йенни пересчитала и ничего не поняла:

— Надо же, тоже тридцать два, вот чудеса!

Дорогая Тулла!

Дальнейшее, разумеется, без тебя не обошлось, ты не могла не приблизиться снова на своих исцарапанных ногах.

В конце сентября — укроп уже вымахал и пожелтел, а Акционерный пруд мелкой волной прибивал к берегу мыльный венчик, — в конце сентября появилась Тулла.

Ее изрыгнула Индейская деревня, изрыгнула вместе с семью или восемью парнями. Один из них курил трубку. Он стоял возле Туллы тенью и протягивал ей свою носогрейку. Тулла дымила молча. Неспешно, какой-то нацеленной петлей, они подошли ближе, стояли, смотрели куда-то вдаль, нас в упор не замечали, потом повернулись и сгинули, исчезли за оградами и беленными хибарами Индейской деревни.

А в другой раз — вечерело, солнце садилось у нас за спиной, кровавя шлем на трубе пивоварни, словно чело раненого рыцаря, — они вынырнули сбоку, из-за ледника и гуськом потянулись через крапиву вдоль черной рубероидной стены. В

укропе они развернулись веером, Тулла отдала трубку налево и сказала, обращаясь к комарам:

— Они там запереть забыли. Не хочешь ли зайти, Йенни, и взглянуть, что там внутри?

Йенни всегда была так любезна и очень хорошо воспитана:

— Ах нет, поздно уже, и я немножко устала. А у нас завтра английский, да и на балете мне нужно быть в форме.

Тулла, уже снова с трубкой:

— Нет так нет. Мы тогда пойдем скажем сторожу, чтоб закрывал.

Но Йенни уже вскочила, мне тоже пришлось встать:

— Слушай, ты ни в коем случае не пойдешь. Кроме того, ты же сама говоришь, что устала.

Но Йенни уже не устала, а хотела только на минуточку взглянуть:

— Там так интересно, ну пожалуйста, Харри.

Я шагал рядом с ней и влез в крапиву. Тулла впереди, остальные позади нас. Туллин большой палец ткнул в рубероидную дверь: она была приотворена, и из щели почти не тянуло.

Пришлось мне сказать:

— Но одну я тебя не пущу.

И Йенни, такая тоненькая в черном проеме, вежливо ответила:

— Это очень мило с твоей стороны, Харри.

Кто же еще, как не Тулла,

протолкнул меня в ту же дверную щель. А я не сообразил обезвредить тебя и твоих парней, взяв с вас честное слово и скрепив уговор рукопожатием. И как только студеное дыхание ледника связало нас одной веревочкой — а Йенни, укрепляя эту веревочку, сплела свой мизинчик с моим мизинцем, — как только нас стали засасывать эти ледяные легкие, я уже знал: вот сейчас Тулла, одна либо с ребятами, идет к сторожу и берет ключ либо ведет сторожа с ключами; и вся шайка радостно галдит во все свои девять глоток, чтобы сторож, пока запирает, нас не услышал.

То ли поэтому, то ли оттого, что Йенни держала меня за палец, я не отважился позвать на помощь. А она уверенно вела меня вглубь по черным хрустящим бронхам. Казалось, морозное дыхание охватывает нас со всех сторон, сверху и снизу тоже, и мы уже не чувствовали под собою ног. Но при этом мы продвигались вперед по коридорам и лестницам, высвеченным редкими красными точками ориентирных ламп. И Йенни совершенно нормальным голосом мне говорила:

— Харри, пожалуйста осторожно, тут лестница, двенадцать ступенек вниз.

Но как ни старался я аккуратно, ступенька за ступенькой, нащупывать опору, меня все равно тянуло и засасывало вниз этим бездонным холодом. И когда Йенни сказала:

— Ну вот, мы на первом подвальном этаже, теперь надо держаться левее, там спуск на нижний этаж, — я больше всего хотел на этом первом и остаться, хотя вся кожа у меня горела. Может, конечно, это от давешней крапивы, но скорее это было все то же ледяное дыхание, инеем оседавшее на коже. И со всех сторон хруст, нет, треск, а вернее, да, скрежет: ледяные блоки, штабелями, как челюсти, полные зубов, трутся друг о дружку, только изморозь, как эмаль, крошится, и из ледовой пасти несет затхлостью и бродилом, блевотной кислятиной и перегаром, лохматой дремучестью и стужей. Рубероидом и не пахнет. Только дрожжи подходят. Уксус забродил. Плесень грибками поползла.

— Осторожно, ступенька! — предупреждает Йенни.

Куда? В какую солодовую слизь? Кто, на каком этаже какого ада оставил тухнуть открытую кадку огурцов? Какие черти поддают нам жару ниже нуля?

Я хотел закричать, но только прошептал:

— Они нас запрут, если мы не...

Но Йенни, как всегда, честна и доверчива:

— Сторож наверху запирает всегда ровно в семь.

— Где мы?

— Сейчас мы на нижнем подвальном этаже. Тут ледяные блоки, которым уже много лет.

Моя рука хочет все знать точно:

— Сколько лет? — и уже тянется влево, ищет твердое, нащупывает и не может оторваться от первобытных исполинских зубов. — Я приклеился, Йенни! Я примерз!

В тот же миг ладонь Йенни прикрывает мою прилипшую руку, и сразу же мои пальцы отдираются от исполинского зуба, но, ухватив Йеннино запястье, уже не отпускают ее жаркую руку, такую прекрасную в танце, умеющую так парить и замирать в воздухе, и вторую тоже. И обе прямо горят от студеного дыхания ледяных глыб. Под мышками — август. Йенни хихикает:

— Ой, не щекочи меня, Харри.

Но я-то хочу:

— ...только погреться, Йенни.

Она позволяет, и уже снова:

— ...немножко устала, Харри.

Мне не верится:

— ...чтобы тут скамейка была.

Но она не теряет присутствия духа:

— А почему бы тут не быть скамейке, Харри? — И как только она это говорит, тут же скамейка и появляется, вся ледяная. Но поскольку Йенни на нее садится, ледяная скамейка, чем дольше Йенни на ней сидит, превращается в уютную деревянную лавочку. И тут Йенни, глубоко в недрах ледника, говорит мне умудренно-взрослым и заботливым голосом:

— А теперь, Харри, тебе надо перестать мерзнуть. Знаешь, я ведь однажды сидела в снеговике. И когда я там сидела, я кое-чему научилась. Так что если ты не перестанешь мерзнуть, придется тебе ко мне прижаться, понимаешь? А если ты и тогда не перестанешь мерзнуть, потому что ты в снеговике не сидел, придется тебе меня поцеловать, понимаешь, это помогает. А если нужно, я могу тебе и платье свое отдать, мне оно ни к чему, правда ни к чему. И тебе нечего меня стесняться. Ведь, кроме нас, тут никого больше нет. А я тут все равно что дома. Так что можешь его повязать на шею вместо шарфа. А я потом только чуть-чуть вздремну, потому что мне завтра к мадам Ларе, а послезавтра у меня репетиция. Кроме того, знаешь, я правда немножко устала.

Так мы и просидели всю ночь на ледяной деревянной скамейке. Я прижимался к Йенни. Губы у нее были сухие и безвкусные. Ее хлопчатобумажное платьице — если б только вспомнить, в горошек, в полоску или в клеточку? — ее летнее платьишко с короткими рукавами я накинул себе на плечи и вокруг шеи. Без платья, но в бельишке она лежала у меня на руках, и руки не онемели, ведь Йенни была легенькая, как пушинка, даже когда спала. Я не спал, боялся ее уронить. Потому что сам я в снеговике никогда не был и без Йенниных сухих губ, без ее платьица, без этой легкой ноши на руках, без Йенни я бы точно пропал. Пропал среди всего этого морозного сопения, скрежета и хруста, заиндевел бы и заледенел в дыхании ледяных глыб да так и остался бы во льдах по сю пору.

А так мы все же дожили до следующего дня. Утро дало о себе знать возней наверху. Это появились ледовые грузчики в клеенчатых фартуках. Йенни, уже снова в платьице, поинтересовалась:

— А тебе удалось хоть немножко поспать?

— Нет конечно. Кто-то ведь должен был за тобой присматривать.

— А мне, пр[illegible]почилось, что подъем у меня все лучше и лучше,

так что под конец я смогла прокрутить целых тридцать два фуэте; а господин Зайцингер смеялся.

— Золотыми зубами?

— Ага, всеми сразу, а я крутилась и крутилась, без остановки.

Без всякого труда, шепчась и толкуя на ходу сны, мы добрались до верхнего этажа подвала, а оттуда нашли и лестницу к выходу. Ориентирные лампы указывали дорогу между штабелей льда к прямоугольнику света. Но Йенни меня остановила. Никто не должен нас увидеть, иначе:

— Если они нас застукают, нас никогда больше сюда не пустят.

Когда в ярком прямоугольнике перестали мелькать клеенчатые фартуки, когда упитанные бельгийские битюги дернули с места и бодро покатили фургон на резиновых колесах, мы опрометью, пока следующий фургон не подъехал, выскочили наружу. Солнце пропускало косые лучи сквозь кроны каштанов. Крадучись мы пробирались вдоль черных рубероидных стен. Все пахло совсем иначе, чем вчера. Я опять угодил ногами в крапиву. В Малокузнечном проезде, пока Йенни повторяла вслух неправильные английские глаголы, я уже со страхом начал предощущать на лице ожидающую меня дома тяжелую затрещину столярных дел мастера.

Ты знаешь,

что наша ночевка в леднике имела несколько последствий: меня выпороли; полиция, поставленная на ноги старшим преподавателем Брунисом, задавала вопросы; мы как-то вдруг повзрослели и уступили Акционерный пруд со всеми его запахами двенадцатилетним. Коллекцию пивных резинок я отдал, когда очередной старьевщик собирал утиль. Не знаю, выбросила Йенни резиновые бусы или нет. Мы теперь старательно избегали друг друга: Йенни краснела, когда мы не могли разминуться на Эльзенской улице; а меня всякий раз приподнимало, как танцовщицу «с баллоном», когда я сталкивался с Туллой на лестнице или у нас на кухне, куда ее посылали одолжить то соли, то кастрюльку.

У тебя хорошая память?

По меньшей мере пять месяцев, включая Рождество, не могу связать воедино. В это время, в этой бреши между французским и балканским походами, все больше и больше подмастерьев из нашей столярной мастерской забирали на фронт, а позже, когда и на востоке пошло-поехало, заменили сперва подсобниками-украинцами, а потом и французским столяром-подмастерьем. Подмастерье Вишневский пал в Греции. Подмастерье Артур Куляйзе пал на востоке в самом начале, под Львовом; а потом пал и мой кузен, Туллин брат Александр Покрифке, — то есть вообще-то он не пал, а утонул в подводной лодке: началась битва за Атлантику. Все Покрифке, но и столярных дел мастер вместе с женой, надели траурные повязки. И я тоже носил повязку и очень этим гордился. Когда меня спрашивали, по кому траур, я отвечал:

— Мой кузен, он был мне очень дорог, не вернулся из боевого рейда в Карибском море.

И это притом, что Александра Покрифке я почти не знал, да и про Карибское море все было вранье.

Что еще происходило?

Отец мой получал солидные заказы. В его мастерской делались теперь только окна и двери для военно-морских казарм в Путцинге. Внезапно и без всякой видимой причины он начал пить и однажды воскресным утром избил мою мать только за то, что та стояла там, где хотелось стоять ему. Но работу не запускал никогда и

по-прежнему курил свои сигары «Фельфарбе», выменивая их на черном рынке за дверные петли.

Что произошло кроме этого?

Твоего отца сделали руководителем партячейки. Август Покрифке с головой и потрохами ушел в партийную бодягу. У своего партийного врача он выправил себе свидетельство о болезни — обычная история с мениском — и вздумал в машинном цехе нашей мастерской проводить политзанятия.

Но отец не разрешил. Тут же выплыли на свет старые семейные дрязги. На все лады склонялись два моргена пастбищной земли, принадлежавшие моему деду в Остервике. По пальцам подсчитывалось и разбиралось приданое моей матери. Мой отец в ответ козырял тем, что оплачивает школу для Туллы. Август Покрифке на это хрястнул кулаком по столу: раз так, деньги на школу он выплатит партийным кредитом, и баста! И уж он, Август Покрифке, проследит за тем, чтобы политзанятия проводились, пусть хотя бы и в нерабочее время!

А где была летом ты?

Не дома, а в Брёзене со своим третьим классом. Кто искал, мог найти тебя на остове польского минного тральщика, что лежал на отмели неподалеку от входа в гавань. Третьеклассники ныряли внутрь затонувшей посудины и выныривали с разнообразной добычей. Я плавал плохо и не умел открывать под водой глаза. Поэтому я искал тебя в других местах, а на тральщике не показывался. Кроме того, у меня была Йенни, а ты хотела только одного: ребенка. Может, они и впрямь на том корыте тебе его сделали?

Но по тебе вроде ничего не было видно. Или ребята из Индейской деревни? Но и они никаких следов на тебе не оставляли. Или двое украинцев из нашей столярной, с их вечно запуганными картофельными лицами? Но вроде бы ни один из них в сарай тебя не таскал, тем не менее твой отец допросил обоих. А одного из них, по кличке Клеба, потому как он все время хлеба клянчил, Август Покрифке между шлифовальным станком и фрезой избил ватерпасом. И тогда мой отец выгнал твоего отца с работы. Твой отец грозил доносом; но мой отец, которого все-таки уважали в ремесленной палате, да и в партии, сам написал заявление. Им устроили что-то вроде суда чести. И определили, что Августу Покрифке и столярных дел мастеру Либенау следует пойти на мировую; обоих украинцев сменили на двух новых — пленных хватало, — а двух первых украинцев, как у нас поговаривали, отправили в Штутхоф.

Хорошо, раз уж тебе так хочется: Штутхоф!

Словечко это приобретало все более и более многозначительный смысл.

— Ты что, по Штутхофу соскучился?

— Помалкивай лучше, а то еще в Штутхоф загремишь.

Темное, смутное словечко бродило по нашим доходным домам с этажа на этаж, сиживало на кухнях за столом, даже отпускало шуточки, и многие смеялись:

— Они там в Штутхофе нынче такое мыло варят — мыться не захочешь.

Мы оба в Штутхофе никогда не были.

Тулла даже в Никельсвальде не ездила; меня же с палаточным лагерем «юнгфолька» дальше Штегена не заносило; зато господин Брауксель, который платит мне авансы и считает, что мои письма к Тулле весьма важны, знает те места между устьем Вислы и Новым Закосьем. Он помнит Штутхоф богатым поселком, побольше Шивенхорста и Никельсвальде, но поменьше районного центра Нойтайха. Было в Штутхофе в ту пору две тысячи шестьсот девяносто восемь жителей. И они стали

неплохо зарабатывать, когда вскоре после начала войны неподалеку от поселка построили концентрационный лагерь, который затем постоянно расширялся. Даже железнодорожную ветку в лагерь протянули. Она ответвлялась от прибрежной узкоколейки Штутхоф — Нижний Данциг. Это всем было известно, а кто запамятовал, пусть вспомнит: Штутхоф, район Данцигская низина, рейхсокруг Данциг, Западная Пруссия, окружной суд в Данциге, — тихое место, известное благодаря старинной фахверковой церкви и уютным пляжам, где издавна селились немцы: в четырнадцатом веке Тевтонский орден осушил здесь низину, в шестнадцатом сюда пришли трудяги-меннониты из Голландии; в семнадцатом эти места не раз грабили шведы; в 1813 году здесь проходил отступающий Наполеон; а между 1939-м и 1945-м здесь, в концентрационном лагере Штутхоф, район Данцигская низина, умирали люди, и я не знаю, сколько их было в точности.

Не тебя, но нас,
учеников Конрадинума, школа отправила летом в Никельсвальде, неподалеку от Штутхофа. Прежний летний лагерь Заскошин прибрала к рукам партия, переоборудовав его в курсы для руководящих работников. А под Никельсвальде, между исторической мельницей Луизы и прибрежной рощей, был откуплен — наполовину у никельсвальденского мельника Матерна, наполовину у общины Никельсвальде — надел земли и застроен одноэтажным зданием под высокой черепичной крышей. Как и в Заскошине, ученики резались здесь в лапту. В каждом классе были свои асы, умевшие запускать «свечи» до самого неба, и свои козлы отпущения, толстые увальни, которых «пятнали» твердым, набитым волосом кожаным мячом. По утрам флаг торжественно поднимали, вечером спускали. Кормежка была плохая, тем не менее мы толстели — в пойме Вислы даже воздух сытный.

Частенько, в перерывах между играми, я наблюдал за мельником Матерном. Он стоял между мельницей и домом. На левом плече он держал мешок, прильнув к нему ухом. Он слушал мучных червей и провидел будущее.

Допустим, я бы вел иногда с кривобоким мельником всякие разговоры. Возможно, я громко — слышал-то он плохо — его бы спросил:

— Что новенького, господин Матерн?

А он наверняка ответил бы на это так:

— Зима в России будет ранняя.

Может, я захотел бы узнать чуток побольше:

— А до Москвы-то дойдем?

А он бы в ответ напророчил:

— Многие даже до Сибири дойдут.

Теперь мне бы вздумалось сменить тему:

— А знаете вы человека по имени Зайцингер, он теперь в основном в Берлине живет?

Он наверняка долго вслушивался бы в свой мешок:

— Мне только про одного слыхать, его раньше звали по-другому. Его птицы боялись.

У меня было достаточно поводов для дальнейшего любопытства:

— Это тот, у которого золото во рту и который никогда не смеется?

Но мучные черви мельника Матерна никогда не отвечали напрямик:

— Он курит сигареты одну за одной, хотя и так вечно сипит, потому как в свое время сильно простыл.

Я больше не сомневался:

— Тогда это он.

Мельник видел будущее ясно:

— Стало быть, он и будет.

Поскольку в Никельсвальде не было ни Туллы, ни Йенни,

рассказ о летних приключениях гимназистов в Никельсвальде не должен входить в мою задачу; к тому же и лето незаметно подошло к концу.

Осень внесла в нашу школьную жизнь немалые перемены. Школа Гудрун, бывшая имени Хелены Ланге, стала теперь казармой военно-воздушных сил. И все девичьи классы перебрались в наш провонявший мальчишками Конрадинум. Занятия теперь шли в две смены: утром девочки, после обеда мальчики, а через неделю наоборот. Некоторые из учителей, в том числе и старший преподаватель Освальд Брунис, преподавали теперь и девчоночьим классам. В классе, где учились Тулла и Йенни, Брунис вел историю.

Мы теперь вообще перестали видеться. Поскольку занимались мы в разные смены, не составляло труда друг друга избегать: Йенни не приходилось краснеть, меня не приподнимало «баллоном». Но были исключения, и о них стоит поведать.

Ибо однажды между сменами — я вышел пораньше и нес свой ранец на правом плече — под орешниками Упхагенского проезда мне повстречалась Йенни Брунис. У нее было в Конрадинуме пять уроков, после которых она по неизвестным мне причинам, видимо, задержалась. Как бы там ни было, а она шла из школы и тоже несла ранец на правом плече. Зеленые, а порой даже и светло-коричневые орехи валялись под ногами, потому что накануне был ветер. Йенни в темно-синем шерстяном платье с белыми накладными манжетами, в темно-синей шапочке, но не в форменном, а скорее в модном берете, Йенни покраснела и перекинула ранец с правого плеча на левое, когда от нее до меня оставался еще добрый пяток ореховых кустов.

Виллы по обе стороны Упхагенского проезда казались вымершими. Повсюду благородные ели и плакучие ивы, кроваво-красные клены и березы, ронявшие листок за листком. Нам было по четырнадцать, и мы шли друг другу навстречу. Йенни казалась еще более худенькой, чем я ее помнил.

Ее ножки с выворотом, от балета; и зачем только она носит синее, если знает, что покраснеет, когда меня встретит!

Поскольку шел я рано, а она залилась краской до самого берета, поскольку она перекинула ранец с плеча на плечо, я остановился, тоже перекинул ранец и протянул ей руку. Она испуганно подала мне ладошку и, не ответив на пожатие, быстро отняла. Мы стояли посреди россыпи незрелых орехов. Некоторые уже раздавлены, некоторые пустые. Когда очередная птица смолкла в ветвях клена, я заговорил:

— Привет, Йенни, что так поздно? Орехи уже пробовала? Хочешь, я тебе?.. Вкуса совсем нет, зато первые. А как вообще дела? Старикан твой очень бодр, по-прежнему. Недавно опять притащил полный портфель своих слюдяков, килограммов пять, ну, может, четыре, самых разных. И в такие годы все время пешком, всюду пешком, ах да, вот еще что я хотел спросить: как твой балет? Сколько пируэтов ты уже накручиваешь? И как твой подъем, лучше? С удовольствием бы как-нибудь сходил в наш храм культуры, в нашу кофемолку. Как там ваша прима, которую вы из Вены выписали? Я слышал, ты в «Маскараде» участвуешь. К сожалению, не мог, потому что... Но ты, говорят, была очень хороша, я рад. А в ледник случайно больше не ходила? Ведь нет же, правда? Я и говорю, баловство. Но я хорошо все запомнил, потому что отец меня потом... А бусы у тебя еще целы, ну те, из резинок? А что Берлин? Что-нибудь слышно оттуда?

Я болтал, не умолкал, повторялся. Каблуком ботинка колол орехи, ловкими пальцами вылущивал полураздавленные ядрышки из черепков скорлупок, давал ей, ел сам; и Йенни вежливо жевала мыльные орешки, от которых вязало рот. У меня были клейкие пальцы. Она стояла как вкопанная, все еще вся в краске, и отвечала тихо, монотонно, послушно. Глаза беспокойно бегали. Испуганно цеплялись за березы, плакучие ивы, благородные ели:

— Да, спасибо, мой старикан чувствует себя совсем неплохо. Только занятий слишком много. Я иногда помогаю ему тетради проверять. И курит он слишком

много. Конечно, я все еще у мадам Лары. Она действительно замечательно ставит стиль, славится этим. Из Дрездена и даже из Берлина к ней солисты приезжают, чтобы выправить дефекты. У нее же русская школа, с детства. Представляешь, она у самой Преображенской многое смогла перенять и у Трефиловой тоже. И как бы педантично она тебя ни школила — тут вот поджать, и тут немножко, и здесь капельку, — все равно она передает душу танца, а не просто голую технику. А «Маскарад» тебе правда смотреть ни к чему. Знаешь, у нас тут все-таки нет масштабов. Да, Харри, конечно я помню. Но внутри больше ни разу не была. Где-то я читала, что некоторые вещи нельзя повторить, да и не нужно, иначе они теряются. Но бусы твои иногда ношу. А как же, господин Зайцингер прислал недавно письмо. Папе, конечно. Он и правда большой чудак, пишет о тысячах мелочей, которые другие не замечают. Но папа говорит, что в Берлине у него большой успех. Он много всего там делает, и декорации тоже. Говорят, репетиции у него очень трудные, но интересные. Выезжает на гастроли с Неродой, которая, собственно, и руководит театром: Париж, Белград, Салоники... И они не только перед солдатней выступают. Но папа говорит, мне еще рано.

На земле вокруг нас не осталось больше орехов. Да и несколько учеников уже мимо прошли. Один, я его знал, осклабился. Йенни опять как-то очень быстро подала мне руку. На секунду я задержал ее ладонь в своей: пять легких, гладких пальчиков. А на безымянном я обнаружил почернелый, примитивно выкованный серебряный перстенек. Я стянул его у нее с пальца, не спрашивая.

Йенни, без перстенька на руке:

— Это ангустри, так он называется.

Я тру перстенек:

— Что еще за ангустри?

— Это по-цыгански и означает «кольцо».

— Оно у тебя всегда было?

— Да, только ты никому не говори. Оно лежало у меня в колыбельке, когда меня нашли.

— А откуда ты знаешь, что оно так называется?

Краска то приливает к Йеннину лицу, то отливает:

— Тот, кто меня оставил, тогда, он так его называл.

Я:

— Он что, цыган?

Йенни:

— Его звали Биданденгеро.

Я:

— Тогда, значит, и ты, может быть, тоже...

Йенни:

— Вот уж нет, Харри. У них же у всех черные волосы.

Но я тут же нахожу свое доказательство:

— Зато как все танцуют!

Я все рассказал Тулле,

после чего она, я и много кто еще с ума посходили из-за перстня. Мы приписывали этой серебряной вещице волшебную силу и называли Йенни, когда о ней заходил разговор, не иначе как Ангустри. И одноклассницы Йенни, которые и раньше на этот перстенек зарились, теперь дружно им бредили. Один я сохранял по отношению к Ангустри и Йенни сдержанное, на грани безразличия, любопытство. Видно, мы и вправду слишком много всего с ней вместе пережили. К тому же я с самого начала был отравлен Туллой. Даже старшеклассницей, в более или менее приличных платьях, она продолжала источать костноклеевой дурман, а я, хоть и понимал, что влип, почти не сопротивлялся.

Когда Тулла сказала мне:

— В следующий раз стащишь у нее перстень, — я только отмахнулся и, подкарауливая Йенни в Упхагенском проезде, вряд ли всерьез намеревался стянуть серебро у нее с пальца. Дважды в течение одной недели заливалась она краской, потому что я заступал ей дорогу. И оба раза у нее не было на пальце ангустри, зато шею обвивали дурацкие бусы из пивных резинок.

Но Тулла, носившая траур по своему брату Александру,
позаботилась о том, чтобы вскоре и Йенни надела траур. Поздней осенью сорок первого — экстренных сообщений о победах на востоке давно не было — гимназия Конрадинум уже могла гордиться двадцатью двумя погибшими выпускниками. Мраморная доска с их именами-фамилиями, датами жизни и воинскими званиями воцарилась в главном вестибюле между Шопенгауэром и Коперником. Среди погибших был один кавалер Рыцарского креста. Двое других кавалеров Рыцарского креста пока что были живы и регулярно, когда получали отпуск, навещали родную школу. И иногда выступали в актовом зале с короткими либо велеречивыми докладами. Мы сидели как пригвожденные, а учителя согласно кивали. После докладов можно было задавать вопросы. Ученикам хотелось знать, сколько надо еще сбить вражеских «спитфайеров», сколько брутто-регистровых тонн неприятельского водоизмещения затопить. Нам ведь тоже всем ужас как хотелось когда-нибудь после заработать Рыцарский крест. Учителя либо задавали деловые вопросы — исправно ли поступает снабжение, — либо с упоением говорили красивые слова о выдержке любой ценой и войне до победного конца. Старший преподаватель Освальд Брунис спросил одного из кавалеров Рыцарского креста — по-моему, он был летчик, — что он испытал, когда впервые увидел на войне убитого, неважно, соратника или врага. Ответ того летчика-истребителя я не запомнил.

Тот же вопрос Брунис задал и фельдфебелю Вальтеру Матерну, который, поскольку у него не было Рыцарского креста, выступил перед одним только нашим классом с докладом на тему «Противовоздушная оборона в условиях Восточного фронта». Ответ фельдфебеля, кавалера орденов Железного креста первой и второй степени, мне тоже не запомнился. Но я как сейчас его вижу: в серой полевой шинели, тощий и буйволоподобный одновременно, он стиснул своими лапами учительский пульт и глядит поверх наших голов куда-то в стену, уперевшись взглядом, наверно, в шпинатно-зеленый пейзаж Ханса Тома. И дышит так, будто воздух рассекает. Мы хотели услышать от него про бои на Кавказе, но он только бесконечно рассуждал о Ничто.

Через несколько дней после этого доклада Вальтер Матерн снова отбыл в Россию и вскоре получил ранение, которое сделало его непригодным к службе в частях противовоздушной обороны в условиях фронта; слегка прихрамывающего, его перевели в тыловые части противовоздушной обороны, сперва в Кёнигсберг, потом в Данциг. На прибрежной зенитной батарее Брёзен-Глеткау и на батарее Кайзерхафен он обучал теперь младший технический персонал.

Все, в том числе и я, его любили, боялись и хотели брать с него пример; один только старший преподаватель Брунис во время очередного визита фельдфебеля в наш класс поставил его авторитет под сомнение, когда, сверкнув озорными искорками, попросил Матерна вместо сообщения о боях под Орлом прочесть нам наизусть что-нибудь из Эйхендорфа, например «Темные своды, высокие окна...».

Не могу припомнить, учил ли нас старший преподаватель в ту пору чему-нибудь всерьез. Мне вспоминаются темы некоторых наших сочинений: «Свадебные приготовления у зулусов». Или: «Судьба консервной банки». Или: «Когда я еще был мятной карамелькой и становился все меньше и меньше во рту маленькой девочки». Видимо, старшему преподавателю очень хотелось пробудить нашу фантазию; а поскольку из сорока учеников фантазией обладают, как правило, два, остальным тридцати восьми разрешалось тихо клевать носом, покуда двое их одноклассников

— я и еще кто-нибудь — распутывали сложную судьбу консервной банки, воспевали оригинальные свадебные обычаи зулусов и шпионили за мятной карамелькой, которая становилась все меньше и меньше во рту у маленькой девочки.

Эта последняя тема занимала меня, еще одного одноклассника и старшего преподавателя Бруниса недели две, если не более. Играя тысячью складочек и морщинок на бугристом лице, он восседал над нами за своим обшарпанным деревянным пультом и, стараясь нас вдохновить, имитировал рассасывание леденца и сопутствующее ему сюсюканье и заглатывание сока. Он перекладывал воображаемую мятную карамель из-за щеки за щеку, чуть было ее не проглатывал, с закрытыми глазами мусолил на кончике языка крохотный ее обсосок, потом предоставлял конфетке самой говорить и самой о себе рассказывать; короче, в ту пору — сладости были редкостью и распределялись по карточкам — старший преподаватель Брунис был вдвойне помешан на конфетах: если их не было у него в карманах, он их придумывал. А мы на эту же тему писали сочинения.

Начиная примерно с осени сорок первого, всем ученикам раздавались витаминные таблетки. Назывались они «Гебион» и хранились в больших аптечных склянках коричневого стекла. В учительской, на полке, где прежде корешок к корешку красовалась майеровская энциклопедия, теперь шеренгой стояли аптечные склянки с приклеенными табличками классов — от шестого до первого — и ежедневно разносились классными руководителями по классным комнатам для витаминного подкрепления юных организмов, ослабленных на третьем году войны.

Разумеется, всем бросалось в глаза, что старший преподаватель Брунис, входя с аптечной склянкой в свой класс, что-то уже посасывал, даже не пряча складочек блаженства вокруг стариковского рта. Раздача гебионовских таблеток отнимала у него добрую половину урока, поскольку Брунис не пускал, скажем, склянку по рядам, а торжественно, в алфавитном порядке, строго по журналу, вызывал каждого ученика к столу, неспешно запускал руку в стеклянный сосуд, рылся там с таким видом, будто выуживает для каждого что-то особенное, затем извлекал, триумфально сияя всей тысячью своих морщинок, одну из, быть может, пятисот таблеток, предъявлял ее всем как результат невероятного и нелегкого волшебства, после чего вручал, наконец, воспитаннику.

Мы все, конечно, знали: у старшего преподавателя Бруниса оба кармана пиджака опять битком набиты гебионовскими таблетками. Вкус у них был кисло-сладкий, отдавал чуть-чуть лимоном, чуть-чуть глюкозой и еще чуть-чуть больницей. Поскольку все мы с удовольствием их сосали, у Бруниса, который по сладкому с ума сходил, были формальные основания набивать этими таблетками карманы. По пути из учительской в наш класс он ежедневно с коричневой аптечной склянкой в руках наведывался в учительский туалет, примерно через минуту снова появлялся в коридоре и, уже посасывая, двигался дальше: с лацканов карманов осыпалась белая таблеточная труха.

Я вот что хочу сказать: Брунис знал, что мы знаем. Во время урока он частенько исчезал за классной доской, подкреплялся там, а появившись снова, говорил, указывая на свой набитый рот:

— Надеюсь, вы ничего не видели. А если вы что-то видели, то вам померещилось.

Как и все остальные старшие преподаватели, Освальд Брунис нередко и громко чихал. Как и остальные его коллеги, он по такому случаю доставал из кармана большой носовой платок; однако, в отличие от остальных коллег, из кармана Бруниса вместе с необъятным платком извлекались и сыпались на пол гебионовские таблетки — целиком и половинками. Мы радостно кидались спасать эти катящиеся по крашеным половицам колесики. Гроздь согбенных, истово рыщущих по полу учеников облепляла старшего преподавателя и вскоре возвращала ему оброненные половинки и четвертинки. При этом мы всегда говорили — присказка эта вошла у нас в поговорку:

— Господин учитель, вы только что рассыпали много слюдяных гнейсов.

Брунис ответствовал всегда очень серьезно:

— Если речь идет о простых слюдяных гнейсах, то можете оставить их себе; если же среди ваших находок имеется один или тем паче несколько двуслюдяных гнейсов, убедительно прошу оные мне вернуть.

Мы, по молчаливому уговору, находили только двуслюдяные гнейсы, которые тут же исчезали между коричневыми пеньками во рту Бруниса, куда он отправлял их для проверки, чтобы, испытующе переложив их из-за щеки за щеку, окончательно увериться:

— И в самом деле удивительная находка: речь идет о многих чрезвычайно редких и ценных двуслюдяных гнейсах, какая удача, что мы их обнаружили.

А потом старший преподаватель Брунис отбросил все околичности на пути к «Гебиону», за доску больше не прятался и о пропаже двуслюдяных гнейсов ни слова не говорил. Направляясь с аптечной склянкой в руках из учительской в нашу классную комнату, он уже в туалет не наведывался, а жадно и в открытую лакомился нашими таблетками прямо во время занятий. Руки его при этом предательски дрожали. На полуслове, между двумя строфами Эйхендорфа, на него накатывало: и брал он не по одной таблетке, нет, — тремя скрюченными пальцами он выхватывал сразу пять штук, все пять тут же отправлял в свою ненасытную пасть и чавкал так, что нам приходилось отводить глаза.

Нет, Тулла,

мы на него не донесли. Вообще-то доносов потом было много, но из нашего класса ни одного. Правда, пришлось нескольким ученикам, и мне в том числе, давать свидетельские показания в учительской; но мы все как один проявили сдержанность, и хотя и признали, что да, господин старший преподаватель во время уроков ел сладости, но отнюдь не гебионовские таблетки, а мятные леденцы. Эта привычка у господина старшего преподавателя Бруниса всегда была, еще когда мы в шестом и в пятом классе учились и когда никаких гебионовских таблеток в помине не было.

Впрочем, от показаний наших проку было немного: когда Бруниса арестовали, в карманах у него обнаружили таблеточную труху.

Сперва считали, что заявление в полицию написал наш директор, главный преподаватель Клозе; некоторые, впрочем, грешили на Лингенберга, математика; а потом вдруг просочилось — ученицы школы Гудрун, девочки из класса, где Брунис вел историю, на него донесли. И прежде чем я успел подумать, что это наверняка Туллиных рук дело, ее и назвали: Тулла Покрифке.

Это была ты!

Зачем? А затем! Две недели спустя — старший преподаватель Брунис вынужден был передать свой класс старшему преподавателю Хофману, занятий больше не вел, хотя сидел еще не в тюрьме, а у себя дома на Эльзенской улице, разбирал свои камни, — итак, две недели спустя нам снова довелось увидеть нашего старого учителя. Меня и еще двоих учеников нашего класса вызвали в учительскую. Там уже ждали двое старшеклассников и пять девочек из школы Гудрун, среди них, ну конечно, Тулла. Мы натянуто и глупо ухмылялись, а солнце ласковыми лучами поглаживало шеренгу коричневых аптечных склянок на полке. Мы стояли на мягком ковре: сесть нам не разрешили. Классики на стенах: друг на друга ноль внимания. Над зеленым сукном стола заседаний в солнечной дорожке клубилась пыль. Дверь была хорошо смазана: старшего преподавателя Бруниса ввел господин в штатском, но не из учителей, а из криминальной полиции. Следом за ними шел директор, главный преподаватель Клозе. Брунис ласково и рассеянно нам кивнул,

потирал свои смуглые, узловатые ладони, зажег в глазах издевательские искорки, словно намереваясь перейти к новой теме и обсудить с нами свадебные приготовления зулусов, судьбу консервной банки или конфетки во рту маленькой девочки. Но говорить начал не он, а господин в штатском. Он назвал сборище в учительской необходимой для следствия очной ставкой. Врастяжку он задавал старшему преподавателю Брунису всем известные вопросы. Речь шла о таблетках «Гебион» и об изъятии оных из аптечных склянок. С сожалением и покачивая головой, Брунис на все вопросы отвечал отрицательно. Затем допрашивали старшеклассников, потом нас. Обвинения, доводы, контрдоводы. Робкие, запинающиеся попытки возразить:

— Нет, сам я не видел, так говорили. Мы всегда думали. Он очень конфеты любил, только поэтому мы и предполагали. В моем присутствии нет. Но это правда, что он...

По-моему, это не я, а кто-то другой в самом конце сказал:

— Безусловно, старший преподаватель Брунис брал, может, три, от силы четыре раза эти таблетки попробовать. Но мы охотно позволяли ему эту маленькую радость. Мы же знали, как он любит сладкое, всегда любил...

Покуда шли все эти вопросы и ответы, мне бросилось в глаза, как настойчиво, беспомощно и упрямо старший преподаватель Брунис шарит у себя в карманах, то в правом, то в левом. И при этом то и дело облизывает губы. Господин в штатском, казалось, не обращает на это ни малейшего внимания. Сперва, стоя возле высокого окна, он переговорил о чем-то с директором Клозе, потом поманил к окну Туллу: на ней черная плиссированная юбка. Если бы у Бруниса хотя бы трубка с собой была, но трубку он в пальто оставил. Полицейский в штатском, забыв о всяких приличиях, что-то нашептывает Тулле на ушко. Мягкий ковер жжет мне подошвы. Неугомонные руки старшего преподавателя и его беспокойный язык, снова и снова. А теперь Тулла в черной плиссированной юбке куда-то направляется. Юбка шуршит по ногам, пока Тулла не останавливается. Двумя руками она аккуратно берет коричневую аптечную склянку, до половины наполненную гебионовскими таблетками. Она снимает ее с полки, и никто ей не препятствует. И вдоль всего длинного и пустого стола заседаний она идет, шурша своей плиссированной юбкой, за шагом шаг, сузив свои и без того узенькие глазенки. Все не спускают с нее глаз, и Брунис видит, как она к нему приближается. На расстоянии вытянутой руки она останавливается перед старшим преподавателем, прижимает склянку к груди, придерживает ее теперь только левой рукой, а правой снимает стеклянную крышку. Брунис обтирает о пиджак свои взмокшие руки. Тулла откладывает крышку в сторону: на зеленом войлоке стола заседаний ее радостно высвечивает солнечный луч. Язык старшего преподавателя больше не облизывает губы, он замирает, но остается снаружи. Тулла, снова перехватив склянку двумя руками, поднимает ее чуть повыше и, привстав в своей плиссированной юбке на цыпочки, говорит:

— Пожалуйста, господин учитель!

Брунис даже не сопротивлялся. Не стал прятать руки в карманы. Не отвернул голову и не закрыл рот, полный слюны и коричневых пеньков. Никто не услышал его возмущенного возгласа: «Что все это значит?!» Старший преподаватель Брунис схватил сразу, жадно и всей щепотью. Когда три его пальца вынырнули из склянки, в них было шесть или семь гебионовских таблеток: две обронились обратно в банку, одна упала на светло-коричневый велюровый ковер и закатилась под стол, а все остальное он мгновенно запихнул в рот. Но тут ему стало жалко той таблетки, что затерялась где-то под столом. Он опустился на колени. Перед нами, перед директором, перед полицейским в штатском и перед Туллой он опустился на оба колена, дрожащими руками стал шарить по полу возле стола и под столом и обязательно нашел бы эту свою таблетку и отправил бы ее в свой алчущий сладкого рот, если бы не подоспели они — директор и полицейский инспектор в штатском. С двух

сторон они подхватили его под руки и поставили на ноги. Один из старшеклассников отворил смазанную дверь.

— Господин коллега, теперь уже без шуток, прошу вас, — сказал главный преподаватель Клозе.

Тулла под столом на корточках искала таблетку.

Несколько дней спустя нас допрашивали снова. По очереди, один за другим, заходили мы в учительскую. Одной истории с таблетками им явно было мало. Старшеклассники записывали за старшим преподавателем некоторые его изречения, в них усмотрели теперь разложение и нигилизм. Все вдруг разом вспомнили: он же был масон! При этом никто толком даже не знал, что это такое: масон. Я старался воздерживаться от высказываний, так мой отец, столярных дел мастер, мне посоветовал. Возможно, не стоило мне говорить про вечно пустой рожок для флага на окне старшего преподавателя, но ведь мы были соседи, и каждый знал, что он не вывешивает флаг, когда все вывешивают. Вот и инспектор в штатском тоже был об этом осведомлен и только нетерпеливо кивнул, когда я сказал:

— В день рожденья Вождя, к примеру, когда все вывешивают флаги, господин старший преподаватель никогда флаг не вывешивает, хотя флаг у него есть.

Словом, приемный отец и опекун Йенни был отправлен в предварительное заключение. Говорили, что спустя некоторое время его еще на несколько дней отпустили домой, чтобы потом забрать окончательно. Пианист Фельзнер-Имбс, который теперь ежедневно заходил в квартиру в доме напротив и присматривал за оставшейся Йенни, как-то раз сказал моему отцу:

— Подумать только, старого человека отправить в Штутхоф. Он же этого не переживет...

Покрифке и Либенау,

твоя семья и моя семья, через год после гибели твоего брата Александра сложили с себя траур; и тут Йенни перекрасила все свои платья. Раз в неделю в дом напротив наведывалась попечительница несовершеннолетних. Йенни принимала ее в черном. Вначале вообще говорили: Йенни отправят в приют, квартиру старшего преподавателя будут заселять. Но Йенни, вся в черном, нашла заступников. Фельзнер-Имбс писал письма; директриса школы Гудрун подала ходатайство; главный режиссер городского театра лично ходил к окружному руководству; и у мадам Лары Бок-Федоровой нашлись связи. Вот так и получилось, что Йенни по-прежнему, но вся в черном, ходила на занятия и репетиции. Не то чтобы она — в черном берете, в широком черном пальто, аккуратно вышагивая своими стройными ножками в черных хлопчатобумажных чулках — появлялась на улице с заплаканным лицом, отнюдь нет; немного бледная — но это, возможно, только казалось на черном фоне, — ладно неся свою точеную фигурку, ставя ножки с легким балетным выворотом, она шла, неся свой портфель — портфель был коричневый, искусственной кожи — в школу, неся свою бывшую луково-зеленую, закатно-алую или воздушно-голубую, а теперь перекрашенную в черный цвет балетную сумочку в Оливу или в театр, и возвращалась точно в срок, все так же ладно и с легким выворотом, скорее бодрая, чем заносчивая, домой на Эльзенскую улицу.

Тем не менее раздавались голоса, склонные истолковывать каждодневную черноту Йенниных туалетов как цвет заносчивости, чтобы не сказать гордыни. Траур в те годы разрешалось носить лишь в том случае, если повод для него был официально удостоверен и скреплен печатью. Траур дозволялось носить по погибшим сыновьям и усопшим бабушкам; но сухая и коротенькая справка криминальной полиции района Данциг-Новосад, извещавшая о том, что старший преподаватель Освальд Брунис осужден за недостойное поведение и хищение общественного имущества, не являлась убедительным документом для хозяйственного управления магистрата: ибо только там, в отделе карточек на одежду, выдавались талоны на

траурное платье в случае смерти или гибели родственников.

— Что с ней такое, он ведь жив еще. Не станут же они старого человека... И этим она нисколько ему не поможет, скорее наоборот. Кто-то должен ей сказать, что это совершенно бесполезно, только лишний раз привлекает внимание.

Соседи и попечительница говорили с Фельзнер-Имбсом. Пианист попытался убедить Йенни сложить траур. Уверял, что дело не во внешних проявлениях. Вполне достаточно, если она будет носить траур в сердце. Его траур не меньше, у него ведь отняли друга, единственного друга.

Но Йенни настаивала на внешних проявлениях траура и продолжала живым укором расхаживать по всему Лангфуру и по Эльзенской улице во всем черном. Както раз на остановке второго трамвая в сторону Оливы я с ней заговорил. Разумеется, она зарделась, красное и черное. Если бы мне пришлось рисовать ее по памяти, я бы изобразил серо-голубые глаза, тенистые ресницы, темно-каштановые волосы, разделенные пробором надвое и двумя усталыми дугами гладко и тяжело ниспадающие на уши и щеки, чтобы сзади на шее перелиться в туго заплетенную косу. Удлиненный овал лица я бы написал цвета слоновой кости, иной краской оно залилось лишь в исключительных случаях. Словом, лик, прямо-таки созданный для траура: Жизель в сцене на кладбище. Ее неброские, робкие уста говорили только тогда, когда их спрашивали.

На трамвайной остановке я спросил:

— Йенни, так ли уж обязательно тебе все время носить траур? Ведь папаша Брунис со дня на день может вернуться.

— Для меня он уже умер, даже если они не пишут, что это так.

Я постарался сменить тему, поскольку трамвай все не шел:

— А что, вечерами ты так и сидишь дома одна?

— Господин Имбс часто заходит. Мы сортируем и надписываем камни. Понимаешь, после него многое осталось неразобранным.

Хотелось уйти, но ее трамвая все не было.

— И в кино никогда не ходишь или все-таки?

— Когда папа был жив, мы по воскресеньям иногда ходили на утренний сеанс во Дворец УФА. Он научно-популярные фильмы любил смотреть.

Я не дал себя сбить с художественных:

— Так как ты насчет того, чтобы со мной в кино сходить?

Соломенно-желтый, показался ее трамвай:

— Если тебе хочется, с удовольствием.

Пассажиры в зимних пальто начали выходить.

— Необязательно ведь на комедию, можно и на серьезный фильм сходить, правда?

Йенни уже садилась в вагон.

— В «Центральном» идут «Раскованные руки». Правда, до шестнадцати не пускают...

Если бы Тулла сказала:

— Последний ряд, два места, — кассирша наверняка захотела бы взглянуть на ее паспорт; нам же ничего предъявлять не понадобилось, потому что Йенни была в трауре. Мы сидели в пальто: в зале было почти не топлено. Знакомых вроде никого не было. Разговаривать было необязательно, так как беспрерывно играла легкая музыка. Затем одновременно со знакомой позывной мелодией раздернулся занавес, погас свет и началось «Еженедельное обозрение». Только теперь я положил руку Йенни на плечи. Впрочем, долго она там не осталась, потому что по меньшей мере тридцать секунд наша тяжелая артиллерия обстреливала Ленинград. При виде подбитого нашими истребителями английского бомбардировщика Йенни закрыла глаза и уткнулась лбом мне в пальто. Моя рука разгуливала дальше, но глаза не отрыва-

лись от виражей наших истребителей, пересчитывали танки Роммеля на марше по Ливийской пустыне, проследили за пенистой траекторией запущенной торпеды, увидели в покачивающемся перекрестье прицела неприятельский танкер, я дернулся, когда прогремел взрыв, всем телом ощутил вспышку и содрогание раскалывающегося надвое танкера и перенес эту дрожь на Йенни. Когда вездесущая камера «Еженедельного обозрения» проникла в штаб-квартиру Вождя, я прошептал:

— Смотри, Йенни, сейчас Вождя покажут, а может, и его пса.

Мы оба были разочарованы, когда увидели лишь Кейтеля, Йодля и всю прочую свиту, обступившую Вождя на гравиевых дорожках под деревьями.

Когда снова зажгли свет, Йенни сняла пальто, а я нет. Научно-популярный фильм был про оленей и косуль, которых зимой надо подкармливать, чтобы они не погибли. Без пальто Йенни была еще тоньше. Косули совсем не боялись. Ели в горах изнемогали от снега. На экране все были в черном, а не одна только Йенни в ее траурном свитере.

Вообще-то я еще во время фильма про косуль хотел это начать, но решил все-таки основного фильма дождаться. «Раскованные руки» оказались детективом со стрельбой и наручниками. Руки, как выяснилось, принадлежали молодой скульпторше, которая по уши втрескалась в своего профессора-скульптора, — играла ее Бригитта Хорнай. Примерно столько же раз, сколько она его на экране, столько же я Йенни в темном зале. Она закрывала глаза — я видел. Руки на экране то и дело разминали глину, превращая ее в обнаженные тела и резвых скачущих кобылиц. Кожа у Йенни была сухая и прохладная. Поскольку ноги у нее были плотно сжаты, я посчитал, что не худо бы ей их расслабить. Что она тут же и сделала, но продолжала сосредоточенно следить за событиями на экране. Дырочка у нее была еще меньше, чем у Туллы, в чем я и хотел убедиться. Когда я попытался подключить к делу второй палец, Йенни оторвала глаза от экрана:

— Пожалуйста, не надо, Харри. Ты делаешь мне больно.

Я тотчас же перестал, но из объятий ее не выпустил. Манящий, с низкой хрипотцой голос Хорнай заполнял собою полупустой зал. Незадолго до конца фильма я понюхал свои пальцы: они пахли как недозрелые орехи по дороге в школу — пресной, какой-то мыльной горечью.

На обратном пути меня почему-то подбивало на серьезный, деловой разговор. Поначалу, пока мы шли по Вокзальной улице, я просто болтал: фильм был отличный, а вот в обозрении все время одно и то же; про косуль было скучновато; опять завтра эта дурацкая школа; а с папашей Брунисом все обязательно наладится.

— А что они там в Берлине обо всем этом думают? Ты Зайцингеру вообще писала про всю эту историю?

Йенни фильм тоже понравился, Хорнай все-таки большая актриса; она тоже надеется, что с папой Брунисом все кончится хорошо, хотя у нее почему-то твердое чувство, что он уже... А господин Зайцингер уже дважды писал с тех пор, как... Он скоро должен приехать и заберет ее с собой:

— Он считает, в Лангфуре мне сейчас не место. И господин Имбс тоже так думает. Будешь писать мне хоть изредка, если я в берлинский балет перейду?

Йеннины ответы настроили меня на беззаботный лад. Мысль о том, что скоро она вместе со всем своим трауром будет где-то далеко, пробудила во мне много теплых слов. Я великодушно обнял ее за плечи, повел ее в обход темными переулками, останавливался с ней той февральской или мартовской ночью под синими фонарями бомбоубежищ, потом тащил ее к следующему фонарю, притискивал ее к кованым оградам палисадников и всячески убеждал при этом уезжать с Зайцингером в Берлин. И снова и снова обещал ей писать, и не от случая к случаю, а регулярно. В конце концов я чуть ли не приказал ей уезжать из Лангфура, ибо Йенни переложила на меня всю ответственность:

— Если ты не захочешь, чтобы я тебя покидала, я останусь с тобой; но если и

ты считаешь, что господин Зайцингер прав, я уеду.

И тогда я призвал на помощь кое-кого из узников Штутхофа:

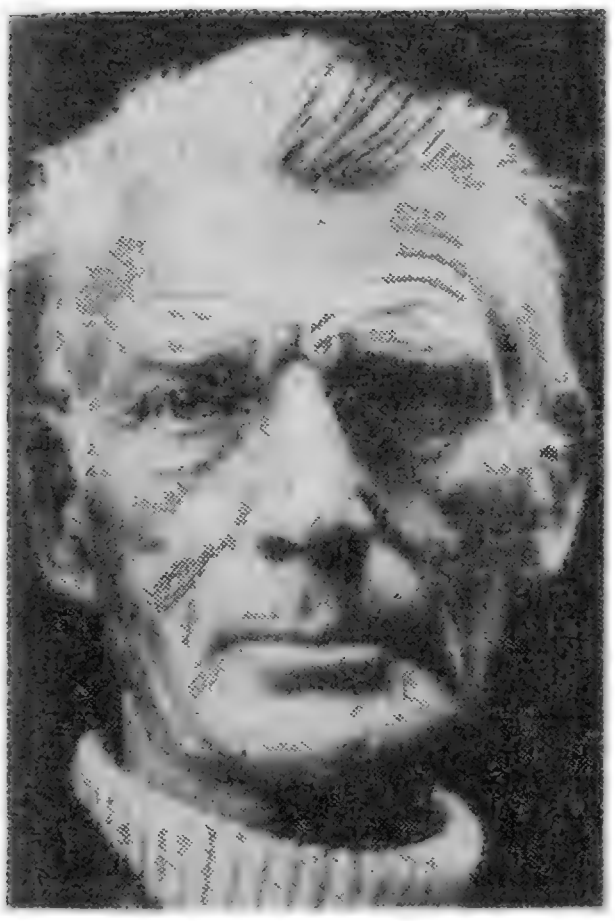
— Знаешь, готов спорить, если бы папаша Брунис был сейчас с нами, он бы сказал то же самое, что я: немедленно в Берлин! Ничего лучшего для тебя и придумать нельзя.

На Эльзенской улице Йенни поблагодарила меня за кино. Я поцеловал ее на прощанье быстро и сухо. Последняя ее фраза звучала как всегда:

— А теперь я правда немножко устала, к тому же мне еще делать английский.

Я был рад, что она не пригласила меня в пустую квартиру старшего преподавателя. Что бы я там стал с ней делать среди всех этих ящиков, битком набитых рассортированными слюдяками, среди остывших непрочищенных трубок и с помыслами в голове, которые ждали и жаждали от Туллы всего, а от Йенни — ничего, ровным счетом ничего.

(Окончание следует)



СЭМЮЭЛ БЕККЕТ

Пьесы разных лет

К 90-летию со дня рождения

Перевод Е. СУРИЦ

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 1969 ГОДА

От переводчика

Одна из уже опубликованных по-русски пьес Беккета называется «Про всех падающих». Слова взяты из Сто сорок четвертого псалма: «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных». Название покрывает, мне кажется, и предлагаемую подборку, да и все творчество Беккета. Он не требует: «меня любите за то, что я умру», он, наоборот, за то, что они умрут, любит своих несчастных героев, и еще за то, что родились на этот свет и в темном промежутке — уже не жизнь и пока не смерть — на пустой и глубокой, неподвижно вибрирующей сцене дрогнут от холода и ждут, и не дождутся Годо.

Рассказывают, что Беккет незадолго до смерти ушел в дом престарелых, чтобы не обременять собою жену, а потом каждый день бегал к ней на свиданье. Если этого не было, стоило выдумать такой типично беккетовский финал, как — в случае чего — стоило бы выдумать самого Беккета, потому что без этой ритмической, ищущей слов немоты, без этого многозначного, как поэзия, парадоксального и гаерски трагического, как жизнь, задумчивого, заступнического, гениального бормотания очень трудно, не правда ли, себе представить то, что принято называть современной литературой.

Беккет неукоснительно сам переводил свои французские вещи на английский и наоборот, при этом с сумасшедшей изобретательностью выкидывая — хозяин барин — такие коленца, что представителю скромной переводческой профессии остается только завистливо ахать, глядя на то, что́ позволено Юпитеру. В силу сказанного, по моему убеждению, тексты Беккета нельзя переводить иначе как с оригинала. Пьесы «Каскандо» и «Шаги» переведены с французского, остальные пьесы — с английского.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕНТА КРЭППА

Пьеса в одном действии

Поздний вечер в будущем.
Комната Крэппа.
На авансцене небольшой столик с двумя ящиками, открывающимися в сторону зрительного зала.
За столом, глядя в зал, то есть по другую сторону от ящиков, сидит усталый старик — **К р э п п.**
Черные порыжелые узкие брюки ему коротки. В порыжелом черном жилете — четыре

больших кармана. Массивные серебряные часы с цепочкой. Очень грязная белая рубашка без воротничка распахнута на груди. Диковатого вида грязно-белые ботинки, очень большого размера, страшно узкие, остроносые.

Лицо бледное. Багровый нос. Седые лохмы. Небрит.

Очень близорук (но без очков). Туг на ухо.

Голос надтреснутый. Характерные интонации.

Ходит с трудом.

На столе — магнитофон с микрофоном и несколько картонных коробок с катушками записей.

Стол и небольшое пространство вокруг ярко освещены. Остальная сцена погружена во тьму.

Мгновение Крэпп сидит неподвижно, потом тяжко вздыхает, смотрит на часы, шарит в кармане, вытаскивает какой-то конверт, кладет обратно, опять шарит в кармане, вытаскивает связку ключей, поднимает к глазам, выбирает нужный ключ, встает и обходит стол. Наклоняется, отпирает первый ящик, заглядывает в него, шарит там рукой, вынимает катушку с записями, разглядывает, кладет обратно, запирает ящик, отпирает второй ящик, заглядывает в него, шарит там рукой, вынимает большой банан, разглядывает его, запирает ящик, кладет ключи в карман. Поворачивается, подходит к краю сцены, останавливается, поглаживает банан, чистит, бросает кожуру прямо под ноги, сует кончик банана в рот и застывает, глядя в пространство пустым взглядом. Наконец надкусывает банан, поворачивается и начинает ходить взад-вперед по краю сцены, по освещенной зоне, то есть не больше четырех-пяти шагов, задумчиво поглощая банан. Вот он наступил на кожуру, поскользнулся, чуть не упал. Наклоняется, разглядывает кожуру и, наконец, не разгибаясь, отбрасывает кожуру в оркестровую яму. Снова ходит взад-вперед, доедает банан, возвращается к столу, садится, мгновение сидит неподвижно, глубоко вздыхает, вынимает из кармана ключи, подносит к глазам, выбирает нужный ключ, встает, обходит стол, отпирает второй ящик, вынимает еще один большой банан, разглядывает его, запирает ящик, кладет ключи в карман, поворачивается, подходит к краю сцены, останавливается, поглаживает банан, очищает, бросает кожуру в оркестровую яму, сует кончик банана в рот и застывает, глядя в пространство пустым взглядом. Наконец его осеняет, он кладет банан в жилетный карман, так что кончик торчит наружу, и со всей скоростью, на которую он еще способен, устремляется в темную глубину сцены. Проходит десять секунд. Громко хлопает пробка. Проходит пятнадцать секунд. Он снова выходит на свет со старым гроссбухом в руках и садится за стол. Кладет перед собою гроссбух, утирает рот, руки обтирает об жилет, потом плотно смыкает ладони и начинает потирать руки.

Крэпп (*с воодушевлением*). Ага! (*Склоняется над гроссбухом, листает страницы, находит нужное место, читает.*) Коробка... тр-ри... катушка... пять. (*Поднимает голову, смотрит прямо перед собою. С наслаждением.*) Катушка! (*Пауза.*) Кату-у-ушка! (*Блаженная улыбка. Пауза. Наклоняется над столом, начинает перебирать коробки.*) Коробка... тр-ри... тр-ри... четыре... два... (*с удивлением*) девять! Господи Боже!.. Семь... Ага! Вот ты где, плутишка! (*Поднимает коробку, разглядывает.*) Коробка три. (*Ставит ее на стол, открывает, роется в катушках.*) Катушка... (*заглядывает в гроссбух*) пять... (*разглядывает катушки*) пять... пять... Ага! Вот ты где, негодница! (*Вынимает катушку, разглядывает.*) Катушка пять. (*Кладет ее на стол, закрывает коробку три, откладывает, берет катушку.*) Коробка три, катушка пять. (*Склоняется над магнитофоном, поднимает взгляд. С наслаждением.*) Кату-у-ушка! (*Блаженно улыбается. Наклоняется, ставит катушку на магнитофон, потирает руки.*) Ага! (*Заглядывает в гроссбух, читает запись в конце страницы.*) Мама отмучилась... Гм... Черный мячик... (*Поднимает голову, смотрит бессмысленным взглядом. В недоумении.*) Черный мячик? (*Снова заглядывает в гроссбух, читает.*) Смуглая няня... (*Поднимает голову, раздумывает, снова заглядывает в гроссбух, читает.*) Некоторые улучшения в работе кишечника... Гм... Незапамятное... что? (*Наклоняется к гроссбуху.*) Равноденствие, незапамятное равноденствие. (*Поднимает голову, смотрит бессмысленным взглядом. В недоумении.*) Незапамятное равноденствие?.. (*Пауза. Пожимает плечами, снова заглядывает в гроссбух, читает.*) Прости-прощай... (*переворачивает страницу*) любовь. (*Поднимает голову, раздумывает, наклоняется к магнитофону, включает, усаживается, приготовляясь слушать, то есть наклоняется вперед, лицом к зрителю, кладет локти на стол, руку приставляет к уху.*)

Лента (*голос сильный, тон несколько приподнятый. Явно узнаваемый голос Крэппа, только гораздо моложе*). Сегодня мне стукнуло тридцать девять, и это... (*Усаживаясь поудобней, он смахивает одну коробку со стола, чертыхается, выключает магнитофон, в сердцах сбрасывает коробки и гроссбух на пол, перематывает ленту к началу, включает.*) Сегодня мне стукнуло тридцать девять, и это

— сигнал, не говоря уж о моей застарелой слабости; что же касается интеллекта, я, судя по всему, на... (*подыскивает слово*) на самом гребне... или около того. Отметил мрачную дату, как и все последние годы, потихонечку, в кабаке. Никого. Сидел у камина, закрыв глаза, и отделял зерно от мякины. Черкнул что набросал на обороте конверта. Но вот, слава Богу, я дома, и как приятно снова залезть в свое старое тряпье. Только что съел, стыдно сказать, три банана и с трудом удержался, чтобы не съесть четвертый. Это же гибель для человека в моем состоянии. (*Порывисто.*) Покончить с ними! (*Пауза.*) Новая лампа — крупное достижение. В этом кольце темноты мне как-то не так одиноко. (*Пауза.*) В каком-то смысле. (*Пауза.*) Приятно встать, пройтись в темноте и снова вернуться к... (*колеблется*) к себе. (*Пауза.*) К Крэппу.

Пауза.

...Верно, интересно, а что я при этом имею в виду... (*Колеблется.*) Я имею в виду, очевидно, те ценности, которые останутся, когда вся муть... когда уляжется вся **моя** муть. Закрою-ка я глаза и попытаюсь себе их представить. (*Пауза. Крэпп поскорей прикрывает глаза.*) Странно, какой тихий сегодня вечер, вот я напрягаю слух и не слышу ни звука. Старая мисс Макглом всегда поет в этот час. А сегодня молчит. Она говорит, это песни ее юности. Ее трудно себе представить юной. Впрочем, дивная женщина. Из Коннахта[1], по всей видимости. (*Пауза.*) Интересно, а я? Буду я петь в таком возрасте, если, понятно, доживу? Нет. (*Пауза.*) А в детстве я пел? Нет. (*Пауза.*) Я хоть когда-нибудь пел? Нет.

Пауза.

Вот, слушал записи какого-то года, урывками, наобум, по книге не проверял, но это было записано лет десять-двенадцать назад, не меньше. Я тогда еще время от времени жил с Бианкой на Кедар-стрит. О Господи, и хватит об этом. Сплошная тоска. (*Пауза.*) Ну что о Бианке сказать, разве что глазам ее следует отдать должное. Со всей теплотою. Вот — я их вдруг так и вижу. Дивные глаза. (*Пауза.*) А, ну да ладно... (*Пауза.*) Мрачнейшая вещь — все эти post mortem[2], но часто они... (*выключает магнитофон, раздумывает, снова включает*)... помогают мне перейти к новой... (*колеблется*) ретроспективе. Просто не верится, что я был когда-то этим юным щенком. Голос! Господи! А какие амбиции. (*Смешок, к которому присоединяется и нынешний Крэпп.*) А решения! (*Смешок, к которому присоединяется и нынешний Крэпп.*) Например, меньше пить. (*Смешок нынешнего Крэппа.*) Подведем итоги. Тысяча семьсот часов из предшествующих восьми тысяч с чем-то — исключительно по кабакам. Больше двадцати процентов, то есть примерно процентов сорок всей его жизни, если не считать сон. (*Пауза.*) Планы перейти к менее... (*колеблется*) увлекательной сексуальной жизни. Последняя болезнь отца. Некоторая ленца, уже проглядывающая в погоне за счастьем. Тщетная жажда забыться. Насмешки над тем, что он именует своею юностью, воссылая Богу хвалы за то, что она миновала. (*Пауза.*) Тут, впрочем, несколько фальшивые нотки. Смутные очертания opus... magnum[3]. И в заключение (*смешок*) прямо-таки слезный вопль к суровому Провидению. (*Долгий хохот, которому вторит и нынешний Крэпп.*) И что же от всей этой мути осталось? Девочка в зеленом бедненьком пальтеце на железнодорожной платформе? Нет?

Пауза.

...Когда я оглянусь...

Крэпп выключает магнитофон, раздумывает, смотрит на часы, встает, уходит в темную глубину сцены. Проходит десять секунд. Щелкает пробка. Еще десять секунд. Вторая пробка. Десять секунд. Третья пробка.

Крэпп (*поет дребезжащим голосом*).

День едва мерцает,
Ночь уже близка,
Тени[4]...

Приступ кашля. Крэпп снова выходит на свет, садится, утирает рот, включает

---

[1] Одна из провинций Ирландии. (*Здесь и далее — прим. перев.*).
[2] После смерти (*лат.*).
[3] Великий труд (*лат.*).
[4] Начало церковного гимна. Автор — английский священник и писатель Сэбин Баринг-Гоулд (1834—1924).

магнитофон, усаживается в прежнюю позу, приготовляясь слушать.

Лента. ...Оглянусь на ушедший год, как я надеюсь, быть может, просветленным взором старости, я увижу дом на канале, где мама лежала при смерти, поздно осенью, после долгого вдовства (*Крэпп вздрагивает*) и... (*выключает магнитофон, чуть перематывает назад ленту, склоняется ухом к аппарату, включает магнитофон*) при смерти, поздно осенью, после долгого вдовства и...

Крэпп выключает магнитофон, поднимает голову, бессмысленно смотрит в пространство. Губы складывают слово «вдовства». Ни звука. Он встает, идет в глубину сцены, возвращается с огромным словарем, кладет его на стол, садится, ищет слово.

Крэпп (*читает по словарю*).«Безбрачное состояние одного из супругов по смерти другого». (*Поднимает взгляд. Удивленно.*) Безбрачное состояние?.. (*Пауза. Снова смотрит в словарь.*) «Глубокий вдовий траур... может относиться также и к животным, к птицам в особенности... траур птицы-ткачика... черный плюмаж самца... Райская вдовушка...» (*Поднимает взгляд. С наслаждением.*) Птица-вдовушка!

Пауза. Закрывает словарь, включает магнитофон, усаживается поудобней, готовясь слушать.

Лента. ...и ту скамью на дамбе, откуда видно было ее окно. Там я сидел на промозглом ветру и хотел, чтобы она поскорей умерла. (*Пауза.*) Вокруг почти никого, только редкие завсегдатаи, няни, дети, старики, собаки, я уж всех их прекрасно знал — о, в лицо, разумеется! Одну смуглую молодую красотку я особенно помню, что-то белое, накрахмаленное, дивная грудь, и с черной крытой коляской, как похоронные дроги. Как на нее ни взгляну, я встречал ее взгляд. Но когда я набрался храбрости и заговорил с нею — не будучи ей представлен, — она пригрозила, что позовет полицейского. Будто я посягал на ее добродетель! (*Смех. Пауза.*) Но какое лицо! А глаза! Как... (*подбирает слово*) хризолиты! (*Пауза.*) Ну ладно... (*Пауза.*) Я был там, когда (*Крэпп выключает магнитофон, погружается в задумчивость, снова включает*) опустились шторы, такие грязно-коричневые, сборчатые, и, как назло, именно в эту секунду я бросал мячик маленькому белому песику. Я поднял глаза — и увидел. Все. Конец. И на несколько мгновений я задержал мячик в руке, и песик скулил и теребил меня лапкой. (*Пауза.*) Несколько мгновений. Моих мгновений, ее мгновений. Мгновений песика. (*Пауза.*) В конце концов я ему отдал мячик, и он взял его в пасть, так нежно, так нежно. Старый, черный, твердый резиновый мячик. (*Пауза.*) Умирать буду, моей ладони его не забыть — этот мячик. (*Пауза.*) Мне бы его сохранить. (*Пауза.*) Но я его песику отдал.

Пауза.

Ну ладно...

Пауза.

Год прошел в духовном мраке и скудости до самой той незапамятной ночи в марте, на молу, под хлещущим ветром, — не забыть, не забыть! — когда я вдруг все понял. Это было прозрение. Вот что прежде всего сегодня надо бы записать, на тот день, когда мой труд будет завершен и в памяти моей, может быть, не останется уже ни теплого, ни холодного местечка для того чуда... (*колеблется*) того огня, который все озарил. А понял я вдруг, что то́, из чего я всю жизнь исходил, а именно... (*Крэпп резко выключает магнитофон, прокручивает ленту вперед, включает*) ...огромные гранитные скалы, брызги пены в свечении маяка, и анемометр кружил как пропеллер, и вдруг меня осенило, что то́ темное, что я вечно стремился в себе подавить, в действительности самое во мне... (*Крэпп чертыхается, выключает магнитофон, прокручивает ленту вперед, снова включает магнитофон*) ...эта буря и ночь до самого моего смертного часа будут нерушимо связаны с пониманием, светом, с этим огнем... (*Крэпп чертыхается громче, выключает магнитофон, прогоняет ленту вперед, снова включает магнитофон*) ...зарывшись лицом в ее груди, и одной рукой я ее обнимал. Мы лежали не шевелясь. Но все шевелилось под нами, и нас нежно качало — вверх-вниз, из стороны в сторону.

Пауза.

Полночь миновала. Никогда я не слышал такой тишины. На земле будто вымерло все.

Пауза.

На этом я кончаю... (*Крэпп выключает магнитофон, перематывает ленту назад, снова включает магнитофон*) ...в сторону озера и купались, потом оттолкнулись шестом от крутого берега и поплыли. Она лежала на дне лодки, закинув руки под голову, закрыв глаза. Палило солнце, веял ветерок, весело бежала вода. Я увидел царапину у нее на бедре и спросил, откуда у нее эта царапина. «Собирала крыжовник», — она сказала. Я опять говорил, что, по-моему, все это обречено, все напрасно, и зачем продолжать, и, не открывая глаз, она соглашалась. (*Пауза.*) Я попросил ее на меня поглядеть, и спустя несколько мгновений... (*пауза*) спустя несколько мгновений она попыталась, но глаза были — щелки, из-за палящего солнца. Я склонился над нею, и глаза оказались в тени и раскрылись. (*Пауза. Тихо.*) Впусти меня. (*Пауза.*) Нас отнесло в камыши, и мы в них застряли... Как вздыхали они, когда гнулись под носом лодки. (*Пауза.*) Я лежал ничком, зарывшись лицом в ее груди, и одной рукой я ее обнимал. Мы лежали не шевелясь. Но все шевелилось под нами, и нас нежно качало — вверх-вниз, из стороны в сторону.

Пауза.

Полночь миновала. Никогда я не слышал...

Крэпп выключает магнитофон, впадает в задумчивость. Потом шарит в карманах, нащупывает банан, вытаскивает его, разглядывает, кладет обратно, опять шарит в карманах, вытаскивает конверт, кладет обратно, смотрит на часы, встает, идет в темную глубину сцены. Проходит десять секунд. Звякает бутылка о стакан, шумит сифон. Проходит десять секунд. Звякает бутылка о стакан. Еще десять секунд. Слегка пошатываясь, Крэпп снова выходит на свет, подходит к столу со стороны ящиков, вынимает ключи, подносит к глазам, берет нужный ключ, отпирает первый ящик, заглядывает в него, шарит там рукой, вынимает катушку, разглядывает, запирает ящик, кладет ключи обратно в карман, садится к столу, снимает ленту с магнитофона, кладет на словарь, ставит на магнитофон чистую ленту, вынимает из кармана конверт, разглядывает запись на обороте, кладет конверт на стол, включает магнитофон, прочищает горло и начинает запись.

Крэпп. Только что прослушал кретина, каким выставлялся тридцать лет назад, даже не верится, что я когда-то был такой идиот. Слава Богу, с этим со всем покончено. (*Пауза.*) Какие у нее были глаза! (*Погружается в задумчивость, вдруг соображает, что лента крутится вхолостую, выключает магнитофон, сидит в задумчивости. Наконец.*) Все это, вся... (*Соображает, что запись не идет, включает магнитофон.*) Все это, вся эта куча старого дерьма, этот свет, это темное во мне, и голод, и пиршества... (*подыскивает слово*) столетней давности. (*Кричит.*) Да! (*Пауза.*) Не надо, Господи! Оторви его от поденщины, Господи. (*Пауза.*) А, да ладно. Может, он и был прав. (*Пауза.*) Может, он и был прав. (*Раздумывает. Вдруг приходит в себя. Выключает магнитофон. Разглядывает конверт.*) Тьфу ты! (*Комкает и бросает конверт. Раздумывает. Включает магнитофон.*) И сказать-то нечего, ничего не выжмешь. Что такое теперь год? Старая жвачка, застывший кал. (*Пауза.*) Тешился словом «катушка». (*Блаженно.*) Кату-у-ушка! Счастливейшее мгновенье из полумиллиона прошедших. (*Пауза.*) Продано семнадцать экземпляров, из них одиннадцать по оптовой цене бесплатным разъездным библиотекам за границей. Чем не слава. (*Пауза.*) Фунт семь шиллингов, что ли. (*Пауза.*) Раза два за лето выползал, пока не похолодало. Сидел в парке, дрожал мелкой дрожью, уйдя в воспоминания и мечтая поскорей убраться навсегда. Никого. (*Пауза.*) Последние порывы. (*С жаром.*) Подавить их! (*Пауза.*) Портил глаза, перечитывая «Эффи»[1], в день по страничке, и опять заливался слезами. Эффи. (*Пауза.*) Вот бы с кем я был счастлив — Балтика, сосны, дюны. (*Пауза.*) Я-то был бы, а? (*Пауза.*) Ну а она? (*Пауза.*) Тьфу! (*Пауза.*) Фанни являлась несколько раз. Старая костлявая шлюха. Достижения были небогатые, но не то чтоб совсем пустой номер. В последний раз даже вышло и вовсе недурно. Надо же, она сказала, и как это так можно, в таком возрасте? Я ей сказал, что всю жизнь блюл себя для нее. (*Пауза.*) Раз потащился к вечерне, как когда еще бегал в коротких штанишках, тряхнул стариною. (*Пауза. Поет.*)

День едва мерцает,
Ночь уже близка.
Тени (*закашливается, продолжает едва слышно*) прибывают,
Гаснут облака.

(*С трудом переводит дух.*) Клевал носом, чуть со скамьи не свалился. (*Пауза.*)

[1] «Эффи Брист» — роман немецкого писателя Теодора Фонтане (1819—1898).

Иной раз ночью подумывал, не сделать ли последний рывок... (*Пауза.*) Ладно, кончай пьянку, ложись-ка ты спать. Завтра продолжишь эту бодягу. А можно на этом и кончить. (*Пауза.*) На этом и кончить. (*Пауза.*) Лежать в темноте и... блуждать. Снова идти в сочельник лощиной, собирать остролист, в красных ягодах остролист. (*Пауза.*) Снова воскресным утром брести по туманному Крогану с той сучкой, останавливаться, слушать колокола. (*Пауза.*) И так далее. (*Пауза.*) Снова, снова. (*Пауза.*) Снова вся эта давнишняя маета. (*Пауза.*) Одного раза тебе мало. (*Пауза.*) Зарыться лицом в ее груди...

Долгая пауза. Вдруг он наклоняется над магнитофоном, выключает его, сдергивает ленту, отбрасывает, ставит другую, перематывает вперед, к нужному ему месту, включает магнитофон, слушает, глядя прямо перед собой.

Лента. «...крыжовник», — она сказала. Я опять говорил, что, по-моему, все это обречено, все напрасно и зачем продолжать, и, не открывая глаз, она соглашалась. (*Пауза.*) Я попросил ее на меня поглядеть, и спустя несколько мгновений... (*пауза*) спустя несколько мгновений она попыталась, но глаза были — щелки, из-за палящего солнца. Я склонился над нею, и глаза оказались в тени и раскрылись. (*Пауза. Тихо.*) Впусти меня. (*Пауза.*) Нас отнесло в камыши, и мы в них застряли... Как вздыхали они, когда гнулись под носом лодки. (*Пауза.*) Я лежал ничком, зарывшись лицом в ее груди, и одной рукой я ее обнимал. Мы лежали не шевелясь. Но все шевелилось под нами, и нас нежно качало — вверх-вниз, из стороны в сторону.

Пауза. Губы Крэппа шевелятся. Ни звука.

Полночь миновала. Никогда я не слышал такой тишины. На земле будто вымерло все.

Пауза.

На этом я кончаю свою ленту. Коробка (*пауза*) три, катушка (*пауза*) пять. Возможно, мои лучшие годы прошли. Когда была еще надежда на счастье. Но я бы не хотел их вернуть. Нет. Теперь, когда во мне этот пламень. Нет, я бы не хотел их вернуть.

Крэпп неподвижно смотрит прямо перед собою. Беззвучно крутится лента.

ЗОЛА

Радиопьеса

Едва слышный шум моря.
Шорох гальки под ботинками **Г е н р и**. Он останавливается.
Шум моря чуть слышней.

Генри. Вперед. (*Шум моря. Голос становится громче.*) Вперед! (*Идет вперед. Шуршит под ботинками галька.*) Стоп. (*Шорох гальки. Он продолжает идти. Голос громче.*) Стоп! (*Останавливается. Шум моря чуть громче.*) Садись! (*Шум моря. Голос громче.*) Садись! (*Шорох гальки. Он садится. Шум моря заполняет все дальнейшие паузы.*) Кто сейчас со мною? (*Пауза.*) Старик, слепой слабоумный старик. (*Пауза.*) Отец, воскресший из мертвых, чтоб побыть со мной. (*Пауза.*) Как будто он не умер. (*Пауза.*) Нет, просто он воскрес из мертвых, чтобы побыть со мной, в этом странном месте. (*Пауза.*) Слышит он меня? (*Пауза.*) Да, пожалуй, слышит. (*Пауза.*) И будет мне отвечать? (*Пауза.*) Нет, не отвечает. (*Пауза.*) Просто он побудет со мной. (*Пауза.*) Звук, который ты слышишь, — это шум моря. (*Пауза. Громче.*) Я говорю, звук, который ты слышишь, — это шум моря, мы сидим на берегу. (*Пауза.*) Я ведь потому объясняю, что звук странный и не похож на шум моря, и если не видеть, что́ это — так и не догадаться. (*Пауза.*) Стук копыт! (*Пауза. Громче.*) Стук копыт! (*Звонкий стук копыт по дороге. Скоро он замирает. Пауза.*) Еще! (*Снова стук копыт. Пауза. Возбужденно.*) Научить бы их отбивать шаг на месте! Подковать стальными

подковами, привязать к коновязи, и пусть бьют копытом весь день! (*Пауза.*) Десятитонного мамонта воскресить бы, подковать стальными подковами, и пусть топает, затаптывает весь мир к чертям. (*Пауза.*) Прислушайся! (*Пауза.*) А теперь прислушайся к свету, ты всегда любил свет, такой, чтоб вскоре после полудня, и весь берег в тени, и море видно до самого острова. (*Пауза.*) Ты ни за что не хотел жить на этой стороне бухты, тебе нужно было солнце на воде для твоих этих вечных вечерних купаний. Но, заполучив твои денежки, я перебрался сюда, как ты, может быть, знаешь. (*Пауза.*) Тело твое мы так и не нашли, знаешь ли, и с утверждением завещания вышла жуткая проволочка, нам говорили — а где доказательства, что он от вас не сбежал и теперь жив-здоров, под чужим именем не скрывается в какой-нибудь Аргентине, и мама ужасно страдала. (*Пауза.*) Я в этом смысле в тебя, когда оно далеко — не могу, только я-то в него никогда не вхожу, да, в последний раз входил, кажется, с тобой вместе. (*Пауза.*) Мне бы только быть рядом. (*Пауза.*) Сегодня оно тихое, но часто я его слышу даже дома или бродя по дорогам и начинаю говорить, ах, просто чтоб его заглушить, а никто ничего не замечает. (*Пауза.*) Но теперь я, где бы ни был, все говорю, говорю, раз поехал даже в Швейцарию, чтоб быть от этого проклятья подальше, и все время там не умолкал. (*Пауза.*) Раньше мне никто не был нужен, я сам с собой говорил, рассказывал разные истории, была одна дивная история про старика по имени Боултон, я ее так и не кончил, я ни одной истории так и не кончил, я ничего не кончал, все продолжалось вечно. (*Пауза.*) Боултон. (*Пауза. Громче.*) Боултон! (*Пауза.*) У огня, когда ставни... нет, шторы, шторы, когда шторы плотно закрыты и не впускают света, света нет, только свет от огня, он сидит... нет, он стоит на ковре в темноте у огня, опершись на каминную доску, стоит и ждет в темноте у огня в своем старом красном халате, и в доме ни звука, лишь треск огня. (*Пауза.*) Он стоит в своем красном халате, который вот-вот займется огнем, как в детстве когда-то, но нет, то была пижамка, он стоит и ждет в темноте, света нет, только свет от огня, он стоит, он старик, он в беде. (*Пауза.*) И вот снова звонок в дверь, он — к окну, он выглядывает из-за шторы, а там: славный малый, крепкий старик, ясная зимняя ночь, и снег кругом, трескучий мороз, все бело, ветки кедров гнутся под тяжестью; потом рука снова тянется к звонку, и он узнает... Холлоуэя... (*долгая пауза*) да, Холлоуэя, узнает Холлоуэя, идет к двери и открывает. (*Пауза.*) Снаружи тишь, ни звука, только брякнет собачья цепь или сук вздохнет, если долго стоять и вслушиваться — все бело, и Холлоуэй со своей черной сумкой, да, и ни звука, трескучий мороз, и луна, белая, маленькая, и петляющий след от калош Холлоуэя, и ярко-зеленая Вега в созвездии Лиры. (*Пауза.*) И ярко-зеленая Вега в созвездии Лиры. Следующий за тем разговор происходит на крыльце, нет, в комнате, уже в комнате, итак, разговор происходит в комнате. Холлоуэй: «Боултон, дружище, уже за полночь, и я бы хотел...» Тут он умолкает. Боултон: «Пожалуйста, ну ПОЖАЛУЙСТА!» И — мертвая тишина, ни звука, лишь треск огня, угли все догорают, Холлоуэй, на ковре, пытается согреть себе зад, а Боултон — да, где же Боултон? — света нет, только свет от огня, Боултон стоит у окна, за шторами, чуть их раздвигая рукой, выглядывает наружу, и там все бело, даже шпиль побелел, даже флюгер, это редко бывает, в доме тихо, ни звука, только треск в камине, но уже это не пламя, зола. (*Пауза.*) Зола. (*Пауза.*) Беглый, оплошный, неверный звук, жуткий звук, Холлоуэй — на ковре, славный малый, огромный, крепкий, ноги расставил, руки за спину заложил, под фалды старого пальто, Боултон — у окна, он старик, ну и вид у него в старом красном халате, он стоит спиною к шторам, руку поднял, чтобы еще их раздвинуть, он выглядывает наружу, там бело, и беда, и ни звука, и зола, и беда, и бело, и ни звука. (*Пауза.*) Нет, ты слушай! (*Пауза.*) Закрой глаза и слушай, ну что, как тебе, а? (*Пауза. Взволнованно.*) Капе́ль! Капе́ль! (*Стук капели, быстро нарастает, вдруг обрывается.*) Еще! (*Снова стук капели, начинает нарастать.*) Нет! (*Стук капели обрывается. Пауза.*) Отец! (*Пауза. Взволнованно.*) Истории, истории, годами эти истории, и вот наконец захотелось, чтоб кто-то со мною был, кто угодно, чужой, и чтоб я говорил для него, и воображал, будто он меня слушает, так годами и шло, а потом захотелось, чтоб кто-то, кто... знал меня, знал когда-то, чтоб кто-то со мною был, и меня слушал, такого, какой я теперь. (*Пауза.*) Все равно не то. (*Пауза.*) Опять не то. (*Пауза.*) Надо снова попробовать. (*Пауза.*) ...Все бело, и ни звука. (*Пауза.*) Холлоуэй... (*пауза*) Холлоуэй говорит, что уходит, какого черта ему торчать всю ночь у черной каминной решетки, это же представить себе невозможно. Как! Вытащить человека, старого друга, в стужу и

темь, нужно, мол, до зарезу, и он притащился, с сумкой, и вот без единого слова, без объясненья — ни тепла, ни света. Боултон: «Ну пожалуйста. ПОЖАЛУЙСТА!» Холлоуэй: «Не накормить, не обогреть, он продрог до костей, тут и насмерть простыть недолго, это же представить себе невозможно — так обойтись со старым другом!» Он говорит, что уходит, но не двигается, и — ни звука, огонь догорает, и в окне белый луч, сцена жуткая, и зачем он только явился, не то, огонь догорает, и стужа, беда, бело, и ни звука, не то. Нет, не то. (*Пауза.*) Не то. (*Пауза.*) Не вышло. (*Пауза.*) Ты слушай! (*Пауза.*) Отец! (*Пауза.*) Ты бы меня не узнал теперь, пожалел бы, что меня произвел на свет, да ты уж и так жалел. Ничтожество. Последнее, что я от тебя услышал. Ничтожество. (*Пауза. Изображая голос отца.*) «Пойдем искупаемся?» — «Нет». — «Идем, идем». — «Нет». Злобный взгляд, ты идешь к двери, оборачиваешься, опять злобный взгляд. «Ничтожество, вот ты кто! Ничтожество!» (*Страшный стук двери. Пауза.*) Еще! (*Стук двери. Пауза.*) Так хлопнуть дверью жизни! (*Пауза.*) Ничтожество. (*Пауза.*) Вот если бы она тогда... о Господи! (*Пауза.*) Ты Аду никогда ведь не видел, или видел, не помню, неважно, ее теперь бы никто не узнал. (*Пауза.*) Из-за чего она так настроилась против меня, как ты думаешь? Наверно, из-за девчонки — отвратительное маленькое существо, Господи, лучше бы ее у нас не было, я с ней гулял по полям, и какой это ужас был, Господи Иисусе, вцепится в мою руку, а я не могу говорить и с ума схожу: «А теперь побегай, Адочка, погляди на овечек». (*Изображая голос Адочки.*) «Нет, папа». — «Иди, иди побегай». (*Слезливо.*) «Нет, папа». (*В бешенстве.*) «Кому сказано — иди погляди на овечек!» (*Громкий рев Адочки. Пауза.*) Ну и Ада — тоже, с ней разговаривать — это же Бог знает что, это, наверно, как в преисподней разговоры, под лепет Леты, про доброе старое время, когда мы еще только мечтали о смерти. (*Пауза.*) О ценах на маргарин пятьдесят лет назад. (*Пауза.*) И теперь. (*Пауза. С торжественным негодованием.*) Отец! (*Пауза.*) Устал я с тобой разговаривать. (*Пауза.*) И вечно одно и то же, гуляем с тобой по горам, говорим, говорим, и вдруг — мрачность, молчок, и потом ты дома молчала неделями, хмурая, кислая, уж лучше бы ты умерла, лучше бы умерла. (*Долгая пауза.*) Ада. (*Пауза. Громче.*) Ада!

Ада (*голос все время тихий, дальний*). Да.

Генри. Давно ты тут?

Ада. Недавно. (*Пауза.*) Ну, чего замолчал? Не обращай на меня внимания. (*Пауза.*) Может, мне уйти? (*Пауза.*) Где Адочка?

Пауза.

Генри. С учителем музыки. (*Пауза.*) Ты будешь сегодня мне отвечать?

Ада. Не сидел бы ты на холодной гальке, это вредно для твоей опухоли. Встанька, я шаль подстелю. (*Пауза.*) Представляю, как ты замерз, белье-то шерстяное надел? (*Пауза.*) Генри, ты надел шерстяное белье?

Генри. Было так — я надел, потом снял, потом снова надел, снова снял, снова надел, снова...

Ада. Но сейчас-то оно на тебе?

Генри. Не знаю. (*Пауза.*) Стук копыт! (*Пауза. Громче.*) Стук копыт! (*Звонкий стук копыт на дороге. Тотчас замирает.*) Еще!

Снова стук копыт. Пауза.

Ада. Слышал?

Генри. Не совсем.

Ада. Это они галопом?

Генри. Нет. (*Пауза.*) Может ли лошадь делать шаг на месте?

Пауза.

Ада. Что-то я тебя не пойму.

Генри (*раздраженно*). Можно ли выучить лошадь стоять смирно и отбивать шаг на месте всеми четырьмя ногами?

Ада. О! (*Пауза.*) В моем воображении все исключительно лошади это умели. (*Смеется. Пауза.*) Ну засмейся же, Генри, ведь не каждый день мне удается отмочить шутку. (*Пауза.*) Генри, засмейся, ну засмейся ради меня.

Генри. Ты хочешь, чтобы я — я засмеялся?

Ада. У тебя когда-то был такой изумительный смех, этим-то я прежде всего и пленилась. Твоим смехом, твоей улыбкой. (*Пауза.*) Ну давай же, пусть все будет как в старые времена.

Пауза. Он пытается расхохотаться, у него не получается.

Генри. Начну-ка я с улыбки. (*Пауза для улыбки.*) Ну как, пленилась? (*Пауза.*) Ладно, последняя попытка. (*Долгий, кошмарный смех.*) Ну и как? При мне мои прежние чары?

Ада. О Господи.

Пауза.

Генри. Нет, ты только его послушай! (*Пауза.*) Оно засасывает, когтит! (*Пауза.*) Бежать! От него подальше! В пампасы! А? Что?

Ада. Успокойся.

Генри. А я живу на самом его краю! Что причиной? Профессиональный долг? (*Резкий смешок.*) Интересы здоровья? (*Смешок.*) Семейные узы? (*Смешок.*) Женщина? (*Смешок, которому вторит Ада.*) Родная могила, которую я не в силах покинуть? (*Пауза.*) Ты только послушай! На что это похоже?

Ада. Похоже на старый звук, который я уж слыхала когда-то. (*Пауза.*) Как в другое время на том же месте. (*Пауза.*) Оно тогда бурлило, нас обдавало брызгами. (*Пауза.*) Странно, и чего оно тогда бурлило. (*Пауза.*) А теперь тихое.

Пауза.

Генри. Встанем, пойдем?

Ада. Пойдем? Куда? А как же Адочка? Она ужасно расстроится, если придет и увидит, что ты ушел без нее. (*Пауза.*) Как думаешь, из-за чего она задержалась?

Смачный удар цилиндрической линейкой по пианино. Адочка неуверенно играет восходящую и нисходящую гамму ля бемоль мажор, сперва левой и правой рукой в одном направлении, потом в разных. Пауза.

Учитель музыки (*с итальянским акцентом*). Санта Чечилия!

Пауза.

Адочка. Можно я теперь пьесу сыграю, да?

Пауза. Учитель музыки выстукивает линейкой два такта вальса. Адочка играет вступительные такты пятого вальса Шопена ля бемоль мажор, учитель легонько отбивает такт. В первом басовом аккорде, такт пятый, она берет ля вместо фа. Раскатистый удар линейки. Адочка прерывает игру.

Учитель музыки. Фа!
Адочка (*в слезах*). Что?
Учитель музыки (*сердито*). Фа, фа!
Адочка (*в слезах*). Где?
Учитель музыки (*сердито*). Фа! (*Изо всех сил лупит по клавише.*) Фа!

Пауза. Адочка начинает снова, учитель легонько отбивает линейкой такт. Дойдя до того же места, она делает ту же ошибку. Оглушительный удар линейки. Адочка перестает играть, начинает хныкать.

Учитель музыки (*в бешенстве*). Фа! (*Лупит по клавише.*) Фа! (*Удар по клавише.*) Фа!

Оглушительный удар по клавише, крик учителя «Фа!», хныканье Адочки разрастаются до предела, затем вдруг все смолкает. Пауза.

Ада. Ты сегодня неразговорчивый.

Генри. Мало было выволочь ее на этот свет, так нет же, еще она на пианино должна играть.

Ада. Она должна учиться. И будет учиться. Этому... и верховой езде.

Стук копыт бредущих лошадей.

Учитель верховой езды. Ну, мисс! Локотки прижмем! Руки опустим, мисс! (*Копыта отбивают рысь.*) Ну, мисс! Спинку прямее, мисс! Прижмем коленочки! (*Легкий галоп.*) Ну, мисс! Вберем животик! Выше подбородок, мисс! (*Галоп.*) Ну, мисс! Смотрим вперед, мисс! (*Адочка начинает хныкать.*) Ну, мисс! Ну!

Стук копыт, крик «Ну, мисс!» и хныканье Адочки разрастаются до предела, потом вдруг все обрывается. Пауза.

Ада. Ты о чем думаешь? (*Пауза.*) Меня никогда ничему не учили, а потом уж поздно было. Я всю жизнь жалела.

Генри. Да, в чем-то ты была сильна, я забыл?

Ада. А-а... В геометрии, наверно. Планиметрия и стереометрия. (*Пауза.*) Сперва планиметрия, потом стереометрия. (*Генри встает, шуршит галька.*) Ты чего встал?

Генри. Подумал, может, подойти к самой воде. (*Пауза, вздох.*) И обратно. (*Пауза.*)

Размять свои старые кости.

Пауза.

Ада. Ну так что же ты? (*Пауза.*) Не надо стоять и про это думать. (*Пауза.*) Не надо стоять и смотреть. (*Пауза.*)

Он идет к морю. Шуршит под ботинками галька. Он проходит шагов десять, останавливается у края воды. Пауза. Шум моря чуть громче. Голос дальний.

Не надо ботинки мочить хорошие.

Пауза.

Генри. Не надо, не надо...

Море начинает бурлить.

Ада (*двадцать лет назад. Умоляюще*). Не надо! Не надо!
Генри (*тогда же. Настойчиво.*) Милая!
Ада (*тогда же. Слабее*). Не надо!
Генри (*тогда же. В восторге*). Милая!

Море бурлит. Ада кричит. Крик и рокот моря разрастаются до предела, потом все обрывается. Воспоминание кончилось. Пауза. Море спокойно. Генри бредет по откосу обратно. С трудом продвигаясь по гальке. Остановился. Идет дальше. Остановился. Пауза.

Едва слышный шум спокойного моря.

Ада. Не надо, ну чего ты стоишь столбом. Сядь. (*Пауза. Он садится. Шум гальки.*) Вот сюда, на шаль. (*Пауза.*) Ты что — боишься, что до меня дотронешься? (*Пауза.*) Генри.

Генри. Да.

Ада. Тебе надо к врачу, смотри-ка, ты все разговариваешь, хуже и хуже, подумай, как это может отразиться на Адочке? (*Пауза.*) Знаешь, что она мне сказала как-то, когда была совсем маленькая, она сказала: «Мамочка, а почему папочка все время говорит?» Она услышала, как ты говорил в уборной. Я прямо не знала, что ответить.

Генри. Папочка! Адочка! (*Пауза.*) Я же тебе говорил — сказала бы, что это я молюсь. (*Пауза.*) Неистово молюсь Господу и всем святым.

Ада. Это очень вредно для ребенка. (*Пауза.*) Глупости, будто это для того, чтоб его не слышать, вовсе это тебе не помогает его не слышать, а если б даже и помогло и ты бы его не слышал, все равно у тебя что-то не то с головой.

Пауза.

Не верю я, что ты его слышишь. Ну а если и слышишь, что тут плохого, это же такой нежный, убаюкивающий звук, почему же тебе так противно? (*Пауза.*) А если тебе так противно, почему бы не держаться подальше? Зачем вечно сюда приходить? (*Пауза.*) Нет, у тебя что-то не то с головой, тебе надо показаться Холлоуэю, он ведь жив еще, да?

Пауза.

Генри (*в бешенстве*). Грохот, я хочу слушать грохот! Вот так! (*Собирает гальку, берет два камня покрупней, трясет их в ладонях.*) Камень! (*Грохот.*) Камень! (*Грохот, крик «Камень!» и плеск разрастаются до предела, потом все обрывается. Пауза. Он бросает один камень. Слышно, как он падает.*) Вот что такое жизнь. (*Бросает второй камень. Слышно, как он падает.*) А не это... (*пауза*) засасывание.

Ада. Почему — жизнь? (*Пауза.*) Почему — жизнь, Генри? (*Пауза.*) Есть тут кто-нибудь?

Генри. Ни одной живой души.

Ада. Так я и знала. (*Пауза.*) Когда мы мечтали побыть вдвоем, всегда кто-нибудь рядом оказывался. Теперь вот не надо и — пожалуйста, никого.

Генри. Да, ты всегда ужасно боялась, как бы тебя не застукали за нежной беседой. Малейший дымок на горизонте — и ты оправляешь платье и углубляешься в «Манчестер гардиан». (*Пауза.*) Ямка еще сохранилась.

Ада. Ямка? Да мало ли в земле ямок?

Генри. Та самая, где мы наконец-то впервые решились.

Ада. А-а, да, вроде вспомнила. (*Пауза.*) Здесь все так, как было.

Генри. Нет, не так. Я-то вижу. (*Доверительно.*) Все постепенно выравнивается! (*Пауза.*) Сколько ей теперь?

Ада. Я сбилась со счета.

Генри. Двенадцать? Тринадцать? (*Пауза.*) Четырнадцать?
Ада. Я правда не знаю, Генри.
Генри. Она у нас получилась не сразу. (*Пауза.*) Бились годами. (*Пауза.*) И в конце концов добились. (*Пауза. Вздох.*) В конце концов добились. (*Пауза.*) Послушай его, послушай! (*Пауза.*) Наверно, когда уж в него войдешь — легчает. (*Пауза.*) Мне, наверно, надо было пойти в торговый флот.
Ада. Это ведь только на поверхности так. Внизу — тишина, как в могиле. Ни звука. Весь день, всю ночь ни звука.

Пауза.

Генри. Я теперь хожу с граммофоном. Сегодня вот только забыл.
Ада. Никакого в этом смысла. (*Пауза.*) Никакого смысла нет стараться его заглушить. (*Пауза.*) Покажись Холлоуэю.

Пауза.

Генри. Пойдем на лодке покатаемся.
Ада. На лодке? А как же Адочка? Она ужасно расстроится, если придет и увидит, что ты пошел кататься на лодке без нее. (*Пауза.*) С кем это ты сейчас был? Перед тем как заговорил со мною?
Генри. Я хотел побыть с отцом.
Ада. А-а. (*Пауза.*) Это — всегда пожалуйста.
Генри. То есть я хотел сделать так, чтобы он побыл со мною. (*Пауза.*) Ты сегодня грубей, чем всегда, Ада. (*Пауза.*) Я как раз его спрашивал, видел он тебя когда-нибудь или нет, я не мог вспомнить.
Ада. Ну и?
Генри. Он мне больше не отвечает.
Ада. Наверно, ты его извел. (*Пауза.*) Ты при жизни его изводил и сейчас изводишь, уже мертвого. (*Пауза.*) Приходит время, когда человек уже не может с тобой общаться. (*Пауза.*) Придет время, когда вообще никто не сможет с тобой общаться, даже совершенно незнакомые люди. (*Пауза.*) Ты останешься один на один со своим голосом, в целом мире не будет у тебя ни единого голоса, кроме твоего собственного. (*Пауза.*) Ты меня слышишь?

Пауза.

Генри. Не могу вспомнить, видел он тебя когда-нибудь или нет.
Ада. Он меня видел, и ты это знаешь.
Генри. Нет, Ада, я не знаю, ты уж прости, но я почти все забыл, что с тобою связано.
Ада. Тебя не было. Только мать и сестра. Я зашла за тобой, как уславливались. Чтоб вместе идти купаться.

Пауза.

Генри (*с раздражением*). Ну дальше, дальше! И что у людей за манера вечно останавливаться на полуслове!
Ада. Они не знали, где ты. Постель была не смята. Они все друг на друга орали. Сестра твоя кричала, что бросится со скалы. Отец встал и вышел, хлопнув дверью. Я ушла почти тут же, и я прошла мимо него. Он меня не видел. Он сидел на камне и смотрел на море. Не могу забыть его позу. И ничего ведь особенного. Ты тоже иногда так сидел. Может, именно в неподвижности этой все дело, он будто обратился в камень. Так я и не смогла разобраться.

Пауза.

Генри. Говори. Говори же! (*Умоляюще.*) Говори, говори, Ада, каждый слог — это выигранная секунда.
Ада. Боюсь, что это все. (*Пауза.*) Можешь продолжить беседу с твоим отцом, вернуться к сочиненью историй или чем ты там еще занимался, а на меня не обращай внимания.
Генри. Не могу! (*Пауза.*) Больше не могу!
Ада. Минуту назад мог прекрасно, перед тем как со мною заговорить.
Генри (*зло*). А теперь не могу! (*Пауза.*) О Господи!

Пауза.

Ада. Ну хорошо, ты и сам ведь знаешь, что́ я имею в виду: какие-то позы остаются в памяти по вполне понятным причинам, ну там голова, например, опущена, когда должна бы вроде быть поднята, и, соответственно, наоборот, или рука,

скажем, зависла в воздухе, как ничья. Что-нибудь в таком роде. А когда твой отец сидел на камне в тот день, ничего такого не было, ни единой подробности, чтобы пальцем ткнуть и сказать — необычно! Нет, так я и не смогла разобраться. Может, я говорю, в неподвижности этой великой все дело, он будто и не дышал. (*Пауза.*) Ну как, легче тебе стало от этой чуши? (*Пауза.*) Если хочешь, я могу еще что-нибудь из себя выжать. (*Пауза.*) Нет? (*Пауза.*) Ну тогда я, пожалуй, пойду.

Генри. Погоди! Ты же можешь не говорить. Только слушать. Даже не слушать. Только побудь со мною. (*Пауза.*) Ада! (*Пауза. Громче.*) Ада! (*Пауза.*) Господи! (*Пауза.*) Стук копыт! (*Пауза. Громче.*) Стук копыт! (*Пауза.*) Господи! (*Долгая пауза.*) Она ушла почти тут же, прошла мимо тебя, ты ее не видел, ты смотрел на... (*Пауза.*) Нет, не мог ты смотреть на **море**. (*Пауза.*) Разве что зашел с другой стороны. (*Пауза.*) Ты зашел со стороны скал, да? (*Пауза.*) Отец! (*Пауза.*) Наверно, так и было. (*Пауза.*) Она стоит, смотрит на тебя, потом спускается по тропке к трамваю, входит, садится спереди. (*Пауза.*) Садится спереди. (*Пауза.*) Вдруг ей становится не по себе, она выходит, кондуктор ей: «Передумали, девушка?», она возвращается по тропке, а тебя и след простыл. (*Пауза.*) Грустная, потерянная, она бродит вокруг да около, но нет, никого, а с моря ледяной ветер, и она снова — по тропке к трамваю и едет на трамвае домой. (*Пауза.*) Едет на трамвае домой. (*Пауза.*) Господи! (*Пауза.*) «Боултон, дружище... (*Пауза.*) Если тебе нужен укол, Боултон, спускай штаны, сейчас я тебе вкачу, у меня на девять назначено удаление матки», и он, конечно, имеет в виду обезболивающее. (*Пауза.*) Огонь погас, и трескучий мороз, и бело, и беда, и ни звука. (*Пауза.*) Боултон начинает возиться с занавесками, нет, со шторами, это трудно описать, он их отдергивает, нет, он их собирает в кулак, тянет на себя, и луна врывается в комнату, он потом снова их выпускает, они тяжелые, бархатные, и в комнате снова черным-черно, и снова он тянет их на себя и — бело, черно, бело, черно, и — Холлоуэй: «Хватит, Боултон, ради Бога хватит, ты что — доконать меня хочешь?» (*Пауза.*) Бело, черно, бело, черно — с ума сойти. (*Пауза.*) Потом вдруг он чиркает спичкой, то есть Боултон чиркает, зажигает свечу, поднимает над головой, подходит к Холлоуэю, смотрит ему прямо в глаза. (*Пауза.*) Ни слова, он только смотрит в старые голубые глаза, очень тусклые, в сношенных веках, без ресниц, все плывет, свеча над головою дрожит. (*Пауза.*) Слезы? (*Пауза. Долгий смех.*) Нет. Господи Боже, какие там слезы! (*Пауза.*) Ни слова, он только смотрит в старые голубые глаза, а Холлоуэй: «Укол тебе надо — так и скажи, и отпусти ты меня к черту отсюда! (*Пауза.*) Мы это уже проходили, Боултон, избавь меня от повторения» (*Пауза.*) Боултон: «Ну пожалуйста! (*Пауза.*) Ну пожалуйста! (*Пауза.*) Ну пожалуйста, Холлоуэй». (*Пауза.*) Свеча дрожит, все обкапано воском, она теперь ниже, старая рука устала, он свечу — в другую руку, и опять — высоко, и на этом — все, на этом всегда — все, и ночь, и остывшая зола, и свеча дрожит в твоей старой руке, ты говоришь: «Ну пожалуйста! Ну пожалуйста!» (*Пауза.*) Клянчишь. (*Пауза.*) Как нищий. (*Пауза.*) Ада! (*Пауза.*) Отец! (*Пауза.*) Господи! (*Пауза.*) Снова — выше свечу, все так страшно, так скверно, он смотрит, смотрит на Холлоуэя, глаза в глаза, он не хочет больше просить, только смотрит, и Холлоуэй заслоняет лицо, и ни звука, и бело, трескучий мороз, сцена жуткая, два старика, и беда, беда, нет, не то. (*Пауза.*) Не то. (*Пауза.*) Господи! (*Пауза. Он встает, и шуршит галька. Идет к морю. Пауза. Шум моря чуть громче.*) Вперед. (*Пауза. Он идет вперед. Шуршит под ботинками галька. Останавливается у края воды. Пауза. Шум моря чуть громче.*) Книжечка. (*Пауза.*) Сегодня вечером... (*Пауза.*) Сегодня вечером ничего. (*Пауза.*) Завтра... завтра в девять водопроводчик, потом ничего. (*Пауза. Удивленно.*) В девять — водопроводчик? (*Пауза.*) Ах да, течь. (*Пауза.*) Ну и слова. (*Пауза.*) Суббота... ничего. Воскресенье... воскресенье... весь день ничего. (*Пауза.*) Ничего, весь день ничего. (*Пауза.*) Весь день, всю ночь ничего. (*Пауза.*) Ни звука.

Шум моря.

КАСКАНДО[1]

Радиопьеса

Ведущий (*сухо*). Лично для меня сейчас месяц май.

Пауза.

Да, совершенно справедливо.

Пауза.

Я включаю.

Голос (*тихий, задыхающийся*) ...историю... если ты ее только кончишь... ты успокоишься... сможешь спать... а пока... о, я знаю... я уж кончал их...тысячу и одну... только и делал... всю жизнь... и все себе говорил... вот эту ты кончишь... это именно то... и тогда отдохнешь... сможешь спать... и больше не надо историй... слов не надо... и ты кончал ее... и выходило не то... никакого покоя... и сразу другую... начинаешь... кончаешь... самому себе говоришь... кончишь эту... и ты успокоишься... уж это именно то... только бы не упустить... и кончаешь ее... но нет... никакого покоя... и сразу другую... но эта... эта дело другое... я ее кончу... и успокоюсь... это именно то... наконец-то я угадал... Моню... я начинаю сначала... уже очень долгую жизнь... что бы там ни говорили... злоключений... было достаточно... пять лет прошло... или десять... теперь уж не знаю... Моню... он переменился... но нет, недостаточно... его можно узнать... в сарае... каком-то еще... он дожидается ночи... чтобы ночь настала... чтобы выйти... идти... куда-то еще... спать где-то еще... а ночь все не наступает... как долго... он поднимает голову... то и дело... бросает взгляд на окно... и окно все чернеет... чернеет земля... он поднимается... сперва на колени... потом во весь рост... выбирается из сарая... Моню... в том же старом пальто... справа море... слева холмы... выбор есть... есть только...

Ведущий (*с голосом вместе*). Я выключаю.

Молчание.

Я включаю другое.

Музыка .....

Ведущий (*вместе с музыкой*). И выключаю.

Молчание.

Я включаю и то и другое.

Голос и музыка (*вместе*). ...она уже длится... длится... надо кончить ее... только не

.....

отступать... и ты тогда успокоишься... будешь спать... а пока... вот кончишь

.....

ее... это именно то... наконец-то ты нашел... где-то там... Моню... удержать

.....

его... не отступать... за ним... история Моню... она уже длится... надо кончить

.....

ее... и спать потом, спать... и больше не надо историй... слов не надо... ну, даль-

.....

ше, дальше... продолженье... оно...

.....

Ведущий (*с голосом и музыкой вместе*). Я выключаю.

Молчание.

И начинаю снова.

Голос. ...спускается вниз... по отлогому склону... по тропке... между огромных осин... в купах шум ветра... и море вдали... Моню... в том же старом пальто... он идет... останавливается... никого... нет, еще не сейчас... слишком светлая ночь... что бы там ни говорили... откос... он жмется к откосу... та же старая трость... Моню... он спускается... падает... нарочно ли, нет ли... я не вижу... он лежит на земле... вот что главное... в грязь лицом... раскинуты руки... так... значит, все...

[1] Здесь: прерываясь (*итал.*).

э, нет... еще не сейчас... поднимается... сперва на колени... опираясь руками... свесив голову... потом во весь рост... всей громадой... ну, дальше... дальше... он идет... он спускается... ну, дальше... дальше... у него в голове... да, так что у него в голове... прибежище... в дюнах... укрытие... брезжит в памяти... что-то такое... у него в голове... он спускается... деревьев нет уже... нет откоса... он переменился... но недостаточно... слишком светлая ночь... скоро дюны... больше спрятаться негде... останавливается... ни души... он...

Молчание.

Музыка .....

Молчание.

Голос и музыка (*вместе*). ...успокоиться... спать... и больше не надо историй... слов .....
не надо... только не отступать... это именно то... почти... я нашел... Моню... я .....
его удержу... только не отступать... не упустить его... скорее... скорее... за ним... .....
до конца... ну, дальше... дальше... на сей раз... это именно то... кончить... спать... .....
Моню... ну, дальше... дальше... .....

Молчание.

Ведущий. Что же, можно и так.
Говорят — это все у него в голове.
Но нет, я включаю.

Голос. ...падает... падает снова... нарочно ли, нет ли... я не вижу... он лежит на земле... вот что главное... лицом в песок... раскинуты руки... дюны голые... голые совершенно... в том же старом пальто... слишком светлая ночь... что бы там ни говорили... море громче... грохочет, как гром... и белые вихри... Моню... у него в голове... да, так что у него в голове... покой... снова покой... у него в голове... больше не надо идти... больше не надо искать... спать... э, нет... еще не сейчас... он встает... сперва на колени... упираясь руками... в песок... свесив голову... потом на ноги... во весь рост... всей громадой... та же старая шляпа... мятая... широкополая шляпа... ну, дальше... дальше... и снова идет... тяжело... увязая в песке... по колено... он спускается... море...

Ведущий (*с голосом вместе*). И я выключаю.

Молчание.

Я включаю другое.

Музыка .....

Ведущий (*вместе с музыкой*). И выключаю.

Молчание.

Что же, можно и так.
Такова моя жизнь, я этим живу.

Молчание.

Да, совершенно справедливо.

Пауза.

Да, так что же я включаю?
Говорят — ничего он не включает, ничего и не надо включать, это все у него в голове.
Не видят меня, не видят, что я делаю, не знают, чем живу, и говорят — ничего он не включает, ничего и не надо включать, это все у него в голове.
А я и не спорю уже, я уже и не говорю: ничего такого нет у меня в голове.
Я и не отвечаю — уже.
Я включаю и выключаю.

Голос. ...огни... земли... огни острова... неба... ему бы только... поднять голову... поднять глаза... и он бы увидел... что они освещают его... но нет... он...

Молчание.

Музыка(*коротко*) .....

Молчание.

Ведущий. Говорят, не его это жизнь, и не тем он живет. Не видят меня, не видят, какова моя жизнь, не знают, чем я живу, и говорят, не его это жизнь, и не тем он живет.

Пауза.

Я так жил... и состарился.
В достаточной мере.
Вот, послушайте.

Голос (*слабея*). ...только бы не упустить... Моню... это он... я увидел его... я его удержу... ну, дальше... дальше... в том же старом пальто... он спускается... он поднимается... падает снова... нарочно ли, нет ли... мне не видно... он лежит на земле... вот что главное... ну, дальше... дальше...

Ведущий (*с голосом вместе*). Включаю на полную мощность.

Голос. Лицом... в гальку... песка уже нет... только галька... так... на сей раз... э, нет... пока еще нет... он встает... сперва на колени... упираясь руками... в гальку... голову свесив... потом на ноги... во весь рост... всей громадой... Моню... скорей... он шатается... он спускается... он...

Молчание.

Музыка (*слабея*) .....
Ведущий (*с музыкой вместе*). На полную мощность.
Музыка .....

Молчание.

Это еще нс все.
Я включаю.
Вот, послушайте.

Голос и музыка (*вместе*). ...спать... уже не искать... в темноте... увидеть его... и .....
сказать... для кого... вот в чем дело... неважно... вечно не он... вечно не то... .....
надо снова начать... в темноте... но довольно... на сей раз довольно... это .....
именно то... все так... и это конец... почти... .....

Молчание.

Ведущий. Как от звезды до звезды, а похоже, в полном согласии.
И нам уж недолго осталось.
Это хорошо.

Голос и музыка (*вместе*). ...почти... я его удержу... я увидел его... я сказал... вот... .....
вот и все... почти... и не надо больше историй... все не то... но на сей раз... это .....
именно то... только не отступать... надо кончить ее... и спать... Моню... это .....
он... я его удержу... скорее за ним... и до самого... .....

Молчание.

Ведущий. Хорошо.

Пауза.

Да, совершенно справедливо, сейчас месяц май. Так сказать, возрожденье природы.

Пауза.

Я включаю.

Голос. ...ни вёсел... ни румпеля... рывок... и поплыл... швырнуло на мель... оттолкнулся... Моню... лицом... я не вижу... да, в днище... и раскинуты руки... в том же старом пальто... руки сжали... планшир... нет, не знаю... но я его вижу... вот он ухватился... выходит в открытое море... куда-нибудь... держать на тот остров... а потом... куда-то еще...

Молчание.

Музыка .....

Молчание.

Ведущий. Говорили — все это о нем, это его голос, он у него в голове.

Пауза.

Голос. ...скорее... парус... попутный шторм... килевая качка... держать на тот остров... а потом... куда-то еще... держать куда угодно... огни...

Молчание.

Ведущий. Никакого же сходства.
Я отвечал — и это...
Музыка (*коротко*) .....
Ведущий. ...это тоже про меня?
Но я уже и не отвечаю.
Да мне никто ничего уже и не говорит.
Никого уже нет.
И это хорошо.

Пауза.

Да, совершенно справедливо, месяц май, конец мая.
Долгие дни.

Пауза.

Я включаю.

Пауза.

Я боюсь включать.
Но я должен включить.
И я включаю.
Голос. ...ну, дальше... дальше... Моню... руки раскинуты... в том же старом пальто... лицом в воду... вот он ухватился... дальний остров... держать куда-нибудь... куда-нибудь далеко... земли уже нет... у него в голове... да, так что у него в голове... Моню...
Ведущий (*с голосом вместе*). Ну дальше, дальше!
Голос. ...и вот... больше не надо идти... искать где-то еще... вечно где-то еще... вот и все... почти... Моню... только б не упустить... не отступать... огни... земли... все погасли... почти... слишком дальние... слишком поздно уже... в небе... о, эти... если угодно... что бы там ни говорили... ему только перевернуться... на спину... и тогда... он увидит... что они освещают его... но нет... вот он ухватился... Моню... он переменил... почти достаточно...

Молчание.

Музыка .....
Ведущий (*с музыкой вместе*). О Господи.
Музыка .....

Молчание.

Ведущий. О Господи, Господи.

Пауза.

Было время, я себя спрашивал — что это?
Было время, я отвечал — прогулка.
Две прогулки.
Потом возвращенье.
Куда?
В деревню.
В трактир.
Две прогулки, потом возвращенье, вместе, в деревню, в трактир, по единственной туда ведущей дороге.
Два образа — не отличить.
Но я и не отличаю — уже.
Я включаю.
Голос и музыка (*вместе*). ...только не отступать... ее кончить... это именно то... я ее
.....
удержу... на сей раз... вот оно, вот... почти... Моню...
.....

Ведущий (*с голосом и музыкой вместе*). Идут рука об руку, можно сказать.
Голос и музыка (*вместе*). ...спать, и больше не надо историй... дальше... дальше...

.....

Моню... это он... мне б увидеть его... и сказать... и не отступать... до конца...

.....

Ведущий (*с голосом и музыкой вместе*). Хорошо.
Голос и музыка (*вместе*). ...почти... только еще чуть-чуть... вот оно... почти...

.....

Моню... это он... это был он... я его увидел... почти.

.....

Ведущий (*с голосом и музыкой вместе, с жаром*). Хорошо!
Голос и музыка (*вместе*). ...на сей раз... это именно то... кончить... и больше не

.....

надо историй... вот оно... почти... еще только чуть-чуть... только не отступать...

.....

Моню... вот он ухватился... ну, дальше... дальше...

.....

Молчание.

А, ДЖО?

Телепьеса

Д ж о , под 60 лет, седой, в старом халате и домашних туфлях, у себя в комнате.

1. Мы видим Джо со спины, он сидит на краю постели, в напряженной позе. Потом встает, подходит к окну, открывает его, выглядывает наружу, закрывает окно, задергивает занавески, застывает в напряженной позе.
2. Джо (*мы видим его со спины, как прежде*) идет от окна к двери, открывает ее, выглядывает наружу, закрывает дверь, запирает на ключ, задергивает полог, застывает в напряженной позе.
3. Джо (*так же, видимый со спины*) идет от двери к стенному шкафчику, открывает, заглядывает вовнутрь, запирает шкафчик на ключ, застывает в напряженной позе.
4. Джо (*все так же, со спины*) идет от шкафчика к кровати, опускается на четвереньки, заглядывает под кровать, встает, садится на край, как сидел вначале, и понемногу расслабляется.
5. Джо (*мы видим его в лицо*) сидит на краю постели, расслабляясь, закрыв глаза. Камера неподвижна, затем очень медленно подбирается к лицу, чтобы дать его крупным планом. При первых же словах текста камера останавливается.

Камера

Камера следует за первыми передвижениями Джо, на одном и том же расстоянии, давая его во весь рост. Далее между первым крупным планом лица и последним камера девять раз медленно приближается к лицу, каждый раз сантиметров на десять. Камера останавливается, когда начинает звучать голос, и пока он звучит, она неподвижна. В паузах, когда голос умолкает, до начала приближения камеры проходит секунды три. Потом секунды четыре она приближается к лицу, пока снова не зазвучит голос.

Голос

Голос низкий, отчетливый, дальний, почти лишенный выражения, речь монотонная, несколько замедленная. Между фразами паузы не меньше секунды. Между абзацами — секунд семь, то есть секунды три до того, как камера начнет приближаться, и секунды четыре перед тем, как она остановится, когда снова зазвучит голос.

Лицо

Лицо почти совершенно неподвижно от начала до конца, немигающий взгляд, глаза ничего не выражают, кроме разве что возрастающего усилия расслышать. Время от

времени лицо расслабляется — когда стихает голос. Напряжение ослабевает, когда голос умолкает, но снова нарастает, когда возобновляется речь.

Женский голос. Джо...

Он открывает глаза, слушает.

Джо...

Он весь превращается в слух.

Обо всем подумал?.. Ничего не забыл?.. Теперь никому до тебя не добраться, а?.. Никто не увидит... Не услышит... Чего же ты свет не выключишь?.. Не боишься, что вошь за тобою следит?.. А, Джо?.. Что же в постель не ляжешь?.. Чем плоха тебе постель, Джо?.. Ты ведь переменил постель?.. И не помогло?.. Или сердце?.. Крушится, крошится, когда ты лежишь в темноте... все в червоточинах... А, Джо?

Движение камеры 1

Все будет хорошо, ты мне сказал... Тогда, в последний раз... Поскорей на меня надевая пальто... До конца галантный... А ты сейчас скажи это, Джо, ведь никто не услышит... Все будет хорошо... А, Джо?.. Никто не умеет сказать это так, как ты... Ну скажи это снова, Джо, и послушай... Все будет хорошо... И ведь ты оказался прав... На поверку.

Движение камеры 2

Ты знаешь гнилую свалку, которую называешь своей душой... Оттуда и мой голос, верно?.. Оттуда ты и отца своего услышал... Ты же сам говорил?.. Взялся за тебя... Однажды июньской ночью... И это длилось, длилось годами... С промежутками... У тебя в голове... И в конце концов ты его удушил... Ты назвал это духовной удавкой... А то бы он тебя до сих пор терзал... Потом была твоя мать, когда пришел ее час... «Смотри, Джо, смотри, мы сверху за тобою следим...» Все слабее, слабее, пока ты и от нее не отделался... Потом были другие... Много народу... Все... Как тебя любили!.. Бог знает за что... Любили — жалели... Уж куда там... А теперь — поглядеть на тебя... Страсть единственная — мертвецов удушать у себя в голове.

Движение камеры 3

Хоть кто-то живой тебя теперь любит?.. Хоть кто-то живой жалеет?.. А, Джо?.. Этой засранке, которая является по субботам,— ведь ты же ей платишь, Джо?.. Смотри, как бы тебе не разориться... Ты об этом не думал?.. А, Джо?.. Что бы с тобой было, если бы не мы?.. Ни единой мертвой души... Сидеть в вонючем старом балахоне, самого себя слушать... Неизменного своего обожателя... Слабеть и слабеть, пока не останется пшик... Совсем еще бодренький — пожалуйста... Безмолвие гроба... Рай, о котором ты все дудел... Нет уж, Джо... Не для таких, как ты.

Движение камеры 4

А я ведь вначале была сильна... Когда за тебя взялась... А, Джо?.. Еще как сильна... Как в те летние вечера под вязами... В первую пору... Нашей любви... Когда мы сидели, глядели на уточек... И руки сплетали и клялись друг другу в вечной любви... Как ты восторгался моим голосом!.. В числе прочих моих совершенств... Он как горный хрусталь — мой голос... Заимствуя твое выражение... Ты был мастер метафор... Как горный хрусталь... Ты, бывало, не мог наслушаться... А теперь... Во что превратился... Надолго ли хватит?.. Шепот... Знаешь, когда смысл ускользает... и слов уж не разобрать... Так, отрывочные слова... Вот что хуже всего... А, Джо?.. Ты же сам говорил... Перед самым концом... Так, отрывочные слова... А силишься их разобрать... Почему это, Джо?.. Зачем, когда почти уж добрался?.. Какая же разница... Что мы думаем там?.. И самое милое дело... Когда почти уже добрался... Еще кого-нибудь удушить... Да, это хуже всего... ведь ты мне сам говорил?.. Шепот... Отрывочные слова... А силишься их разобрать... Лопается голова от натуги... И в конце концов все прекратится... Ты сам прекратишь... А вдруг не удастся?.. Ты об этом подумал?.. А, Джо? Вдруг он не прекратится... Этот шепот в твоей голове... Мой шепот в твоей голове... И смысл ускользает... Ускользает... И так до конца... А, Джо?.. Пока ты к нам не присоединишься... А, Джо?

Движение камеры 5

Ну и как теперь твой Бог?.. Все еще сто́ит того?.. Ты все еще носишься с ним?.. Страсти нашего Джо... Вот погоди... Еще Он за тебя возьмется... Будет тебе все говорить... Когда ты сам себе надоешь... И все твои мертвецы повымрут... А ты сидишь в вонючем старом балахоне... В отличном здравии для такой развалины... Только вот в паху эта опухоль... Молчание гроба, хоть и без червей... Награда всех трудов... Пока однажды ночью Его голос: «Безумец... что ты сделал со своею душой?» На такое не накинешь удавку... Ты об этом не думал? А, Джо?.. Когда Он за тебя возьмется... Когда ты сам себе надоешь... Если только это будет когда-нибудь.

Движение камеры 6

Да, тебе отказа не было... Чего другого... Тебя любили, любили... Бог знает почему... Даже вот я... Но я нашла кой-кого получше... Надеюсь, ты это знал... Во всех отношениях достойней... Нежней... Сильнее... Тоньше... Красивей... Почище... Верного... Преданного... Нормального... Да... Я-то нашла.

Движение камеры 7

А была одна, которая не нашла... Ты знаешь, о ком я?.. А, Джо?.. Доверчивая... Ограниченная... Вечно бледная... С бледными глазами... Высветленными душой... Заимствуя твое выражение... И как после они раскрывались... Единственная... Ты меня слышишь?.. А, Джо?.. Вот кто тебя любил... Все будет хорошо, ты сказал... Запихивая ее в это ее пальто... Она все никак не попадала роговыми пуговицами в петли... А в кармане у тебя был билет на первый утренний рейс... Ты ее обставил, а, Джо?.. Ты ведь ее прикончил... Конечно, он ее прикончил... Она рано ушла... Эта будет молчать.

Движение камеры 8

Ты не знаешь, что случилось?.. Нет?.. Она не доложилась?.. Только голое извещение в «Индепендент»... Прими, Пресвятая Дева, ее душу... Служба состоится... Рассказать?.. Не надо?.. Неинтересно?.. А я все равно расскажу... По-моему, тебе следует знать... Да, конечно, лучше увильнуть... Конечно, это больно, Джо... Зачем крушить сердце... Когда почти уж добрался... Вот и я скоро уйду... Последняя... Разве что та засранка тебя любит... Ну а потом ты сам... Старый дым без огня... Всех спаливший... Годами чадивший... И — молчание... И точка... Наградой всех трудов... Пока одной мерзейшей зимней ночью... Вышеозначенный тебе не объявит: «Ты погань».

Движение камеры 9

Ну вот... Теплая летняя ночь... Все спит... Она сидит на краю постели... в лиловой своей рубашечке... Помнишь?.. Ах, как она тебя знала, силы небесные! За открытыми окнами — плеск... И она встает и выскальзывает из дому... Как была... Луна... Вербена... Садом, под виадук... Видит по водорослям — вот-вот начнется прилив... Подходит к самому краю воды... Ложится ничком, лицом в прибой... Нет, из песни слова не выкинешь... Встает вся промокшая, возвращается в дом... Вынимает бритву «Жиллет», ты ей рекомендовал эту марку — брить волосы на ногах... Снова садом, под виадук... Раскрывает лезвие, ложится на бок у самой воды... Нет, опять из песни слова не выкинешь... Ты помнишь, как она боялась боли... Отдирает от рубашки лоскут, перевязывает царапину... Опять встает, идет к дому... Мокрый шелк ее облепил... Ты все это в первый раз слышишь, Джо?.. А, Джо?.. Хватает таблетки и снова в сад, снова под виадук... На бегу глотает несколько штук... Немыслимый час... Луна скользит за холмы... Мерцает берег... Дрожащее серебро... Она останавливается посмотреть... Потом — по краю воды — к гроту... Вообрази, что творилось с ней... Раз она это сделала... Вообрази... Как ребенок, она загребает воду ногами... Глотает еще пригоршню... Продолжать, Джо?.. А, Джо?.. Ложится, головой к воде в метре от кромки прибоя... Тут уже она все рассчитала... Последние таблетки... Вот кто тебя любил... А, Джо?.. Выкапывает среди камней ямку для лица... Доверчивая... Ограниченная... Вечно бледная... С бледными глазами... И этот их взгляд — за миг до... И как потом они открывались... Высветленные душой... Это ведь твое описание, Джо?.. А, Джо? (*Голос все тише, наконец превращается в шепот, едва слышный, кроме выделенных курсивом слов.*) ...Ну вот... Вот тебе и все. Но ты только вообрази... *Вообрази*. Лицом в ямку... Губами в *камень*... Забирая с собою Джо... Мерцающий берег... «Джо, Джо»... Ни звука... Камням... *Камням*... Вот ты скажи, ведь никто не услышит... Скажи «Джо» — при этом раздвигаются *губы*. Вообрази эти руки... Вообрази... Одна-

одинешенька... Губы в *камень*... Вообрази эти глаза... *Глаза*... Высветленные душой... Июнь... Какого же лета Господня?.. Твой Господь... *Грудями*... в камень... И *Руки*... До самого конца... Вообрази эти руки... За что они хватались?.. За *Камни*...

Изображение меркнет.

(*Голос как прежде.*) Что они ласкали?.. До самого конца. Вот кто тебя любил... Да, Джо?.. Ведь правда, Джо?.. А, Джо?.. Не так ли?.. В сравнении с нами... В сравнении с Ним... А, *Джо*?

Ни голоса, ни изображения.

ШАГИ

Пьеса в одном действии

Мэй (М) — растрепанная, седая, в поношенном, волочащемся по полу халате.

Женский голос (Г) — из темной глубины сцены.

На авансцене, параллельно рампе — щит — один метр в ширину, девять метров в длину, — чуть смещенный вправо от середины сцены, если смотреть из зрительного зала.

$$\text{Л}\ \underline{\text{ПЛПЛПЛПЛПЛПЛ}}\ \text{П}$$
$$\text{ЛПЛПЛПЛПЛПЛП}$$

Передвижение: из правой точки (П) к левой (Л) — с правой ноги (п) и с левой ноги (л) из левой точки (Л) к правой (П).
Повороты: у точки Л — налево, у точки П — направо.
Шаги: отчетливые, ритмичные.
Освещение: тусклое, ярче у ног, слабее на уровне корпуса, совсем тусклое на уровне головы.
Голоса: оба тихие, речь замедленна.
Когда поднимается занавес, на сцене темно. Краткий, слабый удар колокола. Замирает эхо. Пауза. Над щитом пробивается свет. Вся остальная сцена погружена во тьму. М приближается к точке Л. Дойдя до нее, поворачивает налево и проходит щит три раза, после чего застывает лицом к точке П. Пауза.

М. Мама. (*Пауза. Не повышая голоса.*) Мама.
Г. Да, Мэй.
М. Ты спала?
Г. Крепким сном. (*Пауза.*) Я тебя услышала сквозь крепкий сон. (*Пауза.*) Я в самом глубоком сне тебя услышу. (*Пауза.*)
М (*снова начинает ходить. Четыре раза проходит щит. После первого раза говорит в такт шагам*). ...семь, восемь, девять, кру-гом... семь, восемь, девять, кругом. (*Уже не считая шагов.*) Может, попыталась бы заснуть?

М застывает, глядя в точку П. Пауза.

Может, сделать тебе укол... опять?
Г. Да, но сейчас еще рано.

Пауза.

М. Может, мне тебя перевернуть... опять?
Г. Да, но сейчас еще рано.

Пауза.

М. Поправить тебе подушку? (*Пауза.*) Переменить пеленку? (*Пауза.*) Дать тебе судно? (*Пауза.*) Грелку? (*Пауза.*) Перевязать? (*Пауза.*) Протереть тебя губкой? (*Пауза.*) Смочить твои бедные губы? (*Пауза.*) Помолиться вместе с тобой? (*Пауза.*) За тебя. (*Пауза.*) ...Опять?

Пауза.

© 1976 by Samuel Beckett

Г. Да, но сейчас еще рано.

Пауза. М снова начинает ходить. Проходит щит один раз, останавливается лицом к Л. Пауза.

М. Сколько мне лет?
Г. А мне? (*Пауза. Тем же тихим голосом.*) А мне?
М. Девяносто.
Г. Так много?
М. Восемьдесят девять, девяносто.
Г. Я поздно тебя родила. (*Пауза.*) Немолодая. (*Пауза.*) Прости меня... Опять.

Пауза.

М. Сколько мне лет?
Г. За сорок.
М. Всего-то?
Г. Боюсь, что так.

Пауза. М снова ходит. Поворачивает на точке П.

Мэй. (*Пауза. Так же тихо.*) Мэй.
М (*продолжая шагать*). Да, мама?
Г. Перестанешь ты когда-нибудь? (*Пауза.*) Перестанешь ты когда-нибудь... вертеть это все?
М (*останавливаясь*). Это?..
Г. Это все. (*Пауза.*) В бедной своей голове. (*Пауза.*) Это все. (*Пауза.*) Это все.

М снова ходит. Через пять секунд свет на щите гаснет. Темно. Замирают шаги.

Долгая пáуза.

Удар колокола еще чуть слабее. Эхо. Пауза. Щит освещается снова, еще слабее. Остальная сцена погружена во тьму. М неподвижно смотрит на точку П. Пауза.

Я теперь тут брожу. (*Пауза.*) Верней, приду и... стою. (*Пауза.*) Как настанет ночь. (*Пауза.*) Она думает, она тут одна. (*Пауза.*) О, как застыла, лицом к стене. (*Пауза.*) На лице никакого выражения! Полная неподвижность! (*Пауза.*) Не выходит из дому с юных лет. С юных лет не выходит. (*Пауза.*) Где же она, хочется спросить. (*Пауза.*) Да там же, в том же доме, где она... (*Пауза.*) Где она начала. (*Пауза.*) Где началось. (*Пауза.*) Где все началось. (*Пауза.*) Но это, это, это когда началось? Когда другие девчонки бегали, играли... в прятки (*пауза*), она была уже тут. (*Пауза.*) Уже начала. (*Пауза.*) Пол теперь голый, а раньше...

М начинает ходить. Шаги чуть медленней.

Но не надо говорить, лучше смотреть на нее, как она ходит.

М шагает, проходит щит два раза, почти до конца.

Как ловко она поворачивает.

М поворачивает, шагает, проходит щит в третий раз. В такт шагам. Семь, восемь, девять, кругом. М. поворачивает у точки Л, еще раз проходит щит, останавливается, глядя на точку П.

Да, так я говорю, пол теперь голый, а раньше там ковер лежал, толстый ковер. И вот как-то ночью, совсем еще маленькая, она подозвала свою мать и говорит: «Мама, мне этого мало». Та в ответ: «Мало?» Мэй (ребенка окрестили Мэй): «Мало». Мать: «Что ты хочешь сказать, Мэй, что значит — мало, как это — мало?» Мэй: «Я хочу сказать, мама, что мне надо слышать шаги, пусть хоть совсем тихие шаги, но слышать». Мать: «А самого движения тебе мало?» Мэй: «Да, мама, самого движения мне мало. Я должна слышать шаги, пусть совсем тихие шаги, но слышать».

Пауза. М снова ходит. В такт шагам.

Спит она теперь когда-нибудь или нет, хочется спросить. Да, иногда еще спит, бывает, урывками — прислонится бедной своей головой к стене и вздремнет. (*Пауза.*) Разговаривает она? Да, иногда среди ночи, бывает, и разговаривает, если думает, что никто ее не слышит. (*Пауза.*) Рассказывает, как это все случилось. (*Пауза.*) Старается объяснить, как это все случилось. (*Пауза.*) Это все. (*Пауза.*) Это все.

М продолжает шагать. Через пять секунд свет над щитом гаснет. Все погружается во тьму. Шаги замирают.

Долгая пауза.

Удар колокола еще чуть тише. Эхо. Пауза. Над щитом зажигается свет, еще чуть слабей. Остальная сцена погружена во тьму. М смотрит на точку П.

Пауза.

М. Продолжение. (*Опять ходит. Проходит щит два раза.*) Продолжение. Попозже, когда ее совсем забросили, она начала... (*Пауза.*) Попозже, когда ее будто и не было никогда, будто ничего этого и не было никогда, она начала ходить. (*Пауза.*) Едва настанет ночь. (*Пауза.*) Выскользнет из дому, едва настанет ночь, и пройдет северными воротами в церковь, всегда запертую в этот час, и ходит, и ходит, взад-вперед, взад-вперед, вдоль бедной Его руки. (*Пауза.*) В иную ночь она, бывало, застынет, как в каком-то параличе, и так стоит, пока к ней не вернется способность двигаться. Но чаще бывали ночи, когда она ходила не переставая, взад-вперед, взад-вперед, пока не исчезнет в том направлении, откуда явилась. (*Пауза.*) Ни звука. (*Пауза.*) Во всяком случае, слышного звука. (*Пауза.*) Какой-то образ. (*Пауза. Снова ходит. Шаги еще чуть медленней. Она проходит щит два раза, останавливается лицом к точке П.*) Образ. Смутный, но ни в коем случае нельзя сказать, что невидимый. При известном освещении. (*Пауза.*) При правильном освещении. (*Пауза.*) Не белый, скорее серый, скорее бледно-серый. (*Пауза.*) Лохмотья. (*Пауза.*) Клочья лохмотьев. (*Пауза.*) Смутные клочья бледно-серых лохмотьев. (*Пауза.*) Смотрите, как это проходит... (*Пауза.*) ...смотрите, как она проходит перед подсвечником, как его пламя, его свет... Так проходит луна сквозь туманы. (*Пауза.*) И не успеет уйти — уже она снова тут, ходит, ходит, взад-вперед, взад-вперед, вдоль этой бедной руки. (*Пауза.*) Едва настанет ночь. (*Пауза.*) То есть, лучше сказать, в определенные времена года, в час вечерни. (*Пауза.*) Неотвратимо. (*Пауза. Снова ходит. Проходит щит и останавливается лицом к точке Л. Пауза.*) Старая миссис Уинтер, которую, верно, помнит читатель, однажды поздней осенью, в воскресенье вечером, после службы, сидя за ужином со своей дочерью, приступила было нехотя к еде, но тотчас свесила голову, отложив нож и вилку. Что с тобой, мама, — спросила дочь, чрезвычайно странная молодая особа, хоть, по правде сказать, не такая уж и молодая... (*С надрывом.*) Ужасно не... (*Пауза. Обычным голосом.*) Что с тобой, мама, тебе нездоровится? (*Пауза.*) Миссис Уинтер не сразу ответила. Но наконец она подняла голову и, глядя на Эми — ребенка окрестили Эми, как, верно, помнит читатель, — подняла голову и, глядя Эми прямо в глаза, пробормотала: Эми. (*Пауза. Громче.*) Эми, ты ничего не заметила... странного во время вечерни? Эми: Нет, мама, я ничего не заметила. Миссис Уинтер: Ну, может быть, мне почудилось, Эми. Эми: Да что, мама, что именно странное тебе, может быть, почудилось? (*Пауза.*) Что это было такое... странное, что ты, может быть, вообразила, будто тебе почудилось? (*Пауза.*) Миссис Уинтер: Сама-то ты ничего не заметила? (*Пауза.*) Эми: Нет, мама, сама я ничего не заметила, мягко выражаясь. Миссис Уинтер: Что ты хочешь этим сказать, Эми, — мягко выражаясь? Эми: Я хочу этим сказать, мама, что сказать, будто я ничего не заметила... странного, — значит выразиться мягко. Потому что я вообще ничего не заметила, ни странного, ни еще какого. Я вообще ничего не видела, вообще ничего не слышала. Меня там не было. Миссис Уинтер: Не было? Эми: Не было. Миссис Уинтер: Но я слышала, как ты отвечала пастору. (*Пауза.*) Я слышала, как ты говорила — Аминь. (*Пауза.*) Как же ты отвечала, если тебя там не было? (*Пауза.*) Как же ты могла говорить — Аминь, если, как ты утверждаешь, тебя там не было? (*Пауза.*) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. (*Пауза.*) Я тебя ясно слышала. (*Пауза. Снова ходит. После пяти шагов останавливается, не глядя перед собой. Долгая пауза. Долго ходит, останавливается, глядя в точку П. Долгая пауза.*) Эми. (*Пауза. Так же тихо.*) Эми. (*Пауза.*) Да, мама. (*Пауза.*) Ты когда-нибудь перестанешь? Ты когда-нибудь перестанешь... вертеть это все? (*Пауза.*) Это все? (*Пауза.*) Это все. (*Пауза.*) В бедной своей голове? (*Пауза.*) Это все. (*Пауза.*) Это все. (*Пауза.*)

Пауза. Свет на щите гаснет. Все погружается во тьму.

Удар колокола еще чуть слабей. Эхо. Пауза. Щит освещается еще чуть слабей. Никаких следов М. Так проходит пятнадцать секунд. Свет гаснет.

Занавес

ЭКСПРОМТ В СТИЛЕ ОГАЙО

Пьеса в одном действии

С. — слушающий.
Ч. — читающий.
Чрезвычайно похожи друг на друга.

В центре сцены — освещенный стол. Все остальное погружено во тьму. Стол простой, деревянный, приблизительно два метра на метр.
С сидит к длинной стороне стола лицом, справа (если смотреть из зрительного зала). Склонив голову, подпирает ее правой рукой. Лица не видно. Левая рука лежит на столе. Длинное черное пальто. Длинные белые волосы.
Ч сидит за столом у короткого края стола, виден зрителю в профиль, повернут вправо. Склонив голову, подпирает ее правой рукой. Левая рука лежит на столе. Перед ним на столе книга, открытая на последней странице. Длинное черное пальто. Длинные белые волосы.
На середине стола лежит черная широкополая шляпа.
Медленно зажигается свет.
Проходит десять секунд.
Ч переворачивает страницу.
Пауза.

Ч (*читает*). Мало что осталось рассказывать. В последний раз...

С стучит левой рукой по столу.

Мало что осталось рассказывать.

Пауза. Стук.

В последний раз, пытаясь облегчить свои страдания, он переехал из того места, где они так долго жили вдвоем, в единственную комнатку на другом берегу. Из единственного окна он видел оконечность Лебединого острова.

Пауза.

Непривычная обстановка, надеялся он, принесет облегченье страданий. Непривычная комната. Непривычный вид. Выходить, видеть то, на что никогда не смотрели вдвоем. Возвращаться к тому, что никогда для них не было общим. Все это, отчасти надеялся он, отчасти принесет облегченье страданий.

Пауза.

День за днем люди видели, как он медленно мерил шагами остров. Час за часом. В длинном черном пальто, независимо от погоды, в старой шляпе, какие некогда носили художники. Доходил до края, останавливался, смотрел на бегущие волны. В бойких вихрях сливались две реки и вместе бежали дальше. И, повернувшись, он медленно брел от берега прочь.

Пауза.

В снах...

Стук.

И, повернувшись, он медленно брел от берега прочь.

Пауза. Стук.

В снах ему было предостереженье против такой перемены. В снах являлось любимое лицо, был неслышный голос: «Останься там, где мы так долго были одни, вдвоем, моя тень утешит тебя».

Пауза.

Но разве нельзя было...

Стук.

Являлось любимое лицо, был неслышный голос: «Останься там, где мы так долго были одни, вдвоем, моя тень утешит тебя».

Пауза. Стук.

Но разве нельзя было вернуться? Признать свою ошибку и вернуться туда, где

© 1981 by Samuel Beckett

они были когда-то так долго одни, вдвоем? Одни, вдвоем и едины во всем. Нет. То, что он сделал один, он не мог переделать. Один.

Пауза.

И в этой крайности к нему снова воротился давний страх ночи. Такой давний, что он про него уж и думать забыл. (*Пауза. Вглядывается в страницу.*) Да, такой давний, что он про него уж и думать забыл. Но теперь еще вдвое страшней стали роковые симптомы, подробно описанные на странице сороковой в четвертом абзаце. (*Листает страницы обратно. С останавливает его левой рукой. Ч возвращается к оставленной странице.*) Бессонные ночи стали отныне его уделом. Как в пору юности сердца. Не спать, бояться уснуть, пока (*переворачивает страницу*) не займется заря.

Пауза.

Мало что осталось рассказывать. Однажды ночью...

Стук.

Мало что осталось рассказывать.

Пауза. Стук.

Однажды ночью, когда он сидел, сжав голову руками, и весь трясся, — к нему явился некто и сказал: «Я послан, — он назвал любимое имя, — тебя утешить». Потом он вынул из кармана длинного черного пальто потрепанный томик и читал до зари. А потом, не сказав ни единого слова, исчез.

Пауза.

Через какое-то время он снова явился, в тот же час, с тем же томиком, и тут уж без всяких преамбул читал всю долгую ночь напролет. А потом, не сказав ни единого слова, исчез.

Пауза.

Так время от времени он являлся нежданно и читал печальную повесть, убивая долгую ночь. А потом исчезал, не сказав ни единого слова.

Пауза.

Ни единым словом не перемолвясь, они двое стали — одно.

Пауза.

И вот однажды ночью книга была закрыта, в окно входила заря, но он не исчез, он остался и молча сидел за столом.

Пауза.

Наконец он сказал: «Мне велено, — он назвал любимое имя, — чтоб я больше не приходил. Я видел любимое лицо, мне был неслышный голос: «Больше к нему не нужно ходить, даже если это окажется в твоей власти».

Пауза.

И вот когда грустная...

Стук.

Видел любимое лицо, мне был неслышный голос: «Больше к нему не нужно ходить, даже если это окажется в твоей власти».

Пауза. Стук.

И вот когда грустная история была поведана в последний раз, они оба остались сидеть, словно каменные. В единственное окно не вливала света заря. Ни звука пробужденья снаружи. Или, погрузясь кто знает в какие мысли, они ничего не замечали? Ни света дня. Ни шума пробужденья. В какие мысли, кто знает. Мысли. Нет, не мысли. Провалы памяти. Погрузясь кто знает в какие провалы памяти. В беспамятство. Куда никакой не достигнет свет. И звук. Остались сидеть, словно каменные. Когда грустная... история была поведана в последний раз.

Пауза.

Нечего больше рассказывать.

Пауза. Ч хочет закрыть книгу. Стук. Книга остается открытой.

Нечего больше рассказывать.

Пауза. Ч закрывает книгу.
Стук.
Молчание. Проходит пять секунд.
Каждый кладет правую руку на стол, оба поднимают головы и смотрят друг на друга.
Пристально, без выражения.
Проходит десять секунд.
Медленно гаснет свет.

Послесловие

«Сэмюэлу Беккету мы обязаны, может быть, самыми впечатляющими и наиболее самобытными драматическими произведениями нашего времени».

Это заявление Питера Брука, сделанное без малого тридцать лет назад, все еще озадачивает многих читателей и зрителей, знакомых лишь с отдельными пьесами и книгами всемирно известного автора.

К драматургии Беккет обратился в конце сороковых годов. Его первая трехактная пьеса «Элефтерия»[1], написанная в 1947 году, так и осталась неопубликованной. Над трагикомедией «В ожидании Годо», поставленной в Париже в театре «Вавилон» (январь 1953 г.), писатель начал работать в 1948 году. За ней последовали пьесы «Эндшпиль» (1957), «Последняя лента Крэппа» (1958), «Счастливые дни» (1961), «Игра» (1964) и другие.

При всем разнообразии персонажей, созданных Беккетом, они имеют общие черты. «Народец» Беккета населяет вселенную, нарочито менее четко очерченную, чем, например, Йокнапатофа Фолкнера. Конечно, можно сказать, что герои Беккета ирландцы или персонажи, созданные ирландцем, но на самом-то деле их микромир (а они никогда не покидают его) имеет вселенские масштабы. Пожалуй, никто из наших современников не умел так, как Беккет, через индивидуальное переживание, при том, что его герои сохраняют неподвижность оцепенения, передать одновременно и приобщенность человека к миру, его зависимость от биологических процессов, и разобщенность с ним.

Необычно мышление героев Беккета. Оно сбивчиво, противоречиво, все время движется по замкнутому кругу. Сам автор нам говорит: «В этом затемненном сознании времени нет. Минувшее, текущее, надвигающееся. Все сразу».

Беккет никогда не отрицал сочувствия своим персонажам, хотя изображал их с немалой долей иронии и даже сарказма.

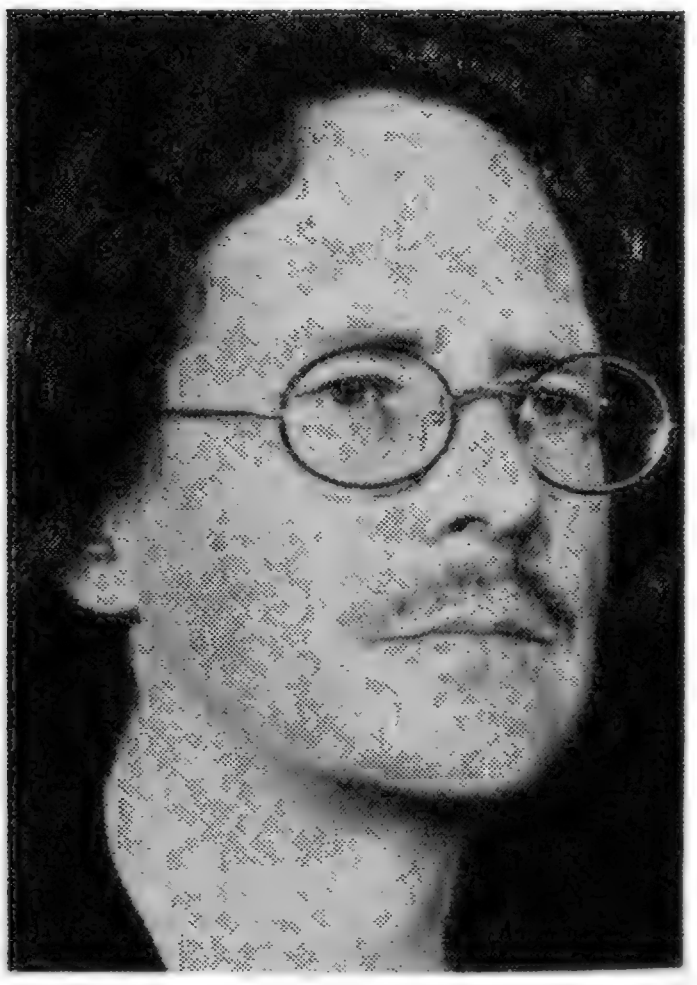
Конечно, есть разница в том, как лепил Беккет образы своих героев в романах и в первых драматических шедеврах пятидесятых—шестидесятых годов. Беккет-драматург хотел стать доступнее, может быть, даже понятнее. И он добился успеха, всемирного признания. Но на самом-то деле он ни в чем не изменил себе, его палитра осталась прежней. Это стало очевидно в семидесятых—восьмидесятых годах, когда Беккет начал писать для сцены и даже для радио и телевидения одну за другой пьесы, которые его читатели и зрители, а также его слушатели могли понять, только опираясь на опыт знакомства с его предшествующими произведениями.

Беккет снова начал загадывать загадки, разрешимые разве что для опытных режиссеров. Его пьесы соответствуют прогнозу М. Чехова, который писал: «Будущие пьесы, наверное, неудобно будет читать, их можно будет только играть».

Вторая часть этого замечания М. Чехова заставляет задуматься над тем, что и играть пьесы Беккета не менее сложно, чем их читать. А между тем у Беккета было не только великолепное чувство сцены, но и глубокое понимание изобразительных возможностей телевидения, как и далеко еще не реализованных возможностей радиотеатра.

И. ДЮШЕН

[1] «Свобода» (*греч.*).



ПЕТЕР ХАНДКЕ

Опыт познания усталости

ЭССЕ

Перевод с немецкого Г. КОСАРИК

Имя Петера Хандке хорошо известно не только в его родной Австрии (где он родился в 1942 году, в бедной семье, и провел годы своей молодости), но и в других странах, где говорят и читают по-немецки. Его литературные успехи были отмечены множеством премий, в том числе самой престижной в ФРГ премией имени Георга Бюхнера (1973), присуждаемой Академией языка и литературы в Дармштадте (городе, близ которого родился Бюхнер), а также премиями имени Франца Кафки (1979) и австрийского классика Грильпарцера (1990).

Начав с бунтарских пьес, провоцирующих аудиторию дерзкими высказываниями («Поругание публики», 1966), Хандке впоследствии стал известен по преимуществу как прозаик. Он обладает даром пластического видения мира, тягой к «зондированию» душевных глубин личности и постоянно ищет новых, непривычных средств выражения. Хандке создает новый прозаический жанр: такие его произведения, как «Шершни», «Несчастье без желаний», «Повторение», представляют собой цепь ассоциаций и эпизодов со слабо выраженным сюжетом. В его прозе явно преобладают воспоминания детства и юности, сочувствие социально обездоленным (повесть «Несчастье без желаний» подсказана трагической судьбой матери Хандке); в его творчестве постоянно возникают модные на Западе темы расколотого сознания или преступления, совершенного в состоянии транса. Знаменитым немецким режиссером Вимом Вендерсом поставлены по произведениям Хандке фильмы «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1972) и «Небо над Берлином» (1987).

«Опыт познания усталости», как и многие произведения Хандке, лишен сквозного действия. Он интересен тем, что непосредственно вводит нас в писательскую лабораторию. Искушенный читатель, несомненно, обратит внимание на признание автора: «и это мирное течение происходящего вокруг уже само по себе было повествованием, и оно... само выстроилось в моих усталых глазах в подлинный эпос». В самом деле, автор как бы предлагает нам нерасчлененный, слитный поток фактов. Наделенный обостренным ощущением ценности каждой минуты, каждого впечатления, Хандке спешит все это сразу же зафиксировать. Мы невольно вовлекаемся в эту причудливую вязь образов, и, может быть, сами начинаем вспоминать что-то свое. Такая непосредственность, свойственная Хандке, вероятно, является реакцией на интеллектуальную прозу Томаса Манна или Роберта Музиля. При этом у Хандке неизбежно возникает известная фрагментарность и дробность письма, которая затрудняет чтение (вот почему утверждения немецкого поэта и критика Михаэля Бузельмейера, сравнивающего Хандке с великими эпиками прошлого, австрийцем Штифтером или швейцарцем Готфридом Келлером, скорее всего, являются явным преувеличением). И все же достоинства прозы Хандке — зоркость и наблюдательность писателя, его тяготение в реальному миру — явно ощутимы для сколько-нибудь чуткого читателя. У Хандке — не сразу, а подспудно — улавливается и некое демократическое начало, будь то в воспоминаниях детства, ярко запечатлевших картины сурового крестьянского труда, обмолота хлебов в первые послевоенные годы, будь то в воспоминаниях полуголодных студенческих лет, когда будущий писатель, чтобы заработать на учебу, вынужден был трудиться посменно в отделе упаковки большого универмага.

Ассоциативная проза Хандке трудна для перевода; опытная переводчица Галина Косарик, на наш взгляд, успешно справилась с этими трудностями.

Г. РАТГАУЗ

Καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς
προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς
τοὺς μαθητὰς εὗρεν
κοιμωμένους αὐτοὺς
ἀπὸ τῆς λύπης

Встав от молитвы, Он пришел к ученикам
и нашел их спящими от печали...
Евангелие от Луки, 22, 45

Раньше я знавал разную усталость перед надвигающимся страхом.

Когда раньше?

В детстве, в так называемые годы учебы и еще в периоды ранней влюбленности — тогда особенно. Однажды ребенком во время рождественской мессы я сидел среди своих родных и близких в нашей битком набитой деревенской церкви с ослепительно сияющим огнями алтарем, наполненной такими знакомыми радостно-звонкими мелодиями рождественских песен, окруженный запахами взмокшего грубого сукна и воска, и тут вдруг на меня тяжестью навалилась усталость, принеся страдания.

Какие страдания?

Ну, как болезни называют ужасными или коварными, так и эта усталость вылилась в ужасное и коварное страдание, выражавшееся в том, что оно искажало все вокруг меня, обращая церковных прихожан в тесно прижатых друг к другу зеленых войлочных кукол, алтарь в его рождественском убранстве с празднично мигающими огнями в туманной дали — в место страшных пыток и мук, сопровождаемых суматошным ритуалом и бормотанием обреченных на это действо исполнителей, а самого меня, смертельно уставшего от всего, — в какого-то урода с набухшей кожей и головой слона, чудовищно тяжелой, и с сухими до боли глазами; вырванный обморочной усталостью из материального внешнего мира, в данном случае зимы, снежного воздуха, безлюдья, как бывает при езде на санях ночью, под звездами, пока другие дети постепенно расходятся по домам, а мы мчимся все дальше, за околицу, в одиночестве, в полном восторге: вот где совершенство, *тут*, в тишине, со свистом ветра в ушах, в синеве обледенелого пути; тянет холодом — говорили обычно про такую зимне-холодную благодать. Но там, в церкви, совершенно иное восприятие холода у того, кто зажат в тиски усталостью, словно «железной девой»[1], и тогда он, ребенок, то есть я, начинает проситься во время мессы домой, что перво-наперво означало просто «прочь отсюда!» и отравляло его близким и без того все реже случавшуюся — из-за ослабевающих общинных традиций — радость общения с другими жителями округи (опять снова-здорово).

Почему ты обвиняешь себя (опять снова-здорово)?

Потому что тогдашняя усталость уже сама по себе была связана с чувством

[1] Орудие казни в виде полой человеческой фигуры с ножами внутри, куда помещали осужденного. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1989

вины, даже усиливалась из-за него, перерастая в острую боль. Опять ты — снова-здорово — не смог перенести, не выдержал общего сборища: еще один стальной обруч на голову, еще одно обескровливание и обессиливание сердца; даже спустя десятилетия возвращается, повторяясь, тот ударяющий в голову стыд из-за внезапной усталости; странно лишь, что близкие потом за многое упрекали меня, но только не за это...

А с усталостью в годы учебы было так же?

Нет. Не было больше чувства вины. Усталость в аудиториях делала меня в эти бесконечно длящиеся часы, наоборот, даже строптивым и резким. И причиной тому был, как правило, не столько спертый воздух и скученность студентов, сколько безучастность читающих лекции к материалу, который должен был быть для них своим. Никогда в жизни не доводилось мне больше видеть таких безразличных к своему делу людей, как те профессора и доценты университета; любой, да-да, любой служащий банка, пересчитывающий вовсе даже не *свои* банкноты, дорожные рабочие, заливающие улицы асфальтом, казались в своем аду между солнцем сверху и обжигающим гудроном снизу куда душевнее. Словно набитые опилками сановные вельможи, монотонные голоса которых ни разу не выказали эмоционального отношения к тому, о чем они говорили, — ни удивления (хорошего преподавателя своему же собственному предмету), ни восторга, ни заинтересованности, ни сомнения в сказанном, ни почтения или гнева, ни возмущения, ни растерянности от собственного незнания, — нет, напротив, они только неустанно бубнили, каркали, скандировали гекзаметр, — правда, не грудным голосом Гомера, а тоном, предвосхищавшим экзамен и лишь иногда отражавшим потуги жалкого остроумия и язвительных намеков, понятных посвященным, а за окном в это время зеленело, голубело и становилось темно, пока усталость слушателя не переходила в неудовольствие, а неудовольствие — в недоброжелательность. И опять как в детстве: «Прочь отсюда! Прочь от всех вас, вместе взятых!» Только куда? Домой, как раньше? Однако в снимаемой мною каморке можно было опасаться теперь, в годы учения, другой, совершенно иной и неведомой в родительском доме усталости: усталости в чужой комнате, где-то на окраине города, где ты один, — усталости одиночества.

А что в ней такого страшного? Разве не стояла возле стола и стула еще и кровать в комнате?

О том, чтоб просто лечь спать, и речи быть не могло: первоначально такая усталость выливалась в оцепенение; казалось, что нет сил даже мизинцем шевельнуть или моргнуть; чудилось, что и дыхание вот-вот прервется, так что возникало чувство, будто ты окаменел до самого нутра, будто ты уже не человек, а столп усталости; и если все же удавалось сделать тот шаг до постели, то после краткого, похожего на обморок провала — вновь никакого ощущения сна: при первом же повороте — пробуждение в бессонницу, длящееся чаще всего ночь напролет, потому что усталость в комнате, где ты один, всегда имеет обыкновение объявляться к исходу дня, с наступлением раннего вечера, а с ним и сумерек. О бессоннице другие уже рассказали более чем достаточно: как она под конец даже влияет на то, что мучающийся бессонницей видит мир в ином свете, и его собственная жизнь, при всем нежелании, кажется ему сплошным несчастьем, любое действие — бессмысленным, всякая любовь — смешной. Как лежит этот несчастный без сна до наступления бледно-серого брезжущего рассвета, сулящего ему одно проклятие, ниспосланное ему одному в эту нору, где только он и бессонница, — ему, законченному неудачнику, несчастному, заброшенному не на ту планету человеческому существу... И я побывал в мире страдающих бессонницей (и по-прежнему причислен к ним и все

еще пребываю в их мире). Первые голоса птиц, еще когда совсем темно, в преддверии весны: так частенько бывает на Пасху — словно в насмешку резкий издевательский птичий крик прямо над кроватью, стоящей в камере-одиночке, о-пять-е-ще-од-на-ночь-без-сна. Бой церковных часов на колокольнях каждые четверть часа, отчетливо слышен даже самый отдаленный из них — этот провозвестник еще одного убийственного дня. Фырканье и душераздирающее мяуканье двух дерущихся котов в полной неподвижности мира, словно центр нашей Вселенной — в громкости и отчетливости звериных криков. Мнимые похотливые вздохи или вскрикивания женщины, так неожиданно пронзившие стоячий воздух, как если бы внезапно прямо над тяжелой головой лежащего без сна нажали на стартер и тут же взревел неотлаженный мотор серийной машины с конвейера; как если бы внезапно спали все маски взаимных привязанностей и показалась изнанка панического эгоцентризма (вот тут не двое любят друг друга, а опять, как всегда, каждый громко себя самого), обнажая подлость и низменность. Все это эпизодические настроения бессонницы; правда, хронически страдающие ею люди, так, во всяком случае, я понимаю их рассказы, могли бы определить те ощущения как устойчиво повторяющиеся, складывающиеся в одну сплошную закономерность.

Ну а ты, тот, кто не страдает хронической бессонницей, — ты тоже нацелился на то, чтобы рассказать о мире бессонницы — или все же усталости?

Я пойду естественным путем: через мир бессонницы к миру усталости, или, будет вернее, воспользуемся множественным числом — я хочу рассказать о разных мирах, разных картинах усталости.

Ну вот, например, какой до ужаса страшной была в свое время усталость, причина которой исходила от женщины. Нет, эта усталость ниоткуда не исходила, она протекала как физический процесс раздвоения. И никогда не поражала меня одного, а всегда одновременно и женщину, надвигалась, словно резкая смена погоды, извне, из атмосферы, из воздушного пространства. Вот мы лежим, стоим или сидим, вот только еще, само собой разумеется, вдвоем, и вдруг — в один момент, но уже необратимо — каждый в отдельности. Что всегда было моментом испуга, иногда даже ужаса, как при внезапном падении: «Стой! Нет! Не надо!» Но ничего не помогало; оба уже неудержимо отпали друг от друга, каждый в свою, в высшей степени индивидуальную усталость, не нашу, а мою и твою. Вполне возможно, что словом «усталость» обозначалось в данном случае нечто другое — отсутствие чувства или внезапно возникшая отчужденность, но для гнетущего давления, разливш
егося вокруг, она была как раз словом, отвечавшим сути дела. Даже если местом свершения был, например, большой, с кондиционером кинозал, вдруг становилось жарко и тесно. Ряды кресел изгибались. Краски на экране блекли, словно на них плеснули серной кислотой, а то и вовсе обугливались. Стоило случайно коснуться друг друга, как руки вздрагивали, словно от удара током. «Ближе к вечеру такого-то... над кинотеатром «Аполлон»... грянула с ясного неба катастрофическая усталость. Жертвой стала юная пара, только что сидевшая в зале плечо к плечу; их подбросило и катапультировало в разные стороны взрывной волной усталости; и в конце фильма, который, между прочим, назывался *«О любви»*, не удостоив друг друга ни единым словом, ни единым взглядом, они навсегда расстались и пошли в разные стороны». Да, такие разъединяющие усталости могут иногда поразить немотой или лишить способности взглянуть на другого; ну вот не смог я сказать ей: «Я устал из-за тебя» или просто «Устал!» (что, выкрикнутое одновременно и вместе, возможно, вызволило бы нас из наших мук в одиночку); такие усталости выжигали душу, лишали способности говорить. Мы тогда действительно пребывали в таком состоянии, что могли бы пойти каждый своей дорогой!

Но нет, те усталости были такого рода, что тела двоих, взорванных изнутри и отброшенных друг от друга, не могли не оставаться вместе. Иногда доходило

даже до того, что оба, в плену дьявольской усталости, начинали внушать страх.

Страх — кому?

Один — другому. Такой вид усталости, когда невозможно вымолвить ни слова, побуждает к насилию. Порой оно выражалось во взгляде, обезображивавшем другого, и не просто как данного человека, а как *особь другого пола*: некрасивые и смехотворные женские или мужские половые органы; или: ох уж эта извечная женская походка, эти неизбежные мужские позы. Случалось, что насилие вершилось тайком, отыскивая для себя третий объект — как бы случайно прихлопнутая муха, как бы в рассеянности оборванные лепестки цветка. Бывало и так, что боль причинялась самому себе: *она* обгрызала себе в кровь кончики пальцев, *он* совал руку в огонь; ударял себя кулаком по лицу, а она, подобно маленькому ребенку, не имея, однако, его защитных подушечек, бросалась плашмя на землю. Иногда кто-нибудь из этих двоих усталых в самом деле нападал на своего партнера по усталости, врага или врагиню; она хотела побоями убрать его со своего пути; он пытался, заикаясь и выкрикивая слова брани, избавиться от нее. Это насилие, вызванное усталостью двоих, было тем не менее единственным способом выхода из нее; ведь после этого хотя бы удавалось, как правило, разойтись в разные стороны. Или усталость уступала место изнеможению, и становилось возможным вновь глотнуть воздуху и прийти в себя. Тогда один возвращался к другому, и оба с удивлением смотрели друг на друга, еще дрожа всем телом от того, что только что произошло, не будучи в состоянии объять это разумом. Из чего могло родиться желание опять взглянуть на другого, но теперь уже совсем иным, новым взглядом: «Что с нами произошло в кино, на улице, на мосту!» (И голос опять появился, чтобы произнести эти слова, может, невольно вместе, а может, их произнес только молодой человек, обращаясь к девушке, или наоборот). И в таком случае эта роковая усталость, охватившая двух молодых, могла бы даже знаменовать собой преображение: беззаботной влюбленности изначально — в любовь всерьез. Ни одному из них не пришло бы в голову обвинять другого в том, что́ тот только что сделал; напротив, у них обоих открылись глаза на непременность условия, не подвластного каждому из них в отдельности: быть вместе, обоюдопребывать, становясь мужчиной и женщиной, — условие, которое, к примеру, раньше называли проявлением первородного греха, а сегодня я даже не знаю как. Если этим двоим удалось вырваться из той усталости, то, познав ее, они, как и те, кто вдвоем попали в катастрофу и уцелели, потом всю жизнь, надеюсь, будут всегда держаться вместе и принадлежать друг другу, и та усталость уже никогда не будет им грозить, так я надеюсь. И они станут жить счастливо и в согласии, пока что-то другое, куда менее загадочное, чего не стоит так уж бояться и что не заслуживает такого удивления, как та усталость, не встанет между ними: будни, мелочи жизни, привычки.

А существует ли разводящая людей усталость только в случае мужчины и женщины или, может, между друзьями тоже?

Нет. Каждый раз, когда я чувствовал усталость в обществе друга, это не было катастрофой. Я воспринимал ее как естественный ход вещей. В конце концов мы сошлись лишь на короткое время, и затем каждый из нас опять пойдет своей дорогой, осознавая нашу неизменную дружбу и после этого изнурительного часа. Усталость между друзьями неопасна, а вот между молодыми, чаще всего недолго общавшимися друг с другом парами она, напротив, представляет опасность. В дружбе одно, а в любви все иначе — или как назвать то чувство полного и безостаточного слияния душ и тел? — там с появлением усталости вдруг все ставится на кон. Рушатся чары; в один миг меркнет образ другого; он, она за одну ужасающую секунду утрачивают всё; облик, что был любовью секундой раньше, вдруг

становится фата-морганой; с минуты на минуту все может кончиться между двумя людьми, и самое пугающее во всем этом, что, как следствие, все вообще может кончиться для одного из них, ведь можно увидеть и самого себя таким же отвратительным или даже *ничтожным*, как и тот, другой, в ком только что еще так явственно воплощался идеал совместной жизни (душа в душу); так хочется прикончить себя, равно как и проклятую половину, прямо тут же, на месте; даже все предметы вокруг вдруг низводятся до их полной никчемности («каким усталым и изношенным мелькает мимо скорый поезд» — всплывает в памяти стихотворная строка друга). Те усталости пар таили в себе опасность разрастись до разочарованности жизнью, а в ком-то из них даже универсумом — поникшая листва на деревьях, медленно текущая, словно парализованная, река, поблекшее небо. Но так как подобное случается обычно, когда мужчина и женщина остаются друг с другом наедине, я стал с годами избегать затяжных ситуаций тет-а-тет (что само по себе не было решением или разве лишь трусливым).

А теперь настало время для совсем другого вопроса: может, ты рассказываешь обо всех этих коварных усталостях, которых следует опасаться, лишь из чувства долга — поскольку они подпадают под твою тему — и именно поэтому так, как мне кажется, тяжеловесно, скучно и даже несколько утрируя (ведь в истории об усталости, выродившейся в насилие, все явно преувеличено, если не сказать надумано), как бы вполсердца?

Таившие в себе опасность усталости описаны до сих пор не то чтобы вполсердца, а вовсе без сердца, то бишь без души. (И это не просто игра слов, пренебрегающая из любви к себе сутью дела.) Только я рассматриваю бессердечность рассказчика в данном случае не как свою ошибку. (Не говоря уже о том, что усталость вовсе не тема для меня, а моя проблема — упрек, который я делаю сам себе.) И я хочу и в дальнейшем, при исследовании не столь злостных, а более приятных и даже самых приятных усталостей, подвигнувших меня на этот научный эксперимент, оставаться таким же бессердечным, то есть безучастным: пусть все ограничится тем, что я буду следовать картинам и образам, явившимся мне и вызванным моей проблемой, порой буквально физически погружаясь в них и оплетая их вязью слов, со всеми мыслимыми взлетами и колебаниями чувств, и по возможности проделывая это абсолютно без сердца. Быть в картине (сидя за столом) — с меня уже достаточно такой эмоции. И если мне дозволено для продолжения своих опытов над усталостью пожелать себе еще кое-что в подмогу, то это будут скорее животворные ощущения: солнце и весенний ветер каждым андалусским утром в эти недели марта, здесь, на степных просторах под Линаресом, удержанные на кончике пера, зажатого в пальцах, когда сидишь в четырех стенах ради того, чтобы это чудесное ощущение простора, усиленное волнами аромата ромашки, растущей на куче мусора, перешло бы затем в снизошедшие на меня фразы о *добрых* усталостях и чтобы не ударить перед ними в грязь лицом и сделать их более легкими для восприятия, чем предыдущие. Но мне кажется, я уже и теперь знаю: усталость — тяжелая вещь; проблема усталости, в любой ее разновидности, — тяжелое дело. (В волны цветочного запаха дикорастущей ромашки врывается время от времени и с каждым утром все сильнее и сильнее разлитое вокруг зловоние падали; только мне хотелось бы предоставить всю работу по очистке, как и прежде, ответственным за нее и жирующим на ней грифам.) Итак, снова утро, подъем, и — в путь, туда, где больше воздуха и света между строками, как того требует дело, однако не будем отрываться от земли, всегда держась поближе к мусору, проглядывающему сквозь желто-белую ромашку, и следуя ритмичности и соразмерности пережитых картин.

Это не совсем правда, что раньше я знал только усталости, таящие в себе страх и опасность. Тогда, в детстве, в конце сороковых — начале пятидесятых, обмолот зерна молотилкой еще был событием. Еще не умели управляться с зерном с помо-

щью машин прямо на полях — чтобы с одного конца заправлять колосья в комбайн, а с другого получать мешки с готовым к помолу зерном, — нет, сначала везли снопы домой, к амбару, и обмолачивали взятой напрокат молотилкой, которая в страдную пору переходила от одного двора к другому. Для полного процесса обмолота зерна нужна была целая цепочка подручных: один сбрасывал со стоящей на дворе телеги, слишком громоздкой и высоко нагруженной, чтобы въехать под навес, снопы, другой подхватывал их и передавал дальше, желательно нужным концом, не где колосья, за них не ухватишь, главному действующему лицу, стоящему внутри, возле грохочущей молотилки, от которой сотрясался весь амбар, и тот, самый первый, переворачивал сноп и бережно вдвигал его колосьями в зубовой барабан; тут же раздавался страшный грохот и шум, после чего сзади выползала пустая солома, образуя огромный ворох, следующий по цепи подручный отгребал и подавал ее деревянными вилами на длинной ручке наверх, к тем, кто завершал цепочку, и чаще всего ими оказывались деревенские ребятишки, орудовавшие на сеновале; они оттаскивали солому в самые дальние углы и забивали ею все свободные закутки, утаптывали ее ногами, и горы ее поднимались и росли все выше и выше, так что под конец помощники оказывались под самой крышей в полных потемках. Все это длилось, пока телега перед открытыми воротами, становясь все легче и освобождаясь, не начинала пропускать свет вовнутрь амбара, опустошившись наконец; и все происходило без единой передышки, быстро, на одном дыхании, каждый был на подхвате у другого, так что любая промашка сразу застопорила бы всю работу или сбила темп. Даже самый крайний в длинной цепи, затиснутый частенько к концу молотьбы в угол и почти уже не имея возможности двигаться среди плотно утрамбованной соломы, мог, если бы молниеносно не нашел вокруг себя в темноте места для беспрерывно подаваемой наверх соломы, нарушить всю ритмичность процесса, вздумай он, чуть не задохнувшись, покинуть свой пост. Но когда молотьба счастливо заканчивалась, а заглушавшая все вокруг молотилка — ведь ничего не было слышно, если даже кричали друг другу в ухо, — остановлена, какая наступала тишина, не только в амбаре, но на всем белом свете вокруг; что за яркий свет, вовсе он даже не слепит, а так ласково окружает, словно обнимает человека. Пока опускались на землю облака пыли, мы собирались во дворе — с дрожащими коленями, пошатываясь и толкая друг друга, что постепенно переходило в игру на вольном воздухе. Наши ноги и руки были исцарапаны; обломанные стержни колосков застряли в волосах, забились между пальцами рук и ног. Но самое запоминающееся в этой картине — наши ноздри: не просто серые от пыли, а черные, у мужчин, у женщин и у нас, детей. Вот так мы и сидели — в моем воспоминании всегда во дворе на послеполуденном солнце — и наслаждались, разговаривая или молча, общей усталостью, тою, которая уложила одного на лавку во дворе, другого — на оглоблю телеги, третьего — подальше, на траву, где отбеливали обычно белье; поистине эпизодическая картина мира и согласия среди всех собравшихся тут — они же и соседи, они же и разные поколения. Облако общей усталости, витавшее в воздушном пространстве над нами, объединяло нас тогда (пока опять не прибывала телега, с новыми снопами). Таких картин — мы-и-наша-общая-усталость — поры моего деревенского детства у меня еще много.

Не несет ли с собой прошлое блаженного очищения и преображения?

Если прошлое было таковым, что оно способно осчастливить очищением и преображением, я принимаю его всей душой и верю в такое Преображение. Я знаю, что то время было святым.

Но не есть ли противопоставление, к которому ты ведешь, — между общинным, ручным трудом и индивидуальным, автоматизированным, — всего лишь частное мнение, и к тому же несправедливое?

Главным для меня в моем рассказе было не противопоставление, а сама картина труда; и если, против моей воли, возникает ощущение противопоставления, это означает, что мне не удалось передать своим рассказом чистоту картины как таковой, и я должен в дальнейшем еще больше, чем до сих пор, остерегаться того, чтобы, описывая одно, не натравливать его молча против другого, то есть не изображать одно за счет другого, что является признаком манихейства; только одно добро или только одно зло — это и так уже господствует сегодня даже в литературе, которая по природе своей наиболее свободна от разных ярлыков и которой свойственна широта в манере изложения; сейчас я расскажу вам о добрых садовниках, но только чтобы потом непременно поговорить о злых охотниках. Фактом, однако, остается, что об усталости людей ручного труда у меня сохранились в памяти трогательные и дающие материал для повествования картины, а вот об усталости тех, кто обслуживает машины-автоматы (пока еще), — никаких. Тогда, в единой для всех усталости после молотьбы, я вдруг увидел себя сидящим среди тех, кого величают «народ», тот народ, о котором я потом всегда мечтал в моей родной стране Австрии и которого мне там всегда так недоставало. Я говорю не об «усталости целых народов», давящей тяжким грузом прошлого на сознание тех, кто опоздал родиться, а о той идеальной и желанной картине усталости одного определенного маленького народа второй послевоенной республики; чтобы все его группы, сословия, союзы, дипломатический и прочие корпуса, а также соборный капитул вдруг однажды так бы утомились работой, по-настоящему, как когда-то мы, деревенские работяги, сидевшие во дворе, равные друг перед другом в нашей общей усталости, объединенные ею и очищенные от всего наносного. Один мой французский друг, еврей, которому пришлось жить во время немецкой оккупации скрываясь, рассказал мне как-то, весь преобразившись и от этого став еще более убедительным, что после освобождения «над страной неделями стояло сияние»; и примерно так же рисовалась мне картина австрийской усталости от общего праведного дела. Но: преступник, ускользнувший от расплаты, пусть он частенько и кемарит прямо там, где его свалил сон, не знает покоя, вечно мечется, находясь постоянно в бегах, и потом даже много, глубоко и шумно спит, незнаком с усталостью, тем паче с той, которая обязывает; до самого последнего предсмертного хрипа ничто на свете не одарит его усталостью, и это явится окончательным, возможно, даже втайне желанным для него самого наказанием. И вся моя страна нашпигована такими неутомимыми, франтовато-бодрыми людьми, включая и так называемые правящие круги; вместо того чтобы хоть на минутку образовать цепочку усталости из трудовых людей, она дает выдвинуться на авансцену нагловато мельтешащей кучке *беспрерывно* воспроизводящих самих себя преступников и их подручных — совсем не тех, что описаны выше, — отряд стареющих, но не устающих пай-мальчиков и девочек в национальных костюмах, потомков тех, кто отмечен печатью массовых убийств; и этот отряд уже собрал по всей стране свое потомство таких же извечно смышленых молодчиков, а они изготовились к муштровке отрядов лазутчиков из собственных внуков, так что в этом подлом большинстве никогда не найдется места для остальных меньшинств, готовых собрать воедино то, что так необходимо, — подлинную усталость народа; в этом государстве каждый будет оставаться наедине со своей усталостью до самого конца его исторического века. Страшного суда, в который я когда-то относительно нашего народа действительно на какой-то момент верил — мне необязательно говорить, когда это было, — судя по всему, все же нет; или иначе: приговор такого Суда в пределах австрийских границ силы не имел и никогда, так я думаю после моих непродолжительных надежд, уже не вступит в силу. Страшного суда просто нет. Наш народ, так я рассуждал дальше, самый первый из безнадежно пропащих, неисправимый, на веки веков не способный к покаянию и к тому, чтобы начать новую жизнь в истории человечества.

Ну разве не однозначно, что это всего лишь только мнение?

Это не мнение, а картина, потому что то, что я думал, я одновременно и видел. Мнением, и потому уже неверным, можно назвать лишь упоминание о «народе»; поскольку в той картине мне, собственно, являлся не народ, а черствый, обреченный на неблагоразумность своих лишенных человечности поступков и на бесконечное топтание на месте *отряд неутомимых*. Но само собой разумеется, другие картины тут же говорят об обратном и вновь взывают к справедливости; только они не затрагивают столь глубоко мою душу, а лишь смягчают боль. Мои предки, насколько вообще возможно проследить их линию, были батраками, койшлерами (мелкими безземельными крестьянами), а уж если они владели ремеслом, так непременно плотницким. Плотники же, которых я часто встречал окрест, и были теми, кого я всегда видел вместе, как тот самый народ трудовой усталости. Это было время начала послевоенного строительства, и меня, как старшего из детей, женская половина — мать, бабушка, невестка — часто посылала с бидонами отнести теплый обед на ту или иную новостройку в округе; все наши мужчины, не погибшие на войне, и даже какое-то время шестидесятилетний дедушка работали там вместе с другими плотниками высоко на стропилах. В моих картинах они сидят во время обеда возле своей стройки — опять все те же минуты отдыха — на частично уже обработанных балках или еще только очищенных от коры бревнах. Они сняли головные уборы, и их лбы под прилипшими волосами мерцают, словно белое молоко, на фоне темных обветренных лиц. Все они кажутся жилистыми, худощавыми, при этом гибкими и изящными; я не могу припомнить ни одного толстопузого плотника. Они едят размеренно и молча, и даже немец, мой отчим, так называемый «помощник плотника» — чужак здесь, в стране, — тоже молчит, хотя обычно берет в деревне верх благодаря своему хорошо подвешенному языку столичного жителя (мир праху его). После этого они еще какое-то время продолжали сидеть, немного усталые, глядя друг на друга, и беседовали, без шуточек и злословия и не ругаясь, никогда не возвышая голоса, про свои семьи, почти исключительно только про них, или о том, как тиха сегодня природа, и никогда — о чем-то третьем; потом они переходили к разговору о распределении работ на вторую половину дня. И хотя среди них был и прораб, у меня такое впечатление, что никто из них не имел права первого голоса, никто не мог ничего предписать другому; их усталость предполагала, что никто среди них никогда не верховодил и не распоряжался. При этом все они были, несмотря на воспаленные веки — особый признак этой усталости, — полны бодрости и живости; каждый из них — воплощенное присутствие духа («На, держи!» — летит по воздуху яблоко. «Поймал!»); одухотворенные личности (все время один и тот же невольный, такой естественный и на разные голоса произносимый зачин рассказов и воспоминаний: «До войны, когда еще была жива мать, мы ходили однажды навестить ее в больнице в Санкт-Фейте и шли потом ночью домой пятьдесят километров по Триксенской долине пешком...»). Краски и контуры тех картин рудиментарного «народа усталости» — это синий цвет рабочих штанов, красные прямые полоски от щелкающего по балкам отвеса, красные и фиолетовые овально-цилиндрической формы плотничьи карандаши, желтый цвет дюймовых линеек, овал пузырька воздуха в ватерпасе. Мокрые от пота волосы на висках просохли и топорщатся в разные стороны; на тирольских шляпах, вновь надетых на головы, никаких значков, за лентами — вместо кисточки из волосков серны — карандаш. Если бы тогда уже существовали транзисторы, то их бы, так я себе представляю, во всяком случае на той стройке, не было. И тем не менее живо ощущение, что от чистоты и света тех мест исходила как бы музыка — тончайшая на слух музыка усталости. Да, и тот миг, я это опять хорошо знаю, — святое время, эпизод святости. Правда, к этому усталому народу — не то что к тем, кто работал на молотилке, — я не принадле-

жал и только завидовал. А когда позднее, став подростком, мог бы присоединиться к ним, все уже выглядело для меня иначе, чем когда-то в представлении того, кто мальчишкой носил им еду. Со смертью бабушки, уходом дедушки на пенсию и отказом от сельскохозяйственных работ в доме распалось — и не единственном в деревне — ведение общего большого хозяйства сразу несколькими поколениями, и мои родители построили себе свой собственный дом. При строительстве того дома, когда все в семье, даже самый маленький из детей, должны были как-то участвовать и помогать, меня тоже впрягли будь здоров, и я познал тогда совсем новую для себя усталость. Работу, которая на первых порах заключалась прежде всего в том, чтобы доставлять наверх, в гору нагруженную доверху тачку с тесаным камнем, так называемыми квадрами, к недоступному для грузовика месту стройки по настланным через грязь доскам, я воспринял поначалу не как наше общее дело, а как живодерство и издевательство. Тягостный труд — бесконечно толкать в гору тачку, то и дело застревая, с утра до вечера одно и то же, одно и то же! И это убивало меня, и я не видел ничего вокруг, а только тупо глядел перед собой на серые с острыми краями квадры, на растекающиеся по мосткам серые цементные потоки и в первую очередь на стыки между досками, где мне, как правило, приходилось немного приподнимать тачку или подталкивать, чтобы преодолеть неровность или поворот. Нередко груз опрокидывался, и я вместе с ним. В эти недели я в какой-то мере на собственной шкуре познал, что такое работа на фронте или рабский труд. «Мне пришел конец» — принято говорить в таких случаях в обиходе; да, в конце дня я был конченый человек, у меня были изранены руки, горели пальцы ног, ободранные и стертые набившимся между ними размокшим цементом; я был сломлен, замыкался в себе, забивался в угол (не садясь), был вконец измотан усталостью. Не в силах проглотить кусок, я не дотрагивался до еды и даже не мог говорить. И особым признаком этой усталости было, вероятно, то, что, казалось, отдохнуть просто невозможно. Засыпал я практически прямо на ходу, а просыпался с ранним серым рассветом, незадолго до начала работ, еще более усталым, чем до того, как лег; эта зверская работа как бы лишила меня всего, что является частичкой жизни — ощущения ясного света ранним утром, ветерка на висках, — и, казалось, навечно; словно этому состоянию — быть заживо мертвым — теперь уже никогда не придет конец. Разве не умел я раньше находить быстренько для всяких неприятных дел какую-нибудь отговорку, не прибегал к разным уловкам?! Нет, у меня не было даже сил, чтобы выкрутиться таким испытанным способом, как «мне надо заниматься, надо́ готовиться к интернату», «я лучше пойду пособираю для вас грибы в лесу»... И не помогали никакие утешения: пусть дело касалось меня лично — речь шла о нашем доме, — но меня ни разу не отпустила от себя усталость наемного рабочего: усталость в одиночку. (Впрочем, было еще много таких работ, которых чурались те, кто работал сообща, например; рытье колодезных шахт: «Это собачья работа, чертовски трудная!» Удивительно только, что со временем та смертельная усталость отпускала, и что — уступала место той, как у плотников? Нет, она уступала место спортивному азарту и бешеному честолюбию с сопутствующим ему своего рода черным юмором.)

Совсем иным видом испытанной мною усталости была сменная работа во времена учебы, ради заработка. Тогда мы работали с раннего утра — я вставал в четыре часа, чтобы поспеть на первый трамвай, не умывался, писал в каморке в пустую баночку из-под конфитюра, боясь потревожить хозяев, — и до второй половины дня наверху, под крышей, при искусственном свете, в отделе доставки большого универмага, несколько недель перед Рождеством и на Пасху. Я разрывал старые картонные упаковки и вырезал из них огромным, как гильотина, ножом большие прямоугольные вкладыши для новых коробок, которые собирались за стенкой на конвейере (механическая работа, как раньше дома, когда я пилил и колол дрова, и это шло мне даже на пользу, поскольку оставляло голову свобод-

ной, здесь, правда, из-за бешеного темпа все же не полностью). Та, новая усталость заявляла о себе, когда после смены мы выходили на улицу и дальше каждый шел своим путем. Вот только тогда внезапно у меня, оставшегося наедине со своей усталостью, очки вдруг оказывались запыленными, и я моргал, ничего не видя вокруг; расстегнутый ворот рубашки — грязным, а знакомая улица выглядела совершенно иначе, чем обычно. Я больше не ощущал себя, как прежде, идущим вместе с другими людьми, которые тоже куда-то шли — в магазины, на вокзал, в кино, в университет. И хотя я бодро шел, четко осознавая свою усталость, не впадая в сонливость и не погружаясь в себя, я все-таки чувствовал, что выключен из общества, и это был леденящий момент; я шел один-одинешенек, как бы во встречном движении по отношению к остальным, все дальше в собственное уединение. В студенческих аудиториях, куда я потом входил во второй половине дня, словно переступая запретный порог, я еще меньше обычного прислушивался к монотонным голосам; все, что там говорилось, предназначалось не для меня — я ведь не был вольнослушателем. И чем дальше, тем день ото дня больше хотелось мне скорее очутиться в тех усталых группках сменных рабочих наверху, под самой крышей; и сейчас, анализируя эту картину, я понимаю, что уже тогда, очень рано для себя, девятнадцати- двадцатилетним, задолго до того, как серьезно занялся писательским трудом, я перестал ощущать себя студентом среди студентов, и это было малоприятное, скорее боязливое чувство.

А тебе не бросается в глаза, что ты создаешь картины усталости, в слегка романтической манере, только людей сельского ручного труда — твоих плотников и койшлеров, и никогда горожан — ни больших, ни маленьких?

Я ни разу не видел картин, живописующих усталость горожан.

И даже не можешь себе их хотя бы представить?

Нет. Мне кажется, что здоровая усталость — это не про них; они рассматривают ее как признак дурного тона, ну вроде как если бы ходить по городу босиком. И к тому же они не могут явить собой картину усталости, потому что сам род их занятий не таков. В лучшем случае они могут изобразить под конец дня смертельную усталость, как, собственно, любой из нас. И такой же маловероятной кажется мне усталость богача или власть предержащих, за исключением разве что ушедших в мир иной — царя Эдипа или короля Лира. Я не вижу даже усталых рабочих, выходящих после трудового дня из ворот современных полностью автоматизированных заводов и фабрик, а лишь властно, по-господски расправляющих плечи людей, с миной победителя на лице и огромными ладонями великанов-младенцев, которые тут же за углом у ближайшего игрового автомата найдут применение своим навыкам в размеренно-уверенных движениях. (Я знаю, что ты сейчас возразишь: «Тебе бы нужно, прежде чем говорить такое, хорошенько подустать самому, чтобы уметь соблюсти меру». *Но*: я *должен* быть иногда несправедливым, и мне этого хочется. А кроме того, описывая предыдущие картины, в соответствии с задуманным планом, я довольно здорово устал.) Однако я познал одну усталость, сравнимую с той усталостью сменных рабочих, когда наконец — это был мой единственный шанс — «ушел в писание» и работал ежедневно, месяцами напролет. А потом, когда снова вышел на городские улицы, уже больше не ощущал себя частью уличной толчеи. Но сопутствующее мне в данном случае чувство было совершенно иным: мысль не быть участником рядовых будней больше нисколько не занимала меня; наоборот, при моей чудовищной творческой усталости, близкой к изнеможению, она даже давала мне, можно сказать, блаженное ощущение: не общество было недоступно для меня, а я был таковым для него и для каждого из них. Какое мне дело до ваших прихотей, гулянок, объятий, вот

для меня тут деревья, трава, киноэкран, где Роберт Митчем только для меня пускает в ход свое непостижимое искусство мимики; музыкальный автомат, где Боб Дилан только для меня поет свою «Sad-Eyed Lady of the Lowlands»[1] или Рэй Дэвис свое и мое «I'm Not Like Everybody Else»[2].

Но разве усталостям такого рода не грозит опасность перерасти в высокомерие?

Да. Я ловил себя потом все время на холодном, презирающем людей высокомерии или, что еще хуже, на снисходительном сострадании ко всем добропорядочным профессиям, которые ни за что в жизни не могли дать той королевской усталости, которую давала моя. В те часы, когда я кончал писать, я был неприкасаем, конечно, в моем смысле — сидящим, так сказать, на троне, даже если он стоял в хлеву. «Не тронь меня!», а то закроюсь, как мимоза. А если все же гордого в своей усталости тревожили, он делал вид, что не замечает этого. Усталость как путь к доступности, осуществлению желания, чтоб к тебе прикоснулись и чтоб ты сам мог прикоснуться, я познал значительно позже. Такое случается редко, как великое событие в жизни, и уже давно не случалось со мной, словно это вообще возможно только в определенную эпоху человеческого существования и повторяется потом лишь при чрезвычайных обстоятельствах — война, катастрофа или какая другая большая беда. Те несколько раз, когда я был — какое же слово тут уместнее всего? — «осчастливлен» той усталостью или, может, она «выпала мне на долю», я действительно пережил личную беду и встретил тогда, к своему великому счастью, еще кого-то, кто тоже испытал похожее. И каждый раз этим кем-то оказывалась женщина. Но одной лишь беды все же было мало; необходимо было, чтобы нас связала некая эротическая усталость, как бы подтолкнула друг к другу выношенная печаль. Похоже, есть такое правило, что мужчина и женщина, прежде чем они на долгие часы станут замечательной любовной парой, оба должны проделать длинный, трудный путь и встретиться в каком-то третьем, для них обоих чужом, месте, как можно дальше от того, которое зовется родиной — или домашним очагом, — и перед этим пережить еще вместе опасность или хотя бы продолжительное душевное смятение: в стане врагов, пусть даже и в собственной стране, что тоже возможно. Вот тогда может случиться так, что их усталость в том обретенном бежавшими от нее пристанище, где наконец-то стало тихо, кинет их обоих, мужчину и женщину, женщину и мужчину — толчок, еще толчок — в объятия друг друга, и с такой естественностью и страстью, которые не сравнимы, так я себе сегодня представляю, ни с каким другим единением, будь то даже любовь; «все равно что поделиться друг с другом хлебом и вином», как выразился один мой друг. Или вот на память мне приходит одна стихотворная строка, что вернее передает испытываемые во взаимной усталости чувства: «...слова любви — и каждое смеялось...», смысл ее совпадает с тем, когда в народе говорят «душа у них поет», даже если гробовое молчание окружает тела обоих; или, если угодно, это вариации того, что говорит в фильме Альфреда Хичкока подвыпившая и виснущая на (еще) пытающемся держать дистанцию очень усталом Кэри Гранте Ингрид Бергман: «Ах, бросьте — усталый мужчина и пьяная женщина, да из них получится отличная пара!»; усталый мужчина и усталая женщина, да из них получится самая прекрасная пара; или когда «с тобой» воспринимается как одно слово, наподобие испанского «contigo»... Или, может, стоит изменить немецкий вариант и сказать вместо «Я устал *с тобой*» — «Я устал *тобой*». После столь редкостных опытов я представляю себе Дон Жуана не соблазнителем, а появляющимся каждый раз и в нужный для уставшей женщины момент усталым, *вечно* усталым геро-

---

[1] «Женщина с низких долин с грустными глазами» (*англ.*).
[2] «Я не такой, как все» (*англ.*).

ем, в объятия которого падает каждая из них и никогда, впрочем, не убивается по нем потом, когда мистерии эротической усталости счастливо завершаются; потому что то, что было между двумя смертельно уставшими людьми, останется для них свершившимся навечно; их память ничто не будет хранить так долго, как тот счастливый гармоничный случай, и никому из них не надобно повторных встреч, они даже чураются их. Вопрос только: как создает этот Дон Жуан каждый раз для себя новые усталости, так чудесно обращающие его и очередную уставшую в столь обессилевшую и прекрасную пару? Как не одна, не две, а тысяча три[1] незабываемых синхронностей врезаются на всю жизнь в память этих тел мимолетным касанием кожи, обоюдными порывами страсти, искренними, без обмана, без видимой игры, что, может, действительно так — толчок за толчком? Наш брат, во всяком случае, был бы после столь редчайших экстазов усталости надолго потерян для любых проявлений телесной и плотской суеты.

А что осталось бы после такого в твоей памяти?

Только одна возросшая усталость.

А есть ли, на твой взгляд, еще бóльшие усталости, чем только что тобой описанные?

Более десяти лет назад я летел ночным рейсом с Аляски, из Анкориджа, в Нью-Йорк. Это был очень длительный полет, начавшийся далеко за полночь из города в заливе Кука, куда во время прилива входят, громоздясь друг на друга, огромные льдины, чтобы потом, во время отлива, посерев и почернев, помчаться галопом назад в океан, с промежуточной посадкой ранним серым утром, в снежную пургу, в Эдмонтоне (Канада) и потом еще одной, когда, описывая круги в воздухе, мы ждали разрешения на посадку, а затем бесконечно стояли внизу, на посадочной полосе, на слепящем предполуденном солнце в Чикаго, и наконец окончательно приземлились в духоте второй половины дня в Нью-Йорке, но только далеко от города. Очутившись наконец в отеле, я намеревался тотчас же пойти лечь спать, я был словно болен — отгорожен ото всего мира — после ночи без сна, воздуха и возможности нормально двигаться. Но тут я вдруг увидел внизу асфальтированные дорожки в Central Park, широкие и просторные, в солнечных лучах ранней осени, и людям там, как мне подумалось, было хорошо, и я почувствовал, что непременно что-то упущу, оставшись в номере, и меня потянуло к ним на улицу. Я сел на солнышке в кафе на террасе, вблизи непрерывного гула и сплошного бензинного угара, все еще слегка отупевший от перелета, выведенный из внутреннего равновесия и испытывающий некий душевный страх, вызванный проведенной без сна ночью. Но потом, я даже не знаю как, постепенно — или, может, опять толчок за толчком? — стало явью преображенье. Я где-то читал, что впавшие в уныние люди смогли преодолеть свой кризис благодаря тому, что им много ночей не давали спать; набравшая опасную амплитуду колебания «провисшая и качающаяся ось» собственного Я вдруг обрела стабильную устойчивость. Предо мной предстала эта картина, как только моя угнетенность уступила место усталости. В ней было что-то от выздоровления. Разве не говорят «бороться с усталостью»? Внутренний поединок был закончен. Усталость стала отныне мне другом. Я вновь вернулся на землю, в этот мир, и даже находился — не потому ли, что это был Манхэттен? — в самом его центре. Но постепенно к этому стало добавляться кое-что еще, даже многое, и каждый раз одно приятнее другого. До самого вечера я ничего не делал, только сидел и смотрел; было такое ощущение, что мне даже и дышать необязательно. Никаких показушных, для пущей важности, дыхательных

[1] Имеется в виду «Ария со списком» из оперы Моцарта «Дон Жуан».

упражнений или поз по системе йогов — да нет, просто сидишь и дышишь под знаком усталости, как бы между делом, и притом абсолютно естественно и потому правильно. Мимо постоянно проходили казавшиеся неслыханно красивыми женщины — такой красоты, что у меня время от времени увлажнялись глаза, — и все они, проходя мимо, тоже замечали меня, обращали на меня внимание. (Удивительно, но прежде всего именно красивые женщины видели этот подернутый усталостью взгляд да еще кое-кто из стариков и детей.) Но ни у кого из нас даже и мысли не возникало, что мы, одна из них и я, могли бы пойти и что-то предпринять сверх этого; мне ничего не нужно было от них, с меня было достаточно, что я мог просто наконец вот так посидеть и посмотреть на них. И это действительно был взгляд доброго зрителя, наблюдавшего за игрою, которая может удаться только в том случае, если ее смотрит хотя бы один зритель. Глядеть для этого усталого уже было родом деятельности, и притом активной, с вмешательством в игру; актеры делались благодаря этому только лучше, еще красивее, к примеру, они уже не спешили скрыться как можно скорее прочь с этих глаз. Долгий взгляд идентифицировал их красоту — давал ей возможность раскрыться. Сидящий и смотрящий, таким образом, был избавлен благодаря усталости, словно по волшебству, от собственного Я, вечно создающего одно беспокойство; все прочие душевные перекосы, дурные привычки, заскоки, придурь и заботы отпали сами собой, ничего больше, кроме разрешающих все проблемы глаз, наконец-то таких же загадочно-бездонных, как у Роберта Митчема. И еще: бескорыстное созерцание активизировалось не только благодаря хорошеньким женщинам, проходившим мимо, — оно затягивало в глубину своего мира все, что жило и двигалось вокруг. Усталость членила, но не дробила, а лишь выделяла, задавала привычной неразберихе ритм, облагораживала формы — все вокруг, насколько хватает глаз, — такой огромный горизонт усталости.

И сцены насилия, стычки, крики — тоже все облагороженные формы на том огромном горизонте?

Я рассказываю здесь об усталости в мирное время, в промежутке между стычками. А в те часы как раз был мир, и в Central Park тоже. И самое удивительное, что моя усталость там, казалось, содействовала этому временному миру тем, что усталый взгляд порой усмирял? смягчал? отдельные поползновения к насилию, ссорам или хотя бы просто акту недружелюбия; он обезоруживал своим особым состраданием, не тем презрительным, как иногда со стороны занятых людей, нет, своим сочувствием, равным пониманию.

Но что такого особенного было в твоем взгляде? Примечательного в нем?

Я видел, ощутимо и для другого человека тоже, одновременно с ним всё, что имело к нему отношение: дерево, под которым он в данный момент проходил, книгу, которую держал в руке, свет, падавший на него, когда он стоял, даже если это было искусственное освещение витрины магазина; стареющего жиголо *с* его светлым костюмом *и* гвоздикой в руке; приезжего с увесистым багажом; великана с не попадающим в поле зрения ребенком на плечах; себя самого вместе с кружащейся листвой из паркового леса; каждого из нас с небом в головах.

А если вокруг ничего не было?

Тогда моя усталость создавала это «вокруг», и тот, другой, который только что еще блуждал в пустоте, вдруг начинал ощущать с каждой минутой ауру, окружавшую его.

И дальше та усталость делала так, что тысяча не связанных между собой и беспорядочно текущих на моих глазах действий и проявлений жизни вдруг упорядочивалась, принимала форму и выстраивалась в последовательную цепочку событий; все они становились частью меня самого, хорошо пригнанной деталью — удивительно тонкого и хрупкого, легко складывающегося — повествования; и при этом все происходящее само рассказывало о себе, не прибегая к посредничеству слов. Благодаря моей усталости мир обходился без них и только возвеличивался. К этому могу лишь дополнительно набросать вчерне схему четырех способов отношения моего словесного Я к миру: в первом варианте я нем, болезненно выключен из всех процессов; во втором — шум голосов, гул разговоров проникает извне, накладываясь на мой внутренний мир, причем я все еще остаюсь нем, в крайнем случае, оказываюсь способным закричать; в третьем — во мне наконец пробуждается жизнь и пытается невольно, фраза за фразой, начать про себя рассказывать, чаще обращаясь к конкретному лицу — ребенку, друзьям; и, наконец, в четвертом — самое сильное из всего, что я испытал до сих пор и что так надолго запало мне в душу, — это как тогда, в моей яснооkой усталости, когда сам окружающий мир рассказывал про себя, в полном молчании, абсолютно без слов, рассказывал мне, своему седовласому соседу-зрителю, и вон той проплывающей мимо и покачивающей бедрами роскошной бабенке; и это мирное течение происходящего вокруг уже само по себе было повествованием, и оно, иначе, чем боевые действия или войны, которым требуется сначала воспевший их певец или летописец, расчленилось и само выстроилось в моих усталых глазах в подлинный эпос, к тому же, как меня осенило только сейчас, в абсолютно идеальный; картины мимолетно бегущего мира вошли в пазы — щелк, щелк — одна за другой и приняли единый образ.

В идеальный?

Да, идеальный, потому что там все было по-честному и случались все новые и новые вещи, и ни одной из них не было ни слишком много, ни слишком мало — столько, сколько нужно для эпоса; рассказывающий сам себя мир, как рассказывающая сама себя история человечества, такая, какой она могла бы быть. Утопия? «La utopia no existe», — прочитал я здесь на одном плакате, что в переводе означает: место, которого нет, не существует. Стоит подумать об этом, и всемирная история тут же начнет раскручиваться. Моя тогдашняя утопическая усталость, во всяком случае, породила такое место, по меньшей мере одно. Больше чем когда-либо я испытал там чувство пространства. У меня было такое ощущение, что я, едва прибыв туда, тут же вобрал в себя, в свою усталость, запах местности, словно был здешним старожилом. И на это место нанизывались при похожей усталости последующих лет еще и многие другие. Бросалось в глаза, что чужие при этом часто приветствовали меня, чужого, потому что я казался им знакомым, или делали это просто так. В Эдинбурге, проведя долгие часы перед «Семью таинствами» Пуссена, явившими мне наконец-то крещение, тайную вечерю и все остальное с должным пиететом, я сидел, сияя усталостью, в одном итальянском ресторане, осознанно позволяя — исключение, относящееся все к той же усталости, — обслуживать себя; и все кельнеры сошлись под конец на том, что уже видели меня как-то однажды, причем каждый в другом месте: один — на Санторине (где я никогда не был), другой — прошедшим летом, со спальным мешком, на озере Гарда — ни спальный мешок, ни озеро не соответствовали действительности. В поезде из Цюриха в Биль после ночи, проведенной без сна из-за праздника в честь окончания детьми школы, напротив меня сидела проведшая такую же бессонную ночь молодая женщина, возвращавшаяся с заключительного праздника, велогонок «Тур Швейцарии», где она по поручению замешанного в этом деле банка, в котором она работала, должна была ублажать велогонщиков — вручать им цветы, раздавать в награду

поцелуи в щечку тем, кто поднялся на пьедестал почета... Этот рассказ тек непрерывным потоком из уст уставшей женщины, перескакивая с одного на другое, словно мы давным-давно всё уже знали друг про друга. Один из велогонщиков, победивший подряд на двух этапах, получил свой поцелуйчик снова, но не был в состоянии даже узнать ее, так сильно, рассказывала она со смехом, полная уважения к ним и не испытывая разочарования, увлечены велогонщики только одним спортом. Ну а теперь она вовсе не собирается ложиться на голодный желудок спать, а пойдет со своей подружкой в Биле обедать, у нее волчий аппетит, причем мне вдруг опять открылся повод для того, чтобы познать еще один вид общемировой усталости — испытываемое чувство голода. Усталость сытости не способна породить такое. «Мы были голодные и усталые» — так рассказывает свой сон молодая женщина Нэд Бомон в «Стеклянном ключе» Хэммета: то, что свело этих двоих, подвигло их потом и на дальнейшее, были голод и усталость. Этим особым восприятием такого рода усталости обладают, так мне кажется, наряду с детьми — их бесконечное большеглазое оборачивание, полное ожидания, чтоб посмотреть, кто там сидит, — и такими же уставшими взрослыми еще только идиоты и звери. Один дурачок пару дней назад здесь, в андалусском Линаресе, спотыкаясь заплетающимися ногами и держась с отсутствующим видом за руку своего провожатого, заметил меня сидящим на скамейке с ворохом клочочков бумаги, на которых я что-то записывал и утром, и вечером, сделал такие удивленные глаза, словно увидел одного из своих или, может, кого-то еще даже почуднее. Сияние при виде меня исходило не только из его глаз, но от всего лица этого монголоида; он даже остановился, и пришлось его как следует дернуть, чтобы потащить дальше, великое удовольствие отобразилось на его лице просто оттого, что взгляд его уперся в равного себе и тот, другой, тоже признал его как равного. И это случилось не впервой: кое-где уже бывало так, что идиоты земного шара — европейские, арабские, японские — с детской радостью разыгрывали друг перед другом свои игры, то и дело попадая от усталости в поле зрения идиотов. Когда я, окончив свою работу и проделав долгий путь пешком, проходил чертовски усталый по пустынной фриульской[1] долине краем леса вблизи деревни, носящей имя Медея, то заметил в траве утиную парочку и тут же серну и зайца, лежавших рядом и продемонстрировавших мне, после первых инстинктивных порывов к бегству при моем появлении, размеренность своих движений, а также травоядность — они стали кто пастись, а кто пощипывать травку, переваливаясь с боку на бок на широких перепончатых лапах. Возле монастыря Поблет в Каталонии мне повстречались на проселочной дороге две собаки, большая и маленькая, вроде как отец и сын, которые потом пошли со мной, то сзади, то обгоняя меня. Я был такой усталый, что даже не испытал обычного страха перед собаками, и кроме того, так я себе представил, из-за долгого хождения пешком я уже пропах запахами этой местности и стал для собак как бы своим. А те тем временем начали играть: «отец» бегал вокруг меня, а «сын» — за ним, шмыгая у меня промеж ног. Да, подумал я, это картина настоящей человеческой усталости, она делает человека открытым, так сказать, пропускным, распахивая дверь в эпос для всех живых существ, как сейчас для этих животных. Здесь, пожалуй, будет уместна следующая вставка: на пустыре под Линаресом, с кучами мусора и ромашками, куда я каждый день хожу гулять, я стал свидетелем совершенно иных игр, имевших место между людьми и животными. Но об этом совсем вкратце, только назывными предложениями: сидящие по одному мужчины, на некотором отдалении, как бы для отдыха в тени развалин или каменных глыб, в действительности же подкарауливающие, на расстоянии выстрела от воткнутых в кучи мусора гибких стальных прутьев с крошечными насаженными на них клетками, без всякой свободы движения для бьющих-

[1] Фриули — историческая область Италии.

ся в них пернатых и раскачивающих тем самым еще больше те клетки, где маленькие пичужки не что иное, как двигающаяся живая приманка для больших птиц (тень орла, однако, довольно далеко от расставленных ловушек; вот она, скользящая тут по моим разложенным листам в тихой и зловещей эвкалиптовой роще вблизи руин свинцового рудника, моего привычного рабочего места на природе в период резких пронзительных выкриков и фанатичного воя труб на страстную неделю в Испании); или выскакивающие на пустырь с заходом солнца, как полоумные, цыганята из ближайшего поселка, с танцующим вокруг них, высоко прыгающим изящным псом с благородной мордой, потом вдруг рычащим и дрожащим от нетерпения, словно зритель перед предстоящим спектаклем, разыгрываемым одним подростком и заключающимся в выпускании на пустырь зайца и травле его мчащейся за ним собакой, в быстром нагоне ею петляющей жертвы, захвате за холку зубами, для начала как бы играючи, с последующим ослаблением хватки и новым улепетыванием зайца, его еще более быстрой поимкой, отчаянным дрыганием в пасти, мотанием из стороны в сторону взлетевшего в воздух животного, с летящим бегом собаки через саванну с добычей в зубах — протяжный и тянущийся по пустырю визг зайца, — спектакль, заканчивающийся уходом детей назад в поселок, с собакой, подпрыгивающей вверх, до вытянутой руки предводителя с болтающимся в ней зайцем, схваченным за уши, мокрым от крови, с безжизненными лапами; его все еще немного вздрагивающая маленькая тушка на переднем фланге этих идущих гуськом, против заката солнца, цыганят, а высоко над их головами видимое в профиль личико зайца, в полной его беспомощности и покинутости, возвысившееся, однако, как над собачьим, так и человеческими лицами; или подростки — всего лишь вчера, при моем возвращении после писательских трудов из эвкалиптовой рощи назад в город, — у городской каменной стены вдоль масличной плантации, с оливковыми ветками и камышовыми палками в руках, с криками то подбегающие, то отскакивающие назад, разбрасывающие камни, пинающие ногами, а внизу, теперь уже на открытом солнце, свернувшиеся кольцами толстые и длинные змеи, сначала еще почти недвижимые, только дергающиеся головы да выброшенные языки, еще малоподвижные от зимней спячки, и потом вдруг обрушившиеся на них со всех сторон удары палок, разламывающийся, однако больно бьющий камыш в этой дроби ударов все подбегающих и отбегающих еще почти детей (в памяти и я тут же с ними); наконец, взметнувшаяся змея, высоко поднявшаяся вверх, в полный рост, но одновременно жалкая, утратившая способность напасть, даже не представляющая собой опасности, только грозно поводящая шеей, демонстрируя свои врожденные змеиные повадки, и вот так, выпрямившись, в профиль, с раздавленной головой и струйками крови из пасти, рухнувшая в последний момент под градом камней, став вдруг похожей на зайца и превратившись в третьестепенный персонаж, мелькнувший на мгновение в глубине сцены при поднятии занавеса с привычно намалеванными на нем фигурами людей и животных. Однако откуда во мне такой внутренний протест, такое упорное неприятие этих ужасов, которые ничего не рассказали мне; в крайнем случае лишь подтвердили, что нужно пробовать рассказывать и *дальше*, тогда как то, о чем повествуют *объединяющие* усталости, вызывает во мне естественный подъем творческих сил — писать еще и еще; и почему именно они высвобождают дыхание, так что его может хватить на целый эпос?

Да, но как же ты не видишь, что главным были вовсе не ужасы? Хотя бы потому, как ты, желая только зафиксировать их, пустился против воли в повествование, хотя и избегал упорно глаголов, которые закрепили бы твое участие в событиях прошлого, явно преследуя свой умысел и прибегая для этого к литературному трюку? А что, смакование и живописание ужасов, помимо всего прочего, еще и более выигрышное занятие, во всяком случае, более наглядное и убедительное,

чем перечисление всех остальных столь любвеобильных эпизодов этой твоей эпопеи усталости?

Да я вовсе не хочу никого ни в чем убеждать, никому ничего навязывать. Даже уговаривать не хочу — и картинами тоже, — только напомнить каждому его собственную, самую сильную, рассказывающую о себе усталость. И наглядность этого, и убедительность еще проявятся под конец задуманного нами опыта, возможно, даже сразу — стоит мне только подустать за оставшееся до его окончания время.

Так в чем же тогда, отбрасывая все твои шуточки и хитроумные зарисовки, сам корень, суть самой последней усталости? Как она проявляется? Как тогда надо начать действовать? И оставляет ли она Уставшему шанс, чтобы действовать?

Она уже сама по себе лучшее действие, и с ней ничего не надо ни предпринимать, ни начинать, потому что она по сути своей и есть Начало Действия: «положить начало» — вот как это называется. И это «положить начало» — урок. Усталость учит — она практична. «Учит чему?» — спросишь ты. Раньше в науке о законах мышления существовало такое понятие, как «вещь в себе», а теперь это уже в прошлом, поскольку «объект» не смог проявиться сам по себе, а только в союзе со мной. Усталости же, которые я имею в виду, обновляют для меня это старое представление и делают его очевидным и ощутимым. Больше того, они несут вместе с ощущением одновременно и идею. Больше того, в идее вещи я прикасаюсь, как бы щупаю руками сам постулат: какой эта вещь показывает себя в данный момент, такой она не просто *существует*, таковой она и *должна* быть. И еще больше: в той фундаментальной усталости вещь никогда не проявляется только как «сама по себе», а всегда лишь вкупе с другими вещами, пусть даже если их будет совсем немного, зато под конец все они сойдутся вместе. «Теперь вот еще и собака лает, значит, все тут, и все опять вместе!» И как вывод: такие усталости нельзя брать на себя одного, их надо делить с другими.

С чего это вдруг так много философии?

Да, правда,— может, я все еще недостаточно устал? — в час последней усталости нет места философским вопросам. Это время — одновременно и пространство; это временно́е пространство — одновременно и история. То, что существует, то одновременно и *проявляется*, и становится одновременно частью меня. Вот эти двое детей тут, у меня, усталого, на моих усталых глазах, это и есть я сейчас; и то, как старшая сестра тащит через все кафе своего маленького брата, тоже сразу приобретает смысл и имеет ценность; и нет ничего такого, чтобы одно было ценнее другого, — дождь, бодрящий Уставшего, равноценен виду Идущего по ту сторону реки; если одно хорошо, так другое прекрасно, так и должно быть, так должно оставаться и дальше; и, что самое главное, это и есть истина. Как сестра-я-брата-меня-хвать за штаны, и это так, это *истинно*. И все относительное проявляется в усталом взгляде как абсолютное, часть как целое.

А где же наглядность?

Для понятия «все, вместе взятое» у меня есть свой образ, своя картина; это, как правило, голландские натюрморты с цветами семнадцатого столетия, где на цветочках сидят натуральные то жучок, то улитка, то пчелка, а то бабочка; и хотя, вероятнее всего, они не имеют ни малейшего представления о присутствии друг друга, в тот момент, когда *я* лицезрю их, они все вместе.

Не можешь ли ты попытаться стать наглядным и убедительным без этого умозрительно-обходного маневра?

Давай сядь со мной — пожалуй, и ты, так я надеюсь, уже достаточно подустал за это время — вот сюда, на этот каменный бортик по краю дороги, или еще лучше, поскольку еще ближе к земле, опустись со мной рядом на корточки прямо на дорогу, на бегущую посередине зеленую полоску травы. Как там было — одним толчком? — вот и ладно, так и будет; и в этом отблеске красок, глядишь, удастся познать цветастое отражение мира с его призывом «Держаться всем вместе!»; находясь в непосредственной близости к клочку земли, мы одновременно соблюдаем должную дистанцию по отношению к природе и смотрим на выгибающуюся гусеницу, на зарывшегося в песок многочленистого жучка, длинного, как червь, а вместе с ним и на муравья, который трудится над маслиной, и на кусочек бересты, свернувшейся на наших глазах в восьмерку.

Никаких отчетов в виде фрагментарных зарисовок, только эпос!

По пыли этой андалусской сельской дороги несколько дней назад передвигался, так же торжественно и медленно, как изваяния скорби и печали, которые носят тут в Андалусии на страстной неделе по улицам, трупик крота, под которым, когда я перевернул его, оказывается, шествовала целая цепочка золотистолоснящихся жуков-могильщиков; а как-то перед тем, еще в зимние недели, я присел на корточки на такой же полевой дороге, но в Пиренеях, вот точно так же, как мы сидим сейчас, и смотрел, как падает снег крошечными зернистыми снежинками, неотличимыми, когда они уже легли на землю, от светлых песчинок, но оставлявшими потом, растаяв, своеобразные лужицы, такие темные пятнышки, но совсем иные, чем от капель дождя, гораздо более широкие, неравномерно расположенные, очень медленно впитывающиеся в пыль; а когда-то ребенком, находясь примерно на том же расстоянии от земли, как сейчас мы, когда сидим на корточках, я шел точно по такой же австрийской полевой дороге ранним серым утром с дедушкой, босиком, равно близко к земле и космически далеко от разрозненных кратеров в пыли, образовавшихся от упавших капель летнего дождя, — моя первая, вечно заново повторяющаяся картина познания мира.

Наконец-то в твоих притчах о проявлении усталости не одни лишь масштабы преуменьшенных ценностей вещей, но и человеческая мера! Но почему все время в образе Уставшего только ты, один ты?

Мои самые большие усталости всегда казались мне одновременно и общечеловеческими. В Дутовле на Карсте поздней ночью у стойки бара вспоминали прошлое старики мужчины, и я тоже был вместе с ними на войне. Усталость проецирует на человека, о котором мне ничего не известно, историю его жизни. Эти двое там, с зачесанными назад мокрыми волосами, худыми лицами, потрескавшимися ногтями, в чистеньких рубашках, — сельские рабочие, labradores, которые целый день ишачили где-то в глуши и проделали сюда, в городской бар, долгий путь пешком, в отличие от остальных, стоящих тут же; а вон тот, что в одиночестве проглатывает свою пищу, — чужой здесь, прибыл на заработки в Линарес, на монтажные работы на завод «лэндроверов», и оторван теперь от дома, от семьи; или тот старик, которого я вижу каждодневно за городом, на краю оливковых плантаций: у ног его маленькая собачка, он стоит, упершись локтями в развилину дерева, и печалится о своей умершей жене. Идеально Усталому «будут фантазии», правда, чуть иные, чем, скажем, спящим из Библии или «Одиссеи», которым было

видение без всяких сновидений; ему откроется то, что есть наяву. И вот я, если еще и не усталый, то достаточно нахальный, настроен теперь на то, чтобы рассказать мои фантазии, которые «были мне» на самой последней ступеньке моей усталости. На той последней ступеньке сидел усталый Бог, усталый и бессильный, но в своей усталости — на малую толику — еще чуть более усталый, чем любой из смертных, Вездесущий, со взглядом, который, будучи увиденным во временно́й протяженности мировой истории, дошел бы до сознания увидевших его, был бы признан и принят ими и явил бы тогда собою некую власть.

Хватит о ступеньках! Поговори же наконец о витающей в твоем воображении усталости просто так, как Бог на душу положит, как это случается в суматохе и сумятице жизни.

Спасибо! Именно такая суматоха и сумятица и есть сейчас моя жизнь и мои проблемы. Итак, хвалебная песнь в духе Пиндара[1], ода — но не Победителю, а Уставшему! Я, например, могу себе представить поклоняющихся Троице пятидесятников, только что принявших Духа, смертельно усталыми людьми. Усталость меньше всего вдохновляет на то, чтобы что-то тут же предпринять, скорее призывает оставить все как есть: ангел, коснувшийся рук спящего и видящего сон-откровение Царя, тогда как остальные «цари» спят в это время беспробудно и без всяких сновидений дальше. *Здоровая* усталость — она уже сама по себе отдохновение. Иной Усталый подобен Орфею, окруженному сворой диких хищных зверей, которые в конце концов тоже почувствуют себя усталыми и усмирятся. Усталость задает одиночкам тон. Так, Филип Марлоу — еще один частный детектив — проявлял себя в решении сложных дел тем лучше и проницательнее, чем больше бессонных для него ночей нанизывались одна на другую. А усталый Одиссей добился любви царевны Навсикаи. Усталость омолаживает, она делает молодым как никогда. Усталость — это нечто большее, чем собственное маленькое Я. Все становится таким удивительным в ее, усталости, покое; ах, сколь чудесен тот рулон бумаги, который несет под мышкой на удивление спокойный человек вон там, по удивительно тихой calle Cervantes[2] ! А теперь картины высшего проявления усталости: тогда, в Пасхальную ночь, во время праздника Воскресения Христова, деревенские старики лежали в церкви, распластавшись на животе, перед гробом, в парчовых багряницах вместо синих рабочих комбинезонов, с загорелыми загривками, иссеченными трудовыми морщинами, как межами промеж полосок земли; умирающая бабушка, в ее тихой усталости от жизни, умиротворившая весь дом и даже своего неукротимого во гневе мужа; и все вечера здесь, в Линаресе, я наблюдаю, как каждый раз устают бесчисленные малолетние детишки, которых взрослые приводят с собой в бар; уже нет больше жажды любопытства, уже их ручонки больше ничего не хватают, лишь только вяло шевелятся пальчики. И нужно ли в придачу к этому еще говорить о том, что даже в таких глубоких картинах усталости запоминается только одно — разлучение?

Ну ладно, пусть так, в известной наглядности и убедительности твоей проблеме отказать нельзя (хотя все это остается лепетом, типичным для мистиков). Но как можно вызвать животворную усталость? Искусственно лишать себя сна? Предпринимать дальние перелеты с континента на континент? Мощные маршевые броски? Прибегнуть к геркулесовой работе? Взять и немножко на пробу умереть? Есть ли у тебя рецепт для твоей утопии? Обуздание праздной веселости целого народа в форме таблеток? Или в виде порошка, добавляемого в питьевую родниковую воду на водозаборных станциях в стране Незнающих Усталости?

---

[1] Пиндар (ок. 518 — 442 или 438 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.
[2] Улица Сервантеса (*исп.*)

У меня нет рецепта и для себя самого тоже. Я знаю только: такую усталость нельзя спланировать; она не может стать заранее объявленной целью. Но я знаю еще, что она никогда не придет просто так, без причины, а всегда лишь через трудности, в переходный момент, в преодолении их. И давай теперь встанем и уйдем отсюда, выйдем на улицы, смешаемся с людьми и посмотрим: а вдруг нам на этом временно́м перепутье улыбнется где-нибудь хоть маленькая, но общая усталость — и что она тогда расскажет нам сегодня?

А что, чтобы по-настоящему устать или суметь правильно сформулировать вопрос, нужно обязательно встать, а не продолжать сидеть на месте? Как та скрюченная старушка в парке для праздногуляющих, вечно понукаемая своим уже тоже седовласым и тоже загнанным сыном, которая сказала: «Ах, давай еще *посидим*!»

Да, давай посидим. Но не здесь, где нет людей, а лишь шелест эвкалиптов, не в этом одиночестве, а где-нибудь в шуме бульваров и авенид; посмотрим на других и, может, даже насладимся самым заурядным музыкальным автоматом, если вдруг окажемся в радиусе его слышимости.

Но во всей Испании невозможно найти ни одного такого музыкального автомата.

Здесь, в Линаресе, есть один, и очень странный.

Расскажи.

Нет. Как-нибудь в другой раз, в эссе «О музыкальных автоматах»[1]. И такое может случиться.

Но перед нашим выходом к людям — еще только одну, последнюю картину усталости!

Хорошо. Это будет одновременно и моей последней картиной человечества: примиренного в свой самый последний, отпущенный ему миг в единой космической усталости.

Приложение.

Те маленькие клетки с птичками, расставленные в саванне, вовсе не предназначались для того, чтобы служить приманкой для орлов. Один человек, сидевший на некотором отдалении от такого места, ответил на мой вопрос так: он выносит птичек за город, на этот пустырь, к мусору, чтобы послушать на «пленэре» их *пение*; и масличные ветки, воткнутые возле клеток в землю, опять же вовсе не для того, чтобы приманивать с неба орлов, а чтобы заставить пичуг *петь*.

Второе приложение.

Или, может, пичуги все-таки прыгают ради орла, парящего высоко в небе, которого люди хотят для разнообразия увидеть в *его стремительном падении вниз*?

Линарес, Андалусия, март 1989 г.

[1] Эссе «О музыкальных автоматах» было написано П.Хандке в 1990 г.

ТОМАС МАНН

Фрейд и будущее

Доклад, прочитанный в Вене 8 мая 1936 г.
на праздновании 80-летия Зигмунда Фрейда

Перевод с немецкого и вступление С.АПТА

Некруглая годовщина

Ни на 140-летие (в данном случае — со дня рождения Фрейда), ни на 60-летие (в данном случае — этого доклада) не принято откликаться журнальными публикациями. Другое дело — сто лет или сто пятьдесят. Но до таких дат надо еще дожить, да и неизвестно, покажется ли тогда кому-нибудь этот текст живым, интересным. Сейчас он мне таким кажется.

«Исследовательский интерес Фрейда к аффектам не вырождается в преклонение перед предметом в ущерб интеллектуальной сфере. Его антирационализм означает понимание факта властного превосходства инстинкта над духом, но не означает раболепства перед этим превосходством и презрения к духу... Он служит революционно увиденной в будущем победе разума и духа, он служит... просвещению», — писал Томас Манн в 1929 году в статье «Место Фрейда в современной духовной истории». Нижеследующий доклад есть, в сущности, развитие и разъяснение этой мысли, коротко выражающей отношение Томаса Манна к Фрейду, но развитие и разъяснение с учетом собственной писательской ориентации и отечественного (немецкого) опыта прошедших семи лет.

1936 год, весна. В Германии правит Гитлер. Италия начинает агрессию в Абиссинии. В Испании пока еще не стреляют, а во Франции демократы даже победили на выборах. Австрия еще пытается — ценой унизительных уступок Германии — сохранить свою государственную самостоятельность.

Зигмунду Фрейду восемьдесят лет. Его юбилей отмечается самым основательным образом. Перед торжественным вечером Томас Манн вручает Фрейду, кроме текста своего доклада, папку с приветственным адресом, под которым стоят подписи Ромена Роллана, Герберта Уэллса, Вирджинии Вулф, Стефана Цвейга и многих других писателей и ученых. Вечер проходит в переполненном зале венского Концертхауса. Докладчика провожают овацией. Затем следует юбилейный банкет в гостинице «Империал».

Это, может быть, последний перед второй мировой войной праздник европейской культуры. И на нем уже лежит тень флага со свастикой. Томас Манн три года назад покинул Германию и живет сейчас под Цюрихом. Формально он пока еще не лишен гражданства, это последует через семь месяцев, но его изгнание предрешено после того, как он недавно объявил в швейцарской газете о своей солидарности с писателями, эмигрировавшими из Германии. Фрейд, профессор Венского университета с 1902 года, навсегда покинет Австрию через два года после этих юбилейных торжеств.

Сейчас в ходу слово «парадигма», означающее, среди прочего, «пример», «характерный образец», «типичный случай». Доклад Томаса Манна о Фрейде представляется мне парадигмой в двух отношениях.

Во-первых, это пример того, как писатель, именно потому, что он писатель, художник, оказывается в оценке политической злобы дня намного глубже и дальновиднее, чем его рядовые современники и даже потомки. Причина тут, видимо, в том, что они о связи политики с психологией не очень-то задумываются, а для писателя понятие «правда» совпадает с понятием «психологическая правда». Конечно, в свете накопившегося с тех пор опыта сегодня гораздо большее число людей, чем тогда, в 1936 году, понимает, что иррациональное, примитивное «не знает добра и зла, не знает морали». Но гибельность поклонения атавистическому началу в человеке не осознана миллионами людей и сегодня. Фашизм, национальный и религиозный фанатизм, культ силы еще как живы.

Во-вторых, это примечательный пример того, как художник, касаясь любого предмета, остается верен своей теме, говорит о себе, о своем. В докладе о Фрейде Томас Манн упоминает минимум четыре собственных произведения, а одному из них, над которым как раз в это время работает, роману «Иосиф и его братья», отводит длинный пассаж. Назвать это эгоцентризмом было бы опрометчиво, поверхностно. В ссылках Томаса Манна на собственные труды мне видится его стремление легитимировать свою роль, подтвердить свое право быть оратором на этом юбилее, удостоверить органичность для себя темы «психоанализ».

Нобелевский лауреат, писатель, ставший эмигрантом и приветствующий ученого с мировым именем, которому эмиграция еще предстоит, в городе, где через два года обоих если не жизни, то уж свободы безусловно лишили бы. Сами эти внешние обстоятельства, этот исторический фон доклада Томаса Манна о Фрейде задевают нас за живое сегодня, мне кажется, не меньше, чем шестьдесят лет назад.

Дамы и господа!

Что дает право писателю выступать с торжественной речью в честь великого исследователя? Или, если он волен свалить этот вопрос совести на других, на тех, кто счел нужным переложить на него такую роль, — как объяснить, что ученая корпорация, в данном случае Академическое общество медицинской психологии, поручает отметить словом «праздник» своего мэтра не одному из своих членов, не представителю науки, а писателю, то есть человеку, чья стихия не столько, по сути, знание, дифференциация, понимание, познание, сколько спонтанность, синтез, деланье, наивное творчество, человеку, который, следовательно, может быть, если угодно, *объектом* полезного познания, но по своей природе, по своей направленности не годится для роли его субъекта? Быть может, сочли, что писатель как художник, художник притом духовный, умственный, вообще больше подходит для духовных празднеств, для торжеств, что он от природы более праздничный человек, чем тот, кто познает, кто служит науке?.. Не стану возражать против такого мнения. Верно, писатель знает толк в праздниках жизни; он даже знает толк в отношении к жизни как к празднику — но вот уже в первый раз тихо и предваряюще прозвучал мотив, которому в хвалебной духовной музыке этого вечера суждена, может быть, роль некоей темы... Впрочем, праздничный смысл этого чествования заключен, по замыслу его устроителей, скорее, пожалуй, в самой сути дела, то есть в торжественной и беспрецедентной встрече объекта и субъекта, предмета познания и познающего — в сатурнальном обмене ролями, когда познающий толкователь снов и мечтаний становится праздничным объектом мечтательного познания, — и против этой мысли тоже я возразить не могу, не могу хотя бы потому, что и в ней тоже уже звучит мотив, имеющий значительную симфоническую будущность. Он вернется в более полной инструментовке и в более понятном виде, ведь либо я глубоко заблуждаюсь, либо именно соединение субъекта и объекта, их втекание друг в друга, их тождество, проникновение в таинственное единство мира и «я», судьбы и характера, случающегося и совершаемого, то есть в тайну действительности как создания души, — либо, повторяю, именно это и есть альфа и омега всякого психоаналитического начинания...

Зигмунд Фрейд

Во всяком случае, если произнести похвальное слово гениальному исследователю решаются доверить писателю, то это кое-что говорит и о первом, и о втором. Это характерно для обоих. Особое отношение чествуемого к миру поэзии, литературы вытекает из этого точно так же, как своеобразная причастность поэта, писателя к сфере познания, творцом и мастером которой предстает перед миром тот, чей юбилей мы сегодня отмечаем. И опять-таки особенна и замечательна эта взаимосвязь, эта близость друг к другу тем, что обе стороны долгое время не знали о ней, что она оставалась в области «бессознательного» — в той, стало быть, области души, разведка и раскрытие которой суть для гуманности истинное призвание как раз этого познающего ума. Близость литературы и психоанализа давно осознана обеими сторонами. А торжественность этого часа состоит, по крайней мере на мой взгляд и по моему ощущению, в первой, пожалуй, публичной встрече обеих сфер, в манифестации этого сознания, в демонстративном признании его.

Я сказал, что взаимосвязи, что глубокие симпатии долгое время оставались неведомы обеим сторонам. И ведь в самом деле известно, что тот, кого мы сейчас чествуем, Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа как терапии и общенаучного метода, прошел тяжкий путь своих открытий совершенно один, совершенно самостоятельно, только как врач и естествоиспытатель, не ведая о тех средствах утешения и утверждения, какие могла бы предоставить ему большая литература. Он не знал Ницше, у которого повсюду встречаются молниеподобные предвосхищения фрейдовских открытий; не знал Новалиса, чьи романтически-биологические грезы и озарения так поразительно близки аналитическим идеям; не знал Кьеркегора, чье христианское мужество при психологических крайностях очень понравилось бы ему и пошло бы на пользу; не знал он, конечно, и Шопенгауэра, этого грустного симфониста философии страстей, жаждущей и избавления, и возврата назад... Так, наверно, и должно было случиться. На собственный страх и риск, не зная интуитивных предвосхищений, он, наверно, и должен был методически завоевывать свои открытия: ударная сила его познания, вероятно, возросла благодаря такой неблагоприятности, и вообще, одиночество неотделимо от его строгого образа — то одиночество, о котором говорит Ницше, когда в своем восхитительном эссе «Что означают аскетические идеалы?» называет Шопенгауэра «истинным философом, воистину самостоятельным умом, мужчиной и рыцарем с металлическим взглядом, человеком, имеющим мужество быть самим собой, способным выстоять в одиночестве, не прятаться ни за чью спину, не ждать указки свыше»...

В образе этого «мужчины и рыцаря», рыцаря между смертью и чертом, я и привык видеть психолога бессознательного, с тех пор как его духовная фигура вошла в поле моего зрения.

Произошло это поздно; гораздо позднее, чем того можно было ожидать при родстве поэтическо-писательского импульса вообще и моей натуры в частности с этой наукой. Создают такое родство прежде всего две тенденции: во-первых, любовь к *правде*, чувство правды, чуткость и восприимчивость к прелести и горечи правды, проявляющиеся главным образом в *психологической* чувствительности и зоркости, причем до такой степени, что понятие правды почти поглощается понятием психологического восприятия и познания; а во-вторых, понимание *болезни*, некая уравновешенная здоровьем близость к ней и чувство ее продуктивного значения.

Что касается любви к правде, болезненно-моралистской любви к правде *как психологии*, то она идет от высокой школы Ницше, у которого и в самом деле бросается в глаза совпадение правды и *психологической* правды, познающего с психологом. Его гордость за правду, само его понимание честности и интеллектуальной чистоплотности, его мужество знания и его печаль знания, его самопознавательство, самоистязательство — все это имеет психологический смысл, носит психологический характер, и мне никогда не забыть той воспитательной поддержки, того углубления, какое получили мои собственные задатки от зрелища психологической страсти Ницше. Слова «омерзение познания» есть в «Тонио Крёгере». У них вполне ницшеанский чекан, и юношеская их грусть указывает на гамлетовскую черту в натуре Ницше, в которой, как в зеркале, отразилась моя собственная натура, призванная к знанию, но, в сущности, не рожденная для него... Я говорю сейчас о юношеских болях и горестях, зрелые годы сделали их светлее, спокойнее. Но склонность понимать правду и знание психологически, отождествлять их с психологией, ощущать волю к психологической правде как волю к правде вообще, а психологию как правду в самом прямом и самом отважном смысле слова — эта склонность, которую следует, пожалуй, назвать натуралистической и приписать воспитанию литературным натурализмом, у меня осталась и составляет предпосылку для интереса к той естественной науке о душе, что носит название «психоанализ».

Вторая тенденция, повторяю, — это понимание болезни, вернее — болезни как средства познания. Тенденцию эту тоже можно было бы возвести к Ницше, который, наверно, знал, чем он обязан своей болезни, и на каждой странице как бы учит, что никакого глубокого знания без опыта болезни не бывает и всякое высшее здоровье должно было пройти через болезнь. И это понимание, стало быть, тоже можно было бы вывести из встречи с Ницше, если бы оно не было соединено тесными узами с сутью духовного человека вообще и писателя в особенности, более того, с сутью всякой человечности, всякого человеколюбия, ведь писатель лишь крайнее их проявление. «L'humanité, — сказал Виктор Гюго, — s'affirme par l'infirmité»[1], — слова эти с гордой откровенностью признают хрупкую конституцию всякой высокой человечности и культуры, их осведомленность в области болезни. Человека назвали «больным животным» из-за обременительной напряженности и отличительных тягот, которые возлагает на него его положение между природой и духом, между животным и ангелом. Надо ли поражаться, что со стороны болезни науке удались самые глубокие прорывы в темноту человеческой природы, что болезнь, особенно невроз, оказалась первейшим средством антропологического познания?

Писатель — последний, кто этому поразился бы. Скорее его удивило бы, что при такой сильной общей и личной предрасположенности он столь поздно обнаружил симпатические связи своего существования с психоаналитическими исследованиями и трудом жизни Фрейда — только тогда, когда это учение давно уже состояло не просто в некоем — признанном или спорном — методе лечения, когда оно давно переросло чисто медицинские пределы и стало всемирным движением, захватившим всевозможные области духа и науки: литературо- и искусствоведение, историю религии и первобытную историю, мифологию, этнографию, педагогику и прочее — благодаря расширительным и прикладным стараниям приверженцев, которые создали вокруг его психиатрически-медицинского ядра эту ауру всеобщего воздействия. Было бы даже преувеличением сказать, что я пришел к психоанализу: он пришел ко мне. Через дружественный интерес, который он через отдельных своих последователей и представителей снова и снова, от «Маленького господина Фридемана» до «Смерти в Венеции», до «Волшебной горы» и романа об Иосифе, оказывал моей работе, он дал мне понять, что у меня есть с ним

---

[1] Человечность укрепляется слабостью (*франц.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

что-то общее, что я тут по-своему в какой-то мере «кумекаю», заставил меня, как ему и подобало, осознать скрытые, «подсознательные» симпатии. А занятия аналитической литературой позволили мне узнать за одеждой научной точности в мыслях и языке многое архизнакомое по прежнему духовному опыту.

Позвольте мне, дамы и господа, немного продолжить в таком автобиографическом стиле и не ставьте мне это в вину, если я, вместо того чтобы говорить о Фрейде, говорю как бы о себе! Говорить о нем я не берусь. Что нового могу я надеяться сказать о нем миру? Я говорю *в его честь*, говорю и тогда, и как раз тогда, когда говорю о себе и рассказываю вам, как глубоко и своеобразно был подготовлен я образовательными впечатлениями своей юности к идущим от Фрейда открытиям. Не раз, в воспоминаниях и признаниях, повествовал я о том потрясающем, опьяняющем и удивительно в то же время воспитательном событии, каким было знакомство с философией Артура Шопенгауэра для юноши, который воздвиг ему памятник в своем романе о Будденброках. Бесстрашное мужество правды, составляющее нравственность аналитической глубинной психологии, впервые явилось мне в пессимизме уже обладавшей хорошей естественно-научной оснасткой метафизики. В мрачном бунте против веры тысячелетий эта метафизика провозглашала примат влечения перед умом и рассудком, она признавала *волю* ядром и сутью мира, человека и всех прочих творений, а интеллект вторичным и побочным, неким слугой воли, тусклым светильником. Делала она это не из антигуманной злобности, которая является скверным мотивом нынешних враждебных духу учений, а из строгой любви к правде, любви века, боровшегося с идеализмом *из* идеализма. Он был так правдив, этот XIX век, что даже ложь, «ложь жизни» готов был признать необходимой устами Ибсена... и понятно, конечно: это большая разница — принимать ложь из мучительного пессимизма и горькой иронии, из-за духа, или из ненависти к духу и правде. Эта разница ясна сегодня не всякому.

Психолог же бессознательного, Фрейд — истинный сын шопенгауэровского и ибсеновского века, из середины которого он вышел. Как родствен его бунт по своему содержанию, да и по своей моральной убежденности шопенгауэровскому! Его открытие огромной роли, которую играет в душевной жизни человека бессознательное, «не-я», было и остается для классической психологии, для которой осознанность и душевная жизнь — одно и то же, таким же предосудительным, каким шопенгауэровское учение о воле было для всякой философской веры в разум и дух. Право же, ранний поклонник «Мира как воли и представления» чувствует себя как дома в замечательном трактате, входящем в «Новые лекции по введению в психоанализ» Фрейда и называющемся «Разделение психической личности». Душевная сфера бессознательного, «не-я» описаны там словами, которые вполне, с такой же силой и одновременно с таким же акцентом интеллектуального врачебно-холодного интереса, мог бы употребить Шопенгауэр для своего мрачного царства воли. Область «не-я», говорит он, «это темная, недоступная часть нашей личности; то немногое, что нам известно о нем, мы узнали, изучая работу сна и образование симптомов невроза». Он изображает это как хаос, как котел бурлящих переживаний. «Не-я», считает он, в конце, так сказать, открыто соматике и там вбирает в себя инстинктивные потребности, которые и находят в нем свое психическое выражение — неизвестно, в каком слое. Через инстинкты оно наполняется энергией; но оно неорганизованно, не проявляет общей воли, проявляет только стремление удовлетворить инстинктивные потребности, придерживаясь принципа наслаждения. Тут не имеют силы никакие законы логического мышления, прежде всего закон противоречия. «Противоречивые порывы сосуществуют, не взаимоуничтожаясь и не убавляя друг друга, разве что под экономическим принуждением они сходятся для отвода энергии в какие-то компромиссные формации...» Вы видите, дамы и господа, что такое положение, судя по нашему нынешнему опыту, вполне может распространиться на само «я», на все массовое «я», особенно благодаря нравственному заболеванию, вызываемому поклонени-

ем бессознательному, прославлением его единственно жизнеутверждающей «динамики», систематическим прославлением примитивного и иррационального... Ибо бессознательное, «не-я», примитивно и иррационально, оно чисто динамично. Оно не знает оценок, не знает добра и зла, не знает морали. Оно не знает даже времени, не знает хода времени, не знает, как он меняет психический процесс. «Порывы, — говорит Фрейд, — которые никогда не выходили за пределы «не-я», да и впечатления, которые были вытеснены, погружены в «не-я», потенциально бессмертны, они ведут себя десятилетиями так, словно возникли сейчас. Распознать их как прошлое, обесценить и лишить заряда энергии можно лишь после того, как они благодаря аналитической работе будут осознаны». И на этом, прибавляет он, главным образом и основано целительное действие лечения анализом... Теперь нам понятно, как антипатична должна быть аналитическая глубинная психология такому «я», которое, опьянившись религиозностью бессознательного, само пришло в состояние адской динамики. И нам становится ясно, почему такое «я» знать не желает об анализе и почему при нем нельзя упоминать имя Фрейда.

Что же касается самого «я» вообще, то его положение почти трогательно и, в сущности, внушает тревогу. Это маленькая, выдвинутая вперед, светлая и бдительная часть «не-я» — примерно как Европа есть маленькая, смекалистая провинция огромной Азии. «Я» — это «та часть «не-я», которая модифицирована близостью и влиянием внешнего мира, она способна получать раздражения и защищаться от них, ее можно сравнить со слоем коры, окружающим комок живого вещества...» Наглядная биологическая картинка. Фрейд вообще пишет очень наглядной прозой, он художник мысли, как Шопенгауэр, и, как он, европейский писатель... После него отношение к внешнему миру стало для «я» решающим, задача «я» — представительствовать от имени внешнего мира перед «не-я» на благо ему! Ибо без оглядки на эту подавляющую внешнюю силу «не-я» в своем слепом стремлении удовлетворить инстинктивные потребности не миновало бы гибели. «Я» наблюдает за внешним миром, оно вспоминает, оно честно пытается отличить объективную действительность от привнесенного внутренними возбудителями. По поручению «не-я» «я» управляет рычагами движения, действия, разделяя, однако, потребность и поступок сроком обдумывания, чтобы посоветоваться с опытом, и обладая неким регулирующим превосходством над безгранично властвующим в сфере бессознательного принципом наслаждения, который «я» поправляет принципом относительности. Но как оно при всем при том слабо! Теснясь между бессознательным, между внешним миром и тем, что Фрейд называет «сверх-я», совестью, оно влачит довольно нервное и запуганное существование. Собственная его динамика отличается вялостью. Свою энергию оно заимствует у «не-я» и в общем вынуждено осуществлять его намерения. Оно, конечно, хочет считать себя всадником, а бессознательное — лошадью. Но весьма часто бессознательное ездит на нем верхом. И тут мы можем прибавить то, чего из рациональной нравственности не прибавляет Фрейд, — что этим несколько незаконным образом «я» продвигается дальше всего.

Но описание «не-я» и «я» у Фрейда — разве оно не в точности описание «воли» и «интеллекта» у Шопенгауэра, разве это не перевод его метафизики на язык психологии? А тот, кто и так уже, получив посвящение в метафизику у Шопенгауэра, изведал у Ницше мучительные прелести психологии, как мог тот не проникнуться чувством знакомого, чувством узнавания, когда он, ободренный аборигенами, впервые огляделся в царстве психоанализа?

Он обнаружил также, что знакомство с этим царством оказывает очень сильное и очень своеобразное действие на те прежние впечатления, когда их освежаешь, после того как осмотришься здесь. Совсем по-другому, погостив у Фрейда, совсем по-другому в свете его открытий перечитываешь такой трактат, как большая статья Шопенгауэра «О кажущемся умысле в судьбе отдельного человека»! И сейчас, дамы и господа, я хочу указать на самую глубокую и самую тайную точку

соприкосновения между естествоведческим миром Фрейда и философским миром Шопенгауэра — точку эту составляет названное эссе, чудо глубокомыслия и проницательности. Таинственная мысль, развиваемая здесь Шопенгаэуром, состоит, коротко говоря, в том, что так же, как во сне наша собственная воля, не ведая того, предстает неумолимо-объективной судьбой, как во сне все исходит от нас и каждый есть тайный режиссер своих сновидений, — точно так же и в действительности, в этом большом сне, который вместе со всеми нами видит одно-единственное существо, сама воля, наши судьбы суть производное нашей сути — нашей воли и мы, следовательно, сами, в сущности, устраиваем то, что кажется нам просто случившимся... Я, господа, передаю смысл весьма убого, на самом деле это рассуждения величайшей внушительности и мощнейшего размаха. Но мало того, что психология сна, к которой прибегает Шопенгауэр, носит ярко выраженный аналитический характер, — налицо даже пример из сексуальной сферы в качестве аргумента; весь, стало быть, комплекс мыслей до такой степени предвещает концепции глубинной психологии, до такой степени предвосхищает их, что диву даешься! Ибо, повторяя сказанное вначале, в тайне единства «я» и мира, бытия и случившегося, в распознании за кажущейся объективностью и случайностью задатков души я вижу самую суть учения о психоанализе.

Мне вспоминается фраза, сформулированная одним умным, но несколько неблагодарным отпрыском этого учения К.Г. Юнгом в его замечательном введении к тибетской «Книге мертвых»: «Гораздо непосредственнее, ярче, выразительнее и потому убедительнее, — говорит он, — видеть, как что-то со мной *случается*, чем наблюдать, как я это делаю...» Лихая, даже сумасшедшая фраза, ясно показывающая, с каким спокойствием смотрят сегодня в определенной философской школе на вещи, которые Шопенгауэр ощущал еще как невероятную наглость и «чрезмерную» смелость мысли. Мыслима ли была бы эта фраза, разоблачающая «случившееся» как «сделанное», без Фрейда? Никоим образом! Она обязана ему всем. Нагруженная предпосылками, она непонятна и вообще не могла бы появиться без всего того, что выяснил и вынес на свет анализ, — относительно обмолвок и описок, относительно всей области ошибок, бегства в болезнь, порыва к самонаказанию, психологии несчастных случаев, — словом, относительно магии бессознательного. Но невозможна была бы эта сжатая фраза со всеми ее психологическими предпосылками и без Шопенгауэра и его еще неточной, но мечтательно-смелой и первооткрывательской спекуляции... Может быть, сейчас, дамы и господа, время торжественно пополемизировать с Фрейдом. Он ставит философию не очень-то высоко. Присущее естественнику чувство точности вряд ли позволяет ему считать ее наукой. Он упрекает ее в том, что она мнит себя способной дать связную, без пробелов, картину мира, преувеличивает познавательную ценность логических операций, верит, пожалуй, даже в интуицию как в источник знания и потворствует прямо-таки анимистским тенденциям, веруя в волшебство слова и во влияние мышления на действительность. Но разве это и вправду самопереоценка философии? Разве мир когда-нибудь менялся благодаря чему-то другому, а не мысли и ее магическому носителю — слову? Я думаю, что философия действительно стоит впереди и выше естествознания и что всякая методичность и точность — слуги ее духовно-исторической воли. В конечном счете дело идет всегда о quod erat demonstrandum[1]. Апостериорность науки — фактор *нравственный* или должен быть таковым. С точки зрения *ума* она, вероятно, есть то, что Фрейд называет иллюзией. Поставив вопрос с ног на голову, можно сказать, что наука не сделала ни одного открытия, не получив на то полномочий и указаний у философии.

Это попутно. Давайте еще немного задержимся на мысли Юнга, который настойчиво — и в том предисловии тоже — пользуется результатами анализа для сооружения моста между западноевропейским мышлением и восточной эзотери-

[1] Что и требовалось доказать (*лат.*).

кой. Никто так четко, как он, не сформулировал шопенгауэровско-фрейдовского вывода, что «источник всех данностей находится в нас самих — истина, которой, несмотря на всю ее очевидность в большом и малом, *никогда* не знают, хотя слишком часто очень нужно, просто даже необходимо ее знать». Требуется, вероятно, полагает он, какой-то большой и жертвенный поворот, чтобы увидеть, как мир «дается» сутью души; ибо животная суть человека противится тому, чтобы ощутить себя создателем своих данностей. Верно, что в преодолении животного начала Восток оказывался всегда сильнее, чем Запад, и поэтому мы не должны удивляться, слыша, что, согласно восточной мудрости, боги тоже принадлежат к «данностям», которые выходят из души и с нею едины, — сияние и свет души человеческой. Это знание, которым, согласно «Книге мертвых», напутствуют умершего, есть для западноевропейского ума парадокс, противоречащий его логике; ибо она различает субъект и объект и не желает вкладывать объект в субъект или выводить его из субъекта. Правда, европейская мистика знавала такие парадоксы, и Ангелус Силезиус сказал:

Я знаю: без меня тебе не жить, о Боже!
Когда погибну я, ты дух испустишь тоже.

Но в целом психологическая концепция Бога, идея Божества, не являющегося чистой данностью, а единого с душой и к ней привязанного, была бы невыносима для западноевропейской религиозности — она утратила бы при этом Бога. И все же религиозность означает именно привязанность, и в Книге Бытия речь идет о связи, союзе, «завете» между Богом и человеком, чью психологию я попытался передать в романе-мифе «Иосиф и его братья». Да, позвольте мне сказать здесь об этом собственном произведении — может быть, оно вправе быть названным в час торжественной встречи поэтической литературы и психоаналитической сферы. Очень примечательно — и, быть может, не только для меня, — что в нем царит именно та психологическая теология, которую ученый приписывает восточной посвященности. Этот Аврам — в некоем роде отец Бога. Он увидел его и домыслил; могучие свойства, которые он приписывает ему, суть, конечно, изначальное достояние Бога, Аврам не творец их, но в каком-то смысле он все-таки их творец, потому что он познает их и, размышляя, осуществляет. Могущественные свойства Бога — а с ними и сам Бог — суть, конечно, нечто объективно данное вне Аврама, но *одновременно* они и в нем, и идут от него; в иные мгновения мощь его собственной души почти неотличима от них, она, познавая, сливается и сплавляется с ними воедино, и это начало союза, который Господь потом заключает с Аврамом, союза, который является лишь ясным подтверждением некоего внутреннего события. Союз этот, по описанию, заключен в обоюдных интересах, и конечная цель его — обоюдное освящение. Человеческая и божеская нужды сплетаются в нем так, что трудно сказать, какая сторона, божеская или человеческая, дала первый толчок к такому сотрудничеству. Из факта, что оно установилось, явствует, однако, во всяком случае, что освящение Бога и освящение человека представляют собой двойной процесс и теснейшим образом одно к другому «привязано». А иначе, спрашивается, зачем вообще нужен союз?

Душа как источник данного — я знаю, дамы и господа, что в романе мысль эта взошла на ироническую ступень, которой она не знает ни как восточная мудрость, ни как результат психоанализа. Но в таком непроизвольном и лишь задним числом открытом совпадении есть что-то волнующее. Должен ли я назвать это совпадение влиянием? Скорее это симпатия — некая умственная близость, которую психоанализ, что естественно, осознал раньше, чем я. И от нее-то и шли те литературные знаки внимания, какими я с ранних пор обязан ему. Последним в их ряду была присылка оттиска из журнала «Имаго», работа одного венского ученого из школы Фрейда, озаглавленная «К вопросу о психологии старинной биографики», — довольно сухое заглавие, почти ничего не говорящее о тех любопытных вещах,

для которых оно служит ярлыком. Автор показывает здесь, как старинное, наивное, питаемое легендой, популярное жизнеописание, особенно биография художника, включает в историю своего героя установившиеся, схематично-типические черты и события, традиционный, так сказать, набор биографических формул, как бы стараясь тем самым легитимировать их, засвидетельствовать их подлинность, верность — верность в смысле «как всегда было» и «как написано». Ибо человек придает большое значение узнаванию; ему хочется найти старое в новом, типическое в индивидуальном. На этом основана вся уютность жизни, которая только пугала бы и ставила в тупик, представая совершенно новой, уникальной, индивидуальной и не давая никакой возможности найти в ней давно знакомое... Статья эта ставит вопрос, можно ли провести четкую, точную границу между тем, что входит в набор формул легендарной биографики, и тем, что составляет собственную жизнь художника, — вопрос, который уже содержит в себе отрицательный ответ. Жизнь в самом деле есть смесь формулоподобных и индивидуальных элементов, неразбериха, где индивидуальное как бы лишь выступает из формулоподобного безличного. Все внеличные, бессознательные отождествления, традиционные схемы в большой мере определяют жизнь не только художника, а человека вообще. «Многие из нас, — говорит автор, — следуют в жизни и сегодня какому-то биографическому типу, судьбе сословия, класса, профессии... Свободу человека в устройстве своей жизни явно следует связывать с той зависимостью, которую мы называем «прожитая биография». И тут же, к моей радости, но не к моему удивлению, он начинает пояснять это примерами из романа об Иосифе, где основной мотив образует, мол, как раз эта идея «прожитой биографии», жизнь как преемство, как путь по следу, как отождествление, что особенно ярко, с юмористической торжественностью, демонстрирует учитель Иосифа Елиезер: в нем, сводя на нет время, все Елиезеры прошлого сливаются в нынешнее «я», так что об Елиезере, старшем слуге Авраама, он, отнюдь не будучи им в реальности, говорит в первом лице.

Должен признать: такая ассоциация как нельзя более законна. Статья точно определяет момент, где психологический интерес переходит в интерес к *мифу*. Она ясно показывает, что типическое есть уже и мифическое и что вместо «прожитая биография» можно сказать и «прожитый миф». А прожитый миф — это эпическая идея моего романа, и я прекрасно вижу, что, стоило мне как повествователю перейти от бюргерски-индивидуального к мифически-типическому, моя тайная связь с психоаналитической сферой вступила, так сказать, в свою активную стадию. Интерес к мифу присущ психоанализу от природы — точно так же, как присущ от природы всякому сочинительству интерес к психологии. Проникновение психоанализа в детство отдельной души есть уже вместе с тем проникновение в детство человека, в первобытность, в мифичность. Фрейд сам признался, что всякое естествознание, медицина, психотерапия были для него всю жизнь окольным и обратным путем к изначальной страсти своей юности — к истории человечества, к истокам религии и нравственности — к тому интересу, который в зените его жизни так великолепно вспыхнул в «Тотеме и табу». В словосочетании «глубинная психология» «глубина» имеет и временной смысл: архиглубины человеческой души — это вместе с тем и *архидревность*, это та бездна колодца времен, где миф у себя дома, где он устанавливает древнейшие нормы, древнейшие формы жизни. Ибо миф есть установление жизни; он есть вневременная схема, благочестивая формула, в которую укладывается жизнь, воспроизводя свои черты из неосознанного. Нет сомнений, обретение мифическо-типического взгляда на мир открывает эпоху в жизни повествователя, оно означает своеобразный подъем его художнического настроения, новое веселье познания и творчества, приходящее обычно на склоне лет; ибо в жизни человечества миф составляет раннюю и примитивную ступень, а в жизни отдельного человека — позднюю и зрелую. Миф дает способность видеть в реальности высшую правду, он дает улыбающееся знание о веч-

ном, всегдашнем, непреложном, о схеме, в которой и по которой живет мнимо индивидуальное, не подозревая в наивном самомнении своей первичности и уникальности, до какой степени его жизнь есть формула, повторенье, хожденье по глубоко протоптанным следам. Характер — это мифическая роль, играемая в простоте иллюзорной уникальности и оригинальности, словно по собственному почину и на собственный риск, но при этом с достоинством, с уверенностью, которую вышедшему в данный момент на свет и на поверхность актеру дает не его мнимая первичность и уникальность, нет, напротив, эту уверенность он черпает в глубоком сознании, что вновь представляет нечто фундаментально-правомерное, и ведет себя, неважно — добро или зло, благородно или мерзко, во всяком случае, в своем роде образцово. На самом же деле, если бы его реальность состояла в уникально-теперешнем, он вообще не знал бы, как вести себя, он был бы нетверд, смущен, растерян в отношении самого себя, он не знал бы, с какой пойти ноги и какое сделать лицо. В том-то бессознательно и состоят его достоинство, его актерская уверенность, что с ним снова выходит на свет и становится явью нечто вневременное; это мифическое достоинство, положенное даже жалкому и ничтожному характеру, это естественное достоинство, потому что конец его — в бессознательном.

Таков взгляд, который направляет на эти явления обратившийся к мифу повествователь, и вы, конечно, видите: это взгляд иронического превосходства; ибо тут мифическое знание несет в себе только созерцатель, но не созерцаемый. А что, если бы мифический аспект субъективизировался, вошел в само действующее «я» и в нем проснулся, с радостной или мрачной гордостью осознал свой «возврат», свою типичность, восславил свою роль на земле и усмотрел бы свое достоинство исключительно в знании, что он представляет собой фундаментальность во плоти, снова олицетворяет ее? Только это, можно сказать, было бы «прожитым мифом». И не надо думать, что это что-то новое и неизведанное: жизнь в мифе, жизнь как торжественное повторение есть историческая форма жизни, древний мир так и жил. Пример тому — фигура египетской Клеопатры, вылитой Иштар-Астарты, Афродиты во плоти. Бахофен в своей характеристике вахкического культа, дионисийской культуры видит в этой царице законченный образ дионисийской Стимулы, которая, по Плутарху, являла собой земное воплощение Афродиты, и не столько в своей телесной красоте, сколько в эротически-духовном аспекте. Это ее свойство, ее исполнение роли Хатхор-Исиды есть, однако, не только нечто критически-объективное, сказанное о ней лишь Плутархом и Бахофеном, нет, это было содержанием ее субъективного существования, она жила в этой роли. На то указывает способ ее самоубийства: говорят, она покончила с собой, приложив к груди ядовитую змею. А змея была животным Иштар, египетской Исиды, которую тоже иногда изображают в чешуйчатой змеиной одежде, известна статуэтка Иштар со змеей на груди. Если, стало быть, способ самоубийства Клеопатры отвечал легенде, то он был демонстрацией ее мифического самоощущения. Разве не носила она и украшения Исиды, наголовника с коршуном, и не украшала себя знаками Хатхор, коровьими рогами с солнечным диском между ними? Очень многозначительный намек был и в том, что она назвала своих детей от Антония Гелием и Селеной. Несомненно, она была женщина значительная — «значительная» в древнем смысле, — она знала, кто она и по каким следам шла!

Древнее «я» и его самосознание было иным, чем наше, менее исключительным, менее четко ограниченным. Оно было как бы открыто назад и вбирало в себя многое из прошлого, повторяя это в настоящем, заставляя «ожить» вместе с собой. Испанский философ культуры Ортега-и-Гассет выражает это так: древний человек, прежде чем что-либо совершить, делает шаг назад, как тореадор, чтобы замахнуться для смертельного удара шпагой. Он ищет в прошлом образец, в который он влезет, как в водолазный колокол, чтобы так, одновременно защитившись и преобразившись, ринуться в теперешнюю проблему. Поэтому его жизнь

есть некое оживление, некая постоянная архаизация... Но именно жизнь как оживление, воскрешение и есть жизнь в мифе. Александр шел по следам Мильтиада, а насчет Цезаря его античные биографы были убеждены, что он подражает Александру. Его «подражание», однако, идет гораздо дальше того, что заключено в этом слове сегодня. Это мифическое отождествление, которое было особенно распространено в древности, но глубоко захватывает новое время и психологически остается возможным всегда. Часто подчеркивали античный облик фигуры Наполеона. Он жалел, что современный уровень сознания не позволяет ему выдавать себя за сына Юпитера — Амона, как Александр. Но в том, что во время своего восточного предприятия он по крайней мере с Александром мифически путал себя, сомневаться не приходится, а позднее, решив завоевать Европу, он заявил: «Я — это Карл Великий». Заметьте, не, скажем, «Я напоминаю его», не «Мое положение сходно с его положением». И не «Я — как он», а просто: «Я и есть он». Это формула мифа.

Жизнь, во всяком случае значительная жизнь, была, таким образом, в древности восстановлением мифа в плоти и крови; она с ним соотносилась и на него ссылалась; лишь мифом, лишь соотнесенностью с прошлым она подтверждала свою подлинность и значительность. Миф — это легитимизация жизни; лишь через него и в нем она обретает чувство собственного достоинства, находит свое оправдание и освящается. До самой смерти Клеопатра торжественно вела свою характерную роль — и можно ли жить, можно ли умереть значительней и достойней, чем празднуя миф? Подумайте также об Иисусе и его жизни, которой он жил, «чтобы сбылось слово Писания». При таком отношении к жизни как к исполнению написанного нелегко отличить стилизации евангелистов от собственного самосознания Иисуса; но его слова на кресте в девятом часу, это «Элои́, Элои́! ламма савахфани́?»[1], были, конечно, вопреки видимости взрывом отнюдь не отчаяния и разочарования, а, наоборот, высочайшего чувства мессианства. Ибо слова эти не «оригинальны», это не спонтанный вопль. Ими начинается 21-й псалом, от начала до конца представляющий собой возвещение Мессии. Иисус цитировал, и цитата означала: «Да, это я!» Так цитировала и Клеопатра, когда она, чтобы умереть, приложила к груди змею, и опять цитата означала: «Это я!»...

Будьте снисходительны, дамы и господа, к слову «праздновать», которое я употребил в этой связи. Оно простительно и даже напрашивается. Цитирующая жизнь, жизнь в мифе есть род празднования; будучи претворением в явь, она становится праздничным действом, свершением предписанного, торжественной службой, обрядом, праздником. Разве смысл праздника не повторение как претворение в явь? Каждое Рождество снова родится на свет младенец Спаситель, которому суждено страдать, умереть и вознестись на небо. Праздник — это уничтожение времени, процесс, торжественное действие, разыгрывающееся по запечатленному прототипу; происходящее на празднике происходит не в первый раз, а церемониально и по образцу; оно становится явью и повторяется, как повторяются во времени и сами праздники и как фазы их и часы следуют друг за другом во времени в соответствии с первоначальным событием. В древности каждый праздник был, по сути, театральным действом, маскарадом, исполняемой священниками инсценировкой божественных историй, например истории жизни и страданий Осириса. У христианского средневековья были на то мистерии с Небом, Землей и ужасной Пастью ада — все это пышно воспроизводится в гётевском «Фаусте»; был масленичный фарс, был популярный мим. Существует мифически-художественное видение жизни, при котором она предстает театрализованным исполнением чего-то торжественно назначенного, кукольным театром, где мифически-характерные марионетки отбарабанивают, развертывают некое «действо», давно известное, определенное и в шутку опять повторяющееся сейчас перед зрителями. Достаточ-

[1] Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? — Евангелие от Марка, 15, 34.

но этому видению жизни войти в субъективность самих действующих лиц, и созревает эпика, довольно диковинным примером которой может служить «Былое Иакова», особенно глава «Великая потеха», где между лицами, прекрасно знающими, кто они и по чьим они идут следам, между Исааком, Исавом и Иаковом, на потеху челяди, как мифический праздничный фарс, шуточно и трагично разыгрывается трагикомическая история о том, как у Исава, у Красного, у одураченного беса, обманом отнимают отцовское благословение... И разве не прежде всего так празднует жизнь герой этого романа — сам Иосиф, который с каким-то милым религиозным авантюризмом воплощает собой миф о Таммузе-Осирисе, — «берет на себя» жизнь этого растерзанного, похороненного и воскресшего бога и играет свою праздничную игру с тем, что обычно лишь из глубин тайно определяет и формирует жизнь, — с бессознательным? Тайна метафизика и психолога, что все данное дано душой, — эта тайна становится в Иосифе легкой, игривой, артистичной, веселой, даже лукавой и озорной; она открывает в нем свою *инфантильную* природу... А это слово, к нашему успокоению, показывает нам, что при таких с виду больших отступлениях мы не отклонились от своего предмета, от предмета нашего праздничного чествования, не переставали говорить в его честь.

Инфантильность — по-немецки «ребячливая недоразвитость», — какую роль играет этот истинно психоаналитический элемент в жизни всех нас, как велика его причастность к становлению жизни людей, причем как раз и особенно в форме мифической идентификации, следования примеру, хождения по следам! Связь с отцом, подражание отцу, игра в отца и ее перенесение на заменяющие отца образы высшего и духовного рода — как определяюще, как образующе воздействует, какую накладывает печать эта инфантильность на индивидуальную жизнь! Я говорю «образующе», ибо самое веселое, самое радостное определение того, что называют образованием, состоит для меня воистину в этом становлении и формировании благодаря объекту восхищения и любви, благодаря детской идентификации с избранным из глубочайшей симпатии образом отца. Особенно художнику, человеку по сути игривому и страстно-ребячливому, есть что сказать о тайных и все же явных влияниях такого инфантильного подражания на его биографию, на его продуктивный образ жизни, который часто есть не что иное, как воспроизведение в реальности жития героя при совсем других временных и личных условиях и совсем другими, скажем детскими, средствами. Так, имитация Гёте с ее памятью о вертеровской, о мейстеровской ступени и о старческой фазе «Фауста» и «Дивана» может бессознательно направлять и мифически определять жизнь писателя еще и сегодня. Я говорю «бессознательно», хотя в художнике бессознательность то и дело переходит, играя, в улыбающуюся сознательность и в глубокую по-детски внимательность.

Иосиф романа — художник, поскольку он играет в своей имитации Бога на бессознательном, — и я не могу сказать, какое меня охватывает чувство близости к будущему, радости будущему, когда я отдаюсь этому просветлению бессознательного, превращению его в игру, оплодотворению для торжественного труда, когда отдаюсь этой встрече психологии и мифа, которая в то же время есть праздничная встреча поэзии и психоанализа. «Будущее» — я вынес это слово в заглавие своего доклада, вынес просто потому, что с именем Фрейда у меня прежде всего, самым непроизвольным образом, связывается понятие о будущем. Но в ходе своей речи я спрашивал себя, не ввел ли я вас в заблуждение таким анонсом: на основании того, что я сказал до сих пор и в конце, правильный заголовок был бы, пожалуй, «Фрейд и миф»... И все же я не могу отрешиться от сочетания этого имени с этим словом в заглавии и чувствую связь этой формулы с тем, что сказал здесь. Да, так же, как я смею думать, что в той игре психологии на мифе, которой предается мой дружественный фрейдовскому миру роман, содержатся ростки и элементы нового чувства человечества, грядущей гуманности, точно так же я совершенно убежден, что когда-нибудь в труде Фрейда увидят один из важнейших строи-

тельных камней, положенных в многообразно созидаемую ныне антропологию, а тем самым в фундамент будущего, в дом более умного и более свободного человечества. Этого врача-психолога будут, думаю, чтить как первопроходца будущего гуманизма, который мы предчувствуем и который пройдет через многое, о чем не знали прежние гуманисты, — гуманизма, чьи отношения с силами преисподней, бессознательного, «не-я» будут смелее, свободнее, веселее, искуснее, чем то дано нынешнему, изнуренному невротическим страхом и сопутствующей ему ненавистью человечеству. Фрейд, правда, полагал, что будущее, вероятно, признáет значение психоанализа как науки о бессознательном в гораздо большей степени, чем его ценность как лечебного метода. Но и сама наука о бессознательном — это тоже лечебный метод, сверхиндивидуальный лечебный метод, лечебный метод большого размаха. Сочтите сказанное писательской утопией, но в общем-то совсем не нелепа мысль, что когда-нибудь уничтожение великого страха и великой ненависти, их преодоление через иронически-артистическое и при этом необязательно неблагочестивое отношение к бессознательному признают целебным воздействием этой науки на все человечество.

Аналитическое знание изменяет мир; оно приносит в мир веселую недоверчивость, разоблачающую подозрительность по отношению к тайникам и махинациям души, подозрительность, которая, однажды пробудившись, уже никогда не исчезнет в мире. Она пропитывает жизнь, подтачивает ее грубую наивность, лишает ее пафоса невежества, депатетизирует ее, воспитывая вкус к «under-statement», как говорят англичане, к склонности скорее преуменьшить, чем преувеличить, к культуре серединного, ненапыщенного слова, ищущего силу в умеренном... По-немецки скромность — Bescheidenheit. Не надо забывать, что происходит это слово от Bescheid wissen — «быть в курсе дела», «разбираться в чем-то», что первоначальный смысл слова именно таков, а уж через него оно получило второй смысл — modestia, moderatio[1]. Скромность оттого, что ты в курсе дела, — предположим, что таково и будет главное настроение весело отрезвевшего мирного мира, приблизить который призвана, быть может, и наука о бессознательном.

Соединение в ней пионерства с врачевательством оправдывает такие надежды. Фрейд назвал как-то свое учение о снах «полосой научной целины, отхваченной у суеверия и мистики». В этом словечке «отхваченной» заключен колонизаторский дух и смысл его исследований. «Где было «*не-я*», да будет «я», — сказал он однажды афористически, да и сам он называет психоаналитическую работу трудом на поприще культуры, сравнимым с осушением Зюйдерзее. Так сливаются у нас в конце черты досточтимого мужа, которого мы чествуем, с чертами старика Фауста, которого тянет «любой ценою у пучины кусок земли отвоевать».

Я жизнь их не обезопашу,
Но благодарностью труда
И вольной волею украшу.
.....
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни[2].

Это народ, освобожденный от страха и ненависти, созревший для мира будущего.

■

[1] Скромность, умеренность (*лат.*).
[2] Перевод Б. Пастернака.

АНЬЦИ МИНЬ

Красная Азалия

Жизнь и любовь в Китае

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского ИЛЬИ СМИРНОВА

Китаянка Аньци Минь — писательница американская. Свою первую повесть «Красная Азалия» она написала вскоре после переезда в США на новом для нее, английском языке. И — несмотря на всю рискованность подобного дебюта — добилась безусловного успеха. Книга попала в списки бестселлеров, выдержала несколько переизданий. Читатели простили начинающему автору некоторые стилистические погрешности и шероховатости — настолько их увлекла история девушки, чье взросление пришлось на годы китайской «культурной революции». Школа, отряд хунвэйбинов, военизированный трудовой лагерь при госхозе, а потом внезапная, почти сказочная перемена судьбы, главная роль в фильме «Красная Азалия», за съемками которого пристально наблюдает сама товарищ Цзян Цин, жена Председателя Мао.

«Красная Азалия» — повесть автобиографическая, построенная на документальном материале, хотя (может быть, неосознанно) Аньци Минь следует старинной китайской традиции беллетризованных биографий, в которых реальные факты словно бы расцвечиваются явно художественными деталями. В то же время Аньци Минь (и тут уже совершенно осознанно) ориентируется на вкусы западной аудитории, старается в какой-то мере «облегчить» ей восприятие материала. Это выразилось, например, в попытке дать большинство китайских имен в переводе на английский.

Мы предлагаем нашим читателям первые две части книги.

Любовь поистине всемогуща, она заставляет забыть обо всем, даже о революции. Жажда борьбы, разрушения сменяется стремлением к покою, к житейским радостям. Партия знает, что влюбленные уже не принадлежат ей целиком, и потому партийные вожди так страшатся любви.

Аньци Минь
Чикаго, 1993

Часть I

Я взросла на трудах Мао и операх его супруги, товарища Цзян Цин. В начальной школе я стала командиром отряда детей-хунвэйбинов. Это случилось во время Великой пролетарской культурной революции, и тогда моим цветом был красный. Родители жили, по свидетельству соседей, словно два голубка, — в пол-

© Anchee Min, 1993

ном согласии. Отец преподавал технический рисунок в Шанхайском текстильном институте, но истинной его страстью была астрономия. Мать учительствовала в одной из средних школ Шанхая. Она учила тому, что поручала ей партия, полгода по-китайски, полгода по-русски. Как и все вокруг, родители верили в Мао и в коммунизм. Их четверо детей были погодками. Я родилась в 1957-м. Жили мы в центре, на Южной Цветущей улице, в двухэтажном доме на две семьи. Эти полдома достались нам после смерти деда, умершего от туберкулеза незадолго до моего рождения.

Лет с пяти я почувствовала себя взрослой. В этом не было ничего необычного. Все мои приятели таскали на спине своих малолетних сестер и братьев, которые развлекали себя сами, пока мы играли в прятки. На мне лежали многочисленные домашние обязанности, ведь родители, как и родители моих друзей, целыми днями работали. Сестричек и братика я называла своими детьми — и вправду, сама еще детсадовка, я уже водила их и в ясли, и в садик. Мне было шесть лет, сестренке Бутончику — пять, другой, Жемчужине, — четыре, а брату, названному Звездолетом, — всего три. Родители подбирали нам имена с разбором. Они и звучали несколько причудливо в сравнении с обычными у наших соседских сверстников Красногвардейцами, Свободами, Революциями. Попадались Большой Скачок, Великий Поход, Красная Звезда, Новый Китай, Дорога России, Отпор Соединенным Штатам, Патриот-Предвестник, Образцовый Красный Боец — много разного в том же духе. Но мои родители жили своим умом. Поначалу они нарекли меня Линьшуань — Солнце, Встающее из-за Горы. Но от этого имени пришлось отказаться: единственным солнцем был Мао. Поразмыслив, они остановились на Аньци, Яшма Мира, к тому же «аньци» по-китайски имеет еще и значение «ангел». Под этим именем меня и записали. Поблагозвучнее нарекли и сестренок: Бутончик и Жемчужина. Брату подыскали имя, во-первых, отвечавшее пристрастию моего отца к астрономии, а во-вторых — призыву Мао осуществить в скором времени полет в космос.

Мне казалось, что родители заняты на службе чем-то необычайно важным, прямо-таки мир спасают. Каждый вечер я забирала сестер и брата из сада и яслей, волокла их домой, выдерживая подчас целые сражения с сорванцами из нашего квартала. Что ни день мне наставляли синяк или расквашивали нос в кровь. Впрочем, это меня мало задевало. Главное, не показать моим детишкам, как я трушу, переходя оживленные улицы или в темных сумрачных аллеях. Дети должны были видеть во мне образец мужества. Устроив их играть в гостиной, я принималась за растапливание плиты — пора было готовить обед. На растопку уходила пропасть времени — я никак не могла взять в толк, что дерево и уголь горят, только когда есть тяга. Мучаясь с плитой, я громко скандировала цитаты из Мао. Однажды, отчаявшись, бросила безуспешные попытки и заигралась с сестрами. Хорошо, ребята крикнули мне с улицы, что из нашего окна валит дым. Такое случалось трижды. Своих детей я старалась уложить спать засветло. Во сне малыши нередко сучили ногами, раздирая наши ветхие одеяла, вскоре превратившиеся в лохмотья. Когда дом затихал, я устраивалась на подоконнике и следила за подъездом, дожидаясь родителей. Темнело небо, в вышине сияла Венера, и я засыпала прямо на окне.

В 1967-м, когда мне было десять лет, мы переехали. Соседи снизу просто замучили нас попреками: как, мол, так, вас шестеро в четырех комнатах, а мы, вдесятером, ютимся в одной?! Где же революционная справедливость?! Они являлись к нам с ночными горшками и опорожняли их прямо на одеяла. Какая там полиция! Полицейский участок как ревизионистское учреждение был сметен революцией. Хунвэйбины сами начали грабить дома. И никто не отозвался на наши призывы о помощи. Другие соседи молча наблюдали. А нижние продолжали донимать нас. Что ни ночь приходилось очищать постели от их дерьма, покорно проглатывать унижения. Они совсем распоясались. Когда родителей не было дома,

стращали нас, детей. Говорили, что у них дочь психическая и они, мол, за нее не отвечают, а та раз явилась ко мне с остро отточенным топором, угрожая разрубить мою голову пополам, точно это арбуз. И еще спрашивала, как мне это понравится! Я велела ей подождать, мол, обмозговать надо, понравится или нет, а сама сгребла детей и весь день просидела вместе с ними, запершись в уборной.

Однажды психическая напала на мою мать, когда та возвращалась с работы. Я видела, как они боролись на лестнице. Потом мать упала, а сумасшедшая пыталась пырнуть ее ножницами. Со мной что-то произошло: стояла рядом, смотрела, как кровь струится по маминому лицу, силилась закричать, но пропал голос. А эта психопатка сбежала по лестнице, несколько раз саданула сама себя ножницами, выскочила на улицу, где столпились зеваки, и, высоко подняв окровавленные руки, дико завопила: «Люди, на меня, работягу, напала буржуазная дрянь, интеллигентка, да это ж политическое убийство!» Тут вся ее родня высыпала. И тоже давай вопить: «Заплатим кровавый долг, кровь за кровь!»

И тогда отец сказал, что нужно переезжать. Скрыться. Он написал объявления об обмене: что у нас за квартира, какая требуется. Объявления налепил на придорожных деревьях. А назавтра к подъезду подкатил грузовик, полный домашнего скарба. Из кузова спрыгнули пятеро и заявили, что приехали по обмену. Отец попытался возразить, что мы еще ничего не решили, но те уверяли: «Наша квартира будет вам в самый раз». — «Но мы ведь ее даже не видели», — урезонивал их отец. «Так посмотрите сейчас, вам понравится». — «Сколько же там комнат?» — «Три, полный ажур, шанхайская норма». — «А вам известно, что под нами живет сумасшедшая?» — вмешалась моя мать. Приезжие равнодушно отмахнулись. Сообщили, что они, отец и сыновья, — рабочие Шанхайского сталелитейного. Сыновьям пора жениться, нужна жилплощадь да поскорее. «Дайте хоть подумать», — взмолился отец. «Ладно, — согласились обменщики, — думайте, мы подождем в машине». — «Но это невозможно!» — «Перебьемся!» — утешили его. Мои родители решили взглянуть на этот дом на улице Шаньси.

Мне велено было посторожить в их отсутствие квартиру. Занявшись чем-то по дому, я вдруг заметила: приезжие сгружают свои вещи, потом они начали двигать нашу мебель, а на мои слова, что родители, мол, еще не вернулись, уверили, будто просто хотят нам переезд облегчить, ведь у них грузовик. «Где вы потом отыщете машину? Уж не на руках ли вы собираетесь перетаскать всю эту пропасть вещей!» Родители, вернувшись, обнаружили бóльшую часть нашей мебели в кузове. «Но мы против, — сказала моя мать, — насильно мы не переедем». — «Нам, рабочим, ваши умствования ни к чему. Вы дали объявление, мы приехали с отличным предложением. Нынче воскресенье, наш единственный выходной. Нечего нам голову морочить. Мы уже припугнули эту вашу психическую, когда она нас дурить вздумала. Оказалась нормальной, просто ее семья на ваши комнаты зарится».

Отец отвел нас всех в сторонку. «Мы должны уехать. Собирайтесь, некогда рассуждать о справедливости». Так мы перебрались на улицу Шаньси в район Сюхуэй. Дома здесь стояли рядами. На нашем этаже в двух жилых комнатах разместилось три семьи, сортир общий. Нам досталась комната с окнами по фасаду, кухня и лоджия. В комнате с окнами во двор ютилось семейство в пять человек. Их плита была прямо возле уборной. Мне это жутко не нравилось: только, бывало, приспичит, как они готовку затевают. Третьи соседи по этажу, самые тихие, занимали вторую лоджию. «Ну, давайте устраиваться, — сказал отец. — Подумать, так могло и хуже обернуться, поубивали бы за милую душу. Здесь, похоже, хоть безопасно». Что правда, то правда. Мы разом приободрились. Над нами жила большая семья — аж шестеро детей. Одна из девочек — моих лет, по имени Подсолнух. Но дома все звали ее Гробик — худющая, чисто скелет. Она предложила мне ежевечерне, после ужина, участвовать в их семейном семинаре по изучению идей Мао. Я сказала, что должна спросить разрешения у отца. Отец запретил. Мол, ему не нужна домашняя революция. Меня это удивило. Целую ночь я размышля-

ла, не контрреволюционер ли мой отец и не следует ли мне сообщить куда надо. Гробик была разочарована моим отказом. Она вернулась к себе наверх, и до меня донеслись голоса, запевшие: «Алеет Восток, солнце встает, Мао Цзэдун ведет нас вперед...» Я была в восторге, мне так хотелось, чтобы и у нас происходило нечто похожее.

Мы с сестрами спали в лоджии, брат на кухне. Мать страшно скучала по нашему старому дому. Она скучала по нашему собственному сортиру. Помню, как в понедельник, назавтра после переезда, меня разбудила громкая трель электрического звонка. Я выглянула в окно. Оказалось, наши нижние соседи — владельцы скобяной мастерской. Едва в 7.30 прозвонил звонок, как толпа женщин рванула в дверь, кружа, словно пчелиный рой. Часть из них трудилась в комнатах, часть — под навесом на заднем дворе. Было их сотни две, все больше бывшие домохозяйки, необразованные, но рукастые. Целый день они что-то паяли-лудили. Завтрак приносили с собой и ели прямо во дворе. Мне из окна хорошо было видно, что питаются они, в основном, соленой рыбой и соевым творогом. Некоторым выдавали талоны на молоко, производство считалось вредным, в припое содержались какие-то яды. Порой ядовитые испарения достигали и наших комнат.

Женщины обожали сплетничать, задирать друг друга и петь арии из опер Цзян Цин, супруги Председателя Мао. Соседи почему-то считали, что большие баталии случаются в мастерской по понедельникам, четвергам и пятницам. Мелкие ссоры — по вторникам, средам и субботам. Каждая из нижних комнат была оборудована радиотрансляцией. После полудня голос читал работы Мао, статьи из газеты «Женьминь жибао» и журнала «Хунци». Когда в 15.30 мы возвращались из школы, передавали производственную гимнастику. Женщины строились на заднем дворе и десять минут выполняли упражнения. Часто мы с сестрами и братом наблюдали за ними, устроившись на подоконнике. Постепенно мы узнали их шуточные прозвища: в каждом содержался намек на парней-ухажеров — одного или даже двух. Смысл прозвищ от меня ускользал, но постепенно во мне укрепилась мысль, что родиться девчонкой — громадное несчастье. Работа в мастерской кипела в три смены. Станок не выключали ни днем, ни ночью. Отец очень страдал от шума. Не мог спать. Даже ходил вниз объясняться, но без толку. «Женщин нужно обеспечить работой, — заявил хозяин. — Таково требование революции».

Мы, дети, часто ходили смотреть, как работницы делают проволоку. Иногда они разрешали нам потереть ее наждаком, и мы радовались. Женщины говорили, что проволоку пароходами отправляют во Вьетнам. «Так что наше производство — секретное!» Правительство наградило их почетными грамотами. Самую большую повесили в рамке на стену. Там говорилось: «Честь и слава скобяной мастерской Ули!»

Я ходила в начальную школу «Великое счастье». Это примерно в шести кварталах от дома. Новые одноклассники потешались надо мной, вернее, над всегдашней моей курткой в сплошных прорехах. Я надевала ее в любое время года. Она досталась мне в числе прочего от моей двоюродной сестры. Бутончик носила вещи, из которых вырастала я, только латались рукава и ворот. Потом наступал черед Жемчужины. Заплат становилось еще больше. Она старалась быть поаккуратнее, но вещи безнадежно ветшали. Жемчужина знала, что на очереди Звездолет. Ему и вовсе перепадали лохмотья. Его дразнили Блохастым. Почему-то я чувствовала себя виноватой.

Соседские дети с нами не дружили. Часто задевали нас, дразнили то Блохастыми, то Помойкой. Отец говорил, что ему не по карману купить нам новую одежду только для того, чтобы нас уважали. «Учитесь хорошо и вас зауважают, — твердил он. — Плохие дети могут отнять у вас школьные сумки, но не способности». Я воспользовалась отцовскими наставлениями и преуспела. Меня приняли в отряд детей-хунвэйбинов, а вскоре за успехи в учебе назначили командиром.

Во мне проснулся вожак. Сказалась ранняя практика в семье. В те годы главным было — учиться революции. В отряде нас учили разрушать, учили боготворить. Хунвэйбины выпрыгивали из окон, дабы доказать свою приверженность Мао. Считалось, физическая смерть — ничто, легче легчайшей пушинки. Вот если отдать жизнь за народ, такая смерть даже гору перевесит.

Мои родители никогда не говорили дома о политике. Никогда не обсуждалась и работа, которой они были принуждены заниматься. К 1971 году отец больше не преподавал в институте — его направили в типографию помощником секретаря. Хотя у матери был университетский диплом, она теперь трудилась на обувной фабрике. «Нужно слиться с рабочим классом, это политическая необходимость», — сказал ее начальник. Партия назвала это «программой переподготовки». Новая работа родителям не нравилась, но при нас они помалкивали, всякая критика могла повредить нам в будущем.

Мать плохо подходила к новой роли. Ее коллеги говорили, что она в политике — недотепа. Однажды, когда в школе ей поручили написать лозунг «Многие лета Председателю Мао», она ухитрилась спутать иероглифы так, что получилось «Малые лета Председателю Мао». «Это была катастрофа», — рассказывала она. У матери в тот день побаливала голова, и она плохо соображала, что пишет. Ей не дали отдохнуть, хотя у нее поднялось давление. «А Председателя Мао я всегда любила», — уверяла она позднее. Ее подвергли критике на еженедельном политсобрании, где обязаны были присутствовать все жители района. Утверждали, будто она лелеяла преступные замыслы. Мать как преступница должна была понести наказание. Она не знала, чем оправдаться. Не знала, что предпринять.

Я набросала для нее тезисы выступления с самокритикой. Мне было двенадцать лет. Я использовала самые известные цитаты из Мао. Председатель учит нас: «Нужно дать человеку возможность исправить свою ошибку», « Только так можно воспитать настоящего коммуниста», «Не всякий оступившийся — преступник», «Преступно не дать оступившемуся исправиться». И уж воистину преступно — ослушаться указаний Мао. Мать выступила по моей шпаргалке и была прощена. Вернувшись домой, она сказала, что ей повезло — такая у нее политически изворотливая дочь.

Но на следующей неделе мать снова оплошала. Использовала в сортире клочок газеты с портретом Председателя. Все употребляли для этой цели газеты, о туалетной бумаге редко кто и слышал. На митинге мать предъявила справку от врача: в тот день, когда был совершен ужасный проступок, у нее резко подскочило давление. Но на этот раз ее не простили. Ей таки пришлось отправиться на обувную фабрику, чтобы, занимаясь тяжелым физическим трудом, полностью перевоспитаться. Фабрика выпускала резиновые сапоги. Каждая пара весила пять килограммов. Мать должна была вынимать сапоги из форм. По восемь часов ежедневно. Дома по вечерам она падала в изнеможении.

Едва переступив порог, она сползала по стене и плюхалась на стул. Сидела недвижно, как неживая. Я посылала Бутончика за влажным полотенцем и кувшином, Жемчужина несла бамбуковый веер, Звездолет тащил кружку с водой, мне оставалось принести мамины тапочки. Потом мы терпеливо ждали, пока она придет в себя. Мать благодарно улыбалась, а уж мы старались вовсю. Я прикладывала ей к затылку мокрое полотенце, Бутончик мне помогала, Жемчужина отжимала, Звездолет менял воду. Потом на лестнице раздавались отцовские шаги. Мы дожидались, пока он распахнет дверь, и корчили смешные рожи.

Частенько к концу месяца в доме истощались запасы еды. Все просто озверели от голода. Однажды с голодухи Жемчужина наелась пилюль для закрепления желудка. Уверяла, что они сладкие. Но уж и брюхом намаялась. Звездолет промышлял по урнам, собирая фруктовую кожуру и огрызки. Мы с Бутончиком непрерывно пили воду. Ежемесячно пятого числа у матери была получка, и мы в этот

день поджидали ее на остановке. Распахивалась дверь автобуса, и мать протискивалась к нам с сияющим лицом. Мы карабкались по ней, как обезьяны. Потом шли в ближайшую лавку за покупками. Пищу мы поглощали до тех пор, пока не вываливались животы, тяжеленные, словно дыни. В эти минуты не было человека на земле счастливее нашей матери. И больной она не выглядела только в такие дни.

Отец, мало что смысливший в сапожном ремесле, обувал, однако, все наше семейство. Его изделия напоминали лодки с низкими бортами: подметка едва загибалась с боков, а на большее не хватало ни умения, ни материала. Детали обувки сшивались через дырки, проделанные обыкновенной отверткой. По воскресеньям отец чинил свои изделия, руки его были в постоянных ссадинах. Так продолжалось до тех пор, пока мы с Бутончиком не научились ладить лоскутные тапки. Однажды мать появилась дома с сумкой, полной лекарств. Она была в больнице. У нее обнаружили туберкулез и велели дома носить хирургическую маску. Мать сказала, что в каком-то смысле даже рада своей болезни, сможет побольше бывать с семьей.

Я сделалась районной активисткой, выиграла конкурс на лучшее знание «Цитатника» Мао. И еще я полюбила оперу. У нас почти не было развлечений. Само это слово считалось буржуазной заразой. Другое дело опера — поистине пролетарское увеселение. Особенно оперы супруги Мао, несравненной Цзян Цин. Тут уж не просто «нравится — не нравится», «любишь — не любишь», скорее тут политический выбор: за революцию ты или против. Любить оперу учили по радио, в школе. Внедрением и распространением опер занимались местные организации. И так десять лет. Одни и те же оперы. Во время еды, на прогулке, во сне. Я, можно сказать, росла в опере, словно в тюремной камере. Стены моей лоджии пестрели портретами оперных героинь. Где бы я ни была, я напевала оперные арии. Мать слышала, как я пела во сне. Она считала, что я сдвинулась на опере. И это было правдой. Без оперы я дня не могла прожить. Я приникала к радиоприемнику, силясь различить дыхание певицы. Старалась подражать. Ария юной девушки из оперы «Легенда о Красном Светоче» называлась «Не прекращу борьбы, покуда живы звери». Исполняла ее Железная Слива. Допелась я до того, что сорвала голос. Очень уж хотелось взять самую высокую ноту:

Мой отец, как сосна, его воля крепка,
Героический дух его чист,
Истинный он коммунист!
Иду за тобою вслед,
Колебаний-сомнений нет.
Красный Светоч вздымаю ввысь,
Это мой путеводный свет,
Твой со зверьем продолжаю бой,
Поколенья идут за тобой...

Я помнила наизусть либретто всех опер: «Красный Светоч», «Пруд Шацзя», «Ловушка Тигровой горы», «Залив», «Рейд полка Белого Тигра», «Песня Драконьей реки». Отец не выносил моих громких дуэтов с радио и всегда восклицал: «Может, проще тебя на кухонную стену водрузить вместо репродуктора?»

Бабушка привезла нам из деревни курочку. Старый портной, наш сосед, был потрясен обилием темно-бурых перьев вокруг куриного клюва. «Да у нее борода как у Карла Маркса», — изрек он, глянув на курицу. Так ее и прозвали Борода. Она была любимицей деда и бабки. К ним-то она вообще двухдневным цыпленком попала. Когда настали тяжелые времена и кормить Бороду оказалось нечем, бабушка надумала зарезать курицу. Привезла несчастную к нам в Шанхай и велела съесть за ее, бабкино, здоровье. «Все равно ей нестись еще срок не пришел». Слушая такие слова, Борода наклоняла гребешок и возмущенно квохтала. Гребе-

шок рдел, словно пылающий уголек. «Сварите в сорговом вине, прямо пальчики оближете», — наставляла бабка. Мы стали просить ее отведать курицу вместе с нами, но бабушка заявила, что у нее на курятину аллергия, подхватила свои котомки и умчалась так быстро, что, казалось, ее крошечные ножки едва за ней поспевают.

Но кто зарежет Бороду? «Только не я, — сказал отец. — Мне и есть-то ее невмоготу, раз я ее живой видел». И он уставился на курицу. Борода поводила головой и квохтала, чистила перышки клювом. Отец вернулся к своим занятиям. Борода взмахнула крыльями и направилась к матери. «Нет, нет, — воскликнула мама, — вы же знаете, я никого не могу убить». И она посмотрела на меня. Дети тоже воззрились на меня. Я знала, что они хотели сказать: «Ты у нас самая смелая, тебе и резать». Ладно, справимся. На кухне я сто раз имела дело с живыми голубями, лягушками, крабами. Курица? Да десять минут каких-нибудь, и курица будет ощипана. Что я, не видала на рынке, как с утками управляются? Мясник чикнет по горлу, потом подвесит за ноги, чтобы кровь стекла, опустит в котел с кипящей водой, мигом выхватит и ощиплет.

Брат и сестры согласно кивали. Уж они-то никогда не сомневались в моей решительности. «Только вынеси ее во двор, и чтобы я ни звука не слышала, — сказала мать, а потом, удержав меня за рукав, спросила: — Может быть, попросить верхних соседей?» — «Зачем?!» — воскликнули мы хором. «Не хочу, чтобы мои дети видели, как убивают». В этом была вся наша мама. Она всегда заставляла отпускать на волю птенцов, котят. «Мы пойдем во двор, все будет тихо, без шума. Такая курица стоит на рынке пять юаней, как пятидневная зарплата. Подумай об этом!» Мама повернулась и быстро ушла, едва я ухватила Бороду за крылья. Курица закудахтала громче и забилась в моих руках. Звездолет сказал: «Не шуми! Мы отправим тебя к Карлу Марксу, чтобы вы бородами померились». — «Заткнись, — цыкнула я. — Сбегай-ка лучше за большими ножницами». Он еще и шагу не ступил, а курица уже всю меня исщипала-исклевала. Клюв у этой чертовой Бороды был не хуже ножниц. И я выпустила свою жертву. Она заметалась по лестничной клетке, несколько раз ударилась о потолок и рухнула на цементный пол.

Она лежала, наша курица, наша Борода, на цементном полу, бессильно распластав одно крыло. Потом, закудахтав, попыталась приподняться и повалилась на бок, волоча крыло. Мы посмотрели друг на друга, потом на курицу. «Она сломала себе крыло», — сказала Жемчужина. Тут как раз и Звездолет с ножницами подоспел. «Нет, сейчас не могу, — отказалась я, — она ранена». — «И я не могу», — проговорила Бутончик. «Я тоже», — поспешила Жемчужина. «Ни за что! — заорал Звездолет и вдруг разрыдался. — Вы меня всегда вперед себя посылаете! — Он кинулся к окну и крикнул: — Мама, они хотят, чтобы я первый... Опять...»

Мы решили отложить казнь. Подождем, пока срастется сломанное крыло. Соорудили в кухне подле раковины дом для Бороды. Выложили соломой. Устроили нечто вроде гнезда. Там она успокоилась. Час за часом мы наблюдали за ней. Сидела тихо, спрятав голову под крыло, горячая на ощупь. Из-под перьев так и пыхало жаром. «У нее температура, — сказала мама, — она заболела. Что будем делать?» Всем нам стало не по себе. «У меня есть таблетки, антибиотики, но я не знаю... Борода... для людей... помогут ли ей?» — залепетала Бутончик. «Она же вела себя совсем как человек, правда, — сказала Жемчужина, пробуя температуру, — поняла, что ее резать собираются, и сама себе крыло сломала».

Осторожно мы потрогали раненую. Борода смотрела на нас жалобно и тихо кудахтала. «У нее болит, мама, дай ей скорее таблетку», — взмолились все разом. Мама запихивала в клюв таблетку, а мы держали курицу: Жемчужина и Звездолет за ноги, мы с Бутончиком за крылья. Борода, похоже, старалась нам помочь. Потом она загадила всю кухню и улеглась спать. Мы сели обедать. Правда, кусок никому в горло не лез. Кухня провоняла куриным пометом, один угол гнездо за-

громоздило, мы с трудом поместились. И только и мысли что об этой несчастной. «Чтобы в кухне была чистота, — сказала мама, — и чтоб никогда больше не воняло. Слышите меня?» — она посмотрела на детей. Мы запихивали рис в рот. «Поняли, что мать сказала? — вмешался отец. — Смотрите, а то выдворю эту птицу сегодня же ночью».

Мы пообещали содержать кухню в чистоте. Пошли к соседям и набрали золы. Присыпали помет золой, потом собрали все в корзину. Кормили Бороду рисом, овощами, червяками, молотыми костями. Она набрала вес. Опять зардел гребешок. Мы разговаривали с ней, пели песни, надеялись, что она вот-вот начнет нестись. Но она разочаровала нас. Похорошела, перья залоснились, окрепли когти, а яиц как не было, так и нет. И ухаживать за ней стало неинтересно. «Наведи чистоту!» — приказывала я Бутончику. «Ты приберись», — сваливала та на Жемчужину. «Ты!» — доходил черед до Звездолета, который принимался орать: «Мама, они меня заставляют первого! Опять!»

«Все, режь ее!» — велел отец. Я сказала, что у меня экзамены, нужно готовиться и в субботу, и в воскресенье. «Мы тоже должны готовиться», — заявили дети. «Так зарежь ее в понедельник», — сказал отец. И я пообещала.

Днем в понедельник я наточила ножницы. Дома никого. Я подступилась к Бороде. Она — прочь. Забеспокоилась. Заметалась в возбуждении. Потом уселась в гнездо. Потом опять заходила кругами. Мне стало интересно. Я приблизилась. Это ей не понравилось, и она попыталась укрыться под стулом возле сливной трубы. Я поняла, что она хочет побыть одна. Но не отступать же! Придется придумать, как подобраться к ней незаметно. И меня осенило. Над раковиной висело зеркало. Я забралась на кухонный стол, улеглась на спину, а зеркало устроила так, чтобы наблюдать за Бородой, оставаясь невидимой.

Минут через пять курица вылезла из гнезда. Огляделась, словно хотела убедиться, что в кухне никого нет. Клювом расправила солому в гнезде, как-то странно раздвинула ноги. Очень смешная получилась поза, словно она на колени встала. Ее тело причудливо раздулось. Она как бы тужилась. Неужто яйцо снесет? Затаив дыхание, я смотрела в зеркало. Но вот Борода исчезла из виду, она забилась в угол, и в зеркало ее не разглядеть. Я терпеливо ждала, боясь вспугнуть курицу. Через несколько минут Борода опять выплыла на сцену, опять, смешно растопырив ноги, напряглась, и через минуту в гнезде забелело яйцо.

Я спрыгнула со стола и бережно взяла яйцо. Оно было теплым. Скорлупа тонкая, почти прозрачная. Я глянула на Бороду. Птица ответила мне взглядом, исполненным достоинства. Я обняла ее, и она закудахтала громко и горделиво. Жемчужина уложила курицу в свою постель. Думала, что это лучший отдых после тяжких трудов. Мы расселись вокруг постели на полу и беседовали с Бородой. Мы разглядывали яйцо, передавая его друг другу. Звездолет принес ручку, и я прямо на скорлупе записала день и час великого события. Бутончик отыскала коробку, в которую, заботливо переложив мягкой бумагой, припрятала яйцо, а коробку устроила у себя под кроватью. Едва пришли родители, как мы тут же доложили им радостную новость. Раз Борода начала нестись, то и резать ее незачем. Ведь яйца на рынке дороже всего остального! Родители согласились, но предупредили, что яиц из-под Бороды есть не станут. Мы пообещали хранить яйца для гостей.

Так Борода оказалась в центре внимания. Каждый день после школы мы накапывали для нее червяков. Звездолет лазал по деревьям в поисках особенно крупных гусениц. Борода стала разборчивой. Теперь она предпочитала живых червей. Раз в два дня несла яйцо, и скоро коробка наполнилась доверху. Но недолго длилась счастливая жизнь нашей Бороды. В то лето местный парткомитет объявил кампанию по борьбе за санитарию, и в три дня было покончено со всеми собаками, утками, курами. Мы пытались спрятать Бороду, но глотку-то ей не заткнешь! Всякий раз, снеся яичко, она с материнской гордостью громогласно возвещала об этом на весь двор. Специальный комитет из старичков-пенсионеров явился к на-

шей двери, скандируя патриотические лозунги. Первый раз мы сделали вид, что ничего не слышим. Тогда они подошли ближе, размахивая бумажными флажками. Мы забеспокоились. Запихнули Бороду под окно и накрыли одеялом. Старики срывающимися голосами повторяли лозунги, натужно дышали. «Курам и уткам не место в городах!» И опять: «Курам и уткам...» — здесь их вожак захрипел, закашлялся и не смог докричать лозунг. Старики сразу как-то сбились, их словно заклинило, они только громко талдычили: «Курам и уткам... курам и уткам...», и лишь когда запевала восстановил дыхание, благополучно закончили: «...не место в городах!»

Глава парткомитета явился для беседы. Он поинтересовался, почему я не действую, как подобает командиру отряда детей-хунвэйбинов. Высказал сомнение, сочтут ли меня в будущем году истинной маоцзэдуновкой. Мне стало ясно, как следует поступить. Я пообещала прирезать Бороду следующим утром. Председатель сказал, что придет вместе со своими комитетчиками в 7.30 для проверки. Ему требовалась голова нашей птицы.

Спалось мне плохо. На рассвете я встала. Борода уже проснулась и в темноте поклевывала свой завтрак. Заслышав мои шаги, она заквохтала. Я взяла ножницы, ухватила курицу за крылья и спустилась во двор. Наверху Гробик только что вернулась с рынка. Я поинтересовалась у нее, который час. Без пяти семь. Нужно уговорить себя, что это пустяк, наша Борода — всего лишь курица, птица, источник антисанитарии. Я подняла ножницы и тут же опустила. Надо вернуться за посудиной для крови. Уже семь пятнадцать. Когда я спустилась во двор, вспомнила, что забыла еще кое-что. Опять пришлось подниматься наверх, воду кипятить. Борода оставалась во дворе, на свободе. Ей понравилось. Распушив перья, она принялась нападать на мой кулак. Она играла со мной. Наконец вода закипела. Я снесла чан с кипятком вниз и поставила рядом с кувшином для крови. Попыталась схватить курицу, но та словно почуяла опасность и принялась отбиваться. Пришлось прижать ее к земле. Она точно на коленях передо мной стояла. Тогда я нащупала под крылом куриную голову и начала тянуть. Но силенок оказалось маловато. Ладно, справлюсь. Я тянула и тянула. Покрепче ухватила ножницы. Рука совершенно онемела. Уже семь двадцать пять. Курица смотрела на меня налитыми кровью глазами. Она не собиралась сдаваться. До меня донеслась барабанная дробь. Комитетчики приближались. Я подняла ножницы, целя в куриную шею. Борода забилась в моих руках. Семь тридцать. Зазвенел звонок в скобяной мастерской. Работницы ринулись в дверь. Комитетчики уже выстроились перед нашим домом, их голоса, скандируя, звучали то громче, то тише — волнами. Я клацнула ножницами. Курица вырвалась и громко закудахтала. И вдруг снесла яйцо. Смотреть на это не было сил. Ножницы выпали из моей руки. Когда я осмелилась открыть глаза, наша курица металась над головами комитетчиков, роняя капли крови. Сестры и брат глядели на все это из окна. Вдруг Борода оказалась на дереве, как раз на высоте наших окон. Потом рухнула вниз на цементные плиты двора.

Я взлетела по лестнице. Я сказала, что больше не прикоснусь к курице. И никто из наших тоже. Борода лежала возле кувшина, приготовленного для ее крови, и чана с кипятком. Мертвая. Рядом яйцо. Когда вода в чане остыла, ко мне пришла Гробик спросить, что я собираюсь делать с курицей. Она ведь может протухнуть. Я разрешила забрать Бороду. Сказала, что выйдет недурная еда, если птицу в вине отварить. Было известно, что родители Гробика алкоголики. И она взяла. После обеда я спустилась вниз. Семейство Гробика отбыло на политсеминар. Наша курица, наша Борода, превратилась в кучку костей, лежавших в мусорной корзине. Гробик сообщила, что на вкус она оказалась что надо.

В школе учебниками служили книги Мао. По истории китайской компартии я была лучшей в классе. Ведь это была история побед пролетариата над силами

реакции. Западная история была историей капиталистической эксплуатации. Портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина соседствовали с портретом Мао, и каждое утро мы отвешивали им поклоны, как отвешивали и самому Мао, желая ему долгой жизни. Сестры списывали у меня сочинения. Это были собрания лозунгов. Каждое начиналось словами: «Дует ветер с Востока, бьют барабаны, гремят сражения. Кто нынче в мире напуган? Народы не боятся американских империалистов, нет, это американские империалисты боятся народов мира». За эту фразу я нахватала кучу призов. Звездолет смотрел на меня, словно на волшебницу. А для меня сочинение было плевым делом. Вот состязания на китайских счетах — это да. Хотя я писала сестрам и брату сочинения, общего у нас было мало. Я чувствовала себя взрослой. И тосковала по трудностям. День и ночь я внедряла в школе коммунизм, совершала революцию, покрывая лозунгами заборы и стены. Под моим руководством одноклассники собирали деньги для голодающих детей Америки. И гордились этим. Мы верили, что способствуем распространению красного цвета по географической карте. Мы боролись за окончательный мир на планете. Меня буквально пронизывали героические чувства. И душа моя пела.

Меня пригласили на собрание школьного ревкома. На дворе 70-й, мне тринадцать лет. Мы обсуждаем, как двинуть в нашей школе Культурную революцию, обсуждаем вместе с комитетчиками, настоящими революционерами. Когда я поднимаю руку и прошу слова, меня уже не бросает в краску. Мне известно, о чем нужно говорить. Цитаты из «Женьминь жибао» и журнала «Хунци» так и сыплются из меня. Мои речи проникнуты сознанием важности момента. Я горжусь собой. Тогда, в начале 70-х, моя высокая должность в отряде детей-хунвэйбинов создавала особый ореол вокруг всей нашей семьи. Мои почетные грамоты были предметом материнской гордости, но ни одну почему-то она на стену не повесила. Мое имя было постоянно на устах у школьного начальства, звания так и сыпались на меня: «Активист маоистской учебы», «Образцовая внучка Мао», «Отличник учебы». Когда я выступала по школьному радио, одноклассники моих сестер и брата поглядывали на них с завистью и восторгом.

Новый секретарь школьного парткомитета по имени Чэнь был из рабочих Шанхайского судостроительного. Тощий, что бамбуковый прут, лет пятидесяти. Все учил меня политические митинги организовывать. Любил порассуждать: мы, мол, должны доверять нашим юным вождям ответственные роли в Культурной революции, должны разбудить инициативу детей-хунвэйбинов. Требовал не бояться всего малопонятного. Заставлял усвоить простую мысль: «Пусть Земля перестанет вращаться — ты продолжай движение!»

Кажется, в начале ноября секретарь Чэнь вызвал меня к себе. Сообщил по секрету, что комитету удалось разоблачить скрытого классового врага, он же — американский шпион. Должен состояться митинг протеста, тысячи эдак на две участников. С разоблачительной речью от имени школьников предложил выступить мне. Я поинтересовалась, кто же оказался врагом. Нахмурившись, секретарь назвал имя, потрясшее меня. Цю Е, Осенняя Листва, наша учительница. Может быть, я ослышалась? Нет, смотрю, секретарь решительным кивком подтверждает свои слова.

Я так и села. У меня просто ноги подкосились. Тоненькая, средних лет, сильно близорукая. Всегда в темных очках. Сдержанная, с тихим голосом. Она самозабвенно преподавала китайский, математику и музыку. Впервые появившись в классе, спросила нас, что означает ее имя, Цю Е. Никто не знал. Она объяснила. В знаменитых стихах Танской эпохи воспета красота осеннего листопада. Листья, опадающие в свой срок, символизируют полноту жизни. Перегнивая, они дают земле свежие соки. Всю зиму семена напитываются этими соками, а весной прорастают. И еще она сказала, что мы — ее весна.

Как преподаватель она была неутомима, по-видимости и не уставала вовсе. Ее методика казалась ни на что не похожей. Она могла поднять руки на уровень плеч и широко развести их в стороны, сделавшись похожей на крест, — так нам, детям, давалось представление о бесконечности. Или вдруг заговорить с сильным хунаньским акцентом — оказывается, поэт, о котором шел рассказ, родом из провинции Хунань. Однажды она совсем потеряла голос, стараясь объяснить мне премудрость геометрической прогрессии. А когда я наконец поняла, рассмеялась беззвучно, жестикулируя, будто немая. Я поблагодарила и в ответ услыхала, что она рада моему упорству в учебе. Она ставила меня в пример нашему классу, а потом и всей школе. Узнав, что я хочу совершенствовать свой китайский, принесла из дому книги. Как-то, сразу после уроков, хлынул ливень, и она отдала детям дождевик, зонт, резиновые боты, а сама вымокла до нитки. Назавтра у нее подскочила температура, но она все равно провела все уроки. Правда, к концу дня совсем потеряла голос. И такая учительница — американский шпион?!

Словно прочитав мои мысли, секретарь Чэнь с улыбкой поинтересовался, известна ли мне поговорка «Только в жарком пламени выплавишь чистое золото»? Я покачала головой. Он сказал, что для меня наступил важный момент самопроверки — настоящий я революционер или липовый. Он процитировал Мао: «Делать революцию — это не то же самое, что сытно есть, рисовать картинки или вышивать. Это не удовольствие и не отдых. Революция — это жестокое подавление одного класса другим».

У меня онемел язык и слова не шли на ум. Я только твердила, что она — моя учительница. «Давай разберемся, — предложил Чэнь, закуривая. — Знаешь басню «Волк в овчарне»? Вот твоя учительница — волк и есть. Ее отец из американских китайцев, до сих пор в Штатах живет. Она и сама там родилась и училась. Значит, капиталист послал свою дочь в Китай учить наших детей — тебе это не кажется подозрительным?» Битых два часа втолковывал мне секретарь Чэнь, что учительница — секретный агент империализма и разлагает наши души своими уроками. «Разве это допустимо?» — «Конечно нет, — соглашалась я. — Никто не отбросит пролетариат назад, к прежней жизни». — «Отлично, — он похлопал меня по плечу. — Будешь разящим мечом партии». Я вскинула голову. «Объясните, что мне следует сделать!» — «Напиши речь». — «О чем?» — «Расскажи массам, как в тебя вливали духовный яд». —«Но мне не вполне понятно, что такое «духовный яд». — «Да-а, видать, мала ты еще. Ладно, просто расскажи, что за личность эта твоя училка». Я рассказала, все по правде.

Он долго смеялся надо мной. Сказал, что я жертва шпионки, едва жизни не лишилась: убийца и следов бы не оставила, как волк, задравший овцу. Потом грозно стукнул кулаком по столу и выкрикнул: «Вот материал для дискуссии!» Мне стало неловко. Тогда он утешил меня, мол, молодости не стоит стыдиться. Но я была недовольна собой. Он предложил свою помощь. Попросил назвать книги, которые она мне приносила. «Белоснежка», «Русалочка». Спросил, кто написал. Я сказала: «Кажется, Андерсен».

Он поднял указательный палец и наморщил лоб. «Постой, постой, вот оно! Кто такой этот Андерсен?» — «Да какой-то старик, иностранец». — «А о чем эти его сказки?» — «Все о принцах, принцессах да гномах». — «Ну а чем он сейчас занимается?» Я не знала. «Смотри-ка, ты совсем потеряла бдительность! — Он почти орал на меня. — Да может быть, он — вражеский шпион». Вынув пузырек с лекарством, Чэнь проглотил несколько пилюль. Сказал, что у него больная печень. Но докторам он в этом не признается, иначе сразу в больницу упекут. Болит все сильнее, но на лечение нельзя тратить ни секунды. Разве можно подвести председателя Мао? Он ведь доверился нам, представителям рабочего класса, тем, кто до Освобождения жили хуже собак и свиней.

Лицо его пошло красными пятнами. «Вам нужен отдых», — сказала я. Он жестом велел мне помолчать, пока, держась рукой за правый бок, пытался ути-

шить боль. Сказал, что учиться почти и не довелось. Родители умерли с голоду. Ему было пять лет. Братьев и сестер, погибших от холеры, просто сбросили в море. Его продали торговцу детьми за пятнадцать фунтов риса. Ребенком начал работать на судостроительном заводе в Шанхае, хозяин драл его нещадно. После Освобождения вступил в партию, был послан в вечернюю школу для рабочих. «Так что я сильно задолжал нашей партии и далеко еще не все отработал...»

Я глядела на него с сочувствием. Болело, видимо, все сильнее. Он крепче и крепче прижимал руку к правому боку, но облегчения не наступало. «Знаешь, мы нашли дневник твоей училки... Там есть про тебя...» — «Что, что про меня?» Я заволновалась. «Пишет, ты одна из немногих в классе, у кого есть способности. Она специально обвела это слово «способности». Понимаешь, что это значит? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Способности стать такой, как она сама, как ее отец, как все империалисты. А дневник, оказывается, она вела, чтобы представить американским хозяевам доказательства своих шпионских успехов».

Мир для меня перевернулся. Секретарь спросил, понятно ли мне, что сначала я служила для врага подопытным кроликом, потом пришла бы очередь других детей. Цель нашей училки — заставить весь класс предать коммунизм! Я чувствовала и вину и гнев разом: «Да, я выступлю завтра». Он кивнул. «Наша партия верит в тебя, Мао будет гордиться тобой».

«Разоблачить скрытого классового врага, американскую шпионку! Выволочь ее на солнечный свет!» Толпа заревела, едва начался митинг. Я сидела на ступеньках сцены. Два дюжих парня выволокли нашу учительницу на глаза двухтысячной толпы, на глаза ее учеников и сослуживцев. Вытолкали, заломив ей руки за спину. Она была неузнаваема. Мы виделись всего несколько дней назад, но она успела на десять лет состариться. Вдруг поседела. Исхудала лицом. С шеи свисала табличка: «Докатилась до шпионажа». Парни трижды нагнули ей голову перед портретом Мао, а один, еще резче заломив ей руку, потребовал: «Проси прощения у Председателя!» Она молчала. Тогда они уже вдвоем принялись выкручивать ей руки. Лицо учительницы исказилось от боли. Она пробормотала несколько слов, и ее отпустили.

У меня пересохло во рту. Смотреть на сцену не было сил. Веревка, оттянутая тяжелой доской, глубоко врезалась ей в шею. Я позабыла свои обязанности — организовывать скандирование, пока мне не напомнил о них секретарь. «Да здравствует великая пролетарская диктатура!» Я выкрикивала лозунги, следуя их стандартному набору. Страх охватил меня, когда я поняла: учительница пытается сопротивляться своим охранникам. Они хотели пригнуть ее голову к земле, а она силилась взглянуть в небо. С нее слетели очки, и я увидала, что глаза ее закрыты.

Секретарь Чэнь заорал на нее. Толпа отозвалась ревом: «Покайся! Покайся!» Чэнь схватил микрофон и прорычал, что терпение масс имеет предел. Своим поведением преступница сама роет себе могилу. Но она молчала. Только после жестокого удара промолвила, что каяться ей не в чем. Она невиновна. «Наша партия никогда не обвиняет невинных, но наша партия никогда не позволит классовому врагу ускользнуть от суда пролетарской диктатуры», — заявил секретарь Чэнь. Он сказал, что пришел момент вывести преступницу на чистую воду. Он кивнул мне, потом повернулся к толпе: «Дадим слово жертве!»

Я встала. Голова шла кругом. Раздались аплодисменты. Солнце сияло вовсю, слепило глаза. Словно пчелиный рой закружился передо мной, жужжа как скопище крохотных вертолетиков. Когда в толпе захлопали, я подошла к самому краю сцены, встала перед микрофоном. Достала текст, написанный прошлой ночью. Вдруг поняла, что мне совершенно необходимо поговорить с родителями. Я испугалась. Вчера ночью я не ночевала дома, осталась в классе вместе с другими красногвардейцами. Впятером мы писали речь. Я пожалела, что не дала ее посмотреть отцу с матерью. Глубокий вдох. Пальцы мои так дрожат, что невозможно

перевернуть страницу. «Не бойся, мы все с тобой», — прошептал мне на ухо Чэнь. Он подошел будто бы микрофон поправить. Поставил передо мной кружку. Я схватила кружку и залпом выпила воду. Чуть полегчало. Я начала говорить.

Я читала, обращаясь к толпе, что вот учительница, волк в овечьей шкуре. Я показала книги, которые она давала мне. Краем глаза заметила, как та повернулась в мою сторону. Она что-то прошептала. Я занервничала, но заставила себя продолжать. «Товарищи, теперь мне понятно, почему она так хорошо ко мне относилась. Она старалась сделать из меня врага нашей страны, цепного пса империализма!» Пока толпа выкрикивала лозунги, я украдкой взглянула на учительницу. Та тяжело дышала и была близка к обмороку. Кровь стыла в моих жилах, силы оставили меня. Я ужаснулась, увидав ее глаза без очков — казалось, они вылезут из орбит, они были размером с шарик для пинг-понга.

Толпа бесновалась. «Покайся! Покайся!» Послышался тихий голос учительницы, она пыталась объясниться с толпой: «Никогда никого я не пробовала превратить во врага. — Она разрыдалась. — И зачем? Зачем?» — повторяла она раз за разом. У нее пропал голос. Она тряхнула головой, стараясь вернуть себе способность говорить, но не могла произнести ни слова. Наконец ей удалось вымолвить, что ее отец любит эту страну, потому и она приехала сюда учительствовать. Они с отцом верят в силу образования. «Шпионка? О чем вы говорите? Кто внушил вам эту мысль?» Она взглянула на меня.

«Если враг не сдается, свари его, изжарь, сожги живьем!» Это крикнул секретарь Чэнь. Толпа вторила ему, потрясая кулаками. Чэнь подал мне знак продолжать, но меня била лютая дрожь. Он подошел к микрофону и заговорил: «Вы собственными глазами лицезрели вражьи уловки. И убедились, сколь хитроумен может быть враг. Дадим ли мы себя обмануть?» — «Нет!!» — взревела толпа. Чэнь приказал обвиняемой заткнуться и покорно внимать критике революционных масс. Та возразила, что не может соглашаться с лживыми фактами. Сказала, что преступно использовать ребенка в политических целях.

Поскольку толпа немного угомонилась, женщина опустилась на колени, чтобы отыскать на полу свои очки. Она надела их и принялась задавать мне вопросы. Внезапно я испугалась. Никогда не ожидала, что она заговорит со мной так серьезно. Меня охватил ужас. Захотелось спрятаться. Но я сказала: «Почему вы допрашиваете меня как реакционера какого-нибудь? Раньше вы использовали меня, служа империалистам, а теперь желаете использовать, чтобы избежать возмездия. Позор, если я поддамся вам!» Учительница спросила, верю ли я в самом деле, что она враг. А если не верю, то кто подучил меня? Сказала, что хочет услышать правду. Ведь председателю Мао нравятся только честные дети. Она говорила со мной так, будто помогала с домашним заданием. Ее взгляд требовал сосредоточиться на поисках ответа. Я не смела взглянуть ей в глаза. Эти же глаза смотрели на меня, когда она посвящала нас в тайны математики, когда она рассказывала про Русалочку. После моей победы на соревнованиях по быстрому счету глаза эти смотрели на меня с радостью. Они смотрели с состраданием, когда я болела. Я и не предполагала, как много значат для меня эти глаза, пока не потеряла их навсегда — на этом самом митинге.

Я слышала крики. Голова раскалывалась. Взгляд учительницы простреливал насквозь. «Только будь честной!» Она говорила так громко, как позволял ее сорванный голос. Я обернулась к Чэню. Он кивнул, словно спрашивая: неужто отступишь перед врагом? И улыбнулся насмешливо. «Вспомни змею», — подсказал он. Да, да, конечно, я помню. Эту притчу Мао рассказал в своей книге. Она о крестьянине, который нашел в канаве змею в морозный день. Такой красивой кожи он отродясь не видывал. Ну и пожалел несчастную тварь, положил в карман и отогрел своим теплом. Змея оттаяла, и в ней голод проснулся. Она возьми и укуси своего спасителя. Крестьянин умер. Отсюда наш Председатель делает вывод: мы должны быть безжалостны к нашим врагам.

Я обернулась и посмотрела на огромный портрет Мао. Он занимал собой весь задник сцены. Глаза Председателя походили на два висячих фонарика. Я вспомнила о своем долге. Об обязанности бороться с каждым, кто смеет выступать против учения Мао. Приободрили меня и лозунги. «Так какова же твоя точка зрения?» — спросил секретарь. И передал мне микрофон. Сама не зная почему, я начала плакать. Сквозь слезы слышала, как зову родителей. Прямо в микрофон твердила: «Папа, мама, где вы?» Толпа в ярости вздымала кулаки и вопила: «Долой! Долой! Долой!» Стало страшно: я навсегда лишилась доверия Чэня, не смогла как следует ущучить эту училку... Я собрала все силы и истерически заорала, глотая слезы: «Да-да, я верю, верю, ты — вражина! Твои грязные штучки мне теперь нипочем! Только посмей еще раз, я знаю, как заткнуть тебя, я...я... рот твой гвоздями заколочу!..»

Спустя десять лет, уже после Культурной революции, я узнала, что моя учительница, та самая Осенняя Листва, опять работает в нашей начальной школе «Великое счастье». Я отправилась к ней, надеясь вымолить прощение. Я помнила, что она любила появляться в школе спозаранку, и пришла к половине восьмого. Стояла поздняя весна. Пробиваясь сквозь ветки деревьев, солнце отбрасывало на землю причудливую тень, напоминавшую гигантскую сеть. Я пересекла школьный двор и подумала, что похожа на побитую собаку — и больно, и стыдно, и тошно. Сцена, с которой я держала свою речь, оказалась целехонькой, разве что обветшала малость да краска пооблупилась. Вот и школа. Кровь быстрее заструилась по жилам, а ноги точно свинцом налились. Я буквально заставила себя подойти к учительской. Двери распахнуты. Она сидела за столом одна, читала. Мне почудилось, что когда-то здесь остановилось время. Не изменилось ничего, ни малости. Даже я не выросла.

Каждый шаг давался мне с трудом. Я постояла немного, собирая все свое мужество. И она все та же. Только голова совсем белая. Рука в глубоких морщинах слегка подрагивала, переворачивая страницы. Почувствовав мое присутствие, она отложила книгу. Глаза за толстыми стеклами очков внимательно смотрели на меня. Люди, как они были знакомы мне! Сердце колотилось — в груди словно ураган бушевал. Ее взгляд сделался холодным, колючим, когда она узнала меня. Помедлив, она отвернулась. Я шагнула к ней и торопливо назвалась, потом объяснила, что привело меня сюда. Воцарилось молчание. Взгляд ее уже не был напряженным, я услыхала такой знакомый хрипловатый голос: «Мне очень жаль, но я вас не помню. Не думаю, чтобы вы когда-нибудь у меня учились».

В семнадцать лет жизнь моя вдруг переменилась, я попала в совершенно иной мир. Замдиректора школы провел со мной, как и со многими другими, специальную беседу. Напомнил о моем лидерстве среди одноклассников, назвал образцовой ученицей. В его словах была политика, очевидная, как математическая аксиома. Он сказал, что я включена в определенную категорию. Категорию тех, кто должен стать крестьянами. Это решение обсуждению не подлежит, сказал он. Все, что исходило от пекинской власти, воспринималось как божественное повеление. Приказы безоговорочно исполнялись. Отказаться было немыслимо. Он сказал, что отправил в деревню четырех собственных сыновей. И гордится ими. Он произнес еще много разных слов. Слов, лишенных смысла. Абстракции лились из него как песня. «Бросить вызов небу — наслаждение, бросить вызов земле — тоже наслаждение, но высшее наслаждение — бросить вызов себе самому». Это он цитировал стихи Мао. Он хотел, чтобы я сознательно сделала достойный выбор. Мне было семнадцать. Я была полна энтузиазма. Мечтала жертвовать собой. Мечтала о трудностях.

Я стала прислушиваться к разговорам соседей. Одни получили известие из деревни, что их родственник нарочно врезал себе молотком по пальцам, чтобы комиссоваться и получить право вернуться домой. Старшая сестра Гробика попала на северную границу и сообщала своим, что ее подругу расстреляли как предательницу за попытку бежать в СССР. Мой двоюродный брат рассказывал в письме, как погиб его ближайший друг. Он ценой собственной жизни отстоял от огня амбар с зерном. Его наградили посмертно. Брат писал, что этот подвиг открыл ему глаза на истинные ценности жизни, так что теперь он намерен навсегда остаться в Монголии, во всем быть похожим на друга-героя.

Вообще слухов ходило много. Поговаривали, что дочку наших соседей Ли изнасиловал местный начальник где-то в деревне на юго-западе. А сына Янов наградили за убийство медведя, который задрал его напарника в лесу возле далекого северного госхоза. Кое-кто из соседей пытался показывать письма с печальными вестями от детей районному партначальству. Им велели не принимать на веру чудовищные измышления, распространяемые врагами, которые напуганы поступью революции. Партийные вожди продемонстрировали обеспокоенным родственникам фотографии тех мест, где трудятся их отпрыски. На фотографиях царили мир и процветание. Все успокоились и повеселели. Соседи сверху отправили в деревню еще двоих детей. Родители Гробика гордились грамотой и красными цветами, которые вручались семьям, пославшим в сельскую местность троих детей. Стены и двери их квартиры были сплошь заклеены многочисленными поздравлениями со всех концов страны.

Наконец мое имя появилось на Красной Доске Почета нашей школы — меня направляли в госхоз «Красное пламя», на побережье Восточно-Китайского моря. Назавтра мне было велено явиться в горсовет, чтобы аннулировать шанхайскую прописку. Стояли холода. В горсовете отключили свет. Чиновники трудились в темноте. Так, в темноте, и начались мои героические пути-дороги. Начальник вернул мне нашу домовую книгу. Я глянула в нее: поверх моей фамилии алела свежая печать. Красная печать — символ власти. В этот день я ощутила себя одинокой как перст, открытой всем ветрам. Что ждет впереди — возрождение к новой жизни, или чужие враждебные силы уничтожат меня? Внезапно я осознала, насколько легче было беззаботно распевать «Поеду туда, куда Мао пошлет». И вдруг отчетливо услыхала свой голос, звенящий этой песней. Но только сегодня до меня дошел ее смысл.

Я сидела в полной темноте. Вся наша семья была рядом. Приближался день отъезда.

Часть II

Утром 15 апреля 1974 года родные провожали меня до Народной площади. Десять огромных грузовиков уже стояли там наготове. На их бортах алели транспаранты с золотыми иероглифами «Госхоз «Красное пламя». Цветом своим транспаранты напоминали свежую кровь. Я зарегистрировалась. Девушка лет двадцати пяти, коротко стриженная, с острым взглядом серповидных глаз, поприветствовала меня. Держалась дружелюбно. Представилась как товарищ Лу. Еще раз поздравила меня и, наклонившись, сказала: «Можешь гордиться собой!» И рассмеялась. Серповидные глаза сделались еще уже. Она пожала мне руку и прикрепила к блузке красный бумажный цветок. «Эй, улыбнись, — сказала ободряюще, — мы теперь одна семья!»

Я выбрала грузовик, вокруг которого толпилось поменьше народу. Отец отдал мне мой чемодан. Мать выглядела нездоровой. Бутончик и Жемчужина поддерживали ее под руки. Звездолет не сводил с меня глаз. Во взгляде его сквозила растерянность. Отец помахал мне и попытался улыбнуться. «Ну, давай же нако-

нец уезжай», — сказал он, напрасно стараясь казаться веселым. Все мое семейство выстроилось передо мной, словно готовясь запечатлеться на фото. Это была бы фотография под названием «Печаль» или «Больше никогда...». Фотография без меня. Я хотела сказать, чтобы они шли домой, чтобы не бередили мне душу понапрасну. Но я была не в силах говорить. Слишком печально все. Впрочем, мне было всего семнадцать. И во мне жило мужество. Я повернулась навстречу ветру. Я обращалась к будущему: «Я готова, испытай меня!»

Когда грузовики тронулись, над толпой пронесся тягостный вздох. Родители с трудом отпускали своих детей. Я отвернулась. Я размышляла о своем героическом прошлом, о том, как всегда гордилась своей верностью делу революции. Я лелеяла в себе это чувство самоуважения, и мне делалось немного легче. Товарищ Лу наблюдала за мной и видела, что я не попрощалась со своими. Теперь она пересела ко мне поближе, похвалила: «Молодчага!» — и предложила спеть цитаты из Мао. Тут же сама затянула: «Идите в деревни и на границы, идите туда, где вы нужней...»

Мы стали подпевать. Наши голоса звучали слабо и нестройно, словно мычало стадо старых больных коров. Лу энергично дирижировала, стараясь придать пению необходимую мощь. Но на нее мало обращали внимания. В памяти каждого всплывало что-то свое, главное. В такие минуты молодые как-то сникают. Я не могла взгляда оторвать от родителей. Они остались стоять, словно побитые морозом подсолнухи, поникнув головами. Слезы хлынули у меня из глаз. Я запела громче. Я буквально орала. Лу прошептала мне на ухо: «Молодчага!» В ее руках билось знамя госхоза «Красное пламя». Грузовики мчались навстречу ветру. Клубилась пыль. Вдали таял силуэт Шанхая.

Ехали молча. Каждый как плюхнулся рядом со своим скарбом, так и сидел, вслушиваясь в свист ветра. Казалось, все погрузились в траур. Через несколько часов нам приветливо засверкали первые звезды. И я заскучала без отца: Вспомнилось, как он в полночь поднимал нас, детей, из теплых постелей, чтобы показать Млечный Путь. Он мечтал сделать из нас астрономов. Хоть так осуществить собственную несбывшуюся мечту. Как и в те ночи, небо над дорогой было ясным, виднелись Млечный Путь, Юпитер, Марс, Венера и рукотворный спутник на орбите...

Сквозь дрему я почувствовала запах моря. Лу сказала, что мы прибыли на место. В госхоз «Красное пламя». Кругом бескрайние заросли прибрежного камыша. Грузовики разъехались в разные стороны. Наш, точно паучок, полз среди камышей. Низко нависало темное небо. Словно потолок, который можно потрогать. Я спрыгнула из кузова на землю, размяла затекшие ноги. Передо мной справа и слева виднелись два одинаковых барака из серого кирпича. Между ними — длиннющий желоб общественного умывальника с множеством кранов. Было видно, как сновали люди между бараками — входили и выходили. Измученные, в запыленной одежде, с сальными волосами. На нас — никакого внимания. Только я взялась за свой чемодан, как откуда-то донеслась громкая команда: «Общий сбор! Командир идет!» Командир? Что это, военный лагерь? Растерявшись, я повернулась к Лу. Она замерла, впившись взглядом во что-то прямо перед собой. Улыбки как не бывало. Тело напряглось. Я проследила за ее взглядом. Далеко на горизонте, в поле, виднелась крошечная фигурка.

Девушка оказалась высокой, хорошо сложенной, двигалась уверенно. Одета в застиранную добела старую форменную гимнастерку Народно-освободительной армии, перехваченную на талии широким ремнем. Прическа — две коротких тонких косички. Вид имела победительный. Остановившись в нескольких шагах, она улыбнулась. И тут же принялась оценивающе нас оглядывать, всех, одну за другой. В остром проницательном взгляде ее светилась энергия льва. Кожа на лице, задубевшая от непогоды, тонкие брови, хрящеватый нос, высокие скулы, полные губы, напоминавшие формой водяной орех. Плечи античного воителя — ширины

необыкновенной. Босиком. Рукава закатаны до локтей, до колен подвернуты штаны. Руки скрещены на груди. Когда глаза девушки остановились на мне, я ощутила беспричинную дрожь. Они обжигали, эти глаза, точно солнечные лучи. Под ее взглядом я стояла как голая. Она заговорила. Все стихло, только иногда доносился чей-нибудь шепот. «Добро пожаловать к нам в госхоз «Красное пламя», новые бойцы, наша, так сказать... — она прочистила горло, —так сказать, свежая кровь». Она сказала, что призывает нас разрушить ничтожный мирок индивидуалистического сознания и сделаться частью громадного мира созидательного труда. Сказала, что мы делаем лишь первые шаги Великого Марша. Внезапно возвысив голос, заявила, что хочет представиться. Зовут ее Янь Шэн. Иероглиф «янь» тот же, что в слове «дисциплина», «шэн» — из слова «победа». Она партсекретарь и командир этой роты. Роты, которая производит сокрушительные перемены буквально во всем. Она понизила голос : «Да что тут много разговаривать!» Но об одном ей хотелось бы сказать. И вдруг она опять заорала: «Только посмейте плюнуть мне в лицо! Только посмейте уронить честь образцовой передовой седьмой роты армии госхоза «Красное пламя»!» И на вопрос, ясно ли она выразилась, мы дружно гаркнули: «Да!» Помахивая рукой перед носом, словно отгоняя дурной запах, она спросила, хотим ли мы в самом деле преодолеть присущую нам слабость. И повторила вопрос. Ей было нужно, чтобы мы ответили «да!» — прямодушно, по-солдатски. И мы с воодушевлением рявкнули: «Да!» «Так-то лучше», — сказала она и улыбнулась. У нее была обаятельная улыбка. Но длившаяся буквально секунду. И опять она посуровела. Сообщила, что в госхозе тринадцать тысяч работников, в роте — четыреста. Она ждет, чтобы каждая из нас работала как шестеренка большого революционного механизма. «Каждому подтянуться! Все должно делаться бегом. Бегом! Бегом! Иначе вас разъест ржа. Форма здесь не принята, но учения — как в армии. И еще: поостерегитесь к моим словам как к дерьму относиться». Эта ее фраза накрепко засела в моем мозгу — уж больно грубо было сказано. Мы стояли как вкопанные, даже не отреагировали на команду «разойдись!». Лу подняла руку. Янь сделала шаг назад и представила Лу как своего заместителя. Лу сказала, что хотела бы кое о чем поговорить с нами. Она прохаживалась вдоль строя. Широкая улыбка озарила ее лицо, прежде чем она открыла рот. Резким голосом она поведала о том, что хотя в седьмой роте она человек новый, но зато к партийной семье принадлежит давно. И принялась пересказывать историю компартии, начиная с первого учредительного съезда, проходившего на маленькой лодке, в море неподалеку от Шанхая. Она говорила и говорила, пока последний луч солнца не блеснул в небе. Нас окутала густая мгла.

Меня распределили в третий корпус, женский. В небольшой комнатенке нас жило восемь душ. Хоть как-то уединиться удавалось только за москитной сеткой, подвешенной на тонких бамбучинах. Пол был земляной. Назавтра мы получили приказ работать на рисовом поле. Меня ужасно пугали пиявки, кишевшие в грязноватой воде. Рядом трудилась девушка по имени Зеленюшка. Ей в ногу впилась пиявка, и сколько она ни старалась ее отодрать, та впиявливалась все глубже, пока, наконец, не погрузилась в кожу целиком, оставив на поверхности только черное пятно. Девушка в ужасе голосила. Мне пришлось кликнуть на помощь опытного бойца, девицу по имени Орхидея. Она сильно щелкнула по коже в том месте, где была голова пиявки, и та с легкостью отпала. Зеленюшка очень благодарила нас. Мы стали подругами.

Ей сравнялось восемнадцать. Ее койка соседствовала с моей. Даже после целого дня на ярком солнце нежная кожа оставалась прозрачно-белой. Красивые тонкие пальцы. Когда она перетирала голубиный помет, казалось, что пальцы перебирают драгоценности. Грациозной походкой она напоминала иву, колеблемую легким ветром. Длинные черные косы ниспадали по спине. Говорила Зеленюшка всегда потупившись. Была очень стеснительна. Зато обожала петь. Она

поведала мне, что выросла с бабушкой, бывшей до Культурной революции оперной певицей. И голос у нее бабушкин. Родителей выслали куда-то в далекую глушь, в район нефтедобычи. Они были интеллигентами. Дома появлялись раз в году, под Новый год. Родителей она знала плохо, зато замечательно знала все старые оперы, хотя никогда их не пела прилюдно. С подругами она пела песню «Моя родина», ставшую популярной после Освобождения. Зеленюшкиным голосом гордился весь наш взвод. Голос этот помогал нам справляться с тяжелейшей работой, длившейся с пяти утра до девяти вечера ежедневно. В ней была и своеобразная дерзость. Она, например, осмеливалась как-то следить за собой. Вплетала в косы цветные ленточки, когда мы все обходились бурыми резинками. Хотя женственность и вызывала насмешки. Порой, глядя на нее, я смутно чувствовала опасность, таившуюся в таком поведении. Недаром мне приходилось командовать хунвэйбинами. Я знала правила игры. Ощущала тончайшую грань между «хорошо» и «плохо». Я наблюдала за Зеленюшкой. Видела нежную девичью красоту. Мне тоже хотелось цветных ленточек. Но я не отважилась бы пойти против правил. Следовало быть хорошей — всегда.

Вынужденная признать ее красоту, я, однако, заодно со всеми девушками-бойцами решительно утверждала обратное. Мы продолжали пользоваться бурыми резинками для волос. Это был наш цвет — цвет грязи, поросячьего дерьма. Мы считали, что настоящий коммунист не должен заботиться о собственной внешности. Заботиться следовало о красоте души. Зеленюшка никогда ни с кем не спорила. До нас ей не было дела. Она улыбалась своим мыслям. Смотрела потупившись. Чистосердечно подсмеивалась над своими разноцветными ленточками и была всем довольна. Уставшая до последней крайности, она все равно отправлялась в бойлерную и приносила в тазике горячую воду. Бережно и тщательно отмывала руки от грязи, чистила ногти. Ежевечерне она мылась за своей москитной сеткой, а я лежала на постели и наблюдала. Мои собственные ногти походили на когти зверя. Зеленюшка с гордостью демонстрировала мне нижнее белье, сшитое из фабричных обрезков и даже украшенное вышивкой: цветы, птицы, листва. На крохотном оконце между нашими постелями она натянула веревку и вешала туда белье после стирки. В убогой голой комнатухе словно открывалась картинная галерея. Зеленюшка смущала мой покой. Смущала покой всего нашего взвода, да и роты тоже. Она притягивала взгляды. На нее невозможно было не смотреть. Все бездельники пялились на эту буржуазную красотку. А я презирала себя, когда чувствовала, что тоже хочу показать миру свою юность. Твердила, что это низменное желание. И было-то мне семнадцать с половиной годков. Характер Зеленюшки меня восхищал. Она упрямо сражалась с нашей страхолюдной одежонкой. Ушила в талии рубаху, как-то так перекроила штаны, что ноги в них выглядели длиннее. Совершенно не стеснялась своего пышного бюста. Когда по вечерам она с прямой спиной и круглящимися грудями тащила ведра с горячей водой и напевала, а за её спиной бархатно синело закатное небо, даже обезьяноподобная госхозовская солдатня не сводила с нее глаз. Она была Венерой наших ночей. Во мне зависть мешалась с обожанием. А в июне она перестала носить лифчик. Как же мне опостылел мой собственный, едва я завидела ее свободно волнующуюся под рубахой грудь!

Дни казались длинными-предлинными, работа бесконечной. С пяти утра мы рубили тунговые деревья. Их черные плоды сыпались за шиворот, набивались в башмаки. Пот заливал глаза, но я даже не удосуживалась отереть соленые едкие капли. Просто времени не было. Наш взвод считался самым проворным в роте. Мы летали стрелой. На поле мы располагались как бы уступом, каждая чуть сбоку и немного впереди соседки. Работали, погрузившись в бескрайнее древесное море. Буквально не разгибая спины. На это попросту не хватало времени. Но не Зеленюшке. Она спокойно позволяла себе распрямиться. Как это нас раздражало!

Мы шипели на нее, бранились. «Позор лентяйке!» — твердили все, пока она вновь не принималась за работу. Правда, так мы поступили бы с каждой. С каждой, но не с Янь. Ведь Янь погонщица, а мы рабочие лошадки. Ей даже не приходилось нас подгонять. И без того у нас мороз по спинам пробегал, когда она прогуливалась по полю, надзирая за нами. Краем глаза я видела только ее ноги и не смела поднять головы. Старалась следить за точностью своих движений. Она останавливалась и наблюдала за тем, как я подрубаю и складываю деревца. Я стремилась, чтобы плоды не осыпались на землю. Потом она шла дальше, а я с облегчением переводила дух.

Однажды кто-то стянул самую красивую Зеленюшкину пару белья с изящной ручной вышивкой. Кражу квалифицировали как идеологическое преступление. Ротный парткомитет созвал собрание. Проводили его в столовой. Четыре сотни человек расселись рядами на узеньких деревянных скамьях. Вопрос об отношении к вору подняла Янь. Вору не было оправдания. Лу яростно возмущалась. Подобные поступки нетерпимы, но и объект кражи позорит нас всех. Партия должна развернуть кампанию против воровства. В случившемся виновато командование роты, а не рядовые бойцы. Поднялась Янь. Она извинилась, признала, что проявила излишнюю мягкость, недосмотрела за настроениями среди своих подчиненных. Она просит у партии прощения. Она раскритиковала Зеленюшку — за тщеславие. Потребовала от той признания вины. Наставительно заметила, что в будущем Зеленюшке не следует вешать свое исподнее на окно.

Как-то Зеленюшка отмывала вечером руки. Она пыталась смыть бурую грязь, вычистить из-под ногтей всякую дрянь. Делала она это с помощью зубной щетки. Я лежала и наблюдала за ее самоотверженным трудом. Зеленюшка сказала, что разочаровалась в Янь. Думала, та более человечна, чем Лу. Лу — собака, а у собаки не жди обнаружить слоновьи бивни. Но Янь-то казалась слоном! Уж у нее-то должны были быть бивни, а не острые, как пила, собачьи клыки! Мне нечего было сказать. Я сама не заметила, когда начала восхищаться Янь. Как-то само собой получилось, что она стала моим кумиром. Кумиром она была и для большинства бойцов нашей роты. В поле, во время коротких передышек, из уст в уста передавались легенды о Янь. От Орхидеи мне было известно, что та в партии с восемнадцати лет. Когда она пять лет назад появилась в госхозе «Красное пламя», здешние земли считались бесплодными. И она повела свой взвод — двадцать красногвардейцев — в битву за плодородие. Среди них была и Орхидея. На строительстве оросительных каналов Янь, водрузив на плечо коромысло с двумя восьмидесятифунтовыми корзинами ила, ухитрялась совершать по двадцать километровых ходок в день. Мышцы на плечах росли, точно опара. Коромысло стирало плечи в кровь. Янь уповала на силу воли. Через год мозоли сделались в палец толщиной. Никто в роте не мог соперничать с ней в поднятии тяжестей. Орхидея рассказывала о Янь, словно о божестве. Однажды я видела, как Янь тащила груз. На плечи ложились и ложились копешки сена — одна за одной, пока, наконец, над ней не вырос целый стог, из-под которого едва виднелись башмаки. Мышцы ее бугрились, как у здоровенного мужика, походка пружинистой мощью напоминала поступь зверя. Ветераны без устали восславляли свою героиню. Несколько лет назад, едва созрел урожай, как случился пожар. Соломенные хижины и неубранный хлеб выгорели дотла, красногвардейцы рыдали. Янь стояла перед строем со спаленными волосами, обожженным лицом, в дымящейся одежде. Она заявила: единственное, что необходимо для восстановления ее мечты, это вера в коммунизм. И новые дома были отстроены в пять месяцев. Тогда-то и возник культ Янь. Она оказалась ближе и понятнее, чем сам Мао.

Глядя, как Зеленюшка соскребает с себя грязь, я представляла Янь со спаленными косами, обожженной кожей на фоне страшного пламени... Она превратилась в героиню моей оперы. Я затянула «Красный женский отряд». Зеленюшка и

остальные принялись подтягивать. Я пела песню о нашей Янь, о настоящей живой героине. Своей песней я хотела приблизиться к ней, даже стать ею. Стать героиней. Зеленюшка восхищала меня как подруга, в Янь я нуждалась как в идоле.

За окном раскачивалась-моталась ива. Ветви колотили в стекло. Ночь была ветреная. А завтра новый изнурительный день. Наваливалась усталость. Я заставляла себя думать о Янь. Она вдохновляла меня, придавала смысл моему существованию. И то, что Зеленюшка в ней разочаровалась, нисколько меня не смущало. Мне требовался вожак, за которым я могла бы тянуться. Ломило спину. Ногти побурели, кожа потрескалась. Но я сосредоточенно думала о Янь. С этой мыслью и провалилась в сон.

Я стала подражать походке Янь. Подражать ее манере говорить, одеваться. Это выходило само собой. Свои длинные косы я остригла покороче — как у Янь. Старалась ухватить почти непосильный мне груз, когда вместе со всем взводом рыла оросительный канал. И стерла коромыслом плечи в кровь. А когда от боли свербило сердце, заставляла себя вспоминать Янь, ее борьбу с болью. Чтобы произвести на нее впечатление, я вылезала с речами на каждом ежевечернем собрании по критике и самокритике. Разоблачала собственные слабости. Правда, все делали то же самое. Мы помогали друг другу разобраться в наших помыслах, дабы искоренить в себе все дурное. Мы верили, что иначе тлетворный дух буржуазности опоганит наши чистые души. Мао внушил нам: этот дух поистине вездесущ, и в любой момент мы можем оказаться в его власти. Поэтому и следует день и ночь, месяц за месяцем, год за годом неустанно твердить о классовой борьбе. Вот мы и обсуждали наши характеры, толковали о путях их совершенствования, о том, как закалить волю. Всепобеждающую волю. Только потом я поняла, какие чудесные это были дни взаимной любви, высоких помыслов, умиротворенности. Я была горячей энтузиасткой подобных собраний. Меня вовсе не расхолаживало отсутствие внимания со стороны Янь. Ведь я была искренней в своих порывах и верила, что завоюю ее доверие.

Я оказалась среди работниц, привлеченных штабом госхоза к занятиям по военной подготовке. Это было признанием моей политической зрелости. Самым серьезным образом мы занимались стрельбой, метанием гранаты и строевой подготовкой. Янь сказала, что не поставит нам зачет, покуда мы не нахлебаемся собственного пота. Нас поднимали среди ночи по приказу. Приходилось вытаскивать подруг из постелей, чтобы успеть в три минуты построиться с оружием и карманными фонариками. Как-то ранней весной нас разбудил ночной сигнал тревоги. Командир взвода вызвал меня через окно, готова я была в одну минуту и вскоре уже стояла в строю. Плотный, насыщенный влагой воздух словно обтекал лицо. Мы двинулись резвым шагом, порой переходя на бег, прямиком через тростниковые заросли. Достигли пшеничного поля, и вдруг прозвучал отданный шепотом приказ: «Заряжай». Я замерла. Впервые приказывалось подготовиться к стрельбе, значит, случилось что-то серьезное. Зарядила винтовку. Потом раздался голос Янь. Она приказала двигаться ползком. Вдруг показалось, что это голос убийцы. Мы поползли прямо по пшеничному полю. Нас было едва видно. Колосья хлестали по лицам, кололи, словно мелкими гвоздиками. Винтовка оттягивала руку. Боец, ползший впереди, остановился и передал назад приказ не двигаться.

Я лежала, сдерживая дыхание и прислушиваясь. Звенела мошкара, сладко пахла пшеница. Комары кусали прямо сквозь одежду. В отдалении послышался неясный звук. Опять тишина. Я подумала, что он мне только почудился. Но через минуту звук повторился. В тишине шептались двое — мужчина и женщина. Донесся тихий сдавленный стон. Меня как громом ударило! Женский голос принадлежал Зеленюшке. Пронзила мысль: нельзя, чтобы ее застукали на месте преступления. Она — моя лучшая подруга, глоток свежего воздуха в нашей душной комнатенке. Ни разу она

не сказала мне ни слова о каком-нибудь мужчине, и это понятно, ведь любовь среди нас почиталась чем-то постыдным. Настоящая девушка, боевой товарищ, всю энергию, всю молодость должна отдать революции. До тридцати лет нечего и помышлять о мужчинах. Потом можно выйти замуж. Что будет, если ее поймают? Рухнет вся ее будущность. От нее отвернутся и общество, и семья. Я двинулась на звук. И тут же чья-то мощная рука прижала меня к земле. Это была Янь. Я попыталась вывернуться, сбросить руку. Но Янь была много сильнее: меня точно скалой завалило. Похоже, она хорошо знала, что сейчас произойдет.

Шепот и тяжелое дыхание стали слышнее. Янь стиснула зубы, замерла. Я почувствовала, как она напряглась. Потом хватка ее ослабла, и вдруг она выкрикнула: «Взять!» Словно рядом бомба разорвалась. Янь направила луч своего фонаря на Зеленюшку и ее друга. В тот же миг зажглись еще тридцать фонариков. И мой тоже. Зеленюшка завизжала. Ночь будто лопнула от визга. На ней была любимая рубаха, расшитая розовыми цветами сливы. Свет мерцал на заголенной плоти. Ее голос терзал душу. Мужчина был худ донельзя, в очках, прямо книжный червь видом. Он подтянул штаны и пустился было наутек, но его тотчас схватили. Лу нацелила свою винтовку в голову беглецу. Он не состоял в нашей роте, но как-то мы столкнулись с ним на рынке. Он улыбнулся Зеленюшке, а та на мой вопрос ответила, что с ним незнакома.

Зеленюшку била дрожь, она плакала. Все тянула рубаху пониже, чтобы прикрыться. Я выключила фонарик. Янь медленно приблизилась к мужчине. Спросила, зачем он сотворил такое с Зеленюшкой. Голос ее дрожал, и — дивное дело! — в глазах стояли слезы. Мужчина сжал губы, молчал. Янь сняла с себя ремень и приказала бойцам высечь преступника. Отвернулась и пошла прочь, но потом, словно вспомнив что-то, остановилась и сказала, что наподдать негодяю нужно так, чтобы он понял: в наше время женщина больше не безответная жертва мужских домогательств. Сняла с себя куртку и бережно укрыла Зеленюшку. Тихо сказала: «Пойдем домой». На мужчину обрушились удары, он изо всех сил сдерживался, чтобы не закричать. Вместе с другими я вернулась в барак. Вдалеке послышались мужские крики и голос Лу, прооравший: «Смерть насильнику!» Зеленюшка всхлипывала не переставая.

Общественный суд состоялся в столовой. Зеленюшку в течение четырех дней «подвергали интенсивному промыванию мозгов». С трибуны — высоким срывающимся голосом — она объявила, что ее изнасиловали. Она дважды роняла бумагу с заявлением. Очкарик был признан виновным. Мне вовек не забыть выражения его лица, когда зачитали смертный приговор. Словно человека разбудили среди ночи — он еще сонный и расслабленный. Только когда Зеленюшка покидала зал, его разбитое, сплошь в иссиня-бурых потеках лицо словно осветилось изнутри. Я сидела у Янь за спиной. Мне был слышен их с Лу разговор. Оказывается, мужчина был отравлен ядом буржуазной идеологии. Янь произнесла это печальным тоном. Счастье, что партия сумела предотвратить распространение яда. Удалось спасти Зеленюшку. Заключительное слово на суде держала Лу. Перевернувшаяся повозка — урок тем, кто движется следом, сказала она.

Всю неделю в ушах у меня стоял вопль Зеленюшки. Хотелось поговорить с ней, но я не решилась.

После приведения приговора в исполнение ни слова не было сказано о казненном, хотя он был у всех на уме. Зеленюшка перестала мыться. Шли месяцы. Она все не мылась. От нее стало попахивать. Однажды я приволокла горячей воды и предложила ей постирать белье. В ответ она схватила ножницы и враз изрезала все свое замечательное исподнее. Она остригла косы, ходила нечесаная. Изо рта сочилась слюна. По вечерам она пела. Потом стало хуже. Она пела не прекращая, ночи напролет. Пела старинные оперы. Одну за другой. Поигрывала краем мос-

китной сетки. Комары залетали внутрь, девицы ярились. Они начали привязывать Зеленюшку к постели. Та только смеялась и пела громче и громче. Однажды ей надавали пощечин и велели заткнуться. Но она пела до рассвета. Как-то пропала вся обувка. Это были проделки Зеленюшки, побросавшей башмаки в пруд за ротным складом. Она просто умом тронулась, но никто не хотел взглянуть правде в глаза. Не могу описать своих чувств. Это я разбила ей жизнь. Мы все убили ее. Мы, помешанные, довели несчастную до помешательства. Соседки донесли на Зеленюшку. Янь отказывалась верить в случившееся. Она велела нам помалкивать. Потом попросила Орхидею, меня и Лу вместе с нею отвезти больную к госхозовскому лекарю. Поехали на тракторе. Мы везли Зеленюшку, словно скотину на убой. Правда, Янь укрыла девушку своей курткой. Заслоняла от встречного ветра, кутала, как младенца. Местный лекарь выслушивал, выстукивал Зеленюшку, но так ничего и не нашел. Сказал, что помочь не может и нужно везти ее домой. Янь рассвирепела. Она грозилась всех больничных зачислить в реакционеры, если не будет внятного диагноза. Врачи оправдывались. Наконец порешили отправить Зеленюшку в шанхайскую клинику. Там признали нервное потрясение.

Через месяц, когда Зеленюшка вернулась из больницы, я не узнала ее. От лекарств она расплылась, стала похожа на медвежонка. Опять поселилась в моей комнате. Теперь она целыми днями молча сидела на постели, вперившись в одну точку. Волосы сбились в колтун. Мне вспомнились времена, когда, вымыв и расчесав свои роскошные косы, она запевала «Мою родину»:

Здесь девушки прекраснее цветов,
Здесь юноши сильны и благородны.
Мы строим вместе наш Китай народный,
У нас любой на подвиги готов.

Свое восемнадцатилетие я отпраздновала под москитной сеткой. Мной владело какое-то странное возбуждение. Словно на дворе стоит изнуряющий летний полдень, когда исходишь потом. И тебя раздражает жара и воздух, кажущийся жирным. Но это не жара, это созревшая плоть мучила меня, тянула жилы. Не давала ни минуты отдыха. Да еще тростник принялся бурно расти под моей постелью. Его острые стрелы пронзали бамбуковый матрас и всю ночь кололи меня. Нужно было что-то делать, или они измучают меня вконец. Пришлось повыдергивать тростник с корнем. Но растения оказались непобедимы. Солестойкие, неприхотливые. Я думала, что покончила с ними, а они, вездесущие, опять тут как тут. Верно, причиной была соль, пропитавшая здешнюю землю. Соль и тростник были заодно, как настоящие трудяги из госхоза «Красное пламя».

Я выбралась из постели и присела на корточки. Повыдирала тростник, переломила надвое каждую стрелку. Залезла обратно под москитную сетку, задернула занавеску, прибила трех комаров. Долго разглядывала оставшиеся после них кровавые пятнышки. Усталость мучила меня не меньше, чем живучий тростник. И еще мое тело, мое собственное тело. Его соль — молодость. Тело и усталость — они заодно. Они вместе рвут меня на части. Схватив маленькое зеркальце, я принялась исследовать свое тело, рассматривала в деталях самые сокровенные его уголки. Прислушивалась к нему. И улавливала, как ему тягостно, как не по себе. Оно жаждало каких-то чужих прикосновений, способных усмирить возбуждение, но напрасно. Оно хотело вырваться из-под власти рассудка. Оно настойчиво толкало меня к мыслям о том, о чем я не желала и думать — о мужчине. Мне вдруг захотелось, чтобы мужчина приласкал меня. И я была отвратительна сама себе. Это был кошмар. Тело изнывало от голода. Я чувствовала себя с ним в полном разладе. Ворочалась с боку на бок, тяготилась одиночеством, маялась от возбуждения. Лежала в постели, словно преступник на дыбе. Руки сами собой шарили по телу, но покой не приходил. И какой-то зверь ворочался там, внутри, зверь желания. День ото дня он рос и рос во мне, заполняя мое существо. Я была беззащитна перед ним. И не находила выхода. Пространство под москитной сеткой преврати-

лось в могилу с отравленным воздухом. Раненая, я стыдилась крикнуть о помощи. Нужно держать себя в узде — ведь в комнате никто никогда не кричал. Неужели мои соседки не переживали похожих мгновений? Бесчинствовали комары. Я наблюдала за ними. Они сбились в складке сетчатой ткани — отяжелевшие, насосавшиеся моей крови. Я примерилась и атаковала. Промах. Комары медленно кружились в воздухе. Я подождала, опять прицелилась — и прихлопнула одного. Он распластался на ладони — липкий от крови. Комариная кровь. Моя кровь. Охота на комаров велась еженощно. Ночная бойня. Кровавые следы на москитной сетке отмечали мои победы. Иногда я играла с долгоногими комарами. Восхищалась их элегантностью. Одному даже позволила усесться мне на колено и укусить меня. Внимательно смотрела, как жальце протыкает кожу, чувствовала укус. Я позволила ему напитаться досыта. Потом крепко сдавила двумя пальцами и следила за появившейся капелькой крови.

Охота на комаров не сулила передышки воспаленным мозгам, которые все равно оставались чужими, мне самой незнакомыми. Прежние мои мозги рождали только безупречные мысли. А этим вдруг вздумалось вспомнить тех непутевых девиц! Мне как главной активистке класса поручили наставить их на путь истинный. Они пользовались дурной славой. Позорили весь женский пол. Руководство надеялось, что мое положительное влияние поможет им выправиться. Впрочем, мне так и не объяснили, в чем прегрешения девиц, я знала только, что зовут их «подстилками» — они чем-то стыдным занимались с мужчинами, и люди высокой морали это осуждают. Они себя не уважали, эти девицы. Еще таких «битой посудой» дразнили и старались держаться от них подальше. Они сами лишили себя будущего. Настоящие обсевки. Начальство хотело, чтобы они увидали новое поколение коммунистов. Ведь партия не отталкивает согрешивших. Партия спасает. Я была представителем партии.

Мне пришлось семь лет провести рядом с ними. Уж я-то знала, как они терзались от стыда. Уж я-то постигла весь ужас их положения. И навсегда поняла, что должна оберечь себя от мужчин. Должна брать пример с образцовых женщин, заслуживших уважение общества. Героини революционных опер не имели ни мужей, ни возлюбленных. И Янь, моя героиня, тоже, кажется, не имеет с мужчинами дела. Чувствует ли она себя изнуренной? А ее тело? В последнее время она заметно посуровела. Перестала произносить речи на собраниях. Замкнутое лицо, сумрачный вид всю неделю. Я видела, как она пыталась заговорить с Зеленюшкой. Та в ответ с отсутствующим видом поигрывала косой или дергала пуговицу на гимнастерке Янь. Или истерически смеялась. Янь приходила в замешательство. Она обнимала Зеленюшку, умоляла выслушать ее. Но, похоже, обращалась не к человеку — к овощу.

Как-то поздним вечером, наточив к завтрашнему дню серп, я вернулась в комнату и плюхнулась на постель. Соседки предавались обычному занятию. С неутомимостью шелкопряда они вязали свитера, сумки, шарфы. И все молчком. Я опустила москитную сетку и задернула занавеску. Уставилась в потолок. Меня снедало одиночество. Чем я отличаюсь от скотины, с которой вместе тружусь в поле? Что ни день я гну спину, сажаю хлопок или пропалываю посадки. Тупею от работы. Деревенеют мозги. Когда тело исходит потом, мысли нейдут в голову. Она пуста до звона в ушах. Разум изъеден солью, иссушен солнцем.

Хлопковые семена прорастали слабыми, нестойкими в окружении крепышей сорняков. Их побеги напоминали крохотных человечков в бурых шляпах. Ранним утром они выглядели молодцами хоть куда, но к полудню жухли под обжигающими лучами солнца, а к вечеру многие окончательно увядали, так и не дождавшись, пока вечерний туман напоит их влагой. Увядшие, они рождали грусть — крохотные существа, согнувшиеся в три погибели и уронившие на землю свои бурые шляпки. Но выжившие тянулись вверх и делались все выше и выше. Борьба

за выживание длилась день за днем. Через неделю шляпки опадали, и головы человечков сами собой раскалывались надвое. Появлялись первые листья. Впрочем, в госхозе «Красное пламя» хлопок никогда толком не вызревал — бешеные сорняки отбирали всю влагу и всю подкормку. Их буйные заросли не пропускали на поля солнечные лучи. В тени сорняков хлопок делался каким-то кривобоким. Цвел прямо-таки сиротским цветом. Унылым видом посадки напоминали нестройную толпу скорбящих вдовиц. Под стать оказывались и плоды: хрупкие коробочки, подверженные любой заразе, давали хлопок самого низкого разбора. Он даже третьим сортом не проходил, в лучшем случае — четвертым. Его отправляли на бумажную фабрику. О хлопковом комбинате и речи идти не могло. Себе самой я казалась одной из таких хлопковых коробочек. Хилым заморышем, навсегда остановившимся в росте. Но я-то жаждала расти.

Я потянулась к Орхидее. Меня томила жажда общения. Орхидея охотно подружилась бы со мной. Она пригласила меня в свой угол. Болтала без умолку о вязании. Рассказала, что уже в четвертый раз вяжет один и тот же свитер. Показала детали выкройки. Объяснила, что, доведя дело до конца, тут же распускает все и начинает вязать снова. Ведь вязание — главное удовольствие в ее жизни. Остальное ей неинтересно. Не отрываясь, она следила за мелькающими спицами. Руки ее двигались с неутомимостью кроличьих челюстей, перемалывающих траву. Я глядела, как мерно сматывается шерсть с клубка, и предложила поговорить о чем-нибудь еще, ну об опере, что ли. Она словно не слышала меня. Продолжала рассуждать о своем, пока руки ее трудились над свитером. Шерсть исчезала в пасти воображаемого кролика час за часом, день за днем, безостановочно. Я заговорила об опере. Потом затянула «Давайте учиться у зеленой сосны с вершины горы Тайшань». Орхидея мирно дремала, привалившись в своем углу. Даже похрапывала. Она прямо-таки толкала меня на смертоубийство. Я представляла, как доживаю свои дни гнусной преступницей, и буквально сходила с ума.

Янь нередко встречалась мне в поле, одна, с кувшином в руках. Однажды в густом тумане я даже решилась проследить за ней. Притаилась в тростниковом море. Она появилась, неся коричневый кувшин. Потом принялась что-то выискивать в зарослях. Она пыталась поймать ядовитую водяную змейку! Наконец ловко ухватила скользкую тварь и опустила в кувшин. Двинулась дальше. Я следом. Меня влек мифический ореол, который издавна окружал ее имя. Я пряталась, вдыхала запах тростника, моря, лягушек, аромат ночи. На следующий день я вновь кралась за ней следом. По нескончаемым зарослям тростника. У меня улучшился сон. Зато мучило любопытство: ради чего это Янь рискует жизнью, ловя ядовитых гадов?

Дождь лил и лил. Нам приказали сидеть по комнатам и ждать, пока развиднеется. Я молила божество погоды продлить дождь сколь возможно дольше. Только это и давало передышку в работе. В дождь я оживала. Случалось, выскочу на улицу и подставлю лицо под дождевые струи, пробую влагу на вкус, руки в благодарности тяну к небу. Вода омывает лицо, стекает по груди, ногам, наполняет башмаки... За окном дождь хлестал по ивовым ветвям. Потом стал стихать, повис тонкими нитями — такой в деревнях зовут «волосяным». Я уставилась в окошко напротив. Там жили начальницы. Среди них Янь. Это окно давно занимало меня. Интересно, что происходит за ним, как живут эти люди. Я хорошо знала их в форме, но каковы они под москитной сеткой? Что переживают по ночам? Не то же ли, что я?

Окно напротив распахнулось. Я юркнула за занавеску. И продолжала оттуда наблюдать. Вот под дождь высунулась рука. Оказывается, Янь тоже чувствует прелесть дождевой влаги. Вот она подняла лицо к небу, глаза закрыты. И так замерла. В этой ее позе было что-то глубоко личное. Какая-то тайная связь с небом.

Чувствует она, хоть иногда, одиночество, душевную смуту? После трагедии с Зеленюшкой мое преклонение перед Янь сильно поумерилось. Я решила, что она не заслуживает былого уважения. По сути она — убийца, впрочем, и я тоже. Но она пошла на это сознательно, и такое не простишь. А я — только исполнитель. Правда, одновременно что-то во мне упрямо сопротивлялось скоропалительному развенчанию кумира. Я чувствовала, что по-прежнему нуждаюсь в героине, которой могла бы поклоняться, которой могла бы подражать. Мне требовались лидер и зеркало для самовоспитания — разом. Иначе я не умела жить, так меня приучили. Орхидее хватало вязания, мне, чтобы выжить, нужен был вожак.

Желание уразуметь характер отрядной героини росло. Точнее сказать, желание уразуметь себя самое, ведь для меня Янь — только символ веры. Мне хотелось постичь, почему она в истории с Зеленюшкой повела себя столь жестоко; мне хотелось сорвать с нее маску партийного секретаря и выяснить, что творится в ее душе. Я жаждала увидеть ее слабой, растерянной. Это превратилось в навязчивую идею. Вдруг она опустила голову, открыла глаза и в упор глянула на меня. И, конечно, успела заметить, что я наблюдаю за ней. Тогда она засунула в рот два пальца и пронзительно свистнула. Янь, наша командирша, обычно свистом выгоняла нас на работу. От этого свиста все мои мысли вмиг улетучились. А она — не кивнув мне головой, не подав знака рукою, слова не произнеся — захлопнула окно.

Дождь перестал. По небу низко тянулись тяжелые темные тучи. Казалось, не ровен час, они обрушатся прямо на наши головы. Прежде чем лечь в постель, я сняла мокрую одежду и повесила сушить. Теперь ее, непросохшую, грязную, приходилось натягивать на себя. Я потащилась в поле.

Мы пересаживали рисовые ростки. Три часа без передышки. Вдруг в канаве у края поля я заметила следы крови. По следам я отыскала Орхидею. Она стояла на коленях прямо в грязной воде, на белье кровавые пятна. Обычное женское нездоровье всегда протекало у нее ужасно тяжело, случалось, она по полмесяца мучилась, истекая кровью. Она рассказывала, что в первый раз даже не поняла, что с ней. А спросить было стыдно. И она сдуру воспользовалась какой-то не вполне чистой тряпицей. Кровь остановила, но и заразу внесла. Я спросила, почему она с матерью или с подругой не посоветовалась. Оказалось, мать сидела в исправительно-трудовом лагере, а подруга знала еще меньше самой Орхидеи. Подруга эта вообще сомневалась, мужчина Мао или женщина.

Я поинтересовалась, почему бы ей не отпроситься на день-другой с работы. Она пыталась, но ей отказали. Начальство отправило ее к Лу, а та сказала, что рисовые посадки должны быть закончены к полуночи, иначе время упустим. Я заявила, что Лу, по моему разумению, типичный кабинетный революционер: от других марксизма требует, а сама — ревизионистка! Орхидея не согласилась, мол, Лу тоже не сладко приходится, но она никогда с работы не отпрашивается, хотя и болит у нее в такие дни по-страшному, слышали, как она стонала в уборной. Возразить было нечего. Я только пообещала, что постараюсь помочь ей, когда свой урок закончу.

Опять припустил дождь — все сильней и сильней. Я торопилась, чтобы успеть Орхидее на подмогу. Руки двигались словно чужие. Остановившись размять спину, я увидала Янь, которая трудилась неподалеку. Ее движения напоминали танец: плавно перекидывала росток из левой руки в правую, ловко устраивала его в размокшей земле, чуть отступала и двигалась дальше. Мокрая одежда плотно облепила тело. Я припустила изо всех сил. Янь заметила это и приняла вызов. Она забавлялась со мной, как кошка с мышкой. То уходила далеко вперед, оставив соперницу за спиной, то медлила, позволяя почти настигнуть себя, то опять в несколько минут опережала меня. Она закончила один ряд и, не поднимая головы, принялась за следующий. Смеркалось. Репродуктор хрипел цитатами из произве-

дений Мао. Изнуренные работой бойцы шатались, словно деревья в ураган. В поле установили два прожектора, чтобы при свете покормить работников свежим хлебом. Бойцы двинулись к корзинам с едой, но в этот момент раздался резкий окрик: «Пока все не сделаете, обеда не будет!» Это Лу всех остановила. И хотя желудки наши готовы были пожрать самих себя, спорить с ней никто не посмел — как-никак зампартсекретаря. Ее боялись. И тут послышался другой голос: «Ну что за глупость! Разве непонятно — человек без пищи что двигатель без бензина?! — Янь жестами отправила всех к хлебной раздаче. — Да побыстрей!» И мы кинулись, словно поросята к корыту.

Орхидея заливалась слезами, когда я пришла ей на помощь. Она сильно отстала. Ели мы на ходу. В десять вечера задание было выполнено. Орхидея плакала и благодарила. Она сказала, что ее мать наложила бы на себя руки, если бы увидела все происходящее в нашем госхозе. В раздражении я велела Орхидее заткнуться. Если может Янь, то и мы можем тоже. А живем так не одни мы — сотни, нет, тысячи юношей и девушек работают в таких же условиях. Орхидея кивала головой. Она отерла слезы рукавом. Мне сделалось стыдно. Просто я не выношу слабости. Пока я волокла ее, собрали собрание.

Один из прожекторов освещал тот участок поля, где мы только что работали. Комары плотным облаком кружили в световом луче. Лу потребовала тишины. В повестке собрания один вопрос — качество сегодняшней работы. Она передала микрофон Янь. Янь с ног до головы была покрыта грязью. Только глаза блестели. Она велела направить луч прожектора туда, где десятки ростков риса плавали в воде. И так — сколько глаз хватал. «Кое-кто славно потрудился», — сказала Янь. Ростки погибнут еще до рассвета. Она хочет, чтобы мы все видели умирающие ростки. А они ведь словно дети.

Все стали нервно оглядывать поле. Послышались голоса: участок, где допущен брак, был отведен нашему четвертому взводу. Мне стало вдруг ясно, что это я натворила, когда бросилась соревноваться с Янь. Лу велела виновным выйти из строя и выслушать общественное порицание. Орхидея, почувствовав мой страх, крепко сжала мне руку. Лу повторила: никто не уйдет, пока виновника не обнаружат. Я собрала все свое мужество, готовая шагнуть вперед, но тут Янь сказала, что предпочитает дать шанс тому, кто допустил промах, самому его исправить.

В лунном свете простерлось влажное поле. Перестало моросить, вокруг ни дуновения. Жужжали насекомые, точно гости в ночном клубе. Слабо пахло мокрой зеленью. Я погрузилась в грязь и принялась переделывать собственную работу. Чувствовала, как отекли ноги. Я распевала цитаты из Мао, стараясь отогнать сон:

Я приучаю свой разум
Смерти вовек не страшиться.
Превозмогая трудности,
Стремлюсь к победе,
Я приучаю свой разум...

Когда я открыла глаза, облака на небе уже окрасились золотом. Но солнце еще не взошло. Я лежала в грязи. Тело разламывалось. Было понятно, что работа не выполнена. От одной этой мысли враз заныла спина. Пиявки облепили мои ноги. Не было сил стряхнуть их, и они пили мою кровь, покуда сами не отваливались, отяжелев. Но увильнуть не удастся — работа должна быть закончена. Мне недостанет мужества превратиться в отверженную. Я боюсь позора.

Я заставила себя сесть. Огляделась и вдруг поняла, что вижу сон. Все было сделано, весь мой ночной урок. Я посмотрела туда, откуда вставало солнце. Кто-то продолжал трудиться в поле. Я узнала Янь, и слезы полились рекой. Ее фигура таяла на фоне солнца. Она сама была солнцем. У меня потеплело на сердце. Я поднялась и направилась к ней. Заслышав шаги, она обернулась. Я стояла и не могла сказать ни слова. Она кивнула мне и наклонилась, чтобы посадить очеред-

ной росток. Потом вымыла руки в канаве. Увидала пиявок на моих ногах и велела стряхнуть их. Сказала, что ночью пришла Орхидея и во всем призналась. Сказала, что ей мой поступок по душе. Потом распустила косы, отряхнула и сполоснула волосы. Причесалась пятерней. По ее словам, когда она нашла меня, я была похожа на гигантскую черепаху. Она решила, что со мной что-то вроде обморока. И еще сказала, что виновата передо мной, ведь я могла застудиться, артрит заполучить. А это был бы промах партии.

Я терла глаза, силясь казаться пободрее. Она поглядела на меня, и по лицу ее промелькнула тень улыбки. Она сказала, что ей нравятся люди с сильной волей. Потом посмотрела на солнце. Сказала, что мне пора становиться командиром четвертого взвода. И переехать в штабную комнату, где мы сможем обсуждать все вопросы с командованием роты. Повернулась и решительно зашагала к баракам.

Я замерла под лучами солнца. Душу мою переполняли надежды.

Состоялся мой переезд в комнату начальства. Мы с Янь делили двухэтажные нары. Я поместилась наверху. Свою москитную сетку Янь украсила куском кумача с бесчисленными значками, на которых были изображения Мао разных лет. Я глаз отвести не могла. На день она поднимала их вместе с сеткой, а на ночь опускала. Комната оказалась примерно того же размера, что и моя предыдущая. Но служила и спальней, и конференц-залом, и временной столовой. И еще она оказалась ареной сражения. Хотя Янь официально была командиром, а Лу ее замом, последняя мечтала о большем. Она хотела занять место Янь. Она прямо помешалась на этой идее. Собирала собрания — без повода, без повестки. Мы не смели ослушаться. На ее собраниях все сидели в полудреме. Ей ведь просто нравилось видеть нашу покорность. Власть была для Лу как наркотик. Только на собраниях она сполна эту власть ощущала: осуждала, грозила, ставила на вид. Наслаждалась нашим страхом. За всякой оплошностью следовал выговор. Она выжидала, выискивала, вынюхивала — только бы поймать кого на ошибке и раздуть дело. Даже Янь пыталась подловить. Подвернись удобный случай, и ее бы, не задумываясь, в пропасть спихнула.

Звали нашу комвзвода Ледышка Лу. Ее отец погиб за революцию. Его убили националисты на Тайване, когда он выполнял там секретное задание. Мать не снесла потери и умерла через три дня после родов. Стояла ужасная зима. Ветер бритвой сек лицо. Перед смертью она успела назвать ребенка Ледышкой. Ледышка росла, окруженная неусыпной заботой партии, в специальном приюте, организованном вождями. Как и Янь, она стояла у истоков движения хунвэйбинов. Она отправилась в паломничество в Хунань, на родину Мао, питалась листьями с того же дерева, что и Мао за тридцать лет до того, когда его армия была разбита националистами.

Лу показала мне череп, отрытый ею во дворе дома в Хунани. Она уверяла, будто это череп бойца Красной Армии, павшего за революцию. Показала дыру в лобной кости, говорила, что это — пулевое отверстие. Она поглаживала череп, ощупывала глазницы. В такие минуты по ее лицу блуждало странное выражение, от которого у слушателей замирало дыхание. Оказывается, одна старуха тайно сожгла тела погибших. Двадцать лет спустя череп обнаружили в том самом месте: старуха откопала его и отдала Лу, когда узнала, что ее отец тоже пал в битве за революцию. Лу часто казалось, что это и впрямь череп ее отца. Уставившись на череп, я силилась понять, в чем его привлекательность. Грозный символ? Воплощение смертного холода?

Взгляд Лу словно бы подтверждал ее имя: это был ледяной взгляд. В ней вообще не ощущалось тепла. Говорила она медленно, отчетливо произнося каждый звук. Вытянутое лицо, формой схожее с земляным орехом. Любая фраза тверда и звучит с непререкаемостью приговора. Глаза холодны, как на портретах старинных красавиц. Но здесь красоту портило выражение ледяной вежливости, не схо-

дившее с лица. Во взгляде никогда не прочтешь сочувствия. Мы уважали ее, как мыши уважают кошку. Она предпочитала действовать. Ей были неведомы колебания. Бросок и захват — другого она не знала. Или, как любила сама говорить, «цель на мушку — и огонь». Мне это было не по душе. В Лу чувствовалась жесткая заданность, какая-то мертвечина.

Она наблюдала за мной. С холодным вниманием. Словно подозревала в чем-то. Даже в улыбке Лу виделось мне нечто настораживающее. Она дала мне конспекты своих занятий по маоизму. Ее почерк отличался удивительной размашистостью. Мне бы тоже хотелось так писать. Но содержание! Прямо не человеческий разум, а пропагандистская машина. Даже без собственного движка. Когда она поинтересовалась моим мнением о конспектах, я не стала лицемерить. Правда, насчет пропагандистской машины умолчала, зато про движок ляпнула. Лу понравилась моя честность. Ведь ей, призналась она, обычно лгут. Впору коллекцию лицемерных слов собирать. Но она ненавидит лицемерие. А у нас — страна лицемеров. Пролезли они и в партию. Свою обязанность она видела в борьбе с лицемерами. И в выправлении всевозможных уклонов. Такова ее жизненная задача. Она позвала меня бороться вместе. Мне не вполне были ясны цели Лу, но я с готовностью согласилась. Ведь лицемерие и в самом деле вредная штука. «А как насчет лицемеров здесь, в нашей комнате?» — вдруг поинтересовалась Лу.

В эту минуту вернулись с обеда наши соседки. Они пели, обменивались шутками. Вспоминали со смехом, как отчитали слабаков, которые попытались отказаться жить в деревне до конца своих дней. Но, уловив последние слова Ледышки, как по команде умолкли и, словно гигантские рыбины, одна за другой занырнули под свои москитные сетки. Послышалось дружное чмоканье, будто вампиры разом впились в тела своих жертв. Лу продолжала говорить. Это напоминало театральное представление. Как дочь павшего за революцию она, мол, не в силах забыть всех, проливавших кровь, жизнь отдавших за победу народного дела. Она не обманет их ожиданий. Она надеется, что боевые подруги пристально наблюдают за ее поступками. И с радостью примет любую критику. Ведь партия ей как мать, а товарищи по оружию — ее семья. Она тщилась стать похожей на оперную героиню, но я никогда так и не уловила ни малейшего сходства.

Я с трудом представляла, как Ледышка спит нос к носу с почтенным черепом. Из-за такого соседства меня стали преследовать ночные кошмары. Но перечить я и думать не смела. Инстинкт подсказывал, что для Лу человек, боящийся черепа борца за революцию, ноль без палочки.

Лу следила за всеми, а свои наблюдения заносила в красный блокнот. Ежемесячно она докладывала в штабе. Она утверждала, будто пристрастие к политике у нее наследственное. Однажды с гордостью поведала, что ее приемные родители — партийные комиссары в армии, братья и сестры — тоже партсекретари, кто в университете, кто на заводе. Они удостоены права лечиться в спецклиниках, а живут рядом с членами правительства. Именно Ледышка придумала позорный колпак. На каждом собрании она водружала его на голову очередной жертвы. Тут она была в своей тарелке. Цитаты из «Женьминь жибао» и «Хунци» так и хлестали водопадом. Я жила с ней рядом, точно овца в одной овчарне с волком. Раз она заявила, что зеркало — символ буржуазного эгоизма. И я не посмела спорить. Только стала прятать зеркало под подушку. Лу легко могла зачислить меня в реакционеры, стоило ей только захотеть. Многие уже пострадали от нее. Таких она отправляла на совершенно безумные работы: гору передвинуть, чтобы рис на том месте посадить, или подземный канал прорыть. Проще сказать, она их на верную смерть посылала, а те, кто чудом выживал, делались похожими на нашу Зеленюшку. Расплата ждала каждого, кто чем-то досадил Ледышке. Даже клопа. Вот потому я так ее и боялась.

Но, как ни странно, Лу хотелось и хорошее впечатление на бойцов произве-

сти. Она стирала нашу одежду, точила серпы и мотыги. По ночам обходила комнаты, подтыкала одеяла, следила, чтобы кто-нибудь часом не раскрылся и не подхватил простуду. Тайком отсылала свою зарплату больным родителям своих бойцов. И делала это часто. Правда, когда мы принимались ее хвалить, любила заметить, что поступает так именем партии, ей самой это как стирка грязных пеленок — ни удовольствия, ни радости. На такие фразы она была мастерица. Но мы дружно возражали, что хвалим ее личную доброту и заботливость. Так оно и было. Свои похвалы мы не забывали включать в ежемесячный отчет для штаба. Ледышке именно этого и хотелось. Уж мы-то знали.

Везде, где только можно, она цеплялась к Янь. Утверждала, что та слишком мягко проводит промывание мозгов, расточительна в расходовании ротных средств, не свирепствует на семинарах по маоизму. Янь отбивалась яростно, но она была слаба в словесных баталиях. Ледышка ее явно побивала. Янь, чувствуя неубедительность своих бессвязных речей, быстро переходила на откровенную брань: «свиная задница», «слизняк», «гнилушка» — все шло в дело. Ледышке доставляло истинное наслаждение видеть, как Янь сама себя ставит в неловкое положение. Она загоняла ее в угол и буквально исхлестывала словами. Не давала ни секунды передышки. Пусть вся рота видит грубость, вульгарность своей командирши, умеющей только непечатно браниться. Потом Лу с напускным спокойствием спрашивала, почему бы им не вынести свои разногласия на суд госхозовского начальства? А ведь твердо знала, что Янь на это не пойдет — слишком она дорожила репутацией командира «крепкой единством своих рядов партячейки».

Лу знала, что я — страстная поклонница оперы. Раньше она иногда просила меня спеть в минуту отдыха. Будто бы мое пение ей душу умягчает. Я запевала погромче, потом мой взвод подхватывал мелодию. Ледышка наслаждалась. Вернее, мы обе наслаждались. Но все переменилось после трагедии с Зеленюшкой. Больше я не могла петь. Когда Лу просила, я просто не в силах была привести себя в соответствующее настроение. Во мне, помимо моей воли, звучал голос Зеленюшки, звучала ее любимая «Родина». И взгляд сам собой обращался к несчастной, которая неприкаянной тенью бродила между бараком и полем. Подруги по очереди приглядывали за ней, мы пытались скрыть ее болезнь от семьи. Ухитрились подделать Зеленюшкин почерк и отправить весточку бабке. Но фокус не удался. Старуха обратилась в парткомитет с требованием сообщить правду. Она сама находилась в политизоляторе как враг, а то явилась бы к нам в госхоз проведать внучку. Янь ответила бабке. Мне пришлось прочитать письмо, чтобы выправить грамматику и стиль. Писать о таком никому не пожелаешь. Янь попыталась каким-то образом объяснить случившееся, я видела, как она буквально продиралась сквозь слова, но безуспешно. Ничего объяснить не удалось. Янь не смогла. Она не решилась написать, что мы все — убийцы. Просто сообщила, что Зеленюшка тяжело заболела. Что у нее на время помутился разум, но сейчас она окружена вниманием и заботой. Госхоз занимается лечением, подыскивает новые препараты. Довольно тухлое получилось письмо. Кроме чувства вины в нем и не было ничего. Хотя Янь и пыталась уверить старуху, что случай с ее внучкой только досадная частность. Ведь сотни юношей и девушек по призыву партии благополучно трудятся в сельском хозяйстве, именно в этом — «большая правда» нашей жизни. Завершалось письмо цитатой из Мао: «Самоотверженный труд на благо родины требует определенных жертв».

Янь с письмом намучилась. Вся в чернилах перепачкалась, даже на губах ловели чернильные пятна. Я перебелила письмо. Янь сходила в правление, чтобы налепить марку и отправить послание. Ночью она вдруг прошептала, что после смерти демоны в аду растерзают ее на куски, теперь она это твердо знает.

Лу объявила меня «лучшей из молодняка». Мои достоинства будто бы давали мне право стать «опорой государства». Ее манера говорить лозунгами дейст-

вовала мне на нервы. Раздражала. В речах Лу отсутствовала глубина, они были удивительно поверхностными. Ей хотелось первенствовать во всем. Множество раз она на собраниях демонстрировала политическую и идеологическую подкованность, изнуряя всех бесконечными экскурсами в историю партии. Как она желала нравиться! И не уставала напоминать Янь, что у той нет качеств, необходимых настоящему вожаку. Ей удавалось смутить соперницу. Я видела, как Янь выходила из себя. Сидела в углу, нервно потирая руки. Растерянная. Мне бывало жаль ее. За эту растерянность я любила Янь еще сильнее.

Ни штабное начальство, ни рядовые бойцы не приветствовали претензий Ледышки на лидерство. Шло время, а она так и оставалась при своей должности. Но характер у нее был настырный. Она все чаще задирала Янь, стремясь обнаружить перед строем несостоятельность нашего командира в самых разных вопросах. Янь злилась. Готова была съесть Лу живьем. Полмесяца я старалась понять, что за слово бормочет Янь, когда ее уж совсем припечет. Оказалось, она называет Лу «бандершей». Однажды Лу вознамерилась созвать собрание, чтобы «заострить» некоторые вопросы, а Янь заявила, что в первую очередь хорошо бы мотыги заострить. «Есть риск покрушиться, если только о телеге заботиться, а на дорогу не смотреть», — заметила Ледышка. «Значит, покрушимся!» — отрезала Янь. Лу не сдавалась: «Приготовив постель, глупо не лечь спать!» Янь совсем разъярилась и крикнула невпопад: «Черт бы тебя побрал, придется мне, видно, собственные зубы острить!»

Часто мне казалось, что у Ледышки третий глаз появляется, когда она за мной наблюдает. Однажды она предложила мне присоединиться к особой бригаде активистов. Я не сказала в ответ, что мне это ни к чему, но и должной заинтересованности не проявила. Ледышка была ужасно разочарована. Я утешила ее, заверив, что сделаю все, чтобы держаться к этой бригаде поближе. Пообещала брать у нее конспекты по маоизму. Но она ответила, что понимает причины моего нежелания быть с ней заодно. Сказала, что от жизни в чужой тени, по ее мнению, мало проку. Сказала, что предпочитает сразу избавляться от гвоздя в башмаке. Сказала, что у любого, кто раздражает ее политический нюх, нет политического будущего.

А мне просто не хотелось из своего взвода дезертировать, вот я и решила проигнорировать Ледышкины предостережения. Что-то подсказывало: следует держаться поближе к Янь. Уж коли играть в этой дурацкой пьесе, нужно выбирать меньшее из двух зол. Я никогда не ощущала горячего желания состоять в трудармии госхоза «Красное пламя» — это была рабская принудиловка. Пожалуй, одна Янь придавала какой-то смысл моему тамошнему существованию. Казалось, с ней мы хоть чего-нибудь добьемся. Конечно, нынче понятно, что надеялась я зря, но тогда я так думала.

Чтобы заслужить одобрение Янь, я вместе со своим взводом бралась за самую трудную работу: мы рыли каналы, выстаивали ночную смену, разбрасывали навоз. Своим подчиненным я говорила, что хочу сделать взвод известным в роте, чтобы облегчить им вступление в комсомол. И они мне верили. Даже Орхидея почти забросила вязание. В конце года взвод был назван передовым и удостоился упоминания на общем собрании работников госхоза. Во время торжественной церемонии Янь поднялась на сцену, чтобы поздравить меня. Она крепко пожала мне руку своей морковно-красной пятерней, широко улыбнулась и шепнула, что ждет не дождется, когда я стану партийной. Сказала, что я просто обязана вступить в партию. Сказала, что нужно постараться вступить к весне. Я страшно разволновалась. Не могла ни слова сказать в ответ. Только трясла и трясла ее руку. И долго еще вечерами, перед сном, прокручивала в голове всю церемонию. Вспоминала улыбку Янь и уже твердо знала, что эта улыбка мне необыкновенно нравится.

Когда напряжение летних полевых работ пошло на убыль, у бойцов появилось в послеобеденную пору чуть больше свободного времени. Но в сердце возникла какая-то пустота. Очень уж мне недоставало прежней Зеленюшки. Я причесывала ее, стирала за ней, но хотя она и выглядела теперь почти как раньше — снова сделалась стройной и тонкой, словно ива, —разум, видимо, покинул несчастную навсегда. Она оставалась безразличной ко всему. Но продолжала носить белье с цветами сливы, которое было на ней в ту ночь. Оно сильно поистрепалось, появились прорехи. Белье пробуждало во мне мучительные воспоминания: я поднимаю винтовку и целюсь в бедную Зеленюшку. Такое не забыть! Не знаю, как удавалось остальным нести в себе это чувство чудовищной вины (если у них, конечно, такое чувство вообще было). Об этом никто никогда не говорил. В роте предпочитали делать вид, что ничего не произошло. Зеленюшку определили на легкую работу, выдавали талоны на сахар и мясо. Только Янь вела себя с Зеленюшкой как-то странно. Вдруг хватала ее за плечи и пристально вглядывалась в глаза, с пристрастием наблюдала за ней, старалась заговаривать, хотя остальные давно уже и пытаться перестали.

Зеленюшка начала вытворять опасные штуки. Однажды я увидала, как она глотает камушки. Орхидея застала ее за поеданием червяков. Пришлось доложить Янь. После этого я часто видела, что Янь неотступно следует за Зеленюшкой, особенно по вечерам. Они походили на две утлые шлюпки, дрейфующие без руля в туманном море. Сама Янь продолжала отлавливать ядовитых змей. А я все следила за ней. Ее таинственность и мое любопытство создавали как бы своеобразный контрапункт моей внутренней жизни.

Я разлюбила забираться в свой угол под москитную сетку. Вообще старалась избегать собственной постели, а шаталась по тропинкам среди тростника. Часто, когда день угасал, я забредала на госхозовский кирпичный заводик. Тысячи готовых кирпичей в штабелях загромождали двор. Порой ряды кирпичей образовывали ровные прямые улицы, кое-где они скособочились, расползлись, готовые рассыпаться, а другие, уже рухнувшие, являли собой просто груды обломков. В этом кирпичном безмолвии звучало только эхо моих шагов, а само место напоминало древние руины.

Но однажды среди кирпичных завалов послышался какой-то посторонний звук, похоже, кто-то играл на двухструнке-эрху. Я прислушалась. Без труда узнавалась мелодия «Лян и Чжу» из старой запрещенной оперы. Бывало, ее мурлыкала моя бабушка. Лян и Чжу — влюбленная пара, совершившая в баснословные времена самоубийство из-за невозможности соединиться друг с другом. Музыка рассказывала, как превратившиеся после смерти в бабочек влюбленные вновь встречаются по весне. Было удивительно, что здесь, в госхозе, кто-то способен сыграть это с таким мастерством.

Я двинулась на звук. Музыка стихла. Послышались шаги. За соседним рядом кирпичей скользнула чья-то тень. Я шагнула вперед и на кирпичном уступе увидала двухструнку. Поглядела по сторонам. Никого. Только ветер посвистывал в ночи. Я нагнулась было, чтобы взять инструмент, когда кто-то сзади закрыл мне ладонями глаза. Я попыталась высвободиться. Пальцы сжались плотнее. В руках чувствовалась сила. «Кто это?» — спросила я, но не получила ответа. Тогда я завела руки за спину и пощекотала невидимку. Послышался сдерживаемый смех, кто-то жарко дохнул мне в шею, и тут я поняла: «Янь?!»

Она стояла передо мной и улыбалась. В руках двухструнка. «Ты? Ты играешь на эрху?» Я вглядывалась в нее. Она кивнула, но молча. Меня охватила радость, хотя я все еще не могла соединить в голове образ нашей начальницы с игрой на каком-либо музыкальном инструменте. Радость от долгожданной встречи, радость от того, что кончилось изнурительное одиночество. Почему-то мне представилось, как розовые лепестки кружатся в воздухе и ложатся на землю снеговым покро-

вом; дальние холмы слились с небом, укрытые чистейшей пеленой.

Она усадила меня рядом с собой, продолжая молча улыбаться. Мне хотелось сказать ей, как неожиданно для меня все это, как здорово она играет, но было страшно нарушить молчание. Янь взяла инструмент, склонила голову, прикрыла глаза и тронула струны. Потом глубоко вздохнула и заиграла мелодию «Река».

Музыка менялась, и менялись картины, встававшие перед моим мысленным взором. Многоводный поток с шумом несется через горы; вот ветер взбаламутил водную гладь, вот облака отразились в речном зеркале; вот река забурлила на порогах, а следом обрушилась вниз водопадом; а вот, стиснутая скалами, она мчит прямо в океан. Меня захватило мастерство Янь, как ее захватила музыка. Я почувствовала подлинную сущность своей начальницы — честность, благородство. В этом странном месте мне открылась неведомая доселе душа, и душа Янь поразила меня и обрадовала — нежданностью встречи.

Пальцы пробежали по струнам, и тотчас — словно капли дождя застучали по листьям банана. Потом руки замерли, Янь перевела дух. Пальцы спокойно лежали на инструменте. Она опустила смычок. Невысказанная печаль как бы растворилась в воздухе. Опять низко пропела струна, рождая тоскливые звуки. И — удар смычка, будто всплеск ярости. И тишина. Она подняла голову, глаза все еще полуприкрыты. А передо мной проплывали разрозненные детали странной картины: то я видела партсекретаря, то героиню моей мечты, то убийцу, а то просто юную девушку, играющую на двухструнке-эрху... Она сыграла «Кони скачут», «Вернулся брат-красноармеец» и закончила опять мелодией «Лян и Чжу».

Мы разговорились. Мы еще никогда так не говорили друг с другом. Каждая рассказала историю собственной жизни. В приступе откровенности, торопясь распахнуть душу, мы перебивали одна другую.

Янь происходила из семьи рабочих-текстильщиков. Ее матери за девятерых детей присвоили в 50-е звание «Мать-героиня». Янь была восьмым ребенком. Семья ютилась в одной комнатушке деревянного дома в шанхайском районе «Долгий мир», на одной лестничной площадке с двадцатью другими семействами. Уборную заменял ночной горшок. В обязанности Янь входил ежеутренний вынос ночного сосуда и его мытье. Когда я сказала, что у нас был собственный сортир, правда на три семьи, то есть на четырнадцать человек, она заметила, что прекрасно представляет себе царившее там по утрам оживление. И мы рассмеялись.

Я спросила, где она выучилась музицировать. Родители обожали народную музыку, объяснила Янь. В семье существовала традиция: каждый играл на каком-нибудь инструменте. Как самой слабенькой ей досталась двухструнка — легчайшая по весу. Экономя на всем, родители насобирали денег и подарили дочери эрху на день рождения — ей десять лет сравнялось. Нашли и старичка учителя, который каждые субботу и воскресенье за обед должен был обучать ребенка музыке. В семье надеялись, что девочка когда-нибудь станет музыкальной знаменитостью.

В 1966-м, когда началась Культурная революция, Янь исполнилось пятнадцать. Она вступила в ряды хунвэйбинов и приняла участие в знаменитом марше, когда тысячи молодых революционеров со всей страны отправились в Пекин, где на площади Тяньаньмэнь Мао устроил смотр охранным отрядам. Как самая молодая среди хунвэйбинов, Янь была приглашена в зал Всекитайского собрания народных представителей на прослушивание новой оперы, только что сочиненной супругой Председателя. Ее привели в восхищение широченные ремни, которыми подпоясывались участники постановки. Она продала лучший значок из своей маоцзэдуновской коллекции и купила себе такой же ремень. Мне она его показала: настоящая кожа, пряжка медная. «Такие ремни придумала товарищ Цзян Цин, моя героиня», — сказала Янь. Потом она спросила, читала ли я труды Мао? «Конечно, все», — ответила я. «Здорово! — обрадовалась Янь. — Я тоже все прочла, выучила весь цитатник, все песни!»

Я рассказала ей, что состою в хунвэйбинах с начальной школы. И хотя мой опыт не столь богат и славен, но знанием цитат меня не удивишь. Она засмеялась и попросила проверить ее. Я запела: «Верным путем с партией идем...» — «Страница семь, второй параграф», — отчеканила Янь. «Без метлы и мусор никуда не денется...» — «Страница десять, параграф первый!» — «Мы пришли из деревень...» — «Страница сто сорок шесть, третий параграф!» — «Мир принадлежит вам...» — «Страница двести шестьдесят три, первый параграф!» — «Учись на работах Мао быть умелым во всем. Используй его ученье постоянно и ночью, и днем...» Янь начала подпевать: «Так бамбуковый шест в солнечный день непременно отбросит тень...» — «Откуда это?» — спросила я. «Из предисловия зампредседателя Линь Бяо к «Цитатнику» Мао, второе издание!» — выкрикнула она в ответ, и мы залились счастливым смехом.

Мы болтали без умолку, пока не подошли к бараку. Остановились в темноте, переполненные радостью. «Будь осторожна», — шепнула Янь. Я понимающе кивнула: следовало избегать Ледышкиных глаз. В нашу комнату мы вернулись поврозь. В ту ночь я не сомкнула глаз. И комната, и москитная сетка вдруг сразу переменились. И пусть в комнате Янь даже не заговаривала со мной, но сюда вернулся воздух, вернулась жизнь. Словно весна настала. Постель Янь располагалась прямо подо мной. Мне стольким хотелось поделиться с новой подругой! Но я не смела даже рта раскрыть — по соседству находилась Ледышка. Нас ведь было восемь в одной комнате. Я слышала, как Янь металась во сне. Не разбудила бы она Ледышку. Вот уж кого наша дружба вряд ли обрадует. Хотя когда-то я и с ней, с Ледышкой, подружиться хотела. Только той, видно, ничего, кроме черепа, не нужно. А поначалу она была мне симпатична. С чего это я задумалась о Ледышке? Из-за Янь? Ледышка старше на два года, ей уже двадцать пять. Но мечта одна — хочет наши жизни держать под контролем. Даже молодости своей не жалеет. Лицо уже все в морщинах. Похоже, и в тридцать, и в сорок лет она все так же собирается жить в госхозе «Красное пламя». Говорит, что ей нравится крестьянская жизнь, что она ее ни на что не променяет. Мне, честно говоря, было малопонятно, как кому-то может нравиться в этом треклятом госхозе... Где ничего не растет — разве что «сорняки да тростники». Словом, полный мрак. Преисподняя. Думаю, она попросту лгала. Может быть, сама об этом не подозревая. Чувствовала она что-нибудь? Догадывалась ли о нас с Янь? Вообще-то должна бы.

И молодость, и здоровье — все при ней. Но кто отважится полюбить такую, до судорог жаждущую власти? А замуж? Забавно думать о Лу как о чьей-то жене. Здесь, в госхозе, она всех парней застращала. Они ей безропотно подчиняются, признают ее превосходство. Прямо сникают перед ней. Стараются исчезнуть, чуть она появляется. Она для них что официальный портрет: дежурное восхищение — пожалуйста, а на самом деле — картинка в рамке, да и только. Мне чудилось одиночество в глазах Лу. Я замечала, как смотрит она в поля дождливым днем. Словно от жажды умирает.

Ложилась она поздно. Устроившись на стуле, читала и читала труды Мао. Это был ежевечерний ритуал. Норма — десять страниц. Лу засыпала последней, зато раньше всех оказывалась на ногах. Мыла комнату, коридор. Уверяла, что ей нравится помогать людям. Если ее хвалили, всегда подыскивала цитату из Мао, чтобы убедить всех: «Поступаю так, как учит Председатель». Любила повторять, что оказать несколько услуг ближнему — труд невеликий, а вот всю душу без остатка отдать народу — это да.

Я ее побаивалась. В Ледышкиной жесткости угадывалась всепоглощающая жажда власти. Я старалась держаться с ней повнимательнее, с должной почтительностью. В разговорах мы словно прощупывали друг друга. Она пыталась выведать мои сокровенные помыслы. Но ни одна из нас не могла подчинить себе дру-

гую. Моя неуступчивость ее раздражала. Наше с Янь сближение она уловила мгновенно, как собака — «верхним чутьем». Однажды после работы заявила, что знает, почему я трепещу, точно воришка. Я сделала удивленные глаза. Она улыбнулась и покачала головой. Потом велела мне отправиться на дежурство и произвести проверку личного имущества бойцов отряда — комната за комнатой. И пошла вместе со мной. Во время обыска следовало обнаруживать и изымать все, что запрещалось иметь бойцам. Уже после дежурства, когда мы возвращались к себе, она вдруг спросила: «А помнишь, что ты говорила во сне минувшей ночью?» Я будто на стену налетела. От нее не укрылось мое замешательство. Но я бросилась возражать, мол, кто же помнит, что он во сне говорил? Спишь себе и спишь. «Но я-то слышала, я-то знаю, — повторила она с гаденькой ухмылкой. — Все слышала». У меня аж мурашки по спине побежали.

Ледышка открыла дверь в нашу комнату, пропустила меня вперед, вошла следом и притворила дверь. «Расскажи-ка, что у тебя на уме?» — потребовала она, воззрившись на меня, как паук на муху, попавшуюся в паутину. Я отбивалась. Сказала, что мне нужно идти постирать одежду — неделя как в грязном хожу. Что очень спешу — надо на ротное собрание поспеть. Она оглядела меня всю, грязную, с босыми ногами. «Думала, ты искренний человек». — «А я такая и есть». — «Только не со мной. В тебе какое-то изощренное лукавство появилось, ты теряешь ту чистоту, которую я в тебе еще в Шанхае углядела. Помнишь, о чем я тогда говорила, как просила тебя сохранить в себе все лучшее?» Мне оставалось только пробормотать, что обо всем помню, что сохраняю и буду сохранять все лучшее, но сейчас, как ни жаль, должна приниматься за стирку. Она отступила, давая мне пройти. «Не притворяйся, что не поняла. Если ты и в самом деле намереваешься в партию вступать, то лучше бы тебе со мной в прятки не играть».

За постирушкой я думала о том, с какой легкостью Лу может уничтожить меня, написав лживый донос или присочинив что-нибудь двусмысленное, сомнительное в мое личное дело, к которому имеют доступ только партийные начальники. Это «что-нибудь» способно похоронить любого заживо, ведь в личном деле уже никогда и ничего не изменишь, ни слова. Даже после того, как человек умер. И только личное дело определяет с непреложностью, кто я есть и кем ста́ну. Только с личным делом считается партия.

Как секретарь партячейки Янь тоже могла бы проделывать подобные фокусы, но она этого не любила. Она верила в справедливость, и неважно, что в своей справедливости была так несправедлива ко мне. Она не давала во́лю своим личным пристрастиям — этого требовал от партийцев сам Мао. Даже с Лу она старалась не нарушать этого принципа, хотя порой ей очень того хотелось. Она никогда не пересаливала в своих отчетах штабу. Меня это тронуло, я ведь все их читала, когда переписывала набело. Она мне сразу сделалась ближе. Такой объективности, на мой взгляд, как раз недоставало Лу. Лу часто и совершенно добровольно работала в поле дольше других. Но Ледышка никогда не простила бы того, кто наступил ей на мозоль, возразив ли на собрании или ослушавшись ее приказа. «Передавлю, как клопов, если посмеете меня дурачить! — бросала она нам в лицо. — Ничего нет приятнее, чем врезать вражине стальным кулаком пролетарской диктатуры!»

Лу привела из штаба собаку по кличке 409-й, немецкую овчарку, которая прошла курс служебной дрессуры. У нас она должна была стеречь борова, прозванного Хитрованом. Эта громадина весом в центнер всех замучила. Хитрющая тварь! Настоящего корма для свиней у нас не хватало, поэтому к нему добавляли необмолоченное зерно. И вот однажды обнаружилось, что несколько упаковок хорошего корма исчезли, верно, их сожрала одна из свиней, но никто не знал какая. Два дня спустя — новая кража. Правда, в этот раз скотник заметил, что сви-

ньи с жадностью поедают навоз, щедро производимый Хитрованом. Тут его и заподозрили в воровстве, а потом изловили на месте кражи. Главной странностью Хитрована было поразительное сходство с собакой — и внешнее, и по повадке. Он легко перепрыгивал изгородь свинарника, а наевшись вдоволь, как ни в чем не бывало возвращался и даже не думал отказываться при этом от регулярной кормежки. Он был значительно крупнее своих собратьев.

Лу прямо влюбилась в 409-го. Она тратила все сбережения на еду для пса. Воспитывала его, подкармливала. И 409-й тоже к ней привязался. Каждый вечер они гуляли по берегу моря. Лу светилась от радости, такого с ней прежде не случалось. Пес признавал только хозяйку, никого больше. Ее прямо распирало от гордости. Она даже поощряла его недоверие к чужим. Частенько цитировала 409-му подходящие к случаю слова Мао. Так, приказав псу сесть у ноги, она говорила: «Выяснить, кто тебе друг, кто враг, — разве это не самое главное?» Пес утвердительно лаял в ответ и тотчас получал лакомство. Тогда Лу продолжала: «Выяснить, кто друг человека, — разве это не главнейший вопрос для революционера?» И опять пес лаял, и опять получал награду.

Стоя на задних лапах, он оказывался одного роста с Лу. Часто они так и ходили: пес передвигался, водрузив передние лапы на плечи девушке. Однажды, когда Лу уехала на собрание в штаб, 409-й поднял жалобный, какой-то бабий, вой. К вечеру он принялся биться об стену. Пришлось запереть его в свинарник, но он проломил ворота. До возвращения Лу пес был безутешен. Когда она поняла, что 409-й не может жить без нее, то разрыдалась от счастья.

К тому же 409-й оказался престранным сторожем. Солдаты уверяли, что в прошлой жизни он был каким-то образом связан с Хитрованом — с первого взгляда они стали друзьями. Глянули друг на друга, пообнюхивались — и водой не разольешь. Собачья ли морда Хитрована тому причиной, но они сиживали рядком, точно братья, возились, играя, в свинарнике и... воровали. 409-й нет чтобы остановить Хитрована, он прямым пособником вора выступил: прогрызал мешки, чтобы боров мог побыстрее зерно схрумкать. Когда его стали стыдить, он сделал невинную морду, словно бы говоря: «Стерег ваше зерно изо всех сил, да вот не уберег».

Янь 409-го невзлюбила. Называла его предателем. Предложила Лу вернуть пса в штаб. Та неохотно согласилась. Словно почувствовав, как горюет хозяйка, 409-й бросился к ней и облизал все лицо. Лу стала упрашивать, чтобы Янь позволила собаке остаться. Она показывала собачий паспорт, где отмечены были успехи 409-го в дрессировке, говорила, что ей хватит двух недель, чтобы научить пса стеречь Хитрована, что 409-й еще себя покажет. Янь заметила: очень уж быстро убывает зерно, таких потерь ферма не вынесет, свиньи начнут голодать. Лу перешла в ночную смену, чтобы следить за ворами, но 409-й по-прежнему покрывал дружка. Как ни билась с ним Лу, все напрасно. Делать нечего, и Янь приказала отправить пса в штаб. Но как раз в тот день, когда это должно было случиться, Хитрована опять поймали на воровстве. Лу заявила, что изгнание пса не остановит разбойника, его надо попросту заколоть. И она добилась своего. Свинины хватило на всех. 409-й полакомился костями, а потом отправился на поиски друга. Он долго обнюхивал его загон, бродил в опилках, пока Лу не кликнула его. Теперь она была счастлива: гладила пса, расчесывала, он забирал в пасть ее руку и проделывал все, чему она его научила.

Лу водила 409-го в ближайшую деревню на поиски невесты. Пес был завидным ухажером. Как потом рассказывали, он честно выполнил свои супружеские обязанности, а потом, в приступе восторга, стянул с хозяина своей подруги штаны, встал на задние лапы и принялся лаять. Деревенские порешили промеж себя, что собака накликает смерть, и запретили Лу ее приводить. Лу только посмеялась. Она и не предполагала, как все серьезно.

Однажды к вечеру после очередной прогулки пес внезапно занемог. Началась

рвота. Лу попыталась напоить его, предлагала лакомства, но он только отворачивался. Я точила мотыгу, когда ко мне примчалась Янь с новостями. Сказала, что Лу поет оперные арии. Я пошла к амбару, где обычно спал 409-й. Собака была мертва, а над ней, словно деревенская вдова, голосила Лу. Рядом стоял ветеринар. Янь протянула Лу влажное полотенце. Пока та вытирала зареванное лицо, Янь расспросила ветеринара. Кто-то из деревенских отравил пса лепешкой с ядом. «Они все — реакционеры, — пробормотала Лу, стуча зубами. — Мы должны отомстить!» Янь промолчала. После обеда, увидав, что Лу все еще сидит подле мертвой собаки, она сказала: «Я на твоем месте не водила бы 409-го так часто к подружкам».

Лу схоронила пса у реки. Когда следующим утром наш взвод вышел в поле мотыжить землю, она была уже там. Глаза распухли. Я поинтересовалась, как она спала, но в ответ услыхала, что всю ночь та провела на могиле. В обеденный перерыв она попросила меня сходить с ней навестить ее друга. Я пошла. Меня потрясло ее горе. Такого и представить себе было невозможно! Она опустилась на колени и положила на могильный холм полевые цветы. И все время причитала. Я подняла ее, и она припала к моему плечу. Благодарила. Мне захотелось как-то помочь несчастной. Лу взглянула на меня и проговорила: «Я потеряла своего лучшего друга. Единственного. Что же мне делать?» Потрясенная, я молчала, только смотрела на нее. Взгляд Лу блуждал где-то далеко в полях. Волосы развевались на ветру. Она шептала: «Должна! Должна!» «Ты должна найти себе новых друзей», — заметила я. Лу глянула на меня, словно в испуге. «А знаешь, он ведь мне ни разу не солгал!» Ледышка отлично поняла, что под «новыми друзьями» я себя в виду не имела. Многое в ней меня ужасало — способность убить, к примеру. От такой подруги хотелось держаться подальше.

Весь день мы с Лу трудились плечом к плечу. И едва несколькими словами перебросились. Я думала о Янь, о том, как она сердечно смеется. Ледышка работала споро. Двигалась с грацией горной козочки, ее движения были точными, умелыми. Да и фигуркой она напоминала козочку — такая же тонкая, хрупкая. Зато усилий ей требовалось затрачивать больше. В ней жила страсть к работе, неодолимое упорство. Но для меня в Лу было что-то ненастоящее: она казалась яркой, но только во мраке — так театральная сцена сверкает в темном зале. При солнечном свете Лу словно бы меркла. Солнцем была Янь.

На людях мы с Янь нашу дружбу особенно не демонстрировали. Молча стирали, порознь ходили к титану за кипятком. Приучились понимать друг друга по глазам. Каждые два дня мы встречались на кирпичном заводике. Янь уходила туда под предлогом проверки дневной выработки. Я брала том Мао, тетрадь и делала вид, что отправляюсь заниматься. Мы бродили рука об руку в зарослях тростника. Она научила меня делать тростниковые дуделки. Мы дули в них разом, и это была музыка тростника, музыка вечера. А когда звуки вдруг делались похожими на стариковский кашель, принимались хохотать.

Мы продолжали встречаться и зимой. Устроившись на кирпичах, Янь упражнялась в игре на эрху. А я просто лежала и слушала. Говорили мы обо всем, даже о самом запретном — о мужчинах. Янь рассказывала, как люто их мать ненавидела отца. Послушать ее, так большинство мужчин — просто вражины. Мать твердила, что в жизни бы папаше десятерых не нарожала, если бы не партийный призыв: «Умножим население, умножим силу страны!» И всегда уверяла, что мужикам главное — соблазнить или силой взять. Мне вспомнилась та ночь, когда Янь сняла с себя ремень и велела бойцу хлестать несчастного очкарика. Теперь понятно, откуда такая ненависть к мужчинам. Я заметила, что на ее отце свет клином не сошелся, не обязательно и другие мужчины такие же. Янь настаивала. Рассказала о своих пятерых братьях, крепких парнях-погодках, которые по ночам — а вся семья в одной комнате ютилась — разные грязные истории друг другу нашеп-

тывали. Однажды старший заманил соседскую девицу, и пока он с ней на постели развлекался, остальные в щелку подглядывали. «А как же родители?» — «Да они мне не поверили, сказали, что я наговариваю, потом братья меня отлупили, а отец с матерью спокойно наблюдали». Оказывается, после этого случая Янь и уехала в госхоз «Красное пламя».

Янь поинтересовалась моим отношением к мужчинам. Я отнекивалась, считая свой опыт ужасным, стыдным. Но она пообещала в любом случае остаться моей подругой. И я рассказала. Рассказала то, чего никогда и никому не рассказывала. Это произошло на митинге хунвэйбинов, когда мне было шестнадцать лет. Что-то случилось с электричеством, и мы сидели в полной тьме. Вдруг я почувствовала чью-то руку. Рука неуверенно тронула мою спину, потом медленно приобняла меня и коснулась груди. Во мне все оборвалось, но это длилось минуту-другую, пока рука лежала на моей груди. Тут я встала и пересела на другое место. Когда включили свет, я обернулась и увидала трех ребят примерно моих лет. Один из них был явно взволнован, побледнел. Мы были знакомы: записной отличник, прекрасный каллиграф, с несколько девичьим лицом. Я думала, что навсегда потеряла честь. Было стыдно до невозможности. «Почему же ты не закричала? Почему не оттолкнула его руку?» — воскликнула Янь. Что я могла ответить, если и сама этого не знала. Сказала, что это было приятно. Она казалась ошеломленной. Долго сидела в молчании, закрыв лицо ладонями.

Тростник шелестел на ветру, словно шептал о чем-то. Янь собиралась с силами, чтобы задать вопрос. Наконец спросила, известно ли мне, чем отличается взрослый мужчина от ребенка. Я сказала, что видала картинку в учебнике по иглоукалыванию. Эта штука у мужчин напоминает носик чайника. Янь кивнула. Потом опять долго сидела в молчании. Потом, смущаясь, сказала, что хотела бы поделиться со мной кое-чем. Я ждала. «Ладно, это неважно». — «Ты мне не доверяешь?» — спросила я. «Не в этом дело». — «В чем же тогда?» Она просто не могла заставить себя заговорить. Так и сидела, уткнувшись лицом в колени. «Ты зря тратишь драгоценное время», — заметила я. Казалось, она так никогда и не решится. Она, точно улитка, боялась даже рожки высунуть. Я настаивала. Говорила, что и меня посещают всякие стыдные мысли. Но она твердила: «Нет, это все другое! У меня — кошмар и ужас». Наконец я взяла ее за подбородок и, с усилием подняв ей голову, поглядела в глаза: «Мне все известно». Она возражала. «Ты скажешь, если я окажусь права?» — потребовала я. Она кивнула. «Мужчина»,— проговорила я. Она содрогнулась.

Его звали Леопард Ли. Он был командиром тридцать второго отряда. Родился на юге, в семье садовника. Тонкий, воспитанный. Она встретилась с ним на собрании два месяца тому назад и с тех пор втайне мечтала о нем. Вот и весь рассказ. Я спросила, случалось ли им разговаривать. «Нет конечно». — «А как же ты узнала, что симпатична ему?» — «Почувствовала». Она объяснила, что полной уверенности у нее нет, но дело даже не в этом. Главное, она не может выбросить из головы все эти мысли. Они будоражат ее, раздражают. В шутку я сказала, что с его стороны это напоминает покушение на личную жизнь и можно поставить вопрос на отрядном собрании. «Негоже смеяться над чужой болью», — с горечью заметила она. «А это действительно боль?» — спросила я. Она сказала: «Похоже на то. Жжет и рвет нутро. В голову стыдные мысли лезут — про мужчин да про эти... носики от чайника».

Вид у Янь был совершенно несчастный. Я утешила ее, объяснив: со мной происходит то же самое. Она спросила, как я с этим справляюсь. «Книгу прочла». Она поинтересовалась, полегчало ли мне после чтения. «Да». — «А как называется книга?» — «Вторичное рукопожатие». Запрещенная. Я раздобыла ее в Зеленюшкином чемодане. От руки переписана, в ней триста страниц». — «О чем она?» — «О мужчине и женщине». — «Небось эта книга и замутила Зеленюшке голову». —

«Вряд ли». Но она засомневалась, не толкнет ли ее книга на неверный путь. Мне пришлось сказать, что такой сильный человек, как она, может не опасаться книжных влияний. Просто любопытная книжонка. Несерьезная. И Янь пришлось согласиться. Она попросила ночью запихнуть книгу ей в сапог. Но я решила напомнить, что ответственности за ее будущие помыслы не несу. Разумеется, ответила она, ответственность целиком на ней.

Она буквально проглотила книжку. И это Янь, наш командир и партсекретарь! Только подумать, три ночи напролет под москитной сеткой читала рукопись в триста страниц! Когда она возвращала книгу, что-то в ее лице изменилось. «Я хочу ему написать». Потом вдруг как-то сникла. Сказала: «Не могу, это небезопасно». Мы отправились на кирпичный заводик. Я спросила, в чем же опасность. Она объяснила, что письмо очкарика к Зеленюшке вскрыла Лу, потому в отряде и знали, где их ночью застукать. Партначальники могут прочесть любое письмо, сунуть нос в каждый чемодан. Они в своем праве.

Я рассказала подруге, как возненавидела ее за Зеленюшку. «Так и надо было», — отозвалась она. Сидела понурая, но слушала спокойно. «Ты убийца!» — крикнула я и зарыдала. Янь ответила, что сама себе ненавистна, но вынуждена была поступить так, как поступила. Она знала: Лу шпионит за Зеленюшкой, и когда получила доклад, как партсекретарь и командир обязана была отреагировать.

Янь взяла мои руки в свои и погладила. Ладони ее были шершавыми, словно у старой крестьянки. Она сказала, что только теперь поняла весь ужас содеянного. Ведь нынче она попала в похожее положение, влюбилась. Добавила: «Мне нет прощения». Сравнила себя с лягушкой, живущей у подножья стены, — ровно тот же кругозор. Да еще наивность и незнание жизни. Убийцу из нее сделала партийная пропаганда — «Женьминь жибао» да «Хунци», они каждого воспитывают убийцей. Сказала, что не может понять мира, в котором убийцы процветают, а невиновных выпалывают, как сорную траву.

Я вспомнила ее ночные походы за змеями и спросила: «Зачем?» Глядя на закатное солнце, она объяснила: для Зеленюшки, чтобы к ней разум вернулся. Она набрала в кувшин шестьдесят девять змей и поставила их под свою кровать. Нужно наловить ровно сотню. Впервые в жизни она сделалась суеверной: ее бабушка однажды поймала сто змей, чтобы вылечить больную сестру. В тот миг, когда сотая змея была поймана, больная встала и пошла, а ведь долгих шесть лет была парализована. «А ты знаешь, что эти змеи ядовиты?» — спросила я. Она кивнула. Улыбка Янь светилась покоем. Я попросила: «Давай ловить вместе. Я не боюсь». Она только качнула головой и чуть обняла меня.

На охоту за змеями мы ходили порознь. Мне не удалось поймать ни одной. Самый вид их внушал мне ужас. По ночам, во сне, они оплетали мое тело. Я ничего не говорила Янь, но не верила, что она не боится этих тварей. Поэтому когда та появлялась с обильной добычей, я сразу представляла себе, сколько страху она натерпелась. И ее смелость вызывала во мне восхищение.

Однажды, когда мы, как обычно, говорили о мужчинах, о Леопарде Ли, я предложила быть ее личным посыльным. Она не соглашалась, уверяя, что если это кончилось плохо для Зеленюшки, то и ее до добра не доведет. «Я партийная. Не могу делать то, что запрещаю другим». Выглядела она грустной, но решительной. Мне подобные колебания казались смехотворными. Впрочем, держалась она достойно. Сердце мое разрывалось. И к тому же Янь казалась такой привлекательной, я просто налюбоваться не могла.

Потом она вдруг сказала, что готова спорить: мне по силам сразиться с Лу. И засмеялась. Пока мы обсуждали, каким должно быть письмо к Леопарду Ли и под каким предлогом я его передам, Янь сделала мне тростниковую шляпу.

Меня все радовало. Радовала возможность быть рядом с Янь. Радовала ее от меня зависимость. Прошло две недели. Но Янь так письма и не дала. Когда мы встречались, она избегала говорить об этом. И, пожалуй, выглядела счастливой, разве что слегка нервничала. Я углядела у нее красное белье — оно сушилось после стирки. Ярко-красное! Она все время что-то напевала, часто поглядывала в зеркало, укрепленное на двери. Прекратила сквернословить. Я даже принялась ее поддразнивать, напоминая прежние словечки. Она знала, к чему я клоню. Но только смеялась и называла меня ребенком. Тогда я вспылила. Спросила о письме к Леопарду. Она отвечала уклончиво, говорила, будто нет времени его сочинить. Я сказала, что Леопард просто забудет ее. Этой ночью, когда я уже была в постели, она отодвинула занавеску и протянула мне листок.

«Товарищ Леопард Ли, как вы поживаете? Меня интересует, что делается в вашем отряде по линии сельхозинициативы. Мы здесь здорово двинули дело. Я часто вспоминаю то собрание. Оно отличалось и содержательностью, и верной политической линией». К этому Янь приписала: «Поможешь?» А я ответила на клочке бумаги, что сделаю все, о чем бы меня партия ни попросила.

На следующий день я сочинила совершенно новое послание. Никогда не видела этого Леопарда, поэтому, переписывая письмо, представляла себе вместо его лица лицо Янь. Я пыталась вообразить, как они будут вместе, как прикоснутся друг к другу. От этих мыслей сердце мое неистово колотилось. Мне хотелось описать тело Янь, но я описывала свое собственное, ласкала себя, думая, что это она, Янь, а моя рука — рука товарища Леопарда.

Когда Янь вернулась, я шепнула, что письмо готово. Ей прямо приспичило прочитать его, даже не дожидаясь ночи. Но мне хотелось видеть ее лицо, поэтому мы решили забраться в постель вдвоем. Договорились обо всем и стали дожидаться темноты.

После обеда мы с Янь уселись у двери. Она принялась чинить резиновые сапоги, а я — чистить свою винтовку. Работали мы молча, сосредоточенно. Я вынула затвор, протерла детали. Несколько раз украдкой глянула на подругу. Она намазала клеем заплатку и прижала к трещине в сапоге. На меня Янь не смотрела, но я знала: она чувствует мой взгляд. Ее щеки зарделись. Она смущенно улыбнулась, легонько похлопала по заплате. Мне ужасно нравилось это смущение — никому и в голову не приходило, что Янь способна смущаться. Ее смущение словно мне одной принадлежало.

Лу читала вслух статью Мао. Кто-то развешивал выстиранное белье, кто-то выплескивал на землю грязную воду. Из мужского барака доносилось ритмичное постукивание палочек для еды по дну мисок. Слышалась бесконечная песня: «Когда всходит солнце, оо-оо-ох, оо-оо-ой...» Потом оттуда тоже выплескивали грязную воду — бойцы выбегали на крыльцо босиком. Потом дверь в мужской барак закрыли. Песня зазвучала глухо.

Едва стемнело, я забралась в постель. И стала ждать, пока улягутся остальные. Я следила за происходящим сквозь москитную сетку, видела Лу и еще раз поразилась ее упорству: каждый вечер непременно читала Красную книжку Мао. Наверняка выучила все до точки. Нравится ей? Или это только показуха? Устает ли она? И в самом деле — не машина ведь, хотя порой и действует, словно автомат. Когда 409-й погиб, я поняла, что у нее есть сердце. А каково ей без подруг? Она наверняка нуждается в дружбе, хотя и делает вид, что кроме книги Мао ей ничего не нужно. Она же молодая, в самом, как говорится, соку. Часто разглядывает собственные ноги. Они загорели до черноты, а ногти на пальцах чистые, блестящие, как орехи. У нас у всех грибок разъел ногти до желтизны, а она что ни вечер, едва все уснут, протирается уксусом. Однажды меня острый уксусный запах разбудил, и я увидала, как она дремлет, дожидаясь, пока уксус просохнет. Ее ноги покоились на стуле — стройные, юные, во тьме они казались двумя большущими пирожными. Я задумалась: а что это она так о своих ножках печется? И вдруг поняла — это «личное», то, что помогает выстоять и выжить. Ну, как мне — Янь.

Я заявила, что под своим одеялом наверняка замерзну и боюсь простудиться. Янь чихнула и тоже сказала, что ей холодно. Лу, как обычно, читала Мао. Она оторвалась от книги и равнодушно молвила: «Товарищи, неужели вы не в силах решить вопрос на основе взаимопомощи? Используйте одеяла совместно». Она прямиком угодила в нашу ловушку! Я подхватила свое одеяло и мигом нырнула в постель к Янь. Мы задвинули поплотнее москитную сетку и шторки, накрылись с головой одеялом, включили фонарик и принялись за письмо.

Лицо Янь пылало. Она читала и перечитывала, уверяла, что в жизни не видала ничего лучше. Говорила, что и не подозревала о моих талантах, прижималась ко мне щекой, снова и снова шептала строки из письма. Потом стала просить, чтобы я рассказала, как будет его читать Леопард Ли. Я сказала, что он сразу в нее влюбится. Она потребовала повторить. «Откуда ты знаешь?» — «Если бы я была мужчиной, я бы точно влюбилась». Вдруг она поинтересовалась, знаю ли я южный фрукт, такой круглый, словно шарик для пинг-понга; когда он созревает, его скорлупа лопается, и в саду постоянно звучит это «панг-панг-панг» — вот так колотится сейчас ее сердце. Я сказала, что рада была оказаться такой способной. Она заявила, что мой талант просто восхитил ее и она теперь в моей власти.

Выключив фонарик, мы выбрались из-под одеяла. Я спросила, едят ли этот южный фрукт. Он сладкий и съедобный, объяснила Янь, но ужасно колючий, точно дикобраз. Я призналась: увидав ее впервые, и думать не могла, что у нее сердечко, словно южный фрукт, уже созрело для любви. А нынче эта «спелость» рождает во мне сомнения: вправду ли она железный партиец или только мягкотелый кабинетный теоретик? «Давай, давай, точи свои зубки», — усмехнулась Янь.

Сквозь москитную сетку мне было видно, как Лу закончила свои уксусные процедуры, погасила свет и забралась в постель. Мы с Янь лежали во тьме, слишком возбужденные, чтобы спать. Послышалось посапывание уснувшей Лу. Бледно-лиловый свет луны проникал сквозь занавеску. Ровно дышали спящие девушки, шуршали змеи в своем горшке под кроватью. Вдруг я снова ощутила томление. Оно гнездилось где-то глубоко во мне. Мозг уже не повелевал телом, которое жило отдельно. Мозг погружался в сон, а тело бунтовало, не соглашаясь. Я даже и думать не хотела, отчего оно бунтует. Меня охватило чувство опасности, я вся пылала, как в дурмане.

Янь лежала отвернувшись. Я хотела тронуть ее, но вдруг испугалась. Точно она вдруг сделалась чужой. Мое тело было напряжено словно струна. Она что-то пробормотала. «Что ты сказала?» — шепнула я, и, казалось, эхо отозвалось в ночной тишине. Она со вздохом сказала: «Как плохо...» Я ждала, пока она договорит, но молчание продолжалось, будто кто-то спугнул ее. «Ну же», — поторопила я. «Как плохо, что ты не мужчина», — выдохнула она с тоской. Во мне что-то возмутилось. «А что тогда было бы?» — поинтересовалась я. Она повернулась лицом ко мне и сказала, что было бы то, что я описала в письме. Дыхание ее сделалось горячим. Ресницы касались моей щеки. Словно жаркая волна окатила меня с ног до головы.

Мы лежали в молчании. Нас била лихорадка. Ее нога лежала у меня между ног, наши руки сплелись в объятии. Потом вдруг разом мы отпустили друг друга. Чтобы преодолеть неловкость, я сказала, что хочу повторить цитаты Мао. «Давай, давай, кабинетный теоретик», — подбодрила Янь. «Председатель Мао учит нас, — начала я, — бьющий по камню ушибает собственную ногу. Это же ждет каждого реакционера, пытающегося противостоять силам революции». И Янь следом за мной стала говорить, что только учение Председателя Мао делает нас непобедимыми. Потом я предложила заняться самокритикой. «Только после тебя, — заявила Янь. — Что у тебя на уме? Ну-ка, признавайся! Давай, сними грех с души».

«Мой грех или твой, товарищ партсекретарь?» — подумала я.

Старая поговорка гласит: «Добрые новости парой ходят». Та осень вообще оказалась богатой на чудеса.

Когда созрела сахарная свекла, стали поговаривать, будто крестьяне из соседних деревень ее у нас приворовывают. Мы отправили в штаб доклад, чтобы потом не отвечать за недостаточный урожай. Янь следила за составлением доклада, что называется, «вполглаза», то есть не настаивала на абсолютной точности всех фактов, в нем содержавшихся. На самом деле она доподлинно знала всех воришек. Никакие это были не крестьяне, и не крысы поедали нашу свеклу. Свекла убывала по вине самих бойцов отряда, и одним из виновных была я. Моей зарплаты не хватало на еду, поэтому по ночам я приворовывала, добывая в поле то свеклу, то редис, то батат.

Янь делала вид, что ничего не замечает. Правда, в то время ее занимали другие заботы: она поверила в эффективность иглоукалывания и возила Зеленюшку в больницу соседнего госхоза «Красная звезда», где врачи Народно-освободительной армии обучали местных лекарей искусству акупунктуры. Они ездили туда дважды в день, утром и вечером. Ей приходилось вставать в половине пятого, сажать Зеленюшку на трактор, потом ждать окончания процедуры, везти ее назад, оставлять обедать в столовой, а самой, и крошки во рту не имея, спешить в поле на работу.

Я специально захватывала с собой несколько лепешек, чтобы покормить Янь. Она их сглатывала в один присест. Однажды она появилась на поле мокрая с головы до ног, в грязи, сказала, что свалилась вместе с трактором в канал. Но при всем при том прямо-таки светилась счастьем. Даже говорить не могла от возбуждения. Только сообщила, что произошло чудо: Зеленюшка выздоровела. И заорала: «Да здравствует Председатель Мао!» Попросила прокричать здравицу хором. Мы прокричали. Когда же бойцы потребовали подробностей, она сказала, что оставила Зеленюшку в больнице для подробного обследования; утром та впервые с начала болезни напевала отрывки из оперы «Моя родина». В этот день Янь таскала такие тяжеленные носилки с удобрением, что у них дважды ломались ручки.

А вечером на собрании Янь дирижировала, когда мы пели арии из революционных опер. Все в отряде ощутили ее душевный подъем, и на Лу, которая стояла в стороне и качала головой, никто внимания не обратил. Все пели «Ничто коммуниста с пути не собьет» из «Легенды о Красном Фонаре». После этого Янь впервые предстала перед бойцами с эрху в руках. И имела грандиозный успех.

Я сидела в задних рядах и наслаждалась. Мне было ясно, что сегодняшнее счастливое возбуждение родилось из постоянной сердечной боли — Янь тяжело переживала судьбу бедной Зеленюшки. Я предложила спеть «Мою родину», чтобы Зеленюшка поскорей поправилась. Янь взяла аккорд на эрху и сделала это с такой страстью, что струна лопнула. Она извинилась перед бойцами, но вместо того, чтобы поменять струну, взяла нужную ноту голосом. Это прозвучало так похоже на эрху, что все засмеялись. Янь и ухом не повела, продолжая выводить чисто и высоко:

Это моя страна,
Здесь я была рождена.
Как отчий край прекрасен!
Солнцем озарена
Великая наша земля.

Но счастье Янь длилось недолго. Всего одну неделю. Зеленюшка вернулась из больницы, но улучшения не произошло: она осталась какой была. Иглоукалывание на время пробудило какие-то нервные окончания, но болезнь не отступила. Янь не сдалась и продолжала возить Зеленюшку в больницу. Однажды сломался трактор. Тогда она посадила Зеленюшку к себе на закорки и прошагала два часа до больницы. Назавтра она не смогла вовремя подняться. Устала до изнеможе-

ния. Тогда мы стали носить Зеленюшку по очереди. Та все воспринимала безучастно, словно овощ. Но с каждым днем надежда таяла. Янь сказала, что последний шанс — это змеи. Я не стала разубеждать подругу — она так надеялась на успех. В этом было какое-то безумие.

Я отправилась на тракторе в тридцать второй отряд, чтобы встретиться с Леопардом Ли. Янь послала меня туда в качестве представителя нашего отряда для «обмена революционным опытом». Я так волновалась, словно к собственному возлюбленному ехала. Письмо было аккуратно упрятано во внутренний карман моей куртки. Карман я тщательно застегнула; чтобы письмо случайно не выпало, случись мне спрыгнуть или упасть с трактора. И я постоянно проверяла, на месте ли оно. Накануне ночью я его переписала. Янь не могла оторваться от этого послания. Она словно бы росла над собой. Сказала, что я ее сделала другим человеком. «Что правда, то правда», — подумала я. Янь стала мягче, начала лучше ко всем относиться. Даже к Лу. Бойцам это нравилось, а Лу была озадачена.

Янь устроила отрядный выходной, хоть дождь и не шел. А сама отправилась рубить тростник. Завидев меня, она смутилась, словно я и была Леопардом Ли. К собственному моему удивлению, я много думала о ней. И ничего с этим не могла поделать. Видела, как она ест: с отсутствующим видом, механически поглощая пищу. Иногда она забредала в дальние поля. Или следила за жуком, выгрызавшим сердцевину хлопкового соцветия. Янь велела увеличить норму сахара в столовой. Ночью надевала ярко-красное белье. Улыбалась сама себе в зеркало, если думала, что никто за ней не наблюдает. Попросила купить ей в магазине бутыль уксуса. И теперь вместе с Лу перед сном протирала уксусом ногти на ногах. Пела со мной и с Лу оперные арии. Ее голос звучал, как струны эрху. Все уверяли, что невозможно расслышать разницу. И украдкой потешались над ней, давились от смеха в постелях за москитными сетками.

Встретив Леопарда Ли, я подивилась выбору Янь. Это была она, Янь, только в мужском обличье: большие темные глаза, резкий разлет бровей, жесткие блестящие волосы. Правда, я представляла его себе выше и крепче. Вообще он напомнил мне обезьяну — длиннорукий, быстрый в движениях. Надо сказать, что как командир он пользовался уважением. Бойцы называли его Леопард. И он относился к ним по-свойски. Мог пошутить, посмеяться. Кажется, он ощутил некоторую неловкость, когда я сообщила, что приехала из седьмого отряда. И все следил за мной краем глаза.

Я сказала, что привезла ему письмо от... Он вспыхнул, прежде чем я произнесла имя, и с каким-то деланным смехом оглянулся по сторонам. Рука его чуть дрогнула, когда он взял письмо. Сунув послание в карман, снова огляделся и повел меня через поле в свою контору. У них в отряде жизнь казалась более обустроенной. Больше бараков. Бойцы постарше годами. Мужчины сухощавы, женщины в теле. На всех соломенные шляпы. Был как раз обеденный перерыв. Мухи кружились над навозными кучами. Бойцы лежали прямо в поле, точно россыпь картошки. Шляпы надвинуты на глаза. Земля дышала жаром, как печь.

Протянув мне кружку с водой, Леопард кликнул низкорослую женщину, свою заместительницу, и велел ей ввести меня в курс дела, пока он отлучится ненадолго. Коротышка назвалась Старой Ван. Потом принялась рассказывать, какие успехи сделала Культурная революция в их отряде. В паузах она поглядывала на меня, заметив, что я ничего не записываю. Ей не нравилось мое равнодушие, и она всячески давала это понять. Но мне было наплевать. Я ждала Леопарда. С трудом сдерживалась, чтобы не пялиться в окно. Наконец он вернулся. Спокойно поинтересовался, покончила ли я с делами. «Да, конечно», — заверила я, надеясь избавиться от Старой Ван. Но он, похоже, вовсе этого не жаждал. Он спросил, не хочу ли я познакомиться с другими участками работы. Я ничего не понимала: он-то

должен был знать, в чем мой интерес. Я смотрела прямо ему в глаза. Он поигрывал какой-то резинкой, но явно нервничал. Вдруг резинка лопнула, и отскочивший конец хлестнул Старую Ван по лицу. Она вскрикнула и прижала ладонь к щеке. Он извинился и потянулся за сигаретой. Закурил, оглядываясь в поисках пепельницы. Старая Ван спросила, не послать ли за трактором, чтобы отвезти меня домой. Леопард кивнул. Я глазам своим не верила, но совершенно не представляла, что предпринять.

Я взобралась на трактор. Тракторист запустил мотор. Я посмотрела на Леопарда. Выглядел он не лучшим образом. Отводил взгляд. Испугался, что застукают. Трусом оказался. Очень мне это не понравилось. Янь рисковала точно так же, а не побоялась, даром что женщина.

Ночью за москитным пологом Янь поинтересовалась, как прошла поездка. Мне не хотелось ранить ее правдой. Я сказала, что он выглядел страшно взволнованным. Янь спросила, напишет ли он ответ. Я кивнула и уверенно ответила «да». Она была удовлетворена. Попросила сочинить от ее имени еще одно письмо.

За два месяца я передала Леопарду четыре письма. И ни на одно он не ответил. Теперь, встречаясь с ним, я ощущала только враждебность. Мне хотелось подхлестнуть его, точно скотину, чтобы он заинтересовался Янь. Несколько раз казалось, он хочет заговорить со мной, но он тут же шел на попятный. Но почему? Леопард достаточно знал Янь, она не хотела ничего — лишь бы с ним встречаться. Она не могла скрыть свои чувства. Их могли поймать, как Зеленюшку с ее очкариком. Могли выгнать из партии. Если бы они признались в своей любви, штаб дал бы им несколько дней для женитьбы, потом их навсегда поселили бы в барачную комнатенку. Праздник разом пришел бы к концу, а с надеждой на возвращение в Шанхай нужно было бы проститься окончательно. Их тотчас приписали бы к местным крестьянам. Этого ли хотел для себя Леопард? Сильно сомневаюсь.

Мне было ужасно жаль Янь, которая просто занемогла от страсти. Каждую ночь что-то бормотала, утешая себя выдуманными рассказами про любовь. Я тратила на нее весь свой сахар — она оказалась сладкоежкой. Даже кукурузные кочерыжки ела! Чтобы иметь возможность спать с ней вместе, я продолжала жаловаться на холод. Я уговорила ее не стирать москитную сетку: грязь делала кисею почти непрозрачной. При свете мы видели все, что происходило в комнате, нас не видел никто.

Несмотря на свой любовный недуг, начальственные обязанности Янь исполняла с привычной твердостью. Организовала соцсоревнование нашего отряда с соседним. Мы рыли канал. Янь держалась замечательно. Зато по ночам размягчалась. Мне интересно было наблюдать, как вспыхивает она, читая под одеялом то, что я сочиняла от ее имени. Я попросила Янь вообразить себя настоящей возлюбленной, чтобы потом поведать мне свои ощущения в деталях — я очень нуждалась в свежем материале для новых писем. Она усмехнулась и сказала: «Знаешь, как местные жители выбирают на рынке хурму? Ищут какая помягче. Вот и ты пытаешься сделать из меня эдакую размягченную хурму». — «Но мне и в самом деле нужны детали!» — воскликнула я. «А где же твоя фантазия?» — «Но невозможно придумать то, о чем не имеешь ни малейшего понятия!» Она прикоснулась к моим губам и попросила успокоиться. Потом зашептала, что чувства буквально переполняют ее, просто их в слова облечь трудно. Оттого она в совершенном замешательстве. Янь прижала мою руку к своей груди, чтобы я ощутила, как колотится у нее сердце.

Мне вдруг почудилось, что это меня, точно кровь, толкает ее сердечная мышца. Вздымалась грудь, сердце билось, словно молот, — в этом была такая природная мощь, что меня с неодолимой силой потянуло к распластанному рядом телу. Какой-то сумасшедший огонь запылал во мне. На Янь были только лифчик и

ночная рубашка ярко-красного цвета — будто язык того же сумасшедшего огня. Когда она потянулась с ленивой грацией, сердце мое бешено застучало.

Закрыв глаза, она прижала мои ладони к своим щекам. Медленно приподняв веки, глянула на меня. Губы слегка приоткрылись. Взгляд ее был невыносим. Он проникал внутрь, как вода, точащая скальную породу. Глаза пылали страстью. Я попыталась не глядеть на нее. За занавеской покашливала Лу. Она сидела совсем близко, сосредоточенно вникая в труды Мао. Вот она перевернула страницу.

Под одеялом Янь обняла меня. Тесно прижалась ко мне. Я почувствовала плечом ее грудь. Она придвинулась ближе. Расстегнула лифчик. Мои пальцы перебирали пряди ее распущенных волос. Слышно было, как Лу чистит зубы, полощет рот, сплевывает. Потом она заперла дверь и погасила свет. Под ее тяжестью дрогнули нары. Я ждала, пока Лу захрапит. Янь шептала мне на ухо те самые слова, что я писала в письмах. Вдруг она показалась мне слабым ростком риса в засушливое лето.

Каждые две недели я доставляла Леопарду письма. Он благодарил — и только. К Янь я возвращалась ни с чем. Однажды ночью, когда я сочиняла очередное письмо, Янь расплакалась. Сказала, что понимает: все мои рассказы про Леопарда — выдумка. «Руками не заслонишь неба, — прошептала она. — Ты просто дурачишь меня». Голос ее звучал на диво спокойно. И я, виноватая, тотчас порвала письмо. Потом принялась оправдываться, говорила, что не знала, как быть, старалась все приукрасить. Она утешала меня. А когда я сказала, что он, наверное, еще не сумел побороть страх, что на это нужно время, только улыбнулась печально и отрицательно покачала головой: она недостаточно хороша для него, малоинтеллигентна, неженственна — дурочка, одним словом. Причина всего в ее глупости. Схватила зеркало и долго себя разглядывала. Прошептала, что видит старое, побитое ветром лицо, а ведь ей только двадцать пять, но кроме никчемушной должности партсекретаря у нее и нет ничего, как говорится, «что посеешь, то и пожнешь».

Тоску ее было невозможно рассеять. Я только сказала, что кроме должности партсекретаря у нее еще есть я. Молча отняла у нее зеркало, а как хотелось сказать: «Ты — красавица, настоящая красавица! В тебе все прекрасно! Будь я мужчиной, жизнь бы отдала за твою любовь».

К четырем часам я смогла распустить мой взвод по домам. Мы чинили мост. Мой принцип: задание выполнили — и свободны. Бойцы любили меня. Часто те, кто справился с заданием, оставались помочь отстающим. Они охотно следовали моему призыву: «Через взаимовыручку — к коммунизму!» Лу всего этого не одобряла. Говорила, что от моего руководства «капиталистическим дерьмом повани-вает», и потребовала немедленных перемен. Я вынуждена была подчиниться, но, когда она не следила за мной, продолжала действовать по-своему.

Работа на сегодня закончилась, и я пошла по мосту. Вдоль берега на бамбуковых шестах был натянут холщовый транспарант: «Ни смерть, ни тяжкий труд — ничто не страшно нам!» Канал был прорыт бойцами нашего отряда в мою первую зиму здесь, и всякий раз при виде его я испытывала великую гордость. Вдруг меня окликнул из лодки какой-то рыбак. Оказалось, он обнаружил утопленницу. Я бросилась к нему со всех ног. Рыбак медленно перевернул тело на спину. Передо мной лежала Зеленюшка. Я остолбенела. Лицо ее распухло, голова — словно тыква, руки, ноги — в порезах. «Похоже, с ней сделался припадок, — заметил рыбак. — Но она пыталась выплыть. Видишь эти порезы? Запуталась в водорослях».

Кто-то сообщил о беде Янь. Она примчалась, словно взбесившаяся лошадь, волосы гривой бились на ветру. Лицо в красно-лиловых пятнах, точно ее страшно избили. Она будто оглохла, хотя рыбак пытался объяснить, что делать искус-

ственное дыхание уже бесполезно, часа два прошло, как несчастная мертва. Но Янь продолжала ритмично сдавливать грудную клетку Зеленюшки, пот лил с нее ручьем, рубашка промокла насквозь. Наконец Янь упала в изнеможении.

В штабе госхоза «Красное пламя» устроили торжественное прощание с Зеленюшкой. О ней говорили как о выдающемся товарище и посмертно приняли в комсомол. На церемонии присутствовала бабушка покойной. Красавица, как и ее погибшая внучка. В старухе чувствовался лоск настоящей оперной певицы. Она крепко обняла мертвое тело, но глаза оставались сухими, только лицо покрыла мертвенная бледность. Лу представила ей членов отрядного партбюро, а потом вручила чек на пятьсот юаней и выразила свои соболезнования. Та взяла чек и молча уставилась на него.

Янь куда-то исчезла. Не пришла обедать. Я искала ее повсюду, пока наконец не нашла под мостом. Рядом стоял горшок, в который она собирала змей. Несколько дней тому назад Янь радостно сообщила мне, что набрала наконец заветную сотню и теперь ждет, чтобы Зеленюшка выздоровела. Приблизившись к ней, я поняла: она отрывает змеям головы. Ее лицо и одежда были в пятнах темной змеиной крови. Покончив со всей сотней, она схватила горшок и разбила его. Я наклонилась к ней. Она уткнулась в мои колени и разрыдалась.

После Зеленюшкиной смерти Янь резко изменилась — она была уже не тот партсекретарь и командир отряда, которую я знала. И я менялась вместе с ней. Теперь мы обсуждали, почему так потускнел образ светлого будущего, который рисовала нам партия; мы задавались вопросом, отчего жизнь делается день ото дня все беднее, хотя люди трудятся изо всех сил. Нашей зарплаты в двадцать четыре юаня едва хватало на еду, керосин для ламп и туалетную бумагу. Ни разу не удалось сэкономить на какую-нибудь обновку. Неужели вся жизнь пройдет здесь? А ведь наш госхоз считался образцовым коммунистическим коллективом, моделью будущего общества. Таких госхозов в Восточном Китае насчитывалось до десятка, но все эти «Красное пламя», «Красная звезда», «Авангард», «Великий поход» и прочие, куда согнали двести тысяч юных горожан, собирали урожай, которого едва хватало для собственного прокорма. Каждый год госхозы получали от правительства продовольственную дотацию. Теперь стало известно: в нынешнем году дотации не ожидается. Мы спрашивали себя, был ли смысл в лозунге, который скандировали: «В поте лица урожай свой расти, чтоб коммунизму в мире цвести!»

Янь потеряла всякий интерес к собраниям по политучебе, сделалась какой-то слабенькой, грустной. У нас даже случилась стычка. Она заявила, что не имеет права командовать людьми, Лу подходит для этого куда больше. А ей пора на покой. В ответ я обвинила ее в упаднических настроениях. Нас не спасет безволие: каково нам будет, если она, Янь, уйдет, а власть получит Лу? Удастся ли нам тогда спать вместе? «Не думала, — печально заметила она, — что ты любишь мою власть больше, чем меня саму». Мне пришлось возразить: сейчас в ее руках не власть, а наша жизнь. И пусть она не способна сделать эту жизнь лучше, но ее уход превратит жизнь в кошмар. Нет, сказала она, существование потеряло всякий смысл, отряд — тюрьма для нее. «Но мы же не можем взять и уйти. Нас обложили со всех сторон. Побег — это смерть. Наша судьба в руках партии и Мао. Нужно смириться и терпеть», — втолковывала я.

Янь уехала на важный политсеминар в штаб госхоза. Несколько дней я спала в одиночестве и совсем пала духом. Меня охватил страх навсегда потерять ее, ведь в штабе она могла встретиться с Леопардом. Это было странное чувство, род недуга. По ночам я грезила, днем торопила время, чтобы скорей наступила ночь. Янь не было рядом, но в мечтах она стала моей возлюбленной. Страсть к ней рассеяла своим светом сумрак моей души.

Я написала родителям в Шанхай. Рассказала о нашем замечательном парт-секретаре, командире Янь. О том, какой она добрый друг, какой прекрасный руководитель. Она словно раскидистое дерево, в тени которого я чувствую покой и прохладу. Так я пыталась выразить свои чувства. Написала маме, что у меня все хорошо, что госхоз тоже хороший. Написала, что некоторых моих подруг навещали родители, благо ехать недалеко.

Мать не стала отвечать на письмо, а просто взяла и приехала. Я как раз таскала удобрения. Мне сказали, что она ждет меня, но я не поверила. Только увидав на краю поля женщину в запыленном пальто, я бросила мешок с химикатами и пошла к ней. «Мама, как ты нашла меня?» — воскликнула я. «Родители всегда отыщут свое дитя», — ответила мать с улыбкой. В комнате я опустилась перед ней на колени и разула ее. Ноги опухли, пришлось принести таз с теплой водой. Она спросила, сколько весит мешок с химикатами. «Тридцать килограммов», — сказала я. «Ты вспотела», — заметила мама. «Не без этого». — «Хорошо, что работа требует усилий», — сказала она. А я сообщила, что командую взводом.

Мать явно гордилась мной. Мне было приятно. Оказалось, она не привезла гостинцев, потому что Бутончик как раз окончила школу и поступила в ремесленное училище. Денег не хватило даже на новое одеяло для нее, поэтому она накрывается моим старым. «А правда, хорошо быть в начальниках», — сказала мать. «Как Жемчужина? — поинтересовалась я. — Удастся ее на фабрику определить?» Мать кивнула, призналась: молится, чтобы удалось, но, как ни горько об этом рассказывать, Жемчужина боится настоящей жизни. Однокашники научили ее, будто физически слабым легче остаться в Шанхае. Поэтому Жемчужина, заразившись тяжелой дизентерией, и не подумала ходить к врачу, прямо-таки мечтала заиметь хроническую болезнь кишечника. Глупо, конечно, но разве ей объяснишь... И из соседских детей много кто подобное над собой учиняет, чтобы избежать отправки в госхозы. Жемчужина ужасно несчастна, говорит, жалею, мол, что на свет родилась, так матери в лицо и заявила.

Я уложила мать в постель Янь. Мне хотелось поболтать с ней ночью, но едва я коснулась головой подушки, как сразу уснула. Наутро мама заторопилась уезжать, ведь мне негоже проявлять слабость, а ее присутствие меня расслабляет, усиливает тоску по дому. Я не стала объяснять, что не чувствую себя слабой и никто никогда не сможет на меня повлиять — мне просто хотелось поплакать у матери на груди. Но теперь плакать поздно — уже в пять лет я сделалась взрослой, чтобы подавать пример остальным детям в семье. И мать должна видеть меня сильной, иначе ей не выжить. Поэтому я только спросила, хочет ли она прогуляться по госхозу. Но она, как выяснилось, уже достаточно насмотрелась и твердо решила возвращаться.

Она ничего не спросила про Янь, хотя и спала в ее постели. А мне так этого хотелось. Тогда бы я могла рассказать ей хоть что-нибудь о своей подлинной жизни. Но мать не спросила. И я поняла: не спросила она потому, что та — парт-секретарь, а мать всегда боялась партийных начальников. Она перед каждым чувствовала свою вину. И уехать-то поторопилась, чтобы не встретиться с Янь.

Мать не велела провожать ее до автобусной остановки и настояла на своем. Так и побрела по пыльной дороге одна. Наплевав на вероятное недовольство Лу моим долгим отсутствием, я пошла следом за матерью через хлопковое поле. Она ни разу не присела отдохнуть. Словно торопилась убежать от всего увиденного здесь — убежать, как ребенок. На автобусной остановке я украдкой разглядывала ее: она выглядела много старше своих лет. Ей всего-то сорок три, а дашь все шестьдесят. Когда автобус увез мою маму, я убежала в поле, в заросли хлопка, легла навзничь и заплакала. Я плакала и звала Янь.

В день возвращения Янь я отправилась далеко по дороге ей навстречу. Когда показался трактор, у меня едва сердце из груди не выскочило. Она спрыгнула на

землю и побежала ко мне. Даже шарф обронила. Трактор развернулся и уехал. Янь была удивительно хороша в форме.

«Видела его?» — спросила я, подбирая ее шарф и подавая ей. «Леопарда?» — она улыбнулась и взяла шарф. «Ну же!» — торопила я. Но она попросила больше никогда не упоминать это имя, потому что все кончено, словно и не бывало. «Что произошло?» — «А ничего. Мы просто с ним незнакомы. Как и прежде». — «Но он был там?» — настаивала я. «Был». — «Вы говорили?» — «Да, мы поздоровались». — «А еще?» — «Еще? Еще мы читали отчеты. Вот и все».

Она не выглядела расстроенной. Ее любовный недуг миновал. Она сказала: «Наш великий вождь Председатель Мао учит: «Пролетарий! Чтобы освободить весь мир, сделай свободным себя!» И щелкнула меня по носу. От нее пахло мылом. Оказывается, в штабе для них организовали баню. Так обычно ублажали партийное начальство. Янь собиралась сообщить мне нечто важное. Сказала, что скоро покинет наш отряд.

Я закрыла глаза и затихла в ее объятиях. Мы долго лежали обнявшись. «Я хочу, чтобы ты была мужчиной», — сказала я. «Знаю», — отозвалась она. И крепче прижала меня к себе. Я слышала стук ее сердца. Мы делали вид, что нас ничто не печалит. Мы бодрились как могли.

Она рассказала, что ее посылают в дальний отряд номер тридцать. Им нужен командир и партсекретарь, у них там восемьсот молодых бойцов. «Но почему тебя, почему не Лу?» — «Таков приказ, — ответила она. — Я ведь себе не принадлежу». Я спросила, далеко ли до тридцатого отряда. «Боюсь, очень». Я поинтересовалась тамошней землей. Оказалось, даже хуже, чем здесь, потому что море ближе. А хочется ли ей ехать, спросила я. Она сказала, что не уверена в собственном горячем желании покорить ту землю. Даже не может понять такой нерешительности. Наверное, меня не хочет покидать. Она печально улыбнулась и вспомнила поговорку: «Чуть гость за порог, как чай уже и остыл». Я сказала, что мой чай никогда не остынет.

Лу рано выключила свет. Кончился трудный долгий день — собирали урожай риса. Раскаты храпа наполнили комнату. Я следила за пятном лунного света, когда рука Янь нежно тронула мою щеку. Потом погладила шею, плечо. Янь сказала, что должна преодолеть боль расставания. У меня буквально закипели слезы на глазах. Я вспомнила Зеленюшку с ее очкариком. Их счастье и цену, которую они за него заплатили. Я разрыдалась. Янь обняла меня. Сказала, что не владеет собой. Словно бы от жажды умирает.

Она натянула на нас одеяло. Ее дыхание смешалось с моим. Она положила мою руку себе на грудь. Она ласкала меня и дрожала сама. Она шептала, что я должна знать, сколько счастья ей принесла. Я спросила, видит ли она во мне Леопарда. Она стиснула меня в объятиях и сказала, что никакого Леопарда не существовало вовсе, это я его придумала. Я ответила, что таково было ее поручение. «Ну что ж, ты замечательно его выполнила», — похвалила она. Я спросила, знает ли она, чем мы сейчас занимаемся. Она ответила, что, кроме цитатника Мао, не знает ничего. «Ну-ка подбери подходящую к случаю цитату», — попросила я. Она моментально выпалила: «Только воюя, учишься воевать».

Я сказала, что не вижу ее: слезы застят глаза. Она пробормотала: «Хоть на эту ночь забудь о моем отъезде». Я сказала, что не могу. «Послушай меня и забудь. Все всегда было хорошо, когда ты меня слушалась», — шептала она, слизывая мои слезы, и твердила, что вечно будет помнить о нас.

Медленно моя рука скользнула под ее рубашку. Она прижала мои пальцы к застежке лифчика, словно моля расстегнуть. Петли оказались такими тугими, что я едва с ними сладила. Наконец расстегнула последнюю пуговицу. Миг, когда я коснулась ее груди, вызвал во мне сладостный трепет. Сердце беспорядочно коло-

тилось. Дикая лошадь сорвалась с привязи. Янь что-то шептала, но я не разбирала ни слова. Нас словно метель закружила. Я уже не понимала, кто я: воображаемый мужчина или я сама. Я приникла к ней. Лошадь понесла. Туда, где восходит солнце. Губы у Янь были вкуса спелых вишен. Все вдруг смешалось: метель и этот ураган, бушевавший во мне. Я жаждала прикосновений. Ее рука нежно трогала мою грудь. Разум мой помрачился. Я вся пылала. Просила крепче обнять меня. Далекий голос призывал меня остановиться. И словно бы ощутив мои сомнения, она страстно приникла к моим губам, далекий голос умолк, и я растаяла в ее ласках.

Янь не уехала в тридцатый отряд. Приказ отменили, потому что не смогли обеспечить тот отряд питьевой водой. Когда мы узнали об этом, то дружно проорали: «Да здравствует Председатель Мао!» Лу была разочарована. Она могла бы занять место Янь.

Был май. Проклюнулись озимые. Последние пять месяцев штаб постоянно требовал усилить политработу среди бойцов отряда. Только на основе высокой политической сознательности можно добиться роста количества и качества продукции. А это ключ к успеху в экономике. Инструкции отряду громко зачитала Лу. Потом она сказала, что каждый обязан выступить с речью на собрании по самокритике. На таких собраниях она обычно выходила из себя, потому что две трети бойцов просто дремали. Лу заявила: в наши ряды пробрался классовый враг. Мы обязаны глубоко вникнуть в законы классовой борьбы — это сделает нас непобедимыми.

Чтобы заставить бойцов трудиться еще прилежнее, Лу запретила в рабочее время отлучаться на оправку чаще двух раз и отсутствовать дольше чем пять минут. Каждый, кто нарушал это правило, подвергался жесточайшему осуждению. «Только ленивые ослы справляют нужду чаще, — заявила Лу, — но их и бьют смертным боем».

Когда Лу попросила Янь провести с массами мобилизующую политбеседу, та, встав перед строем, сказала: «Пожалуйста, повторяйте за мной: «Председатель Мао учит доверять людям!» Все собрание уложилось в одну минуту. Лу заявила: «На хилом фундаменте дом не построишь». — «Что-нибудь не так?» — поинтересовалась Янь. Вкладывая карандаш в тетрадь, Лу сказала: «Товарищ секретарь! Сдается мне, что у тебя в мозгу тараканы завелись». — «Вот как, тараканы говоришь, а знаешь, откуда они? От тебя! Ими все твое нутро полно! Теперь они оголодали и лезут из всех отверстий: из глаз, ушей, носа, даже из задницы. Ты опасна для окружающих, и не тебе рассуждать о фундаменте и доме!» Янь повернулась и пошла прочь. Лу стояла как оплеванная.

Хотя мои жалобы на холодную погоду становились уже малоубедительными, мы продолжали спать с Янь в одной постели. Это как бы вошло в привычку. Лу сделалась невыносимой. Заявила, что мы «отделились от коллектива». На партсобрании обвинила Янь в ослаблении самодисциплины и в опасной тенденции к ревизионизму. Критиковала Янь за «отрыв от масс», за «фракционизм». Янь сказала мне, чтобы я не обращала внимания на это «политическое ничтожество».

Однажды я обнаружила, что кто-то исследовал мою постель. Потом обратила внимание: Лу перестала храпеть по ночам. «Уж не прислушивается ли она к нам?» — спросила я себя. Назавтра Лу вызвала меня для беседы. Поинтересовалась, чем мы с Янь на кирпичном заводе занимались. Я ответила: «Играли на эрху». — «И все?» По ее глазам я видела: она не верит ни одному моему слову. Лу сообщила, что от коллектива поступают на нас обеих заявления с жалобами. Она любила это слово — «коллектив», за него было удобно прятаться. Я притворилась ничего не понимающей, извинилась, сказала, что не знаю, о чем речь. Она настаивала, мол, тут все ясно-понятно. Со смехом сказала: «С чего это вы с Янь одеждой меняться надумали?» Тут она попала в точку: чтобы чуть-чуть покрасоваться, мы

и вправду менялись платьями, а я еще носила широкий пояс подруги. «А это разве запрещено?» — поинтересовалась я. Но Ледышка, не ответив, усмехнулась и пошла прочь. Своим видом она как бы говорила: «Ладно, поживем — увидим». Этой же ночью на стене столовой появился свежий лозунг: «Будь готов к новому обострению классовой борьбы!» На вечернем собрании Лу держала речь о «саботажниках, проникших в ряды пролетариата». Она подчеркнула, что бойцы нашего отряда не позволят «одной мерзкой мыши нагадить в общепролетарскую кашу».

Этой ночью у бойлерной мы с Янь обсуждали, как быть с возникшими у Лу подозрениями. Янь предложила перестать спать вместе. По ее сведениям, Ледышка получила из штаба разрешение на ночной досмотр в спальнях. «Пойми, это не шутки», — сказала она. «Хорошо, сегодня — в последний раз», — ответила я. Потом мы обнялись. Мне показалось, она раздавит меня в своих объятиях.

Ночью сквозь сон я почувствовала на щеке чужое дыхание. Глянула сквозь ресницы: чьи-то неясные очертания... Лу! Меня охватил ужас. Приподняв москитную сетку, она наблюдала за нами. Мое сердце бешено колотилось, но я постаралась взять себя в руки. Притворилась крепко спящей. Но страх был сильнее меня: если она приподнимет одеяло — конец. Мы обе голые, и нас можно немедленно арестовать. Я слышала, как Лу сдерживает дыхание, и мои пальцы судорожно вцепились в простыню. Я молилась, сама не зная кому и о чем. Просто молилась. Она наклонилась ниже, коснулась моей шеи.

Янь во сне перевернулась на другой бок и уткнулась в стену. Тень Лу метнулась по потолку. Меня просто парализовало. Когда я осмелилась приоткрыть глаза, рядом никого не было.

Лу перестала донимать меня вопросами. Но теперь, куда бы я ни пошла, за мной следовала или она сама, или кто-нибудь из ее верных подручных. Напасть она готовилась на меня, но целью была Янь. Без Янь мне было просто невмоготу. Все лишилось смысла. Но она работала еще с большим рвением, чем прежде. Работала и скрывала свои чувства. Заставила Ледышку вместе с ней ворочать камни, не давала себе послабления, с ног сбивалась, но и Лу вилась угрем и не роптала. Уверенная, что день ее торжества недалек, та все сносила с достоинством. Правда, несколько раз вечером я замечала: за чтением она плачет. «Знаешь, мне ведь безразлично, колют меня или режут, — сказала она мне однажды с вымученной улыбкой, оторвавшись на минуту от своей тетради. — Главное — вера».

Три недели спустя, когда в комнате никого не было, я попросила Янь оставить Лу в покое. «Не загоняй ее в угол, — умоляла я, — вспомни, когда выхода нет, собака способна стену перемахнуть». Но Янь, приперев меня к двери, твердила: «Она рвется к власти, хочет меня скинуть. Объявила мне войну. Ей известно, что, задевая тебя, она тем самым задевает и меня». Янь сообщила мне, что две недели назад Лу посмела отвергнуть рекомендацию в партию, которую она, Янь, дала мне. «Боится, как бы у тигра не выросли крылья! — твердила Янь. — Ведь ты — мои крылья, понимаешь?»

Я сказала, что вовсе не рвусь в партию. «Но это необходимо! Партийность — твое оружие в борьбе за собственное будущее», — не уступала Янь. «Но как ты собираешься переубедить Лу?» — «Переубедить? Если меня бьют, я даю сдачи», — перефразировала она Мао. По словам Янь, она была в штабе, где с ней говорили о Лу, которую наметили двинуть на повышение. «Я поступила с ней так же, как она с тобой, — выбила почву у нее из-под ног! Черта с два ее теперь повысят!» — «Она же тебя возненавидит», — ужаснулась я. «Плевать, Лу меня тоже в угол загнала!» Нас окутал туман, трава была в росе. Я сказала, что устала от жизни, что чувствую себя пулей, и, похоже, ружье вот-вот выстрелит. «Но лучше бороться, чем пропасть за так! Раз родились в это клятое время и назад в материнскую утробу не влезешь, значит, надо быть бойцом!» — твердо заявила Янь.

Наступил Праздник весны. Подавая пример бойцам отряда, мы с Янь вызвались дежурить в праздничные дни — это позволяло побыть вдвоем. Мы насобирали в поле цветной капусты и сварили чудесный суп. А поздно вечером отправились на долгую прогулку. Я чувствовала себя совершенно умиротворенной. Временами поглядывала на Янь. Ее профиль отчетливо рисовался на фоне темного неба. Она казалась мне какой-то могучей богиней. В который уже раз я ощутила почтительный трепет, словно лишивший меня дара речи. Мы брели плечом к плечу. Она задумчиво глядела вдаль. Холодный воздух бодрил. Я глубоко вздохнула. Наверняка Янь думала сейчас о будущем, обо мне. Как мало трогали меня эти мысли: что можем мы знать о будущем и разве способны что-то предрешить?! Вся жизнь от самого рождения расчислена впрок: ты всего лишь крохотный винтик в механизме революции и останешься таким до смерти.

Янь взяла меня за руку и крепко ее сжала. Мы сели на землю. Два чувства — печаль и радость — охватили нас. Когда мы вернулись домой, неожиданно явилась Лу и сказала, что достаточно одного дежурного, кто-то из нас может быть свободен. Мы были страшно разочарованы, но возражать не решились.

Война между нами и Лу делалась все упорней. Никто не поддавался, как не поддается мотыге смерзшаяся земля. Лу неустанно следила за нами, она буквально рехнулась. Мы счастливо избегали ловушек, которые она нам расставляла. Днем перебирали зерно, сортировали хлопок, а ночью лежали каждая в своей постели и мечтали друг о друге. Раз я заметила тень Лу на пороге — она нас подслушивала. Я подала знак подруге. Янь схватила палку и, делая вид, что гонится за крысой, широко распахнула дверь. С дурацкой улыбкой Лу объяснила, будто ловит комара.

Однажды, когда Лу работала в поле, Янь вдруг схватила ее знаменитый череп и зашвырнула его в навозную яму. Та, не найдя вечером свою святыню, промолчала, только, сверкая глазами, вырезала ножом на двери дату ужасного преступления. Янь ни в чем не призналась. А я, глядя на эти письмена, просто физически ощущала страшную силу затаенной ненависти. Как-то ночью Лу во сне плакала.

После Праздника весны мы ежедневно обрабатывали хлопковые посадки. Ветер с Восточно-Китайского моря нес с собой тучи невероятно острых песчинок, которые буквально секли кожу на лице. У многих от мороза началось воспаление почек. Бойцы роптали. По утрам замерзала вода в трубах. К тому же донимали блохи. Призывы Лу жить дружной семьей не встречали отклика. Янь сторожила каждую ее ошибку, надеясь удалить соперницу из отряда. Лу это знала и мечтала опередить Янь.

Мы с Янь давно уже не встречались на кирпичном заводе. Лу вполне могла послать туда своих ищеек. Янь прямо-таки спала с лица. Опять стала ругаться на подчиненных. То и дело кто-нибудь подвергался наказанию. А в штабе начальство, разгневанное недобросовестностью бойцов, даже приговорило нескольких к смертной казни. Об этом извещали приказы, развешанные тут и там по стенам, вместе с призывами: «Убить цыпленка, чтобы устрашить обезьяну!»

Однажды Янь сообщила мне, что Орхидея сделалась одной из ищеек Лу и тайно следит за нами. Я не поверила: Орхидея казалась мне порядочным человеком. Но по словам Янь, в нашем отряде больше ни за чью порядочность нельзя было поручиться. Все здесь точно псы, рыщущие в поисках пропитания. И готовы на все, особенно за начальническое послабление. А Лу почему-то поставила Орхидею на легкую работу. «Тебе за каждым деревом враг мерещится», — заметила я. «Верно, — согласилась Янь, — но ведь этот госхоз «Красное пламя» — настоящий сумасшедший дом!»

Как-то утром, когда я со своим взводом работала на хлопке, у края поля остановился белый микроавтобус. Ничего похожего у нас в госхозе не водилось. Оттуда вылезли хорошо одетые люди в военных плащах и направились в нашу сторону. Приблизившись, они принялись оглядывать нас с ног до головы. Вдруг один из приезжих ткнул в меня пальцем и велел подойти поближе. Я отерла пот со лба и приблизилась. Он поинтересовался моим возрастом. Самому ему можно было дать лет сорок. Говорил он, точно диктор с радио, — на официальном пекинском диалекте. Спросил, как проехать в штаб. Одна женщина из их группы слушала наш разговор и делала какие-то пометки. Пока я объясняла дорогу, они окружили меня, словно что-то во мне оценивая. Первый мужчина поинтересовался, есть ли у меня мозоли на руках. Я продемонстрировала ему полный набор: на руках, на коленях, даже на предплечьях. Все исследовали мои волдыри, заодно приглядели ись и к ногтям — бурым от постоянной работы с минеральными удобрениями. Потом мужчина что-то шепнул женщине, и она сделала еще одну пометку в своем блокноте. Через минуту они уже садились в автобус, но поехали вовсе не в сторону штаба.

В тот вечер на политучебе вместо занятий все шепотом обсуждали утренний визит, гадали, кто да что. Наконец девица, тетушка которой работала в правительственном комитете по культуре, объяснила: товарищ Цзян Цин, супруга Мао, приступила к реформе кинематографии и разослала по стране группы ассистентов на поиски юношей и девушек, годных для учебы на киноактеров. Внешность претендентов должна была внушать народу, что даже под пытками эти молодцы не предадут идеалы коммунизма. В будущем кто-то из них будет исполнять в кино главные роли. Высокая политика требовала, чтобы кандидаты отбирались из числа передовиков производства, отличников боевой и политической подготовки.

Я поделилась новостью с Янь. Она заметила, что это пустые разговоры, нам до красавиц как до небес, мы — черная кость. У нас шансов попасть в актрисы не больше, чем отыскать гвоздь в океане.

Назавтра кто-то повесил на двери нашей спальни зеркало, и теперь, куда бы девушки ни отправлялись, они непременно охорашивались. Вечером я даже Лу застала за этим занятием. После короткого замешательства она велела мне снять зеркало. Я пыталась отговориться тем, что оно не мое, но она заставила меня, пообещав на вечернем собрании обсудить нашу неустойчивость перед буржуазным влиянием. Потом водрузила зеркало рядом с отрядной доской приказов и сверху начертала лозунг-предостережение: «Могучую дамбу подтачивает крохотный муравей». А потом еще два часа ораторствовала на собрании о важности борьбы с тайными идеологическими диверсантами.

Но ее наставления не отвадили бойцов от киномечтаний. Все старались одеться поприличнее и пускались на разные ухищрения, чтобы попасть в штаб и увидать там необычных гостей. Раз нас с Орхидеей отправили в штабной магазин за консервированными овощами. В штабе толпился народ. Все обсуждали, куда поехали киношники, и я услыхала, как кто-то сказал, будто они должны проехать по улице Красного Сердца.

Орхидея спросила, не пойти ли нам туда. И тут мы поняли, что все на эту улицу и направляются. Я колебалась. Но Орхидея уговаривала: «Никогда ничего не предугадаешь. Вот одну девицу из тридцатого отряда выбрали, когда та зубы чистила! Только попросили побольше пасты на щетку выдавить». И мы пошли. Все ждали, делая вид, что просто прогуливаются. Через полчаса появился белый автобус. Люди сразу замерли и только улыбались автобусу. Я тоже улыбалась.

Через неделю Янь и Лу были вызваны партсекретарем всего госхоза в штаб на важное собрание. Вернувшись, они сообщили, что в «Красном пламени» отобраны две девушки и юноша для участия в региональном конкурсе претендентов. Одной из них оказалась я.

Раз за разом вглядывалась я в свое отражение в зеркале, воображая, что это не зеркало, а киноэкран. Улыбалась, хмурилась, недоумевала — пробовала разные выражения, которые, как мне казалось, понравятся будущим зрителям. Янь сказала, что на конкурсе мне предложат на выбор: или станцевать, или прочитать наизусть стихотворение Мао. Я решила выступить со стихотворением «Славлю зимнюю сливу!» Зимняя слива «мэйхуа» по желанию самого Мао символизировала компартию и Красную Армию. Янь смотрела, как я готовлюсь к выступлению. Она сидела передо мной неподвижно, словно изваяние Будды. Когда я спросила: «Ну как?» — она ответила: «Точно из курятника в небеса взмыл феникс».

Через три дня Янь получила распоряжение отвезти меня в Шанхай на конкурс. Накануне отъезда она где-то пропадала до полуночи. Пришла и, не говоря ни слова, сбросила туфли и забралась в постель, плотно задвинув занавеску. Я понимала, что творится у нее в душе, но была бессильна помочь. «Эй, товарищ Лу, выключи-ка этот чертов свет!» — вдруг проорала она из-за занавески. «Но я еще не кончила заниматься», — твердо заявила Лу. «Уже ночь!» — не унималась Янь. Тогда, поднявшись, Лу произнесла со значением: «Я изучаю марксизм». — «Да хоть капитализм! Гаси чертов свет!» — Янь закусила удила. «Ты ведешь себя, как фашистка», — заметила Лу, спокойно усаживаясь на свое место. Янь вскочила с постели, выключила свет и юркнула обратно за занавеску. Лу встала и зажгла свет. С воплем «Ты, сука!» Янь схватила свой любимый инструмент эрху и запустила в лампочку. Послышался звон стекла, и наступил мрак. «Я напишу на тебя докладную в штаб», — пообещала Лу во тьме. Я притаилась, как мышь. Да и что тут скажешь! Ведь это мой отъезд так завел Янь. Как бы она ни хотела, чтобы я вырвалась отсюда, расставание со мной лишало ее всего. С тех пор как пошатнулась былая вера в коммунизм, она уже не была такой неуязвимой, как прежде. А что, если я выиграю конкурс?

Утром она казалась спокойной. Всыпала мне в кашу весь сэкономленный сахар. Лу следила, как Янь выводила трактор, чтобы везти меня. За нами молча наблюдали бойцы отряда. Сначала нужно было в штабе поставить печать на разрешении уехать из госхоза, и только потом мы отправились в Шанхай.

Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, в кузове госхозовского грузовичка. На подъезде к городу нас застиг дождь. Я старалась не думать о будущем, о том, что мы с Янь, может быть, видимся в последний раз. Она достала пластиковую накидку и укрыла меня от дождя, а когда я попыталась натянуть накидку и на нее, уклонилась. Я сжала ее руку: «Может быть, я не пройду даже во второй тур», — сказала я. «Только попробуй! Ты попросту плюнешь мне в душу», — отозвалась Янь.

Я и представить себе не могла таких торжественных ворот, как при въезде на Шанхайскую киностудию. Передо мной расстилался цветочный ковер, по обе стороны которого возвышались два темно-красных здания. Мы с Янь прошли через павильон, где по нарисованному океану плыл деревянный флот. Потом мы заблудились и оказались среди горящих домов возле рушащегося моста. Там были прорыты траншеи, стояли искусственные деревья, повсюду виднелись солдаты-манекены в китайской или японской форме, пылал японский флаг. На нас заорал охранник. Мы показали ему официальную бумагу, и он проводил нас в зал, где уже собрались во множестве юноши и девушки. Нам показали наши места. Я огляделась. Над сценой алел лозунг: «Все силы на подъем партийной культуры!» Два других лозунга висели вертикально, по обеим сторонам сцены: «Товарищ Цзян Цин ведет нас вперед» и «Да здравствует победа революционной линии Мао!» Покрытый белой скатертью длинный стол занимал пространство перед сценой. За ним восседало жюри.

Девушка рядом со мной была необыкновенно хороша, таких я в жизни не видывала. Она сказала, что приехала из соседнего с нашим госхоза «Красная звез-

да». Губы ее казались свежим бутоном, не то что мой рот, огромный, точно у жабы. Под юбкой круглились бедра — не чета моим, плоским, как доска. Когда прозвучало ее имя, она спокойно поднялась на сцену и исполнила свой номер: монтаж танца и художественного чтения. Она смеялась и плакала совсем по-настоящему, у меня даже дыхание перехватило. В ушах звенело, перед глазами все плыло: лица соседей, членов жюри... Куда я попала? Я и понятия не имела об актерской профессии, даже пекинским произношением владела плохо. Услыхав свое имя, я запаниковала, вместо того, чтобы подняться на сцену, прижалась лбом к спинке переднего кресла и закрыла голову руками. Янь принялась трясти меня, но я не могла ни рукой, ни ногой шевельнуть. Прямо столбняк какой-то напал. Ведущий в последний раз объявил мое имя. Я была близка к обмороку. Ноги подгибались. Янь в ярости орала прямо мне в ухо: «Да оторви же свою чертову задницу от стула! Ты, хрюшка дерьмовая! Это же твой единственный шанс вырваться из ада! Мне стыдно за тебя!» Я вскочила с места. Судорожно отерла пот с лица. Сбросила шинель и взлетела на сцену.

Лица членов жюри ничего не выражали. Они просто рассматривали меня. Один лысый даже очки снял. Я открыла было рот, но у меня пропал голос, в голове — полная пустота, ни слова вспомнить не могу. Янь с пылающим лицом поднялась со своего места. Стихи сами собой полились из меня. Стихи Председателя Мао. Я почти кричала: «Славлю зимнюю сливу!» Звуки будоражили, как сигнал боевой трубы. Янь улыбалась, ее губы шептали следом за мной:

Дождь и ветер прогнали весну,
Но снег ее возвратил.
Ледяными зубцами сосулек оброс
За ночь горный карниз.
Но сливы тонкое деревцо
В природную круговерть
Не вмешивается — ведь оно
Всего лишь предвестник весны.
Но только по склонам окрестных гор
Ляжет цветочный ковер,
Исполнив предназначенье свое,
Осыплет слива свой цвет.

Янь смотрела на меня с нежностью и всю обратную дорогу до госхоза держала мои руки в своих.

Хотя результатов конкурса еще не было, в отряде бойцы от меня как-то отдалились, я ощущала их холодность, даже враждебность. Месяца через два мне стало казаться, что я провалилась. Но вскоре Янь привезла из штаба новость — я прошла во второй тур. Родители обрадовались, что проведут со мной несколько дней. Отец уговаривал особо на успех не надеяться. Он, как и мать, выглядел много старше своих лет, в нем чувствовался душевный надлом. Им обоим дорого дался опыт последних лет. Отец уже не был тем уверенным в себе астрономом, который нарек сына гордым именем Звездолет. Стараниями институтского партсекретаря его буквально стерли в порошок. Он все время дрожал, как мышиный хвост.

Потом я опять вернулась в госхоз и еще трижды ездила на конкурсы. О том, что меня ждет, я старалась не думать. А Янь буквально изнуряла себя работой. Мне случалось ловить на себе ее тоскующий взгляд. Говорила она со мной редко, в голосе слышалось утомление. Я же просто слов не находила. Делиться с ней своими переживаниями не могла, да и не хотела. Лучше бы вообще не встречаться. Забыть обо всем, пока время не разлучит нас.

Ранней весной 1976 года после заключительного конкурсного тура меня послали на Шанхайскую студию, чтобы в специальном классе оценить мои способности к учебе. Многие претендентки, а среди них попадались очаровательные, вроде той девушки с пунцовыми губами, были отвергнуты. Оставили тех, у кого нашли актерские задатки. Позднее мне говорили, что Цзян Цин предпочитала, как

сама она выражалась, «социалистическую траву росткам капитализма». Вот жюри и выбрало меня — талант невеликий, зато вполне благонадежна.

В классе меня заставили носить пластиковый пакет и притворяться, будто он набит тяжеленными камнями. Сказали, что врожденного дарования во мне нет (откуда ему взяться, если в нашей семье никогда и актеров-то не было), но схватываю я хорошо. Потом велели выпить воды. Преподаватель остановил меня: «Нет-нет! Разве так пьют? Во-первых, пролетарий никогда не возьмет кружку тремя пальцами, только ладонью. Во-вторых, выпьет ее залпом, а не мелкими глотками, словно буржуй какой-то, да еще рукавом утрется». На студии еще раз проверили мою благонадежность — биографию, личное дело, а потом отправили назад в госхоз. Мне объявили, что я принята.

Когда я сообщила новость Орхидее, та в ответ поделилась со мной слухом: будто бы штаб назначил комиссию для расследования наших с Янь отношений. Во главе комиссии — Лу. Я отправилась к Янь проверить, что и как. Она была близка к отчаянью. Сказала, что Лу написала тайный донос в штаб и тотчас вся тамошняя саранча зашевелилась и ринулась в бой. Ей велели добровольно положить на стол партбилет, грозя в противном случае вспышкой народного гнева. «Я все отрицала, — шептала Янь, — все. Завела их партийную волынку: мол, у меня со всеми товарищами одинаковые революционные отношения, мол, ты под моим руководством добилась серьезных успехов в командовании взводом, потом бесстыдно клялась в любви к партии. А что еще делать в этом сумасшедшем доме? Секретарь спустил все на тормозах, но Лу направила материалы на киностудию, в тамошний парткомитет. Эта дрянь прямо-таки взбесилась!»

С киностудии приехали разбираться. Беседовали с Лу. Зато ни со мной, ни с Янь даже не встретились. Тут и наш секретарь спохватился, послал двух своих подручных, которые опросили всех бойцов отряда. Янь нервничала. «Что-нибудь да разнюхают. Уж «голос народа» им такое напоет», — говорила она. Я спросила, как мне себя вести. Янь задумалась, а потом ответила поговоркой: «Черт ловок, но даос в десять раз ловчее». Я не поняла, и она велела мне, во-первых, все отрицать, а во-вторых, делать только то, что она, Янь, мне скажет. И лишних вопросов не задавать. У нее был некий план, но пока она решила меня в него не посвящать.

Лу захватила всю власть. Янь словно бы и не было в отряде. Она забросила чтение Мао, объяснив, что уже постигла сущность его учения, носилась взад-вперед с улыбкой на лице, все время напевала. На завтрак и на обед ела исключительно свинину и здорово растолстела. Через неделю после моего возвращения, утром, Лу собрала собрание. Она велела бойцам повторять следом за ней стихи Мао, вникая в их глубинный смысл. Все поняли замысел Лу и украдкой поглядывали на Янь: в стихах высмеивались те, кто переоценивает свои силы. Но Янь как ни в чем не бывало громко повторяла вместе со всеми строчку за строчкой. Лу прохаживалась перед строем и поучала, сопровождая слова решительными жестами: «Я вас давно предупреждала и сейчас повторяю: муха садится только на битые яйца! Разве не так?» Она остановилась перед Янь. Та кивнула. С самодовольной улыбкой Лу достала из кармана бумагу и зачитала решение штаба: до окончания расследования никто от нашего отряда на студию не поедет.

Я взглянула на Янь. Мне не удалось скрыть разочарования. Янь грызла кочерыжку. Ее била дрожь, она выглядела точно раненый бык. Лу даже поинтересовалась, не требуется ли аспирин. Медленно повернувшись лицом к строю, Янь спросила: «Что говорит овца, когда волк собирается с ней Новый год встречать?» Бойцы не посмели ответить. Они буквально ели Лу глазами. А та, сжав кулаки, потребовала, чтобы отряд хором произнес сентенцию Мао: «Нужна метла, грязь не

исчезнет сама собой. Так же обстоит дело и с реакционерами». Янь снова обратилась к бойцам: «Учитесь на моих ошибках, товарищи! Рыбий глаз я приняла за жемчужину». Она рассмеялась. Бойцы молча наблюдали. Лу ухмыльнулась: «Победитель смеется не громче, а дольше».

Все складывалось хуже некуда. Еще и Янь днями не говорила мне ни слова. Я чувствовала, что заболеваю. Кто способен мне помочь? В этой стране, если партия заклеймила тебя реакционером, стань им — другого выхода нет. Бойцовские качества Янь никогда не вызывали у меня сомнений, но сейчас она меня разочаровала: одни словесные перепалки с Лу, ничего больше. И опять я спрашивала себя: что можно предпринять? Я была просто на пределе.

Целыми днями я работала на молотилке. Ее грохот бил по мозгам. Но я все равно не могла не думать о своих несчастьях. В воздухе кружились мельчайшие частички зерновой шелухи. Я орала на Орхидею, которая сгребала умолот. Она орала в ответ. У меня разболелась голова. К вечеру стало просто невмоготу. Я металась на постели. Вдруг с нижних нар послышался тихий голос. Это была Янь. Лу вполне могла слышать, как она шепчет. Янь сказала, что ей необходимо встретиться со мной на кирпичном заводе. Я молчала. Мне показалось вдруг, что она помешалась, как Зеленюшка. Уткнувшись лицом в подушку, я сдерживала рыдания. Янь не унималась. «Прошу, спи, — взмолилась я, — тебя же услышат». — «Плевать! Я хочу тебя. Ночью можно, мы так давно не виделись».

Я заметила, как дрогнула занавеска на постели Лу. «Ты придешь? — говорила Янь. — Я возьму трактор и буду ждать тебя». Она откинула москитную сетку и выскользнула из комнаты.

На улице меня окутала тьма. Если я последую за Янь, рухнет весь мой мир. Без сомнения, Лу нас слышала. Я взобралась на трактор, Янь рванула с места и понеслась стремительно, словно водяная змейка в камышах. Она сгорбилась над рулем, как жокей. Грейдер был достаточно широк, но, когда нам навстречу попался тяжело груженный трактор, она резко вильнула в сторону.

Кругом царил мрак. Фары трактора и треск двигателя внушали мне ужас. Янь не снижала скорости. Временами трактор подпрыгивал на ухабах. Я вышла из себя: «Хватит, сходи с ума в одиночку! Не желаю с тобой вместе подыхать! Не хочу в тюрьму! Не хочу сделаться Зеленюшкой!» А Янь в ответ проорала какие-то чертовы лозунги-призывы, вроде «Хочешь победить, отбрось робость, тихони никогда не побеждают!». Я кричала, что нам их вовек не одолеть, они убьют нас, Лу задушит собственными руками. «Да, ей бы это доставило удовольствие», — согласилась Янь.

Трактор продирался сквозь тростник. Узкие листья секли меня по лицу. Я продолжала орать. Янь обозвала меня мечтательной дурой, потом крикнула, что сделает из меня убийцу, но убийцу, способную победить. Возле оросительного канала она заложила такой крутой вираж, что я чуть с трактора не слетела. Тогда Янь крепко обняла меня правой рукой за плечи, продолжая править левой. Вскоре она заглушила двигатель. Где-то за нами отчетливо гудел еще один трактор. Янь велела мне прыгать. Я не двинулась. Мне показалось, что я ослышалась — она сказала, чтобы я возвращалась бегом в отряд, подняла по тревоге свой взвод и привезла его на кирпичный заводик: там необходимо произвести обыск. «Что ты задумала?» — выдавила я, но она только спросила, понятен ли приказ, и спихнула меня с трактора.

Я рухнула в тростник, а когда поднималась, мимо прогрохотал другой трактор, яростный, словно тигр на охоте. И в кромешной тьме я узнала в водителе Лу. Меня трясло. Я не могла ни о чем думать — просто мчалась со всех ног. Потом подняла свой взвод по тревоге, посадила бойцов на три трактора, твердя только

одно: «Кирпичный завод... кирпичный завод...» Мне и нечего было больше сказать. Я подняла винтовку и передернула затвор.Через полчаса взвод был на месте. Мой заместитель доложил, что в зарослях тростника обнаружены два трактора. Отдавая приказ, я начала понимать замысел Янь. Меня прямо в жар бросило. Тени бойцов заскользили между рядами кирпичей.

Мне вспомнилось, как Янь играла здесь для меня на эрху. Я продолжала двигаться, и во мне медленно росло странное чувство, словно я теряю рассудок. Я что-то выкрикнула в сердцах. Бойцы замерли — они приняли мой крик за приказ остановиться. Прежде чем я справилась с собой, в тишине послышались звуки. Мне опять показалось, что я свихнулась: отчетливо донеслось бормотание, постанывание, как той ночью во время охоты на Зеленюшку. Заместитель спросил, продолжать ли движение, но я только услыхала, точно со стороны, как голосом Янь командую: «Заряжай!» И бойцы двинулись на звуки, становившиеся все более громкими. Я потеряла всякое представление о реальности. Бойцы опередили меня, и теперь где-то впереди шуршало и постукивало, точно там ворочали мешки с картошкой. Шарканье ног мешалось с какими-то животными всхлипами. Меня охватил дикий страх. Когда послышалась команда «стой!», сердце мое едва не остановилось. Мне доложили, что преступники обнаружены — их взяли на прицел. Стало светло, словно луна вышла, — это разом зажглись два десятка фонариков. Картина, представшая передо мной, пронзила мне сердце. Янь и Лу, обе полуголые, лежали, тесно обнявшись, словно два огромных тутовых шелкопряда. Свет мерцал на их белых телах. Заслонившись рукой от света, Янь встала. Потом сделала движение, точно намереваясь бежать, но солдаты сомкнулись теснее, и она застыла в центре круга.

Подъехал новый трактор, и из него выбрался секретарь партбюро госхоза. Бойцы расступились, пропуская его. Я была глубоко изумлена замыслом Янь. Всегда и во всем она вела меня за собой. Янь медленно надевала рубашку. Потом огляделась, подняла рубашку Лу и прикрыла ее наготу. Двигалась она не без изящества. Лу лежала неподвижно, она впала в прострацию. «Она ни при чем, — указывая на Лу, заявила Янь. — Это я ее соблазнила и должна одна нести наказание».

И тут Лу завизжала: «Нет! Я жертва! Вы что, ослепли!» Янь молчала, а потом сказала, что просит прощения за подругу, у той просто нервы сдали. А Лу продолжала твердить, что это западня, в которую две реакционерки заманили ее, революционерку. Она указала на меня как на сообщницу Янь. Солдаты были смущены. Никому в отряде, у кого оставалась хоть капля мозгов, и в голову прийти не могло, что у Янь с Лу роман. Они были антиподы. Только секретарь всему поверил. Он угодил в ловушку, что называется, с потрохами. Янь выступила вперед. Она решила воспользоваться общим замешательством. Бухнулась на колени и, словно от стыда, закрыла лицо руками. Ей хотелось убедить бойцов в правдивости увиденной ими сцены. Хотя все это напоминало дурной театр марионеток. Но мне пришлось поддержать игру. Указав на Ледышку, я заявила, что нападками на невинного она только усугубляет свою вину. «Вот, смотрите, — сказала я партсекретарю, — это вылазка настоящей реакционерки!» Секретарь кивнул: «Пускай себе забавляется!» Лу прямо взвыла: «Товарищ секретарь, я требую правосудия!» Тут опять вступила Янь со словами, что во всем происшедшем виновата только она, Ледышка тут ни при чем. А Лу продолжала свое: «Нельзя позволить реакционерам избежать возмездия! Проявите твердость!»

Секретарь заложил руки за спину и двинулся к своему трактору. «Вор кричит: «Держите вора!», — с усмешкой бросил он. Лу вскочила на ноги. «Я никогда не обманывала партию! Вы должны мне верить!» Секретарь забрался на трактор, велел водителю трогать, а сам, указывая на преступниц, произнес: «Вы, мои лучшие офицеры, опозорили меня!» — и умолк, словно скорбь мешала ему говорить. Лу принялась умолять, чтобы ей дали возможность оправдаться, но секретарь

отказал, он же все видел своими глазами. Трактор уже набирал скорость, когда секретарь выкрикнул свою последнюю сентенцию: «Хочешь, чтобы поле было чистым, выполи сорняки».

Поскольку мое досье было безупречным, дело решилось благоприятно. Меня направили на Шанхайскую киностудию учиться на актрису. В штабе даже устроили мне отвальную. Все приветствовали меня, а секретарь наградил красным знаменем с вышитыми золотом иероглифами. И еще меня сделали Почетным бойцом. «Наш госхоз гордится тобой, — заявил секретарь, — и ты должна своей жизнью оправдать надежды народа!»

Ни на миг не прекращала я думать о Янь. Их вместе с Лу поместили в темной комнатушке внутри водонапорной башни. Что было делать? Не уезжать? Но всякая моя попытка спасти Янь только подтвердила бы подозрения, что истинные преступницы — мы с ней. Я должна была ехать — и во имя спасения Янь тоже. Я стала собираться. Что ждет ее здесь, в госхозе? Страшно представить, каково ей сейчас — одинокой, лишенной будущего. И это я отняла у нее жизнь!

Рано на рассвете я уже была на ногах. Со слезами смотрела на пустую постель Янь и перебирала вещи подруги. С собой я брала ее коллекцию значков с Мао — на счастье — и на счастье оставляла здесь свою москитную сетку.

Было еще совсем темно, когда я ждала на перекрестке попутку до Шанхая. Дул пронзительный ветер. Поднятый им песок сек мне лицо, забивался за воротник и сыпался на спину. Когда наступил миг прощания с этими полями, мне вдруг припомнилось все, что нам с Янь выпало здесь пережить, начиная с того первого дня моего приезда в отряд, когда я увидела ее, идущую у самого горизонта.

Подъехал грузовик. Я забралась в кузов. Когда машина тронулась, мир завертелся у меня перед глазами, как колесо. Вдали возник силуэт водонапорной башни, и мне почудилось, что я вижу на ее макушке знакомую фигуру с красным флагом, который развевается на ветру.

■

ШЕЙМАС ХИНИ
ДАНЬ ПОЭЗИИ

Нобелевская лекция 1995 года

От переводчика

Лауреат Нобелевской премии 1995 года Шеймас Хини назвал свою стокгольмскую речь «Дань поэзии», однако прежде всего воздал в ней дань своей родине, Ирландии, «Острову покаяния» — если воспользоваться названием одной из его ранних поэм.

Нобелевская речь Хини (как, впрочем, и других знаменитых ирландцев) целиком ориентирована на ирландский литературный и исторический опыт, пронизана ирландскими мотивами: кровавой историей — вчерашней и сегодняшней, угрюмым, временами беспросветным моральным пейзажем после тысячелетней битвы за независимость; неизживаемыми религиозными предрассудками, расшатывающими даже самое самобытное, самое устойчивое поэтическое сознание. Навеяна речь, разумеется, и значимостью национального достояния; в центре ее — Уильям Батлер Йейтс, признанный национальный гений, который за 73 года до Хини в своей Нобелевской лекции говорил, по существу, о том же: о здоровом начале древнего мира с его «неуемным воображением», о необходимости опираться на национальные традиции, об адекватности и устойчивости поэтической правды.

«Поэтическая правда» — самое часто встречающееся словосочетание в лекции, центральная тема которой — нерасторжимая связь национальной судьбы с поэтической традицией, размышления о том, сможет ли особый, поэтический порядок вещей адекватно передать страдания и предрассудки и, главное, изжить их. В такой постановке вопроса звучит уже совсем другая, русская тема. Как и многие его соотечественники (Джеймс Джойс, Джон Миллингтон Синг, Шон О'Фаолейн, Фрэнк О'Коннор), Хини говорит с нами на одном языке, чувствует и знает то, чего не чувствовали, не могли чувствовать другие крупные американские и английские поэты XX века. Не случайно Хини в своей лекции обращается к советской истории, ссылается на поэтический опыт не только Йейтса, Целана или Эмили Дикинсон, но и Ахматовой и Мандельштама, знает, понимает этих поэтов, пытается «примерить» на себя их трагический опыт. «Красота спасет мир» — не к этому ли знаменитому изречению Достоевского сводится в конечном счете смысл притчи об ирландском монахе или рассуждения о стихах Йейтса?

Не будем, однако, забывать: на этот раз, зимой 1995 года, Нобелевскую премию получил поэт, и название его лекции — «Дань поэзии» — следует понимать и в самом тривиальном, эгоцентрическом смысле: «дань моей поэзии». Более всего Нобелевская речь Шеймаса Хини навеяна его же собственными, переложенными на прозаический язык поэтическими образами, такими, например:

> ...скверны кровавой избегнуть в бытности сей,
> словом владеть, страшиться демонов злых
> и Бога — пока не возговорит он гортанью моей...
>
> *(«Старье на полке». Перевод Г. Кружкова)*

© The Nobel Foundation 1995

Впервые услышав про Стокгольм, я не задумался над тем, побываю я когда-нибудь в этом городе или нет; о том же, что мне предстоит стать гостем Шведской академии и Нобелевского комитета, я тогда не мог и помыслить. В то время, о котором я сейчас вспоминаю, сегодняшнее событие казалось не просто несбыточным, оно не укладывалось в голове. В середине сороковых годов я был старшим сыном в многодетной — и постоянно растущей — семье фермера из графства Дерри, ютились мы в трех комнатах традиционного, крытого соломой дома и вели в общем-то пещерную жизнь, отгородившись от внешнего мира и эмоционально, и интеллектуально. Это было замкнутое, самодостаточное, в чем-то даже животное существование, когда ночной шорох лошади в стойле за стеной спальни мешался с речью сидящих на кухне взрослых за другой стеной. Разумеется, мы, дети, с жадностью воспринимали все, что происходило вокруг: и дождь в деревьях, и мышей на чердаке, и пыхтевший за полем паровоз, — но делали это как-то дремотно, словно пребывая в спячке. Живя в мире внеисторическом и досексуальном, находясь в подвешенном состоянии между временем старым и новым, мы были так же чувствительны и восприимчивы, как питьевая вода в ведре, что стояло у нас в чулане при кухне: стоило земле содрогнуться от прошумевшего вдали поезда, как по поверхности воды медленно, в полной тишине расходились концентрические круги.

Но до нашего слуха доносилось не только содрогание земли; воздух вокруг нас и над нами был ничуть не менее живым и значимым. Ветер раскачивал не только ветви бука, но и проволочную антенну, крепившуюся к самой верхней ветке каштана. Проволока тянулась вниз и, вползая в дом через кухонное окно, забиралась прямиком во внутренности нашего радиоприемника, откуда сквозь какое-то невнятное журчанье и писк пробивался вдруг голос диктора Би-би-си, который, на манер deus ex machina, нежданно являлся из пустоты. Лежа у себя в спальне, мы слышали и этот голос, что разом заглушал голоса взрослых на кухне, точно так же, как часто слышали неистовые, пронзительные сигналы азбуки Морзе, перекрывающие все голоса вокруг.

В неспешном местном говоре наших родителей мы различали имена соседей, а в бойкой, правильной речи диктора — названия бомбардировщиков и разрушенных городов, фронтов и дивизий, число сбитых самолетов и взятых в плен солдат, понесенных потерь и отвоеванных территорий; различали мы, естественно, и совсем другие слова, звучавшие торжественно и даже как-то залихватски: «противник» и «союзники». Но и тогда ни одно из подобных сообщений о корчившемся в судорогах мире не внушало мне страх. Если в голосе диктора и ощущалось нечто зловещее, то в нашем понимании происходящего было тогда что-то вялое, безжизненное; если подобное политическое невежество в то время и в тех обстоятельствах и заслуживало порицания, то в самоуспокоенности, которую я обрел в результате этого невежества, имелись и свои положительные стороны. Военное время, иначе говоря, было для меня эпохой домыслительной. И долитературной тоже. В каком-то смысле и доисторической. Затем, по мере того как мой интерес к радиоприемнику становился все более целенаправленным, я стал влезать на спинку большого дивана, стараясь быть к диктору поближе. Но и тогда интересовали меня не последние известия, а занимательные истории вроде детективного сериала об английском разведчике Дике Бартоне или, к примеру, радиоспектакль по одной из захватывающих новелл капитана У. Джонса с участием аса королевских ВВС Биглса. Теперь, когда мои братья и сестры повзрослели и на кухне стоял постоянный гомон, мне приходилось, чтобы сосредоточиться, приникать к приемнику ухом — тогда-то, напряженно вглядываясь в освещенную шкалу, я и познакомился с названиями иностранных радиостанций, с Лейпцигом, Осло, Штутгартом, Варшавой и, конечно же, со Стокгольмом.

Переводя волну с Би-би-си на Радио Эйреанн, переключаясь с лондонских интонаций на интонации дублинские, я привык к внезапным залпам иностранной речи, и, хотя мне было непонятно то, что говорилось на этих первых встречах с гортанными и шипящими звуками европейских языков, я уже начал, сам того не сознавая, путешествие по просторам вселенной, а в дальнейшем — и по просторам языка: путешествие, где каждая точка на карте (будь то в поэзии или в жизни) оборачивалась скорее не местом назначения, а перевалочным пунктом; это путешествие и привело меня в

конечном счете на сегодняшнюю почетную трибуну. Впрочем, трибуна эта скорее напоминает не перевалочный пункт, а межпланетную станцию, и поэтому, хотя бы раз в жизни, я не откажу себе в удовольствии пройтись по воздуху.

Отдадим дань поэзии. Без нее подобная прогулка в поднебесье была бы невозможной. Я воздаю поэзии вполне конкретную дань за ту строку, что сочинил совсем недавно, советуя самому себе (равно как и любому другому, готовому к этому совету прислушаться) «ходить по воздуху, здравомыслие презрев». Однако отдаю я ей должное и в высшем смысле, ибо только поэзия способна установить такой порядок вещей, который одинаково подчиняется и воздействию внешнего мира, и внутренним законам поэтического естества, подобно кругам на воде, все расходившимся и расходившимся в том самом ведре в чулане пятьдесят лет назад. Такой порядок вещей, при котором мы можем наконец дорасти до того состояния, какое накапливалось по мере нашего роста. Порядок вещей, что неизменно утоляет интеллектуальный аппетит и бередит чувства. Иными словами, я воздаю поэзии дань за то, что она и выражает самое себя, и оказывает помощь, осуществляет мимолетную и целительную связь между центром рассудка и его окружностью, между ребенком, что напряженно смотрит на слово «Стокгольм» на шкале радиоприемника, и мужчиной, что вглядывается в лица людей, которых он повстречал в Стокгольме в этот памятный день. Я воздаю поэзии дань, ибо она эту дань заслужила — в наше время и во все времена. Заслужила правдой жизни — во всем многообразии значений этого словосочетания.

С самого начала я хотел, чтобы правда жизни была конкретна, достоверна, и особенно гордился, когда стихотворение выходило непосредственным, честным отражением того мира, который оно олицетворяет и отстаивает — или же которому себя противопоставляет. Еще школьником я полюбил оду Джона Китса «К осени» за то, что в стихотворении этом язык и чувство протянули друг другу руки; подростком я любил Джерарда Мэнли Хопкинса за внятность его поэтических восклицаний, где я впервые в полной мере ощутил тождественность восторга и боли; любил я и Роберта Фроста за его крестьянскую дотошность и наигранную приземленность, и Чосера — примерно по той же причине. Позднее я обнаружил совсем другую дотошность, некую нравственную заземленность, которую воспринимал и всегда буду воспринимать очень близко к сердцу в военной поэзии Уилфреда Оуэна, в поэзии, где чувствительность Нового Завета испытывает шок от варварства Нового времени. Затем, еще позже, в прозрачности Элизабет Бишоп, в оголенной ожесточенности Роберта Лоуэлла, в вызывающей беззастенчивости Патрика Каванаха я почувствовал еще более неопровержимые доказательства способности — и ответственности — поэзии говорить правду о происходящем, чтобы «пожалеть планету», чтобы «не увлекаться Поэзией».

Коренящаяся в моем характере склонность к искусству серьезному и честному подкреплялась и жизненным опытом: я родился и воспитывался в Северной Ирландии и всегда жил этой страной, хотя последние четверть века в ней не жил. Нет в мире другой такой земли, которая бы с бóльшим основанием гордилась присущими ей настороженностью и реализмом, нет в мире более последовательного неприятия любых проявлений краснобайства или несдержанности чувств. Вот почему, с одной стороны, впитав в себя эти взгляды с молоком матери, а с другой — выработав против них иммунитет, я в течение многих лет отчасти избегал, а отчасти даже сопротивлялся богатству и многообразию столь разных поэтов, как Уоллес Стивенс и Райнер Мария Рильке; недостаточно ценил хрупкую, как хрусталь, самодостаточность Эмили Дикинсон, ее многозначные озарения и ассоциативные изгибы; отказывался понимать провидческую отрешенность Элиота. Подобная эстетическая прижимистость подкреплялась и нежеланием наделять поэта бóльшим, чем любого другого гражданина, правом, а в дальнейшем ее стимулировала и необходимость заниматься поэзией в ситуации непрекращающегося политического насилия и общественного брожения; общество, впрочем, уповало не на поэзию, а на сближение позиций между политически далекими группировками.

В подобных обстоятельствах разум хоть и признает хаотичность собственных действий и запросов, но стремится найти себе опору в том, что Сэмюэл Джонсон в свое

время очень точно назвал «устойчивостью истины». Не нуждаясь в теоретических обоснованиях, сознание быстро догадывается, что оно является местом столкновения конкурирующих между собой логических посылок. Ребенок, который, сидя у себя в комнате, одновременно слушал домашний язык своей ирландской родни и официальный язык британской радиостанции, да еще поглощал в придачу иные тревожные шумы, уже тогда исподволь готовился к своей взрослой жизни, к своему будущему, где ему придется откликаться на побуждения, которые различаются по своей этической, эстетической, нравственной, политической, метрической, скептической, культурной, актуальной, типической, постколониальной направленности; побуждения, которые, взятые вместе, попросту исключают друг друга. Эти испытания и выпали на мою долю в середине семидесятых в другом фермерском доме, на этот раз в графстве Уиклоу, к югу от Дублина, где я, обзаведясь собственной семьей и менее громоздким радиоприемником, вновь, как и встарь, слушал шум дождя и сводки военных действий — теперь, правда, бомбы рвались куда ближе, не только в Белфасте, где орудовала Временная ИРА, но и в Дублине, где действовали с не меньшей жестокостью протестантские военизированные группировки с севера. Сознавая ничтожность своих испытаний в сравнении с трагической судьбой Осипа Мандельштама, я в то же время укреплялся, несмотря на все сомнения, в мысли о необходимости оставаться «вне схватки», тем более когда я слышал, например, о том, что моего бывшего одноклассника, существо, сколько его помню, крайне изнеженное, посадили без суда за решетку по подозрению в политическом убийстве. В те годы я стремился не столько к устойчивости, сколько к бегству от зыбучих песков релятивизма, к тому, чтобы отдавать должное поэзии без боязни и оправданий. В стихотворении «Незащищенность» я тогда писал:

Попади я на метеорит!
Я же бреду среди влажной листвы
Впустую потраченной осени,

Воображая героя
Где-то в грязи укреплений.
Дар его, словно камень в праще,
Раскручен для тех, кто отчаялся.

Как дошел я до жизни такой?
Часто думаю я о дружеских
Распрекрасных прямолинейных советах,
О твердолобости тех, кто меня ненавидит, —

Так сижу я и все взвешиваю, взвешиваю
Свои верные tristia.
Чего ради? Чтоб слух прошел? Для людей?
Чтобы судачили за моею спиной?

Идет сквозь ольшаник дождь.
Его шорохи как нельзя кстати
Бормотанью об упадке и тлене,
Но каждая капля напомнит

Алмазное совершенство.
И не пленник я, и не доносчик;
Внутренний эмигрант, длинноволосый
И глубокомысленный деревянный ирландский солдатик,

Избежавший резни,
Взявший защитный окрас
Глины, коры, ощутив
Дыхание всех ветров,
Кто этих искр утлый жар
Пока раздувал, — просмотрел
Знаменье жизни своей —
Пульсирующую розу кометы[1].

В стихах, которые пользовались огромным успехом у студентов моего поколения, которые, можно сказать, вобрали в себя все питательные соки символизма, американ-

[1] Из книги «Север» («North», 1975). (*Перевод Ю.Гуголева.*)

ский поэт Арчибалд Мак-лиш утверждал, что «Поэзия равна всему / Неточному». В качестве дерзкой метафоры, передающей умение поэзии говорить правду, но говорить ее околичностями, утверждение это убедительно и весомо. Однако бывают времена, когда появляются более глубинные задачи, когда стихотворение обязано быть не просто изысканно правдивым, но непреодолимо мудрым, не просто оригинальными вариациями на мировые темы, но преображением самого мира. Мы хотим, чтобы поэтическая оригинальность была столь же действенной, как нетерпеливый удар кулаком, от которого на экране телевизора вновь появляется изображение, как электрошок, что восстанавливает ритм слабого сердца. Мы хотим того же, чего хотела женщина в тюремной очереди в Ленинграде; с голубыми от холода губами, говоря вполголоса, чтобы самой не угодить в сталинские застенки, она спрашивала Анну Ахматову, сможет ли она описать все это, сможет ли ее муза адекватно передать то, что они перенесли. Эту же потребность испытывал и я, когда, в несравненно более благоприятных обстоятельствах, в графстве Уиклоу, сочинял только что процитированные строки: потребность в поэзии, достойной определения, которое я недавно привел, — «одинаково подчиняющейся и воздействию внешнего мира, и внутренним законам поэтического естества».

Внешняя реальность и внутренняя динамика событий в Северной Ирландии между 1968 и 1974 годами были чреваты переменами — эти перемены, по общему признанию, были насильственными и все же для живущего там меньшинства (католического. — *А.Л.*) назрели уже давно. Перемены должны были наступить гораздо раньше, на волне общественного недовольства, вылившегося в конце 60-х годов в массовые манифестации, — однако этого не произошло и гроздья гнева, что зрели годами, полопались в одночасье. Будучи христианским моралистом, житель Северной Ирландии не мог не осуждать антигуманную политику ИРА с ее взрывами и убийствами; будучи «истинным» ирландцем, он приходил в ужас от жестокости британских солдат, в полной мере проявившейся в таких событиях, как Кровавое воскресенье в Лондондерри в 1972 году. Однако будучи представителем меньшинства, то есть тем, кто вырос с ощущением, что к нему (и к таким, как он) относятся предвзято и с недоверием по любому — официальному или неофициальному — поводу, он рассматривал ситуацию в полном соответствии с поэтической правдой: для того чтобы жизнь в Северной Ирландии изменилась к лучшему, перемены необходимы. Впрочем, этот же самый представитель меньшинства не мог — также в соответствии с поэтической истиной — не признать, что сама по себе жестокость, с которой ИРА стремится к переменам, подрывает то доверие, на котором новые отношения могли бы строиться.

Тем не менее, пока британское правительство не испортило все дело, протянув после Саннингдейлской конференции 1974 года руку помощи действовавшим с позиции силы ольстерским рабочим-юнионистам, уравновешенный ум мог еще надеяться поправить положение, привести в равновесие все конструктивное со всем деструктивным и сделать то, что попытался сделать полстолетия назад У.Б.Йейтс, а именно «свести в единой мысли реальность и справедливость». Однако после 1974 года и вплоть до соглашения о прекращении огня в августе 1994-го надежда эта в течение двадцати долгих лет казалась несбыточной. Насилие снизу лишь порождало ответное насилие сверху, мечта о справедливости поглотилась бездушной реальностью, и люди на четверть столетия погрузились в пустоту и никчемность, еще больше ожесточились, еще больше отгородились друг от друга — и все это было прямым следствием политической солидарности, невыносимых страданий, а также элементарного самосохранения.

Один из самых душераздирающих моментов за те годы, что разрывалась душа Северной Ирландии, приходится на день и час, когда январским вечером 1976 года мини-автобус с рабочими, которых развозили по домам, остановили вооруженные люди в масках и, целясь из автоматов, приказали пассажирам выйти и выстроиться вдоль дороги. «Всем католикам шаг вперед!» — гаркнул один из палачей. По чистой случайности в этой группе все рабочие, за исключением одного, были протестантами, поэтому их первой мыслью, видимо, было, что люди в масках принадлежат к военизированной организации юнионистов и собираются пристрелить единственного

католика, «разумеется» симпатизирующего ИРА. Этот единственный католик пережил ужасные мгновения, ощущая себя одновременно свидетелем и жертвой, однако после мучительных раздумий он решил все же сделать шаг вперед. И тут, в эту самую долю секунды, под спасительным прикрытием ранних зимних сумерек он почувствовал вдруг, как стоящий рядом рабочий-протестант нащупал его руку и сжал ее: мол, не двигайся, мы тебя не выдадим, никто не узнает, какой ты веры, к какой партии принадлежишь. Рукопожатие, однако, запоздало: католик уже выходил вперед — но вместо того чтобы получить пулю в висок, он был отброшен куда-то в сторону, и в тот же миг террористы открыли огонь по оставшимся стоять у дороги. Террористы оказались не протестантами, а членами Временной ИРА.

Иногда бывает трудно отделаться от мысли, что история не более поучительна, чем скотобойня; что Тацит был прав и мир достижим лишь на руинах, оставшихся после беспощадных действий безжалостной силы. Помню, например, как я ужаснулся от мысли: а что, если мой одноклассник, тот самый, кого посадили в семидесятых годах за решетку по обвинению в политическом убийстве, помогал своим преступлением родиться будущему? Не разрушал ли он отжившие каноны, высвобождая новый потенциал единственно реальным (а стало быть, верным) путем — насильственным? От этой шальной мысли пахнуло на мгновение каким-то леденящим душу космическим холодом, напоминанием о той бездне, в которой человеческие существа вынуждены существовать. Но только на мгновение. Рождение того будущего, какого хотим мы, — в пожатии, которое ощутил насмерть перепуганный католик на обочине дороги, когда на его руку легла другая рука, а не в автоматной очереди, разорвавшей тишину секундой позже, — такой всеобъемлющей и в то же время преходящей, словно и она, эта автоматная очередь, была частью постоянной музыкальной темы.

Наш реализм грешников и патриотов, наше эстетическое чувство писателей и читателей заставляют нас относиться к позитивному взгляду на мир с настороженностью. Автоматная очередь как таковая напрягает нашу волю, жестокость придает смысл тому усилию, которое изначально призвано жестокости противостоять. Гнетущая поэзия Пауля Целана по праву внушает нам священный трепет, задыхающийся голос Сэмюэла Беккета зачаровывает, ибо творчество обоих — свидетельство того, что искусство может оказаться на высоте положения, явиться выразителем и трагической судьбы Целана — уцелевшей жертвы холокоста, и скромного героизма Беккета — участника французского Сопротивления. Сходным образом мы с естественным подозрением относимся ко всему тому, что в мрачных обстоятельствах звучит слишком умиротворенно; суровый опыт конца двадцатого столетия принуждает нас подвергнуть наше культурное наследие суровому критическому переосмыслению. Только очень глупые или очень нуждающиеся люди могут в наше время ставить под сомнение тот факт, что история человечества всегда писалась кровью и слезами, пусть даже и давно высохшими. Когда же эта интеллектуальная установка накладывается на события в Ольстере, Израиле, Боснии, Руанде, в тысяче других кровоточащих точек земного шара, мы склоняемся не только к тому, чтобы не слишком доверять конструктивному потенциалу человека, но и к тому, чтобы не особенно высоко оценивать в произведении искусства подчеркнуто позитивное начало.

Вот почему в течение стольких лет я сидел, склонившись над своим письменным столом, точно какой-нибудь монах над аналоем: послушно погрузившись в спасительное созерцание, он пытается взвалить на свои плечи часть мирового бремени; он знает, что не способен ни на героический поступок, ни на искупительную жертву, а потому вынужден во имя веры умножать усилия и ежечасно воспроизводить коленопреклоненную позу. Высекать искры ради скудного тепла. Забывать о вере и стремиться к творческому совершенству. К высшим и абсолютным ценностям. В том числе и к абсолютно вымышленным. Я сидел, сидел и наконец — не из-за прискорбного положения моей родины, а вопреки ему — взял и распрямился. Несколько лет назад в своих расчетах и фантазиях я стал уделять внимание не только всему губительному, но и всему целительному. Чтобы лучше представить суть произошедших со мной перемен, позволю себе вновь обратиться к ирландскому опыту.

Опыт этот связан с историей еще одного монаха, также прославившегося своим долготерпением. Рассказывают, что когда-то в Глендалохе, в монастыре неподалеку от того места в графстве Уиклоу, где жили мы, стоял на коленях, выбросив вперед скрещенные руки, Святой Кевин. Надо сказать, что место это и по сей день считается в стране одним из самых глухих. Так вот, пролетавший дрозд принял вытянутую руку монаха за насест, опустился на нее, снес яйца и принялся вить гнездо, словно это была не человеческая рука, а ветка дерева. И тогда, проникшись к птице жалостью и памятуя о том, что он призван любить все живое на земле, Кевин остался недвижим на много часов, и дней, и ночей, и недель, держа руку в таком положении до тех пор, пока из яиц не вылупились птенцы и у птенцов не выросли крылья. Монах остался верен жизни, хоть и изменил здравому смыслу, заняв место на пересечении естественного процесса и мимолетного идеала — указательный столб и напоминание одновременно. Поза его символизировала собой такой порядок вещей, когда можно дорасти до того состояния, которое накапливалось по мере роста.

Случай со Святым Кевином — это, как я уже сказал, история ирландская. Но, сдается мне, подобное могло произойти и в Индии, и в Африке, и в Арктике, и в обеих Америках. Такого рода уподоблениями я вовсе не хочу свести разговор к типологии народных сказаний или же оспорить ценность этой истории, поставив под сомнение ее самостоятельность в общекультурном контексте. Напротив, ее достоверность (и примечательность) имеет самое непосредственное отношение к местному колориту. Сегодня, разумеется, ее ничего не стоит представить как метафору колониализма, изобразив Кевина благородным империалистом (или миссионером, идущим по его следам), который подчиняет себе местную жизнь, вторгается в девственную природу. Есть, нельзя не признать, некая ирония в том, кто именно зафиксировал и сохранил этот пример истинной красоты ирландского наследия, ведь впервые история Кевина была описана в сочинениях Гиральдуса Камбренсиса, одного из тех, кто захватил Ирландию в XII веке и кого ирландист Джефри Китинг спустя пятьсот лет назовет «вожаком скопища, создавшего вымышленную историю Ирландии». Но даже если это и так, мне все равно непонятно, почему подобное явление раннехристианской цивилизации упрощенно толкуется как еще одна страница нетерпимости и варварства в нашей истории — вчерашней и сегодняшней. Я-то случай с Кевином воспринимаю совсем иначе, примерно так же, как то, что я увидел несколько недель назад в маленьком музее в Спарте утром того дня, когда стал известен Нобелевский лауреат по литературе за этот год. Это было произведение искусства, возникшее из религиозного культа, который не имеет ничего общего с той верой, какую проповедовал Святой Кевин. Однако и здесь были изображены птица на насесте, оцепеневший зверь и погруженный в экстаз человек — с той лишь разницей, что человек на этот раз был Орфеем и в экстазе он пребывал не от молитвы, а от музыки. Речь идет о резной статуэтке, которую я, не удержавшись, перерисовал в блокнот; не удержался я и от того, чтобы ознакомиться с информацией, помещенной на табличке под экспонатом. Сама статуэтка поразила меня своей древностью и долговечностью, надпись же — тем, что дала имя и смысл делу, которым я занимаюсь уже три десятилетия. «Статуя Орфея, — значилось на табличке. — Возможно, выполнена по заказу местного поэта. Работа неизвестного древнегреческого скульптора».

Только не подумайте, что я сентиментальничаю или, как принято теперь выражаться, делаю из национальных обычаев фетиш. Вовсе нет. Я просто хочу сказать, что такие образы и легенды представляют собой истинную ценность. В этом веке нацизм был побежден силой оружия, эрозия же советского режима произошла, среди прочего, потому, что навязанный сверху идеологический конформизм настойчиво и целенаправленно расшатывался изнутри наличием культурных ценностей и психологического сопротивления того самого типа, который заложен в подобных легендах и образах. И даже притом что мы приучились с глубоким и обоснованным страхом относиться к превознесению культурных форм и обычаев одной нации за счет другой; даже притом что мы владеем ужасными свидетельствами незаметного превращения этнической и религиозной спеси в фашизм, бдительность не должна вытеснить

любовь и доверие к собственному национальному достоянию. Наоборот, уверенность в неослабеваемой силе и самобытности этого достояния есть залог веры в возможность такого мироустройства, когда уважение к ценности каждой традиции станет основой для возникновения и поддержания здорового политического пространства. Невзирая на опустошительную резню, бесконечную череду политических убийств и массовые истребления, новая фаза в отношениях между палестинцами и израильтянами, африканцами и африканерами, а также падение европейских стен и поднятие железных занавесов вселяют надежду на то, что новые возможности возникнут и у Ирландии. Корень ирландской проблемы в том, что остров по-прежнему живет по двум законам, английскому и ирландскому, следует двум традициям, английской и ирландской; впрочем, каждый житель страны вправе рассчитывать, что два ирландских правительства сумеют выработать такие порядки, при которых граница между двумя государствами будет больше напоминать сетку на теннисном корте, демаркационную линию, позволящую идти на взаимные уступки, встречаться и соперничать, предвосхищая то будущее, когда энергия, которой прежде веяло от бодрящих слов «противник» и «союзники», станет исходить от совсем других, не составляющих неразрывную пару и, уж во всяком случае, менее обязывающих слов.

Когда поэт У.Б. Йейтс более семидесяти лет назад поднялся на эту трибуну, Ирландия только-только перестала биться в судорогах мучительной гражданской войны, которая началась почти сразу после окончания Войны за независимость против англичан. Гражданская бойня продолжалась недолго и кончилась в мае 1923 года, месяцев за семь до того, как Йейтс отплыл в Стокгольм, однако оказалась кровавой, жестокой и неистребимой, задав на много поколений вперед правила политической игры в двадцати шести независимых графствах Ирландии — в той части острова, которая сначала называлась Ирландское свободное государство, а в дальнейшем — Ирландская Республика. Тем не менее в своей Нобелевской речи Йейтс коснулся гражданской войны и Войны за независимость лишь вскользь. Никто лучше его не понимал, какая тесная связь существует между строительством либо разрушением государственных институтов и расцветом либо застоем в культуре, однако в тот день Йейтс предпочел говорить об Ирландском драматическом движении. Он рассказал о творческих задачах этой организации и о том, как богата она оказалась на таланты; ведь в Движении, наряду с Йейтсом, участвовали и его друзья, такие крупные фигуры, как Джон Миллингтон Синг и леди Августа Грегори. В Швецию Йейтс приехал поведать всему миру, что в изменениях, произошедших с его родиной и с эпохой в целом, поэты и драматурги сыграли ничуть не меньшую роль, чем сидящие в засаде партизаны. В возвышенных словах его лекции звучала та же гордость, что и в стихотворении «Снова в муниципальной галерее», написанном десятью годами позже. В этих стихах Йейтс предстает перед нами в окружении старинных портретов и сюжетных полотен, прославляющих события и героев недавней истории, и внезапно осознает, что произошло нечто и в самом деле эпохальное: «Не мертвая Ирландия, но та / Веселая и грозная, столь свято/ Поэтами хранимая мечта»[1]. Завершается стихотворение двумя строками, которые из всего поэтического наследия поэта цитируются, пожалуй, чаще всего:

В чем славы смысл, и кто ей судия?
Моей же славы суть: мои друзья.

Как бы великодушно и благородно ни звучали эти слова, они являют собой пример поэзии, скорее знающей цену себе, нежели другим; они — кодекс чести поэта и в этом, по крайней мере, смысле напоминают то, что хочу сказать своей лекцией я. В применении к самому себе мне следовало бы процитировать другие слова из этого стихотворения: «Наследники, я завещаю вам: / Не весь я в том, что сбережет страница». Вместо этого я обращаюсь к вам с той же просьбой, с какой обратился к своей аудитории Йейтс: задуматься о достижениях за последние сорок лет ирландских поэтов, драматургов и прозаиков, многих из которых я могу с гордостью назвать своими большими друзьями. В вопросах литературы Эзра Паунд советовал не руковод-

[1] Стихи Йейтса здесь и далее цитируются по изданию: *У.Б. Йейтс*. Избранные стихотворения. М., 1995. (*Перевод Е.Витковского*)

ствоваться соображениями тех, «кто сам не создал ничего значительного», и я всегда считал своим долгом этому совету следовать: с тех пор как более тридцати лет назад, еще в Белфасте, я впервые взялся за перо, я неизменно прислушивался к мнению крупных мастеров, вовсе не обязательно своих соотечественников. Ирландию, которой я сейчас живу, мне помогли понять именно они.

Йейтс, впрочем, далеко не всегда был уверен в себе, в своей миссии. Воздавая дань поэзии нашего века, нельзя не вспомнить двух замечательных его стихотворений: «Тысяча девятьсот девятнадцатый год» и «Раздумья во времена гражданской войны». Во втором есть знаменитая строфа о птичьем гнезде под окном поэта — когда-то там, в расщелине старой стены, поселился скворец. В те годы поэт жил в норманнской башне, сохранившейся от древних и столь же беспокойных времен, и, размышляя над иронией истории (жестокие и могучие властелины вначале обращают мир в руины, а потом призывают художников и архитекторов), он сравнивает птицу, кормящую своих птенцов, с медоносной пчелой, образом, который глубоко укоренился в поэтической традиции и всегда являлся олицетворением всего прилежного, гармоничного и прочного:

Роятся пчелы между кладок.
В щели — голодный писк птенца.
Стена давно пришла в упадок.
Творите, пчелы, свой порядок:
Вселитесь в прежний дом скворца.

Сковала робость нас: кому-то
Смерть ежечасно шлет гонца;
По всей земле, что ни минута,
Пожар и гибель, тьма и смута:
Вселитесь в прежний дом скворца.

Шагает смерть по баррикадам.
Боям и стычкам нет конца.
И многим доблестным отрядам
Лежать в крови с оружьем рядом.
Вселитесь в прежний дом скворца.

Живя мечтами год от года,
Грубеют души и сердца.
Вражда важней для обихода,
Чем жар любви — о жрицы меда,
Вселитесь в прежний дом скворца.

Я часто слышал, как в Ирландии — и частями, и целиком — цитируют это стихотворение, и не нахожу в этом ничего удивительного, ибо от него веет таким же жизнеутверждением, как от легенды о Святом Кевине, такой же трезвостью в отношении того, что происходит в жизни и с жизнью, как от Гомера. Поэт знает, что резня будет продолжаться и впредь, что рабочих на исходе дня не раз еще высадят из автобуса, выстроят вдоль дороги и расстреляют; однако знает он и другое: существуют в жизни и пожатие руки, и сочувствие, и желание прийти на помощь. Эти стихи удовлетворяют противоречивые потребности, которые в пору тяжких испытаний возникают в нашем сознании; с одной стороны, потребность в правде, жестокой и неумолимой, а с другой — потребность не ожесточить ум до такой степени, когда он утрачивает присущую ему тягу к сопереживанию и доверию. И в этом — доказательство того, что поэзия может быть одновременно РАВНОЙ жизни и ВЕРНОЙ ей, примером той адекватности, о которой говорила Анне Ахматовой женщина в очереди и которую создал ровно двести лет назад, также находясь на перепутье исторического кризиса и личных невзгод, Уильям Вордсворт.

Когда поэт Демодок повествует о падении Трои и об учиненной во время захвата города резне, Одиссей рыдает, а Гомер говорит, что слезы его подобны слезам жены, оплакивающей на поле брани своего павшего супруга. Вот как выглядит эта эпическая метафора в развернутом виде:

Видя, как он содрогается в смертной борьбе, и прижавшись
Грудью к нему, злополучная стонет; враги же нещадно

Древками копий ее по плечам и хребту поражая,
Бедную в плен увлекают на рабство и долгое горе;
Там от печали и плача ланиты ее увядают.
Так от печали текли из очей Одиссеевых слезы.
Всеми другими они не замечены были...[1]

Даже сегодня, три тысячи лет спустя, когда бесчисленные примеры современного варварства ежеминутно возникают на экранах наших телевизоров в прямой трансляции, когда сверхинформированность грозит нам невосприимчивостью, когда старая кинохроника с гитлеровскими и сталинскими лагерями воспринимается как нечто привычное, почти приевшееся, — образ Гомера по-прежнему способен привести нас в чувство. Неумолимость копий, уткнувшихся своими древками в спину и плечи женщины, сохранится на любом языке и в любую эпоху — времени эта метафора неподвластна. Этот образ адекватен, ибо соответствует всему тому, что мы знаем о непереносимом.

Но есть и другая — лирическая — адекватность. Цитата из стихотворения Йейтса — пример как раз такой адекватности: «храм внутри нашего слуха». Адекватность эта возникает из того, что Мандельштам называл «непоколебимостью речевой артикуляции», из той решимости и независимости, какими веет от всякого состоявшегося стихотворения. Возникает лирическая адекватность и из энергии лингвистического распада и слияния, и из душевного подъема, порожденного ритмом, эмоцией, рифмой и строфикой; возникает она и из значимости стихотворения в целом, а также из правдивости поэта. В лирической поэзии правдивость становится различимой как замкнутое пространство истины. Именно в упрямом, безоглядном стремлении к этой правдивости, выразившейся наиболее цельно у Эмили Дикинсон и Пауля Целана и наиболее щедро — у Джона Китса, ухо поэта напряженно вслушивается в голос, в котором, в отличие от всех остальных голосов, звучит абсолютная убежденность в своей правоте.

Иначе говоря, я, по существу, так и не слез с того самого старого дивана. Может быть, я стал более внимателен к новостям, более чуток к мировой истории и скрывающейся за ней мировой скорби. Но вслушиваюсь я по-прежнему не в то, что говорит диктор; будучи поэтом, я с НАПРЯЖЕНИЕМ вслушиваюсь в НАПРЯЖЕНИЕ речи, то есть прилагаю усилие, чтобы отыскать в ней ту самую непоколебимость, которая создается музыкальной упорядоченностью звуков. Как если бы круги на воде могли по собственной прихоти не только расходиться, но и сходиться — обратно, в исходную точку.

К поискам этого НАПРЯЖЕНИЯ я стремлюсь и когда читаю стихи. И нахожу его — например, в том самом йейтсовском рефрене: «Come build in the empty house of the stare»[2], в котором сквозит и мольба, и жесткие нотки в словах «build» и «house», и ощущение распада в слове «empty». Я нахожу его в треугольнике сил, уравновешенных тройной рифмой: «fantasies — enmities — honey-bees»[3], а также в стихотворении как таковом, определенной форме в системе языка. Поэтическая форма — это и корабль, и якорь одновременно. Это порыв и сдержанность, синхронно апеллирующие ко всему центробежному и центростремительному в нашем разуме и теле. Этими средствами Йейтс и добивается того, к чему всегда должна стремиться поэзия: коснуться основ неравнодушной природы человека, проникая в то же время в равнодушную природу мира, к которой природа человека всегда обращена. Иными словами, форма стихотворения играет определяющую роль в способности поэзии делать то, за что мы всегда воздавали и будем воздавать ей дань; в способности убедить наше ранимое сознание в своей правоте, несмотря на очевидную неправоту всего, что его окружает; в способности постоянно напоминать, что мы — искатели высших ценностей, что даже наша обездоленность, наши невзгоды делают нам честь — ведь они являются залогом истинной человечности.

Перевод с английского А.ЛИВЕРГАНТА

---

[1] *Гомер*. Одиссея. Песнь восьмая, стихи 525—530. (*Перевод Н.Гнедича*)
[2] Вселитесь в прежний дом скворца (*англ.*).
[3] Мечты — вражда — пчелы (*англ.*).

К открытию новой рубрики

В первые два десятилетия своего существования наш журнал отводил значительное место освещению наиболее интересных событий зарубежной художественной жизни. Это давало возможность представлять мировую литературу в том широком контексте, с которым она реально взаимодействует.

В новой рубрике «Галерея «ИЛ» мы хотим вернуться к давней, но незабытой традиции журнала. Мы постараемся более последовательно и развернуто знакомить читателей с творчеством выдающихся художников второй половины XX века, с основными стилевыми направлениями новейшей живописи. Ведь именно они открывают новые визуальные, образные пространства, которые обживает современная мировая литература, а та, в свою очередь, постоянно питает художников свежими темами, идеями, духовными и творческими импульсами.

В первом выпуске рубрики мы знакомим читателей с творчеством итальянского художника Доменико Ньоли.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

Поверхность вещей неисчерпаема...
И. Кальвино

Взгляните на этот пустой стул: в нем есть загадка, и я хочу разгадать ее.
Д. Ньоли

Доменико Ньоли родился 3 мая 1933 года в Риме. Его семья принадлежала к древнему аристократическому роду, в котором всегда было много историков, писателей и художников. Атмосфера родительского дома располагала к творчеству. С детства Доменико начал придумывать свой собственный, рисованный мир. К ужасу учителей, вместо сочинений по истории он сдавал рисунки с изображением знаменитых сражений. В многочисленных конфликтах со школьными авторитетами мать Ньоли, известная художница и скульптор, всегда оставалась на стороне сына. Мальчик был слишком оригинальной натурой, чтобы вписаться в привычные школьные рамки. Это сказалось и позднее, когда, поступив в римскую Академию изящных искусств, он проучился в ней всего три дня, после чего предпочел частную школу графика Карло Альберто Петруччи.

Карьера Доменико Ньоли была ранней и успешной. Первая персональная выставка рисунков Ньоли состоялась в одной из римских галерей, когда ему не исполнилось и восемнадцати, а к двадцати годам он уже получает заказы на оформление нескольких театральных постановок. Причем работает он не только в родном Риме, но, например, и в лондонском театре «Олд Вик», где при его участии ставят Беккета, а также в Цюрихе, Париже и Нью-Йорке.

Его первыми кумирами были итальянские художники Джорджо Моранди (1890—1964) — мастер монохромного натюрморта — и представитель метафизической школы Карло Карра (1881—1966). В Париже Ньоли знакомится с сюрреализмом, особенно он восхищается живописью Рене Магритта.

С 1955 года Ньоли занимался преимущественно живописью и графикой. Свой тогдашний стиль он сам определял как «поздний экспрессионизм». Для живописи Ньоли использовал темперу, смешанную с песком и мраморной крошкой, что придавало поверхности картин таинственное мерцание и особую фактурность. Его графические работы, выполненные тонким пером и напоминавшие маньеризм позднего Возрождения, изобиловали забавными персонажами и пестрили мельчайшими деталями. Тогда же Ньоли сотрудничал с ведущими американскими журналами «Лайф», «Форчун», «Плейбой» и работал как книжный график. Например, он проиллюстрировал роман известного итальянского писателя Итало Кальвино «Барон на дереве» (1957).

Переломным для художника стал 1964 год. В картинах Ньоли появляются сюжеты, характерные для поп-арта. Впоследствии именно эти работы принесут ему мировую известность.

«Героями» его картин могли стать привычные вещи: например, костюм, туфли или, казалось бы, такие совсем случайные и незначительные детали, как ровный пробор в мужской прическе, воротничок рубашки, узел галстука, утюжная стрелка на брюках, пуговица. Ньоли говорил: «Обычные вещи, оказавшись под увеличительным стеклом моего пристального внимания, вырастают в размерах и становятся для меня значительнее, прекраснее или ужаснее, чем любая выдумка или фантазия».

Ньоли использовал холсты большого формата. Каждый объект, вырванный из привычного контекста и воспроизводимый с педантичной точностью, увеличивался до такой степени, что еле вмещался в рамки картины. Можно усмотреть в этом перекличку с новейшими философскими концепциями 60-х годов. В 1968 году выходит в свет книга Жака Бодрийара «Система вещей»[1], в которой он пишет: «...в определенный момент вещи, помимо своего практического использования, становятся еще и чем-то иным, глубинно соотнесенным с субъектом; это не просто неподатливое материальное тело, но и некая психическая оболочка, в которой я царю, вещь, которую я наполняю своим смыслом, своей собственностью, своей страстью». Однако в отличие от Бодрийара Ньоли стремится освободить вещь от ее принадлежности человеку. Во многих его картинах присутствие человека нужно только для того, чтобы, например, придать костюму объем. Главным для Ньоли было увидеть идею вещи, ее скрытый смысл.

Много лет спустя Итало Кальвино, к прозе которого ранее обращался Ньоли, создал «литературные иллюстрации» к картинам художника. От имени синьора Паломара, своего alter ego, идеального созерцателя и философствующего двойника, Кальвино высказывает идеи, очень созвучные мироощущению Ньоли: «От безмолвной череды предметов должен поступить какой-то знак, призыв, намек: вещь выделяется из всех, желая что-то выразить собою... что? да просто самое себя; вещь может быть довольна тем, что на нее глядят другие вещи, только будучи убеждена, что выражает именно себя, как окружающие ее вещи выражают каждая себя и больше ничего. Понятно, что возможности такие выдаются редко, но в конце концов предстанутся, лишь надобно дождаться одного из тех счастливых совпадений, когда мир захочет и смотреть, и в то же время быть обозреваемым, а тут как раз случится Паломар. Точней, синьору Паломару даже ждать не надо, ведь такое происходит, лишь когда не ждешь» («Паломар», 1983)[2].

Вниманию читателей мы предлагаем три текста Итало Кальвино, прямо посвященные картинам Доменико Ньоли.

О.ХЛЕБНИКОВА

---

[1] *Жак Бодрийар*. Система вещей. М., 1995.
[2] См. «ИЛ», 1994, № 11.

ИТАЛО КАЛЬВИНО

Перед заходом солнца пуговица собирает на своей поверхности последние проблески света, но она не может помешать им скатиться по слабо выраженной выпуклости к выступающему краю, где крыло тени подстерегает их, готовое поглотить. Сверкающие отсветы, которые в дневные часы позволяли пуговице воображать себя зеркалом, способным воспроизвести на своем бесстрастном диске мятущийся образ мира, к вечеру слабеют, и диск опять становится матовым и твердым. В этот час вновь обретенная уверенность могла бы возместить пуговице утрату переменчивого, обманчивого блеска — если она не может быть миром, она будет пуговицей, какой была всегда и остается теперь, застыв в бесконечном настоящем. Однако ею уже овладело новое, честолюбивое желание: продемонстрировать полоски своего рогового вещества и невидимый глазу след, оставленный быстрым вращением. В сущности, это два доказательства ее благородного происхождения — от живой природы, а вовсе не от тупой, безжизненной пластмассы. Все эти детали можно уловить лишь в определенный момент, когда свет уже не отражается в диске, но все еще рассеян в воздухе сумерек. Вот сейчас, быть может... Но нет, слишком поздно. Наступает тьма.

Все дыры, какие есть в природе: пещеры в скалах, кратеры вулканов, отверстия в человеческом теле, — это тайные пути, ведущие к неведомым силам бытия. Но дырочки в пуговице совсем иные. Они воплощают собой смысл в самых общеупотребительных значениях этого слова: прямой смысл, здравый смысл. Именно они делают пуговицу пуговицей, обуславливают ее сущность и предназначение. Нити, проходящей сквозь них, следовало бы обладать такой же однозначностью, такой же безусловностью; на деле же существует непреодолимое различие между тем, как живет одна, и тем, как живет другая. Посреди гладкой, без единой морщинки поверхности высится двойной мост из волокон, которые, если к ним присмотреться поближе, оказываются жилистыми и разлохмаченными: шнуры, туго оплетающие твердые стенки дырочек с вкрадчивым упорством лиан и свившихся в кольца змей. В бесстрастной сердцевине пуговицы живет извилистая, пронырливая душа, которой под силу расположиться двумя одинаковыми симметричными скобками в своей видимой части, но также и притаиться тугим корявым узлом в промежутке между пуговицей и тканью. Именно на этом искривленном, перекрученном, судорожно сжавшемся пеньке зиждется невозмутимое спокойствие пуговицы. Конечно же, в этом мире самые прочные связи возникают между предметами разнородными, поскольку их разнородность обеспечивает подвижному суставному соединению необходимую эластичность: таков канат между кораблем и причалом, такова нить между пуговицей и тканью.

© 1983, Giulio Einaudi Editore

Если необходимые для закрепления органы находятся в центре пуговицы, точные, как зубчатая передача, и чувствительные, как внутренности живого тела, то охватывающая их окружность может позволить себе хоть и строгое, но все же украшение — приподнятый ободок. Этот изыск тоже не лишен своего значения: он указывает на одно из главных свойств всякого предмета — его границу. В самом деле, безграничная пуговица не годилась бы для застежки, ибо не вошла бы ни в одну петлю, равно как и слишком малая по площади пуговица не удержалась бы в петле; стало быть, существует некая золотая норма, нужный калибр, на который указывает выступающий ободок, дабы напомнить нам: все в мире взаимосвязано и ничто не может быть самоцелью, а потому каждая пуговица предполагает наличие петли, и наоборот.

Преодолев выступающий край, мы возвращаемся к центру по обратной стороне пуговицы, сужающейся книзу, как у тарелки или миски. Чтобы изучить свойства этой стороны, следует дождаться восхода Луны: пуговица и спутница Земли засветятся отраженным светом на обращенных друг к другу поверхностях, в то время как скрытые пространства останутся во мраке, с той, однако, разницей, что невидимая сторона светила обращена к далеким безднам, а изнанка пуговицы расплющивает свою тень на тканевых полях, от которых ее отделяет лишь стебелек, более короткий, чем ножка гриба, — если только пуговица не прижимается в долгом связующем поцелуе к самым устам ткани, принимая ее вкрадчивую ласку.

Отношения между пуговицей и мягкой равниной ткани, в которую она врастает своими нитевидными корнями, — пушистой лужайкой, если это шерсть, или упругой циновкой синтетического волокна, — отношения эти нельзя определить с точностью, как это всегда бывает у двух непримиримых сущностей. Нечувствительная к жаре и к холоду, к сухости и к влажности, пуговица может похвастать постоянством нрава, но бывает, и нередко, что присущее ткани разнообразие реакций, ее цветение, ее страстность, ее неравнодушие к перемене климата и непогоде кажутся пуговице достойными зависти и даже вызывают у нее мучительное желание. И тогда начинается некое чередование, некая смесь взаимной нетерпимости и взаимного умиления, как всегда бывает при длительной совместной жизни. Все эти чувства достигают апогея осенью: впитывая влагу из воздуха, ткань выделяет пронизывающий туман, который без устали вдыхает пуговица, расширяя свои круглые ноздри.

ЖЕНСКАЯ ТУФЕЛЬКА

Желающий уяснить себе, как устроена туфелька, должен начать осмотр с уровня земли: форма туфельки (оправдание и конечная цель) обусловлена необходимостью упираться в землю каблуком и носком и в то же время подниматься над ней, отрываться от нее, сопротивляться всему пыльному, грязному, падшему. Из этого следует, что изящные очертания, блестящая поверхность и неощутимый вес являются для нее не второстепенными, а наиважнейшими свойствами. Было бы совершенно бессмысленно созерцать туфельку, подвешенную в воздухе или же выставленную на бархатной подушке. Тот, кто сделал бы так, лишь усилил бы контраст, подчеркнув ее изначально низкое происхождение. В соблазне, исходящем от женской туфельки, есть нечто порочное, поскольку в ней соединяются верх утонченности и опыт недостойного общения,

принимаемого без всякого стыда. Но это не мешает нам всецело отдаться восхищению, которое вызывает каблук: чудо устойчивости и чистоты линий, он поднимается над землей тонким стволиком, расширяясь кверху и в то же время отгибаясь назад. Его прожилки расходятся в стороны и слегка вздыбливаются, в нем — гибкость клонящейся под ветром пальмы и хрупкость ножки широкого бокала или релинга в корме могучего корабля. Поверхность каблука, если он блестящий, как бы утверждается вертикальными отсветами, подчеркивающими его высоту. А в душе он властный и самолюбивый, готов попрать всей своей тяжестью крохотное пространство, на которое опирается, — но с быстротой, с мгновенной и равнодушной жестокостью, присущей жалу насекомого или птичьему клюву.

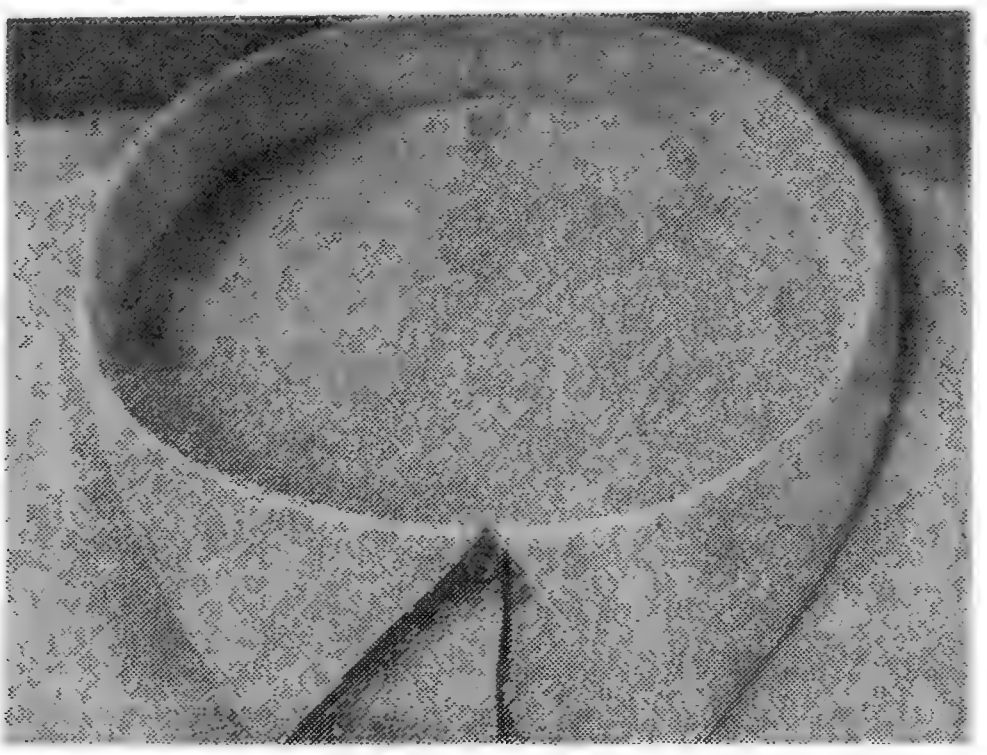
От вершины каблука к земле уходит линия, напоминающая пролет моста или перевернутую трассу тобоггана. Это часть подошвы, которая никогда не касается земли и всегда остается новенькой и блестящей, с жесткой осанкой и извилистыми очертаниями, нетронутой, словно к ней запрещено притрагиваться. Это самая непостижимая часть туфельки: она хранит вечную юность там, куда почти не достигает взгляд, и приводит разум в легкое замешательство, как та часть ленты Мёбиуса, которая превращается в изнанку. С изнаночной стороны на лицевую мы возвращаемся через выпуклый носок туфельки. Носок, если смотреть на него спереди и сверху, — это самая заметная часть, это и нос корабля, и резная фигура на носу, в нем выражен самый дух туфельки, воплощен образ, приносимый ею в мир; в то же время эта ее часть напрямую и сильнее других прижимается к земле, словно желая взять от нее силу, а равно и упрямую, почти бесстыдную гордыню. Увенчивает туфельку большой набор боковин, уздечек и подпруг, создающий воздушный рисунок, в котором пустоты важнее всего остального, как в корабельных вантах: ограниченное ими замкнутое пространство вызывает ощущение влекущей, но отнюдь не ленивой неги, напоминая одновременно уютную постель и удобную кабину гоночного автомобиля, — особая разновидность чувственности, ревниво оберегающей свои тайны и тревожно-порывистой.

Устремленная вперед, туфелька всегда смотрит снизу вверх. Что же она рассчитывает увидеть? Не верх, но низ небесного Олимпа: тайны, подобно молниям озаряющие тьму перевернутой перспективы, — пяту Венеры, щиколотку Дианы, колено Юноны.

МУЖСКАЯ РУБАШКА

Есть люди, полагающие, что отглаженная рубашка имеет вулканическое происхождение: по их мнению, округлый амфитеатр на краю плоской равнины — не что иное, как древний потухший кратер, а треугольные скаты, вытянутые в направлении равнины, — внезапно остывшие лавовые потоки. Однако консистенция отдельных материалов и структура целого столь разительно отличаются от аналогичных свойств всех прочих вулканических пейзажей, что эта гипотеза представляется неприемлемой. Другие, касаясь вопроса о происхождении, непререкаемо утверждают, будто амфитеатр — это высохшее озеро. Тогда можно предположить, что прежде на рубашке было много водоемов, которые, раз-

ливаясь, а затем высыхая, сформировали эту обширную аллювиальную равнину. Продольная борозда, разделяющая равнину пополам, — очевидно, пересохшее русло реки. В позднейший период река проложила себе путь под землей (о чем свидетельствует наложение одного тектонического слоя на другой: результат разрыва или сдвига). Однако недостаток дождей, наблюдаемый ныне в этой зоне, и невозможность составить гидрографическую карту заставляют с осторожностью отнестись к этой теории. Не следует упускать из виду и традиционную гипотезу о гигантском метеорите, чье столкновение с рубашкой привело к образованию круглого провала и вздыбливанию почвы по его краям. Все эти события вполне могли произойти, никто не может позволить себе роскошь априорно исключить их вероятность. Важно привести доказательства или хотя бы описать внешние признаки. Но в отсутствие даже малейших следов пыли или разбросанных кругом осколков не очень понятно, куда девались остатки метеорита. А потому приходится отказаться и от этой гипотезы.



Доменико Ньоли. «Воротник рубашки $15^{1}/_{2}$» (1966)

В данный момент нам остается лишь рассмотреть рубашку как она есть, оставив открытым вопрос о ее происхождении. Рубашка располагается в горизонтальной плоскости, имеет очертания правильного (или почти правильного) прямоугольника, поверхность ее по большей части ровная и плоская, но отнюдь не твердая (местами она чаще даже становится волнообразной, как будто ее коснулся легкий ветерок), толщина ее, по-видимому, невелика, но структура при этом неоднородна. Словом, описать рубашку — дело нелегкое, ее форма не имеет ничего общего с человеком, поэтому выбор метафор сильно ограничен. Рубашка нисколько не антропоморфна. Можно попытаться привлечь для сравнения образы животного мира, однако я не думаю, чтобы это дало лучшие результаты. Вот два пологих ската, которые начинаются от кругообразного выступа и расходятся под тупым углом, сужаясь книзу и заканчиваясь двумя опять же тупыми углами. Эти два ската, лежащие на плоской поверхности, но не сливающиеся с нею, нельзя сравнить ни с крыльями, ни с плавниками, ни с половинками панциря жука, ни с чешуей рыбы. Рубашка не похожа ни на что, а следовательно, язык образов к ней неприменим. Может быть, именно поэтому она так напоминает пустынный, безжизненный пейзаж.

А если рубашка полосатая, нельзя не задержать взгляд на этих цветных линиях, прямых, продольных и параллельных друг другу. Именно эта особенность делает рубашку столь далекой от природы — я имею в виду природу как обрамление жизни человека (хотя и тут существует масса фантастических предположений: не-

которые усматривают в этих полосках каналы, борозды или иные следы человеческой деятельности). Но вот что самое загадочное: внутри круглого углубления, и только там, прямые линии из вертикальных становятся горизонтальными. На скатах они превращаются в кривые, но не повторяют наклон плоскости, что усиливает разрыв между ними и всем остальным. Амфитеатр можно было бы определить как широкий цилиндр очень небольшой высоты, вписавшийся в конус неправильной формы (в основании которого, возможно, даже лежит эллипс). При этом конус мы видим только снаружи, а цилиндр только изнутри, за исключением единственной точки в середине, где фрагмент конуса отсутствует, позволяя увидеть цилиндр снаружи. Именно здесь расположена самая интересная часть рубашки: мы обнаруживаем, что цилиндр, по крайней мере в одной точке, не сплошной, что он состоит из двух слоев или пластин, наложенных друг на друга.

Отсюда начинается срединный разрез, который, накладывая тонкие пласты закраин один на другой, проходит вдоль всего прямоугольника. И именно тут неистощимые богатства стихий творят чудо: расцветает крохотный цветок из перламутра, круглый, как глазок.

Словно пробужденные к жизни некоей внебиологической весной, такие же неотличимые друг от друга цветочки сияют белизной с равными промежутками на берегу, вернее, на клумбе, которая окаймляет разрез. А в этих промежутках берег словно слегка приподымается и расширяется, как если бы его вздымало изнутри невидимой волной, однако полное отсутствие глубины исключает гипотезу, что это чье-то дыхание заставляет невесомый покров надуваться и опадать.

Перевод с итальянского ***НИНЫ КУЛИШ***

У книжной витрины

ШЕЙМАС ХИНИ

Поэзия-восстановительница

S e a m u s H e a n e y. The Redress of Poetry. «Faber & Faber», 1995

Сборник лекций, прочитанных известным ирландским поэтом, лауреатом Нобелевской премии в годы преподавания в Оксфорде. Каждая из лекций посвящена анализу какого-либо одного поэтического произведения: от «Геро и Леандра» Кристофера Марло и «Полуночного суда» ирландского поэта XVIII века Брайана Мерримена до стихов Оскара Уайльда и поэтов XX века Элизабет Бишоп, Хью Макдиармида, Уильяма Батлера Йейтса, Филипа Ларкина и Дилана Томаса. Весь курс объединяла мысль, высказанная в одной из вводных лекций: поэзия наделена властью восстанавливать душевное равновесие, служить противовесом всем темным, античеловеческим элементам мира.

ШЕЙМАС ХИНИ

Ватерпас

S e a m u s H e a n e y. The Spirit Level. «Faber & Faber», 1996

Новый сборник стихов ирландского поэта Шеймаса Хини (предыдущий — «Видения вещей» («Seeing Things») вышел пять лет назад). В этой книге поэт исследует мотив «начала с нуля» в приложении к разнообразным героям и ситуациям. Из стихотворения в стихотворение кочует тема нарушенного равновесия — то физического, то душевного, то политического (одна из главных тревог поэта — ситуация в его родной Северной Ирландии). Воспоминания, сцены из классики, скромные предметы быта становятся для Хини бесценными талисманами.

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН

Однажды вечером я вышел, хлопнув дверью

W y s t a n H u g h A u d e n. As I Walked Out One Evening. «Faber & Faber», 1995

Составитель сборника Эдвард Мендельсон, авторитетный знаток наследия Одена (1907 — 1973), классика английской поэзии, собрал в этой книге исключительно «легкие», шутливые стихи поэта: песенки, баллады, колыбельные, лимерики и т. д. Некоторые из них публикуются впервые. Сам Оден определял «легкие стихи» как написанные обыденным языком с целью развлечь, рассмешить читателя, что вовсе не означает, будто они не требуют тщательной отделки — даже если адресованы узкому кругу родственников и друзей.

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Генерал стоял на холме... Военные рассказы

H e i n r i c h B ö l l. Der General stand auf einem Hügel... Erzählungen aus dem Krieg. «Kiepenheuer & Witsch», 1995

Знаменитый немецкий писатель Генрих Бёлль прошел солдатом всю вторую мировую войну, и она стала главной темой его раннего творчества. В этой книге впервые собраны воедино лучшие из военных рассказов писателя. Простые, почти бытовые истории, чаще всего от первого лица, перечеркивают традиционное восприятие героизма и открывают изнанку войны: смерть, кровь, голод, болезни, грязь. Выход сборника приурочен к 50-летию со дня окончания второй мировой войны.

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Бесцветная собака

H e i n r i c h B ö l l. Der blasse Hund. «Kiepenheuer & Witsch», 1995

Сборник рассказов «Бесцветная собака» продолжает серию публикаций ранее не издававшихся произведений Генриха Бёлля, начатую выпуском в 1992 году романа «Ангел молчал». Наряду с рассказами, написанными сразу после войны, в сборник впервые включен и один из очень ранних, еще довоенных текстов. Хотя стиль и язык Бёлля претерпели с тех пор значительные изменения, важные для писателя темы, прошедшие потом через все его творчество, можно найти уже и в этих рассказах. Сборник позволяет по-новому взглянуть на все литературное наследие Бёлля.

История и грусть. О романе Генриха Бёлля «Женщины у берега Рейна»

Сост. Арпад Бернат

G e s c h i c h t e u n d M e l a n c h o l i e. Über Heinrich Bölls Roman «Frauen vor Flusslandschaft». Herausgegeben von Arpad Bernath. «Kiepenheuer & Witsch», 1995

Появление этой книги приурочено к десятой годовщине со дня смерти (16. 07. 1985) Генриха Бёлля. Семь исследователей (Генрих

Формвег, Клаус Йециорковски, Бернд Бальцер, Эрхард Фридрихсмайер, Ханс Иоахим Бернхард, Роберт Си. Конрад и составитель книги Арпад Бернат) анализируют его роман «Женщины у берега Рейна», впервые увидевший свет в 1985 г. Это загадочное произведение (роман в монологах и диалогах) лишний раз показывает, что оценка Бёллем истории Германии после второй мировой войны заслуживает самого внимательного изучения. Литературоведы предлагают свои интерпретации как всего романа, так и отдельных его эпизодов, по-своему расставляют акценты, призывают вместе с писателем критически взглянуть на современный мир.

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ

Раздвоенный язык

William Golding. The Double Tongue. «Faber & Faber», 1995

После кончины знаменитого английского писателя, лауреата Нобелевской премии Уильяма Голдинга (1911—1993) среди его бумаг был обнаружен этот вчерне завершенный короткий роман. Действие происходит в Древней Греции накануне «нашей эры» (I век до Р.Х.). Главные герои: жрец — хранитель святилища Дельфийского оракула и молодая девушка-пифия (прорицательница). В основе повествования лежит конфликт между рационализмом и верой. «Святые — самое интересное, что есть на свете. Я имею в виду не людей безупречной добродетели, но тех, вокруг кого совершаются чудеса», — заметил как-то Голдинг.

РИЧАРД ФОРД

День независимости

Richard Ford. Independence Day. «Harvill Press», 1995

Известный американский прозаик, лауреат многих литературных премий Ричард Форд (род. 1944) вновь обратился к образу «архиобыкновенного американца» Фрэнка Баскомба — героя своего романа «Спортивный обозреватель» (1986). В «Дне независимости» Форд описывает еще один «длинный уик-энд» из жизни Баскомба — череду самых заурядных встреч и событий. Хотя ничего трагического не происходит, атмосфера повествования напряжена, в книге отчетливо звучит мотив беззащитности человека перед чужой злой волей. Однако и герой, и автор отказываются смириться с этим. Критики видят в Форде наследника традиций Ф.С. Фицджеральда и отмечают «удивительную ясность его суждений об Америке и американцах».

АНОНИМ

Основные цвета

Anonymous. Primary Colors. «Random House», 1996

Этот политический роман имеет в США сенсационный успех. Автор, не пожелавший раскрыть своего имени (видимо, он принадлежит к ближайшему окружению президента Клинтона), со знанием дела и в подробностях описал закулисную механику предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома. И хотя имена действующих лиц изменены, все герои книги легко узнаваемы. «Портрет государства, в котором скептицизм уживается с идеализмом» — такое определение дано роману в издательской аннотации.

КАТИНКА ДИТРИХ ВАН ВЕРИНГ

Московские приключения

Kathinka Dittrich van Weringh. Abenteuer Moskau. «Kiepenheuer & Witsch», 1995

Основатель и первый директор московского филиала Института им. Гёте Катинка Дитрих ван Веринг с юмором и теплотой рассказывает, с чем ей пришлось столкнуться за четыре года жизни и работы в Москве (1990—1994), о своих встречах с художниками, писателями и политиками, о тех, кто помогал ей создавать московский центр немецкой культуры и кто мешал. Она делится наблюдениями о периоде гигантского политического и экономического перелома в жизни России, невольным свидетелем которого стала. За эти годы у нее сложилось убеждение, что «нигде в Европе люди не настроены по отношению к немцам так доброжелательно, как в России; нигде не ощущают столь же остро духовную близость с немцами». И это чувство помогло ей успешно решать все организационные проблемы.

ЙОЗЕФ РОТ

Поездка в Россию. Статьи, репортажи, дневники 1929—1930 гг.

Joseph Roth. Reise nach Russland. Feuilletons, Reportagen, Tagebuchnotizen 1929—1930. «Kiepenheuer & Witsch», 1995

В этой книге собраны дневниковые записи и лучшие журналистские работы о «новой России» известного австрийского писателя первой половины XX века Йозефа Рота. Работая в газете «Франкфуртер цайтунг», он искал «свою тему» и в сентябре 1926 года отправился в Советскую Россию, провел там полгода, а по возвращении опубликовал серию статей, содержащих вдумчивый и беспристрастный анализ проблем, с которыми сталкивается человеческое общество в пере-

ломный период. Написанные плотной прозой, в типичной для Рота импрессионистской манере, эти репортажи не потеряли актуальности и в наши дни, когда после развала Союза вновь обострился национальный вопрос и возросла угроза фашизма.

ТУР ХЕЙЕРДАЛ

Зелена была Земля в день седьмой

Thor Heyerdahl. Green Was the Earth on the Seventh Day. «Random House», 1996

Мемуары знаменитого норвежского этнолога и археолога посвящены его самому первому путешествию, во многом определившему дальнейшую судьбу Хейердала. В начале 30-х годов вместе с женой он отправился в романтическое плавание по южным морям — на поиски места, где ничто не напоминало бы о современной цивилизации. О жизни на крохотном островке Фату-Хива, о радостях, трудностях, маленьких открытиях и повествует эта книга.

ФРЭНСИС СПАФФОРД

Вероятно, вернусь не скоро. Льды и воображение

Francis Spufford. I May Be Some Time: Ice and the Imagination. «Faber & Faber», 1996

«Я выйду наружу. Вероятно, вернусь не скоро», — сказал Тайтус Оутс, участник экспедиции Роберта Фолкона Скотта к Южному полюсу, и навеки скрылся в круговерти снежной бури. Тяжело обмороженный, он выбрал самоубийство, чтобы не обременять товарищей. Эта знаменитая фраза стала названием монографии английского культуролога Ф. Спаффорда, решившего разгадать, почему льды и полярные экспедиции долгое время зачаровывали воображение англичан. В отличие от обычных историй об исследованиях Земли данная книга посвящена мифологической стороне вопроса — эволюции образа льдов в культуре и обыденном сознании.

ДЭВИД БИРН

Странный ритуал

David Byrne. Strange Ritual. «Faber & Faber», 1995

Альбом художественных фотографий, выполненных Дэвидом Бирном, известным американским музыкантом, бывшим лидером группы «Talking Heads». Фотография для Бирна не хобби, а полноправная, не менее важная, чем музыка, часть творческой деятельности. Его работы выставлялись во многих городах мира, в том числе в Москве. Бирн стремится поймать в свой объектив необычные грани обычных предметов, разнообразные курьезы и странности. Помимо визуального ряда, в книге присутствует текст, дополняющий и усиливающий впечатление от фотографий.

ЭНРИКЕ ВИЛА-МАТАС

Вдали от Веракруса

Enrique Vila-Matas. Lejos de Veracruz. «Anagrama», 1995

Новая книга испанского писателя Энрике Вила-Матаса (род. 1948) получила высокую оценку критики. Это роман о приключениях юноши, нашего современника, который поклялся: «Да будет жизнь моя произведением искусства!» Женщины, дальние путешествия, буйство страстей... В финале, все изведав и всего лишившись, герой превращается в «печального однорукого старца двадцати шести лет от роду». Критики увидели в романе блестящую пародию сразу на несколько классических произведений, созданных однорукими писателями (например, на «Дон Кихота» Сервантеса и «Сонаты» Рамона дель Валье-Инклана).

МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС

Дневник пенсионера

Miguel Delibes. Diario de un jubilado. «Destino», 1995

Мигель Делибес, один из самых знаменитых современных испанских писателей, лауреат многих премий, решил вновь обратиться к образу Лоренсо, героя своих давних книг — «Дневник охотника» (1955) и «Дневник эмигранта» (1958). Как явствует из названия романа, ныне Лоренсо достиг пенсионного возраста. Однако старость не принесла ему покоя — безденежье вынуждает Лоренсо пускаться в одну рискованную авантюру за другой, отношения с семьей и друзьями до-нельзя запутываются. Злоключения пенсионера описаны со свойственным Делибесу мягким, добрым юмором.

Хичкок о Хичкоке

Hitchcock on Hitchcock. «Faber & Faber», 1995

В течение своей долгой жизни знаменитый англо-американский кинорежиссер Альфред Хичкок (1899 —1980) не только снимал фильмы и составлял антологии «страшных» рассказов; он также писал статьи и эссе на темы кино. И вот впервые его критическое наследие издано отдельной книгой. Здесь читатель найдет и размышления о киноискусстве в целом, и попытки истолковать собственное творчество. Хичкок пишет о страхе, о механизмах нагнетания напряжения, о женщинах — героинях своих фильмов и о женщинах-зрительницах. Попутно он рас-

крывает тайны рождения и формирования собственного имиджа «профессора ужасов».

Вуди Аллен о Вуди Аллене. Беседы со Стигом Бьоркманом

Woody Allen on Woody Allen: in conversation with Stig Bjorkman. «Faber & Faber», 1995

Книга родилась из многодневных бесед знаменитого американского актера и кинорежиссера Вуди Аллена (род. 1935) со шведским режиссером и кинокритиком Стигом Бьоркманом. Кумир публики откровенно рассказывает о своей жизни и творчестве, размышляет вслух о мотивах, заставляющих художника творить, о вдохновении, о проблемах, с которыми люди творческих профессий сталкиваются в современном мире. Со страниц книги встает образ тонкого, ироничного и в то же время ранимого человека.

КРИСТИАН ЖАНИКО

Антология невидимого кино

Christian Janicot. Antologie du cinéma invisible. «Jean-Michel Place/Arte», 1995

Долгие годы французский исследователь Кристиан Жанико занимался поиском литературных текстов особого рода: его интересовали киносценарии, написанные известными поэтами, писателями и художниками, но только те сценарии, которым по тем или иным причинам не суждено было превратиться в фильмы (на что и указывает название сборника) и которые в большинстве своем не были опубликованы. В книгу вошло ровно сто сценариев, в том числе принадлежащие перу Ж.-П.Сартра, А.Жида, Л.Пиранделло, Р.Магритта, С.Цвейга, А. де Сент-Экзюпери, Г.Аполлинера, Ч.Павезе и многих других.

ТОМ СТОППАРД

Индийская тушь

Tom Stoppard. Indian Ink. «Faber & Faber», 1995

«Пронизанные доброжелательностью и человечностью размышления... о любви и империи» — такое определение дали критики новой пьесе Т. Стоппарда, знаменитого английского драматурга, когда она была поставлена в лондонском театре «Олд Вик». В 1930 году героиня пьесы, молодая поэтесса, отправляется в Индию, где местный художник пишет с нее портрет. Спустя полстолетия сын художника навещает сестру поэтессы в Лондоне, меж тем как в Индии ее биограф пытается восстановить события прошлого. Действие развивается в разных временных планах, но фоном его неизменно служит один из величайших в истории переломов — освобождение Индии из-под власти Британской империи.

МИХАЭЛЬ ШНАЙДЕР

Зеркальный кабинет

Michael Schneider. Das Spiegelkabinett. «Kiepenheuer & Witsch», 1995

В своей мастерски написанной повести Михаэль Шнайдер (философ по образованию, журналист) рассказывает историю взлета и падения знаменитого волшебника Адольфо Камбиани. Находясь в зените славы, великой маг приходит в отчаяние от того, что публика восхищается вовсе не его высоким искусством, а, поддавшись своего рода массовому психозу, приписывает ему власть над сверхъестественными силами, перед которыми и преклоняется. Увлекательное, «по-настоящему изысканное», по определению критика Марселя Райх-Раницки, повествование не только знакомит читателя с событиями и психологическими вехами этой необычной судьбы, но и позволяет провести явные параллели с современными проблемами во взаимоотношениях «художник — общество».

Оксфордская книга писем

Сост. Фрэнк и Анита Кермод

The Oxford Book of Letters. Ed. by Frank and Anita Kermode. «Oxford University Press», 1995

Эта книга продолжает серию «оксфордских антологий», призванную представить все существующие литературные жанры и жанровые разновидности. На страницах «Оксфордской книги писем» собраны образцы эпистолярной литературы с XVI по XX век. По признанию составителей, при отборе материала для антологии они отдавали предпочтение текстам, в которых повествуется о крупных, часто трагических событиях. Книга получила высокую оценку критики.

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

СЛАВОМИР МРОЖЕК (SŁAWOMIR MROŻEK; род. в 1930 г.) — польский прозаик, драматург, эссеист. С 1963 г. находился в эмиграции в Италии и Франции, с 1990 г. живет в Мексике. Автор сборников рассказов «Слон» («Słoń», 1957), «Свадьба в Атомицах» («Wesele w Atomicach», 1959), «Дождь» («Deszcz», 1962), «Два письма» («Dwa listy», 1974); пьес «Индюк» («Indyk», 1960), «В открытом море» («Na pełnym morzu», 1961), «Бойня» («Rzeźnia», 1973); «Контракт» («Kontrakt», 1992) и др.; сборника эссе и статей «Короткие письма» («Małe listy», 1982). В театрах Москвы и других городов нашей страны ставились его пьесы «Эмигранты», «Танго», «Портрет», «Стриптиз», «Вдовы» («Банан»), «Любовь в Крыму» («Miłość na Krymie», 1993; перевод опубликован в «ИЛ», 1994, № 10). В «Иностранной литературе» печатались также рассказы (1964, № 5 и 1988, № 5).

Публикуемые рассказы взяты из собрания сочинений С.Мрожека тт. 1, 2, 1994—1995 г. (Dzieła zebrane, t.t. I, II. Warszawa, «Noire sur Blanc»).

ФИЛИП РИДЛИ (PHILIP RIDLEY) — английский прозаик, кинорежиссер, художник. Автор повести «Крокодилия» («Crocodilia», 1985), романа «В глазах господина Фьюри» («In the Eyes of Mr. Fury», 1988), нескольких книг для детей. Автор сценария и режиссер фильмов «Отражающая кожа» («The Reflecting Skin», 1990) и «Страсть Даркли Нуна» («The Passion of Darkly Noon», 1995).

Рассказ «Башни веры» («Towers of Belief») взят из сборника «Фламинго в полете» («Flamingoes in Orbit». London, Penguin, 1991.

МИЛАН РУФУС (MILAN RÚFUS; род. в 1928 г.) — словацкий поэт. Окончил философский факультет Братиславского университета. Автор сборников стихов «Когда дозреем» («Až dozrieme», 1956), «Триптих» («Triptych», 1969), «Колокола» («Zvony», 1968), «Стол бедных» («Stôl chudobnych», 1972; стихи из этого сборника публиковала «ИЛ», 1975, № 10) и др.; книг эссе и литературно-критических статей, стихов для детей. На русском языке его стихи печатались в сборниках «Из современной чешской и словацкой поэзии» (М., 1975) и «Поэзия ЧССР» (М., 1975).

Публикуемые произведения взяты из книг «Поиски образа» («Hľadanie obrazu», 1973), «Музыка форм» («Hudba tvarov», 1977), «Черствый хлеб» («Prisny chlieb», 1987), «О литературе» («O literatúre», 1974), «Две судьбы» («Dve osudové», 1991).

СЭМЮЭЛ БЕККЕТ (SAMUEL BECKETT; 1906 — 1989) — ирландский писатель, драматург. С 1938 года жил во Франции. Писал на английском и французском языках. Лауреат Нобелевской премии (1969). Перу С.Беккета принадлежат произведения разных жанров: романы «Мёрфи» («Murphy», 1938), «Мерсье и Камье» («Mercier et Camier», 1945), «Моллой» («Molloy», 1951), «Мэлоун умирает» («Malone meurt», 1951), «Безымянный» («L'innommable», 1953), «Как это» («Comment c'est», 1961), сборник рассказов «Больше замахов, чем ударов» («More pricks than kicks», 1934), эссе о Джойсе и Прусте. Широкую известность принесла С.Беккету трагикомедия «В ожидании Годо» («En attendant Godot», 1952; рус.пер. в «ИЛ», 1966, № 10), затем вышли пьесы «Конец игры» («Fin de partie», 1957), «Счастливые дни» («Happy Days» /«Oh! les beaux jours»,1963) и др. На русском языке издан сборник пьес и рассказов С.Беккета «Изгнанник» (Библиотека «ИЛ», 1989).

Публикуемые в этом номере пьесы Беккета «Последняя лента Крэппа» и «Зола» впервые были напечатаны в 1959 году («Krapp's Last Tape» and «Embers». London, Faber); «Каскандо» («Cascando») — в 1966 г. («Comédie et acts divers». Paris, Minuit), «А, Джо?» — в 1967 г. («Eh Joe» and Other Writings. London, Faber); «Шаги» («Pas») — в 1978 г. («Pas suivi de quatre esquisses». Paris, Minuit), «Экспромт в стиле Огайо» («Ohio Impromtu») — в 1981 г. («Rockaby and Other Short Pieces». New York, Grove Press).

ПЕТЕР ХАНДКЕ (PETER HANDKE; род. в 1942 г.) — австрийский писатель. Лауреат многих литературных премий: имени Г.Гауптмана (1967), Ф.Шиллера (1972), Г.Бюхнера (1973), Ф.Кафки (1979), Гамбургского фонда А.Тёпфера (1990). Автор романов «Шершни» («Die Hornissen», 1966), «Мой год в ничейной бухте» («Mein Jahr in der Niemandsbucht», 1994); пьес «Поругание публики» («Publikumsbeschimpfung», 1966), «Каспар» («Kaspar», 1968), «Верхом через Боденское озеро» («Der Ritt über den Bodensee», 1971); повестей «Короткое письмо к долгому прощанию» («Der kurze Brief zum langen

Abschied», 1972), «Несчастье без желаний» («Wunschloses Unglück», 1972), «История детства» («Die Kindergeschichte», 1981), «История карандаша» («Die Geschichte des Bleistifts», 1982), «Медленно в тени» («Langsam im Schatten», 1992). Многие произведения П.Хандке экранизированы. Нашим зрителям знакомы фильмы по его повестям «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» («Die Angst des Tormanns beim Elfmeter», 1972) и «Небо над Берлином» («Der Himmel über Berlin», 1987), снятые кинорежиссером Вимом Вендерсом.
Книга «Опыт познания усталости» вышла в Германии в 1989 году («Versuch über die Müdigkeit». Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag).

АНЬЦИ МИНЬ (ANCHEE MIN; род. в 1957 году в Шанхае) — школьницей состояла в отряде хунвэйбинов, а в семнадцать лет была направлена в госхоз (китайский вариант трудармии), откуда ее взяли для съемок в пропагандистском фильме, который курировала Цзян Цин, жена Мао Цзэдуна. После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году и разоблачения «банды четырех» съемки прекратились. До своего отъезда в США в 1984 г. служила на Шанхайской киностудии. Живет в Чикаго.
Ее беллетризованная автобиография «Красная Азалия» имела большой успех. Теперь она работает над второй книгой.
Повесть «Красная Азалия. Жизнь и любовь в Китае» вышла в Англии в 1993 году («Red Azalea. Life and Love in China». London, Victor Gollancz).

ШЕЙМАС ХИНИ (SEAMUS HEANEY; род. в 1939 г.) — ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии (1995). Стихи Ш.Хини вошли во многие антологии ирландской, британской и европейской поэзии. Автор поэтических сборников «Смерть натуралиста» («Death of a Naturalist», 1966), «Дверь во тьму» («Door into the Dark», 1969), «Перезимуем» («Wintering Out», 1972), «Полевые работы» («Field Work», 1979), «Остров покаяния» («Station Island», 1984), «Боярышниковый фонарь» («The Haw Lantern», 1987). Литературно-критические работы Ш.Хини составили книги «Пристрастия» («Preoccupations», 1980) и «Власть над языком» («The Government of the Tongue», 1988). В русском переводе его стихи печатались в «Иностранной литературе» (1976, № 2; 1982, № 1; 1991, № 4), а также в книгах «Из современной ирландской поэзии» (М., 1983) и «Поэзия Ирландии» (М., 1988).
Публикуемая речь Шеймаса Хини была произнесена на церемонии вручения ему Нобелевской премии в декабре 1995 года.

ХЛЕБНИКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА — искусствовед, автор ряда публикаций о современном зарубежном изобразительном искусстве. В «ИЛ» напечатаны ее статьи «...я подобен ливню...» (1994, № 12), «Жили-были Пьер и Жиль...» (1996, № 1), «Портреты цветов, или Топография наготы» (1996, № 3) и др. Ведущая новой рубрики «Галерея «ИЛ».

■ПЕРЕВОДЧИКИ:

БУХОВ ЛЕОНАРД СЕМЕНОВИЧ (род. в 1925 г.) — переводчик с польского и немецкого языков. В его переводе публиковались и ставились в театрах пьесы «Эмигранты», «Стриптиз», «Летний день», «Портрет», «Мария» И.Иредыньского, «Тихая ночь» Г.Мюллера; изданы рассказы С.Мрожека, повесть «My sweet Raskolnikow» Я.Гловацкого. В «ИЛ» в его переводе опубликованы роман «Начало, или Прекрасная пани Зайденман» А.Щиперского (1992, № 2), фрагменты книги «Три дамы К. рассказывают истории» Х.Зандер (1993, № 3), пьеса «Любовь в Крыму» С.Мрожека (1994, № 10; поставлена в Московском Художественном театре имени Чехова).

БАЗИЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1957 г.) — литературовед, кандидат филологических наук, переводчик. В его переводе с польского печатались пьесы Ст.И.Виткевича в сборнике «Сапожники» (Библиотека «ИЛ», 1989) и пьеса «Безумный Локомотив» («ИЛ», 1995, № 11), стихи Ч.Милоша, А. Бурсы, Э.Стахуры, сборники стихов Я.Рыбовича, Я.Твардовского, К.Войтылы и др. Лауреат премии ЗАиКС.

ВОЛЧЕК ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1964 г.) — поэт, журналист, переводчик. Живет в Праге. Автор книг стихов «Говорящий тюльпан» (1991), «Полуденный демон» (1995). В его переводе изданы роман «Мудрая кровь» Фланнери О'Коннор, рассказы К.Маккаллерс, Т.Капоте, пьесы С.Беккета.

МАЛЕВИЧ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1928 г.) — литературовед, кандидат филологических наук, специалист по чешской и словацкой литературам, переводчик. Автор книг «Карел Чапек» (1968), «Владислав Ванчура» (1973). В «ИЛ» выступал как переводчик произведений К.Чапека, И.Ольбрахта, И.Вихры, М.Руфуса, Л.Фельдека и др. и как автор вступительных статей и рецензий.

Е.СУРИЦ (Богатырева Елена Александровна) — переводчик с английского, французского, немецкого и скандинавских языков. В ее переводе издавались романы «Доводы рассудка» Дж.Остин, «Повелитель мух» У.Голдинга, «Консервный ряд» Дж.Стейнбека. В «ИЛ» в ее переводе напечатаны романы «Я в замке король» С.Хилл (1978, № 1,2), «Миссис Деллоуэй» (1984, № 4) и «Орландо» (1994, № 11) В.Вулф, «Записки Мальте Лауридса Бригге» Р.М.Рильке (Библиотека «ИЛ», 1988), драмы А.Стриндберга, пьесы Э.Ионеско, С.Беккета, сценарии И.Бергмана и др. Лауреат премии «ИНОЛИТ» (1994).

ДЮШЕН ИГОРЬ БОРИСОВИЧ (род. в 1917 г.) — литературовед, кандидат филологических наук, автор книги «Жан-Кристоф» Ромена Ролана» (М., 1966), составитель, редактор, автор предисловий и комментариев к сборникам пьес «Театр парадокса» (М., «Искусство», 1991) и «Эжен Ионеско. Театр» (М., 1994).
Публикуемые пьесы вошли в сборник «С.Беккет. «Театр», подготовленный к печати издательством «Искусство».

КОСАРИК ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА — переводчик с немецкого. В ее переводе печатались рассказы А.Мушга и Г.Гессе, повести «Запоздалая любовь» П.Хэртлинга, «Лунное затмение» Ф.Дюрренматта, романы «Власть безумия» Ф.Глаузера, «Потерянная пристань» М.Шпербера, «Гелиополис» Э.Юнгера, «Суперодиночки» Г.Эрнста, «Исчезнувшая миниатюра» Э.Кестнера. В «ИЛ» публиковались в ее переводе эссе «Дополнение к бедекеру» Г.Кунерта (1973, № 10), «Северная мозаика» Ф.Р.Фриза (1974, № 10), стихи и рассказы из австрийского журнала «Wespennest» (1993, № 11) и др.

СМИРНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1948 г.) — переводчик и исследователь классической и современной литературы Китая, кандидат филологических наук. В «ИЛ» печатались его переводы из средневековой китайской поэзии (1986, №10), повесть «Мимоза» Чжан Сянлян (1988, № 8).

АПТ СОЛОМОН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1921 г.) — литературовед, переводчик. Автор книг «Томас Манн» (М., 1972, в серии «ЖЗЛ»), «Над страницами Томаса Манна» (1980). В его переводе издавались трагедии Эсхила, пьесы Б.Брехта, романы «Иосиф и его братья» Томаса Манна и «Игра в бисер» Г.Гессе. В «ИЛ» в его переводе напечатаны романы «Степной волк» (1977, № 4, 5) и «Демиан» Г.Гессе (1993, № 5), отрывок из романа «Человек без свойств» (1983, № 9) и «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» Р.Музиля (1992, № 4) и др.

ЛИВЕРГАНТ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1947 г.) — литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. В его переводе издавались романы «Черная беда» И.Во («ИЛ», 1991, № 6), «Высокое окно» и «Вечный сон» Р.Чандлера, «Красная жатва» Д.Хэммета, «Пасынки судьбы» У.Тревора, «Улики» Дж.Бэнвилла («ИЛ», 1995, № 2), «Жертвы» Ю.Маккейба («ИЛ», 1995, № 2), подборка из рецензий и отзывов «Издатели о писателях» («ИЛ», 1996, № 3), рассказы Д.Кольера, Г.Миллера, Дж.Тэрбера, Ш.О'Фаолейна, эссе, статьи и очерки Дж.Б.Шоу, Дж.Б.Пристли, Г.Честертона и др.

■

ИНДЕКС 70394

Все 20 томов знаменитого “Оксфордского словаря” на одном компакт-диске!

Вопросы, которые потребовали бы при работе с книгами многолетних исследований, решаются при помощи “Оксфордского словаря” на CD-ROM в считанные секунды.

Последнее издание “Оксфордского словаря” признано самым полным и авторитетным толковым словарем английского языка в мире. В нем представлен весь спектр английского языка в его историческом развитии - с 1150 г. по настоящее время.

“Оксфордский словарь” на CD-ROM содержит в себе:

- классические определения значений более полумиллиона слов;
- 2,5 миллиона цитат, позволяющих проследить эволюцию английского языка;
- уникальную информацию об особенностях употребления английского языка в различных англоязычных странах.

Электронная версия “Оксфордского словаря” позволяет:

- осуществлять поиск слов - по этимологии, по значению, по составным частям: префиксу, суффиксу, даже по сочетанию букв; возможен поиск слов, в написании которых пользователь не уверен, - при этом буквы, вызывающие сомнение, заменяются специальными символами;
- ограничить рамки поиска слова, указав дату его появления в английском языке либо часть речи, к которой оно относится;
- осуществлять поиск нужной цитаты - по дате, автору, названию произведения, по заключенному в ней фрагменту текста;
- осуществлять поиск фразеологизмов и устойчивых словосочетаний, вариантов форм слова, произношений, греческих слов;
- копировать любые части словаря в рабочий документ; еще до включения в документ, создаваемый в текстовом редакторе, сортировать результаты поиска по дате, авторам цитат;
- распечатать на принтере словарную статью или ее фрагмент.

Технические требования:

IBM PC 386 и выше | DOS версии 3.0 и выше | 4 Мб свободной памяти RAM
CD-ROM drive | 2 Мб свободной памяти на жестком диске | Windows 3.1 и выше

“Оксфордский словарь” на CD-ROM - идеальное справочное пособие для всех, кто любит английский язык

АОЗТ “Мир Знаний”
Тел.: (095) 962 0735, 962 0779; факс: (095) 962 0197 - в Москве;
Тел.: (812) 352 3016, 352 3004; факс: 352 3016 - в Санкт-Петербурге;
Тел.: (8462) 356 821, 358 608 - в Самаре.
Почтовый адрес: Россия, 107392, Москва, а/я 14. E-mail: mir@znanija.msk.su

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1996, №6, 1 — 248